



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все примечания, комментарии и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



**STANFORD
UNIVERSITY
LIBRARIES**

26824/46

Стороженко, Н.

Н. Стороженко.

ИЗЪ ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ.

СТАТЬИ, ЛЕКЦИИ, РЪЧИ, РЕЦЕНЗИИ.

Издание учениковъ и почитателей.



МОСКВА.

Типо-литографія А. В. Васильева и К^о, Петровка, домъ Обиленной.
1902.

PN507

S-16
1902

Отъ издателей.

Предлагаемый вниманію читателей сборникъ статей Н. И. Стороженко далеко не составляетъ всего имъ написаннаго. Въ выборѣ ихъ мы руководствовались желаніями самого автора, который имѣлъ въ виду главнымъ образомъ средняго читателя, и потому исключилъ статьи спеціальныя, которыя могутъ интересовать весьма немногихъ. Полная же библіографія статей Н. И. приложена къ изданному въ его честь юбилейному Сборнику—*Подъ знаменемъ науки.*

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Педагогическія теоріи эпохи Возрожденія *).

М. г.! Педагогическія теоріи извѣстной эпохи находятся въ прямой зависимости отъ тѣхъ жизненныхъ идеаловъ, которые ставитъ себѣ эпоха или, правильнѣе, руководящіе классы общества. Вѣрность этого положенія въ особенности оправдывается исторіей педагогії въ средніе вѣка, когда руководящимъ классомъ европейскаго общества было католическое духовенство, стремившееся наложить на всѣ отрасли высшей духовной дѣятельности науку, искусство, литературу,—свой односторонній клерикально-аскетическій отпечатокъ. Первоначально, впрочемъ, духовенство, не было враждебно свѣтскому знанію. Просвѣщенные пастыри первыхъ временъ христіанства, сами получившіе солидное классическое образованіе, видѣли въ великихъ писателяхъ древности могущественное средство умственнаго развитія и превосходную школу для борьбы съ язычествомъ. Василій Великій, напримѣръ, написалъ особый трактатъ *О пользѣ изученія классическихъ писателей*, въ которомъ доказывалъ, что для успѣшной борьбы съ образованными язычниками необходимо изученіе языческихъ поэтовъ, историковъ и ораторовъ. „Сочиненія свѣтскія,—говоритъ онъ,—относятся къ сочиненіямъ религіознымъ, какъ листья дерева къ его плодамъ: они предшествуютъ, покрываютъ своею тѣнью и служатъ для охраненія послѣднихъ“.—Предупреждая болѣе чѣмъ на тысячу лѣтъ Эразма Роттердамскаго, великій святитель восточной церкви восхищался столько же художественной формой классическихъ писателей, сколько и ихъ содержаніемъ, и въ одномъ мѣстѣ не усомнился сравнить Сократа и Платона по возвышенности идей съ ап. Павломъ. Къ сожалѣнію, примѣръ Василія В. нашелъ мало подражателей, и уже западный современникъ его, блаженный Августинъ, плакавшій въ юности

*) Публичная лекція, читанная въ пользу Общества вспоможенія бѣднымъ учащимся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Москвы.

надъ четвертой пѣснью Энеиды, изгоняетъ изъ своей системы воспитанія языческую науку и языческихъ авторовъ, и въ припадкѣ благочестиваго усердія восклицаетъ, что для христіанина не нужно образованіе, что невѣжды скорѣе ученыхъ войдутъ въ царствіе Божіе (*Indocti surgunt et rapiunt coelum*). Въ VI в. папа Григорій В. открываетъ цѣлый походъ не только противъ классическихъ писателей Рима, но и противъ латинской грамматики, и тщеславится тѣмъ, что самъ писалъ съ ошибками. „Я постыдился бы,—говоритъ онъ,—подчинять слова божественной премудрости правиламъ грамматики“. Узнавъ, что одинъ французскій епископъ учить грамматикѣ и читаетъ классиковъ въ управляемой имъ кафедральной школѣ, папа дѣлаетъ ему за это строгій выговоръ, ибо „не подобаетъ одними и тѣми же устами славить Христа и прославлять Юпитера“. Особенно губительно повлияло на развитіе знаній появленіе нищенствующихъ монашескихъ орденовъ, которые проповѣдывали аскетическій взглядъ на жизнь и ставили задачу человѣческаго существованія въ подавленіи личности и въ достиженіи совершенства путемъ систематическаго плотоумерщвленія. Сочиненія средневѣковыхъ аскетовъ полны рѣзкихъ выходокъ противъ неумѣстной любознательности, ищущей своего удовлетворенія въ свѣтской наукѣ, и св. Бернаръ прекрасно формулировалъ всѣ эти обвиненія въ своихъ извѣстныхъ словахъ, что свѣтская наука воспитываетъ въ человѣкѣ умъ и гордость, а не христіанскую любовь. Подъ вліяніемъ подобныхъ взглядовъ, которые въ XII и XIII столѣтіяхъ раздѣляются и пропагандируются руководящими классами средневѣковаго общества, воспитаніе юношества принимаетъ крайне одностороннее направленіе; цѣлью его становится не умственное развитіе дѣтей, но развитіе въ нихъ тѣхъ качествъ, которыя считались необходимыми для человѣка богоугодной жизни,—смирненія, терпѣнія, и безусловнаго повиновенія церкви и духовенству. Весьма любопытны тѣ педагогическіе приемы, съ помощью которыхъ внушалось ребенку смирненіе. Въ нѣкоторыхъ школахъ для этой цѣли предписывалось воспитанникамъ постоянно держать глаза опущенными внизъ, запрещалось также сидѣть на высокихъ скамьяхъ, изъ опасенія, чтобы высокое положеніе не заронило въ души воспитанниковъ сатанинской гордости. Хотя въ средневѣковыхъ школахъ не переставали преподаваться науки, входившія въ составъ такъ называемаго *trivium*'а (грамматика, риторика, діалектика) и *quadrivium*'а (музыка, ариметика, геометрія и астрономія), но и эти науки не имѣли самостоятельнаго

значенія и преподавались главнымъ образомъ для цѣлей религіозныхъ. Нѣмецкій педагогъ IX в., Рабанъ Мавръ, такъ опредѣляетъ цѣль преподаванія этихъ наукъ: „Грамматика научаетъ искусству говорить и писать правильно; безъ нея нельзя понять троповъ и фигуральныхъ выраженій Св. Писанія. Не слѣдуетъ пренебрегать также и просодіей, потому что въ псалмахъ встрѣчается много различныхъ размѣровъ, для объясненія которыхъ нужно изучать древнихъ языческихъ поэтовъ, предварительно изъяснивъ изъ нихъ то, что имѣетъ отношеніе къ любви и языческимъ богамъ. Равнымъ образомъ необходима для пониманія Свящ. Писанія ариметика, такъ какъ въ немъ неоднократно говорится о числахъ и мѣрѣ; геометрія необходима оттого, что въ Св. Писаніи при описаніи Ноева ковчега и Соломонова храма встрѣчаются разнаго рода круги и фигуры; астрономія важна для опредѣленія Пасхи и праздниковъ; музыка необходима для богослуженія, которое безъ нея не можетъ быть отправляемо съ должнымъ благочиніемъ“. За одной только діалектикой Рабанъ Мавръ признаетъ самостоятельное значеніе, называетъ ее наукой наукъ, источникомъ всякаго знанія и мудрости, хотя тутъ же прибавляетъ, что она въ особенности необходима, какъ средство для борьбы съ еретиками. Одностороннимъ цѣлямъ средневѣковой педагогіи какъ нельзя лучше отвѣчала суровая школьная дисциплина, способная убить всякую пытливость ума, всякое проявленіе самостоятельной воли. Ферула и бичъ безжалостно разгуливали по спинамъ учениковъ, которые выходили изъ школы съ небольшимъ запасомъ свѣдѣній, но съ большимъ количествомъ синяковъ и рубцовъ по всему тѣлу.

Таковъ былъ общій характеръ педагогіи и школьной дисциплины до самаго конца среднихъ вѣковъ, когда уже въ Италіи занималась заря эпохи Возрожденія.—Вамъ извѣстно, м. г., что эта эпоха знаменуется быстрымъ развитіемъ человѣческаго ума, окрыленнаго массой новыхъ свѣдѣній, почерпнутыхъ изъ произведеній греческихъ и римскихъ писателей, что эта эпоха была эпохой борьбы пробужденнаго человѣческаго разума съ церковнымъ авторитетомъ, прославленная великими изобрѣтеніями и открытіями, положившими рѣзкую грань между средними вѣками и новымъ временемъ. Едва ли не самымъ важнымъ изъ этихъ открытій было, какъ мѣтко выразился Мишлѣ, открытіе человѣка, т. е. новый взглядъ на достоинство его личности и задачу его существованія. Считая земную жизнь только приготовленіемъ къ жизни вѣчной, а человѣка игралищемъ своихъ страстей и лег-

кой добычей дьявола, средневѣковые люди мало заботились объ удобствахъ жизни, мало цѣнили человѣческую личность, ея потребности и способности, стремились рядомъ аскетическихъ подвиговъ смирить человѣка, подавить его злую волю, обуздать опасную пытливость его ума. Возрожденіе классической древности нанесло этому взгляду рѣшительный ударъ; подъ вліяніемъ изученія классическихъ писателей, проникли въ общество нныя взгляды на человѣческую личность и задачи ея существованія. Сущность этихъ взглядовъ состоитъ въ радостномъ, чисто-эллинскомъ воззрѣніи на жизнь, въ глубокомъ уваженіи къ человѣческому достоинству и въ не менѣе глубокомъ убѣжденіи въ необходимости и законности развитія всѣхъ силъ и способностей человѣческой природы. Нигдѣ это уваженіе къ достоинству человѣческой природы, сдѣлавшееся лозунгомъ эпохи Возрожденія, не выразилось съ такой силой, какъ въ знаменитой рѣчи итальянскаго гуманиста Пико-де-ля-Мирандола *De Hominis Dignitate*, которую онъ хотѣлъ произнести въ 1486 г. въ Римѣ, передъ началомъ своего несостоявшагося диспута съ католическими богословами. Рѣчь эта въ особенности интересна потому, что она, такъ сказать, стоитъ на рубежѣ двухъ эпохъ, что въ ней сливаются средневѣковыя воззрѣнія на міръ съ гордыми мечтами гуманистовъ о достоинствѣ человѣческой природы. Пико отправляется отъ положенія, что земля есть центръ міра, что вокругъ нея вращаются солнце и другія планеты; человѣкъ же есть центръ земли, узелъ и связь всего мірозданія (*nodus et vinculum mundi*), ибо въ немъ мы находимъ прозябаніе растеній, чувственную жизнь животныхъ, разумъ ангеловъ, подобіе Бога на землѣ. Богъ создалъ человѣка въ концѣ творенія, чтобы онъ могъ познавать законы вселенной, удивляться ея величію, восхищаться ея красотой. Въ заключеніе своей характеристики человѣка, Пико влагаетъ въ уста Творца вселенной такую рѣчь, обращенную къ Адаму: „Я не далъ тебѣ, Адамъ, никакого постояннаго жилища, никакого постояннаго занятія, для того, чтобы ты жилъ гдѣ захочешь, и избиралъ бы занятія, какія пожелаешь. Всѣ другія существа связаны условіями своей природы, ты же самъ рѣшишь, чѣмъ тебѣ быть. Я не создалъ тебя ни смертнымъ, ни бессмертнымъ, для того, чтобы ты самъ могъ быть своимъ собственнымъ ваятелемъ и принять ту форму, какую пожелаешь: ты можешь унизиться до животнаго и возвыситься до ангела“.

Когда подобныя воззрѣнія на достоинство человѣческой природы, возникшія на почвѣ изученія классической литературы,

стали укореняться въ обществѣ, они неминуемо должны были оказать вліяніе на измѣненіе педагогическихъ идеаловъ. Еще за нѣсколько десятковъ лѣтъ до рѣчи Пико дѣлаются въ Италіи попытки преобразованія школы на началахъ гуманизма. Замѣчательнѣйшая попытка въ этомъ направленіи принадлежитъ падуанскому гуманисту Витторино да-Фельтре, котораго по всей справедливости слѣдуетъ считать отцомъ новой педагогіи. Витторино происходилъ изъ бѣдной семьи: онъ родился въ 1378 г., въ деревушкѣ Фельтре, въ венеціанскихъ владѣніяхъ. Первоначальное образованіе онъ получилъ подъ руководствомъ знаменитаго странствующаго учителя риторики и латинскаго языка, Джіовани де-Равенна. Затѣмъ онъ поступилъ въ падуанскій университетъ, гдѣ содержалъ себя грошовыми уроками. Имѣя страстное влеченіе къ математикѣ и не имѣя чѣмъ заплатить единственному преподавателю этого предмета въ Падуѣ, Біаджіо Пелакане, Витторино, какъ въ послѣдствіи Гайднъ, поступилъ въ услуженіе къ своему учителю и оплачивалъ личнымъ трудомъ даваемые ему уроки изъ геометріи. На его несчастье, Біаджіо былъ плохой и вялый преподаватель и, поучившись у него нѣсколько времени, Витторино замѣтилъ, что изъ его уроковъ толку выйдетъ мало, и самъ заасѣлъ за Эвклида. Благодаря своимъ замѣчательнымъ способностямъ, Витторино сдѣлалъ въ скоромъ времени такіе быстрые успѣхи въ математикѣ, что самъ могъ преподавать этотъ предметъ. Въ 1414 г. мы встрѣчаемъ Витторино въ Венеціи въ качествѣ педагога-практика: онъ беретъ къ себѣ на воспитаніе нѣсколькихъ сыновей знатныхъ венеціанцевъ, а бѣдныхъ учить даромъ. Въ Венеціи Витторино знакомится и дружески сходится съ извѣстнымъ гуманистомъ Гварино изъ Вероны, который посвящаетъ его въ тайны греческаго языка. Приглашенный въ 1418 г. профессоромъ риторики въ свой родной университетъ, Витторино не бросилъ педагогіи и вскорѣ послѣ своего прибытія открылъ школу-пансіонъ для дѣтей всѣхъ сословій и состояній. Слава его, какъ педагога, до того распространилась по всей Италіи, что когда герцогъ мантуанскій, Джіанъ Франческо Гонзага, искалъ воспитателя для своихъ сыновей выборъ его остановился на Витторино. Принявъ лестное приглашеніе герцога, Витторино въ 1425 г. переѣхалъ въ Мантую. Герцогъ предоставилъ въ его распоряженіе великолѣпную виллу, построенную вдали отъ городского шума, на берегу озера, къ которой примыкали оливковые и кипарисовыя рощи. Въ этой виллѣ, болѣе похожей на увеселительный дворецъ итальянскаго сибарита, чѣмъ на школу,

поселился Витторино съ сыновьями герцога, ихъ слугами и знатными сверстниками. На содержаніе виллы были отпускаемы значительныя суммы; за обѣдомъ играла въ саду музыка, подъ звуки которой раздушенные лакеи разносили избалованнымъ и разодѣтымъ въ бархатъ и шелкъ воспитанникамъ изысканныя кушанья. Первымъ дѣломъ Витторино было уничтожить эту роскошную и вредную въ педагогическомъ отношеніи обстановку и ввести въ школу строгій режимъ. Музыка умолкла, утонченныя блюда были замѣнены простыми кушаньями; воспитанники одѣлись въ простое платье. Изъ знатныхъ сверстниковъ юныхъ герцоговъ Витторино выбралъ нѣсколько мальчиковъ, менѣе избалованныхъ и болѣе способныхъ къ труду, а остальныхъ отправилъ по домамъ. Эта рѣшительная мѣра вызвала нареканіе со стороны ихъ родителей, которые обратились къ герцогу съ жалобой на пріѣзжаго педагога. Когда слухи объ этомъ дошли до Витторино, онъ немедленно отправился во дворецъ, изложилъ герцогу свой планъ воспитанія и послѣдній безусловно одобрилъ всѣ его распоряженія. Получивъ отъ герцога всѣ необходимыя средства и право широко пользоваться кредитомъ въ казначействѣ, Витторино ревностно принялся за реорганизацію школы, въ которой хотѣлъ строго провести свою педагогическую теорію. Хотя школа первоначально, по мысли герцога, предназначалась для его сыновей и дѣтей придворныхъ, но Витторино не замедлилъ широко раскрыть ея двери для дѣтей всѣхъ сословій, какъ богатыхъ, такъ и бѣдныхъ. Для послѣднихъ онъ устроилъ невдалекѣ отъ школы пріютъ, гдѣ онъ ихъ содержалъ, одѣвалъ и снабжалъ необходимыми учебными пособіями.

Въ виду того, что мантуанская школа была древнѣйшимъ среднимъ учебнымъ заведеніемъ въ Европѣ, построеннымъ на новыхъ началахъ, я считаю не лишнимъ войти въ нѣкоторыя подробности ея устройства. Идеаломъ Витторино былъ Аѳинскій Гимнасій, гдѣ обращалось одинаковое вниманіе, какъ на умственное, такъ и на физическое воспитаніе юношества, а цѣлью его педагогіи было образованіе нравственнаго характера. Вотъ почему въ мантуанской школѣ учебныя занятія чередовались съ играми и физическими упражненіями на свѣжемъ воздухѣ. Каждый день въ извѣстныя часы во всякую погоду ученики упряжались въ бѣгъ, борьбу, плаваніи, игрѣ въ мячъ, стрѣльбѣ изъ лука; иногда имъ позволялось охотиться и ловить рыбу. Лѣтомъ они дѣлали подъ руководствомъ наставниковъ дальнія экскурсіи въ Верону, къ Гардскому озеру и даже на Альпы. Въ основу преподаванія

положены были древніе языки, которые въ старшихъ классахъ преподавалъ самъ Витторино. Изъ классиковъ онъ объяснялъ въ классѣ лишь тѣхъ, которые могли вліять нравственно-воспитательнымъ образомъ на юношество. Изъ поэтовъ онъ цѣнилъ выше прочихъ Вергилія, Гомера и Лукана; изъ историковъ онъ отдавалъ предпочтеніе Т. Ливію, изъ ораторовъ—Цицерону, изъ философовъ—Платону. Методъ преподаванія въ мантуанской школѣ былъ простъ, ясенъ и всегда примѣненъ къ возрасту и способностямъ учащихся. Параллельно съ чтеніемъ классиковъ шли занятія математикой, въ которой Витторино видѣлъ превосходное средство для гимнастики ума, и которой онъ хотѣлъ замѣнить схоластическую діалектику. Хотя педагогическіе труды раздѣляли съ Витторино нѣсколько учителей, но душою преподаванія и всей школы былъ онъ одинъ. Онъ жилъ съ своими учениками какъ отецъ съ дѣтьми, онъ отдавалъ имъ все свое время и всѣ свои средства. Для нихъ онъ отказался отъ радостей семейной жизни и сдѣлался почти анахоретомъ; и когда друзья совѣтовали ему жениться, чтобы имѣть сыновей, подобныхъ себѣ, онъ шутя отвѣчалъ, намекая на свою школу, что у него и безъ того слишкомъ много сыновей. Помня завѣтъ Платона, что свободное существо нужно воспитывать свободно, безъ всякаго насилія, Витторино старался дѣйствовать убѣжденіемъ и только въ весьма крайнихъ случаяхъ прибѣгалъ къ тѣлеснымъ наказаніямъ. Когда же его старанія увѣнчались нѣкоторымъ успѣхомъ, онъ обдуманно и безповоротнo рѣшился на смѣлый шагъ и изгналъ изъ своей школы всякія тѣлесныя наказанія. Строгая дисциплина, введенная имъ въ школу, единственно держалась силою нравственнаго вліянія этого необыкновеннаго человѣка, умъ котораго, по выраженію современника, былъ озаренъ лучомъ божественной благодати. Смиривъ свою пылкую натуру, служа самъ нравственнымъ примѣромъ своимъ воспитанникамъ, Витторино считалъ себя въ правѣ требовать и отъ другихъ борьбы съ природными инстинктами и неуклоннаго исполненія долга. Весело и бойко велось дѣло преподаванія, хорошо жилось воспитанникамъ въ школѣ Витторино, которую современники называли *Веселымъ Домомъ* (*Casa Giocosa*), но было бы неосновательно думать, что въ устроенной на греческій манеръ мантуанской школѣ религіозное образованіе стояло на послѣднемъ планѣ. Обязанный своимъ общимъ образованіемъ классикамъ, Витторино, тѣмъ не менѣе, былъ чуждъ свойственнаго большинству итальянскихъ гуманистовъ религіознаго индифферентизма и языческихъ увлеченій. Школа его была

проникнута истинно-религіознымъ духомъ; церковныя правила и посты исполнялись строго, ученики ежедневно должны были присутствовать при богослуженіи, а во время обѣда, въ антрактахъ между блюдами, имъ читалось Св. Писаніе. Единственнымъ пробѣломъ въ образцовой во всѣхъ отношеніяхъ мантуанской школѣ было отсутствіе преподаванія естественныхъ наукъ, которыя Витторино исключилъ, вѣроятно, потому, что въ его время было трудно найти для нихъ преподавателей.

Витторино не оставилъ послѣ себя никакихъ педагогическихъ сочиненій. Онъ былъ того мнѣнія, что лучше хорошо дѣйствовать, чѣмъ хорошо писать; но здравыя педагогическія начала, проводимыя имъ на практикѣ, нашли себѣ систематическое выраженіе въ сочиненіяхъ двухъ его современниковъ, Вержеріо и Веджіо, которыхъ можно назвать научными основателями новой теоріи воспитанія. Небольшой трактатъ падуанскаго профессора Паоло Вержеріо, *De Ingeniis, Moribus et liberalibus Studiis*, написанный въ началѣ XV в., замѣчателенъ въ томъ отношеніи, что въ немъ въ ясной и сжатой формѣ изложены принципы новой системы воспитанія, выросшей на почвѣ гуманизма. Въ основѣ этой системы лежатъ слѣдующія положенія: 1) цѣль воспитанія состоитъ въ правильномъ развитіи всѣхъ силъ и способностей человѣка, какъ умственныхъ, такъ и физическихъ; 2) при преподаваніи нужно принимать во вниманіе не только возрастъ ученика, но и особенности его индивидуальности; 3) такъ какъ на живую и воспріимчивую душу ученика сильнѣе можно дѣйствовать живымъ примѣромъ, нежели мертвыми правилами, то лучшее средство возбудить въ немъ благородное соревнованіе—это познакомить его съ жизнью великихъ людей, которыми такъ богата классическая древность, и 4) образованіе должно быть главнымъ образомъ основано на изученіи свободныхъ наукъ; во главѣ ихъ стоитъ философія, дѣлающая людей умственно свободными; за ней слѣдуетъ наука о краснорѣчии, обучающая насъ выражать ясно и изящно наши мысли; естествовѣдѣніе, обучающее насъ постигать гармонію всего сущаго, и, наконецъ, исторія, излагающая ходъ и развитіе предшествующихъ наукъ и снабжающая насъ массой полезныхъ примѣровъ. Въ развитіи этихъ положеній Вержеріо обнаруживаетъ значительную начитанность въ классическихъ авторахъ, большой педагогическій тактъ и тонкое знаніе человѣческой природы. Таковы, напр., его замѣчанія, что умъ ученика больше развивается основательнымъ изученіемъ одного сочиненія, чѣмъ поверхностнымъ чтеніемъ многихъ, что излишнее

обремененіе памяти массою мелкихъ фактовъ ведетъ къ ея переутомленію и окончательному ослабленію, что какъ отсутствіе дисциплины въ школѣ, такъ и слишкомъ суровая дисциплина дѣйствуютъ одинаково вредно: въ первомъ случаѣ духъ ученика, такъ сказать, распускается, лишается выдержки и способности къ труду, во второмъ—замученный ученикъ лишается всякой энергіи, всякой инициативы, ибо кто всего боится, тотъ не въ силахъ предпринять что-либо. Большей обстоятельностью и систематичностью отличается трактатъ римскаго педагога Маттео Веджіо *De liberorum Educatione*, пользовавшагося, кромѣ Вержеріо, также Квинтиллианомъ и Плутархомъ, сочиненіе котораго о *Воспитаніи* было переведено на латинскій языкъ Гварино. Это уже настоящая педагогика, слѣдящая за воспитаніемъ ребенка съ самаго его рожденія. Веджіо, какъ въ послѣдствіи Руссо, горячо возстаетъ противъ обычая отдавать дѣтей кормилицамъ и сильно настаиваетъ на томъ, чтобы матери сами кормили дѣтей своихъ. Правильное развитіе духа и тѣла, укорененіе въ ребенкѣ посредствомъ хорошихъ примѣровъ добродѣтельныхъ навыковъ, должно быть, по мнѣнію Веджіо, цѣлью всякаго воспитанія. Отправляясь отъ мысли Вержеріо, что при преподаваніи слѣдуетъ обращать вниманіе не только на возрастъ ребенка, но и на его индивидуальныя особенности, Веджіо подробно останавливается на этой индивидуальной психологіи. По мнѣнію Веджіо, между натурами дѣтей существуетъ разнообразіе въ такой сильной степени, что легче солнце совратить съ пути, нежели измѣнить прирожденные духовныя наклонности ребенка. Разнообразію человѣческихъ натуръ должны соответствовать разнообразныя средства ихъ воспитанія. Съ пылкимъ и дерзкимъ ребенкомъ нужно обращаться иначе, чѣмъ съ робкимъ и нѣжнымъ. Тоже самое должно имѣть въ виду и при ихъ умственномъ воспитаніи. На этомъ основаніи Веджіо не совѣтуетъ родителямъ отдавать дѣтей въ школы, гдѣ много учениковъ, ибо при большомъ количествѣ учениковъ даже лучший учитель не въ состояніи постоянно принимать въ расчетъ индивидуальныя особенности каждаго и сообразить съ ними свое преподаваніе и обращеніе. Взятое въ цѣломъ, сочиненіе Веджіо есть только болѣе систематическое развитіе принциповъ, высказанныхъ его предшественникомъ, но въ частностяхъ у него есть нѣкоторыя отступленія и нововведенія; такъ, подъ вліяніемъ Витторино, онъ исключаетъ изъ преподаванія естественныя науки, но зато, подъ тѣмъ же вліяніемъ, обращаетъ большее вниманіе на религіозную

сторону воспитанія и одинаково прилагаетъ свои педагогическіе принципы, какъ къ воспитанію мальчиковъ, такъ и къ воспитанію дѣвочекъ.

Я остановился довольно подробно на трехъ главныхъ піонерахъ новой педагогiи, потому что ихъ теорiи оказали немалое вліяніе на Эразма, Рабле, Монтеня, а черезъ нихъ и на всю новѣйшую науку о воспитаніи. Самое раннее и самое обстоятельное изложеніе новыхъ педагогическихъ принциповъ мы встрѣчаемъ во многихъ сочиненіяхъ знаменитѣйшаго европейскаго гуманиста Эразма Роттердамскаго. При оцѣнкѣ взглядовъ Эразма, не нужно упускать изъ виду, что въ его время схоластическая система воспитанія еще не была вполне устранена и что ему приходилось столько же сѣять новое, сколько заботиться объ искорененіи дурного стараго. Вслѣдствіе этого, его педагогическія разсужденія носятъ въ большей или меньшей степени полемическій характеръ. Отличительная черта педагогическихъ взглядовъ Эразма—это глубокое уваженіе къ святинѣ дѣтскаго возраста. По его словамъ, дѣти суть храмины Св. Духа, съ которыми нужно обращаться бережно и любовно. Въ противоположность Веджіо, придававшему слишкомъ большое значеніе природнымъ свойствамъ ребенка, Эразмъ утверждалъ, что воспитаніе можетъ пересоздать самую природу; все дѣло въ томъ, чтобы оно захватило ребенка въ самомъ нѣжномъ возрастѣ и руководствовало бы каждымъ шагомъ его. По Эразму воспитаніе необходимо должно пройти слѣдующія ступени: прежде всего нужно заронить въ воспріимчивую душу ребенка сѣмена благочестія, внушить любовь къ Творцу и увѣренность, что Ему извѣстны не только всѣ дѣла наши, но и самыя помысленія; когда такимъ образомъ почва для воспріятія науки будетъ достаточно подготовлена, можно приступить къ преподаванію наукъ, и въ заключеніе развить въ ученикѣ чувство долга, научить обращенію съ людьми. Начать обученіе можно съ семи или восьми лѣтъ, смотря по физическому и умственному развитію ребенка. Такъ какъ этотъ нѣжный возрастъ любитъ игры и забавы, то нужно устроить такъ, чтобы самое ученіе имѣло характеръ забавы и развлеченія. Хуже всего, если ребенокъ получитъ отвращеніе отъ науки раньше, чѣмъ узнаетъ, за что нужно любить ее. Первая забота родителей должна состоять въ пріисканіи хорошаго учителя. По мнѣнію Эразма, чтобы имѣть благотворное вліяніе на развитіе ученика, школьный учитель долженъ обладать массою самыхъ разнообразныхъ свѣдѣній. „По философіи онъ долженъ изучить Платона, Аристотеля,

Теофраста и Плотина; по богословію, кромѣ Св. Писанія, онъ долженъ быть знакомъ съ сочиненіями отцовъ церкви; по географіи, служащей весьма важнымъ вспомогательнымъ средствомъ при изученіи исторіи, ему слѣдуетъ знать сочиненія Помпонія Мелы, Птолемея, Плинія и Страбона. Изъ поэтовъ онъ долженъ ограничиться Гомеромъ и Овидіемъ; но зато онъ долженъ знать все, что можетъ служить для объясненія ихъ твореній. Вы можете сказать, что я возлагаю на плечи учителя, долженъ быть, непосильное бремя. Это справедливо, но обременяя одного, я этимъ самымъ облегчаю бремя многихъ. Я требую, чтобъ учитель прошелъ всю область человѣческаго вѣдѣнія, для того, чтобъ избавить учениковъ дѣлать самимъ то же самое“ (*De Ratione Studii*, 1512). Но всего этого еще недостаточно для хорошаго учителя; нужно, чтобъ, кромѣ свѣдѣній, онъ обладалъ бы высокимъ нравственнымъ развитіемъ, чтобы онъ умѣлъ обращаться съ дѣтьми и внушать имъ любовь и уваженіе къ себѣ. „Первое условіе успѣха—любовь ученика къ своему наставнику. Современемъ ребенокъ, полюбившій науку ради своего наставника, перенесетъ на него всю свою любовь къ знанію. Подобно тому, какъ цѣнность подарка зависитъ отъ лица, которое намъ даритъ его, такъ и наука въ дѣтскомъ возрастѣ, гдѣ еще не развитъ разсудокъ, возбуждаетъ любовь потому, что исходитъ отъ любимаго наставника“. (*De pueris liberaliter instituendis*). Принимая постоянно въ соображеніе нѣжный организмъ ребенка, Эразмъ возстаетъ противъ продолжительныхъ уроковъ, могущихъ утомить вниманіе учениковъ, и совѣтуетъ чаще возобновлять занятія, чередуя ихъ съ отдыхомъ и прогулками. Такъ какъ дѣтскій возрастъ обладаетъ способностью легко усваивать себѣ языки, то обученіе ребенка всего лучше начинать съ нихъ. Обученіе классическимъ языкамъ должно быть по преимуществу практическое; изъ грамматики нужно сообщать только самыя твердыя правила, безъ которыхъ нельзя обойтись. По мнѣнію Эразма, весьма полезно преподавать параллельно грамматики обоихъ древнихъ языковъ, такъ какъ при сходствѣ ихъ строя грамматика одного помогаетъ къ лучшему усвоенію грамматики другого. Эразмъ признаетъ также полезнымъ письменныя упражненія въ латинскомъ языкѣ и переводы съ греческаго на латинскій, но онъ горячо возстаетъ противъ жалкаго и бесполезнаго цицеронничанья, противъ недостижимой задачи усвоить себѣ, во что бы то ни стало, стиль Цицерона, и видитъ въ этой модѣ дурной примѣръ принесенія содержанія въ жертву формѣ. Въ своемъ знаменитомъ разговорѣ *Ciceronianus*

онъ всей силой своего остроумія обрушивается на нелѣпныхъ педантовъ, которые читаютъ только Цицерона, знаютъ сколько разъ извѣстное слово употреблено Цицерономъ и, начиная свои періоды цицероновскими частицами *Etsi, Quamquam, Quia*, не шутя воображаютъ себя Цицеронами. Когда ученикъ обладаетъ порядочнымъ запасомъ словъ и усвоить себѣ главныя грамматическія правила обоихъ древнихъ языковъ, тогда можно начать съ нимъ чтеніе латинскихъ и греческихъ авторовъ. Толковое чтеніе классиковъ, при чемъ главное вниманіе обращается не на внѣшнія особенности слога и грамматическія тонкости, но на внутреннее содержаніе,—составляетъ, по мнѣнію Эразма, краеугольный камень гуманнаго образованія. Никто лучше Эразма не сумѣлъ оцѣнить всѣ нравственно-воспитательные элементы, заключающіеся въ произведеніяхъ классическихъ писателей. Въ его *Colloquia* этому вопросу посвященъ цѣлый разговоръ, подъ заглавіемъ „*Религіозный Пиръ*“. Здѣсь Эразмъ утверждаетъ, что духъ христіанства распространяется гораздо больше, чѣмъ мы думаемъ, и что среди великихъ людей древности есть немало такихъ, которые по святости своей жизни и по возвышенности своихъ нравственныхъ воззрѣній могутъ быть поставлены рядомъ съ христіанскими святыми. Онъ сознается, что никогда не могъ читать Цицерона *О Дружбѣ* и *О Старости*, чтобъ среди чтенія не приложить къ губамъ страницъ, написанныхъ этимъ, какъ бы вдохновеннымъ Духомъ Божіимъ, человекомъ. Кромѣ филологическаго и литературнаго образованія, которое играетъ главную роль во всѣхъ педагогическихъ теоріяхъ гуманистовъ, Эразмъ совѣтуетъ наставнику сообщать ученикамъ реальныя свѣдѣнія изъ исторіи, географіи и естественныхъ наукъ; послѣднія, впрочемъ, не чисто въ значеніи самостоятельныхъ предметовъ и преподаются въ той мѣрѣ, въ какой это нужно для объясненія классиковъ.—Подобно своему предшественнику Веджію, Эразмъ предпочитаетъ школы съ небольшимъ количествомъ учениковъ, какъ домашнему воспитанію, такъ и многочисленнымъ общественнымъ заведеніямъ, ибо въ первомъ случаѣ невозможно благородное соревнованіе въ занятіяхъ, которое онъ считаетъ важнымъ условіемъ успѣха, а въ послѣднемъ учитель не имѣетъ возможности узнать натуру каждаго ученика.

Оставляя въ сторонѣ сочиненія протестантскихъ педагоговъ, которыя въ большей или меньшей степени проникнуты теологическимъ духомъ, я перехожу къ прямому наслѣднику Эразма и итальянскихъ гуманистовъ—знаменитому французскому романи-

сту и сатирику Франсуа Рабле, который не только усвоилъ себѣ все, что было лучшаго въ ихъ теоріяхъ, но повелѣлъ дѣло дальше и, устранивъ пробѣлы и ошибки своихъ предшественниковъ, далъ намъ свою собственную теорію воспитанія, поражающую широтою взгляда, практичностью и здравымъ смысломъ. Испытавъ, подобно Эразму, на собственной кожѣ всѣ прелести схоластическаго воспитанія, съ его бездушнымъ формализмомъ и варварской дисциплиной, Рабле въ своемъ знаменитомъ сатирическомъ романѣ *Гаргантюа* написалъ злую сатиру на старую педагогическую систему и для большей рельефности изобразилъ ее въ карикатурномъ видѣ. Но, какъ истинный гений, разрушая одной рукой, онъ въ то же время созидалъ другой, и вслѣдъ за карикатурой на схоластическое воспитаніе, онъ рисуетъ идеаль новаго гуманистическаго воспитанія, въ которомъ нашли себѣ осуществленіе и развитіе самыя горячія мечты Витторино, Вержеріо, Веджіо и Эразма. Рабле рассказываетъ, что когда пришло время воспитывать гиганта Гаргантюа, отецъ его Грангузье приставилъ къ нему въ качествѣ наставника доктора богословія Тубала Олоферна. Учитель началъ свое преподаваніе съ азбуки; на обученіе ей было употреблено пять лѣтъ и три мѣсяца; но зато и результаты получились блестящіе; ученикъ могъ проговорить когда угодно по порядку безъ запинки всѣ буквы азбуки, какъ съ начала, такъ и съ конца. Потомъ учитель засадилъ Гаргантюа за грамматику Доната, за книгу Іоанна Гарланда *De Modis Significandi*, со всѣми комментаріями на нее. На изученіе всей этой схоластической премудрости потребовалось 18 лѣтъ 11 мѣсяцевъ и 3 недѣли, но зато Гаргантюа овладѣлъ ею въ совершенствѣ и могъ проговорить любой изъ изученныхъ текстовъ наизусть не только съ начала, но и съ конца. Религіозное воспитаніе шло рука объ руку съ научнымъ; ежедневно Гаргантюа отправляли въ церковь, гдѣ онъ заразъ выслушивалъ отъ 26 до 30 мессъ, а по окончаніи богослуженія, прогуливаясь по монастырскому саду, бормоталъ себѣ подъ носъ *Отче нашъ* столько разъ, сколько этого не сдѣлать и шестнадцати отшельникамъ. Даже наставникъ не выдержалъ этого искуса, онъ умеръ на шестнадцатомъ году преподаванія и былъ немедленно замѣненъ другимъ педагогомъ того же пошиба, магистромъ Бриде, который читалъ съ Гаргантюа грамматику Гугуція, книгу Грецизмовъ Гебрарда, Доктриналь францисканскаго монаха Александра де-Вильдье и т. п. поучительныя сочиненія. Старый король былъ вполне доволенъ прилежаніемъ сына; одно только казалось ему страннымъ: чѣмъ болѣе Гарган-

тѹа учился, тѣмъ онъ становился глупѣе. Это систематическое оупѣніе сына начало серьезно беспокоить короля, и онъ обратился за совѣтомъ къ своему сосѣду, Филиппу де-Маре, вице-королю баснословной страны Папелиггосовъ. Тотъ съ первыхъ же словъ разъяснилъ смущенному Грангузѣ, что виноваты во всемъ наставники, которые хоть кого могутъ оболванить своей наукой, ибо самая ихъ наука есть ничто иное, какъ глупость (*car leur sçavoir n'est que besterie*). „Назовите меня комомъ сала,—сказать въ заключеніе Филиппъ де-Маре,—если любой юноша, проучившійся всего два года у новыхъ учителей, не окажется умнѣе, краснорѣчивѣе и находчивѣе въ обществѣ, чѣмъ вашъ сынъ“. Старый король соглашается на опытъ и велитъ позвать сына, а Филиппъ де-Маре, съ своей стороны, велитъ позвать своего пажу, двѣнадцатилѣтняго мальчика, по имени Эвдемона. Скромно поклонившись присутствовавшимъ, Эвдемонъ обратился къ Гаргантюа съ привѣтствіемъ; въ приличныхъ выраженіяхъ онъ сначала воздалъ дань уваженія царственному происхожденію Гаргантюа, его красотѣ, учености и добродѣтели, потомъ превознесъ похвалами Грангузѣ за его заботы о воспитаніи сына, убѣждалъ Гаргантюа почитать и слушаться такого отца, и въ заключеніе просилъ Гаргантюа считать его послѣднимъ изъ своихъ слугъ. Все это было сказано такъ ясно, краснорѣчиво, такимъ хорошимъ латинскимъ языкомъ и съ такими соотвѣственными рѣчи жестами, что Эвдемонъ больше походилъ на Гракха или на Цицерона, чѣмъ на современнаго юношу. Гаргантюа хотѣлъ что-то отвѣчать, но языкъ его, привыкшій повторять только заученныя слова, не слушался его: онъ сопѣлъ, кряхтѣлъ и, наконецъ, заревѣлъ, какъ корова. Тутъ король убѣдился, что сосѣдъ его правъ; онъ тотчасъ отказалъ старому педагогу и, взявши въ наставники къ сыну Понократа, учителя Эвдемона, отправилъ его вмѣстѣ съ сыномъ въ Парижъ. Въ лицѣ Понократа выведенъ привлекательный типъ педагога-гуманиста. Проф. А. Н. Веселовскій въ своемъ превосходномъ этюдѣ о Раблѣ (Вѣстн. Евр. 1878. Мартъ) весьма вѣрно замѣтилъ, что основную черту средневѣковаго воспитанія составляла его книжность, его безжизненный формализмъ. Въ средневѣковыхъ школахъ изучали не самый предметъ, но книгу о немъ; всякая новая книга заимствовалась изъ предыдущей, толкуя ее, объясняя или затемняя ея содержаніе искусственными формулами. Ученикъ отправлялся не отъ факта, не отъ непосредственнаго наблюденія, но отъ отысканной въ книгѣ готовой формулы, которую ему оставалось лишь задо-

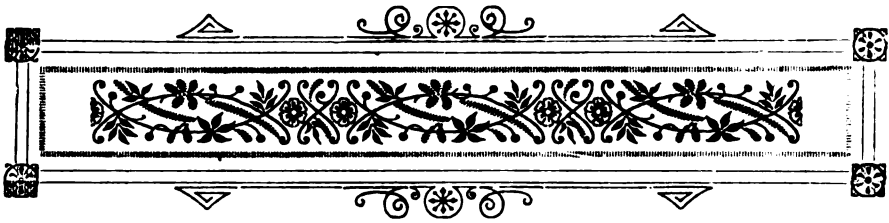
бить, либо опровергать какимъ-либо силлогизмомъ или формулой, заимствованными изъ другой книги. Понократъ вывелъ своего воспитанника изъ душевной комнаты на свѣжій воздухъ, приучилъ его къ наблюденію и непосредственному изученію природы и жизни. Педагогическое искусство новаго педагога въ особенности проявилось въ распредѣленіи времени; ни одинъ часъ его не пропадалъ даромъ для ученика. При прежнихъ наставникахъ Гаргантюа просыпался не ранѣе восьми часовъ утра и часъ или два валялся въ постели; теперь его поднимали въ четыре часа и заставляли немедленно умываться и одѣваться. Во время утренняго туалета ему прочитывалась страница изъ Св. Писанія, нерѣдко возбуждавшая въ немъ желаніе молиться. Затѣмъ учитель выводилъ ученика на свѣжій воздухъ, наблюдалъ вмѣстѣ съ нимъ состояніе неба, разъяснялъ положеніе солнца, возрастъ луны и т. д. Тутъ же происходило повтореніе вчерашняго урока; и всякій разъ учитель пользовался этимъ случаемъ, чтобы указать на тѣ практическія примѣненія, которыя можно извлечь изъ урока. Послѣ легкаго завтрака, слѣдовали три часа чтенія и классныхъ занятій, по окончаніи которыхъ учитель и ученикъ играли въ мячъ и предавались физическимъ упражненіямъ вплоть до самаго обѣда. Во время стола читали вслухъ что-нибудь веселое и занимательное, чаще всего какой-нибудь рыцарскій романъ, при чемъ учитель искусно наводилъ разговоръ на предметы, имѣющіе отношеніе къ столу: на хлѣбъ, вино, рыбу, фрукты, зелень, сообщалъ свѣдѣнія объ ихъ приготовленіи, подкрѣпляя свои мнѣнія ссылкой на мѣста изъ произведеній классическихъ писателей, которыя тутъ же и прочитывались. Прочитавъ послѣобѣденную молитву, Понократъ и Гаргантюа садились за карты, играющія въ системѣ Рабле роль не только развлеченія, но и поученія, ибо нечувствительно приучали Гаргантюа къ ариѳметическимъ вычисленіямъ. Черезъ часъ карты смѣнялись урокомъ, который, какъ и утроемъ, продолжался ровно три часа и заканчивалъ собою классныя занятія. Покончивъ съ книжнымъ ученіемъ, учитель и ученикъ снова выходили на воздухъ. Здѣсь на смѣну Понократу являлся учитель гимнастики, подъ руководствомъ котораго юный Гаргантюа упражнялся въ фехтованіи, борьбѣ, верховой ѣздѣ, плаваньи и т. д. Умывшись и перемѣнивъ платье, Гаргантюа съ Понократомъ, гербаризируя дорогой, шли домой, гдѣ ихъ ждалъ обильный ужинъ, приправленный чтеніемъ и развивающей бесѣдой. Учебный день заканчивался урокомъ астрономіи и молитвой. Въ ненастные дни измѣнялся не только порядокъ занятій, но и

самыя занятія. Гаргантюа производилъ физическія упражненія на дому, пилилъ и рубилъ дрова и, кромѣ того, занимался искусствами, музыкой, живописью и ваяніемъ. Въ эти дни Понократъ откладывалъ въ сторону книгу и давалъ своему ученику не менѣе поучительные уроки практической жизни, посѣщалъ съ нимъ фабрики, мастерскія, суды, слушалъ проповѣди и т. д. Такова, м. г., педагогическая теорія, завѣщанная человѣчеству однимъ изъ самыхъ оригинальныхъ мыслителей эпохи Возрожденія! Что идеи Рабле были усвоены и развиты Монтенемъ, Коменскимъ, Локкомъ, и черезъ ихъ посредство сдѣлались достояніемъ новѣйшей педагогіи—это доказано Гизо, Аришtedгомъ и др. учеными, и потому, оставляя этотъ вопросъ въ сторонѣ, я въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о значеніи педагогическихъ теорій эпохи Возрожденія для современной школы. Не помню, кто сказалъ, что лучшій учитель скромности—исторія. Кто знаетъ только послѣдній фазисъ развитія извѣстнаго принципа, тотъ склоненъ подумать, что этотъ фазисъ есть не только послѣдній, но и самый высшій. Но исторія лишаетъ насъ этого пріятнаго самообольщенія. Конечно, современная школа имѣетъ громадныя преимущества передъ школой эпохи Renaissance. Главное ея преимущество состоитъ въ томъ, что она рассчитана не на аристократическое меньшинство, но на массу, которая радушно пріобщается теперь благамъ просвѣщенія; безспорно, что самый методъ преподаванія у насъ лучше, что наша школа сообщаетъ больше научныхъ свѣдѣній, чѣмъ школа XVI вѣка. Но при всемъ томъ есть пункты, по которымъ наша школа, несомнѣнно, осталась позади. Гдѣ въ нашихъ школахъ мы встрѣтимъ то гармоническое развитіе духа и тѣла, которое, по ученію педагоговъ-гуманистовъ XV и XVI вѣка, составляетъ задачу воспитанія? Какая изъ нашихъ гимназій ставитъ своей цѣлью развитіе нравственно характеръ воспитанника и закалить его для предстоящей борьбы съ жизнью? Гдѣ у насъ читаютъ классиковъ такъ, какъ учили ихъ читать Эразмъ, заповѣдавшій обращать главное вниманіе не на форму, стиль и грамматическія тонкости классическихъ писателей, а на тотъ духъ гуманности и свободы, который вѣетъ изъ ихъ произведеній? Гдѣ мы найдемъ въ настоящее время педагоговъ разностороннихъ, какъ Понократъ, и подобно ему умѣющихъ расширить кругозоръ ученика и сблизить въ своемъ преподаваніи науку съ жизнью?

Всѣмъ извѣстны недостатки нашей, вновь преобразованной, классической школы, которой въ будущемъ предстоитъ, по всей

вѣроятности, еще немало преобразованій. Было бы весьма желательно, чтобы будущіе преобразователи нашей классической школы по временамъ прислушивались къ урокамъ исторіи, обращивались бы назадъ и хоть отчасти почерпали свое педагогическое вдохновеніе не въ современныхъ только школьныхъ порядкахъ запада, во многомъ отзывающихся схоластикой и мертвымъ формализмомъ, но изрѣдка обращались бы къ великимъ гуманистамъ-педагогамъ эпохи Возрожденія, оставившимъ намъ въ своихъ сочиненіяхъ идеалы гармоническаго, разносторонняго и вмѣстѣ гуманно-классическаго воспитанія.





Джордано Бруно, какъ поэтъ, сатирикъ и драматургъ *).

М. Г.! Мои уважаемые предшественники ярко освѣтили личность и міросозерцаніе Дж. Бруно, коснулись разныхъ сторонъ его характера и дѣятельности; только одной стороны—именно стороны литературной—они съ умысломъ не затронули, любезно предоставивъ ее мнѣ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что для полной характеристики Бруно оцѣнка этой стороны его таланта и дѣятельности положительно необходима. Бруно былъ не только философъ, но поэтъ и сатирикъ; онъ мыслилъ поэтически; онъ обладалъ замѣчательнымъ литературнымъ талантомъ и облакалъ свои философскія воззрѣнія въ оригинальную литературную форму. Въ его философскихъ построеніяхъ фантазія играетъ едва-ли не большую роль, чѣмъ трезвый умъ и строгая логика. Этимъ свойствомъ ума Бруно отчасти объясняется его любовь къ Пинеагору и Платону и ненависть къ Аристотелю. По мнѣнію Бруно, художественная способность необходима для философа, ибо философы суть до нѣкоторой степени живописцы и поэты. Тотъ не философъ, кто не изображаетъ и не творитъ **). Изученіе поэтическихъ и философскихъ произведеній древняго и новаго міра было въ молодости любимымъ занятіемъ Бруно, и чтобы безпрепятственнѣе предаваться этимъ занятіямъ, онъ, подобно своему знаменитому предшественнику Бернардино Телезію, добровольно заключилъ себя въ монастырь ***). Однимъ изъ раннихъ

*) Статья эта была читана въ апрѣлѣ 1885 г. на соединенномъ публичномъ за-сѣданіи двухъ обществъ—Психологическаго и Любителей Россійской Словесности по случаю открытія въ Римѣ памятника Джордано Бруно.

**) *Philosophi sunt quodammodo pictores atque poetae.—Non est philosophus nisi fingit et pingit.*

***) Bartholmess, Giordano Bruno, T. 1. p. 32.

произведеніи Бруно была сатира *Ноевъ Ковчегъ*, въ которой онъ изобразилъ различные классы человѣческаго общества подъ видомъ различныхъ породъ звѣрей, собранныхъ попарно въ ковчегъ. Хотя Ноевъ ковчегъ и не дошелъ до насъ, но изъ руководящей роли, предоставленной въ немъ ослу, которому сами боги поручили управление кораблемъ, можно безошибочно заключить, что это было произведение сатирическаго характера. Покинувъ тайно Неаполь и отрѣзавъ себѣ возвратъ въ Италію, Бруно предается усиленной дѣятельности; онъ пропагандируетъ свои идеи съ кафедръ и въ разъясненіе ихъ издаетъ цѣлый рядъ трактатовъ. Издавъ въ Парижѣ нѣсколько философскихъ сочиненій на латинскомъ языкѣ, онъ переѣзжаетъ въ Лондонъ и печатаетъ тамъ рядъ діалоговъ на родномъ языкѣ, изъ которыхъ три скорѣе можно назвать памфлетами, чѣмъ философскими трактатами. Какъ ни мастерски владѣлъ Бруно латинскимъ языкомъ, все-таки ему нерѣдко приходилось жертвовать идеей формъ и сдерживать капризы своей фантазіи въ угоду латинской стилистикѣ. Только въ итальянскихъ произведеніяхъ онъ является вполне самимъ собою и даетъ полный просторъ причудливой оригинальности своего генія и своей необыкновенно-подвижной, порывистой, чисто-южной натурѣ. Примѣняясь къ характерамъ выводимыхъ лицъ, онъ съ необыкновенной быстротой мѣняетъ тонъ рѣчи, пересыпая ее блестками остроумія, мѣткими сравненіями, пословицами, анекдотами и тѣми народными прибаутками, тѣми *lazzi*, которыми приправлена рѣчь всякаго истаго неаполитанца. Этими достоинствами отчасти искупаются недостатки слога Бруно, происходящіе главнымъ образомъ оттого, что Бруно не заботился о стройномъ и систематическомъ изложеніи своихъ мыслей. Бюффонъ въ своемъ знаменитомъ *Discours sur le style* мѣтко замѣчаетъ, что великіе ораторы почти никогда не бываютъ хорошими писателями, потому что они пишутъ какъ говорятъ, забывая, что литературная форма имѣетъ свои особые условія, что тутъ всегда нужно быть готовымъ приносить цвѣты краснорѣчія въ жертву ясности и стройности изложенія. А этого-то и не понималъ Бруно. Онъ писалъ какъ говорилъ; онъ импровизировалъ на бумагѣ, повторяясь на каждомъ шагу и поминутно отклоняясь отъ главнаго предмета, такъ что требуется не малое усиліе чтобы слѣдить за причудливымъ полетомъ его мысли. Оригинальную черту философскихъ разговоровъ Бруно составляютъ вставленные въ нихъ сонеты, изъ которыхъ нѣкоторые обладаютъ несомнѣнными поэтическими достоинствами. Почти каждому изъ своихъ произведе-

ній Бруно предпосылаетъ нѣсколько латинскихъ и итальянскихъ стихотвореній философскаго содержанія, въ которыхъ онъ излагаетъ въ стихотворной формѣ свои задушевныя убѣжденія; а одинъ изъ его обширныхъ философскихъ разговоровъ *Gli Eroici Furori* состоитъ изъ 70 сонетовъ и разъясненій къ нимъ, дѣлаемыхъ бесѣдующими лицами.—Чтобы дать вамъ понятіе о характерѣ лирическихъ произведеній Бруно, я приведу два его прекрасныхъ сонета въ русскомъ переводѣ. Сонеты эти предпосланы Бруно его философскому разговору *De L'Infinito Universo Mondi* и отличаются замѣчательной возвышенностью мысли и силою выраженія. Первый изъ нихъ, переведенный для настоящаго заведенія студентомъ Л. И. Уманцемъ, дышитъ радостнымъ чувствомъ освобожденія отъ оковъ, и, по мнѣнію Льюиса, написанъ вскорѣ послѣ бѣгства Бруно изъ монастыря:

Оставилъ я темницы мракъ суровой,
Гдѣ былъ томимъ ошибкой роковой,
Оставилъ я тяжелыя оковы
Лихой вражды завистливой и злой,
Нельзя меня во мракъ низвергнуть снова;
Пиеона кто убилъ своей рукой
И въ море кровь излилъ струей багровой—
Тотъ спасъ меня изъ рукъ Мегеры злой.
Къ тебѣ несусь, стремлюсь, о звукъ чудесный,
Благодарю, о солнца лучъ небесный,
И отдаюсь тебѣ я всей душой!
Твоя рука изъ бездны и могилы
Меня спасла и лучший путь открыла
И жизнь дала душѣ моей больной.

Бруно очень хорошо зналъ, что всякій, пловшій въ его время противъ теченія, рисковалъ почти навѣрное утонуть, но онъ презиралъ опасность и не страшился смерти, потому что въ самой смерти видѣлъ только переходъ къ лучшей жизни, гдѣ душа его сольется съ всемірнымъ духомъ, духомъ свѣта и любви, наполняющимъ собою всю вселенную. Подъ вліяніемъ этого бодрого и возвышеннаго чувства написанъ имъ слѣдующій сонетъ, которымъ онъ отвѣчалъ на закравшееся въ его душу предчувствіе близкой кончины:

«Что меня окрыляетъ? Что возвышаетъ мой духъ? Что заставляетъ меня презирать и судьбу и самую смерть? Что разрываетъ мои цѣпи и освобождаетъ меня изъ темницы, откуда весьма немногіе вышли невредимыми? Годы мѣсяцы, дни и часы, передъ которыми оказываются безсильными алмазы и желѣзо не производятъ на меня никакого вліянія. Увѣренными крыльями,

разсѣкая кристалльнй сводъ неба, я устремляюсь къ безконечному. Перелетая со сферы на сферу, я поднимаюсь все выше и выше въ воздушномъ пространствѣ, оставляя позади все то, что другіе вѣчно видятъ передъ собою».

Бруно былъ поэтъ особаго рода: не глубокое чувство, но философская мысль воспламеняла его фантазію. Въ одномъ стихотвореніи онъ воспѣваетъ Бога, какъ зиждущую силу всего сущаго, въ другомъ—матерію, какъ обнаруженіе внутренняго, какъ материнское лоно для всего живаго, какъ воплощеніе всемірнаго духа. Главной героиней сонетовъ Бруно является любовь, понимаемая имъ въ смыслѣ флорентинскихъ платониковъ, какъ синонимъ гармоніи и блага, какъ вѣчное стремленіе къ божественной красотѣ. Въ юности, когда кровь кипѣла, Бруно понималъ любовь въ обыкновенномъ смыслѣ слова: онъ увлекался женщинами и былъ ими въ свою очередь любимъ: *Per amantem me quoque purpurea*—многозначительно замѣчаетъ онъ; но достигнувъ зрѣлаго возраста, онъ взглянулъ на это чувство съ болѣе возвышенной точки зрѣнія. Изъ страстнаго поклонника земной и конечной красоты онъ сдѣлался не менѣе страстнымъ поклонникомъ красоты вѣчной и безконечной. Бруно считалъ себя послѣдователемъ Петрарки, но утверждалъ, что существуетъ красота, болѣе достойная восторга, чѣмъ красота Лауры. „Похвально и естественно,—говоритъ онъ,—восхищаться красотой женщины! но посвятить воспѣванію ея всю жизнь, всѣ силы души—недостойно человѣка. Воздайте Кесарево Кесарю, но не забудьте воздать Божіе Богу. Завѣтъ Творца состоитъ въ томъ, чтобы человѣкъ обожалъ только вѣчную красоту, стремился къ вѣчному совершенству. Въ одномъ стихотвореніи Бруно сравнивалъ себя съ бабочкой, которая неудержимо стремится къ огню и погибаетъ въ немъ, съ жаждущимъ оленемъ, который стремительно мчится къ ручью, не думая о стрѣлѣ охотника. „Такъ сладко и отрадно мое стремленіе,—воскликаетъ онъ,—что я не чувствую пламени сжигающаго меня и ранъ, наносимыхъ божественной стрѣлой, и не имѣю силъ освободиться отъ моихъ оковъ“.

Помимо своихъ несомнѣнныхъ литературныхъ достоинствъ, философскіе разговоры Бруно имѣютъ важное значеніе въ итальянской литературѣ, какъ одна изъ раннихъ попытокъ излагать философскія идеи на итальянскомъ языкѣ. Великая мысль Данте, что пора научныя свѣдѣнія излагать на родномъ языкѣ, чтобы приобщить народъ къ трапезѣ ангеловъ, была давно забыта. Уси-

ліями эрудитовъ XV в. итальянскій языкъ былъ снова отодвинутъ на второй планъ и всѣ знаменитые итальянскіе философы XVI в. Помпонацци, Телезіо и др. писали свои сочиненія на языкъ латинскомъ, который считался единственно достойнымъ и пригоднымъ для выраженія возвышенныхъ философскихъ идей. Въ 1529 г. Амазео обратился къ императору и папѣ съ просьбой объявить еритикомъ всякаго, кто осмѣлится писать серьезныя книги на итальянскомъ языкѣ, который, по его мнѣнію, слѣдуетъ предоставить мастеровымъ и лавочникамъ. Если принять все это въ соображеніе, если вспомнить, что даже въ XVII в. Декартъ извинялся, что написалъ свой *Discours de la Méthode* на французскомъ языкѣ, то должно отдать справедливость смѣлости Дж. Бруно и признать, что и въ этомъ отношеніи онъ былъ новаторомъ.

Хотя право на мѣсто Бруно въ исторіи литературы основывается главнымъ образомъ на его комедіи *It Candelajo*, но прежде чѣмъ перейти къ ея разсмотрѣнію, я считаю нужнымъ познакомиться васъ съ содержаніемъ знаменитаго памфлета Бруно *Spaccio della Bestia Trionfante*, (Изгнаніе торжествующаго звѣря), въ которомъ проявился во всемъ блескѣ его сатирической талантъ. Памфлетъ этотъ былъ изданъ въ 1583 г. въ Англіи и посвященъ Бруно его другу, извѣстному Филиппу Сиднею. Ни одно сочиненіе Бруно не имѣло такого успѣха и не создало ему столько враговъ. Дѣйствіе памфлета происходитъ на небѣ въ годовщину низверженія гигантовъ въ Тартаръ. Въ прежнія времена въ этотъ день былъ большой банкетъ на Олимпѣ; теперь же Юпитеръ созываетъ боговъ единственно затѣмъ, чтобы сообщить имъ, что наступили плохія времена, что его повелѣнія не исполняются на землѣ, что даже дымъ отъ жертвъ не доходитъ до его обонянія. „Да и самъ я,—продолжаетъ Юпитеръ,—сильно состарѣлся. Тѣло у меня сохнетъ, кожа желтѣетъ, зубы выпадаютъ, зрѣніе становится хуже, кашель и одышка одолѣваютъ меня, ноги дрожать, я едва могу держаться на моемъ тронѣ, а съ нѣкотораго времени даже Юнона перестала ревновать меня. Венера, моя любезная сестрица, посмотри въ зеркало, не то же ли стало съ тобою? Развѣ время не провело бороздъ на твоемъ челѣ, не уменьшило твоихъ прелестей и не убавило твоихъ поклонниковъ? Куда дѣлись чудныя ямочки на твоихъ щекахъ, придававшія столько прелести твоей улыбкѣ? Смѣйся или нѣтъ, но когда чело покрывается морщинами, кожа чернѣетъ и стягивается къ костямъ, то все это признаки паденія красоты. Не плачь, мой

другъ! Это неизбежно; время сильнѣе насъ; всѣ мы подвержены измѣненію; но что меня всего болѣе огорчаетъ, такъ это то, что мы, хотя и боги, не имѣемъ никакой надежды быть тѣмъ, чѣмъ были прежде. Наше величіе, достоинство, красота, страхъ, внушаемый нами и почести, которыя намъ воздавали, все это исчезаетъ; только истина и добродѣтель остаются неизмѣнными... Вы можете быть думаете, что я по обыкновенію созвалъ васъ сегодня на пирь—ошибаетесь! Сегодня самый печальный день изъ всего года. Кто изъ васъ, подумавъ немного, не счелъ бы постыднымъ праздновать воспоминаніе о нашей славной побѣдѣ надъ гигантами теперь, когда насъ въ грошъ не ставятъ земныя букашки. Отчего не угодно было всемогущей судьбѣ тогда же низвергнуть насъ въ Тартаръ? Величіе и сила нашихъ противниковъ сдѣлали бы не такъ постыднымъ наше пораженіе. Теперь же наше положеніе на небѣ хуже, чѣмъ было бы послѣ пораженія, ибо мы не внушаемъ людямъ никакого страха. Божественное правосудіе вырываетъ у насъ изъ рукъ власть, которою мы умѣли только злоупотреблять. Люди теперь знаютъ наше безсиліе, и само небо свидѣтельствуетъ о нашихъ безчинствахъ. Я самъ, старый грѣшникъ, сознаюсь въ моихъ прегрѣшеніяхъ противъ высшей справедливости, сознаюсь, что я вамъ подавалъ дурной примѣръ". По мнѣнію отца боговъ и людей, есть одно средство если не совсѣмъ поправить дѣло, то хотя на время отсрочить катастрофу. Средство это состоитъ въ томъ, чтобъ удалить съ неба всѣ тѣ божества, съ которыми связаны скандальныя или преступныя воспоминанія и замѣнить ихъ добродѣтелями и разумными силами. „Изгонимъ съ неба нашего духа Медвѣдицу нравственнаго безобразія, Стрѣлу злословія, Жеребенка легкомыслія, Пса раздоровъ, Собаку раболопства. Отринемъ отъ себя Геркулеса насилія, Лиру заговоровъ, Треугольникъ нечестія, Волопаса непостоянства, Цефея жестокости" и т. д. Совѣтъ Юпитера принять большинствомъ собравшихся боговъ и рѣшено немедленно произвести радикальную реформу на Олимпѣ. Разумѣтся, назначенныя въ отставку божества протестуютъ, ссылаются на свои заслуги, на то что сами люди возвели ихъ нѣкогда въ санъ боговъ и помѣстили въ ряду созвѣздій. Въ виду всего этого происходитъ на небѣ нѣчто въ родѣ судебного засѣданія, на которомъ боги высказываютъ свои мнѣнія о каждомъ удаляемомъ божествѣ и разбираютъ достоинства кандидата которымъ предполагается замѣнить его. Разумѣтся рѣшающій голосъ въ этихъ совѣщаніяхъ принадлежитъ Юпитеру, который даетъ созвѣздіямъ и знакамъ зодіака, называвшимся

прежде большею частію по именамъ различныхъ звѣрей, имена добродѣтелей и разумныхъ силъ. Этимъ и объясняется курьезное названіе памфлета Бруно. Созвѣдіе большой Медвѣдицы будетъ отнынѣ называться Истиной, Пегасъ—Вдохновеніемъ, Драконъ — Благоразуміемъ, Козерогъ—Умственной Свободой и т. д. Сдѣлавъ все это, громовержець пріободрился и повеселѣлъ. Онъ указалъ рукою на послѣдній еще остававшійся не переименованнымъ знакъ зодіака, на созвѣдіе Рыбъ и велѣлъ немедленно снести ихъ на кухню и приготовить къ ужину подъ римскимъ соусомъ. „Да приготовить это поскорѣе, потому что отъ всѣхъ этихъ преній и разсужденій я страшно проголодался; надѣюсь, что и вы не меньше моего“. Слова эти были покрыты громкими криками „браво“; боги оставили залу совѣщанія и стали готовиться къ ужину.

Если и до сихъ поръ ученые не успѣли согласиться между собой относительно значенія аллегоріи, мастерски выдержанной Бруно на всемъ протяженіи его остроумнаго памфлета, то можно себѣ представить, какіе противорѣчивые толки возбудила книга Бруно при своемъ появленіи въ свѣтъ. Одни говорили, что здѣсь осмѣянь Тридентскій соборъ, другіе, что въ лицѣ Юпитера выведено отживающее свой вѣкъ папство; третьи наконецъ утверждали, что для автора нѣтъ ничего святого, что онъ задумалъ ни болѣе, ни менѣе какъ изгнать изъ христіанскаго календаря всѣхъ святыхъ. Наиболѣе распространенное мнѣніе было, что подъ видомъ Юпитера Бруно осмѣялъ Папу, и весьма вѣроятно, что оно не мало способствовало осужденію Бруно *). Съ своей стороны самъ Бруно не только не далъ ключа къ своей аллегорической сатирѣ, но въ обширномъ посвященіи ея Филиппу Сиднею онъ постарался какъ можно болѣе затемнить дѣло. Такъ въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что въ его сочиненіи скрытъ подъ шутовской маской глубокій смыслъ, сокровище истины и добродѣтели, которое не можетъ быть разсмотрѣно не вооруженнымъ глазомъ; въ другомъ, что онъ, стремясь къ истинѣ и простотѣ, всюду называетъ вещи ихъ собственными именами. Сначала протестанты обрадовались было нападкамъ Бруно на католицизмъ, но нѣсколько остроумныхъ и язвительныхъ выходовъ противъ лютеранства и кальвинизма, сгоряча не замѣченныхъ, значительно охладили ихъ восторгъ. Если онъ не католикъ и не протестантъ, то онъ очевидно атеистъ и богохулець—такъ порѣшили современники Бруно и рукоплескали осужденію его на смерть. Нужно сказать правду, что, стоя на теологической точкѣ

зрѣнія, они и не могли прийти къ другому рѣшенію. Но тѣмъ не менѣе они жестоко ошиблись: Бруно не былъ ни католикомъ, ни протестантомъ, всего менѣе атеистомъ. Для насъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что Бруно, стоявшій на высшемъ уровнѣ тогдашней образованности, не могъ быть ничѣмъ инымъ, какъ только гуманистомъ, а извѣстно, что для гуманистовъ стояла на первомъ планѣ не форма и догма, а духъ и содержаніе. Изученіе религіи и философіи древняго міра привело ихъ къ убѣжденію, что по основнымъ вопросамъ всѣ религіозныя системы сходны между собою, что сущность ихъ—любовь къ Богу и признаніе извѣстнаго нравственнаго идеала; все же остальное несущественно. Стоя на такой раціоналистической точкѣ зрѣнія, отвлекая сущность религіи отъ ея порожденныхъ историческими обстоятельствами формъ, они считали себя вправѣ взвѣшивать сравнительныя достоинства различныхъ религій и смотрѣть свысока на теологическій задоръ людей, которые готовы были уничтожить другъ друга изъ-за догмата Св. Троицы или Пресуществленія. По мнѣнію одного знаменитаго гуманиста XVI в. Шатильона (болѣе извѣстнаго подъ его латинскимъ именемъ Castallio) спорить о разницѣ между закономъ и благодатью все равно, что спорить о томъ, пріѣхалъ ли какой нибудь государь верхомъ или въ экипажѣ въ красномъ или бѣломъ костюмѣ. На христіанство они смотрѣли какъ на религію любви, нравственнаго совершенства и умственной свободы, и устами Шекспира (Зимняя Сказка, актъ II, сцена, II) смѣло объявляли еретикомъ не того, кто горѣлъ, а того кто зажигалъ костеръ. Такъ смотрѣли на религіозныя вопросы великіе гуманисты XVI в. Эразмъ, Рабле, Ульрихъ фонъ-Гуттенъ и т. д., и такую же религію любви, нравственнаго совершенства и умственной свободы исповѣдывалъ и Джордано Бруно. Подобно другимъ гуманистамъ и Бруно, не признававшій существенной разницы между различными религіями, считалъ себя въ правѣ сравнивать язычество съ христіанствомъ и по нѣкоторымъ пунктамъ отдавалъ преимущество первому **), что конечно инквизиція не позабыла поставить ему на счетъ ***). Можно

*) Нѣмецкій ученый Каспаръ Шопе (Scioppius), служившій при папскомъ дворѣ и хорошо знавшій, что тамъ говорилось, выражается по этому случаю весьма увѣренно: *Postea Londinum profectus libellum illic edidit de Bestia Triumphante, hoc est Papa.*

**) Berti, *Vita di Giordano Bruno*, p. 162.

***) Одинъ изъ обвинительныхъ пунктовъ противъ Бруно состоялъ въ томъ, что онъ говорилъ о религіи съ философской точки зрѣнія (*parlava filosoficamente*).

толковать различными способами многочисленныя аллегоріи, заключающіяся въ книгѣ Бруно, но едва ли можно сомнѣваться, что общій смыслъ ея состоитъ въ призывѣ къ нравственному обновленію человѣчества. Своимъ мастерскимъ изображеніемъ реформъ на Олимпѣ Бруно аллегорически предсказалъ скорую замѣну отживающаго порядка вещей, основаннаго на лжи, нетерпимости, коварствѣ и господствѣ животныхъ страстей, новымъ порядкомъ, основаннымъ на торжествѣ нравственныхъ началъ гуманности, справедливости и умственной свободы. Онъ хотѣлъ быть Коперникомъ этого новаго нравственнаго міра, опредѣлить его устройство и былъ глубоко убѣжденъ, что руководимые созвѣздіями, носящими имена добродѣтелей, люди станутъ вести болѣе чистую нравственную жизнь и станутъ гораздо счастливѣе.

Перехожу теперь къ комедіи Бруно, изданной имъ во время его пребыванія въ Парижѣ въ 1582 г. Самое названіе комедіи „Il Candelajo“ (Свѣча) до сихъ поръ не объяснено какъ слѣдуетъ. Бартольмессъ объясняетъ его тѣмъ, что одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, педантъ Манфуріо, называющій себя свѣточемъ міра, въ сущности не болѣе какъ сальный огарокъ. Разсматриваемая съ эстетической точки зрѣнія, со стороны драматической постройки, пьеса Бруно не выдерживаетъ самой снисходительной критики: въ ней нѣтъ никакого внутренняго центра, никакой цѣльной интриги. Она состоитъ изъ трехъ параллельныхъ дѣйствій, въ которыхъ поочередно фигурируютъ три главныхъ героя: влюбленный скряга Бонифаціо, помѣшавшійся на исканіи философскаго камня Бартоломео и глупый, влюбленный въ себя, педантъ Манфуріо, потѣшающій публику своимъ на половину латинскимъ, на половину итальянскимъ жаргономъ. Всѣ эти три дѣйствія развиваются самостоятельно, не условливаются одно другимъ, и единственная ихъ связь состоитъ въ томъ, что всѣ три чудака попадаютъ въ руки переставленныхъ полицейскими мошенниковъ, которые ихъ обираютъ, сажаютъ въ кутузку и потомъ выпускаютъ на свободу за порядочный выкупъ.—Едва ли не единственнымъ достоинствомъ комедіи Бруно, кромѣ живого и необыкновенно-типичнаго діалога, остаются нѣсколько забавныхъ, мастерски веденныхъ сценъ и нѣсколько комическихъ положеній, показывающихъ, что Бруно обладалъ острымъ чутьемъ комическаго. Что до характеровъ, то изъ нихъ нѣтъ ни одного, который могъ бы быть названъ драматическимъ. Лучше другихъ очерченъ характеръ сладострастнаго и скупого старикашки Бонифаціо, которому ни женитьба,

ни преклонный возраст не мѣшаютъ заводить на всякомъ шагу интрижки. Въ началѣ пьесы мы видимъ его влюбленнымъ въ куртизанку Викторію, которая искусно разыгрываетъ изъ себя недоступную, чтобъ сразу сорвать съ него большой кушъ. Тщетно испытывъ всѣ средства прельщенія: и подарки и сонеты (послѣдніе ему пишетъ Манфуріо), старый скряга обращается къ помощи шарлатана-чернокнижника Скарамуръ, славящагося искусствомъ смягчать самыя твердыя и непреклонныя женскія сердца. Въ виду того, что комедія Бруно совершенно неизвѣстна русской публикѣ, я считаю не лишнимъ перевести изъ нея нѣсколько сценъ съ нѣкоторыми необходимыми сокращеніями.

Скарамуръ (входя). Добраго здоровья, мессиръ Бонифаціо.

Бонифаціо. Добро пожаловать, синьоръ Скарамуръ, единственная надежда моей обуреваемой страстями жизни.

Скарамуръ. По всему вижу, что вы, мессиръ Бонифаціо, снова влюблены.

Бонифаціо. Вы угадали, и если вы мнѣ не поможете, я погибъ.

Скарамуръ. Судя по вашей фізіономіи и по числу буквъ въ вашемъ имени, вы родились подъ звѣздою Венеры. Мнѣ необходимо знать въ точности ваши лѣта.

Бонифаціо. Согласитесь, что я не могу хорошо помнить время моего рожденія, но судя по отзывамъ другихъ, мнѣ теперь такъ—около сорока пяти лѣтъ.

Скарамуръ. Впрочемъ все это можно вычислить въ точности, до мѣсяцевъ, дней и часовъ включительно, если измѣрить циркулемъ ширину ногтя на вашемъ большомъ пальцѣ по отношенію къ *linea vitale* и опредѣлится разстояніе отъ верхушки безымяннаго пальца до центра руки, но съ меня пока довольно и того, какъ опредѣляютъ вашъ возрастъ другіе. Теперь скажите мнѣ, когда вы были внезапно охвачены любовью при взглядѣ на даму вашего сердца, съ какой стороны вы ее увидали, съ правой или съ лѣвой?

Бонифаціо. Помнится, что съ лѣвой.

Скарамуръ. Тѣмъ хуже. Дѣло усложняется. Далѣе, не помните ли вы, какъ она стояла отъ васъ—на востокъ, западъ, сѣверъ или югъ?

Бонифаціо. На югъ.

Скарамуръ. Значитъ нужно призывать сѣверныхъ духовъ. *Opportet advocare Septentrionales*. Довольно, мнѣ больше ничего

не нужно. Буду пока дѣйствовать натуральной магіей, оставляя для болѣе важнаго случая тайную.

Бонифаціо. Дѣйствуйте, какой угодно, но только помогите мнѣ.

Скарамуръ. Объ этомъ не беспокойтесь. Представьте все мнѣ. Ясное дѣло, что вы приворожены.

Бонифаціо. Скажите пожалуйста, какъ это могло случиться? Я ничего не понимаю.

Скарамуръ. Привораживаніе совершилось, когда вы смотрѣли на нее, а она на васъ. Оно происходитъ съ помощью прозрачнаго и всепроникающаго духа, который зародившись отъ сердечнаго жара и самой чистой крови, путемъ лучей, идущихъ отъ взгляда, зажигаетъ въ сердцѣ созерцаемаго предмета любовь, ненависть, меланхолію и другія страсти. Если же взгляды, смотрящихъ другъ на друга лицъ, встрѣтятся хоть на мгновеніе, то души исходящія изъ нихъ мигомъ соединяются и происходитъ то, что называется любовнымъ привораживаніемъ. Вотъ почему людямъ боящимся любовныхъ чаръ нужно очень бдительно слѣдить за своими взглядами. Но довольно! Мы увидимся скоро, а теперь я спѣшу, чтобъ приготовить все нужное.

Бонифаціо. Если вы исполните мое желаніе, вы увидите, что имѣете дѣло съ человѣкомъ, который умѣетъ быть благодарнымъ.

Явившись въ другой разъ, Скарамуръ вручаетъ Бонифаціо восковую фигурку, изображающую Викторію, и пять булавокъ, которыя нужно по очереди воткнуть, произнося магическія слова въ различныя части тѣла статуэтки, и сердце Викторіи будетъ побѣждено. Взявши у Бонифаціо крупный кушъ за свои волхвованія, Скарамуръ исчезаетъ, а Бонифаціо, продѣлавши напрасно магическіе опыты съ статуэткой, подсылаетъ къ Викторіи ея подругу Лючію, которая въ свою очередь подъ разными предлогами выманиваетъ у него деньги и подъ конецъ увѣряетъ Бонифаціо, что Викторія, тронутая его постоянствомъ, начинаетъ къ нему питать нѣжныя чувства. Между тѣмъ послѣдняя, видя, что отъ ухаживаній Бонифаціо нѣтъ никакого толку и желая наказать его, вступаетъ въ соглашеніе съ предводителемъ шайки червонныхъ валетовъ Сангуино, который составилъ хитрый планъ обобрать Бонифаціо. Къ нимъ пристаётъ Скарамуръ, Лючія и влюбленный въ жену Бонифаціо, живописецъ Бернардо, вступающій въ союзъ для своихъ цѣлей. Рѣшено, пользуясь влюбленностью Бонифаціо, именемъ Викторіи завлечь его въ ловушку.

Лючія идетъ къ Бонифаціо отъ имени Викторіи и назначаетъ ему свиданіе въ извѣстный часъ въ ея домѣ. Чтобы не возбудить подозрѣнія, Бонифаціо долженъ переодѣться въ костюмъ Бернардо, который вхожъ къ Викторіи и котораго появленіе даже въ поздній часъ не можетъ компрометировать ее. Для вѣщаго посрамленія Бонифаціо союзники предупреждаютъ объ его подвигахъ его жену Карубину, которая переодѣвается въ платье Викторіи. Въ назначенный часъ Бонифаціо пробирается въ комнату Викторіи, но встрѣчаетъ тамъ жену, которая разоблачаетъ его инкогнито и осыпаетъ его упреками. Преслѣдуемый ревнивой женой, какъ угорѣлый выбѣгаетъ Бонифаціо на улицу, но тутъ на него набрасываются мнимые сбирры, и, какъ бы заподозрѣвъ, что онъ перерядился въ платье Бернардо для какихъ-нибудь предосудительныхъ цѣлей, тащутъ его въ полицію. Когда Бонифаціо уводятъ, его негодующая половина одна остается на улицѣ. Къ ней подходитъ давно выжидавшій этой минуты Бернардо и зная, что она имѣетъ полное право негодовать на Бонифаціо, хочетъ эксплуатировать ея негодованіе въ свою пользу. Сцена между Карубиной и Бернардо прекрасно характеризуетъ нравы той эпохи, которая дала матеріалъ для скандальной новеллы XVI в. и для комедій Маккіевелли и Аретино. Бернардо является типическимъ представителемъ распатанности нравственныхъ принциповъ въ современномъ Бруно обществѣ, гдѣ похвальная цѣль всегда оправдывала собой низкія средства (а такой похвальной цѣлью считалась прежде всего любовь), гдѣ исчезло истинное понятіе о чести и гдѣ тайный грѣхъ почти не считался грѣхомъ. Бернардо откровенно сознается Карубинѣ, что все это устроилъ онъ, что мужъ ея арестованъ его пріятелями, которые его скоро не выпустятъ, что Бонифаціо своимъ низкимъ поступкомъ вполнѣ доказалъ, насколько онъ недостоинъ такой женщины, какъ она, что ей сама судьба предоставляетъ удобный случай наказать его за вѣроломство. „Но если мой мужъ—возражаетъ молодая женщина—нарушилъ свой долгъ, слѣдуетъ ли изъ этого, что я должна нарушить свой?“ Въ отвѣтъ на это Бернардо въ пламенныхъ выраженіяхъ описываетъ свою любовь, свои страданія и умоляетъ ее сжалиться надъ нимъ. Карубина не была бы итальянкой XVI в., если бы страстные увѣренія въ любви не произвели на нее никакого дѣйствія. При видѣ устремленныхъ на нее огненныхъ взглядовъ художника, при звукахъ его страстной рѣчи сердце Карубины начинаетъ смягчаться.

Карубина. Но если бы я повѣрила вамъ и согласилась бы вознаградить васъ за ваши страданія, то отъ этого пострадала бы моя собственная честь.

Бернардо. Милая синьора, честь есть ничто иное, какъ доброе мнѣніе, которое имѣютъ о насъ другіе. Пока это мнѣніе существуетъ—существуетъ и наша честь. Не то отнимается у насъ честь, что мы дѣлаемъ, а то, какъ люди судятъ наши поступки.

Такое іезуитское, исполненное глубокаго нравственнаго цинизма, понятіе о чести тѣмъ не менѣе производить сильное впечатлѣніе на Карубину, слышавшую уже вѣроятно и прежде отъ своего снисходительнаго духовника, что тайный грѣхъ вполнину прощенный грѣхъ. Она защищается все слабѣе и слабѣе и въ заключеніе проситъ Бернардо не говорить такъ громко, потому что ихъ могутъ слышать прохожіе.

Пока эта сцена происходитъ на улицѣ, Скарамуръ отъ имени Бонифаціо ведетъ переговоры съ мнимыми сбиррами, которые соглашаются за извѣстную сумму отпустить его домой съ тѣмъ впрочемъ, чтобы онъ предварительно выпросилъ прощеніе у жены.

Другой герой пьесы Бартоломео, столь же довѣрчивый и глупый, дѣлается жертвой своей страсти разбогатѣть. Онъ попадаетъ въ руки шарлатана-алхимика Ченчіо, который за крупный кушъ обѣщаетъ ему открыть секретъ дѣлать золото. Секретъ Ченчіо состоитъ въ томъ, чтобы смѣшать въ извѣстной пропорціи Pulvis Christi съ простымъ пескомъ и кипятить ихъ вмѣстѣ извѣстное количество часовъ. Видя, что изъ этого кипяченія ничего не выходитъ и что денежки его пропали, Бартоломео въ отчаяніи восклицаетъ: „что мнѣ дѣлать? Какъ возвратить мои деньги?“ на что помощникъ Ченчіо весьма резонно замѣчаетъ ему: „поступайте, какъ мой господинъ поступалъ съ вами. Найдите человѣка съ такой же головой, какъ ваша, и съ такимъ же тугонабитымъ кошелькомъ,—и ваши обстоятельства поправятся“.— Да вѣдь это совѣтъ негодяя и подлеца! кричитъ своему себе-сѣднику Бартоломео. Тотъ вламывается въ амбицію; происходитъ потасовка. Дерущихся во время разнимаютъ слѣдившіе за ними мнимые сбирры. Бартоломео, подобно Бонифаціо, сажаютъ подъ арестъ и выпускаютъ не иначе, какъ взявши съ него взятку. Подобная же исторія повторяется и съ третьимъ героемъ пьесы—педантомъ, любимымъ типомъ Бруно, котораго онъ выводитъ подъ разными именами во многихъ произведеніяхъ. Манфуріо до такой степени мало способенъ понимать, что происходитъ вокругъ него, что онъ самъ собою, безъ всякихъ ухищреній, попадаетъ въ руки

банды плутовъ, которые снимають съ него плащъ, колотятъ его, опустошаютъ его карманы, и все время не перестаютъ потѣшаться надъ его курьезной рѣчью *tra il latino e l'italiano*.

Вокругъ этихъ трехъ главныхъ лицъ группируется съ дюжину второстепенныхъ, очерченныхъ слегка, но забавныхъ и веселыхъ. Особенно удались Бруно нѣкоторыя народныя сцены. По мнѣнію Берти, языкъ уличной черни, изобилующій поговорками, остротами и циническими прибаутками, лучше схваченъ Бруно, чѣмъ Аретино и другими итальянскими комиками XVI в. Но помимо всего этого комедія Бруно весьма интересна въ культурномъ отношеніи, потому что очень живо отражаетъ въ себѣ то хаотическое и безпомощное состояніе неаполитанскаго общества въ XVI в., когда событія, описанныя въ комедіи, были не рѣдки, когда банды мошенниковъ могли безнаказанно терроризировать цѣлый городъ и стать такимъ обычнымъ явленіемъ, что къ ихъ судѣйству не стыдились прибѣгать мирные граждане.

Въ 1633 г. комедія Бруно была переведена или вѣрнѣе передѣлана на французскій языкъ подъ заглавіемъ *Boniface et le Pedant*. Нѣкоторые ученые, напр. Нодье, думаютъ, что она не осталась безъ вліянія на извѣстную комедію Сирано де Бержерака *Le Pedant Joué*, а такъ какъ эту комедію зналъ Мольеръ, то изъ этого заключили о косвенномъ вліяніи Бруно на Мольера. Правда, эта гипотеза отвергнута новѣйшей критикой, но зато въ послѣднее время возникли горячіе толки по поводу предполагаемаго вліянія Дж. Бруно на другого великаго драматурга—на Шекспира. Еще въ 1847 г. біографъ Бруно Бартольмессъ отмѣтилъ сходство между нѣкоторыми воззрѣніями Бруно и Шекспира, но онъ былъ далекъ отъ мысли о непосредственномъ вліяніи. Лѣтъ двадцать спустя Чишвицъ *) и Кенигъ въ своей статьѣ *Джордано Бруно и Шекспиръ* **) сопоставили между собой множество мѣстъ изъ Шекспира и Бруно, которыя сильно говорятъ въ пользу знакомства Шекспира съ итальянскими произведеніями Бруно. Что Шекспиръ зналъ итальянскій языкъ и могъ читать Бруно въ подлинникъ—это въ настоящее время не подлежитъ никакому сомнѣнію, ибо доказано, что Шекспиръ пользовался для своихъ драмъ многими итальянскими сочиненіями, которыя въ его время не были переведены ни на французскій, ни на англійскій языкъ, а разъ допустивъ это, весьма естественно допустить, что въ числѣ

*) Въ своихъ Shakspeare-Forschungen. Halle 1868.

**) Въ XI томѣ Shakspeare- Jahrbuch.

этихъ сочиненій могли быть и итальянскія произведенія Бруно. Двухлѣтнее пребываніе Бруно въ Англіи, его слава, какъ величайшаго современнаго философа, почетъ, которымъ онъ пользовался въ Англіи, его дружба съ Филиппомъ Сиднеемъ, наконецъ его мученическая смерть—все это только могло усилить интересъ къ личности Бруно, которая и безъ того должна была представлять для Шекспира много симпатичныхъ сторонъ. Кто знаетъ, можетъ быть Шекспиръ потому и послалъ своего Гамлета учиться въ Виттенбергъ, что тамъ въ продолженіе пѣлыхъ двухъ лѣтъ (1586—1588) читалъ лекціи Бруно, называвшій этотъ городъ германскими Афинами. Итакъ, съ одной стороны Шекспиръ, съ другой—Лейбницъ, Якоби и Шеллингъ—вотъ какъ далеко простирается вліяніе Бруно.

Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, написанныхъ въ минуту предчувствія близкой кончины, Бруно утѣшалъ себя тѣмъ, что смерть въ одномъ вѣкѣ дастъ ему право жить въ вѣкахъ послѣдующихъ. Интересъ, который продолжаетъ возбуждать до сихъ поръ его личность и его оригинальная система, выражающійся въ безпрестанномъ появленіи новыхъ трудовъ о немъ, *) закладка ему памятника въ Римѣ, встрѣченная горячимъ сочувствіемъ всего образованнаго міра, нашедшимъ отголосокъ и у насъ,—все это симптомы того, что вѣщее слово великаго мученика начинается...



*) Не болѣе какъ два тому назадъ вышло обстоятельное сочиненіе Бруно-фера Giordano Bruno Weltanschauung und Verhängniss.



Вольнодумецъ эпохи возрожденія.

Безумцемъ слыть тебѣ у воѣхъ!
Но для святыни убѣжденья
Полезнѣй казни и гоненья,
Чѣмъ славы суетный успѣхъ.

Ив. Аксаковъ.

Эпоха Возрожденія—эпоха сильныхъ общественныхъ возбужденій и драматической борьбы средневѣковыхъ идеаловъ жизни съ новыми, навѣянными изученіемъ античной литературы и искусства, богата личностями, которыя возвышенностью своихъ стремленій и энергіею своего нравственнаго характера, поддерживаютъ въ насъ угасающую вѣру въ человеческое достоинство, возбуждаютъ въ насъ новыя силы для жизненной борьбы. Не лавры и триумфы выпадали на долю этихъ людей, а гоненія и преслѣдованія, но это не смущало ихъ. Питая твердую вѣру въ конечное торжество своихъ идей и въ справедливый судъ потомства, они неуклонно стремились впередъ, пренебрегая опасностями и не спуская своего знамени. Въ особенности богата подобными личностями Франція, на почвѣ которой встрѣтились въ XVI в. два основныя теченія эпохи Возрожденія, изъ которыхъ одно шло изъ Италіи, другое изъ Германіи и Швейцаріи. Она выставила цѣлый рядъ борцовъ, которые смѣло вступили въ борьбу за права разума и вѣрующей совѣсти, положили основы свѣтской науки и основаннаго на ней міросозерцанія и запечатлѣли своей кровью вѣрность своимъ убѣжденіямъ. Къ числу такихъ борцовъ, выступающихъ свѣтлыми точками на темномъ фонѣ остальной современности, принадлежитъ Этьенъ Доль, гуманистъ,

типографшикъ и издатель, сожженный въ Парижѣ 3 августа 1546 г. *).

Долѣ родился въ 1509 г. въ Орлеанѣ, въ почтенной буржуазной семьѣ. Получивъ первоначальное образованіе въ родномъ городѣ, онъ двѣнадцати лѣтъ отъ роду былъ отправленъ въ Парижъ, гдѣ были положены основы его классическаго образованія. Здѣсь онъ выучился полатыни и научился благоговѣть передъ отцомъ латинскаго краснорѣчія Цицерономъ. Наставникомъ его въ латинскомъ языкѣ былъ Николай Беро, о которомъ Эразмъ выражался, какъ объ одномъ изъ свѣтилъ гуманизма во Франціи. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что Беро внушилъ своему ученику восторженную любовь къ классической древности и желаніе отправиться для окончанія образованія въ обѣтованную страну гуманистовъ—Италію. Въ 1526 г. мы видимъ 17-лѣтняго Долѣ въ числѣ студентовъ Падуанскаго университета, стоявшаго тогда во главѣ итальянскихъ университетовъ и привлекавшаго массу иностранцевъ. Нигдѣ въ Италіи свобода изслѣдованія не достигала такихъ широкихъ размѣровъ, какъ въ Падуѣ. Незадолго до пріѣзда Долѣ умеръ знаменитый профессоръ философіи Пьетро Помпонаци, который въ продолженіе многихъ лѣтъ проповѣдывалъ съ кафедръ свои крайнія рационалистическія воззрѣнія и издавалъ книги, въ которыхъ доказывалъ, что вѣра въ безсмертіе души есть предразсудокъ, для котораго нѣтъ никакого основанія въ философіи Аристотеля. Тѣхъ же воззрѣній держались и его ученики, и если Долѣ не вполне усвоилъ ихъ, то несомнѣнно, что атмосфера свободы, которою ему посчастливилось дышать около трехъ лѣтъ въ Падуѣ, должна была оказать вліяніе на его міросозерцаніе. Главнымъ предметомъ занятій Долѣ въ Падуѣ была римская литература. Цицерона объясняли молодой и талантливый преподаватель Симонъ Вильневъ (Villanovanus), бельгіецъ родомъ, занявшій кафедру своего знаменитаго соотечественника Лонгейля (Longolius). Любовь къ Цицерону сблизила учителя съ ученикомъ. Долѣ и Вильневъ сдѣлались закадычными друзьями. Долѣ впоследствии сознавался, что подъ руководствомъ Вильнева онъ выработалъ свой латинскій стиль и что ему онъ былъ главнымъ образомъ обязанъ своими ораторскими успѣхами.

*) Факты для біографіи и характеристики Долѣ мы заимствуемъ изъ слѣдующихъ сочиненій: *Née de la Rochelle*, Vie d'Etienne Dolet. Paris 1779; *Boulmier*, Etienne Dolet sa vie, ses oeuvres, son martyr, Paris 1857; *Copley Christie*, Etienne Dolet, the martyr of the Rennissance, London 1880; *Haag*, France Protestante, sub voce.

Вильневъ, умершій въ молодыхъ лѣтахъ, не оставилъ послѣ себя ученыхъ трудовъ, но, судя по отзывамъ современниковъ, онъ былъ человѣкъ выдающихся способностей и высокихъ нравственныхъ качествъ. Къ сожалѣнію дружба ихъ продолжалась недолго. Вильневъ умеръ въ началѣ 1530 г. Долѣ посвятилъ его памяти прекрасную латинскую элегію. „О ты—воскликаетъ онъ—чьи высокія качества были причиной нашей дружбы, ты, связанный со мной неразрывными узами и по волѣ милостивой судьбы замѣнявшій мнѣ брата, ты теперь похищенъ смертью, погруженъ въ вѣчный сонъ, въ юдоль мрака и безмолвія. Напрасно я взываю къ тебѣ—ты не услышишь моей печальной пѣсни. Прощай, милый! Знай, что я любилъ тебя одного, паче свѣта очей моихъ! Да будетъ покоенъ твой сонъ, и если тѣни умершихъ могутъ что-либо чувствовать, то не отвергай моей любви и люби хоть немного того, кто будетъ любить тебя всю жизнь“. Потерявъ друга, Долѣ не хотѣлъ оставаться дольше въ Падуѣ и уже помышлялъ о возвращеніи во Францію, но встрѣча съ епископомъ Лиможскимъ Ланжакомъ заставила его измѣнить свои намѣренія. Епископъ, имѣвшій дипломатическое порученіе въ Венецію, пригласилъ съ собой Долѣ въ качествѣ секретаря. Долѣ согласился. Мысль увидѣть очаровательную Венецію была весьма привлекательна для 21-лѣтняго гуманиста, разсчитывавшаго кромѣ того послушать знаменитаго филолога Джіованни Эгнаціо, ученика Анжело Полиціано, занимавшаго въ Венеціи катедру латинской словесности. Цѣлый годъ посѣщалъ Долѣ лекціи Эгнаціо, объяснявшаго *De Officiis* Цицерона. Здѣсь онъ, между прочимъ, собралъ много матеріаловъ для давно задуманнаго труда *Compendarii linguae latinae*, гдѣ хотѣлъ доказать преимущество Цицерона, какъ стилиста, передъ Саллюстіемъ, Цезаремъ и Ливіемъ. Но не однимъ Цицерономъ была наполнена жизнь юнаго энтузіаста: и онъ заплатилъ дань молодости, и ему было отраднo—какъ онъ самъ выражается—быть побѣжденнымъ Амуромъ. Ко времени пребыванія въ Венеціи относится романическій эпизодъ въ жизни Долѣ—любовь его къ одной прекрасной венеціанкѣ. Сомнительно, впрочемъ, чтобы это чувство пустило въ его душѣ глубокіе корни, ибо въ элегіи, написанной на ея смерть, больше реторики, нежели истиннаго чувства. Въ 1531 г. Долѣ вмѣстѣ съ Ланжакомъ возвратились во Францію. Зная, что научнымъ трудомъ обезпечить себя трудно, Ланжакъ, успѣвшій полюбить Долѣ, совѣтовалъ ему изучить юридическія науки въ Тулузѣ, обѣщая, съ своей стороны, матеріальную поддержку. Скрѣпя сердце,

Долё отложилъ на время свои любимыя занятія и весной 1532 г. отправился въ Тулузу. Не уютна и мрачна показалась ему Тулуза въ сравненіи съ Падуйей и Венеціей. Тамъ онъ дышалъ атмосферой свободы и терпимости; не было вопроса, о которомъ нельзя было высказываться съ полной свободой въ Падуйѣ. Тулуза, наоборотъ, представляла собою любопытный образчикъ средневѣковаго университетскаго города. Могущество духовенства было здѣсь громаднo, и оно пользовалось этимъ могуществомъ для распространенія въ народѣ суевѣрія и религіознаго фанатизма. Достаточно было не снять шапки передъ церковной процессіей или попробовать скромной пищи въ постный день, чтобъ быть заподозрѣннымъ въ ереси и приговореннымъ къ церковному покаянію. Религіозные процессы слѣдовали одинъ за другимъ. На мосту Св. Михаила стояла желѣзная клѣтка, въ которой въ назиданіе публики погружали еретиковъ и богохульниковъ въ рѣку, пока они не захлебывались.

Вскорѣ по прибытіи въ Тулузу Долё пришлось, быть свидѣтелемъ казни профессора Jean de Sature и унизительнаго обряда покаянія, которому былъ подвергнутъ другой профессоръ Жанъ де Буассонъ, оба обвиненные въ сочувствіи къ лютеранизму. Тулуза была единственнымъ университетскимъ городомъ во Франціи, гдѣ была принята съ восторгомъ вѣсть о Варееоломеевской ночи, гдѣ студенты, добровольно превратившись въ палачей, рубили головы безоружнымъ гугенотамъ и даже не постыдились взять деньги за услугу, оказанную ими церкви и государству. Несмотря на все это, Тулузскій университетъ считался лучшей юридической школой во Франціи и привлекалъ къ себѣ массу молодежи не только изъ Франціи, но и изъ Германіи, Англіи и Испаніи. Студенты въ виду ихъ многочисленности и разноплеменнаго состава дѣлились на корпораціи или землячества; каждая изъ этихъ корпорацій имѣла свой статутъ, своего предсѣдателя, носившаго классическій титулъ императора, своего казначея или квестора, свое мѣсто для сходокъ и своего спеціального патрона изъ святыхъ католической церкви. День, посвященный чествованію памяти патрона, праздновался корпораціей съ особою торжественностью; ежегодно въ этотъ день избирался студентъ, получавшій почетное прозвище оратора, на обязанности котораго лежало произнесеніе годичной рѣчи. Въ этой рѣчи, произносимой, само собою разумѣется, на латинскомъ языкѣ, ораторъ прежде всего поминалъ добрымъ словомъ умершихъ членовъ корпораціи и кромѣ того касался и другихъ важ-

ныхъ событій университетской жизни за истекшій годъ. Долё, выдававшийся среди своихъ товарищей умомъ и краснорѣчiemъ, былъ единогласно избранъ ораторомъ французской народности (*orateur de la nation de France*). 9 октября 1533 г. Долё произнесъ сильную рѣчь, въ которой, воспользовавшись удобнымъ случаемъ, предаль позору фанатическую Тулузу и горячо протестовалъ противъ распоряженія тулузскаго парламента, запретившаго студенческія сходки. „Въ чемъ насъ обвиняютъ — восклицаетъ онъ—въ чемъ состоитъ наше преступленіе? Въ томъ, что мы хотимъ жить между собою по-товарищески и помогать другъ другу какъ братья. Боги безсмертны! Гдѣ мы живемъ? въ какой странѣ обитаемъ? Неужели грубость Скивовъ и чудовищное варварство Готовъ вторгнулись въ Тулузу? Не видите ли вы въ этомъ распоряженіи позорную злость этихъ людей? Они хотятъ угасить пламя любви, зажженное въ нашихъ сердцахъ самой природой; они хотятъ уничтожить чувство братской солидарности, внушенное намъ самимъ Богомъ, они хотятъ отнять у насъ право собираться во имя нашего товарищества. Если есть основаніе запрещать сходки иностранцевъ, то почему же они не запрещаются въ Римѣ и Венеціи? Почему тамъ дозволяютъ собираться не только Французамъ, Нѣмцамъ, Англичанамъ и Испанцамъ, но даже народамъ, исповѣдующимъ религію діаметрально противоположную нашей, каковы, напримѣръ, Турки, Евреи и Арабы. Но что же сказать въ такомъ случаѣ о здѣшнихъ властяхъ, которыя исповѣдуютъ одну религію съ нами, признаютъ то же правительство и говорятъ почти однимъ съ нами языкомъ?“ Рѣчь Долё, произнесенная съ большимъ пафосомъ и превосходнымъ латинскимъ языкомъ, произвела сильное впечатлѣніе. Тѣмъ не менѣе въ средѣ французскихъ студентовъ нашелся нѣкто Пьеръ Пинашъ, ораторъ аквитанской корпораціи, который выступилъ съ рѣчью въ защиту Тулузы и тулузскаго парламента и въ заключеніе упрекнулъ Долё въ идолопоклонствѣ передъ Цицерономъ. „Ты думаешь—отвѣчалъ ему Долё,—что нанесъ мнѣ смертельный ударъ, назвавши меня благоговѣйнымъ подражателемъ Цицерона. Да я внѣ себя отъ радости! Если это справедливо, то я достигъ цѣли моихъ трудовъ и желаній“.

Разбитый на всѣхъ пунктахъ, Пинашъ прибѣгнулъ къ средству, которое въ тѣ времена зачастую употреблялось по отношенію къ врагамъ: онъ обвинилъ Долё въ желаніи опозорить Тулузу и ея парламентъ и въ сочувствіи къ лютеровой ереси. По этому поводу Долё произнесъ свою вторую рѣчь, въ которой,

желая оправдаться, онъ со свойственною ему пылкостью перешелъ изъ защиты въ наступленіе и тѣмъ еще болѣе вооружилъ противъ себя тулузскія власти и духовенство. Начавши съ заявленія, что онъ никогда не измѣнялъ религіи отцовъ и отнесется отрицательно къ нечестивой лютеровой ереси, Долё замѣтилъ, что обвиненіе въ ереси не разъ уже ввозилось фанатиками на людей, выдающихся своимъ умомъ, талантомъ или даже богатствомъ. „Какая была причина гоненій, обрушившихся на Жанна де Буассона? Никакой, кромѣ его учености и богатства! Я это утверждаю не на основаніи пустыхъ слуховъ, а основываясь на словахъ людей величайшей честности и на основаніи моего личнаго знакомства съ Буассономъ“. По мнѣнію Долё, это происходитъ отъ того, что Тулуза всегда отличалась варварскими наклонностями. „Вы очень хорошо знаете—продолжалъ онъ—что въ стѣнахъ этого города недавно былъ сожженъ человѣкъ, имени котораго я не буду называть. Пламя костра пожрало его смертную оболочку, а пламя ненависти до сихъ поръ гложетъ его имя. Допустимъ, что онъ иногда говорилъ слишкомъ смѣло и неосторожно, что онъ совершилъ поступокъ, за который полагается наказаніе, слѣдующее еретикамъ. Но разъ онъ задумалъ исправиться, развѣ можно преграждать ему путь къ спасенію? Всякій человѣкъ можетъ заблуждаться, но разъ облако, окутывающее его душу, начинаетъ разсѣиваться, кто можетъ сказать, что она не засіяетъ вновь яркимъ свѣтомъ? Но его желаніе обратиться на путь истинный не привело ни къ чему. Всегда глухая къ голосу человѣчества, Тулуза постаралась поскорѣй его уничтожить“. Не такъ, впрочемъ, повредили Долё рѣзкія выходки противъ религіознаго фанатизма, жертвою котораго палъ профессоръ Saturece, сколько его насмѣшки надъ суевѣрными обрядами жителей Тулузы, погруженіемъ креста въ Гаронну въ день св. Георгія, ношеніемъ во время засухи статуй святыхъ по улицамъ города и т. п. „И этотъ городъ—такъ заключилъ Долё свою филиппику—имѣющій такое смутное понятіе объ истинномъ христіанствѣ, хочетъ навязать это понятіе всѣмъ и осмѣливается обзывать еретикомъ всякаго, кто обнаруживаетъ иное и болѣе глубокое пониманіе христіанства“. Рѣчь эта произвела сильное волненіе въ средѣ молодежи, которое едва не окончилось схваткой между приверженцами Долё и сторонниками Пинаша. Все это было какъ нельзя болѣе на руку врагамъ Долё, которымъ удалось добиться его заключенія въ тюрьму (25 марта 1534 г.), откуда онъ, впрочемъ, былъ выпущенъ по распоряженію прези-

дента тулузскаго парламента Жака Миню. Сохранилось письмо къ Миню Жанна Депена, епископа въ Ріе, проживавшаго временно въ Тулузѣ, изъ котораго видно, какъ высоко стоялъ во мнѣніи гуманистовъ двадцати-трехлѣтній Долё. „Если бы я не зналъ—писать почтенный епископъ—что вы относитесь сочувственно къ гуманнымъ наукамъ и людямъ въ нихъ преуспѣвающимъ, я не ходатайствовалъ бы передъ вами за Этьена Долё, молодого человѣка выдающихся способностей. Я увѣренъ, что вы сами не меньше меня пришли бы въ восторгъ отъ несравненной гибкости его ума. Онъ до того овладѣлъ латинскимъ языкомъ, что можетъ выражать на немъ все, что ему вадумается. Онъ пишетъ такой изящной прозой, что можетъ показаться, что онъ въ этомъ упражнялся всю свою жизнь. Но удивительнѣе всего, что онъ одинаково превосходенъ, какъ въ прозѣ, такъ и въ поэзіи; оды его, написанныя разными размѣрами, не оставляютъ желать ничего лучшаго; его элегіи кажутся элегіями Овидія или Тибулла, а его ямбы и лирическія стихотворенія въ легко примете за стихотворенія Горация и Катулла“. Выпущенный на свободу, Долё не былъ оставленъ въ покоѣ своими многочисленными врагами, которые упорно преслѣдовали его и даже покушались на его жизнь. Измучившись въ этой неравной борьбѣ, Долё лѣтомъ 1534 г. покинулъ Тулузу и удалился къ одному изъ своихъ пріятелей въ деревню, гдѣ заболѣлъ сильнымъ нервнымъ расстройствомъ, а враги воспользовались его отсутствіемъ, чтобы выхлопотать у парламента его вѣчное изгнаніе изъ города. Двухлѣтнее пребываніе въ Тулузѣ имѣло важное значеніе въ жизни Долё. Здѣсь онъ создалъ себѣ репутацію человѣка безпокойнаго и опаснаго, которая сильно повредила ему впослѣдствіи, но за это здѣсь онъ завязалъ дружескія связи, которыя продолжались всю его жизнь. Кромѣ Жана Депена, Долё подружился съ профессоромъ Буассономъ и съ нѣкоторыми изъ своихъ товарищей, Жаномъ Бордингомъ, Клодомъ Котрѣ и Симономъ Финѣ, изъ которыхъ послѣдній былъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ его неразлучнымъ Пиладомъ. Отсюда же онъ вступилъ въ переписку съ главою французскихъ гуманистовъ, Гильомомъ Бюдѣ. Не имѣя возможности возвратиться въ Тулузу, Долё задумалъ было докончить свое юридическое образованіе въ Падуанскомъ университетѣ, но предварительно ему хотѣлось предать позору враговъ своихъ, издавъ свои тулузскія рѣчи. Для этой цѣли онъ, въ сопровожденіи своего вѣрнаго Финѣ, отправился пѣшкомъ въ Ліонъ, куда прибылъ 1 августа

1534 г. Ліонъ имѣлъ важное значеніе въ умственной жизни Франціи въ XVI в. Благодаря своему удаленію отъ Парижа и близости къ Женевѣ, онъ служилъ весьма удобной пристанью для тѣхъ, чье присутствіе въ Парижѣ не укрылось бы отъ зоркаго взгляда Сорбонны и Парижскаго парламента. Здѣсь было нѣсколько десятковъ типографій, здѣсь можно было найти всѣ запрещенныя во Франціи книги, начиная съ женевскихъ переводовъ Св. Писанія до раціоналистическихъ трактатовъ Помпонаци и его школы; здѣсь въ домѣ ученаго типографика Грифіуса и въ другихъ домахъ собирались кружки гуманистовъ, которые ждали всего отъ развитія классическихъ знаній и относились отрицательно ко всякому проявленію религіознаго фанатизма, какимъ бы цвѣтомъ онъ ни былъ окрашенъ. Вотъ почему всѣ передовые люди того времени, Маро, Серве, Раблѣ, Деперьѣ и др., избирали либо временнымъ, либо постояннымъ жительство въ городъ, который воспѣвалъ Маро*), и который Деперьѣ называлъ новыми Афинами. Явившись къ Грифіусу съ рекомендаціей Буассона, Долѣ былъ принятъ очень ласково; догадавшись по костюму молодого человѣка, что онъ не изъ богатыхъ, почтенный типографикъ предложилъ ему работу у себя и даже приглашалъ перейти къ нему жить, на что Долѣ изъ деликатности не согласился. Здоровье Долѣ было въ то время еще такъ плохо, что доктора запретили ему всякія занятія и услали въ деревню. Во время отсутствія Долѣ другъ его Финѣ, надо полагать не безъ согласія послѣдняго, напечаталъ у Грифіуса обѣ тулузскія рѣчи Долѣ, съ приложеніемъ нѣсколькихъ писемъ и латинскихъ стихотвореній своего друга. Хотя Долѣ пробылъ въ Ліонѣ недолго, не болѣе двухъ мѣсяцевъ, но онъ успѣлъ сойтись, болѣе или менѣе коротко, со многими проживавшими тамъ гуманистами, между прочимъ съ знаменитымъ Раблѣ, который въ это время занимался медицинской практикой въ Ліонѣ. Весьма вѣроятно, что, по совѣту ліонскихъ друзей, Долѣ отказался отъ поѣздки въ Италію и рѣшился остаться на жительство въ Ліонѣ. Для того, чтобы выхлопотать у короля разрѣшеніе печатать первый томъ своихъ Комментаріевъ, Долѣ въ октябрѣ 1534 отправился въ Парижъ. Къ несчастію, время для подобнаго ходатайства было самое не-

*) C'est un grand cas voir le mont Pelion
Ou d'avoir vu les ruines de Troye,
Mais qui ne voit la ville de Lyon
Aucun plaisir à ses yeux il n'octroye.

благопріятное. Безхарактерный Францискъ I, еще недавно пригласившій Эразма во Францію и защищавшій французскихъ гуманистовъ и протестантовъ отъ преслѣдованій фанатической Сорбонны, теперь, подъ вліяніемъ слуховъ объ анабаптистахъ и появленія на улицахъ Парижа лютеранскихъ прокламацій (Placards), рѣзко поворотилъ въ противоположную сторону и освятилъ своимъ авторитетомъ религіозныя преслѣдованія. Мало того, онъ далъ себя убѣдить Сорбоннѣ, что главнымъ источникомъ всѣхъ золь было книгопечатаніе и даже издалъ указъ, запрещающій печатаніе всѣхъ книгъ во Франціи. Извѣстно, что только благодаря энергіи парижскаго парламента, который на этотъ разъ разошелся во взглядахъ съ Сорбонной, этотъ варварскій указъ не былъ приведенъ въ исполненіе, потому что парламентъ, подъ разными предлогами, откладывалъ внесеніе его въ свои регистры. При такомъ положеніи дѣлъ надѣяться получить разрѣшеніе на печатаніе Комментаріевъ было немыслимо, въ особенности для Долё, тулузскіе подвиги котораго были очень хорошо извѣстны въ Парижѣ. Плодомъ пребыванія Долё въ Парижѣ, кромѣ знакомства съ Бюдѣ и занятій въ парижскихъ бібліотекахъ, былъ его діалогъ *De Imitatione Ciceroniana*, направленный противъ Эразма. Еще въ 1528 г. Эразмъ въ своемъ діалогѣ *Ciceronianus*, съ свойственнымъ ему тонкимъ остроуміемъ, осмѣялъ педантизмъ гуманистовъ-цицероніанцевъ, которые въ своихъ сочиненіяхъ рабски копировали слогъ великаго римскаго стилиста, избѣгали латинскихъ словъ и оборотовъ, не встрѣчавшихся у Цицерона, и, изъ боязни впасть въ литературную ересь, сидѣли по цѣлымъ днямъ надъ одной фразой. Здѣсь Эразмъ кольнулъ, между прочимъ, Бембо, Лонгейля (Longolius) и друга Долё, Гильома Бюдѣ. Ему возражалъ Скалигеръ, но инвектива Скалигера была такъ нелѣпа и площадно груба, что Эразмъ не удостоилъ его отвѣта. Вступая въ полемику съ Эразмомъ, Долё не только увлекся благороднымъ побужденіемъ постоять за своихъ друзей, онъ сражался также pro domo sua, ибо и самъ онъ отчасти былъ грѣшенъ въ томъ, въ чемъ Эразмъ упрекалъ цицероніанцевъ. Какъ бы то ни было, но тонъ полемики Долё съ величайшимъ изъ гуманистовъ не дѣлаетъ чести молодому цицероніанцу. Даже друзья Долё, Грифіусъ, Буассонъ и др., были недовольны на него за то, что онъ, въ жару полемики, дозволилъ себѣ недостойныя выходки по отношенію къ человѣку, стоявшему во главѣ европейской образованности и оказавшему столько услугъ дѣлу гуманизма. Возвратившись весной 1535 г. въ Ліонъ, Долё, въ ожиданіи ко-

ролевскаго разрѣшенія, приступилъ къ печатанію перваго тома своихъ Комментаріевъ. Труды по редакціи и корректурѣ этого громаднаго *In Folio* раздѣлялъ съ Долё его новый другъ, Бонавентура Денерё. Жизнь онъ велъ въ это время самую уединенную, даже аскетическую. „Никто не повѣритъ,—говоритъ онъ,—сколькихъ трудовъ и безсонныхъ ночей стоила мнѣ редакція моихъ Комментаріевъ, сколько разъ я не доѣдалъ и не досыпалъ. Мало того, я долженъ былъ запретить себѣ всякій досугъ, всякое развлеченіе, всякія сношенія съ друзьями,—словомъ, самую жизнь. Одно, что утѣшало меня и поддерживало мою энергію,—это мысль о потомствѣ: я мечталъ, что этотъ трудъ увѣковѣчитъ мое имя“. Временно проживавшій въ Ліонѣ гуманистъ Сюсанно оставилъ намъ относящуюся къ этому времени интересную характеристику Долё, показывающую, какое впечатлѣніе онъ производилъ на окружающихъ. „По дорогѣ въ Италію я прожилъ нѣкоторое время въ Ліонѣ, гдѣ Грифіусъ убѣдилъ меня прокорректировать печатавшіяся въ его типографіи произведенія Цицерона. Долё жилъ тогда въ домѣ Грифіуса. Относительно этого молодого человѣка я долженъ сказать, что природныя способности его даже превосходятъ его знанія. Хотя онъ еще молодъ, но я смѣло могу ему предсказать блестящую будущность. Онъ работаетъ теперь надъ Комментаріями латинскаго языка, которые возбудили во мнѣ такое удивленіе, что я почти бросилъ собственную работу“. Пользуясь проѣздомъ Франциска I черезъ Ліонъ (въ февралѣ 1536 г.), Грифіусъ выхлопоталъ себѣ привилегію издать трудъ Долё, который, наконецъ, увидѣлъ свѣтъ въ маѣ того же года. Комментаріи Долё—плодъ громадной учености и чисто-бенедиктинскаго трудолюбія, сразу выдвинули его въ первые ряды гуманистовъ. Помимо своего спеціальнаго назначенія—служить складочнымъ мѣстомъ всѣхъ богатствъ латинскаго языка вообще и цицероновской фразеологій въ особенности,—Комментаріи Долё весьма интересны и въ культурномъ отношеніи, потому что заключаютъ въ себѣ не мало статей и экскурсовъ, въ которыхъ Долё касается жгучихъ вопросовъ, волновавшихъ современное ему интеллигентное общество. Возрожденіе классическихъ знаній нашло въ немъ восторженнаго панигириста, и картина борьбы гуманизма съ невѣжествомъ въ Европѣ написана съ одушевленіемъ, напоминающимъ Ульриха фонъ-Гуттена. Считаю не лишнимъ привести, съ нѣкоторыми сокращеніями, это замѣчательное мѣсто. „Въ настоящее время,—говоритъ Долё,—наука культивируется повсюду съ такой энергіей, что для того, чтобы сравниться

съ древними, нашимъ ученымъ не достаетъ только умственной свободы и поощренія со стороны меценатовъ. Къ сожалѣнію, ученые, вмѣсто поощренія, нерѣдко встрѣчаютъ не только невниманіе, но даже презрѣніе къ своимъ трудамъ; служители науки подвергаются насмѣшкамъ толпы, жизнь ихъ проходитъ въ неувѣстности и даже нерѣдко подвергается опасностямъ. И что же? Несмотря на такое отношеніе къ наукѣ, въ Европѣ есть не мало сердець, горящихъ любовью къ ней. Можно сказать, что борьба съ варварствомъ и тьмой, длившаяся цѣлое столѣтіе, наконецъ, окончилась въ пользу свѣта и прогресса. Первый, пробившій брешь въ непріятельскихъ рядахъ, былъ Лоренцо Валла, но его нападеніе было только авангарднымъ дѣломъ. Въ то время, какъ Валла и его товарищи были подавлены численностью арміи обскурантовъ, къ нимъ подоспѣли на помощь Анжело Полиціано, Марсіліо Фичино, Пико де-ля-Мирандола и др. Вся эта дружина прогресса напала на непріятельскую армію и смяла ея лѣвое крыло; въ это время внезапно изъ Германіи, Англіи, Испаніи и Франціи подоспѣли новыя силы; разбитые на голову обскуранты были съ триумфомъ отведены въ плѣнъ. Для этой рѣшительной битвы Италія, всегда бывшая столицей краснорѣчія, дала главныхъ вождей, въ лицѣ Бембо, Садолето, Эгнаціо, къ которымъ присоединились поэты Понтано, Вида и Саннацаро. Соревнуя Италіи, ударила на враговъ Германія. Внимая голосу отчизны, Іоганнъ Рейхлинъ и Рудольфъ Агрикола берутся за оружіе и увлекаютъ за собой своего ученика Эразма, который въ своихъ многочисленныхъ сочиненіяхъ является неутомимымъ заступникомъ интересовъ науки. Вслѣдъ за нимъ вступаетъ въ бой первый гуманистъ Германіи Меланхтонъ, за которымъ идутъ: Ульрихъ фонъ-Гуттенъ, Беатусъ Ренанусъ, Эобанусъ Гессусъ, Ульрихъ Цазіусъ и др. Всѣ они горятъ желаніемъ сбросить иго варваровъ: одни въ области краснорѣчія, другіе—поэзіи, третьи—права, четвертые—медицины. Изъ Англіи къ нимъ поспѣшаютъ на помощь Томасъ Линакръ и Томасъ Моръ; изъ Испаніи Вивесъ и Антоніо Лебриха. Франція вступаетъ въ битву подъ предводительствомъ Гильома Бюдэ, за которымъ слѣдуютъ: Лефевръ д'Этаплъ, Лонгейль, Вильневъ, Пьеръ д'Этоаль, Мишель де-Лопиталь, Жанъ Конъ, Франсуа Раблэ и др. Сошедшаяся со всѣхъ сторонъ, эта фаланга ученыхъ производитъ такую сильную атаку на позицію обскурантовъ, что послѣдніе принуждены отступать на всѣхъ пунктахъ. Въ настоящее время нѣтъ города въ Европѣ, который не былъ бы освобожденъ отъ чудовища варваризма; науки и искусства процвѣ-

таютъ болѣе, чѣмъ когда-либо и, опираясь на литературу, человѣчество стремится достигнуть истины и справедливости“. Насколько восторженно Доле привѣтствовалъ борцовъ науки и прогресса, настолько же онъ предавалъ жестокому поруганію обскурантизмъ монаховъ и ихъ покровительницу фанатическую Сорбонну. „Я не могу пройти трусливымъ молчаніемъ,—говорить онъ,—нечестивый поступокъ этихъ негодяевъ, которые, желая нанести смертельный ударъ литературѣ, задумали въ наше время уничтожить во Франціи типографское искусство. Да, что я говорю задумали? Они употребили все свое вліяніе, чтобы выхлопотать у короля Франциска, защитника и покровителя литературы, указъ закрыть всѣ типографіи, подъ тѣмъ предлогомъ, что книгопечатаніе есть орудіе распространенія Лютеровой ереси. Но, къ счастью, нечестивый заговоръ софистовъ и пьяницъ Сорбонны былъ уничтоженъ мудростью Гильома Бюдё, свѣточа нашего времени, и Жана дю Белё, епископа парижскаго, мужа одинаково знаменитаго и своимъ саномъ и своими заслугами просвѣщенію“.

Во время печатанія перваго тома Комментаріевъ неутомимый Доле успѣлъ приготовить къ печати второй. Изданіе этого послѣдняго замедлилось, вслѣдствіе одного печальнаго случая, который едва не стоилъ жизни Долё. Въ числѣ его ліонскихъ враговъ былъ нѣкто Гильйомъ Компень, живописецъ по профессіи. Затѣявъ однажды съ Долё ссору на улицѣ (31 декабря 1536 г.), онъ напалъ на Долё съ оружіемъ въ рукахъ. Вынужденный защищаться, Долё, владѣвшій шпагой не хуже чѣмъ перомъ, имѣлъ несчастіе убить наповалъ своего противника. Боясь послѣдствій этого неумышленнаго убійства, Долё убѣжалъ въ Парижъ, чтобы лично объяснить все дѣло королю. Выслушавъ объясненія Долё, Францискъ I, по ходатайству сестры своей Маргариты Наварской, даровалъ ему прощеніе, а парижскіе друзья Долё устроили въ честь этого радостнаго событія банкетъ, на которомъ, между прочимъ, присутствовали: учитель его Николай Бердъ, Гильомъ Бюдё, Мардъ, Раблѣ и др. Но хотя король и даровалъ Долё полное прощеніе, парижскій парламентъ не очень торопился сообщить объ этомъ ліонскимъ властямъ, такъ что, когда Долё явился въ Ліонъ, онъ былъ немедленно арестованъ и посаженъ въ тюрьму, и не малыхъ хлопотъ стоило друзьямъ добиться освобожденія его на поруки. Второй томъ Комментаріевъ вышелъ въ 1538 г. Долё лично поднесъ его королю, во время проѣзда послѣдняго черезъ Ліонъ. Францискъ I ласково принялъ подношеніе и, желая чѣмъ-нибудь, съ своей стороны, поблагодарить Долё, далъ ему разрѣ-

шеніе открыть свою собственную типографію. Королевская привилегія, данная въ мартѣ 1538 г. впредь на десять лѣтъ, гласила, что никто не имѣетъ права ни перепечатывать, ни продавать ни одной книги, напечатанной въ типографіи Долё. Ліонскіе типографщики посмотрѣли на новаго собрата недобрымъ глазомъ, посмѣивались надъ его бѣдностью и предсказывали ему неудачу. Одинъ только Грифіусъ отнесся къ нему съ полнымъ радушіемъ и не только помогъ ему совѣтомъ, но и шрифтомъ, и машинами. Основывая свою собственную типографію, Долё смотрѣлъ на это предпріятіе не съ коммерческой точки зрѣнія. Въ его глазахъ обладаніе печатнымъ станкомъ налагало на обладателя серьезныя обязанности по отношенію къ обществу. „Я буду стараться,—писалъ онъ кардиналу дю-Белё,—увеличить сокровища литературы, буду печатать только дѣйствительно хорошія сочиненія и отбрасывать жалкія издѣлія жалкихъ писакъ, позорящихъ наше время“. Первою книгой, вышедшей изъ типографіи Долё, былъ его небольшой трактатъ *Cato Christianus*, въ которомъ онъ изложилъ свои религіозныя убѣжденія. Учрежденіе типографіи и книжной лавки при ней, безъ сомнѣнія, стояло въ тѣсной связи съ послѣдовавшей въ томъ же году женитьбой Долё. Кто была избранница Долё—мы не знаемъ, но знаемъ, что это была женитьба по любви и что онъ былъ очень счастливъ въ семейной жизни. Въ началѣ 1539 г. у него родился сынъ. По случаю этой семейной радости, Долё написалъ латинскую поэму *Genethliacum Claudii Doleti*, которую его тулузскій товарищ Котрѣ, крестный отецъ ребенка, перевелъ на французскій языкъ. Выраженіе радостныхъ чувствъ отца сопровождается у Долё совѣтами сыну, долженствовавшими служить ему руководствомъ въ жизни. Замѣчательно, что первый совѣтъ, который даетъ своему сыну человекъ, котораго современники считали атеистомъ, это—вѣрить въ Бога и безсмертіе души. Закрытая въ концѣ 1538 г., типографія Долё напечатала въ продолженіе своего пятилѣтняго существованія около семидесяти сочиненій и переводовъ, изъ которыхъ пятнадцать принадлежатъ самому Долё. Но враги Долё, къ которымъ теперь присоединились ліонскіе типографщики, не дремали. Уже по поводу *Cato Christianus* и тома латинскихъ стихотвореній (*Carmina*), Доле долженъ былъ предстать предъ судомъ архіепископа, гдѣ его обязали подпиской изъять эти книги изъ продажи, такъ какъ онѣ заключали въ себѣ ересь*), и на бу-

*) Ересь Доле состояла, между прочимъ, въ томъ, что онъ перевелъ *Вѣрую* не словомъ *Credo*, но выраженіемъ *Fidem habeo*, и что онъ употребляетъ слово *Fatum* въ языческомъ, а не въ христіанскомъ смыслѣ.

душее время не печатать ничего безъ одобренія ліонскаго сене-шала. Затѣмъ въ продолженіе цѣлыхъ трехъ лѣтъ мы ничего не зна-емъ о Долѣ кромѣ того, что типографія его процвѣтала и что въ воз-никшихъ пререканіяхъ между типографщиками и наборщиками, тре-бовавшими лучшей пищи и увеличенія заработной платы, онъ сто-ялъ на сторонѣ послѣднихъ, чѣмъ еще больше обострились его отношенія къ содержателямъ типографій. Въ это время Долѣ по-видимому достигъ всего, чего съ такимъ трудомъ добиваются люди: ученая репутація его стояла высоко, онъ былъ счастливъ въ семейной жизни, дѣла его типографіи шли хорошо и объ-щали вѣрное обезпеченіе подѣ старость... Но Долѣ былъ не изъ тѣхъ людей, которые способны замкнуться въ эгоистическомъ довольствѣ настоящимъ. Онъ не былъ изъ числа тѣхъ, которые съ спокойною совѣстью держатъ свѣтъ подѣ спудомъ, когда ихъ ближніе блуждаютъ во тьмѣ. Онъ видѣлъ въ своей профессіи типографщика высокую культурную миссію, и пока эта миссія не была выполнена, онъ не могъ быть счастливымъ. Выждавъ три года и думая, что о немъ уже успѣли позабыть, онъ въ началѣ 1542 г. выпустилъ одно за другимъ нѣсколько изданій, которыя подняли противъ него новую бурю. Въ числѣ этихъ изданій былъ переводъ Новаго Завѣта *Institution de la religion chrefienne* Кальвина, сатира *Marò L'Enfer*, два трактата Эразма *Le Chevalier chretien* и *La Manière de se confesser*, съ сво-имъ предисловіемъ и др. Долѣ очень хорошо зналъ, что первыя три книги запрещены во Франціи и что трактаты Эразма, пере-веденные на французскій языкъ Беркенемъ, были въ 1529 году сожжены вмѣстѣ съ переводчикомъ, что онъ страшно рискуетъ, издавая ихъ, но, тѣмъ не менѣе, онъ счелъ своимъ долгомъ из-дать ихъ. Послѣдствія не заставили себя долго ждать. Въ іюлѣ 1542 г. Долѣ былъ арестованъ, а мѣсяцъ спустя начался про-цессъ его подѣ предсѣдательствомъ великаго инквизитора Матѣ Оррѣ, о которомъ Долѣ въ прошеніи на имя короля отзывается, какъ о человѣкѣ крайне невѣжественномъ, зломъ и кровожад-номъ. Кромѣ изданія запрещенныхъ книгъ, Долѣ обвинялся въ томъ, что онъ по постнымъ днямъ ѣлъ скоромное, выражаясь при этомъ, что имѣетъ такое же право разрѣшить себѣ скором-ное, какъ папа запретить, что онъ предпочиталъ проповѣдь обѣднѣ, во время которой онъ часто гулялъ вокругъ церкви и что во многихъ своихъ сочиненіяхъ онъ выражалъ сомнѣніе въ безсмер-тіи души. Если мы вспомнимъ, что Оррѣ былъ извѣстный взя-точникъ и что въ качествѣ свидѣтелей противъ обвиняемаго были

выставлены ліонскіе типографшники, то насъ не удивить приговоръ суда, объявившій Долё (2 октября 1542) негоднымъ схизматикомъ, зачинщикомъ и распространителемъ Лютеровой ереси и постановившимъ передать этого вреднаго для церкви Христовой чловѣка въ руки свѣтской власти. Выслушавъ приговоръ, Долё, чтобъ выиграть время, подалъ заявленіе о неподсудности своего дѣла духовному суду и просилъ разсмотрѣть его въ Парижскомъ парламентѣ. Расчетъ Долё оказался вѣренъ, ибо, пока совершались всѣ необходимыя въ тѣхъ случаяхъ юридическія формальности, пока его самого переводили изъ ліонской тюрьмы въ парижскую *Conciergerie*, друзьямъ Долё, удалось черезъ посредство любимца короля, Дюшателя, выпросить для него у Франциска I еще разъ полное прошеніе. Осенью 1543 г. Долё былъ выпущенъ на свободу, подъ условіемъ, чтобы онъ въ присутствіи епископа парижскаго отрекся отъ вводимыхъ на него обвиненій и чтобы книги, подавшія поводъ къ процессу, были сожжены. Такимъ образомъ, послѣ пятнадцатимѣсячнаго заключенія Долё былъ вырванъ изъ рукъ фанатиковъ и обскурантовъ и возвращенъ своей семьѣ, друзьямъ и занятіямъ. Но счастье его было непродолжительно; гибель уже висѣла надъ его головой. Въ первый день Новаго 1544 г. таможенная стража захватила близъ воротъ Парижа два ящика съ книгами, въ числѣ которыхъ были книги, вышедшія изъ типографіи Долё и уже осужденныя Сорбонной и парламентомъ, и кромѣ того нѣсколько женевскихъ кальвинистскихъ сочиненій. Такъ какъ на ящикахъ стоялъ штемпель съ именемъ Долё, то немедленно былъ посланъ въ Ліонъ приказъ объ его арестованіи. 6 января Долё былъ арестованъ у себя на дому, когда онъ съ своими друзьями праздновалъ праздникъ Крещенія. Напрасно Долё доказывалъ, что онъ ничего не знаетъ объ отправленныхъ въ Парижъ книгахъ, что съ его стороны было бы безуміемъ написать на ящикахъ свое имя, его не слушали и отвели до разбора дѣла въ тюрьму. Видя, что ему нечего ждать отъ справедливости людской, Долё рѣшился бѣжать. Обманувъ бдительность своихъ стражей, онъ убѣжалъ изъ Ліона и пробрался въ Пьемонтъ. Въ горахъ Пьемонта Долё прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ такомъ строгомъ уединеніи, что никто, даже его семья, не знали объ его мѣстопробываніи. Тамъ онъ написалъ книжку стихотвореній, которымъ, въ подражаніе знаменитой сатирѣ *Marò L'Enfer*, онъ далъ названіе *Second Enfer*. Книга Долё состоитъ изъ стихотворныхъ посланій къ разнымъ лицамъ: королю, Маргаритѣ Наваррской, герцогу Орлеанскому, кардиналу Турнону, па-

рижскому парламенту и, наконецъ, своимъ друзьямъ. Въ посланіи къ Франциску I—самому обширному изъ всѣхъ—Долё разоблачаетъ козни своихъ враговъ, жалуется на преслѣдованія и подробно описываетъ свое бѣгство изъ ліонской тюрьмы. Не подозревая, что король уже находился тогда въ рукахъ Сорбонны и фанатическаго духовенства, Долё обращается къ нему съ смѣлымъ вопросомъ: „неужели спрашиваетъ онъ короля—ты допустишь, чтобы эти негодные люди погубили своими презрѣнными кознями людей честныхъ и преданныхъ наукъ? Проснись, несравненный монархъ! Теперь не время спать! Развѣ ты не видишь, какой позоръ готовятъ тебѣ эти враги добродѣтели, если имъ удастся изгнать ученыхъ людей изъ твоего царства?“ Какъ бы предчувствуя ожидающую его судьбу, Долё проситъ короля даровать ему жизнь, которую онъ употребитъ на славу своей родины.

Vivre je veux pour l'honneur de la France!

Горькой, хватающей за сердце, ироніей дышитъ посланіе къ парижскому парламенту, въ которомъ онъ тщетно пытался пробудить чувства гуманности. „Ну, положимъ, меня сожгутъ, повѣсятъ, колесуютъ или четвертуютъ. Что же будетъ результатомъ всего этого? Мертвый трупъ. Неужели же парламентъ не почувствуетъ угрызений совѣсти, погубивъ такимъ жестокимъ образомъ человѣка, не совершившаго никакого преступленія? Неужели въ вашихъ глазахъ человѣческая жизнь представляетъ такую же малую цѣну, какъ жизнь мухи или червяка?“ Высокаго поэтическаго одушевленія достигаетъ Долё въ посланіи къ друзьямъ. Здѣсь ему нечего было ни оправдываться, ни жаловаться, ни взывать къ милосердію. Гордый сознаніемъ своей правоты и исполненнаго долга, онъ заявляетъ, что его не устрашаютъ никакія невзгоды, что его добродѣтель выше ударовъ судьбы, что его духъ во всякомъ случаѣ будетъ чувствовать себя побѣдителемъ. „Поэтому, друзья,—говоритъ онъ—не сожалѣйте объ обрушившихся на меня несчастіяхъ: я переношу ихъ съ кротостью, я смѣюсь надъ ними!“

Отправивъ свои посланія по адресамъ, Долё имѣлъ намѣреніе подождать результатовъ своихъ ходатайствъ въ Пьемонтѣ, но, не будучи въ состояніи выносить дольше разлуки съ женой и сыномъ, онъ тайкомъ возвратился въ Ліонъ, чтобы издать свои посланія отдѣльной книгой, присоединивъ къ нимъ переводъ двухъ діалоговъ Платона. Несмотря на то, что переѣздъ свой Долё держалъ въ глубочайшей тайнѣ, что онъ выходилъ въ свою

типографію только по ночамъ, его присутствіе не могло долгое время остаться неизвѣстнымъ ліонскимъ властямъ, и въ сентябрѣ 1544 онъ былъ арестованъ и отправленъ въ Парижъ, гдѣ его заключили въ тюрьму Conciergerie. Долё былъ преданъ суду парижскаго парламента, въ которомъ предсѣдательствовалъ извѣстный изувѣръ Пьеръ Лизе. Книги, захваченныя въ генварѣ и только что вышедшая въ свѣтъ *Second Enfer* были отданы на разсмотрѣніе Сорбонны, которая жестоко отомстила Долё за всѣ нападки на нее, усмотрѣвши въ переводѣ одного мѣста діалога Платона отрицаніе безсмертія души *). Сорбонна обвиняла Долё въ томъ, что онъ прибавилъ слова *rien du tout*, которыхъ нѣтъ ни въ подлинникѣ, ни въ латинскомъ переводѣ, съ цѣлью заронить въ умы чатателей сомнѣніе въ безсмертіи души. До насъ не дошли протоколы послѣдняго процесса Долё; мы не можемъ знать, почему онъ тянулся такъ долго, почти два года; знаемъ только, что главныхъ пунктовъ обвиненій было три: богохульство, доказываемое прибавкой несчастныхъ словъ *rien du tout*; продажа запрещенныхъ еретическихъ книгъ и, наконецъ, возмущеніе противъ существующаго порядка; подъ послѣднимъ разумѣлось бѣгство Долё изъ тюрьмы и участіе его въ столкновеніи наборщиковъ съ содержателями типографій. Около двухъ лѣтъ провелъ Долё въ тюрьмѣ, ежедневно ожидая смертнаго приговора. На этотъ разъ заступиться за него было некому. Старыхъ его друзей и покровителей, добраго епископа Жана Депена и главы французскихъ гуманистовъ Гильома Бюдё, давно не было въ живыхъ единственная заступница гуманистовъ Маргарита Наваррская, сама заподозрѣнная въ сочувствіи къ протестантизму, утратила всякое вліяніе на брата, которымъ окончательно завладѣла реакціонная партія. Что до друзей Долё, гуманистовъ, то что значила горсть этихъ людей, невліятельныхъ, незнатныхъ, которые сами дрожали за свое существованіе? Даже любимецъ короля Дюшатель, разъ уже спасшій Долё, боялся теперь компрометировать свое положеніе, ходатайствуя за такого опаснаго человѣка. Тогда-то оставленный всѣми, но почерпая свою силу въ вѣрѣ въ

*) Въ діалогѣ *Axiochus*, который теперь признается подложнымъ, Сократъ доказываетъ неразумность боязни смерти тѣмъ, что смерть не должна быть страшна ни для живыхъ, ни для мертвыхъ: „для живыхъ потому, что, пока ты живъ—смерти нѣтъ, а когда умрешь, смерти тоже нечего бояться, потому что ты самъ перестаешь существовать. Послѣднія слова греческаго текста (*οὐ γὰρ οὐχ ἔσει*), переведенныя по-латыни *Tu enim non eris*, Долё перевелъ словами: *attendu, que tu seras plus rien du tout*.

Бога и безсмертіе души, Долё написалъ свою знаменитую *Cantique*. Мы приводимъ нѣсколько строфъ изъ нея въ русскомъ переводѣ *).

Когда въ несчастіи міръ забудетъ обо мнѣ
И дни влачить свои я обреченъ въ тюрьмѣ,
И если мнѣ не суждено опять
Свободу увидать,
Ужели долженъ я въ безсиліи роптать
И тщетно слезы лить и въ скорби унывать?
Нѣтъ! Къ небу обращаю я взглядъ нѣмой—
И тамъ найду покой.
Воспріянь, мой духъ! Покинь безплодные страданья!
Господь—твой вѣрный щить и въ скорби упованье.
Съ надеждой пламенной къ Нему ты обратись,
Не сѣлуй, а молись!
Воспріянь! Не допускай, чтобъ плоть торжествовала,
Чтобы тебя она всечасно угнетала!
Забота, немощи и гнеть всеневныхъ дѣлъ—
Таковъ ея удѣлъ!
Но ты, о духъ, кому въ блаженномъ откровеньи
Предвѣчный ниспослалъ любовь и утѣшенье,
Надежду крѣпкую на Бога возлагай,
Молись Ему и знай,
Что если этотъ міръ надъ плотью власть имѣетъ,
То надъ тобой, о духъ, ничто не тяготѣетъ;
Будь къ небу ты съ мольбой всечасно обращенъ,
И скорбью не смущенъ.
Теперь иль въ будущемъ плоть наша станетъ прахомъ.
Природѣ эту дань съ болѣзнію и страхомъ
Мы всѣ должны отдать на склонѣ нашихъ дней.—
Таковъ удѣлъ людей!
Но ты, безсмертный духъ, надеждой окрыленный,
Повѣдай предъ людьми, ихъ злобой отягченный,
Что сила, мужество отважнаго бойца
Не покидаютъ до конца.

Такъ утѣшалъ себя великій страдалецъ въ то время, какъ людская злоба и фанатизмъ подготовляли его гибель и придумывали всѣ средства, чтобы оправдать его казнь въ глазахъ современниковъ. 2 августа 1546 г. президентъ парламента объявилъ резолюцію суда, въ силу которой Этьена Долё, обвиненнаго по всѣмъ тремъ пунктамъ, рѣшено было сжечь на *Place Maubert* вмѣстѣ съ изданными имъ книгами, предварительно подвергнувъ

*) Переводъ этотъ сдѣланъ специально для настоящей статьи Л. А. Богдановой, которой приносимъ глубокую благодарность.

его пытки, чтобы онъ выдалъ своихъ сообщниковъ. Казнь Долё совершилась на слѣдующій день; это былъ день его патрона Св. Стефана и вмѣстѣ съ тѣмъ день рожденія Долё, которому съ этого дня пошелъ всего тридцать восьмой годъ. Есть извѣстіе, что, когда измученный пыткой Долё появился на площади, въ толпѣ раздались выраженія сожалѣнія. Это неожиданное проявленіе человѣческихъ чувствъ въ враждебно настроенной толпѣ уладило послѣднія минуты страдальца, который, обратившись къ окружающимъ, сказалъ: „Видите, не Долё скорбитъ, скорбитъ о немъ сострадательная толпа“ (*Non dolet ipse Dolet, sed pia turba dolet*). Въ письмѣ Флореста Юніуса, писавшаго со словъ лица, присутствовавшаго при казни Долё, сообщаются нѣкоторыя подробности объ этой казни. По словамъ очевидца, палачъ подъ угрозой вырѣзать у Долё языкъ, принудилъ его произнести обычную формулу отреченія отъ своихъ заблужденій и признать на себя милосердіе Божіей Матери и Св. Стефана. Только благодаря этому, Долё претерпѣлъ менѣе жестокую казнь: онъ былъ предварительно повѣшенъ, а потомъ уже сожженъ. Извѣстіе о казни Долё было встрѣчено съ ликованіемъ и католиками и протестантами. Если не считать Теодора Безы, впослѣдствіи раскаивавшагося въ выраженіи своего сожалѣнія къ судьбѣ Долё, только одинъ поэтъ не посмѣвший впрочемъ объявить своего имени, оплакалъ Долё въ прекрасномъ стихотвореніи, гдѣ онъ, не обинуясь, называлъ ліонскаго гуманиста святымъ человѣкомъ. Вотъ начало этого стихотворенія:

Mort est Dolet et par feu consumé...
 Oh. quel malheur! Oh, que la perte est grande!
 Mais quoi? En France on a accoutumé
 Toujours donner à tel saint telle offrande!

Долё можно назвать типическимъ представителемъ весенней поры европейскаго Возрожденія. Въ его личности мы находимъ характерныя черты, свойственныя гуманистамъ этой эпохи: страстную любовь къ классической древности и вѣру въ ея обновляющую силу, не менѣе страстную любовь къ славѣ и индифферентное отношеніе къ догматической сторонѣ религіи. Считая науку, которая тогда отождествлялась съ классической литературой, могущественнымъ орудіемъ въ борьбѣ съ остатками средневѣковыхъ предрассудковъ, невѣжествомъ, суевѣріемъ и фанатизмомъ, Долё сдѣлалъ ее цѣлью своей жизни. *Mon naturel*—говорить онъ въ одномъ стихотвореніи—*est d'apprendre toujours*. Въ

занятіяхъ наукой, преждевременно его состарившихъ *), онъ забывалъ и свою болѣзнь, и свои невагоды. „Я всецѣло посвятилъ себя литературѣ,—пишетъ онъ Буассону,—она поглощаетъ все мое время, изгоняетъ изъ моего ума всѣ тревоги и безпокойства и даже заставляетъ забывать болѣзни и страданія“. Другой характерной чертой личности Долё, общей ему со многими учеными эпохи Возрожденія, была жажда славы, желаніе жить въ памяти потомства. Это чувство, неизвѣстное смиреннымъ ученымъ среднихъ вѣковъ, бывшее, по мѣткому выраженію Виллари, настоящимъ-искусителемъ эпохи Возрожденія, было однимъ изъ главныхъ стимуловъ дѣятельности Долё. „Я хочу показать—писатьъ онъ еще въ 1534 г.—работая надъ своими Комментаріями, что значить быть преданнымъ наукѣ и претерпѣвать всякіе труды для безсмертія“. Во второмъ томѣ Комментаріевъ по поводу слова *Mors* онъ размышляетъ о своей собственной смерти и высказываетъ твердую увѣренность, что имя его не умретъ въ потомствѣ. „Ничто—говоритъ онъ—не въ состояніи такъ побудить меня работать для науки, какъ мысль о смерти. Я не говорю о противномъ человѣческой природѣ желаніи умереть преждевременно; я говорю о желаніи побѣдить смерть, заслуживъ себѣ безсмертіе. Неужели вы думаете, что люди, жертвующіе собой на полѣ брани или приносящіе свою жизнь въ жертву наукѣ, могли бы поступать такимъ образомъ, если бы ихъ не вдохновляла мысль о безсмертіи? Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ сдѣлать смерть съ такими людьми какъ Ѳемистоклъ, Эпаминондъ, Александръ В., Демосѣенъ, Цицеронъ или съ такими учеными какъ Бюдѣ, Бембо, Садолето, Эразмъ Роттердамскій или Меланхтонъ? Творенія этихъ людей, созданныя для безсмертія, находятся внѣ власти смерти. Что до меня, я тоже вѣрю, что буду жить въ моихъ трудахъ и что острая коса смерти притупится объ ихъ достоинство“. „Легко переносить—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ—нападки и зависть глупцовъ, когда постоянно имѣешь передъ собой великую цѣль борьбы и когда знаешь, что презрѣнные палачи мысли погибнутъ какъ безсловесныя твари, что ихъ имена заранѣе обречены ничтожеству и забвенію“.

Современные писатели—какъ католики, такъ и протестанты—одинаково враждебно относились къ Долё и соперничали другъ съ другомъ въ желаніи очернить его память, называя его ате-

*) По словамъ одного современника, Долё въ двадцать семь лѣтъ выглядывалъ за сорокъ.

истомъ и матеріалистомъ. Разгадка ихъ ненависти заключается въ томъ, что Долё, подобно своимъ друзьямъ Денёрё и Рабле, стоялъ внѣ теологической сферы мысли. Смотри на религію съ нравственной точки зрѣнія, видя въ христіанствѣ не извѣстную систему догматовъ, но проповѣдь терпимости, братства и любви, Долё относился равнодушно къ догматическимъ различіямъ между церквями и считалъ это различіе не стоящимъ борьбы. Не въ торжествѣ одной секты надъ другой онъ видѣлъ спасеніе общества, а въ свободѣ разума и вѣрующей совѣсти и въ распространеніи здравыхъ понятій о жизни, разсѣянныхъ въ произведеніяхъ лучшихъ писателей классической литературы. Осужденный за атеизмъ и матеріализмъ, онъ въ сущности не былъ ни атеистомъ, ни матеріалистомъ. Изъ *Cantique* Долё видно, что онъ былъ человѣкъ религіозный, что онъ вѣрилъ въ Бога и безсмертіе души и что эта вѣра укрѣпляла его духъ въ послѣднія минуты. Перебравъ всѣ его сочиненія, Сорбонна ничего не могла найти въ нихъ, кромѣ двухъ—трехъ подозрительныхъ фразъ, ничтожность которыхъ очевидна, и потому мы будемъ не далеки отъ истины, если скажемъ, что атеизмъ и матеріализмъ были только предлогомъ для осужденія Долё.—Въ лицѣ его была осуждена свободная мысль, осужденъ былъ человѣкъ, стоявшій выше своего времени, для котораго споры о преимуществѣ одной религіозной секты надъ другой были бесплодной контроверсой. Въ эпоху напряженія религіозныхъ партій такіе нейтральные свободномыслящіе люди кажутся хуже всякихъ еретиковъ. Какъ человѣкъ либеральный, какъ гуманистъ, стоявшій внѣ теологической сферы мысли, Долё долженъ былъ погибнуть въ XVI в., долженъ былъ быть осыпанъ проклятіями фанатиковъ, но потомство, въ судъ котораго онъ вѣрилъ, воздало ему должное и причислило его къ свѣтлой фалангѣ вождей свободной мысли и страдальцевъ за святыя права человѣческой личности.





Возникновеніе реального романа.

Романъ въ настоящее время есть безспорно самая популярная и самая богатая содержаніемъ форма литературныхъ произведеній. Популярность эта объясняется тѣмъ, что романъ совмѣщаетъ въ себѣ всѣ главные поэтическіе роды—эпосъ, лирику и драму, что, отражая жизнь со всѣмъ разнообразіемъ волнующихъ ея вопросовъ, онъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе расширяетъ сферу своего созерцанія и мало-по-малу становится полной картиной жизни современнаго человѣчества. Разсматривая романъ съ эстетической точки зрѣнія, одинъ изъ видныхъ европейскихъ романистовъ, Захеръ Мазохъ, ставитъ его выше эпоса, лирики и драмы. „Вышимъ родомъ поэческаго творчества“—говоритъ онъ—„всегда будетъ тотъ, въ которомъ поэтъ отражаетъ намъ во всей полнотѣ природу и человѣческую жизнь, а такимъ родомъ для насъ, людей новаго времени, можетъ быть только романъ, этотъ эпосъ современной жизни, распространяющій до такихъ предѣловъ свой кругозоръ, до какихъ не могутъ достигнуть ни лирика, ни драма. Только въ романѣ поэтъ можетъ обнять всю жизнь, только въ формѣ романа можетъ воплотиться художественное цѣлое, т. е. полное соприкосновеніе идеи и реального міра. То, что лирикъ, сатирикъ, дидактическій поэтъ или драматургъ выражаютъ отрывочно, по частямъ, то романистъ можетъ выразить въ формѣ художественнаго цѣлаго: онъ развертываетъ передъ нами картины природы и общественной жизни, какъ эпическій поэтъ; онъ заставляетъ своихъ героевъ говорить и дѣйствовать, какъ драматургъ, и, наконецъ, онъ передаетъ намъ переживаемыя ими ощущенія и свои собственныя чувства и мысли, какъ лирикъ.

Нѣтъ ничего на землѣ, что лежало-бы внѣ сферы его созерцанія, чего онъ не могъ бы изобразить“. Чтобы достигнуть такого универсальнаго значенія, роману нужно было пройти не мало ступеней развитія, воплощаемыхъ въ дѣятельности не одной сотни романистовъ, разсѣянныхъ по всему лицу земного шара и превратившихъ въ теченіе вѣковъ первое зерно романа—наивную и безличную сказку—въ полную художественной правды и освѣщенную мыслью картину общественной жизни, которую новые критики считаютъ высшимъ родомъ поэтического творчества. Какъ народный обрядъ легъ въ основу драмы, такъ эпическое преданіе легло въ основу повѣствовательнаго рода поэзіи на первой ступени его развитія. На почвѣ эпическаго преданія выросли полуфантастическіе разсказы древняго Египта, библейскія повѣствованія объ Юдиѣ, Эсфири и др. Въ Индіи древнѣйшіе памятники повѣствовательной литературы являются уже не въ формѣ эпическаго преданія или наивной сказки, но въ формѣ поучительныхъ разсказовъ (жатакъ), изобилующихъ предписаніями буддѣйской мудрости и морали; нѣсколько позднѣе въ Индіи появляется множество апологовъ, басенъ, притчъ, изъ которыхъ составляются два обширные сборника Панчатантра и Гитопадеша, имѣвшіе не малое вліяніе на повѣствовательную литературу Западной Европы. Хотя въ египетской повѣсти *о Двухъ Братьяхъ* и въ библейскихъ разсказахъ встрѣчается не мало бытовыхъ чертъ, но это явленіе случайное; равнымъ образомъ реальной тенденціи нечего искать не только въ индѣйскихъ жатакахъ и апологахъ, но даже въ произведеніяхъ романистовъ александрійскаго періода греческой литературы, которые писали въ эротико-сентиментальномъ духѣ и заботились не объ изображеніи жизни, а объ изображеніи превратностей любви и придумывали для этой цѣли различныя испытанія для влюбленной четы въ видѣ кораблекрушеній, набѣговъ пиратовъ и т. п. Впрочемъ нельзя сказать, чтобы и въ этихъ произведеніяхъ совершенно отсутствовалъ реально-бытовой элементъ; такъ, напримѣръ, встрѣчающееся въ романѣ *Дафнисъ и Хлоя* описаніе сбора винограда несомнѣнно основано на непосредственномъ наблюденіи. За отцвѣтомъ эпической поэзіи въ средневѣковой Европѣ повѣствовательное творчество нашло себѣ выраженіе въ двухъ формахъ: въ формѣ рыцарскаго романа и въ формѣ поучительныхъ разсказовъ, большею частью занесенныхъ съ востока, изъ которыхъ составились сборники въ родѣ: *Disciplina Clericalis*, *Gesta Romanorum* и др. Содержаніе первыхъ въ большей или меньшей степени фанта-

стично, а основныя идеи, ихъ проникающія—это идея феодальнаго долга по отношенію къ сюзерену и идея рыцарскаго долга по отношенію къ избранной дамѣ сердца. Что до вторыхъ, то они представляютъ собою обработки такъ называемыхъ странствующихъ разсказовъ, и всѣ старанія ихъ авторовъ направлены къ тому, чтобъ приноровить ихъ содержаніе къ цѣлямъ христіанской морали. На почвѣ этихъ нравоучительныхъ разсказовъ развились французскія средневѣковыя фавльо, въ которыхъ, впрочемъ, на ряду съ сюжетами, заимствованными съ востока, встрѣчаются сюжеты, навѣянные современной жизнью. Возникшія въ стѣнахъ городовъ, фавльо защищаютъ интересы горожанъ и относятся сатирически къ представителямъ другихъ сословій, къ развратному и жадному духовенству, приходящему въ упадокъ рыцарству и смышленому, но нравственно-грубому крестьянству. Эти небольшіе по объему сатирическіе разказы разлетаются въ переводахъ и передѣлкахъ по всей Европѣ и даютъ матеріалъ для созданія итальянской новеллы, которая впервые достигаетъ художественной обработки въ Декамеронѣ Боккаччо. Французскія фавльо, нѣмецкіе шутивые разказы (Schwänke) и итальянскія новеллы заключаютъ въ себѣ составные элементы реальнаго романа, но еще не пришло время претворенія этихъ элементовъ въ обширное по объему художественное цѣлое. Положивъ въ своемъ *Амето* основы пастушескому роману, а въ своей *Фиаметтѣ* роману любовно-психологическому, Боккаччо по отношенію къ реально-бытовому роману остановился, такъ сказать, на полдорогѣ и въ своемъ Декамеронѣ далъ намъ нѣсколько превосходныхъ образчиковъ реально-бытовой новеллы. Движеніе, сообщенное повѣствовательной литературѣ гениемъ Боккаччо, не замедлило принести свои плоды прежде всего въ области новеллы и пастушескаго романа. Отъ Декамерона пошла цѣлая серія итальянскихъ новеллистовъ XV—XVI вѣка, а *Амето* послужилъ образцомъ для древнѣйшаго пастушескаго романа въ Европѣ *Аркадіи* Саннацаро, которая оказала вліяніе на всѣ знаменитые пастушескіе романы: *Діану* Монтемайора, *Аркадію* Сиднея и *Астрео* Онорѣ д'Юрфе. Въ то время какъ эти идеализирующіе жизнь романы съ своими галантными пастухами и пастушками расходились въ тысячахъ экземпляровъ по всей Европѣ и соперничали въ популярности съ рыцарскими романами изъ цикла Амадиса, въ Испаніи возникаетъ особая форма романа, такъ называемая плутовская новелла (novella picaresca) съ завѣдомо реальной тенденціей и съ героями, взятыми изъ низкихъ слоевъ испанскаго общества. Двѣ причины способствовали возникновенію и быстрому

распространенію этого рода произведеній; во-первыхъ, свойствен-
ный эпохѣ возрожденія трезвый и рациональный взглядъ на жизнь
и желаніе изображать ее безъ прикрасъ и идеализаціи. Реальное
направленіе въ литературѣ начинается съ тѣхъ поръ, какъ писа-
тели ставятъ своей главной задачей не проведеніе извѣстной тен-
денціи, не идеализацію дѣйствительности, но правдивое ея изо-
браженіе, а средствами для этой цѣли избираютъ наблюденіе и
изученіе. Примѣненіе этого плодотворнаго принципа къ живописи
вызвало къ жизни фламандскую школу въ Голландіи и севиль-
скую въ Испаніи. „Кто-бы могъ подумать“—говоритъ по этому по-
воду Прудонъ въ своемъ сочиненіи *Объ Искусствѣ*,— „что простая
мысль изобразить человѣка въ его обыденной обстановкѣ, за его
обыденнымъ занятіемъ, была самой великой мыслью, когда либо
посѣтившей голову художника?“ А между тѣмъ, это было дѣй-
ствительно такъ, ибо фламандская школа, низведшая искусство
съ заоблачныхъ высотъ на землю, заставившая его послужить
правдивому изображенію обыденной человѣческой жизни, произ-
вела цѣлый переворотъ въ живописи, создала новую оригиналь-
ную форму ея—жанръ, который съ тѣхъ поръ сдѣлался едва-ли
не самой популярной формой живописи. Въ XVI вѣкѣ плодот-
ворный принципъ реализма былъ примѣненъ и къ литературѣ,
къ половинѣ XVI столѣтія относится происхожденіе реально-
бытоваго романа въ Испаніи, къ концу его—возникновеніе буржу-
азной трагедіи въ Англіи *), а къ началу XVII—возникновеніе
эмпирической философіи Бэкона. Но, кромѣ этой общей причины,
была еще причина частная, специальная, въ силу которой Испа-
ніи, а не какой-либо другой странѣ, суждено было сдѣлаться
родиной реальнаго романа въ Европѣ. Соціальное положеніе Ис-
паніи въ XVI в. представляетъ особенности, которыхъ мы не
встрѣчаемъ въ другихъ странахъ. Завоеваніе Гренады, итальянскія
войны, открытіе Америки, откуда потекли въ Испанію волны зо-
лота и серебра, значительно измѣнили соціальныя отношенія въ
странѣ. Съ одной стороны военные авантюристы, отправлявшіеся
въ Америку бѣдняками, возвращались оттуда богачами и окру-
жали себя льстецами и прихлебателями; съ другой стороны, про-
стой классъ народа, привлекаемый жаждой наживы, бросалъ свои
земли и переселялся въ столицу и большіе города, чтобы жи-

*) Авторъ одной изъ этихъ трагедій подъ заглавіемъ *Арденъ изъ Февершама*
(Arden of Feversham), основанной на сенсационномъ уголовномъ процессѣ, зая-
вляетъ, что въ его пьесѣ нѣтъ ничего выдуманнаго, ибо истина хороша сама по
себѣ и не нуждается ни въ какихъ прикрасахъ.

виться на счетъ новыхъ богачей, безумно сорившихъ безъ труда добытыми деньгами. Нерѣдко впрочемъ случалось, что эти же авантюристы, прокутивъ все награбленное въ Новомъ Свѣтѣ, сами увеличивали собой число людей, избѣгавшихъ честнаго труда и желавшихъ жить на чужой счетъ. Такимъ образомъ, по словамъ Тикнора, золото обѣихъ Индій явилось тучнымъ удобреніемъ, на которомъ выросли паразиты, плуты, авантюристы и другіе поддонки общества, носившіе въ Испаніи общую кличку *Pisagos* *). Слухи о продѣлкахъ этихъ людей, ихъ дерзости, остроуміи и изобрѣтательности заинтересовали собой испанское общество, которое желало знать болѣе подробностей о жизни и нравахъ *Pisagos*. На встрѣчу этому желанію пошли писатели, которые, подчиняясь пытливому и трезвому духу эпохи, создали новую форму повѣствовательной литературы, основанную не на идеализаціи дѣйствительности, а на тщательномъ ея изученіи. Таковы были причины, способствовавшія возникновенію въ Испаніи реально-бытового романа изъ жизни *Pisagos*, который по всей справедливости можетъ быть названъ отцомъ европейскаго реальнаго романа.

Первымъ произведеніемъ въ этомъ новомъ родѣ была повѣсть: „*Жизнь Лазарильо изъ Тормеса*“ (*La vida da Lasarillo de Tormes*), неизвѣстнаго автора, вышедшая въ свѣтъ въ 1554 г. въ Бургосѣ **). Это—исторія маленькаго оборвыша Лазарильо, рассказанная имъ самимъ. Лазарильо начинаетъ рассказъ съ своего рожденія и прерываетъ на своей женитьбѣ. Дѣтство его было самое печальное. Онъ былъ сынъ одного бѣдняка и плута, арендовавшаго мельницу на рѣкѣ Тормесѣ. Отецъ Лазарильо велъ себя крайне недобросовѣстно по отношенію къ своимъ кліентамъ, обвѣшивалъ и обмѣривалъ ихъ, за что подвергся преслѣдованіямъ судебной власти, утратилъ право содержать мельницу и былъ изгнанъ изъ окрестностей Тормеса. По этому поводу Лазарильо, съ свойственнымъ ему наивнымъ лукавствомъ, замѣчаетъ, что онъ долженъ быть въ раю, ибо евангеліе обѣщаетъ вѣчное блаженство всѣмъ гонимымъ за правду. Оставшись послѣ изгнанія мужа, вскорѣ погибшаго въ войнѣ съ маврами, въ крайней бѣдности, мать Лазарильо сошлась съ мавромъ Сеидомъ, служившимъ

*) „Исторія испанской литературы“, русскій переводъ, т. III, стр. 87.

**) Первоначально ее приписывали Мендозѣ, но въ настоящее время это мнѣніе оставлено. Вопросъ объ авторѣ Лазарильо подвергнутъ обстоятельному разсмотрѣнію въ книгѣ Морель Фасіо: „*Études sur l'Espagne*“. Paris, 1888, p. 143—166.

конюхомъ у одного гранда. Мальчикъ сначала смотрѣлъ косо на чернаго друга матери и бѣгалъ отъ него, но замѣтивъ, что всякій разъ, когда приходилъ мавръ, обѣдъ былъ лучше, потому что послѣдній приносилъ имъ хлѣбъ и говядину, Лазарильо полюбилъ его. Чтобы содержать Лазарильо съ матерью, мавръ по необходимости долженъ былъ прибѣгать къ воровству, продавалъ часть ячменя, который ему давали для лошадей, таскалъ дрова, попоны, подковы, словомъ все, что ему попадалось подъ руку. Но это не могло продолжаться долго; онъ былъ уличенъ и жестоко наказанъ плетью, при чемъ на долю его сообщницы, матери Лазарильо, досталось около ста ударовъ. Не имѣя чѣмъ содержать сына, тѣмъ болѣе, что у нея на рукахъ былъ другой ребенокъ отъ мавра, мать отдала Лазарильо въ вожаки къ слѣпому нищему. Описаніемъ этого слѣпого открывается рядъ типовъ, выхваченныхъ авторомъ изъ современной жизни и очерченныхъ имъ съ замѣчательнымъ искусствомъ. Пребываніе у него было настоящей школой житейской мудрости для мальчика, ибо слѣпой нищій представлялъ въ своемъ родѣ явленіе замѣчательное. Онъ былъ не только нищій, но настоящій виртуозъ своей профессіи. „Я не могу тебѣ дать ни золота, ни серебра,—сказалъ онъ однажды мальчику,—но взамѣнъ этого я дамъ тебѣ совѣты, какъ жить“. Первый жизненный урокъ, который преподавалъ нищій своему вожаку, былъ урокъ выпрашиванія милостыни; это искусство было у испанскаго нищаго выработано въ цѣлую систему. Онъ обучилъ Лазарильо разнымъ молитвамъ на разные случаи и на разные цѣны. Молитвы свои онъ произносилъ съ благоговѣніемъ, стоя на колѣняхъ, прекраснымъ, звучнымъ голосомъ, при чемъ никогда не позволялъ себѣ прибѣгать къ судорогамъ и гримасамъ, какъ это нерѣдко дѣлали другіе нищіе. Само собою разумѣется, что всякая молитва непременно оканчивалась просьбой о милостынѣ. Вторымъ ресурсомъ испанскаго нищаго была медицина. Онъ имѣлъ репутацію человѣка, знающаго цѣлебныя свойства различныхъ травъ, и невѣжественный народъ, въ особенности женщины, стекались къ нему въ огромномъ количествѣ. Несмотря на то, что слѣпой зарабатывалъ не мало, скупость его была непомѣрна. Онъ давалъ Лазарильо ровно столько, сколько нужно было, чтобы не умереть съ голоду; всю же остальную провизію носилъ въ мѣшокъ, который у него запирался на замокъ. Это послѣднее обстоятельство только изоощряло изобрѣтательность вѣчно голоднаго Лазарильо. Онъ ухитрялся по нѣсколько разъ въ день распарывать и зашивать мѣшокъ слѣпого, и украденную оттуда провизію

частью съѣдалъ, частью продавалъ. Получивъ однажды за проданныя сосиски нѣсколько мелкихъ монетъ, Лазарильо размѣнялъ ихъ на болѣе мелкія и когда хозяину подавали обычную милостыню,—копейку за одну молитву,—онъ весьма ловко замѣнялъ ее полкопейкой и подавалъ слѣпому. Послѣдній узнавалъ ощупью, что его обманываютъ и сталъ подозрѣвать Лазарильо. „Что за чортъ,—сказалъ онъ однажды,—съ тѣхъ поръ, какъ ты, Лазарильо, у меня, мнѣ дають вдвое меньше милостыни; вѣрно, это твои штуки“. Ничто подобное продѣлывалъ Лазарильо съ виномъ, до котораго онъ былъ большой охотникъ. Подавая хозяину глиняный кувшинъ съ виномъ, Лазарильо мгновенно подносилъ его къ своимъ губамъ и отпивалъ нѣсколько глотковъ, но хитрый слѣпой по количеству оставшихся глотковъ узнавалъ, насколько Лазарильо его обманывалъ. Давши за это мальчугану сильную таску, онъ заставилъ послѣдняго прибѣгнуть къ болѣе остроумному средству,—просверлить на днѣ кувшина маленькое отверстіе и залѣплать его воскомъ. Съ помощью этой хитрости, Лазарильо могъ наслаждаться виномъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда слѣпой, изъ боязни, чтобы мальчуганъ не надулъ его, держалъ кувшинъ въ своихъ рукахъ. Догадавшись, наконецъ, объ этой продѣлкѣ Лазарильо, слѣпой отомстилъ ему самымъ жестокимъ образомъ. Однажды, когда ничего не подозрѣвающій Лазарильо лежалъ на землѣ у ногъ слѣпого и, приложивъ ротъ къ донышку кувшина, втягивалъ въ себя маленькими глотками драгоценную влагу, слѣпой схватилъ обѣими руками кувшинъ, высоко приподнялъ его и опустил на фізіономію мальчугана съ такой силой, что у бѣднаго Лазарильо вылетѣло сразу нѣсколько зубовъ. Съ этихъ поръ между слѣпымъ и его жоакомъ началась вѣчная война. Слѣпой сдѣлался еще подозрительнѣе и, заподозривъ Лазарильо въ какой-нибудь продѣлкѣ, жестоко колотилъ его, а послѣдній, въ отмщеніе, водилъ слѣпого по такимъ дорогамъ, гдѣ онъ могъ ежедневно сломать себѣ шею. Истощивъ свое терпѣніе въ этой неравной борьбѣ, Лазарильо рѣшилъ совсѣмъ покинуть своего хозяина, но не иначе, какъ предварительно отомстивъ ему. Съ этой цѣлью онъ подвелъ слѣпого къ стоявшему на сельской площади столбу и увѣрилъ его, что передъ нимъ ручей, черезъ который нужно перепрыгнуть. Слѣпой отступилъ на нѣсколько шаговъ, разогнался, сдѣлалъ прыжокъ впередъ и ударился со всего размаха головой о столбъ. Оставивъ его на рукахъ сбѣжавшихся на его крикъ людей, Лазарильо успѣшилъ скрыться и пошелъ по дорогѣ изъ Саламанки

въ Толедо. Голодъ заставилъ его просить милостыню у встрѣченнаго на дорогѣ священника, который, видя безвыходное положеніе мальчика, согласился взять его къ себѣ въ услуженіе. Но оказалось, что Лазарильо попалъ изъ огня въ полымя, потому что священникъ былъ еще скупѣе и жаднѣе слѣпого. Нищій держалъ Лазарильо всегда впроголодь, но, благодаря его слѣпотѣ, мальчику ежедневно удавалось припрятать себѣ двѣ или три мелкихъ монеты, на которыя онъ могъ купить себѣ пищи; священникъ же кормилъ его чуть не однимъ лукомъ и, въ довершеніе всего, у него нельзя было украсть ни копейки. Слепой носилъ провизію въ мѣшкѣ, который очень легко было распарывать и, взявши что нужно, опять зашивалъ; священникъ же пряталъ всѣ свои припасы, и даже хлѣбъ, въ деревянномъ сундукѣ, ключъ отъ котораго постоянно имѣлъ при себѣ. При такихъ порядкахъ Лазарильо совсѣмъ отошаль; ноги его до того ослабѣли, что онъ не могъ и помышлять о побѣгѣ. Онъ, навѣрное, умеръ бы съ голоду, если бы, на его счастье, не умиралъ кто-нибудь изъ прихожанъ. Въ этихъ случаяхъ не только священникъ, но и Лазарильо, прислуживавшій ему при совершеніи требъ, былъ приглашаемъ на заупокойную трапезу. „Хотя я“,—разсказываетъ Лазарильо,—„никогда не былъ врагомъ человѣческаго рода, но о похоронахъ до сихъ поръ вспоминаю съ удовольствіемъ, потому что это былъ единственный случай, когда я могъ насытиться вдоволь. Вотъ почему я желалъ и даже молилъ Бога, чтобы Онъ ежедневно призывалъ къ Себѣ кого-нибудь изъ нашихъ прихожанъ, и въ то время, когда священникъ причащалъ или соборовалъ больного, а всѣ окружающіе молились объ его спасеніи, я тоже молился отъ всего сердца, но о томъ, чтобы Господь Богъ поскорѣй прибралъ его. Всякаго выздоравливающаго (да простить меня за это Богъ!) я тысячу разъ посылалъ ко всѣмъ чертямъ, но зато всякаго умирающаго я напутствовалъ моимъ благословеніемъ“. Но такъ какъ похороны были все-таки явленіемъ сравнительно рѣдкимъ, то, доведенный до отчаянія, мальчуганъ вынужденъ былъ прибѣгнуть къ воровству: онъ добылъ у одного слесаря поддѣльный ключъ къ сундуку священника и сталъ, въ отсутствіи его, таскать оттуда хлѣбъ. Священникъ замѣтилъ это и, уходя изъ дома, всякій разъ пересчитывалъ оставшіеся куски. Тогда, томимый голодомъ, Лазарильо придумалъ другое средство: пользуясь ежедневнымъ уходомъ священника по приходу, онъ отворялъ сундукъ, пожиралъ хлѣбъ глазами, покрывалъ поцѣлуями и позволялъ себѣ погрызть немножко корку каждаго ку-

ска. Эту операцию онъ продѣлывалъ до того искусно, что священникъ серьезно заподозрилъ, что его сундукъ посѣщали крысы. Однажды, сядя за столъ, онъ отдалъ Лазарилью цѣлый кусокъ, имъ же изгрызенный, и сказалъ ему при этомъ: „Вшь, крыса животное чистое!“ Но какъ ни ловко производилъ свои похищенія Лазарилью, въ одинъ несчастный день священникъ накрылъ его на мѣстѣ преступленія и, сильно избивъ, выгналъ изъ дому. И вотъ, не имѣя еще и двѣнадцати лѣтъ отъ роду, Лазарилью вторично очутился на улицѣ. Несмотря на то, что, въ виду чрезмѣрнаго развитія нищенства въ Испаніи, милостыня была запрещена закономъ, добрые люди все-таки подавали ее и, благодаря имъ, Лазарилью добрался до Толедо. Онъ имѣлъ такой больной и изможденный видъ, что и въ Толедо первое время прохожіе подавали ему милостыню, но впослѣдствіи, присмотрѣвшись къ нему, перестали давать и приговаривали при этомъ: „проваливай, негодный мальчишка, что шляешься безъ дѣла, ищи себѣ мѣсто!“ Лазарилью послѣдовалъ этому благому совѣту и по цѣлымъ днямъ шлялся по городу, ища себѣ занятій, но въ продолженіе нѣсколькихъ дней поиски его были напрасны. Наконецъ, однажды рано утромъ онъ встрѣтилъ хорошо одѣтаго рыцаря (escudero), красиво драпированнаго плащомъ и съ длинной шпагой на боку; видъ его былъ гордый, движенія медленны, жесты величественны. Рыцарь и Лазарилью, при встрѣчѣ, вопросительно взглянули другъ на друга и, повидимому, остались довольны взаимнымъ осмотромъ. „Мальчикъ, ты вѣрно ищешь себѣ господина?“ спросилъ рыцарь.—„Да, ваша милость!“ отвѣчалъ Лазарилью.—„Въ такомъ случаѣ слѣдуй немедленно за мной и благодари небо, что встрѣтился со мной!“ Сказавши эти слова, рыцарь величественно зашагалъ впередъ, а Лазарилью съ восторгомъ послѣдовалъ за нимъ. Они прошли большую часть города, миновали базарную площадь, гдѣ продавались разные съѣстные продукты, но, къ удивленію и огорченію Лазарилью, уже начинавшему ощущать голодъ, не купили ничего. „Вѣроятно“,—подумалъ мальчуганъ,—„мой господинъ ничего не нашелъ по своему вкусу и рассчитываетъ купить въ другомъ мѣстѣ“. Но и въ другомъ мѣстѣ повторилась та же исторія. Такъ они проходили до одиннадцати часовъ. Проходя мимо церкви, рыцарь зашелъ въ нее съ благоговѣніемъ выслушалъ обѣдню и снова пошелъ бродить по городу. Первоначально Лазарилью даже нравилось это безцѣльное блужданіе по улицамъ Толедо. „Я былъ очень радъ“,—говоритъ онъ,—„что намъ не нужно было заботиться объ обѣдѣ, который, вѣроят-

но, уже ждалъ насъ“. Наконецъ, около часу дня, они подошли къ одному запущенному дому, который оказался квартирой рыцаря. Вынувъ изъ кармана ключъ, онъ отперъ входную дверь, и они очутились въ довольно жалкой полутемной комнатѣ. Рыцарь снялъ съ себя свой плащъ, бережно сложилъ его съ помощью Лазарильо, сдулъ пыль съ стоявшей тутъ каменной скамьи и, преспокойно усѣвшись на ней, спросилъ Лазарильо, какимъ образомъ онъ попалъ въ Толедо? Выслушавъ безъискусственный разсказъ мальчугана о претерпѣнныхъ имъ невзгодахъ, рыцарь погрузился въ размышленіе. Было ужъ около двухъ часовъ. Понявъ, что происходило въ душѣ Лазарильо, рыцарь спросилъ его, ѣлъ-ли онъ что нибудь сегодня? „Нѣтъ, отвѣчалъ Лазарильо, въдь еще не было восьми часовъ, какъ я встрѣтилъ вашу милость“.— „Ну, а я ужъ успѣлъ позавтракать, а если я утромъ позавтракаю, то въ этотъ день не обѣдаю, а только ужинаю“. Видя, что надежды на обѣдъ разсыпались прахомъ, Лазарильо, едва сдерживая слезы, вытащилъ изъ кармана нѣсколько кусковъ хлѣба, оставшихся отъ вчерашней подачи. Рыцарь пристально смотрѣлъ на мальчугана, подозвалъ его къ себѣ и, спросивши, что онъ ѣстъ, взялъ у него изъ рукъ кусокъ хлѣба и съ жадностью началъ ѣсть, тщательно подбирая падавшія на грудь крошки. Переночевавъ на жесткой постели, рыцарь утромъ умылся, приодѣлся, величественно набросилъ на себя плащъ и, придерживая одной рукой свою длинную шпагу, граціозно вышелъ изъ дому, приказавъ Лазарильо убрать комнату, принести изъ рѣки кружку воды и ждать его возвращенія. Рыцарь пропадалъ долго. Прождавъ его понапрасну до двухъ часовъ, умирающій отъ голоду Лазарильо, не надѣясь болѣе на своего господина, самъ отправился на поиски. Помня уроки нищаго, онъ выпрашивалъ милостыню съ такимъ искусствомъ, что къ четыремъ часамъ вернулся домой, держа въ рукахъ нѣсколько кусковъ хлѣба, полуоглоданную говяжью ногу и свиную требуху. Дома онъ уже засталъ гидальго, величаво и медленно прогуливавшагося по комнатѣ. Лазарильо объяснилъ рыцарю, что, прождавши его до двухъ часовъ, онъ ходилъ въ городъ просить милостыню, такъ какъ голодъ мучилъ его. „И я тоже тебя ждалъ обѣдать, но не дождавшись, пообедалъ одинъ. Ты поступилъ хорошо: гораздо лучше просить Христовымъ именемъ, чѣмъ воровать. Но все-таки я прошу не говорить объ этомъ никому, ибо это можетъ бросить тѣнь на мою честь. Ну, съ Богомъ, принимайся за свою ѣду, бѣдный мальчикъ!“ „Я сѣлъ, — разсказываетъ Лазарильо, — на

кончикъ стула и началъ уплетать хлѣбъ и требуху, изподтишка поглядывая на моего несчастнаго господина, который не могъ оторвать глазъ отъ полы платья, служившей мнѣ тарелкой. Я думалъ было сдѣлать ему любезность пригласить его раздѣлить со мной мою скудную трапезу, но вспомнивъ его слова, что онъ уже пообѣдалъ, я боялся, что онъ не приметъ моего приглашенія. Наконецъ рыцарь, прогуливаясь по комнатѣ, подошелъ ко мнѣ и сказалъ: „увѣряю тебя, Лазарильо, я не знаю никого, кто ѣлъ бы съ большей граціей, чѣмъ ты, и нѣтъ на свѣтѣ человѣка, у котораго, глядя на тебя, не разыгрался-бы аппетитъ...“ „Господинъ рыцарь“, отвѣчалъ я, „не трудно быть хорошимъ мастеромъ, имѣя хорошій инструментъ; увѣряю васъ, что этотъ хлѣбъ превосходенъ, а говяжья нога такъ хорошо изжарена, что у всякаго, кто на нее посмотритъ, потекутъ слюнки“. — „Такъ это у тебя говяжья нога?“ — „Да, вапа милость!“ — „Да лучше этого нѣтъ ничего на свѣтѣ; я говядину предпочитаю фазану“. — „Въ такомъ случаѣ попробуйте ее, господинъ рыцарь, и увидите, что я говорю правду“. Съ этими словами я далъ ему говяжью ногу и нѣсколько кусковъ бѣлаго хлѣба. Онъ усѣлся возлѣ меня и началъ ѣсть съ такимъ аппетитомъ и глотать говяжью ногу съ такимъ азартомъ, что навѣрное оставилъ бы далеко за собой любую собаку“.

Такъ они прожили еще нѣсколько дней. Рыцарь продолжалъ по прежнему гордо голодать и Лазарильо пришлось кормить его. Онъ не только примирился съ своимъ положеніемъ, но даже успѣлъ полюбить бѣднаго рыцаря. „Хозяинъ мой бѣднякъ“, — такъ рассуждалъ Лазарильо, — и никто не можетъ дать другому того, чего у него нѣтъ; слѣдовательно его нужно пожалѣть“. Но жалѣя отъ всей души рыцаря, удивляясь терпѣнію и силѣ духа, съ которой онъ переносилъ голодъ, Лазарильо никакъ не могъ понять того чувства кастильской гордости, которое составляло основную черту его характера и которое — къ крайнему удивленію Лазарильо — подъ вліяніемъ бѣдности не только не уменьшалось, но даже увеличивалось. Въ одинъ изъ голодныхъ дней, когда они бесѣдовали, чтобъ заглушить ощущеніе голода, рыцарь разсказалъ Лазарильо свою исторію. Онъ былъ родомъ изъ старой Кастиліи, но оставилъ свою родину, чтобы не встрѣчаться съ однимъ изъ своихъ богатыхъ сосѣдей, который при встрѣчѣ съ нимъ никогда не кланялся первый. Когда Лазарильо, выслушавъ этотъ разсказъ, выразилъ непритворное изумленіе, что можно обращать вниманіе на такіе пустяки, рыцарь отвѣчалъ ему съ

величайшей серьезностью: „Ты еще ребенокъ и ничего не понимаешь въ вопросахъ чести, въ которой заключается въ настоящее время весь капиталъ порядочныхъ людей. Ты знаешь, что я не болѣе, какъ простой рыцарь, но призываю Бога въ свидѣтели, что если я встрѣчу на улицѣ графа и сниму предъ нимъ шляпу, а онъ не отвѣтитъ мнѣ тѣмъ же, то я готовъ при второй встрѣчѣ съ нимъ повернуть въ другую улицу, чтобы не видѣть его, потому что дворянинъ не долженъ быть никому обязаннымъ, кромѣ Бога и короля, и въ качествѣ порядочнаго человѣка долженъ слѣдить, чтобы ему всюду оказывалось должное уваженіе“. Служить у такого чудака представлялось во всякомъ случаѣ дѣломъ рискованнымъ и когда однажды рыцарь, въ виду наступленія срока платы за квартиру, ушелъ съ утра и не вернулся на ночь, Лазарильо счелъ себя вправѣ искать себѣ другого господина. Онъ поступилъ въ услуженіе къ монаху, торговавшему индульгенціями. Въ противоположность рыцарю это былъ человѣкъ безъ всякой чести и совѣсти, готовый прибѣгнуть ко всякому обману, даже выдумать чудо, чтобы получить деньги. Лазарильо рассказываетъ, какъ онъ въ одномъ селеніи близъ Толедо, при помощи своего друга альгвазила, продѣлалъ замѣчательно остроумную штуку, которая принесла ему не мало денегъ. Онъ началъ съ того, что затѣялъ съ альгвазиломъ мнимую ссору, которая скоро перешла въ рукопашную. На шумъ сбѣжался народъ; избитый альгвазиль, осыпая монаха самыми отборными ругательствами, между прочимъ, сказалъ, что монахъ страшный мошенникъ и что всѣ его буллы и индульгенціи поддѣланы. На другое утро, когда монахъ говорилъ въ церкви проповѣдь и подробно распространялся о пользѣ своихъ индульгенцій для спасенія души, въ церковь ворвался альгвазиль и началъ говорить такимъ образомъ: „Добрые люди, знайте что я вступилъ въ стачку съ этимъ шарлатаномъ, чтобы обмануть васъ и раздѣлить барыши пополамъ, но совѣсть стала меня мучить, я раскаялся и теперь еще разъ заявляю, что его индульгенціи фальшивыя и заклинаю васъ не покупать ихъ!“ Услышавъ эти кощунственные слова, нѣсколько человѣкъ бросились къ альгвазилу съ тѣмъ, чтобы для прекращенія скандала вывести его изъ церкви, но монахъ запретилъ имъ дѣлать это. Опустившись на колѣни и сложивъ руки на груди, онъ сталъ горячо молиться: „Всебѣдущій и Всемогущій, Боже! Ты знаешь, какъ я несправедливо оскорбленъ этимъ человѣкомъ. Я прощаю мою обиду, потому что онъ не вѣдалъ, что творилъ. Что до обиды, нанесенной Тебѣ, то во имя справед-

ливости я умоляю, чтобы она не осталась безъ наказанія. Умоляю тебя, Боже, явить немедленно Твое чудо! Если этотъ чело-вѣкъ говорилъ правду, то пусть эта кафедра провалится вмѣстѣ со мною въ землю; если же я говорю правду, а онъ, подстрекае-мый дьяволомъ, клевететь на меня, то пусть покараетъ его дес-ница Твоя!" Не успѣлъ онъ произнести этихъ словъ, какъ альгва-зиль, словно подкошенный, грохнулся на полъ. Его стало ломать и корчить, изо рта била пѣна и онъ катался по церковному полу, какъ бы одержимый злымъ духомъ. Пока все это происходило, монахъ стоялъ на колѣняхъ, погруженный въ молитву, съ гла-зами, устремленными на небо, и повидимому незамѣчалъ ничего. Нѣсколько чело-вѣкъ подбѣжали къ нему и стали просить помо-литься за несчастнаго. „Добрые люди“— отвѣчалъ имъ монахъ— собственно говоря, вамъ не слѣдовало бы просить за чело-вѣка, на которомъ Богъ показалъ свое могущество, но такъ какъ ре-лигія предписываетъ намъ забывать нанесенныя намъ обиды и платить добромъ за зло, то я попытаюсь помолиться за него!" Съ этими словами монахъ сошелъ съ кафедры и, велѣвъ всѣмъ стать на колѣни, подошелъ къ лежавшему на полу альгвазиль, сталъ читать надъ нимъ молитвы, кропить святой водою, а въ заклю-ченіе приказалъ принести одну индульгенцію и положить ее на голову альгвазила, который скоро затихъ, пришелъ въ себя и, павши на колѣни передъ монахомъ, со слезами просилъ у него прощенія. Результатъ этой продѣлки былъ блистательный: менѣе чѣмъ въ полчаса монахъ распродалъ всѣ свои индульгенци. Мало того, слухъ о совершившемся чудѣ быстро разнесся по окрестностямъ, и стоило монаху явиться въ какое-нибудь сосѣд-нее селеніе, какъ жители осаждали его просьбами продать ин-дульгенци. Отъ монаха Лазарильо поступилъ къ городскому свя-щеннику, который сдѣлалъ его водовозомъ: пять дней онъ дол-женъ былъ развозить воду по городу и вырученныя деньги отда-вать священнику, а въ субботу онъ возилъ въ свою пользу. Бла-годаря такому доброму хозяину, Лазарильо успѣлъ въ четыре года столько заработать, что могъ купить себѣ не только прилич-ный костюмъ, но даже шпагу. Послѣднимъ его хозяиномъ былъ альгвазиль, которому онъ долженъ былъ помогать при исполне-ніи имъ полицейскихъ обязанностей, но эта служба была сопря-жена съ опасностью, и Лазарильо скоро его оставилъ. Нѣсколько времени спустя онъ достигъ цѣли своихъ желаній, получилъ ка-зенное мѣсто (oficio real) герольда или глашатая при публичныхъ продажахъ, при объявленіи преступникамъ приговоровъ и т. п.

Исполняя эту далеко не безвыгодную должность, Лазарильо на столько оперился, что сталъ помышлять о женитьбѣ. Онъ и въ этомъ случаѣ поступилъ какъ человѣкъ практическій, для котораго не пропали даромъ испытанные имъ суровые жизненные уроки. Онъ женился на особѣ, близкой къ одному епископу, не обратилъ вниманія на то, что о ней говорили много дурного и смотрѣлъ сквозь пальцы даже тогда, когда она продолжала посящать епископа и послѣ выхода замужъ. За это великодушный епископъ не остался въ долгу и осыпалъ молодую чету своими благодѣянiями. Сравнивая свои прежнiя невзгоды съ теперешнимъ благополучiемъ, Лазарильо возсылалъ горячія молитвы къ Богу за то, что Онъ привелъ его къ тихой пристани. На этомъ оканчивается автобіографія Лазарильо. Но такой прозаическій конецъ не могъ удовлетворить читателей, которые, заинтересованные оригинальной личностью Лазарильо, желали знать его дальнѣйшія похождения. Чтобы удовлетворить этому любопытству появилась въ скоромъ времени вторая часть романа, написанная другимъ лицомъ и изобилующая нелѣпостями всякаго рода. Здѣсь между прочимъ разсказывается, что Лазарильо участвовалъ въ алжирскомъ походѣ Карла V, что, потерпѣвъ кораблекрушеніе, онъ очутился на днѣ моря, превратился въ какую-то рыбу, потомъ опять принялъ человѣческій образъ и сталъ писать свои мемуары. Было еще одно подражаніе Лазарильо, но оно такъ же нелѣпо, какъ и первое, и потому на немъ не стоитъ останавливаться. Гораздо важнѣе тотъ импульсъ, который далъ авторъ Лазарильо повѣствовательной литературѣ своего времени. Ему безспорно принадлежитъ честь воплощенія идеи реального изученія человѣческой жизни въ форму романа. Въ противоположность сочинителямъ рыцарскихъ романовъ, создававшихъ для своихъ героевъ искусственную обстановку и вставлявшихъ въ описаніе ихъ приключеній массу фантастическаго элемента, авторъ Лазарильо рѣдко сходитъ съ почвы реальной, рѣдко прибѣгаетъ къ шаржу и еще рѣже пользуется литературными источниками *). Точность его описаній засвидѣтельствована его современниками. Историкъ Филиппа II, Хуанъ-де-Веласко, которому король поручилъ разсмотрѣть Лазарильо въ цензурномъ отношеніи, воздастъ должное живости и вѣрности его описаній. Заста-

*) Только въ недавнее время доказано, что исторія о фальшивомъ чудѣ заимствована изъ одной новеллы Массуччо. См. предисловіе Морель Фасіо къ его переводу Лазарильо на французскій языкъ: *Vie de Lazarille de Tormes*, Paris, 1888.

вивъ своего героя переходить отъ одного хозяина къ другому, авторъ пользуется этимъ случаемъ, чтобъ обрисовать различные слои испанскаго общества и дать намъ мастерскіе портреты его представителей. Подъ видомъ незатѣйливаго автобіографическаго разсказа онъ въ сущности пишетъ злѣйшую сатиру на современную ему Испанію, сатиру, не укрывшуюся отъ зоркаго взгляда инквизиціи, которая не замедлила внести книгу въ свой индексъ и выбросить изъ нея главу о монахѣ, торговавшемъ индульгенціями. Но помимо реально-бытового элемента, дѣлающаго Лазарилью драгоценнымъ пособіемъ для изученія испанскаго общества въ XVI вѣкѣ, романъ отличается рѣдкими литературными достоинствами—мастерствомъ разсказа и умѣньемъ рисовать характеры, въ которыхъ общее и типическое весьма искусно слито съ національнымъ и индивидуальнымъ. Всѣ встрѣчающіеся въ романѣ лица: нищій, сельскій священникъ, монахъ, рыцарь, епископъ—всѣ стоятъ передъ нами какъ живые. Въ особенности удался автору симпатичный, не лишенный высокаго комизма, типъ бѣднаго рыцаря. Этотъ гидальго, бросающій родную страну и осуждающій себя на вѣчную голодовку, чтобъ не встрѣчаться съ богатымъ сосѣдомъ, отвѣтившимъ не достаточно вѣжливо на его поклонъ, этотъ гордый чудакъ, упорно вѣрующій, что король долженъ подоспѣть на помощь испанскому дворянину и дать ему синектуру и который скорѣе готовъ умереть съ голоду, чѣмъ унизиться до работы или просьбы о милостынѣ—представляетъ собою типъ до такой степени характерный и въ то же время чисто испанскій, что его можно смѣло поставить рядомъ съ Донъ-Кихотомъ. Притомъ же избранная авторомъ автобіографическая форма, дающая повѣсти единство, представляла для него ту выгоду, что давала возможность по произволу увеличивать эпизоды и авантюры и освѣщать все описываемое свѣтомъ своего собственнаго наивно-лукаваго юмора. Но отъ присутствія этой черты, придающей разсказу особую прелесть, нисколько не страдаетъ художественная правда изображенія, и въ описаніи современной Испаніи авторъ достигаетъ той объективности, того полнаго забвенія своей личности, которое Вильгельмъ Гумбольдтъ считаетъ первымъ достоинствомъ художественнаго произведенія, а Шопенгауеръ первымъ признакомъ гениальности. Благодаря всѣмъ этимъ качествамъ, Лазарилью имѣлъ большой успѣхъ и былъ неоднократно перепечатываемъ не только въ Испаніи, но и за границей *).

*) Въ 1561 г. вышелъ французскій переводъ Лазарилью, а въ 1586 и англійскій, сдѣланный Роуландомъ и выдержавшій, по увѣренію Тикнора, болѣе двад-

Интересъ, возбужденный въ испанской публикѣ исторіей Лазарильо, былъ настолько значителенъ, что кромѣ подложнаго продолженія романа не замедлили появиться и подражанія ему, заимствованныя изъ нравовъ той же среды. Въ 1599 г. вышелъ въ свѣтъ *Гусманъ изъ Альфараче* Матео Алемана, за которыми слѣдовала цѣлая серія плутовскихъ романовъ: *Плутовка Хустина* (Pisara Justina) де-Леона, *Жизнь и приключенія Марка де Обрегона*—Эспинеля, *Великій Обманщикъ* (Gran Tascapo)—Кеведо, *Жизнь Эстеванильо Гонзалеса* и др. *). Всѣ они усвоили себѣ автобіографическую форму Лазарильо и его реально-сатирическую манеру. Публика раскупала ихъ на расхватъ, потому что вкусъ къ реальному изображенію жизни сталъ особенно распространяться съ тѣхъ поръ, какъ Сервантесъ своимъ Донъ-Кихотомъ убилъ рыцарскіе романы. Задумавъ борьбу съ нелѣпыми вымыслами рыцарскихъ романовъ, Сервантесъ нашелъ себѣ неожиданную союзницу въ плутовской новеллѣ. Поэтому намъ кажется сомнительнымъ увѣреніе нѣкоторыхъ комментаторовъ Донъ-Кихота (напр. Клеменсина), что Сервантесъ первоначально относился отрицательно къ плутовской новеллѣ. Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что онъ могъ подсмѣиваться надъ нѣкоторыми плохими произведеніями этой школы, напримѣръ надъ *Плутовкой Хустиной*, но онъ едва ли могъ относиться отрицательно къ одушевлявшей эти произведенія реально-сатирической тенденции. Въ своемъ Донъ-Кихотѣ онъ выступилъ съ требованіемъ отъ романа правды и естественности, и съ этой точки зрѣнія подвергъ уничтожающей критикѣ всю повѣствовательную литературу своего времени. Но этого мало: по примѣру автора Лазарильо, онъ вставилъ въ свой романъ бытовые эпизоды (напримѣръ, встрѣчу Донъ-Кихота съ странствующими актерами), а въ своихъ *Нравоучительныхъ Повѣстяхъ* (Novelas Ejemplares) онъ пошелъ дальше и, уступая вкусу публики, а можетъ быть плѣняясь оригинальностью плутовскихъ типовъ, посвятилъ цѣлую новеллу *Ренконете и Кортадилло* изображенію плутовскихъ нравовъ Севильи. Въ виду того, что наша публика мало знакома съ новеллами Сервантеса **), въ которыхъ его по-

цати изданій. Знакомство Шекспира съ этимъ переводомъ доказывается словами Беатриче Клавдіо, въ которыхъ встрѣчается намекъ на приключеніе съ слѣпымъ нищимъ: „Ну, вотъ ты и колотишь зря, какъ слѣпой; мальчуганъ стянулъ у тебя кушанье, а ты колотишь столбъ“ („Много Шуму изъ Пустыковъ“, Актъ II, Сцена I).

*) См. исторію плутовской новеллы у Тикнора, т. III, глава XXXIV.

**) До сихъ поръ существовала въ русскомъ переводѣ только одна новелла Сервантеса *Синьора Корнелія*, переведенная А. И. Кирпичниковымъ („Русскій Вѣстникъ“, 1872 г., № 9). Въ послѣднее время впрочемъ появилось нѣсколько новеллъ въ переводѣ проф. Шенелевича.

вѣствовательный талантъ достигаетъ наибольшаго совершенства, мы считаемъ не лишнимъ остановиться на этой новеллѣ подробнѣе, тѣхъ болѣе, что и въ художественномъ отношеніи она представляетъ собою явленіе весьма замѣчательное. Дѣйствіе ея происходитъ въ одной изъ трущобъ Севильи, населенной бродягами, ворами и разбойниками. Они образуютъ изъ себя строго организованную шайку, во-главѣ которой стоитъ Мониподіо, человѣкъ крайне необразованный, даже неграмотный, но умный, энергичный, пользующійся въ средѣ своихъ товарищей неограниченнымъ авторитетомъ. Онъ даетъ каждому изъ нихъ то дѣло, къ которому онъ наиболѣе способенъ, дѣлитъ добычу, вступаетъ въ сдѣлку съ полиціей, улаживаетъ возникающія ссоры и недоразумѣнія. Сборнымъ пунктомъ шайки служитъ квартира атамана. Сюда каждое воскресенье собираются всѣ члены шайки, чтобы отдать ему отчетъ въ возложенныхъ на нихъ порученіяхъ и получить отъ него на всю недѣлю новыя инструкціи. Прибывъ въ Севилью искать себѣ работы, юные плуты Ринконете и Кортадилъо, по совѣту одного носильщика, отправляются къ Мониподіо съ просьбой принять ихъ въ составъ шайки. Носильщикъ, бывшій самъ членомъ шайки, вызвался проводить ихъ къ атаману. „Если не ошибаюсь, ваша милость тоже разбойникъ?“ спросилъ Ринконете своего провожатаго. „Да,—отвѣтилъ тотъ, нисколько не смутившись,—я разбойникъ, но съ тѣмъ, чтобы служить Богу и добрымъ людямъ; только я не принадлежу къ самымъ опытнымъ, такъ какъ состою еще въ новиціатѣ“.—„Въ первый разъ слышу—вскричалъ Кортадилъо,—чтобы бы можно было посредствомъ воровства служить Богу“.—„А я напротивъ того думаю,—продолжалъ носильщикъ,—что въ каждомъ ремеслѣ можно воздавать хвалу Богу и Мониподіо всегда велить намъ это дѣлать. По его приказанію мы изъ каждой выручки откладываемъ извѣстный процентъ на масло передъ образомъ Пресвятой Дѣвы и, по правдѣ сказать, много чудесъ онъ дѣлаетъ для нашего сообщества. Да вотъ еще на-дняхъ одного изъ нашихъ, укравшаго пару ословъ, судья допрашивалъ подъ пыткой и, несмотря на то, что онъ слабенькій и худенькій, онъ выдержалъ допросъ, ни разу не пикнувъ. И мы съ своей стороны не остаемся въ долгу: многіе изъ насъ не воруютъ по пятницамъ, а въ субботу, въ память Пресвятой Дѣвы, мы не вступаемъ въ разговоръ ни съ одной женщиной“. Разговаривая такимъ образомъ съ своимъ проводникомъ, Ринконете и Кортадилъо прошли нѣсколько глухихъ переулковъ и очутились во внутреннемъ дворикѣ одного довольно грязнаго дома.

Домъ этотъ былъ сборнымъ пунктомъ шайки. Пока носильщикъ ходилъ докладывать о нихъ Мониподио, они имѣли полную возможность осмотрѣться. Дворикъ былъ вымощенъ кирпичомъ и чисто выметенъ. Изъ него можно было прямо пройти въ залу, небольшую и довольно низкую комнату, окнами выходившую на дворикъ. Въ залѣ на стѣнѣ висѣли двѣ рапиры и два щита изъ пробковаго дерева, въ углу стоялъ большой сундукъ безъ крышки, а на полу лежало нѣсколько тростниковыхъ рогожъ. Прямо противъ входной двери виднѣлся на стѣнѣ образъ Божьей Матери, подъ которымъ была подвѣшена соломенная корзина, а рядомъ съ нимъ была вѣшана въ стѣну фаянсовая лохань; первая очевидно замѣняла собою кружку для сбора пожертвованій, а вторая кропильницу съ святой водой. Такъ какъ это былъ воскресный день, то Ринконете и Кортадилъ имѣли возможность увидѣть всю шайку по мѣрѣ того, какъ члены ея мало-по-малу подходили. Сначала вошли въ залу два молодыхъ человѣка одѣтыхъ студентами, за ними слѣдовали два носильщика и слѣпой; немного погодя явились два старика почтенной наружности, въ очкахъ, въ сопровожденіи живой и юркой старухи, которая быстро подошла къ образу, опустила пальцы въ святую воду, перекрестилась и, помолившись на колѣняхъ передъ образомъ, трижды поцѣловала землю, бросила въ корзину какую-то мелкую монету и присоединилась къ своимъ товарищамъ. Вслѣдъ за нею вошло въ комнату еще нѣсколько человѣкъ въ самыхъ разнообразныхъ костюмахъ. Послѣдними пришли два бравыхъ молодца изящной наружности, одѣтые въ рыцарскій костюмъ съ непомѣрно длинными шпагами при боку. Такимъ образомъ набралось четырнадцать человѣкъ, въ числѣ которыхъ было нѣсколько женщинъ. Вскорѣ вошелъ въ залу Мониподио, мужчина среднихъ лѣтъ внушительной наружности, съ черной бородой и съ пронзательными черными глазами. При входѣ его въ комнату, всѣ почтительно поклонились. Представленныхъ ему новобранцевъ онъ встрѣтилъ очень привѣтливо, спросилъ, откуда они родомъ и къ какого рода воровской дѣятельности они чувствуютъ себя наиболѣе способными? Онъ настолько остался доволенъ ихъ отвѣтами, что освободилъ ихъ отъ обычнаго срока, назначеннаго для испытанія, и принялъ прямо въ члены шайки. Во время его разговора съ Ринконете и Кортадилъ вбѣжалъ запыхавшійся въ комнату мальчикъ стоявшій на часахъ, и доложилъ атаману, что къ дому подходитъ полицейскій чиновникъ. Всѣ засуетились, но Мониподио, возвысивъ голосъ, сказалъ: „Успокойтесь! это одинъ изъ друзей

нашихъ. Я самъ поговорю съ нимъ!“ Черезъ нѣсколько минутъ Мониподіо возвратился и сказалъ, что полицейскій приходилъ по поводу кошелька съ пятнадцатью золотыми, который былъ похищенъ сегодня на площади Санъ-Сальвадора у одного изъ его родственниковъ. Подозвавъ къ себѣ одного изъ носильщиковъ, бывшаго дежурнымъ на этой площади, Мониподіо приказалъ ему, чтобы похищенный кошелекъ былъ немедленно найденъ. Когда тотъ вздумалъ было оправдываться, что онъ не воровалъ кошелька и не знаетъ кто его похитилъ, атаманъ рѣзко оборвалъ его: „Пожалуйста, безъ разговоровъ; кошелекъ долженъ быть найденъ, потому что его требуетъ нашъ другъ, который постоянно оказываетъ намъ тысячу мелкихъ услугъ“. Носильщикъ началъ призывать Бога въ свидѣтели, что онъ и не думалъ похищать кошелька, но его клятвы окончательно вывели изъ себя Мониподіо. „Да не посмѣетъ никто“, —закричалъ онъ, сверкая глазами, —нарушать малѣйшій пунктъ нашего устава; за это онъ заплатитъ жизнью. Кошелекъ долженъ быть найденъ, и если укравшій его боится потерять слѣдующую ему часть, я ему заплачу, что слѣдуетъ, изъ моихъ собственныхъ денегъ“. Дѣло съ кошелькомъ, впрочемъ, скоро уладилось, ибо оказалось, что кошелекъ былъ похищенъ Кортадильо, который возвратилъ его Мониподіо, за что послѣдній наградилъ его прозвищемъ *Добрый*, которое и должно было остаться за нимъ въ шайкѣ. Вручивъ кошелекъ дожидавшемуся его альгвазилу, Мониподіо велѣлъ взять одну изъ лежавшихъ въ залѣ рогожъ и разослать ее посрединѣ двора; одна изъ женщинъ покрыла ее, вмѣсто скатерти, простыней и поставила на нее блюдо жареной рыбы, редиску, оливки, хлѣбъ, апельсины и нѣсколько бутылокъ вина; всѣ усѣлись на полу вокругъ этого импровизированнаго стола и начался пиръ. Только что успѣла веселая компанія приняться за апельсины, какъ раздался новый стукъ въ дверь, сильнѣе прежняго. Приказавъ всѣмъ сидѣть спокойно, Мониподіо, со шпагой въ рукѣ, подошелъ къ двери и спросилъ: „кто тамъ?“ — „Это я, синьоръ Мониподіо!“ —раздался изъ-за двери женскій голосъ; — „это я, Терегота, стоящая на часахъ, пришла сообщить вашей милости, что одна изъ вашихъ женщинъ, Юліана, по прозванію Толстогубая, пришла заплаканная, избитая; вѣроятно, съ ней случилось какое-нибудь несчастье“. Мониподіо впустилъ въ комнату Юліану, которая тотчасъ же упала въ обморокъ. Придя въ чувство, она рассказала, что ея возлюбленный Реполито, тоже членъ шайки, разсердившись на нее за то, что она прислала ему вмѣсто трид-

цати реаловъ только двадцать четыре, вывелъ ее за городъ и тамъ, раздѣвши до нага, до того жестоко избилъ ремнемъ съ желѣзными пуговицами, что она лишилась чувствъ. Въ подтвержденіе своихъ словъ, она показала плечи и грудь, покрытыя синяками и кровоподтеками. Въ то время, какъ Мониподіо и другіе мужчины обѣщали заступиться за нее и наказать Реполидо, одна изъ находившихся тутъ женщинъ, по имени Ганансьоза, хорошо зная женское сердце, придумала другое средство ее утѣшить. „Я бы дорого дала“.—сказала она Юліанѣ,—„чтобы мой другъ такъ поступилъ со мною, какъ твой возлюбленный съ тобой; кто сильно любить, тотъ способенъ и сильно избить. Когда эти негодяи бьютъ насъ,—это значитъ, что они насъ обожаютъ. Ну, признайся по правдѣ, вѣдь избивши тебя такимъ ужаснымъ образомъ, Реполидо, вѣроятно, пробовалъ приласкать тебя?“—„Какое пробовалъ, онъ оказалъ мнѣ сто тысячъ ласкъ и нѣжностей. Онъ, навѣрное, отдалъ бы палецъ съ своей руки, лишь бы только я пошла съ нимъ на его квартиру; я даже думала, что онъ самъ плакалъ, тираня меня“.—„Въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія,—замѣтила Ганансьоза,—ты увидишь, сестра, что мы не успѣемъ уйти отсюда, какъ онъ придетъ покорный, какъ ягненокъ, просить у тебя прощенія“.—„По истинѣ“,—сказалъ слышавшій этотъ разговоръ Мониподіо,—„этотъ мерзавецъ не войдетъ сюда, не искупивъ своего поступка искреннимъ раскаяніемъ“.—„Ради Бога, синьоръ Мониподіо“,—прервала его Юліана,—„не говорите дурно объ этомъ проклятомъ; какъ онъ ни золъ, но я его люблю, какъ оболочку моего сердца, а слова, сказанныя въ его пользу моей подругой, снова поставили мою душу на прежнее мѣсто“. Видя, что Юліана въ самомъ дѣлѣ утѣшилась, Мониподіо пригласилъ всю компанію докончить прерванный завтракъ. Послѣ завтрака пришелъ Реполидо и Мониподіо удалось устроить между имъ и Юліаной окончательное примиреніе. По поводу этого примиренія устроились танцы, подъ звуки импровизированнаго оркестра, составленнаго изъ туфли, тростниковой метлы и двухъ половинокъ тарелки, на которыхъ Мониподіо весьма удачно подражалъ кастаньетамъ. Въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ, которые они были у Мониподіо, Ринконете и Кортадильо не только успѣли познакомиться со всѣми членами шайки, но и съ ея нравами, увеселеніями и операціями; послѣднія не ограничивались воровствомъ и мошенничествомъ. Севильскіе *Picagos* принимали на себя за извѣстную сумму тѣ же порученія, что и итальянскіе *bravi*. Вся эта разнообразная дѣятельность распредѣ-

лялась атаманомъ между членами шайки, сообразно способностямъ каждого. Такъ, напримѣръ, старички въ очкахъ, поразившіе Ринконето и Кортадильо своей почтенной наружностью, служили развѣдчиками для шайки, такъ какъ, благодаря своему возрасту и внушающей уваженіе наружности, они могли цѣлый день расхаживать по городу, осматривать расположеніе домовъ, прочность замковъ и запоровъ, не возбуждая ничьихъ подозрѣній. Въ виду важности ихъ дѣятельности, они пользовались въ шайкѣ большимъ уваженіемъ, которое выражалось тѣмъ, что съ каждой намѣченной ими кражи или грабежа они получали пятую часть, т.-е. ровно столько, сколько получалъ испанскій король съ новооткрытыхъ земель. Молодые люди, одѣтые рыцарями, исполняли порученія другого рода: за извѣстную сумму они брались избить или изуродовать кого угодно и исполняли подобныя порученія весьма добросовѣстно. Это былъ тотъ особый способъ служенія людямъ, о которомъ говорилъ носильщикъ. Ринконете и Кортадильо, въ виду обнаруженнаго ими искусства плутовать въ картахъ, былъ отведенъ особый участокъ города, въ предѣлахъ котораго они должны были дѣйствовать всю недѣлю подъ наблюденіемъ болѣе опытнаго члена шайки. Поцѣловавъ руку атамана, Ринконете и Кортадильо удалились, разсуждая о видѣнномъ и слышанномъ ими. На этомъ оканчивается исторія ихъ приключеній, такъ какъ продолженіе ея, обѣщанное авторомъ въ концѣ новеллы, осталось ненаписаннымъ.

Изъ всей обширной литературы плутовскихъ новеллъ едва ли найдется хоть одна, которая могла бы соперничать съ новеллой Сервантеса въ художественномъ отношеніи. Герои Сервантеса это живые люди, живущіе своей собственной жизнью, имѣющіе свою опредѣленную нравственную физіономію. Идя по пути, проложенному другими, Сервантесъ оставилъ далеко за собой своихъ предшественниковъ. Въмѣсто наивнаго разсказа Лазарильо онъ даетъ намъ настоящую художественную картинку изъ жизни севильскихъ *Pisagos*, озаренную мыслью, осмысленную психологическими мотивами. Съ замѣчательной силой анализа онъ выставляетъ весь вредъ одного внѣшняго благочестія, не имѣющаго ничего общаго съ истиннымъ христіанствомъ, но вполне достаточнаго, чтобъ заглушить въ плутѣ страхъ Божій и уничтожить въ его душѣ послѣдній остатокъ совѣсти. Плуты, описанные Сервантесомъ, искренно убѣждены, что если законъ и противъ нихъ, то, взамѣнъ этого, посредствомъ исполненія внѣшнихъ обрядовъ, они обезпечили за собой покровительство божества и объясняютъ

не иначе какъ чудомъ, что одинъ изъ нихъ не крикнулъ подъ ударомъ палача. Нельзя не удивляться также поразительному знанію женскаго сердца, которое обнаруживаетъ Сервантесъ въ эпизодъ съ Юліаной, въ тѣхъ утѣшеніяхъ, которыя ей нашептываетъ Ганансъоза и наконецъ въ томъ фактѣ, что избитая и истерзанная своимъ возлюбленнымъ, Юліана, тотчасъ принимается его защищать, когда на него нападаютъ другіе. Тутъ въ каждомъ мелкомъ штрихѣ видна рука великаго творца Донъ-Кихота. Обиліе деталей и тонкость характеристики лицъ производятъ полную иллюзію, которая еще болѣе усиливается употребленіемъ на каждомъ шагу словъ и выраженій изъ профессиональнаго жаргона плутовъ, служащимъ несомнѣннымъ доказательствомъ, что новелла Сервантеса возникла на почвѣ реальнаго изученія изображаемой среды.

Вліяніе испанской плутовской новеллы на повѣствовательную литературу Европы началось съ Англіи, гдѣ уже въ концѣ XVI в. мы встрѣчаемъ рядъ повѣстей изъ быта англійскихъ Picares. Эту новую жилу преимущественно разрабатывала группа писателей, извѣстныхъ въ литературѣ подъ именемъ предшественниковъ Шекспира. Въ 1591—1592 г. Робертъ Гринъ издалъ нѣсколько памфлетовъ, въ которыхъ разоблачалъ плутни англійскихъ Picares, носившихъ характерное названіе Conycatchers или ловителей кроликовъ *). Въ 1594 г. пріятель Грина, Томасъ Нашъ, выпустилъ въ свѣтъ плутовскую новеллу подъ заглавіемъ *Жизнь Джэка Вилтона* **). Усвоивъ себѣ автобіографическую форму своего образца Лазарильо, Джэкъ рассказываетъ свои похождения и продѣлки, описываетъ характеры различныхъ людей, съ которыми ему приходилось встрѣчаться, какъ въ Англіи, такъ и въ другихъ странахъ; подобно Лазарильо, онъ оканчиваетъ свою бурную карьеру самымъ мирнымъ буржуазнымъ образомъ, женится на богатой венеціанкѣ и возвращается въ Англію, гдѣ пишетъ свои мемуары. Хотя, въ наивной прелести разсказа и портретности лицъ, романъ Наша далеко уступаетъ Лазарильо, но онъ превосходитъ послѣдняго въ идейномъ отношеніи; въ англійскомъ романѣ просвѣчиваетъ на каждомъ шагу личность автора, явственно слышится его укоряющій или предостерегающій голосъ; по всему видно,

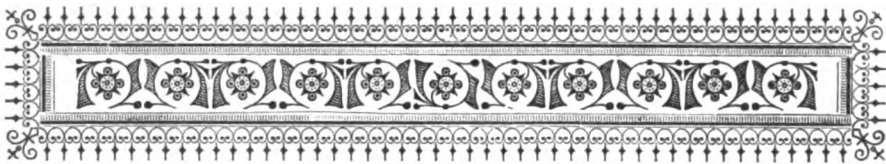
*) См. объ этихъ памфлетахъ въ моей книгѣ: „Робертъ Гринъ, его жизнь и произведенія“. Москва 1878, стр. 92—96.

**) Повѣсть Наша недавно переиздана Гроссартомъ въ пятомъ томѣ The Complete Works of Thomas Nash. London. 1883.

что Нашъ понимаетъ свою задачу шире, чѣмъ авторъ Лазарильо, что вторженіе личной мысли онъ считаетъ не только правомъ, но и обязанностью романиста. Въ XVII в. вліяніе испанской реальной новеллы начинается ощущаться въ Германіи. Въ 1615 г. переводится на нѣмецкій языкъ Гусманъ изъ Альфораче; въ 1617 г. Лазарильо и новелла Сервантеса Ринконете и Кортадилло, а въ 1624 г. Плутовка Хустина. На почвѣ этого вліянія вырастаетъ оригинальный продуктъ нѣмецкой реальной беллетристики XVII в. *Simplicissimus* Гримельсгаузена (1669), содержаніе котораго заимствовано главнымъ образомъ изъ эпохи тридцатилѣтней войны. Это тоже исторія бѣднаго авантюриста, обиженного судьбою и людьми, но пробивающагося впередъ, благодаря своей энергіи и изобрѣтательности. По словамъ Гервинуса, *Simplicissimus* есть результатъ массы наблюденій автора надъ современной ему жизнью; онъ до такой степени преисполненъ культурныхъ подробностей, что каждое его слово заслуживаетъ изученія. Нигдѣ, впрочемъ, обновляющее вліяніе реальной струи, шедшей изъ Испаніи, не проявилось съ такой силой и не сказалось такими плодотворными результатами, какъ во Франціи. Первымъ произведеніемъ въ этомъ новомъ родѣ была *Histoire Comique de Francion* Сореля (1622). Романъ Сореля построенъ по обычному плану испанской плутовской новеллы; рамкой его служитъ автобіографія героя, шалопая и авантюриста, который то роскошествуетъ, то терпитъ крайнюю нужду, переходитъ изъ моднаго салона въ грязную таверну, испытываетъ множество самыхъ разнообразныхъ приключеній, пока не находитъ, наконецъ, успокоительнаго пріюта въ замкѣ какого-то богатаго барона, которому рассказываетъ свою жизнь. Литературное значеніе Франсіона состоитъ въ томъ, что онъ былъ первымъ реальнымъ романомъ во Франціи, первой, хотя нѣсколько каррикатурной, картиной жизни различныхъ слоевъ французскаго общества. Тому же реальному направленію послужили Скарронъ въ своемъ *Roman Comique* (1651) и Фюретьеръ въ своемъ *Roman Bourgeois* (1666). Подъ совокупными усиліями этихъ писателей, не замедлившихъ найти себѣ подражателей и въ XVIII в., романы героическіе и пастушескіе, съ ихъ условными галантными героями и манернымъ неестественнымъ языкомъ, оттѣсняются на задній планъ и публика мало-по-малу начинаетъ привязываться къ реальному изображенію жизни. Ставши твердой ногой на почву изученія дѣйствительности, романъ быстро подвигается впередъ. Съ каждымъ днемъ расширяется все болѣе и болѣе сфера его художественнаго созерцанія, онъ дѣ-

лается разборчивѣе въ своемъ матеріалѣ, переносить въ свои изображенія только типическія стороны жизни, изощряетъ тонкость психологическаго анализа въ обрисовкѣ чувствъ и страстей, и, наконецъ, становится проводникомъ нравственныхъ, политическихъ и соціальныхъ идей, вдохновляющихъ его авторовъ. Такой высоты достигаетъ романъ уже въ XVIII в. подъ рукой Лессажа, Руссо, Дидро, Фильдинга, Гёте и др. Но изученіе этого фазиса въ исторіи романа лежитъ внѣ предѣловъ нашей задачи. Намъ хотѣлось только дать краткій очеркъ развитія реального романа въ западной Европѣ и показать, какую роль въ этомъ развитіи играла родоначальница его, испанская плутовская новелла.





Философія Донъ Кихота.

Рѣдкое произведеніе всемірної литературы обладаетъ въ такой степени способностью притягивать къ себѣ критическую мысль, рѣдкое произведеніе подвергалось такому тщательному всестороннему анализу, какъ „Донъ Кихотъ“ Сервантеса. Бауль (Boule), Пеллисеръ, Клеменсинъ и др. изучили его, какъ изучаютъ классиковъ: возстановили во всей чистотѣ его текстъ, опредѣлили источники, по возможности разгадали заключающіеся въ немъ современные намеки. Въ числѣ критиковъ „Донъ Кихота“ мы встрѣчаемъ такихъ почтенныхъ ученыхъ, какъ Бутервекъ, Сисмонди, Амадоръ де-лосъ Ріосъ, Галламъ, Прескоттъ, Тикноръ и др., такихъ мыслителей, какъ Шеллингъ и Гегель, и такихъ художниковъ, какъ лордъ Байронъ, Гёте, Уордсвортъ, Гейне, Викгоръ Гюго и нашъ Тургеневъ. Если бы названные писатели пришли къ сколько-нибудь сходнымъ выводамъ относительно общаго смысла гениальнаго произведенія Сервантеса и характера его героя, то всякая попытка итти наперекоръ коллективному мнѣнію такихъ авторитетовъ, не опираясь на какіе-нибудь новые матеріалы, могла бы показаться бесполезной, даже дерзкой; но на самомъ дѣлѣ между взглядами названныхъ писателей на Донъ Кихота существуетъ такая разница, что попытка, если не примирить ихъ другъ съ другомъ, то по крайней мѣрѣ выяснитъ причины этой разногласицы, является далеко не лишней. Исторія мнѣній, высказанныхъ о „Донъ Кихотѣ“ въ нашемъ столѣтіи, представляетъ собою любопытную страницу въ исторіи критики. Писатели XVII и XVIII в. С. Эвремонтъ, Бодмеръ и др.) судили о произведеніи Сервантеса по непосредственному впечатлѣнію и видѣли въ его героя типъ, хотя и симпатичный, но все-таки

отрицательный. Они высоко цѣнили искусство автора, умѣвшаго соединить въ одномъ лицѣ столько мудрости и безумія, восхищались мастерски очерченными характерами Донъ Кихота и его знаменитаго оруженосца, изъ которыхъ одинъ прекрасно отѣняетъ другого, отъ души смѣялись надъ забавными похождениями и траги-комическими неудачами рыцаря печальнаго образа, но имъ и въ голову не приходило отыскивать затаенный смыслъ въ произведеніи Сервантеса и негодовать на автора за то, что онъ постоянно ставитъ своего героя въ смѣшныя положенія. Съ начала XIX вѣка, преимущественно подъ вліяніемъ Канта, въ критику вторгается философскій элементъ, и главной задачей ея съ этихъ поръ становится выясненіе основной тенденціи художественнаго произведенія, опредѣленіе идеи, лежащей въ основѣ всякаго характера и т. п. Послѣдователь Канта, Бутервекъ, если не ошибаемся, первый замѣтилъ, что осмѣяніемъ рыцарскихъ романовъ не ограничивалась задача автора „Донъ Кихота“, что Сервантесъ, какъ истинный поэтъ, преслѣдовалъ высшую цѣль, что онъ увлекся идеей изобразить типъ героя и энтузіаста, друга человѣчества, проникнутаго любовью ко всему возвышенному и благородному и для осуществленія своихъ идеальныхъ стремленій задавшася фантастическимъ планомъ возстановить угасшее странствующее рыцарство. Почти одновременно съ Бутервекомъ, можетъ быть, даже подъ его вліяніемъ, А. В. Шлегель высказалъ мысль, что сущность произведенія Сервантеса состоитъ въ контрастѣ поэтическаго энтузіазма, олицетвореннаго въ Донъ Кихотъ, и житейской прозы, воплощенной въ лицѣ Санчо Пансы. Эта мысль была подробно развита Сисмонди въ его извѣстномъ сочиненіи „De la littérature du midi de l'Europe“. По мнѣнію Сисмонди, главная задача „Донъ Кихота“— изображеніе вѣчнаго контраста между поэтическимъ и прозаическимъ въ человѣческой жизни. Люди, одаренные душой возвышенной, способны поставить цѣлью своей жизни быть поборниками справедливости и защитниками слабыхъ и угнетенныхъ. Эта героическая преданность великой идеѣ есть лучшее и трогательнѣйшее, что представляетъ намъ исторія человѣческаго рода; но характеръ героя, кажущійся возвышеннымъ, если смотрѣть на его съ возвышенной точки зрѣнія, можетъ показаться смѣшнымъ, если на него взглянуть съ точки зрѣнія здраваго смысла и житейской прозы. Такъ и взглянулъ на него Сервантесъ, показавшій намъ въ своемъ произведеніи тщету величія духа и иллюзію героизма. Великодушный, благородный и без-

корыстный, храбростью своею превосходящій сказочныхъ рыцарей, которымъ онъ подражаетъ, вѣрный и почтительный любовникъ, лучший изъ господъ, герой Сервантеса тѣмъ не менѣе терпитъ на каждомъ шагѣ неудачи, и всѣ его подвиги влекутъ за собой несчастье для другихъ и посрамленіе для него самого. „Вотъ почему,—заключаетъ Сисмонди,—многіе считаютъ „Донъ Кихота“ печальнѣйшей книгой на свѣтѣ, ибо мораль, вытекающая изъ нея, въ высшей степени печальна“. Мнѣнія Бутервека, Шлегеля и Сисмонди оказали сильное вліяніе на послѣдующую критику. Къ этому источнику нужно возвести взглядъ Гегеля, что въ „Донъ Кихотѣ“ осмѣяна идея рыцарства въ своихъ самыхъ возвышенныхъ проявленіяхъ; на этой почвѣ выросъ взглядъ Гейне, утверждавшаго, что „Донъ Кихотъ“ есть величайшая сатира на человѣческую восторженность вообще, и извѣстное мнѣніе Шеллинга, что въ романѣ Сервантеса изображенъ конфликтъ идеальнаго съ реальнымъ, которое представляетъ собою не болѣе, какъ переводъ на философскій языкъ взглядовъ Шлегеля и Сисмонди. Замѣчательно, что мнѣнія философствующихъ критиковъ, превратившихъ произведеніе Сервантеса въ какую-то аллегорію, нашли, главнымъ образомъ, отголосокъ въ сердцахъ поэтовъ. Почти всѣ великіе поэты нашего столѣтія, за исключеніемъ развѣ Гете, признавали Донъ Кихота типомъ положительнымъ и горячо приняли его сторону противъ его автора, будто бы желавшаго осмѣять въ лицѣ своего героя энтузіазмъ къ справедливости и добру и героизмъ въ проведеніи своихъ идеаловъ въ жизнь. „Не сожалѣніе чувствовалъ я къ человѣку, преслѣдующему такіа цѣли,—говоритъ Уордсвортъ,—но скорѣе благоговѣніе, и думалъ, что на днѣ его слѣпаго и восторженнаго безумія лежитъ глубокая мудрость“. Съ такой же точки зрѣнія смотритъ на Донъ-Кихота и лордъ Байронъ и съ свойственною ему стремительностью осыпаетъ жестокими упреками Сервантеса за то, что онъ позволилъ себѣ взглянуть съ комической точки зрѣнія на своего героя... „Изъ всѣхъ романовъ, мною читанныхъ,—говоритъ онъ,—„Донъ-Кихотъ“—безспорно самый печальный и тѣмъ болѣе печальный, что онъ возбуждаетъ въ насъ улыбку. Его герой совершенно правъ, онъ стремится къ правдѣ; его цѣль наказать злыхъ и сражаться съ сильными за слабыхъ. Безуміе заключается въ его добродѣтели, но тѣмъ не менѣе его приключенія имѣютъ печальный исходъ, и еще печальнѣе нравственный урокъ, вытекающій изъ этой поистинѣ эпической поэмы. Возстать противъ несправедливости, помогать слабымъ, отмщать

за ихъ обиды и наказывать негодяевъ,—развѣ эти благородныя стремленія, подобно старой сказкѣ, должны быть отнесены къ празднымъ грезамъ нашего воображенія? Развѣ стремленіе къ славѣ сквозь всѣ препятствія можетъ быть предметомъ шутки? Да и что такое Сократъ, если не мудрый Донъ-Кихотъ? Своимъ смѣхомъ Сервантесъ положилъ конецъ рыцарству въ Испаніи; одной эпиграммой онъ отсѣкъ правую руку своей родинѣ. Со времени изданія „Донъ-Кихота“ Испанія произвела мало героевъ. Таково было пагубное дѣйствіе произведенія Сервантеса. Успѣхъ его былъ купленъ дорогой цѣной нравственнаго упадка его родины“ („Донъ-Жуанъ“, пѣснь XIII). Другой великій поэтъ нашего столѣтія Викторъ Гюго, хотя и соглашается, что Сервантесъ осмѣялъ идеаль и представилъ осуществленіе его невозможнымъ, но думаетъ, что на днѣ его смѣха лежатъ слезы и что онъ въ глубинѣ своей души такъ же на сторонѣ Донъ-Кихота, какъ Мольеръ на сторонѣ Альцеста. Наконецъ, Тургеневъ въ своей извѣстной статьѣ „Гамлетъ и Донъ-Кихотъ“ видитъ въ Донъ-Кихотѣ типъ положительный, энтузіаста и восторженнаго служителя великой идеѣ. Донъ-Кихотъ,—говоритъ онъ,—весь проникнутъ преданностью идеалу, для котораго онъ готовъ подвергаться всѣмъ возможнымъ лишеніямъ, жертвовать жизнью. Самую жизнь онъ цѣнитъ настолько, насколько она можетъ служить средствомъ къ воплощенію идеала, къ водворенію истины и справедливости на землѣ. Жить для себя, заботиться о себѣ Донъ-Кихотъ счелъ бы постыднымъ. Онъ весь живетъ (если можно такъ выразиться) внѣ себя, для другихъ, для своихъ братьевъ, для противодѣйствія враждебнымъ челоуѣчеству силамъ—волшебникамъ, великанамъ т. е. „притѣснителямъ“.

Таковъ преобладающій въ современной критикѣ взглядъ на Донъ-Кихота, взглядъ, получившій, благодаря Тургеневу, право гражданства и въ нашей литературѣ. Правда, Галламъ, Тикноръ, Сентъ-Бевъ и др. высказывали иные взгляды, основанные на болѣе глубокомъ изученіи Сервантеса и современной ему эпохи, но эти взгляды не оказали должнаго вліянія на общее направление донкихотовской критики, которая по прежнему продолжаетъ строить свои выводы на отвлеченно-философской почвѣ. Оцѣнивать съ разныхъ сторонъ созданныя художникомъ типы, раскрывать общій смыслъ художественнаго произведенія и дѣлать изъ него тѣ или другіе нравственные выводы составляетъ законное и неотъемлемое право критики. Злоупотребленіе этимъ правомъ начинается съ той поры, какъ критика сознательно или

безсознательно начинает навязывать разбираемому автору свои собственные воззрѣнія и дѣлаетъ его отвѣтственнымъ за нихъ. Такъ и произошло и въ данномъ случаѣ. Оторвавшись отъ исторической почвы и ставши на философскую точку зрѣнія, критика увидала въ произведеніи Сервантеса аллегорію, а въ созданныхъ имъ типахъ—символы борьбы идеальнаго съ реальнымъ, поэзіи съ прозой и т. п. Возмущенная осмѣяніемъ великодушнаго безумца, задумавшаго водворить на землѣ уже исжитые человѣчествомъ идеалы, она, стоя на своей отвлеченной точкѣ зрѣнія, естественно могла прійти къ убѣжденію, что въ лицѣ Донъ-Кихота осмѣяны вообще энтузіазмъ и вѣра въ идеалъ, и вслѣдствіе этого провозгласила произведеніе Сервантеса печальнѣйшей книгой на свѣтѣ, его самага причислила къ жалкой семьѣ отрицателей всего идеальнаго и возвышеннаго, а въ лицѣ Байрона даже не задумалась обвинить его въ упадкѣ героическаго духа и идеальныхъ стремленій въ Испаніи. Пересмотрѣть вновь этотъ любопытный процессъ художника съ его толкователями, выяснить истинный смыслъ „Донъ-Кихота“ и опредѣлить нити, связывающія это любимое дѣтище фантазіи Сервантеса съ личною жизнью, съ міромъ его идей и воззрѣній, и составить предметъ настоящей статьи.

Основная задача произведенія Сервантеса вполне объясняется изъ состоянія современной ему повѣствователей литературы. Вслѣдствіе особыхъ историческихъ условій, именно многовѣковой борьбы съ маврами, превратившей страну на цѣлые вѣка въ военный лагерь, и наплыва провансальскихъ трубадуровъ, большинство которыхъ послѣ альбигойскаго погрома бѣжало въ Испанію и нашло тамъ второе отечество, нигдѣ рыцарскіе нравы и традиции не пустили такихъ глубокихъ корней, какъ на Пиренейскомъ полуостровѣ. Рыцарская идея служенія дамамъ не только наполняетъ собою старинные романсы и хроники, но проникаетъ и въ законодательные памятники. Такъ, въ знаменитомъ Законникѣ короля Альфонса Мудраго (Las Siete Partidas), относящемся къ половинѣ XIII в., въ главѣ, посвященной исчисленію рыцарскихъ обязанностей, рыцарю, между прочимъ, предписывается призывать передъ битвой имя своей дамы, съ цѣлью влить въ его душу новое мужество и предохранить отъ совершенія не соответствующихъ его высокому званію поступковъ. Въ примѣръ безразсуднаго увлеченія идеей служенія дамамъ обыкновенно приводятъ нѣмецкаго миннезингера Ульриха фонъ-Лихтенштейна и трубадура Пьера Видаля, изъ которыхъ первый, на-

рядившись въ фантастическій костюмъ богини любви, проѣхалъ отъ Бегеміа до Венеціи, вызывая на бой всякаго, кто не соглашался признать его даму первой красавицей въ мірѣ, а послѣдній, влюбленный въ графиню Лобы-де-Понантье (имя Loba значитъ волчица), желая сдѣлать сюрпризъ дамѣ своего сердца, самъ превратился въ ея девизъ, одѣлся въ волчью шкуру и въ такомъ видѣ едва не былъ растерзанъ не посвященными въ тайны рыцарскихъ девизовъ сабаками графини. Но подобныя сумасброды въ другихъ странахъ считаются единицами; въ Испаніи же ихъ нужно считать десятками. Въ одной испанской хроникѣ XV в. разсказывается о нѣкоторомъ рыцарѣ Суэньо-де-Киньонессѣ, который придумалъ довольно курьезный способъ выраженія своей любви къ плѣннвшей его дамѣ; онъ постился разъ въ недѣлю на половину въ честь ея, на половину въ честь Пресвятой Дѣвы, а по четвергамъ, кромѣ того, носилъ на своей шеѣ какъ символъ рабства, тяжелую желѣзную цѣпь. Чтобы освободиться отъ этого мнимаго рабства, которое не на шутку стало надоедать ему, онъ въ сопровожденіи девяти подобныхъ же сумасбродовъ, занялъ мостъ въ Обриго на дорогѣ С. Яго-де-Компостелла и въ продолженіе тридцати дней вызывалъ на бой всякаго, отправлявшагося на поклоненіе гробу св. Іакова, рыцаря. Замѣчательно, что на этомъ чудовищномъ, по своей продолжительности и нелѣпости мотива, турнирѣ присутствовалъ король Хуанъ II съ своей свитой, который не только не сдѣлалъ попытки вразумить безумцевъ, но своимъ присутствіемъ воодушевлялъ ихъ. Къ концу того-же столѣтія относится разсказъ объ одномъ кастильскомъ рыцарѣ, который нарочно пріѣзжалъ въ Англію ко двору Генриха VI, съ цѣлью предложить англійскимъ рыцарямъ сразиться съ нимъ въ честь его дамы. Подобныя сумасбродства поддерживались въ Испаніи обширной литературой рыцарскихъ романовъ, во главѣ которыхъ стоялъ португальскій романъ объ Амадисѣ Галльскомъ, написанный въ духѣ романовъ „Круглаго Стола“ и впервые появившійся въ испанской обработкѣ въ концѣ XV в. Романъ этотъ имѣлъ громадный успѣхъ; онъ сдѣлался настольной книгой каждаго грамотнаго челоѣка въ Испаніи и вызывалъ массу подражаній и продолженій. Въ эпоху Сервантеса романы такъ называемаго Амадисова цикла, наполненные самыми невѣроятными происшествіями, совершенно запрудили собою современную литературу и сильно кружили голову молодежи. Писатель начала XV в. Антоніо-де-Гевара замѣчаетъ, что въ его время публика ничего не читала, кромѣ постыдныхъ исторій объ Амадисѣ, Три-

станѣ, Прималеонѣ и др., а современникъ его Вальдесъ съ прискорбіемъ сознается, что онъ потратилъ десять лучшихъ лѣтъ своей жизни на чтеніе рыцарскихъ книгъ и до того извратилъ свой вкусъ этой нездоровой пищей, что сдѣлался на нѣкоторое время неспособнымъ цѣнить серьезныя историческія сочиненія. Вліяніе этихъ разжигающихъ воображеніе произведеній, преимущественно на молодые умы, было такъ вредно, что многіе благо-разумные люди обращались къ правительству съ просьбой принять протівъ распространенія этой романической эпидеміи мѣры. Въ 1553 г. Карлъ V издалъ указъ, запрещающій ввозъ рыцарскихъ романовъ въ американскія владѣнія Испаніи, а два года спустя кортесы обратились къ императору съ петиціей, чтобы подобная мѣра была распространена и на Испанію, и чтобы всѣ, раньше напечатанные, рыцарскіе романы были преданы сожженію, а новые не могли бы печататься иначе, какъ особаго разрѣшенія властей. Но что можно было предписать относительно колоній, того нельзя было сдѣлать относительно Испаніи, гдѣ рыцарскіе романы были любимымъ чтеніемъ всего грамотнаго люда, тѣмъ болѣе, что и самъ императоръ зачитывался ими, а сынъ его, инфантъ Филиппъ II, постоянно являлся въ придворныхъ процессіяхъ въ костюмѣ странствующаго рыцаря, и, если вѣрить Кастильо—вступая въ бракъ съ Маріей Тюдоръ, далъ обѣщаніе, въ случаѣ появленія короля Артура, безпрекословно уступить ему англійскій престолъ.

Изъ сказаннаго ясно, что борьба съ рыцарскими романами была смѣлымъ и высокопатріотическимъ дѣломъ, вполне достойнымъ такого писателя какъ Сервантесъ. Что такова была задача „Донъ-Кихота“, видно изъ предпосланнаго первой части разговора автора съ однимъ изъ его друзей, который убѣждалъ Сервантеса издать „Донъ-Кихота“ и предсказывалъ ему успѣхъ. „Старайтесь только, чтобъ меланхоликъ разсѣялся, читая ваше произведеніе, и чтобъ весельчаку стало еще веселѣе. Главное же, не упускайте изъ виду вашей цѣли разрушить въ концѣ шаткое зданіе рыцарскихъ романовъ, порицаемыхъ многими, но превозносимыхъ гораздо большимъ количествомъ людей. Если вамъ удастся достигнуть этой цѣли, то подвигъ вашъ будетъ не малый“. Слова эти были написаны Сервантесомъ въ 1605 г. Десять лѣтъ спустя вышла въ свѣтъ вторая часть „Донъ-Кихота“. Много воды утекло въ этотъ десятилѣтній промежутокъ для Сервантеса на многіе вопросы онъ успѣлъ измѣнить свои взгляды, но взглядъ его на свою задачу не измѣнился, и онъ заканчиваетъ свое про-

изведеніе словами, въ которыхъ явственно слышится нравственное удовлетвореніе писателя, достигшаго своей цѣли. „Единственнымъ моимъ желаніемъ,—говоритъ онъ,—было возбудить отвращеніе къ сумасброднымъ и лживымъ рыцарскимъ книгамъ, которыя, пораженные моей правдивой исторіей Донъ-Кихота, плетутся пошатываясь, скоро падутъ совсѣмъ и никогда уже не поднимутся“. Итакъ, въ то время, когда всѣ усилія благомыслящихъ людей, кортесовъ и самой верховной власти оказались безсильными въ борьбѣ съ господствующимъ вкусомъ публики, Сервантесъ выступилъ въ походъ, не имѣя другого оружія, кромѣ ироніи и здраваго смысла, и пораженный этимъ оружіемъ, цѣлый сонмъ странствующихъ рыцарей, великановъ, фей и волшебниковъ поспѣшно бѣжалъ съ поля битвы, уступая мѣсто другимъ типамъ, другимъ героямъ. Сервантесъ имѣлъ полное право гордиться своей побѣдой, ибо послѣ 1605 г., когда была издана первая часть „Донъ-Кихота“, не было написано ни одного рыцарскаго романа, да и старые перестали интересоваться публику и за двумя или тремя исключеніями не перепечатывались болѣе. Какъ искусный полководецъ, Сервантесъ, раньше, чѣмъ нанести рѣшительный ударъ, тщательно изучилъ силы врага, его тактику и приемы. По мнѣнію Пеллисера, Клеменсина и другихъ комментаторовъ, въ „Донъ-Кихотѣ“ обнаруживается на каждомъ шагу близкое знакомство автора со всей обширной литературой рыцарскихъ романовъ; здѣсь осмѣяны не только ихъ духъ, но ихъ высокопарная манера изложенія, ихъ торжественный и напыщенный слогъ, который Сервантесъ по временамъ весьма удачно пародируетъ. Далѣе, чтобъ рельефнѣе показать на живомъ примѣрѣ вредныя послѣдствія увлеченія рыцарскими романами, Сервантесъ выбралъ своимъ героемъ не какого-нибудь деревенскаго простака и невѣжду, котораго легко сбить съ толку, но человѣка умнаго, начитаннаго, исполненнаго возвышенныхъ стремленій. Ахиллесовой пятой этого человѣка были болѣзненно развитая фантазія и страстное участіе къ людскому горю. Рыцарскіе романы, которыми онъ зачитывался въ своемъ деревенскомъ уединеніи, до того подѣйствовали на эти стороны его природы, что дѣйствительность для него перемѣшалась съ вымысломъ, что онъ сталъ страдать галлюцинаціями, подъ вліяніемъ которыхъ онъ видѣлъ то, чего нѣтъ, и упорно отрицалъ то, что въ данную минуту находилось передъ его глазами. Онъ серьезно вообразилъ себя странствующимъ рыцаремъ и, избравъ себѣ оруженосца, отправился сражаться съ угнетателями человѣчества, освобождать отъ очарованія прин-

цесъ, словомъ, совершать всѣ тѣ подвиги, о которыхъ онъ читалъ въ рыцарскихъ романахъ. Донъ-Кихоть—это Амадисъ, заснувшій послѣ одного изъ своихъ подвиговъ на нѣсколько столѣтій и проспавшій паденіе феодализма, водвореніе новаго государственнаго порядка и наступленіе эпохи Возрожденія наукъ. Проснувшись, онъ продолжаетъ то, на чемъ его засталъ сонъ. Онъ не замѣчаетъ, что времена измѣнились, что пора авантюръ и рыцарскаго обожанія женщины прошла безвозвратно, что феи и волшебники, державшіе въ плѣну рыцарей и дамъ, исчезли, что жизнь ставить человѣку другія задачи, что нравственный порядокъ держится на иныхъ началахъ, что права слабыхъ и угнетенныхъ защищаются не странствующими рыцарями, а законами и учрежденіями. Въ этомъ взаимномъ непониманіи живущаго въ прошедшемъ Донъ-Кихота и далеко ушедшей отъ него жизни заключался матеріалъ для массы комическихъ недоразумѣній, которыми искусно воспользовался Сервантесъ, показавшій, что рыцарскіе идеалы Донъ-Кихота такъ же устарѣли, какъ и его оружіе, что его храбрость и самоотверженіе оказываются совершенно ненужными въ XVI в. и въ особенности въ той формѣ, въ которой онъ ихъ предлагаетъ міру, что вслѣдствіе этого, думая дѣлать добро и стоять за правду, онъ совершаетъ на каждомъ шагу несправедливости и, въ концѣ концовъ, даже вредитъ тѣмъ кому хочетъ оказать помощь.

Разсказавъ о томъ, какъ Донъ-Кихоть освободилъ мальчика-пастуха отъ побоевъ его хозяина, который, по удаленіи Донъ-Кихота, отдулъ его вдвое сильнѣе, авторъ многозначительно замѣчаетъ: „такимъ-то образомъ нашъ рыцарь пресѣкъ уже одно зло на землѣ“ *). Впослѣдствіи Донъ-Кихоть встрѣтился съ освобожденнымъ имъ мальчуганомъ и вмѣсто благодарности услышалъ отъ него слѣдующія горькія слова: „Господинъ странствующій рыцарь! Если придется намъ еще встрѣтиться когда нибудь, то, хотя бы вы увидѣли, что меня раздираютъ на части, ради Бога не заступайтесь за меня, а оставьте меня съ моей бѣдой, потому что худшей бѣды, какъ ваша помощь, мнѣ право никогда не дожидаться, и да покараетъ и уничтожитъ Богъ вашу милость со всѣми рыцарями, родившимися когда-нибудь на свѣтѣ“. Другой рыцарскій подвигъ Донъ-Кихота имѣлъ еще болѣе печальныя послѣдствія. Встрѣтивши похоронную процессію, которую онъ

*) Донъ-Кихоть, т. I, стр. 30. Мы цитируемъ по переводу г. Карелина. Спб., 1881 г., въ двухъ томахъ.

принялъ за шайку злодѣевъ, увозившихъ тѣло убитого ими рыцаря, Донъ-Кихотъ налетѣлъ на процессію съ своимъ копьемъ и сбросилъ съ мула одного юнаго лиценціата, который при паденіи переломилъ себѣ ногу. Когда же вслѣдъ затѣмъ побѣдитель безоружныхъ отрекомендовался странствующимъ рыцаремъ, обрекшимъ себя на служеніе добру, возстановленіе правды и поправленіе зла, то бѣдный лиценціатъ отвѣчалъ ему со вздохомъ: „Не знаю, право, какъ вы попираете зло, знаю только, что меня, ни въ чемъ неповиннаго, вы оставили съ переломленной ногой, а отъ вашей правды мнѣ во вѣки не поправиться. Могу васъ увѣрить, что величайшее зло и величайшая неправда, которая могла постичь меня въ жизни—это встрѣча съ вами“. Третій знаменитый подвигъ Донъ-Кихота въ первой части романа—освобожденіе отправляемыхъ на галеру каторжниковъ—обрушился на голову самого освободителя, потому что освобожденные Донъ-Кихотомъ преступники избили и ограбили его самого. Неужели же подобнаго рода подвиги, а другихъ Донъ-Кихотъ и не могъ совершать, потому что не понималъ, что предъ нимъ происходитъ, даютъ ему право считаться героемъ, энтузіастомъ идеи братолюбія, воплощеніемъ самоотверженія на пользу общую? Думать такъ, значило бы утверждать, что непониманіе дѣйствительности и наклонность къ галлюцинаціямъ составляютъ необходимыя условія героизма. Мнѣ кажется, что, видя въ Донъ-Кихотѣ воплощеніе идеи самоотверженія, выдвигая на первый планъ альтруистическую сторону его подвиговъ, философская критика забываетъ: во-первыхъ, что героизмъ въ практической жизни оцѣнивается не только по нравственнымъ побужденіямъ и по силѣ духа, отличающимъ собою дѣйствія извѣстнаго лица, но также и по разумнымъ средствамъ и ясному сознанію цѣли подвига и могущей изъ него произойти пользы человѣчеству; во-вторыхъ, что Донъ-Кихотъ—не самостоятельный дѣятель, но отраженный лучъ, эхо рыцарскихъ романовъ (какъ называлъ его Галламъ), что въ качествѣ странствующаго рыцаря онъ руководится въ своихъ подвигахъ не только идеей гуманности и самоотверженія на пользу ближнихъ, но суетной жаждой славы и желаніемъ отличиться передъ дамой своего сердца, и что послѣднія иногда берутъ у него перевѣсъ надъ первыми. Такъ, однажды Донъ-Кихотъ, рискуя безплодно своею жизнью и подвергая опасности все окрестное населеніе, вызываетъ на поединокъ львовъ, которыхъ князь Оранскій посылалъ въ подарокъ испанскому королю, и когда тѣ не заблагоразсудили выйти изъ отво-

ренной, по приказанію Донъ-Кихота, клѣтки, то онъ потребовалъ отъ зрителя ихъ письменнаго удостовѣренія въ томъ, что онъ исполнилъ свой долгъ и что поединокъ не состоялся не по его винѣ. Въ другой разъ Донъ-Кихоть не желалъ помочь хозяину корчмы, избитому собственными постояльцами, не испросивъ предварительно разрѣшенія на этотъ подвигъ у мнимой принцессы Микомиконъ; когда же это разрѣшеніе было ему дано, онъ все-таки ничѣмъ не помогъ изнемогавшему въ неравной борьбѣ трактирщику, потому что въ силу рыцарскаго кодекса онъ считалъ ниже своего достоинства сражаться съ простыми людьми (т. I, стр. 452—453). Я еще припомню здѣсь одинъ случай, когда странствующій рыцарь совершенно заслонилъ въ Донъ-Кихотѣ добраго и гуманнаго человѣка. Во время пребыванія Донъ-Кихота и Санчо при дворѣ герцога, мнимый Мерлинъ, который оказался переодѣтымъ мажордомомъ герцога, предсказалъ рыцарю, что очарованная волшебникомъ Дульцинея тогда только приметъ свой настоящій видъ, когда Санчо собственноручно влѣпитъ себѣ 3300 плетей; когда же Санчо сталъ горячо протестовать противъ этого нелѣпаго самоистязанія, Донъ-Кихоть вспыхнулъ и пригрозилъ своему оруженосцу привязать его къ дереву и отсчитать ему не 3300, но 6600 плетей (т. II, стр. 290). Полагаю, что приведенныхъ примѣровъ вполне достаточно, чтобы видѣть, насколько правы критики, утверждающіе, что Донъ-Кихоть выражаетъ собой вѣру въ идеалъ, энтузіазмъ къ добру и справедливости и идею самоотверженія на пользу общую, и что эти драгоценныя качества человѣческой природы, источники всякой свободы и прогресса, осмѣяны Сервантесомъ въ его романѣ. Нѣтъ, не энтузіазмъ къ добру и правдѣ осмѣяны авторомъ „Донъ-Кихота“, а нелѣпая форма проявленія этого энтузіазма, его карикатура, навѣянная рыцарскими романами и не соответствующая духу времени. Гете справедливо замѣчаетъ, что если какая-нибудь идея принимаетъ фантастическій характеръ, то въ силу этого одного она теряетъ всякое значеніе; вотъ почему фантастическое, разбивающееся объ дѣйствительность, возбуждаетъ въ насъ не состраданіе, а смѣхъ, ибо подаетъ поводъ ко многимъ комическимъ недоразумѣніямъ. Къ этому можно прибавить, что если Донъ-Кихоть, несмотря на всѣ свои нелѣпости, способенъ возбуждать въ насъ не только смѣхъ, но и состраданіе, то это объясняется тѣмъ, что онъ лицо двойственное: Донъ-Кихоть не только чудакъ и странствующій рыцарь, но умный, благородный и гуманный человѣкъ. Въ проведеніи этой двойственности въ

характеръ Донъ-Кихота на всемъ протяженіи романа, сказался во всемъ блескѣ художественный талантъ Сервантеса. По скольку Донъ-Кихоть—странствующій рыцарь, по стольку онъ фантазеръ и мономанъ, но лишь только ему удастся выйти изъ заколдованнаго круга своей *idée fixe*, онъ становится настоящимъ мудрецомъ и изъ устъ его льются золотыя рѣчи, въ которыхъ такъ и хочется видѣть взгляды самого автора. Есть еще одно обстоятельство, заставляющее насъ относиться снисходительно къ недостаткамъ и противорѣчіямъ въ характерѣ Донъ-Кихота и подкупающее въ его пользу критическую мысль. Въ ваше время господства эгоизма и обѣднѣнія всякихъ идеаловъ, отрадно остановиться душою даже на печальномъ образѣ великодушнаго безумца, который не стремится достигнуть успѣха на торжищѣ жизни, руководится въ своихъ дѣйствіяхъ идеальными мотивами и готовъ ежеминутно жертвовать жизнью за то, что его разстроенное воображеніе считаетъ славой, истиной и добромъ.

Образованный умъ Донъ-Кихота, возвышенный строй его мыслей, всѣ эти качества, особенно проявляющіяся во второй части романа, когда завѣса начинается спадать съ глазъ героя, и выражающіяся въ его свѣтлыхъ взглядахъ на литературные, нравственные и социальныя вопросы, составляютъ положительную сторону романа, то, что можно съ полнымъ правомъ назвать его философіей. Здѣсь мы приходимъ къ другому, въ высшей степени любопытному вопросу, насколько „Донъ-Кихоть“ имѣетъ автобіографическое значеніе, насколько въ немъ отражается міросозерцаніе его творца.

На автобіографическомъ значеніи своего романа Сервантесъ не разъ настаиваетъ въ различныхъ мѣстахъ „Донъ-Кихота“. „Книга эта,—говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ,—есть важное дѣло моей жизни“. „Для меня одного,—замѣчаетъ онъ въ концѣ романа—родился Донъ-Кихоть, какъ и я для него. Онъ умѣлъ дѣйствовать, а я писать. Мы составляемъ съ нимъ одно тѣло и одну душу“ (т. II, стр. 580). По мнѣнію Сервантеса, сознательно или безсознательно, но авторъ долженъ высказаться въ своемъ произведеніи. „Перо—языкъ души: что задумаетъ одна, то воспроизводитъ другое. Если поэтъ безупреченъ въ своей жизни, то онъ будетъ безупреченъ и въ своихъ твореніяхъ“ (т. II, стр. 125). Желаніе высказаться, ускоренное появленіемъ безсовѣстной поддѣлки подъ „Донъ-Кихота“, было такъ сильно въ Сервантесѣ, что въ одномъ мѣстѣ второй части онъ устами мнимаго мавританскаго историка Донъ-Кихота выражаетъ сожалѣніе, что сю-

жетъ связываетъ его, что онъ принужденъ постоянно говорить только о Донъ-Кихотѣ и Санчо Пансѣ, и что это занятіе составляетъ тяжелый трудъ, который не въ состояніи вознаградить авторскихъ усилій. „Обладая достаточнымъ количествомъ ума, знанія и искусства, чтобы говорить о дѣлахъ [всего міра, историкъ постоянно принужденъ удерживать себя въ тѣсныхъ предѣлахъ своего разказа“ (т. II, стр. 314). Въ виду всѣхъ этихъ заявленій, мы считаемъ себя въ правѣ видѣть въ „Донъ-Кихотѣ“ не только сатиру на рыцарскіе романы, не только художественно-исполненную картину испанской жизни конца XVI и начала XVII в., но и откровеніе задушевныхъ взглядовъ и убѣжденій Сервантеса, его *Авторскую Исповѣдь*, его *Былое и Думы*. Сюда онъ вложилъ результаты своей житейской опытности и невзгодъ, воспоминанія объ алжирскомъ плѣнѣ, о своихъ бѣдствіяхъ на родинѣ и т. п. Подобно тому, какъ литературная сатира нечувствительно превратилась подъ рукой Сервантеса въ цѣльную картину испанской жизни, такъ и эта послѣдняя, въ свою очередь, сдѣлалась сокровищницей, въ которую онъ вложилъ свои литературные и социальныя взгляды, свои мечты о жизни и счастьи людей.

Выдѣляя автобіографическій элементъ въ романѣ Сервантеса, мы прежде всего коснемся литературныхъ взглядовъ. Какъ писатель, Сервантесъ долженъ былъ много размышлять надъ предметомъ и задачами своей литературной дѣятельности, и, если сопоставить между собой разсѣянные по всему „Донъ Кихоту“ отдѣльныя замѣчанія относительно лирической поэзіи, драмы и романа, то получится нѣчто въ родѣ цѣльной литературной теоріи. Основную черту этой теоріи составляетъ требованіе правды и естественности, въ особенности, по его мнѣнію, необходимое въ области драматической поэзіи. Въ эпоху Сервантеса драматическое искусство въ Испаніи только что начинало становиться на свои ноги, и единственнымъ принципомъ его было во что бы то ни стало нравиться публикѣ. Величайшій драматургъ того времени, Лопе-де-Вега, открыто заявилъ, что, принимаясь писать пьесу, онъ велитъ выносить изъ своей комнаты классическихъ писателей, чтобы они не свидѣтельствовали противъ него, что въ своей драматической дѣятельности онъ имѣлъ въ виду не принципы искусства, а вкусы публики, которой нужно поддакивать въ ея безуміи, такъ какъ она платитъ за это деньги. Сервантесъ былъ далекъ отъ подобныхъ меркантильныхъ соображеній; онъ носилъ въ своей душѣ возвышенный взглядъ на искусство и думалъ,

что поэзія, отражая въ себѣ дѣйствительность и служа жизненной правдѣ, должна въ то же время служить возвышеннымъ цѣлямъ, увлекать публику въ міръ идеала, а не гаерствовать на площади. Воспитанный на поэтикѣ Аристотеля и *Ars Poetica* Горация, Сервантесъ въ первой части „Донъ Кихота“ является горячимъ приверженцемъ классической теоріи драмы и разбираетъ съ точки зрѣнія этой теоріи современную ему драму. „Драма,—говоритъ онъ устами священника,—должна быть зеркаломъ, отражающимъ въ себѣ жизнь человѣческую; она должна быть олицетвореніемъ правды и примѣромъ для нравовъ. Наши же драмы отражаютъ въ себѣ одну нелѣпость, изображаютъ распутство и служатъ примѣромъ развѣ для глупости. Въ самомъ дѣлѣ, если намъ представлять въ первомъ актѣ драмы ребенка въ колыбели, а во второмъ вывести его бородатымъ мужемъ, то большей глупости, кажется, и придумать нельзя. Развѣ есть большая нелѣпость, какъ представить старика храбрецомъ, а юношу трусомъ, лакея великимъ ораторомъ, пажу мужемъ совѣта, короля носильщикомъ тяжестей и принцессу судомойкой? Что сказать, наконецъ, о нашихъ драмахъ въ отношеніи соблюденія условій времени и мѣста? Развѣ мы не видѣли пьесъ, въ которыхъ дѣйствіе начинается въ Европѣ, продолжается въ Азій и оканчивается въ Африкѣ, и если бы было четыре акта, то четвертый, вѣроятно, происходилъ бы въ Америкѣ, такъ что драма происходила бы во всѣхъ частяхъ свѣта“ (т. I, стр. 486—487). Весьма любопытно, что перечисленные недостатки современной испанской драмы привели Сервантеса къ мысли о необходимости учрежденія особой должности эстетическаго критика, которому должны посылаться на просмотръ всѣ назначаемыя къ представленію пьесы, и безъ подписи котораго мѣстныхъ власти не могли бы разрѣшать постановку пьесы на сцену*). Еще болѣе имѣютъ значенія помѣщенныя въ первой части „Донъ Кихота“, замѣчанія по теоріи романа. И здѣсь требованіе правды и естественности является верховнымъ требованіемъ, и съ этой точки зрѣнія авторъ подвергаетъ уничтожающей критикѣ всю повѣствовательную литературу своего времени. Перечисливъ массу несообразностей, наполняющихъ собою рыцарскіе романы, Сервантесъ замѣчаетъ: „Если мнѣ ска-

*) Впослѣдствіи Сервантесъ, подъ гнетомъ тяжелыхъ матеріальныхъ обстоятельствъ, снова обратился къ давно оставленной имъ сценѣ и въ своей пьесѣ *Rufian Dichoso* (1615 г.), скрѣпя сердце и, очевидно, иронизируя надъ самимъ собой, сталъ поддѣлываться подъ вкусъ публики и защищать тѣ самые взгляды, противъ которыхъ онъ такъ горячо возставалъ въ первой части „Донъ Кихота“.

жуть, что сочинители подобныхъ книгъ просто задались цѣлью выдумывать небывалыя и невозможныя событія, то я на это отвѣчу, что вымыселъ тѣмъ прекраснѣе, чѣмъ менѣе онъ кажется вымышленнымъ. Баснословные рассказы тогда только будутъ нравиться читателю, когда они воспроизведены такимъ образомъ, что невѣроятное покажется ему вѣроятнымъ, когда авторъ попеременно наполняетъ сердце его удивленіемъ, ожиданіемъ, умиленіемъ. Ничего подобного нельзя встрѣтить въ сочиненіяхъ автора, съ умысломъ уклоняющагося отъ природы и правды, другими словами, отъ того, что составляетъ главную силу художественнаго произведенія. Относясь отрицательно къ современной ему беллетристикѣ, Сервантесъ съумѣлъ превосходно оцѣнить всѣ выгоды, предоставленныя писателю самой формой романа, этой эпопеи новаго времени, въ которой полнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, можетъ отразиться человѣческая жизнь со всѣмъ разнообразіемъ волнующихъ ее вопросовъ. „Порицаю немилосердно эти книги, я нахожу въ нихъ одно хорошее, именно то, что онѣ даютъ писателю полный просторъ, что онѣ представляютъ собою обширное поле, на которомъ во всемъ блескѣ можетъ развернуться его талантъ. Описывая бури, кораблекрушенія, битвы, изображая характеръ великаго полководца и т. п. въ подобномъ сочиненіи, писатель можетъ попеременно являться астрономомъ, географомъ, музыкантомъ, государственнымъ человѣкомъ, даже волшебникомъ, если къ тому представится удобный случай. Кроме того, свобода, предоставляемая писателю въ созданіи подобного рода произведеній, даетъ ему возможность являться въ немъ лирикомъ, эпикомъ, трагикомъ и комикомъ, выказать свое превосходство во всѣхъ родахъ поэзіи и краснорѣчія“ (т. I, стр. 482—484). До такого широкаго пониманія задачъ романа, какъ бы предугадывающаго ту роль, которую займетъ романъ въ современной намъ жизни, не возвысился ни одинъ писатель XVII вѣка, и я привелъ это мѣсто съ цѣлью показать, насколько Сервантесъ опередилъ свое время.

Отъ литературныхъ воззрѣній Сервантеса перейдемъ къ его религіознымъ и соціально-политическимъ воззрѣніямъ. Хотя среда и эпоха не могли не наложить на Сервантеса извѣстнаго отпечатка, но въ религіозныхъ его воззрѣніяхъ мы не найдемъ и слѣдовъ того фанатизма и изуверства, отъ котораго не были свободны лучшіе умы той эпохи, напр., Лопе-де-Вега и Кальдеронъ. Даже въ своихъ воззрѣніяхъ на мавританскій вопросъ Сервантесъ руководился не религіозными, а политическими соображеніями.

Подобно многимъ изъ своихъ современниковъ, онъ видѣлъ въ маврахъ внутреннихъ враговъ, которые никогда не простятъ своего униженія, никогда не сдѣлаются гражданами Испаніи и вѣчно будутъ въ союзѣ съ внѣшними врагами. На этомъ основаніи, онъ считалъ изгнаніе мавровъ разумной и законной мѣрой самообороны. По взглядамъ своимъ на религіозные вопросы Сервантесъ приближается къ передовымъ людямъ эпохи возрожденія: Эразму, Рабле и др. Нигдѣ онъ не тщится обнаружить свою религіозную ревность, нигдѣ онъ не заискиваетъ благосклонности всесильной въ то время церкви. Въ „Донъ Кихотъ“ разсѣяно не мало стрѣлъ, направленныхъ противъ несимпатичныхъ сторонъ современнаго ему духовенства. Такъ, въ одномъ мѣстѣ (I, 257) онъ обличаетъ властолюбіе домашнихъ капеллановъ: „Ужели вы полагаете,—воскликаетъ онъ,—что на свѣтѣ дѣлать больше нечего, какъ втираться въ чужіе дома и стараться забрать въ свои руки хозяйевъ?“ Во второй части „Донъ Кихота“ есть злая выходка противъ монаховъ: „Мнѣ кажется,—замѣчаетъ метръ-д'отель сидящему за обѣдомъ губернатору острова Баратаріи Санчо,—что вашей милости не слѣдовало бы кушать ничего, что стоитъ на этомъ столѣ. Большая часть этихъ кушаньевъ принесена монахинями, а позади креста прячется, говорятъ, чортъ“ (стр. 372). Внѣшняя религіозность и суевѣріе не разъ подвергались осмѣянію Сервантеса. Въ его остроумной повѣсти „*Rinconete y Cortadillo*“ всѣ воры и мошенники оказываются набожнѣйшими людьми, строго исполняющими католическіе обряды и поминутно призывающими Бога и святыхъ, чтобы спасти ихъ отъ людскаго правосудія. Не мало выходокъ противъ всякаго рода суевѣрій попадаетъ и въ „Донъ-Кихотъ“. Хотя герой романа, въ качествѣ странствующаго рыцаря, долженъ былъ вѣрить въ фей, волшебниковъ и всякую чертовщину, но, какъ человѣкъ новаго времени, онъ не разъ высказываетъ сомнѣніе въ возможности путемъ колдовства направить извѣстнымъ образомъ человѣческую волю (т. I, стр. 181). По этому поводу Донъ-Кихотъ высказываетъ однажды замѣчательное сужденіе, изъ котораго видно, что Сервантесъ считалъ суевѣріе несовмѣстнымъ съ истинной религіозностью: „Всѣ эти случайности, обыкновенно называемыя въ народѣ предзнаменованіями, должны казаться благоразумному человѣку не болѣе, какъ счастливыми случайностями. Между тѣмъ одинъ суевѣръ, выйдя утромъ изъ своего дома и встрѣтившись съ францисканскимъ монахомъ, спѣшитъ возвратиться назадъ, словно онъ встрѣтилъ чудовищнаго грифа. Другой разсыпаетъ на столѣ соль и стано-

вится задумчивъ и мраченъ, точно природа обязалась предупредить челоуѣка объ ожидающихъ его несчастіяхъ. Благоразумный челоуѣкъ и христіанинъ не долженъ судить по этимъ пустякамъ о намѣреніяхъ неба (т. II, стр. 458). Когда Санчо пріѣхалъ губернаторствовать на островъ Бараторію, то онъ немедленно издалъ приказъ, чтобы нищіе, просящіе милостыню, не пѣли про чудеса, достовѣрность которыхъ они не могли доказать (т. II, стр. 413). Вѣроятно, за эти рационалистическія выходки, такъ свойственныя эпохѣ Возрожденія, книга Сервантеса попала въ списокъ запрещенныхъ инквизиціею книгъ (Index Expurgatorius).

Вездѣ, гдѣ Сервантесъ касается политическихъ и національных вопросовъ (исключеніе составляетъ мавританскій вопросъ), онъ обнаруживаетъ возвышенность идей, чувство справедливости и гуманности и замѣчательную государственную мудрость. Подобно передовымъ людямъ эпохи Возрожденія, Сервантесъ, самъ герой Лепанто, гордившійся своими ранами, является врагомъ войны и завоевательной политики. Онъ порицаетъ всякую войну, кромѣ войны оборонительной, цѣль которой—защита вѣры, отечества и короля. (т. II, стр. 225—226). Цѣня въ челоуѣкѣ выше всего нравственное достоинство, Сервантесъ не придавалъ никакого значенія преимуществамъ рожденія: „Гордись, Санчо, своимъ скромнымъ происхожденіемъ и не стыдись его, тогда никто не пристыдитъ тебя имъ. Гордись лучше тѣмъ, что ты—незнатный праведникъ, чѣмъ тѣмъ, что ты—знатный грѣшникъ. Если ты изберешь добродѣтель своимъ руководителемъ и поставишь свою славу въ добрыхъ дѣлахъ, тогда тебѣ нечего будетъ завидовать людямъ, считающимъ принцевъ и другихъ знатныхъ особъ своими предками. Кровь наследуется, а добродѣтель пріобрѣтается и цѣнится такъ высоко, какъ никогда не можетъ цѣниться кровь (т. II, стр. 336). Но высказывая такіе радикальные для того времени взгляды, Сервантесъ не былъ, однако, сторонникомъ всеобщаго равенства, не возставалъ противъ существующаго раздѣленія людей на классы и сословія, на богатыхъ и бѣдныхъ, но только полагалъ, что привилегія происхожденія и богатства должна быть искупаема добровольно принимаемыми на себя заботами о благосостояніи обдѣленныхъ судьбою низшихъ классовъ общества. Извѣстно, что Сервантесъ всю жизнь боролся съ бѣдностью, что, не находя средствъ къ жизни на родинѣ, онъ серьезно думалъ о переселеніи въ Америку, что ему не разъ приходилось, жертвуя собственнымъ достоинствомъ, прибѣгать съ просьбой о помощи къ знатымъ покровителямъ, которые спасали его чуть не отъ

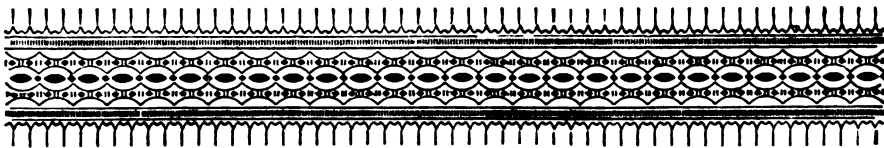
голодной смерти. Въ виду всего этого пріобрѣтаетъ несомнѣнно автобіографическое значеніе великолѣпный гимнъ свободѣ и нравственной независимости, который онъ влагаетъ въ уста Донъ-Кихота: „Свобода, Санчо, это драгоцѣнное благо, дарованное небомъ человѣку. Ничто не сравнится съ ней: ни сокровища, скрытыя въ нѣдрахъ земныхъ, ни скрытыя въ глубинѣ морской. За свободу и честь человѣкъ долженъ жертвовать жизнью, потому что рабство составляетъ величайшее земное бѣдствіе. Ты видѣлъ, другъ мой, изобиліе и роскошь, окружавшія насъ въ замкѣ герцога. И что же? Вкушая эти изысканныя яства и замороженные напитки, я чувствовалъ себя голоднымъ, потому что не пользовался ими съ той свободой, съ какой я пользовался бы своею собственностью; чувствовать себя обязаннымъ за милости, значить налагать оковы на душу свою. Счастливы тотъ, кому небо дало кусокъ хлѣба, за который онъ долженъ благодарить только небо“. Нигдѣ Сервантесъ не достигаетъ такой нравственной высоты и такой политической мудрости, какъ въ тѣхъ совѣтахъ и наставленіяхъ, которые даетъ Донъ-Кихотъ отправляющемуся на губернаторство Санчо. Тутъ передъ нами рисуется идеаль управленія мудраго, справедливаго, твердаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ проникнутаго глубокой любовью и милосердіемъ къ людямъ *). И таково было вліяніе этой нравственной силы, что Санчо, первоначально видѣвшій въ губернаторствѣ только средство нажиться, подъ вліяніемъ совѣтовъ Донъ-Кихота, совершенно перерождается, дѣлается дѣйствительно мудрымъ правителемъ, уничтожаетъ массу злоупотребленій, заботится объ участи бѣдняковъ и, въ концѣ

*) Не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести нѣсколько изъ этихъ совѣтовъ, которые никогда не утратятъ своей цѣнности: „Старайся во всемъ открыть истину; старайся прозрѣть ее сквозь обѣщанія и дары богатыхъ, и сквозь рубище и воздыханія бѣдныхъ. И когда правосудіе потребуешь жертвы, не обрушай на голову преступника всей кары суроваго закона; да не вознесется судья неумолимый надъ судьей сострадательнымъ! Но, смягчая законъ, смягчай его подъ тяжестью состраданія, а не подарковъ. И если ты станешь разбирать дѣло, въ которомъ замѣшанъ врагъ твой, забудь въ ту минуту личную вражду и помни только правду. Не оскорбляй словами, кого ты принужденъ будешь наказать дѣломъ: человѣкъ этотъ и безъ того будетъ наказанъ, къ чему же усиливать его наказаніе непріятными словами? Когда тебѣ придется судить виновнаго, смотри на него, какъ на слабого и несчастнаго человѣка, какъ на раба нашей грѣховной природы. И, оставаясь справедливымъ къ противной сторонѣ, яви, насколько это будетъ зависѣть отъ тебя, милосердіе къ виновному, потому что, хотя всѣ богоподобныя свойства равны, тѣмъ не менѣе милосердіе сіяетъ въ нашихъ глазахъ ярче справедливости и т. д.

концовъ, самъ уѣзжаетъ съ острова такимъ же бѣднякомъ, какимъ пріѣхалъ туда.

Я далеко не исчерпалъ всѣхъ перловъ гуманности и мудрости, заключающихся въ разсужденіяхъ Донъ-Кихота, которыя и были главной причиной того, что критика, позабывъ двойственный характеръ Донъ-Кихота, смотрѣла на него исключительно какъ на энтузіаста идеи добра, и негодовала на Сервантеса за то, что онъ ставитъ такую идеальную личность въ смѣшныя положенія. Съ другой стороны, мнѣ хотѣлось обратить вниманіе на ускользнувшую отъ большинства публики положительную сторону произведенія Сервантеса, на массу заключающихся здѣсь возвышенныхъ и гуманныхъ идей, которыми особенно изобилуетъ вторая часть „Донъ-Кихота“, когда характеръ героя просвѣтляется, когда завѣса начинается мало-по-малу спадать съ глазъ его. Отъ этой части, написанной Сервантесомъ всего за годъ до смерти, вѣетъ такой тишиной и душевной ясностью, такой радостной вѣрой въ добро и истину, что она кажется намъ поэтическимъ завѣщаніемъ великаго романиста, озареннымъ кроткимъ и умирающимъ свѣтомъ его жизненнаго заката.





Артистки-соперницы *).

Вопросъ о принципѣ сценической игры принадлежитъ къ числу тѣхъ вопросовъ, которымъ, повидимому, суждено вѣчно раздѣлять на два лагеря любителей драматическаго искусства. Затронутый въ прошломъ столѣтіи Дидро въ его знаменитомъ діалогѣ *Ragadoxe sur le Comédien*, онъ былъ недавно подвергнутъ новому разсмотрѣнію современнымъ англійскимъ трагикомъ Эрвингомъ **), и не далѣе какъ въ прошломъ году изъ-за него скрестили оружіе знаменитый французскій комикъ Кокленъ и не менѣе знаменитый итальянскій трагикъ Сальвини ***). Сущность теоріи Дидро состоитъ въ томъ, что актеръ для достиженія совершенства долженъ подчинять свой темпераментъ уму, что онъ тѣмъ лучше исполнить свою роль, чѣмъ меньше положить въ нее души и страсти и чѣмъ болѣе будетъ обдумывать каждое слово и каждый жестъ. Взгляды Дидро, имѣвшее въ свое время большой успѣхъ, подверглись строгой критикѣ со стороны величайшаго изъ французскихъ трагиковъ Тальма въ его извѣстной брошюрѣ *Réflexions sur l'Art Théâtral* ****). Не отрицая, что актеръ долженъ исполнѣ усвоить себѣ технику сценической игры и обдумать всякое слово своей роли, Тальма утверждаетъ что подавлять

*) Изъ лекцій по исторіи французской сцены, читанныхъ авторомъ на драматическихъ курсахъ Московскаго Театральнаго училища. *Ред.*

**) См. русскій переводъ его рѣчи *О сценическомъ искусствѣ*. Москва, 1889 г.

***) Статья Коклена и возраженіе на нее Сальвини были переведены въ „*Артистъ*“.

****) Брошюра Тальма была переведена на русскій языкъ и издана редакціей газеты „*Театръ и Жизнь*“, Москва, 1888 г.

силу своего темперамента и своей страсти актеру не слѣдуетъ, что только сливаясь вполне съ своей ролью, переживая изображаемая страсти, какъ свои собственныя, онъ можетъ произвести неотразимое впечатлѣніе на публику. Какъ діалогъ Дидро, такъ и статья Тальма не были одними теоретическими разсужденіями, но опирались на игру знаменитыхъ атеровъ: Дидро имѣлъ глвнымъ образомъ въ виду игру г-жи Клеронъ, которую онъ считалъ идеаломъ сценической игры вообще, а Тальма опирался, помимо своего собственного опыта, на игру Лекэна и соперницы Клеронъ знаменитой Маріи Дюмениль, которыхъ онъ считалъ своими наставниками. Въ виду того, что эти артистки, раздѣлявшія между собой восторги французской публики XVIII в., были представительницами двухъ противоположныхъ школъ сценической игры, является весьма интереснымъ сопоставить между собой ихъ сценическую дѣятельность, тѣмъ болѣе что недавно вышедшая біографія Клеронъ оживила воспоминаніе какъ о самой артисткѣ, такъ и объ ея соперницѣ *).

Уже со второй половины XVII в. на французской сценѣ замѣчаются два направленія сценической игры. Эпоха Людовика XIV наложила свою печать не только на драму, но и на сценическое искусство. Извѣстное правило Буало: изучайте дворъ, знакомтесь съ нравами столицы (*Étudiez la cour, connaissez la ville*) считалось обязательнымъ не только для драматурговъ, но и для актеровъ, ибо, какъ французское сценическое искусство, было въ сущности искусствомъ придворнымъ. Этикетъ, господствовавшій при дворѣ, бывшемъ законодателемъ вкуса и моды, былъ перенесенъ и на сцену. Идеаломъ здѣсь считалась не естественность и человѣчность, а величіе, достоинство, изящество; актеры не смотрѣли, но бросали взоры, не говорили, а декламировали на распѣвъ, не ходили, а величественно шагали по сценѣ и такой характеръ игры считался наиболѣе соотвѣтствующимъ тѣмъ царственнымъ типамъ, которые они изображали. Однимъ словомъ придворный этикетъ, табель о рангахъ перешли изъ придворныхъ нравовъ на сцену. Пиладь, другъ и наперсникъ Ореста, не могъ говорить ему ты, потому что Орестъ былъ царскаго происхожденія; Ифигенія не должна была бояться угрожавшей ей смерти, потому что страхъ лишилъ бы ее свойственнаго всякой царственной особѣ достоинства; даже такія личности, какъ Неронъ, изобража-

*) M-lle Clairon d'après ses correspondences et les rapports de police du temps par Edmond de Goncourt. Paris 1890 (Charpentier).

лись не иначе какъ галантными по отношенію къ женщинѣ, ибо галантность была обязательна для всѣхъ кавалеровъ двора Людовика XIV и самъ король считался ея образцомъ *). Прибытіе въ 1658 г. въ Парижъ Мольера сразу внесло новый элементъ въ игру актеровъ, элементъ простоты и естественности. Мольеръ въ *Impromptu de Versailles* прямо заявляетъ, что не только въ комедіи, но и въ трагедіи нужно играть естественно и по человѣчески (*humainement*). Конечно, самъ Мольеръ въ качествѣ актера комическаго не могъ примѣнить своего плодотворнаго принципа къ трагедіи, но это было сдѣлано его ученикомъ Барономъ, который былъ естественнымъ и умѣлъ избѣгать декламаціи, играя роли трагическія. Своей правдивой, страстной и вмѣстѣ съ тѣмъ полной изящества игрой, Баронъ приводилъ въ восторгъ современниковъ, называвшихъ его вторымъ Росциемъ. Много работая надъ каждой ролью, усвоивъ себѣ въ совершенствѣ технику сценической игры, Баронъ былъ тѣмъ не менѣе врагомъ всякой рутины, всякихъ условныхъ искусственныхъ пріемовъ и, играя, всегда отдавался своему вдохновенію. „Хотя правила“ — сказалъ онъ однажды — „и запрещаютъ подымать руки выше головы, но разъ этотъ жестъ дѣлается актеромъ подъ вліяніемъ охватившей его страсти, его нужно оправдать, ибо страсть больше знаетъ, что нужно дѣлать, чѣмъ правила“. Извѣстный поэтъ Жанъ Баптистъ Руссо прекрасно охарактеризовалъ его игру въ слѣдующихъ словахъ: „Онъ установилъ тонъ истиннаго и патетическаго; свойственная его чарующему искусству божественная иллюзія придавала новый блескъ красотамъ Расина и сглаживала недостатки Прадона“ **).

Традиція игры Барона не умерла вмѣстѣ съ нимъ. Она отразилась на игрѣ многихъ актеровъ и актрисъ, между прочимъ на игрѣ знаменитой Адриенны Лекувреръ, которая считается родоначальницей женской реальной игры въ трагическихъ роляхъ. Свидѣтельства современниковъ въ одинъ голосъ говорятъ, что отличительной чертой ея игры была простота и естественность. „Ей приписываютъ честь“ — говоритъ газета *Mercur* (Мартъ, 1730), — „введенія простой и естественной дикціи и изгнанія

*) См. Тальма, О сценическомъ искусствѣ. Гетнеръ, Исторія Французской литературы XVIII в. и др.

**) Du vrai du pathétique il a fixé le ton:
De son art enchanteur l'illusion divine !
Prêtait un nouveau lustre aux beautés de Racine
Un voile aux défauts de Pradon.

декламціаи и чтенія стиховъ на распѣвъ“. Стремясь къ реализму, Лекувреръ заботилась также о томъ, чтобъ ея костюмъ соотвѣтствовалъ роли. Играя роль Елисаветы въ драмѣ Эссексъ, она впервые явилась на французской сценѣ въ исторически-вѣрномъ королевскомъ костюмѣ конца XVI в. — нововведеніе, поразившее публику не меньше ея игры.

По слѣдамъ Лекувреръ пошла Марія Дюмениль, вступившая на сцену въ 1737 г., стало-быть черезъ семь лѣтъ послѣ смерти Лекувреръ. Она дебютировала въ роли Клитемнестры въ Ифигеніи въ Авлидѣ и сразу плѣнила публику своей вдохновенной и глубоко-правдивой игрой. Успѣхъ ея былъ тѣмъ болѣе поразителенъ, что внѣшнія средства ея были довольно ограничены. Она была средняго роста, не особенно хороша собой; въ манерахъ ея не было трагическаго величія, голосъ ея, хотя и очень гибкій, былъ нѣсколько глухъ. Единственнымъ украшеніемъ ея наружности были выразительные глаза, которые становились необыкновенно краснорѣчивыми въ минуту страсти, отчаянія, мольбы. Лучшими ея ролями были роли Мерыпы въ трагедіи Вольтера, Клеопатры въ Родогуниѣ Корнеля, Аталіи и Федры въ трагедіяхъ Расина. Судя по отзывамъ современниковъ, Дюмениль больше брала вдохновеніемъ и темпераментомъ, чѣмъ искусствомъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ она безукоризненно проводила свою роль на всемъ протяженіи пьесы. Злые языки говорили, что она изучила до тонкости искусство контраста и нарочно играла въ однихъ мѣстахъ блѣдно и вяло, чтобъ тѣмъ сильнѣе поразить въ другихъ, но это предположеніе едва-ли справедливо. Скорѣе нужно предположить, что вообще она мало заботилась объ отдѣлкѣ деталей своей роли, а тѣмъ болѣе о достоинствѣ осанки, величія и изяществѣ жестовъ. Если роль ее не захватывала, она играла до того холодно и вяло, что можно было прійти въ отчаяніе, но зато въ роляхъ благородныхъ, способныхъ вдохновить ее, она становилась, подобно нашему Мочалову, рѣшительно неузнаваемой: чувство, охватывавшее ея душу, зажигало своимъ огнемъ ея чудные глаза и придавало магическую силу ея голосу. Увлекаясь сама до самозабвенія, она не вольно увлекала за собой и публику. Знаменитый Гарриксъ, видѣвшій Дюмениль въ ея лучшихъ роляхъ, говорить, что это была не актриса, играющая роль Семирамиды или Аталіи, а настоящая Семирамида, настоящая Аталія. „Не было артистки—говорить другой современникъ—болѣе чувствительной и болѣе пламенной. Никто сильнѣе ея не могъ возбудить въ сердцахъ зри-

теля ощущеній страха и состраданія. Она неглижировала многими деталями въ своихъ роляхъ, но изъ самыхъ тѣневыхъ сторонъ ея игры, какъ изъ тучъ, вылетали молніи, которыя зажигали собою сердца людей *). Въ особенности хороша была Дюмениль въ выраженіи чувствъ, идущихъ прямо отъ сердца, на примѣръ чувствъ матери. Ея соперница Клеронъ замѣчаетъ, что не было ничего болѣе увлекательнаго, какъ ея игра въ этихъ роляхъ и болѣе трогательнаго какъ изображеніе ея отчаянія матери. Видѣвшіе ее въ этихъ роляхъ уносили съ собой впечатлѣніе отъ ея игры на всю жизнь. „Таково могущество таланта—говоритъ Ларивъ въ своемъ Cours de Déclamation—такова сила производимаго имъ впечатлѣнія, что, несмотря на значительное количество лѣтъ, протекшихъ съ той поры, какъ я видѣлъ Дюмениль въ роли Юкасты, память моя свято сохранила всѣ интонаціи ея голоса, всѣ ея порывы, даже всю манеру ея игры **). До какой степени артистка довѣряла своему непосредственному вдохновенію и пренебрегала всѣми внѣшними эффектами доказываетъ слѣдующій случай, занесенный въ ея біографію: однажды по разсѣянности она пришла на генеральную репетицію, на которой всегда въ Парижѣ присутствовало много публики, въ утреннемъ капотѣ. Неглиже это находилось въ такомъ рѣзкомъ противорѣчій съ сильной трагической ролью, которую ей приходилось репетировать, что ея соперницы и завистницы не могли удержаться отъ злорадной улыбки, заранѣе наслаждаясь тѣмъ смѣшнымъ положеніемъ, въ которое она себя поставила. Но онѣ жестоко ошиблись въ своихъ расчетахъ.—Не прошло и часа, какъ вдохновенная своей ролью, Дюмениль заставила ихъ позабыть все и присоединить и свои рукоплесканія къ шумнымъ восторгамъ публики.—Лучшая оцѣнка Дюмениль, какъ артистки, принадлежитъ Гаррику, который въ такихъ выраженіяхъ характеризуетъ ея игру: „Какъ могло случиться, что женщина, видимо лишенная всего, что способно увлекать на сценѣ, достигла такого величія, такого совершенства? Нѣтъ, нужно полагать, что природа до такой степени щедро одарила артистку, что она сочла возможнымъ пренебречь ухищреніями искусства. Глаза ея, не особенно красивые, выражаютъ однако все, что можетъ выразить страсть; ея довольно глухой голосъ пріобрѣтаетъ,

*) См. Notice sur M-me Dumesnil, предпосланную ея мемуарамъ въ Collection des Mémoires sur l'Art Dramatique. Paris. 1823.

**) Ibid. p. 14.

когда нужно, замѣчательную гибкость и всегда находится на высотѣ изображаемыхъ страстей. Кромѣ того, ея страстная, непосредственная дикція, краснорѣчивые, хотя и лишенные всякой методы, жесты, наконецъ этотъ раздирающій душу крикъ, этотъ неподражаемый голосъ сердца, наполняющій душу зрителя ужасомъ и скорбью—соединеніе всѣхъ этихъ красотъ преисполняетъ меня почтительнымъ удивленіемъ къ ея таланту“. „Она увлекала, она приводила въ восторгъ зрителя—воскликаетъ другой очевидецъ, Дора; кажется, что самые недостатки ея приближали ея игру къ идеалу превдливой игры. Говорятъ, что ея манеры грубы, жесты небрежны, переходы рѣзки, согласенъ, но что же дѣлать, если все это взятое вмѣстѣ меня воспаляетъ? Я плачу, дрожу, прихожу въ изумленіе“. Не зная, чѣмъ объяснить этотъ неизсякаемый родникъ вдохновенія, который всегда былъ готовъ бить ключомъ изъ сердца артистки, соперницы ея распустили слухъ, что она вдохновляетъ себя винными парами—обвиненіе, которое даже не стоитъ опровергать. Дюмениль пробыла на сценѣ слишкомъ долго: она имѣла несчастье пережить свою репутацію. Въ послѣдніе годы у ней уже не было ни прежняго огня, ни прежнихъ средствъ для выраженія трагическихъ чувствъ. Вотъ почему удаленіе ея со сцены въ 1775 г., шестидесяти трехъ лѣтъ отъ роду, произвело мало впечатлѣнія на публику. Восторженный поклонникъ Дюмениль Гриммъ замѣчаетъ, что о ней сожалѣли мало, потому что о паденіи ея таланта приходилось жалѣть гораздо раньше, видя ее каждый день на сценѣ, но тѣмъ не менѣе—продолжаетъ онъ,—память о ней будетъ жить до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать французская сцена. Видя на сценѣ Меропу, Агриппину или Семирамиду, зрители будутъ невольно вспоминать, какъ она была неподражаема въ этихъ роляхъ.

О частной жизни Дюмениль мы не имѣемъ почти никакихъ свѣдѣній. Авторъ статьи о ней въ *Biographie Universelle* и авторъ статьи, предпосланной ея мемуарамъ, говоря подробно о сценической карьерѣ артистки, не сообщаютъ никакихъ данныхъ для ея біографіи. Какъ артистка первоклассная, приводившая въ восторгъ весь Парижъ, она, конечно, имѣла не мало поклонниковъ, (въ числѣ ихъ былъ между прочимъ знаменитый трагикъ Леканъ, не иначе называвшій Дюмениль какъ *Ma chère reine*), но какъ она относилась къ нимъ, любила-ли она кого-нибудь изъ нихъ—объ этомъ мы не знаемъ ничего. Тихо и незамѣтно прошла ея жизнь. всецѣло посвященная любимому искусству, и

скандальная хроника Парижа о ней упорно молчитъ. Совершенную противоположность ей въ этомъ отношеніи какъ и во многихъ другихъ представляетъ ея знаменитая соперница Клеронъ, о любовныхъ похожденияхъ которой говорилъ весь Парижъ. Она до такой степени любила занимать своей особой и публику, и администрацію, что за ней былъ учрежденъ специальный надзоръ. Особые агенты слѣдили за каждымъ ея шагомъ и сообщали министру полиціи подробности ея интимной жизни, которая вслѣдъ затѣмъ дѣлались достояніемъ всего Парижа *). Если Дюмениль характеромъ своей игры и нѣкоторыми чертами своего характера напоминаетъ нашего Мочалова, о которомъ тоже говорили, что онъ вдохновляетъ себя винными парами, то Клеронъ своими причудами и самообожаніемъ, своей страстью къ рекламѣ и эффекту напоминаетъ знаменитую современную французскую актрису, которая постоянно занимаетъ собою прессу и развѣзжаетъ по всему свѣту съ заранѣе приготовленнымъ гробомъ.

Клара Скананикъ, впослѣдствіи прославившаяся подъ своимъ уменьшительнымъ именемъ Клеронъ, родилась въ 1723 г. въ маленькомъ городкѣ С. Ванонъ во Фландріи. Она была незаконной дочерью портнихи и сержанта мѣстнаго полка. Обстановка, въ которой она провела свое дѣтство, была самая печальная. „Дѣтство мое—пишетъ Клеронъ въ своихъ мемуарахъ—не знало ни ласкъ, ни нѣжныхъ заботъ, ни удовольствій. Грамота была единственная вещь, которую я изучила въ 11 лѣтъ, а катихизисъ и молитвенникъ были единственными книгами, прочитанными мною въ дѣтствѣ за исключеніемъ развѣ рассказовъ о колдунахъ и мертвецахъ, которые я считала истинными“. Поддерживая иглой свое скудное существованіе, мать Клеронъ естественно надѣялась со временемъ имѣть въ своей дочери помощницу, но, какъ нарочно, Клеронъ съ самаго ранняго дѣтства обнаруживала величайшее отвращеніе къ шитью, за что ей не мало доставалось отъ матери. На двѣнадцатомъ году жизни Клеронъ мать увезла ее въ Парижъ, гдѣ онѣ заняли маленькую квартирку въ одномъ изъ отдаленныхъ кварталовъ столицы. Квартира состояла изъ двухъ комнатъ, гостиной и спальни, которая служила также мѣстомъ заключенія для провинившейся или не желавшей работать Клеронъ. Изъ единственнаго окна этой комнаты, выходившаго на дворъ, было видно, что дѣлается въ на-

*) Донесеніями этихъ агентовъ, сохранившимися въ архивѣ бывшей Бастиліи, пользовался Гонкуръ въ своей книгѣ о Клеронъ.

ходившейся vis-à-vis квартирѣ, которую занимала артистка Comédie Française Данжевилъ. Сквозь раскрытыя окна этой квартиры Клеронъ видѣла, какъ артистка брала уроки танцевъ и мимики, какъ послѣ урока все семейство артистки, восхищавшееся ея граціей, принималось ее цѣловать. Послѣ перваго изъ этихъ уроковъ Данжевилъ сдѣлалась идеаломъ и божествомъ для юной Клеронъ, которая пыталась воспроизводить всѣ ея жесты, всѣ ея движенія. Узнавши, что Данжевилъ актриса, она только и мечтала о томъ, чтобъ увидѣть свое божество на сценѣ. Въ числѣ знакомыхъ ея матери былъ одинъ господинъ, который однажды взялъ съ собою Клеронъ въ Comédie Française. Давали трагедію Графъ Эссексъ и комедію Les Folies Amoureuses. Какъ очарованная, просидѣла она весь вечеръ, не будучи въ состояніи произнести ни одного слова. Вернувшись домой, она не спала всю ночь на пролетъ, а утромъ начала разыгрывать передъ матерью и знакомыми различныя сцены изъ видѣнныхъ ею пьесъ. „Въ особенности—пишетъ артистка—приводило всѣхъ въ изумленіе искусство, съ которымъ я умѣла подражать игрѣ всякаго актера. Я картавила какъ Гранваль, бормотала и прыгала какъ Пуассонъ и употребляла всѣ усилія, чтобы передать тонкую игру м-lle Данжевилъ и жесткую и холодную манеру м-lle Баликуръ. Всѣ присутствовавшіе смотрѣли на меня какъ на маленькое чудо, но мать моя, насупивъ брови, сказала, что для нея было бы пріятнѣе, если бы я сумѣла сшить платье или рубашку, чѣмъ продѣлывать всѣ эти глупости. Видя, что слушатели на моей сторонѣ, я осмѣлилась замѣтить матери, что я никогда не научусь шить и что я хочу поступить на сцену. Ругательство и пощечины заставили меня замолчать». Съ этихъ поръ борьба Клеронъ съ семейнымъ началомъ еще болѣе обострилась: мать прямо заявила дочери, что она уморить ее голодомъ и переломаетъ ей руки и ноги, если она не станетъ шить. Въ такомъ случаѣ — смѣло отвѣчала Клеронъ — убейте меня поскорѣе, потому что, если останусь жива, я все-таки поступлю на сцену. Два мѣсяца длилась эта борьба, но наконецъ, подъ вліяніемъ одной изъ своихъ заказчицъ, женщины умной и доброй, принявшей горячее участіе въ талантливой дѣвчкѣ, мать перемѣнила политику, приласкала дочь и сказала ей, что она согласна на все, лишь бы Клеронъ забыла прошлое и любила ее по прежнему. На другой день она привела дочь къ ея покровительницѣ, которая пригласила актера Дэгэ прослушать декламацію Клеронъ. Декламація тринадцатилѣтней дѣвочки настолько понравилась Дэгэ, что послѣдній

представилъ Клеронъ труппѣ Comédie Française, какъ талантъ, подающій большія надежды. Ей немедленно были даны учителя декламаціи, танцевъ и пѣнія, которые наскоро подготовили ее къ дебюту. Клеронъ дебютировала въ роли служанки въ пьесѣ *Isle des Esclaves* и имѣла успѣхъ. Этотъ успѣхъ рѣшилъ ея судьбу, ибо, благодаря ему, она немедленно получила ангажементъ въ провинцію на комическія роли, свойственныя ея возрасту, съ обязательствомъ пѣть въ комическихъ операхъ и участвовать въ балетѣ. Клеронъ пробыла въ провинціи около семи лѣтъ. Она играла въ Руанѣ, Лиллѣ, Гаврѣ, возбуждая всеобщій восторгъ какъ своей привлекательной наружностью, такъ и разнообразіемъ своихъ талантовъ: она обладала прекраснымъ голосомъ, недурно пѣла и граціозно танцевала. Гаррикъ, видѣвшій ее въ Лиллѣ въ роляхъ субретокъ, предсказалъ ей блестящую будущность. Въ 1743 г., благодаря стараніямъ своихъ поклонниковъ, принадлежавшихъ къ знатнѣйшимъ фамиліямъ Франціи, она была приглашена сначала на оперную сцену, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ принята въ составъ труппы Comédie Française. Товарищество Comédie Française, знавшее какимъ путемъ она удостоилась этой высокой чести, встрѣтило ее не особенно дружелюбно. Клеронъ въ своихъ Мемуарахъ рассказываетъ, что когда она объявила труппѣ, что желаетъ дебютировать въ роли Федры, коронной роли Дюмениль, то вся труппа расхохоталась ей въ глаза. Ее пытались отговорить отъ этого дерзкаго шага, увѣряя, что публика не дастъ ей окончить и перваго акта, но на всѣ эти увѣренія она гордо отвѣчала: «Хотите ли вы этого, господа, или нѣтъ, но я имѣю право выбора. Я рѣшила дебютировать въ Федрѣ или не играть совсѣмъ».

Дебютъ Клеронъ въ роли Федры прошелъ съ большимъ успѣхомъ. Даже поклонники Дюмениль рукоплескали молодой артисткѣ и находили, что нѣкоторыя мѣста роли, требовавшія тонкой отдѣлки, выходили у ней даже лучше, чѣмъ у Дюмениль. Несомнѣнно, что часть успѣха должна быть отнесена на счетъ красивой наружности Клеронъ, ея чудныхъ глазъ и другихъ красотъ, о которыхъ подробно распространяется авторъ изданной по этому поводу брошюры. Выступивъ вслѣдъ за этимъ съ большимъ успѣхомъ въ нѣкоторыхъ комическихъ роляхъ, напримѣръ въ роли Дорины въ *Тартюфѣ*, Клеронъ въ скоромъ времени совсѣмъ перешла на трагическія роли, въ которыхъ сдѣлалась опасной соперницей Дюмениль. Лучшими изъ созданныхъ ею ролей считаются роли Ареции въ *Dénis le Tugan* Мармонтеля, Электры въ «Орестѣ» Вольтера, Клеопатры въ трагедіи того же

имени Мармонтеля, Аменаиды въ «Танкредѣ» Вольтера, Ифигеніи въ трагедіи «Ифигенія въ Тавридѣ» Делятуша и др. Современники, видѣвшіе ее въ этихъ роляхъ, не находятъ словъ для выраженія своихъ восторговъ. Гриммъ говоритъ, что слова Аменаиды: «Eh bien, mon père», сказанныя послѣ чтенія письма Танкреда, были произнесены ею удивительно, и что весь четвертый актъ обязанъ своимъ успѣхомъ только пламенному одушевленію, съ которымъ Клеронъ провела свою роль. Даламберъ, видѣвшій ее въ этой роли, пишетъ Вольтеру, что Клеронъ была несравненна и превзошла самое себя, а Вольтеръ по поводу ея игры въ Электрѣ замѣчаетъ, что она могла бы потрясти Альпы и сдвинуть съ мѣста Юру и прибавляетъ, что, смотря на ея игру, онъ впервые увидѣлъ, что значить совершенство трагическаго исполненія. Извѣстность Клеронъ росла съ каждымъ днемъ и достигла своего апогея въ то время, когда она, прослуживъ искуству двадцать два года, сочла несовмѣстнымъ съ своимъ достоинствомъ продолжать службу и навсегда оставила сцену. Отставка Клеронъ была цѣлымъ событіемъ въ театральномъ мірѣ, и потому о ней слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ. Глубоко убѣжденная въ достоинствѣ своего искуства, артистка не могла относиться иначе, какъ съ негодованіемъ, къ тому жалкому положенію, въ которомъ находилась во Франціи профессія актера. Извѣстно, что актеры въ то время считались отлученными отъ церкви, что они были лишены нѣкоторыхъ гражданскихъ правъ, напримѣръ, права свидѣтельствовать на судѣ. Эта несправедливость, остатокъ средневѣковаго варварства, возмущала Клеронъ до глубины души. Опираясь на свою популярность и на свое вліяніе въ правительственныхъ сферахъ, Клеронъ рѣшилась употребить всѣ усилія, чтобъ снять позорное клеймо съ чела представителей сценическаго искуства. Либеральная партія съ Вольтеромъ во главѣ съ страстнымъ участіемъ слѣдила за неравной борьбой смѣлой женщины съ общественными предразсудками и поддерживала ее своимъ сочувствіемъ. Одно случайное обстоятельство еще болѣе обострило отношенія Клеронъ къ администраціи и послужило ближайшимъ поводомъ къ ея отставкѣ. Одинъ изъ актеровъ Comédie Française, нѣкто Дюбуа, отказался уплатить по счету лѣчившаго его доктора, который перенесъ дѣло въ судъ. Считая поступокъ Дебуа позорящимъ все сословіе, Клеронъ, чтобъ избѣгнуть огласки, убѣдила Лекэна, Моле и другихъ актеровъ сложиться, внести за Дюбуа требуемую сумму и вычеркнуть его изъ членовъ труппы. Но это послѣднее оказалось не такъ-то легко. У Дюбуа

была хорошенькая дочь, возлюбленная весьма вліятельнаго человека, герцога де Франсака, которому удалось выхлопотать высочайшее повеленіе оставить Дюбуа по прежнему въ трупѣ. Тогда Клеронъ, Леканъ и еще нѣсколько актеровъ дали другъ другу слово не играть съ Дюбуа. И вотъ на представленіи пьесы *Siège de Calais* произошелъ цѣлый скандалъ. Актеры не хотѣли играть съ Дюбуа, представленіе было отложено. Обманутая въ своихъ ожиданіяхъ публика, не знавшая закулисной стороны дѣла, стала кричать, что актеры позволяютъ себѣ слишкомъ много, что ихъ слѣдуетъ проучить и привести къ порядку. На другой день администрація распорядилась отвезти Клеронъ, Моле и Лекана въ тюрьму *For-l'Éveque*. Этотъ актъ насилія сразу повернулъ симпатіи публики въ сторону протестовавшихъ. Выпущенная изъ тюрьмы Клеронъ сдѣлалась героиней дня и квартира ея, гдѣ она продолжала оставаться нѣкоторое время подъ домашнимъ арестомъ, была по цѣлымъ днямъ осаждаема людьми, желавшими ей выразить свое сочувствіе. Лишь только извѣстіе о заключеніи Клеронъ и товарищей дошло до Вольтера, какъ знаменитый защитникъ памяти Адриены Лекувреръ поспѣшилъ написать ей письмо, въ которомъ убѣждалъ ее не уступать, а бороться до конца. «Человѣкъ, принимающій къ сердцу славу Клеронъ — писалъ Вольтеръ — убѣдительно проситъ ее воспользоваться настоящимъ случаемъ и заявить о безсмысленности порядковъ, при которыхъ человекъ заключаютъ въ тюрьму, когда онъ не играетъ, и отлучаютъ отъ церкви, когда онъ играетъ. Актеры, высказавшіе въ этомъ дѣлѣ столько чувства чести, конечно, ее поддержать. Успѣетъ ли она или не успѣетъ, но во всякомъ случаѣ сдѣлается предметомъ обожанія для публики; но если она послѣ всего происшедшаго снова станетъ играть на сценѣ, подобно рабѣ, бряцающей своими цѣпями, то утратить всякое уваженіе. Я ожидаю отъ нея твердости, которая доставитъ ей столько же славы, какъ и ея талантъ, и которая будетъ началомъ достопамятной эпохи». Сохранилось еще другое, не менѣе любопытное, письмо Вольтера, относящееся къ этому же времени, въ которомъ онъ проситъ артистку употребить все свое вліяніе въ высшихъ сферахъ для доставленія мѣста священника одному изъ его *protégé*, увѣряя, что попы, отлучившіе ее отъ церкви, какъ актрису, причислятъ къ лику святыхъ, когда узнаютъ, что она можетъ раздавать мѣста. Въ виду того, что сочувствіе общества стало все болѣе и болѣе склоняться на сторону актеровъ, театральное начальство не стало настаивать на оставленіи Дюбуа. Онъ вышелъ въ отставку, награжденный хоро-

шимъ пенсіономъ, а актеры-протестанты согласились снова играть, за исключеніемъ впрочемъ Клеронъ, которая по болѣзни взяла отпускъ и уѣхала въ Женеву къ Вольтеру. Возвратившись оттуда, она категорически заявила, что оставляетъ сцену и возвратится только тогда, когда ходатайство ея будетъ уважено и актеры получать тѣ же права, которыми пользуются остальные граждане. Напрасно театральное начальство давало ей самыя лестныя предложенія, предлагало, между прочимъ, самой выбирать пьесы и назначать дни, въ которые она будетъ играть, Клеронъ рѣшительно отвергла всѣ эти предложенія и обѣщала только подождать нѣкоторое время, по истеченіи котораго вышла въ отставку 23 апрѣля 1766 г. въ полномъ расцвѣтѣ силъ и таланта, на сорокъ третьемъ году своей жизни. На первый разъ кажется страннымъ, что отставка Клеронъ, безспорно внушенная благородными мотивами, была встрѣчена членами труппы *Comédie Française* скорѣе съ радостью, чѣмъ съ сожалѣніемъ. Причина этого лежала въ неуживчивомъ характерѣ артистки, отъ котораго приходилось не мало страдать ея товарищамъ по сценѣ. Упоенная неслыханнымъ успѣхомъ въ публикѣ, гордая своимъ вліяніемъ въ высшихъ административныхъ сферахъ, она смотрѣла на себя какъ на существо высшаго порядка, относилась свысока къ другимъ артистамъ и нерѣдко позволяла себѣ весьма рѣзкіе отзывы объ ихъ игрѣ. Данжевиль — прежній идолъ Клеронъ — должна была изъ-за нея оставить сцену, ибо ужиться съ ней не было никакой возможности (*il n'y a plus moyen de vivre avec cette créature là* — говорила она уходя): о ш-елле Госсенъ она отзывалась не иначе, какъ о дурѣ, была на ножахъ съ Превилемъ и Лекэномъ, которому тоже пришлось разъ послѣ ссоры съ Клеронъ на время оставить сцену и т. п. Но въ особенности доставалось отъ нея ея талантливой соперницѣ Дюменель, которой она завидовала и дѣлала тысячу мелкихъ непріятностей. Въ послѣднее время своей дѣятельности Клеронъ играла рѣдко и когда товарищи однажды мягко упрекнули ее въ томъ, она отвѣтила имъ весьма неделикатно: „правда, сказала она, что я играю рѣдко, но зато на каждое изъ моихъ представленій вы можете существовать цѣлый мѣсяцъ“. Не мало также страдали отъ нея и драматурги, которыхъ она третировала съ высоты величія титулованной премьерши, капризничала съ ними, надѣдала своими претензіями и при малѣйшемъ противорѣчій говорила въ глаза дерзости. Разсердившись на кого-нибудь, она не разбирала средствъ для выраженія своего неудовольствія. Она распускала некраси-

выя сплетни о Лагарпѣ, за то, что въ своей трагедіи *Comte de Warwick* онъ отдалъ роль Маріи Анжуйской не ей, а Дюмениль. Одному изъ драматурговъ она бросила въ лицо свою роль; другому, читавшему свою пьесу труппѣ *Comédie Française*, она наговорила въ глаза дерзостей и когда онъ, разсерженный, уходилъ изъ театра, она закричала ему вслѣдъ: „Уходите, милостивый государь, но если въ васъ есть хоть искра таланта—вы къ намъ вернетесь“. Подобно многимъ артистамъ, она наивно думала, что творчество, планъ, характеры, словомъ, поэзія—все это вещи второстепенныя въ пьесѣ, которыя не имѣютъ цѣны безъ таланта актера. Нужно сказать правду, что сами авторы въ припадкѣ излишней скромности или любезности могли внушить артистамъ подобныя мысли.

Если Вольтеръ выражался о своей Меропѣ, что не онъ создалъ ее, а Дюмениль, если онъ притворился неузнавшимъ другой своей трагедіи въ исполненіи Клеронъ и съ наивнымъ лукавствомъ стараго селадона восклицалъ: „неужели я могъ написать эту прелесть?“, то нечего удивляться, что такая самолюбивая и влюбленная въ свое искусство артистка, какъ Клеронъ, могла принять эту гиперболу за чистую монету и утверждать, что авторъ, написавъ трагедію, сдѣлалъ только самое легкое, потому что самое трудное приходилось дѣлать актеру. По этому поводу одинъ изъ драматурговъ (нѣкто *Dulaurens*) рѣзко выразился насчетъ Клеронъ и восхищавшейся ею публики: „у насъ—сказалъ онъ однажды—больше любятъ и больше удивляются одѣтой въ костюмъ куклѣ, хорошо произносящей стихи, чѣмъ поэту, который ихъ написалъ“.

Привыкнувъ въ продолженіе столькихъ лѣтъ жить восторгами публики, Клеронъ, конечно, не разъ пожалѣла о томъ, что погорячилась и вышла въ отставку, но она была слишкомъ горда, чтобы сдѣлать первый шагъ. Она не могла примириться съ тѣмъ, что посредственности, въ родѣ Санваль или Дюранси могли ее вытѣснить изъ памяти публики. Она изрѣдка появлялась въ ложѣ, скромно закрываясь своимъ вѣеромъ, она слышала, какъ кругомъ говорили: „вотъ Клеронъ! вотъ она!“ но она тщетно ждала, чтобы публика, какъ въ прежнее время, при видѣ ея разразилась громкими рукоплесканіями. Ей приходилось сознаться, что къ отсутствію ея стали привыкать. Почитатели и почитательницы ея таланта употребляли всѣ усилія, чтобы напомнить о ней публикѣ. Они устраивали частные спектакли, на которыхъ она появлялась въ своихъ лучшихъ роляхъ и по преж-

нему производила фуроръ. Послѣ каждого изъ такихъ спектаклей газеты поднимали тревогу, выражали сожалѣніе, что французская сцена лишилась такой великой артистки, но театральное начальство оставалось глухо къ этимъ сожалѣніямъ. Такъ прошло еще нѣсколько лѣтъ. Въ 1770 г., по случаю свадьбы Маріи Антуанеты съ дофиномъ, состоялся парадный спектакль въ Версалѣ, въ которомъ исполнителями явились артисты *Comédie Française* съ Дюмениль и Леканомъ въ главѣ. Считая этотъ случай весьма удобнымъ, чтобъ напомнить королю о Клеронѣ, поклонники ея устроили такъ, чтобы и она была приглашена на два представленія. Такимъ образомъ соперницы встрѣтились еще разъ на полѣ чести и между ними произошелъ настоящій драматическій турниръ. Клеронъ играла Аталію въ трагедіи Расина и Аменаиду въ *Танкредѣ* Вольтера, а Дюмениль — Семирамиду. Нѣсколько лѣтъ, проведенныхъ внѣ сцены, не замедлили оказать свое вліяніе на игру Клеронъ. Гриммъ, присутствовавшій на представленіи *Танкреда*, говоритъ, что въ игрѣ Клеронъ не было прежней силы, что она играла роль Аменаиды вяло, монотонно и имѣла только посредственный успѣхъ сравнительно съ Дюмениль, которая вышла побѣдительницей изъ состязанія. „Это не шутка, писалъ по этому поводу восторженный поклонникъ Дюмениль, Леканъ, — покорить фальшивыя или предубѣжденные сердца придворныхъ, но она сдѣлала это чудо. Клянусь, что удовольствіе, которое я испытываю отъ этого, превосходить всякое описаніе. Теперь же другая (т.е. Клеронъ) ломаетъ себѣ руки. Дай Богъ, чтобы она этими руками разорвала себѣ сердце и захлебнулась бы своей ядовитой кровью“. Неудачнымъ состязаніемъ съ Дюмениль закончилась сценическая карьера Клеронъ. Съ этихъ поръ она уже никогда не играла и даже не декламировала передъ публикой, за исключеніемъ того достопамятнаго вечера (въ октябрѣ 1773 г.), когда она, одѣтая въ античный костюмъ жрицы, декламировала оду, сочиненную въ честь Вольтера *Мармонтелемъ*, вѣнчала его бюстъ лавровымъ вѣнкомъ, а растроганный старикъ отвѣчалъ ей стихотвореніемъ, въ которомъ говорилъ, что самая его слава была дѣломъ Клеронъ.

Если отличительной чертой игры Дюмениль была способность сливаться съ своей ролью и увлекать за собой публику силою своего порыва, то отличительной игрой Клеронъ была тонкая отдѣлка деталей и умѣнье пользоваться сценическими эффектами; если первая была вся вдохновеніе, то послѣдняя—вся искусство. Клеронъ имѣла обыкновеніе говорить, что она обязана

была всѣми своими успѣхами искусству. И этимъ искусствомъ не даромъ восхищались современники, потому что ни у одной изъ современныхъ артистокъ, не исключая и Дюмениль, мимика декламация, жесты и позы не были доведены до такого совершенства, какъ у Клеронъ. Одаренная отъ природы счастливой сценической наружностью: красивымъ и выразительнымъ лицомъ, черными лучистыми глазами, звучнымъ металлическимъ голосомъ, она развила и усовершенствовала свои природныя данныя и умѣла пользоваться ими съ изумительнымъ искусствомъ. Она одухотворила свое лицо, зажгла свои глаза пламенемъ трагическихъ страстей, путемъ упорной работы вполнѣ подчинила себѣ свой голосъ и достигла того, что въ ея чтеніи достоинства стиховъ выступали ярче, а недостатки сглаживались. Ея декламация произвела такое магическое впечатлѣніе на больного Вольтера, что онъ совершенно позабылъ о своей болѣзни и слушалъ ее съ такимъ восторгомъ, съ какимъ монахъ средневѣковой легенды слушалъ пѣніе райской птички. Геро де-Сешель въ *Réflexions sur la Declamation* *) рассказываетъ, что однажды Клеронъ, сидя въ креслѣ и не говоря ни слова, выражала на своемъ лицѣ не только различныя чувства, какъ-то: любовь, гнѣвъ, ненависть, грусть, скорбь, человѣколюбіе, но и различные оттѣнки этихъ чувствъ, и когда удивленные присутствующіе спрашивали ее, какимъ путемъ она достигла этого, она отвѣчала, „что, помимо сценической практики, ей не мало помогало изученіе анатоміи человѣческаго лица, что она отлично знала, какіе мускулы нужно приводить въ движеніе при выраженіи того или другого чувства. Благодаря такому совершенству мимики и жестовъ, многія сцены, въ которыхъ Клеронъ не говорила ни слова, производили весьма сильное впечатлѣніе. „Ахъ, если бы вы видѣли, мой дорогой учитель,—писалъ Дидро къ Вольтеру, послѣ представленія Танкреда—какъ она проходитъ по сценѣ, влекомая палачами, съ закрытыми глазами, съ подгибающимися колѣнями и безсильно упавшими на нихъ руками, если бы вы слышали ея крикъ при видѣ Танкреда, вы поняли бы, что иногда нѣмая игра можетъ достигнуть той степени патетическаго, который не достигаетъ ораторское искусство. Разверните ваши портфели, найдите тамъ рисунокъ Пуссена Эсѣиръ передъ Ассуромъ: это Клеронъ, идущая на казнь“.

Развивъ до поразительнаго совершенства всѣ задатки, дан-

*) Мѣсто это приведено вполнѣ у Говкура, р. 180—181.

ные ей природой, Клеронъ обладала рѣдкимъ искусствомъ заставить публику позабыть одинъ коренной недостатокъ своей фигуры. Такъ какъ небольшой ростъ артистки не соотвѣтствовалъ величію героическихъ типовъ, ею изображаемыхъ, то она избѣгала ходить пѣшкомъ и не иначе показывалась на улицахъ, какъ въ портпезѣ. Съ помощью высокихъ каблуковъ и умѣнья держаться на сценѣ, она становилась неузнаваемою для лицъ ее знавшихъ. Пріѣзжая изъ провинціи актриса Вестрисъ не хотѣла вѣрить, чтобы величественная женщина, которую она видѣла на сценѣ въ роли Андромахи, была та самая маленькая Клеронъ, у которой она провела вечеръ наканунѣ.

Боясь сбиться съ тона и тѣмъ нарушить въ зрителѣ иллюзію, Клеронъ и въ частной жизни употребляла тонъ и величественные жесты своихъ героинь. „Если въ продолженіе всего дня—выразилась она однажды—я буду мѣщанкой, то я останусь мѣщанкой и въ роли Агриппины. Пошлый тонъ и пошлые жесты будутъ прорываться у меня на каждомъ шагу, и только въ рѣдкіе моменты моя привыкшая къ буржуазной обстановкѣ душа (*mon ame embourgeoisée*) будетъ въ состояніи изображать величіе“. Руководимая желаніемъ производить въ зрителѣ по возможности полную иллюзію, вполне увѣренная, что въ соотвѣтственномъ костюмѣ, актеръ скорѣе найдетъ надлежащій тонъ своей роли, Клеронъ положила не мало заботъ на то, чтобы костюмы ея соотвѣтствовали ролямъ и были вѣрны исторіи. Играя, напримѣръ, греческую невольницу, она впервые на французской сценѣ появилась не въ современномъ костюмѣ съ пудрой и мушками, а въ простой туникѣ греческой невольницы, съ распущенными волосами и съ цѣпями на рукахъ. По этому поводу Дидро обратился къ ней съ краснорѣчивымъ воззваніемъ не останавливаться на полдорогѣ, отбросить все условное и явиться на сцену, какъ того требуетъ правда и природа. Но стремясь къ этой внѣшней правдѣ, Клеронъ нерѣдко упускала изъ виду правду внутреннюю и ради эффекта впадала въ искусственность. Современники, восхищаясь красотой ея декламациі, находили ее монотонной, а игру ея болѣе искусной, чѣмъ правдивой (Гриммъ); даже такой восторженный поклонникъ, Клеронъ какъ Дидро, увѣряетъ, что у нея все изучено и подготовлено. „Я не сомнѣваюсь—говоритъ онъ—и въ томъ, что и Клеронъ, какъ всякая выдающаяся артистка должна испытывать муки творчества, но разъ онъ сумѣла достигнуть высоты созданнаго ею типа, она овладѣваетъ собой и только повторяетъ себя почти безъ всякаго

внутренняго волненія“. Гаррикъ, отдавая справедливость таланту и виртуозности Клеронъ, находилъ, что она слишкомъ актриса и предпочитать ей вдохновенную, хотя и менѣе искусную, Дюмениль. Тонкій наблюдатель современныхъ нравовъ лордъ Честерфильдъ сильно порицалъ Клеронъ за то, что она и дома изображаетъ изъ себя трагическую героиню. „Я понимаю“—говорилъ онъ Гаррику,—„что можно два часа въ день проникнуться ролью, которую играешь вечеромъ, но держать себя въ продолженіе всего дня театральной королевой—просто смѣшно. Искусство великаго актера въ томъ и состоитъ, чтобы заставить публику совершенно позабыть свою личность“. Сравнивая игру Клеронъ съ игрой Дюмениль, Лагарпъ, подобно Гаррику, отдаетъ преимущество послѣдней. „Время“—говорить онъ, обращаясь къ Дюмениль,—„не имѣетъ власти надъ твоимъ талантомъ. Не искусству обязана ты своими чарами. Усилія искусства вызываютъ аплодисменты, оно удовлетворяетъ умъ, но твоя игра заставляетъ трепетать сердце и исторгаетъ изъ глазъ слезы. Твои порывы, твоя ярость, твой ужасъ и твои глаза, плачущіе непритворными слезами,—вотъ въ чемъ твое искусство, искусство ни откуда не заимствованное, искусство, которому нельзя подражать“. Нужно отдать справедливость Клеронъ, что во вторую половину своей сценической карьеры, въ ея игрѣ замѣчается сознательное и настойчивое стремленіе не только къ внѣшней, но и къ внутренней правдѣ. Она чувствовала, что въ традиціонной декламациі много фальшиваго и условнаго. Она рѣшилась сдѣлать попытку перейти къ болѣе простой и естественной дикціи и съ этой цѣлью уѣхала въ 1752 г. на гастроли въ Бордо, чтобы продѣлать этотъ опытъ передъ новой публикой. Успѣхъ превзошелъ ея ожиданія. Съ этихъ поръ Клеронъ мало-по-малу оставляетъ старую традиціонную манеру игры, которой была обязана своей славой, и прибѣгаетъ весьма рѣдко къ декламациі, за что Гаррикъ осыпаетъ ее похвалами.—Мармонтель въ своихъ Мемуарахъ приписываетъ эту реформу своему вліянію, говорить, что ему стоило не мало трудовъ убѣдить Клеронъ выступить на новую дорогу, но это сомнительно. Вѣрнѣе, что сама Клеронъ, въ своемъ вѣчномъ стремленіи къ совершенству, пришла къ мысли о необходимости коренной реформы въ сценическомъ искусствѣ, въ смыслѣ большей простоты и правды, и что въ Мармонтелѣ она нашла поддержку своимъ стремленіямъ.

Оставивъ сцену сравнительно въ молодые годы, Клеронъ прожила еще около сорока лѣтъ. Чтобы наполнить чѣмъ нибудь свою безцвѣтную жизнь, она завела у себя на дому нѣчто въ

родѣ драматической школы, приготовила къ сценѣ такихъ актеровъ, какъ Ларивъ и m-elle Ракуртъ; прилежно занималась естественной исторіей и устроила у себя прекрасный естественно-историческій музей, съ которымъ потомъ вслѣдствіе измѣнившихся обстоятельствъ ей пришлось разстаться. Старость ея была весьма печальна. Болѣзни ее одолѣвали; по ея собственному выраженію, обычнымъ ея состояніемъ было страданіе. Къ страданіямъ физическимъ не замедлили присоединиться и страданія нравственныя. Графъ де-Вальбель, которому Клеронъ посвятила цѣлыхъ восемнадцать лѣтъ своей жизни, ее оставилъ; она влюбилась въ своего ученика красавица Ларина и была въ отчаяніи, когда онъ ей оказывалъ одно глубочайшее уваженіе. И такихъ случаевъ съ ней было не мало. Трагедія ея жизни состояла въ томъ, что, хотя дни ея приближались въ вечеру, въ сердцѣ ея не вечерѣло; оно было настолько молодо, что упорно продолжало жаждать любви и счастья. Лучъ любви, сверкнувшей въ глазахъ молодого владѣтельнаго марграфа Анспахскаго, заставилъ Клеронъ оставить Парижъ и переѣхать въ Германію. Она прожила тамъ болѣе четырнадцати лѣтъ, въ качествѣ придворнаго философа, какъ деликатно выразился Вольтеръ, или въ качествѣ фаворитки, какъ выражались другіе. Послѣднее вѣрнѣе, потому что Клеронъ тотчасъ же уѣхала изъ Анспаха, какъ только замѣтила, что ея мѣсто въ сердцѣ марграфа занято другой женщиной. Послѣдніе года она провела въ Парижѣ въ своемъ домѣ, одинокая, почти забытая всѣми, изнемогая подъ бременемъ, удручавшихъ ее недуговъ. „О, мой другъ“, — писала она въ 1792 г. нѣмецкому литератору Генриху Мейстеру, съ которымъ сблизилась въ первые годы своего пребыванія въ Германіи, — „вы меня не узнаете теперь. Мои обычные страданія въ соединеніи съ лишеніями всякаго рода изсушили мою душу и удвоили количество прожитыхъ мною лѣтъ. Я не болѣе, какъ тѣнь той женщины, которую вы нѣкогда знали“. По мѣткому выраженію Гонкура, письмо это напоминаетъ стоны безпомощнаго Филоктета, оставленнаго съ своей раной на островѣ Лемносѣ. Въ другомъ письмѣ, жалуясь другу на свое одиночество, Клеронъ восклицаетъ: „Теперь у меня нѣтъ никого, кромѣ самой себя. Теперь я могу сказать, какъ Медея у Корнеля: „довольно!“ („C'est assez!“). Тѣмъ не менѣе она прожила еще нѣсколько лѣтъ и умерла въ 1803 г., на восьмидесятомъ году своей жизни.

Во время пребыванія своего въ Германіи Клеронъ занималась составленіемъ своихъ мемуаровъ, которые она отдала на



сохраненіе Мейстеру, взявъ съ него слово издать ихъ не ранѣе, какъ черезъ десять лѣтъ послѣ ея смерти. Нѣсколько лѣтъ спустя въ одномъ изъ своихъ писемъ къ нему Клеронъ выразилась, что она заранѣе одобряетъ все, что онъ ни предприметъ относительно ея произведеній въ надеждѣ, что дружба подскажетъ ему, что можетъ быть издано и когда. Принявъ эту фразу за косвенное позволеніе, Мейстеръ съ своей стороны далъ позволеніе перевести мемуары Клеронъ на нѣмецкій языкъ и издать въ Лейпцигѣ въ 1798 г. Узнавъ объ этомъ изъ газетъ, Клеронъ поспѣшила издать ихъ въ подлинникѣ, который вышелъ въ томъ же году въ Парижѣ. Зная характеръ Клеронъ, можно было напередъ предвидѣть, что въ нихъ она будетъ щедра на похвалы себѣ и на порицаніе своей соперницѣ. И дѣйствительно, въ приложенныхъ къ мемуарамъ *Réflexions sur l'art Dramatique et sur l'Art de la Déclamation Théâtrale*, она дѣлаетъ довольно ядовитую характеристику таланта своей соперницы и въ заключеніе приводитъ свой разговоръ съ Дюмениль по поводу отношеній публики къ игрѣ актера. Замѣтивъ, что Дюмениль больше старается нравиться толпѣ, чѣмъ знатокамъ дѣла, и прибѣгаетъ для этого къ весьма грубымъ эффектамъ, Клеронъ однажды обратилась къ ней съ вопросомъ: для чего она унижаетъ такимъ образомъ свой талантъ? „Ты ищешь истины“—будто бы отвѣтила ей Дюмениль— „и не находишь ея, да если бы и нашла, никто бы этого не замѣтилъ. Число знатоковъ ограничивается однимъ, много двумя, остальная публика руководится репутаціей артиста; сила, порывъ оригинальность ее изумляютъ и увлекаютъ. Достаточно одному закричать браво! чтобы весь театръ поддержалъ его. Твои изслѣдованія, твоя ученая работа надъ ролью ускользаетъ отъ вниманія толпы и она остается холодной, а твой знатокъ, обыкновенно человекъ скромный и пожилой, хранитъ свое удовольствіе въ самомъ себѣ, не смѣя его обнаружить. Выходя изъ спектакля, публика разноситъ свой восторгъ по Парижу, на вопросъ, какую пьесу давали? кто игралъ? получается отвѣтъ: „Дюмениль и Клеронъ. Первая увлекла насъ до небесъ; вторая показалась намъ холодной“. На подобныхъ отзывахъ зиждется наша репутація, и если ты будешь дѣлать то же, что дѣлаешь, то я улечу на небо, оставивъ тебя на землѣ въ грязи“. Прочтя это мѣсто въ мемуарахъ Клеронъ, проживавшая на покой въ Булони болѣе чѣмъ 80-лѣтняя Дюмениль пришла въ сильное волненіе. „Я очень благодарна-писала она одному знакомому журналисту—„за участіе, которое вы и мои почтенные друзья выразили мнѣ по поводу на-

паденія на меня г-жи Клеронъ. Пятьдесятъ лѣтъ она упражняетъ въ этихъ нападеніяхъ, отъ которыхъ въ прежнее время мнѣ не разъ приходилось плакать. Теперь я свободна отъ этой слабости, и такъ какъ мы болѣе не соперницы, то я льстила себя мыслию, что она забыла меня, какъ я забыла все, что она мнѣ сдѣлала. Вы просите меня сообщить вамъ анекдоты о г-жѣ Клеронъ; позвольте мнѣ удержаться отъ этого, потому что это походило бы на мщеніе, которое не находитъ мѣста въ моемъ сердцѣ“. Но Дюмениль не сдержала своего слова. Оказалось, что и въ ея сердцѣ нашлось мѣсто для мщенія, что она далеко не все забыла. Подзадориваемая своими друзьями, она дала волю этому нехорошему чувству и выпустила противъ Клеронъ цѣлую книгу, давши ей не совсѣмъ точное названіе мемуаровъ *). Зная Дюмениль, какъ женщину скромную и добрую, мы не иначе можемъ объяснить себѣ грубый и исполненный самовосхваленія тонъ книги, какъ отнесши его хоть отчасти на счетъ лица, которому Дюмениль диктовала свои мемуары и который редактировалъ ихъ слогъ. Въ своей книгѣ Дюмениль не разъ вскользь касается частной жизни Клеронъ, клеймитъ ее именемъ знаменитой наложницы (concubine), обвиняетъ во лжи, обзываетъ ея разсужденіе галиматіей и т. п. Сравнивая свою игру съ игрой Клеронъ, она отдаетъ преимущество себѣ, осыпаетъ себя въ третьемъ лицѣ похвалами и унижаетъ свою соперницу насколько это возможно: „что бы вы тамъ ни дѣлали“—говоритъ она—„вы никогда не были въ состояніи заставить рыдать своихъ слушателей, какъ это дѣлала Дюмениль въ двухъ сценахъ Ифигеніи, гдѣ она была и всегда останется неподражаемой“. Оставляя въ сторонѣ всѣ эти выходы Дюмениль, которыя ей дѣлаютъ мало чести, попробуемъ остановиться на общихъ вопросахъ, которые она затрогиваетъ по поводу трактата Клеронъ о сценическомъ искусствѣ. Первый изъ нихъ—это вопросъ объ отношеніи искусства и изученія къ непосредственному вдохновенію. По мнѣнію Клеронъ, которая сходится въ этомъ случаѣ съ Шекспиромъ (въ извѣстныхъ совѣтахъ Гамлета актерамъ) изображеніе трагическихъ страстей на сценѣ представляетъ большія трудности главнымъ образомъ потому, что страсти у людей проявляются съ различными оттѣнками, соотвѣтствующими эпохѣ, странѣ, народности и общественному поло-

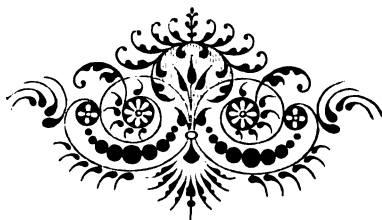
*) *Memoires de m-elle Dumesnil en réponse aux Mémoires d'Hippolite Clairon. Paris 1799 г. Мемуары эти тоже вошли въ составъ Collection de Memoires sur l'Art-Dramatique. Paris 1823 г.*

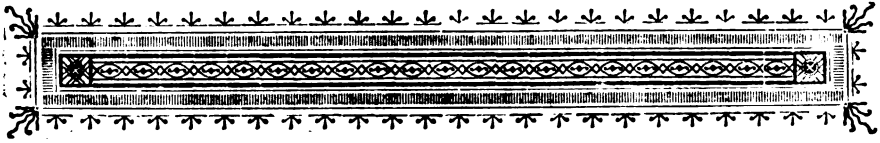
женію героя или героини. Возражая противъ этого положенія, ставшаго въ настоящее время трюизмомъ, Дюмениль утверждаетъ что изученіе мало поможетъ дѣлу, если уактеранѣтъ непосредственнаго вдохновенія, что среда, эпоха и народность оказываютъ также мало вліянія на изображеніе страстей, какъ различные языки, на которыхъ написаны трагедіи, на самыя трагедіи, что человѣческая природа со всѣми своими страстями въ сущности одинакова отъ одного полюса до другого. Гораздо удачнѣе полемизируетъ Дюмениль съ своей прежней соперницей по вопросу объ отношеніи авторовъ пьесъ къ актерамъ. Вѣруя до фанатизма въ силу своего искусства, считая, что авторъ, написавшій пьесу, сдѣлалъ только половину дѣла и притомъ болѣе легкую, Клеронъ утверждаетъ, что для авторовъ, пишущихъ для сцены, самыми естественными судьями являются актеры, которые выносятъ на своихъ плечахъ пьесу и создаютъ репутацію автора, и которымъ поэтому должно быть предоставлено право либо принять пьесу либо отвергнуть. Само собою разумѣется, что актеры должны быть настолько образованы, чтобъ оцѣнить, насколько авторъ самостоятеленъ, насколько онъ отступаетъ отъ исторической или психологической истины. Въ подтвержденіе своего взгляда Клеронъ ссылается на примѣры авторовъ, которые охотно отдавали свои произведенія на судъ актеровъ. Опровергая эти претензіи, въ которыхъ отчасти были виноваты сами авторы, слишкомъ любезно увѣрившіе артистовъ и въ особенности артистокъ, что они были настоящими создательницами ихъ трагедій, Дюмениль утверждаетъ, что претензіи актеровъ не имѣютъ смысла, что авторы въ душѣ смѣются надъ ихъ тщеславіемъ и въ заключеніе приводитъ слова теоретика сценической игры Совиньи, что величайшая заслуга актера состоитъ не въ томъ, чтобъ создать чего нѣтъ, но въ томъ, чтобы своей игрой заставить рельефнѣе выступить достоинства драматическаго произведенія. Его искусство можетъ нѣсколько сгладить недостатки пьесы, но совершенно безсильно замѣнить собою отсутствіе художественныхъ красотъ. Наиболѣе цѣнную часть книги Дюмениль составляютъ ея замѣчанія на сдѣланныя Клеронъ характеристики главнѣйшихъ героинь французской трагедіи; въ этихъ замѣчаніяхъ много глубины и мѣткости, и мы смѣло рекомендуемъ ихъ нашимъ артисткамъ.—Смотря на трактатъ Клеронъ, какъ на матеріалъ для полемики, Дюмениль усердно разыскивала его недостатки и просмотрѣла то, что въ немъ есть безспорно цѣннаго, именно—честное отношеніе къ своему дѣлу и страстное желаніе его усовершенствовать. Изъ каждой строки

трактата Клеронъ видно, какъ серьезно и вдумчиво относилась она къ своему призванію и налагаемымъ имъ задачамъ. „Насколько позволяли мои слабыя познанія“—говорить она—„я отдавала себѣ отчетъ въ каждой роли и тщательно изучала характеръ; на основаніи успѣха, выпавшаго на мою долю, я думаю, что имѣю право совѣтовать, чтобъ и другіе шли по моимъ слѣдамъ. Лишенная руководства и совѣтовъ, я часто предавалась безплоднымъ занятіямъ, а кто хочетъ достигнуть извѣстности на сценическомъ поприщѣ, тому нечего терять времени. И хотя, начиная съ двѣнадцати до сорока двухъ лѣтъ, я трудилась усердно, все таки должна сказать, что, и оставляя сцену, я дѣлала массу ошибокъ. Сколько нужно работы, чтобы отгнать въ своей игрѣ различіе между ироніей и пренебреженіемъ, между этимъ послѣднимъ и презрѣніемъ или между страстнымъ нетерпѣніемъ и гнѣвомъ, между страхомъ и испугомъ и между испугомъ и ужасомъ! Сколько отгннковъ нужно имѣть въ своемъ распоряженіи, чтобъ вѣрно выразить чувство любви къ природѣ, къ другому человѣку и ко всему человѣчеству! Сколько нужно работать, чтобъ возвыситься до выраженія великихъ моментовъ, ужасныхъ и вмѣстѣ патѣтическихъ! Сколько нужно имѣть ясности въ своихъ сужденіяхъ и какъ нужно владѣть своимъ голосомъ, чтобъ раасуждать на сценѣ просто, правдиво, не впадая въ холодность и тривіальность; это послѣднее по моему труднѣе всего“. Хотя въ замѣчаніяхъ Клеронъ много мелочного и искусственного, какъ и слѣдуетъ ожидать отъ артистки, которая не довѣряла вдохновенію, а приписывала все искусству, но нужно отдать справедливость Клеронъ, что ея собственная декламация разнообразилась сообразно ролямъ и что своимъ стремленіемъ къ соблюденію историческаго колорита не только въ выраженіи страстей, но и въ самыхъ костюмахъ она много сдѣлала для водворенія реальной игры на французской сценѣ.

Выше было замѣчено, что Дюмениль и Клеронъ являются представительницами двухъ различныхъ типовъ сценической игры, что основнымъ принципомъ первой была вѣра въ свое вдохновеніе, а второй—вѣра въ свое искусство. Въ игрѣ обѣихъ соперницъ принципы эти играли роль непримиримыхъ противоположностей, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онѣ должны быть разсматриваемы какъ двѣ стороны сценическаго идеала. Соединеніе ихъ въ одно цѣлое, изрѣдка встрѣчаемое въ исключительныхъ богато-одаренныхъ натурахъ, знаменуетъ собой высшую точку сценическаго искусства. Если съ одной стороны нельзя увлечь

публику безъ вдохновенія и экзальтаціи, то съ другой стороны нельзя произвести полную иллюзію безъ тщательной отдѣлки деталей, не отмѣтивши въ изображаемыхъ общечеловѣческихъ типахъ чертъ мѣста и времени. Такое рѣдкое гармоническое соединеніе этихъ двухъ принциповъ характеризуетъ собой игру знаменитыхъ французскихъ трагиковъ Тальма и Рашели, а въ новѣйшее время игру Сальвини въ „Отелло“ и Росси въ „Король Лиръ“.





Юношеская любовь Гете.

Двѣ минуты блаженства... Да развѣ этого мало, господа, хотя бы и на всю жизнь человѣческую?

Достоевскій.

Въ нѣсколькихъ часахъ ѣзды отъ Страсбурга по Лаутербургскому шоссе лежитъ утонувшая въ зелени деревушка Сессенгеймъ. Прежде на нее никто не обращалъ вниманія, но съ тѣхъ поръ какъ Гете прославилъ ее въ своей Автобіографіи, извѣстной подъ именемъ *„Поззія и Правда моей жизни“* и въ своемъ *„Сессенгеймскомъ Пѣсенникѣ“* (Sessenheimer Liederbuch), рѣдкій изъ любителей поэзіи, проѣзжая изъ Страсбурга въ Майнцъ, не заѣдетъ въ Сессенгеймъ, чтобы посмотреть на скромную усадьбу пастора, гдѣ гостилъ великій поэтъ, помечтать подъ развѣсистымъ букомъ, гдѣ юный Гете и дочь сессенгеймскаго пастора Бріона Фридерика обмѣнивались клятвами въ вѣчной любви, и полюбоваться прекраснымъ видомъ на рейнскіе острова, открывающимся съ любимаго мѣста Фридерики—высокаго, поросшаго лѣсомъ холма, который Гете называлъ отдыхомъ Фридерики (Friedrikens Ruh)—названіе до сихъ поръ оставшееся за нимъ. Хотя любовь Гете къ Фридерикѣ составляетъ едва-ли не самый очаровательный эпизодъ Автобіографіи Гете, но находящимся тамъ матеріаломъ нужно пользоваться съ осторожностью, во-первыхъ потому, что Гете писалъ ее въ старости, не менѣе какъ черезъ сорокъ лѣтъ послѣ описываемыхъ событій, когда онъ успѣлъ многое позабыть, и во-вторыхъ потому, что Автобіографія, какъ показываетъ самое ея заглавіе, есть произведеніе художественное, преслѣдующее кромѣ цѣлей біографическихъ и цѣли художествен-

ныя. Считая задачей искусства изображеніе существующаго въ его высшихъ и поэтическихъ проявленіяхъ, Гете умышленно измѣнилъ обстановку разсказа; ему казалось болѣе поэтичнымъ вставить знакомство съ Фридерикой въ рамку расцвѣтающей весенней природы, тогда какъ на самомъ дѣлѣ первое посѣщеніе имъ Сессенгейма произошло осенью, и несомнѣнно, что до весны онъ успѣлъ побывать тамъ по крайней мѣрѣ два раза. „Въ моемъ описаніи сессенгеймскихъ событій—говорилъ впослѣдствіи Гете Эккерману—нѣтъ ни одной черты, которая не была бы мною пережита, но за то нѣтъ ни одной, которая была бы изображена такъ, какъ она переживалась въ дѣйствительности“. Имѣя это въ виду, мы будемъ пополнять и провѣрять показанія Гете свидѣтельствомъ другихъ источниковъ, а также его собственныхъ писемъ и стихотвореній.

Весной 1770 г. Гете, не достигшій еще 21 года, пріѣхалъ въ Страсбургъ доканчивать свое юридическое образованіе. Онъ пробылъ въ Страсбургѣ годъ съ небольшимъ (до конца августа 1771 г.), но это непродолжительное пребываніе оказало сильное вліяніе на его дальнѣйшую поэтическую дѣятельность: здѣсь онъ положилъ основы своему разностороннему образованію, здѣсь онъ сблизился съ Гердеромъ, указавшимъ истинную дорогу его творчеству, наконецъ къ страсбургскому періоду его жизни относится любовь его къ Фридерикѣ, которую онъ воспѣлъ въ цѣломъ рядѣ стихотвореній, по справедливости считающихся перлами нѣмецкой лирики. Поселившись въ Страсбургѣ, Гете ходилъ обѣдать въ находившійся неподалеку отъ его квартиры табль-дотъ, который содержали дѣвицы Лаутъ. Съ свойственной ему общительностью и живостью характера онъ на другой же день перезнакомился со всѣми своими застольными товарищами... Въ числѣ ихъ былъ нѣкто докторъ Зальцманъ, старинный посѣтитель табль-дота, всегда занимавшій за обѣдомъ кресло предсѣдателя. Какъ человѣкъ солидный, образованный, онъ пользовался большимъ авторитетомъ въ средѣ посѣтителей табль-дота, которые называли его Сократомъ, повѣряли ему свои тайны, слушались его совѣтовъ. Любимымъ развлеченіемъ товарищей по табль-доту были прогулки по живописнымъ окрестностямъ Страсбурга, въ которыхъ принималъ участіе и Гете. Осенью 1770 г. одинъ изъ нихъ, студентъ Вейландъ, предложилъ Гете познакомить его съ семействомъ пастора Бріона, жившаго въ Сессенгеймѣ, Гете тѣмъ охотнѣе согласился на это предложеніе, что Вейландъ много наговаривалъ ему о гостепріимствѣ этой семьи и красотѣ дочерей

пастора. И вотъ, въ одинъ прекрасный осенній день молодые люди взяли верховыхъ лошадей и помчались въ Сессенгеймъ. Описание этой поѣздки находится въ Автобіографіи Гете; по свѣжести чувства и мастерству изображенія его можно сравнить развѣ съ описаніемъ путешествія Консуэло съ пятнадцатилѣтнимъ Гайдномъ въ извѣстномъ романѣ Жоржъ Санда. Любившій съ дѣтства всякаго рода сюрпризы и мистификаціи, Гете, напередъ взявши съ товарища слово, что тотъ его не выдастъ, напялилъ на себя взятый откуда-то старомодный костюмъ, измѣнилъ причестку, словомъ загримировалъ себя такъ искусно, что Вейландъ, глядя на него, не могъ удержаться отъ смѣха. Рѣшено было, что Вейландъ представить своего друга, какъ бѣднаго кандидата богословія, желающаго пристроиться въ сосѣднемъ друзенгеймскомъ приходѣ. Молодые люди были приняты весьма радушно пасторомъ и его женой; вскорѣ подошли бывшіе на прогулкѣ дочери,—но дадимъ слово Гете; пусть онъ самъ опишетъ намъ наружность меньшей дочери Фридерики, которой въ то время едва минуло восемнадцать лѣтъ. „На меня—говоритъ Гете—она произвела впечатлѣніе свѣтлой звѣздочки, внезапно вспыхнувшей на этомъ мирномъ деревенскомъ небосклонѣ. Обѣ сестры носили нѣмецкій національный костюмъ—и эта, почти уже изгнанная въ то время изъ употребленія, одежда особенно шла къ Фридерикѣ. Это было коротенькое бѣлое платьице, доходившее какъ разъ до косточки хорошенькой ножки, узенькій бѣлый корсажъ и черный тафтяной передникъ. Въ этомъ чистенькомъ нарядѣ она казалась не то барышней, не то крестьянкой. Гибкая и легкая, точно нарядъ ее ни мало не стѣснялъ, она двигалась такъ быстро, что казалось, милая головка, отягощенная двумя густыми косами свѣтлыхъ волосъ, не успѣвала слѣдить за поворотами тоненькой шеи. Голубые и свѣтлые глаза ея смотрѣли ясно и весело, а маленькій носикъ дышалъ такъ легко и свободно, что, казалось, не чуялъ въ окружающей обстановкѣ рѣшительно никакихъ заботъ или неприятностей. Такимъ образомъ, мнѣ удалось съ перваго же раза увидѣть ее въ полномъ ореолѣ веселой беззаботности“. При видѣ этого милаго и простодушнаго созданія Гете стало ужасно неловко и стыдно продолжать свою мистификацію, но Фридерика даже не замѣтила его смущенія. Она весело болтала, рассказывала Гете о своихъ родныхъ и знакомыхъ, которыхъ очень мило представляла, потомъ сѣла за фортепьяно и попробовала спѣть одинъ изъ тогдашнихъ модныхъ романсовъ, но пѣніе почему-то не удалось. Она сама это замѣтила и сказала Гете съ тѣмъ веселымъ

выраженіемъ, которое не покидало ее весь вечеръ: „если я дурно пою, то въ этомъ нисколько не виновать мой учитель; но пойдемте на воздухъ, я вамъ тамъ спою нѣсколько нашихъ эльзасскихъ пѣсенокъ; съ ними дѣло пойдетъ лучше“. За ужиномъ Гете былъ задумчивъ: онъ не могъ отвязаться отъ мысли, что онъ гоститъ въ семьѣ Вэкфильдскаго священника. Послѣ ужина молодежь отправилась гулять при лунномъ свѣтѣ. Вейландъ предложилъ руку старшей сестрѣ Саломеѣ, Гете—Фридерикѣ. Во время прогулки Фридерика показалась Гете еще очаровательнѣе. „Въ словахъ своихъ—говоритъ онъ—отражалась она какъ въ зеркалѣ, и вся ея личность рисовалась передо мной въ такомъ прелестномъ видѣ, что я былъ рѣшительно внѣ себя“. Когда Гете и Вейландъ удалились въ отведенную имъ комнату, они проговорили чуть не до утра о дочеряхъ пастора. Проснувшись на другой день рано утромъ, Гете пришелъ въ ужасъ отъ своего костюма. Предстать передъ Фридерикой въ этомъ шутовскомъ нарядѣ было для него невыносимымъ; онъ рѣшился уѣхать, не простившись. Поручивъ товарищу извиниться за него, Гете осѣдлалъ свою лошадь и поскакалъ къ Друзенгейму. По дорогѣ ему пришла въ голову счастливая мысль переодѣться въ платье знакомаго трактирнаго слуги, походившаго на него ростомъ и фигурой. Задумано—сдѣлано. Перемѣнивъ прическу, облекшись въ костюмъ слуги и надѣвъ на голову шляпу съ разноцвѣтными лентами. Гете появился около девяти часовъ утра на пасторскомъ дворѣ, держа въ правой рукѣ большой крестильный пирогъ, который ему поручили отнести женѣ пастора отъ имени одной друзенгейской родильницы. Мистификація удалась вполне. Не только пасторъ и горничная не узнали Гете, но и Соломея пришла въ изумленіе, что Фридерика идетъ къ ней навстрѣчу подъ руку съ трактирнымъ слугой. Когда же, присмотрѣвшись ближе, она узнала въ этомъ слугѣ Гете, то ею овладѣлъ такой припадокъ смѣха, что она не могла устоять на ногахъ и упала на траву. Гете и Вейландъ остались до вечера въ гостепріимномъ семействѣ пастора. Въ сопровожденіи сестеръ Бріонъ они гуляли въ лѣсу, тогда примыкавшемъ къ самому Сессенгейму, отдыхали въ жасминной бесѣдкѣ, гдѣ Гете очаровалъ своихъ слушательницъ, рассказавъ имъ сказку о Новой Мелюзинѣ, вставленную имъ впоследствии въ его романъ Вильгельмъ Мейстеръ. Фридерика показала Гете всѣ свои любимыя мѣста; они долго сидѣли подъ сѣнью развѣсистаго бука, на которомъ Гете вырѣзалъ свое имя рядомъ съ именемъ Фридерики. Вечеромъ молодые люди уѣхали въ Страс-

бургъ, давъ слово въ скоромъ времени прїѣхать снова. Результатъ поѣздки въ Сессенгеймъ былъ тотъ, что Гете вернулся въ Страсбургъ совершенно влюбленный и почувствовалъ всю трудность предаться вновь своимъ занятіямъ. Мысль его, какъ магнитъ къ сѣверу, постоянно обращалась къ Сессенгейму, гдѣ въ рамкѣ изъ зелени и цвѣтовъ ему рисовался чарующій образъ Фридерики. Нужно ли говорить, что нѣжное чувство незамѣтно овладѣло сердцемъ Фридерики, что она постоянно думала объ юномъ поэтѣ и мечтала о скоромъ свиданіи съ нимъ. Мечты эти поддерживались письмами Гете, изъ которыхъ Фридерика увидѣла, что Гете ее любитъ. Черезъ два или три дня послѣ своего возвращенія въ городъ, Гете пишетъ Фридерикѣ письмо (отъ 15 октября 1770 г.), которое даже и не такая простодушная дѣвушка, какъ Фридерика, непременно сочла бы объясненіемъ въ любви. „Милый, милый другъ мой! — писалъ Гете: — первая мысль, утѣшавшая насъ всю дорогу, была мысль поскорѣ свидѣться съ вами. Какая это славная вещь—надежда снова увидѣться! Едва наше избалованное сердце начнетъ тревожиться, какъ у насъ уже готово и лѣкарство. Милое сердце—говоримъ мы ему—успокойся, ты не долго будешь разлучено съ тѣми, кого ты любишь! Никогда Страсбургъ не былъ для меня такъ пустъ, какъ теперь, хотя я и надѣюсь, что онъ сдѣлается лучше, когда изъ моей памяти понемногу изгладится воспоминаніе о весело и шаловливо-проведенномъ времени, когда я не буду чувствовать такъ живо, какъ добръ, какъ милъ мой другъ! Нѣтъ я лучше предпочитаю, чтобы мое сердце немного погоревало — и потому буду часто писать вамъ“. Фридерика не замедлила отвѣтомъ, и съ этихъ поръ между ею и поэтомъ завязывается оживленная переписка. Кромѣ писемъ, Гете посылалъ Фридерикѣ книги и свои стихотворенія. Такъ извѣстно, что онъ послалъ ей Вэкфильдскаго Священника и свой переводъ нѣсколькихъ пѣсенъ Оссіана. Какъ всегда бываетъ у истинныхъ поэтовъ, чувство, охватившее душу Гете, не замедлило отразиться на его поэтической дѣятельности. Въ Сессенгеймскомъ Пѣсенникѣ есть одно прекрасное стихотвореніе, которое, судя по его осеннему колориту, должно было возникнуть вскорѣ послѣ возвращенія Гете изъ Сессенгейма *).

*) Это стихотвореніе, равно какъ и всѣ слѣдующія, за исключеніемъ одного, никогда не были переведены на русскій языкъ. Мы приводимъ ихъ въ прекрасномъ переводѣ, сдѣланномъ специально для этой статьи нашимъ молодымъ поэтомъ К. Д. Бальмонтомъ, которому приносимъ глубокую благодарность.

Осенній, сѣрый день на небѣ,
Полей унылыхъ мертвый видъ,
Кругомъ, куда свой взоръ ни бросишь,
Весь міръ туманами покрытъ.
О другъ мой нѣжный, Фридерика,
Когда-бы ты была со мной!
Въ твоихъ глазахъ—сіяніе солнца,
Лазури неба блескъ живой!
Вотъ, тамъ я вырѣзалъ два имя,
Когда гуляли мы вдвоемъ.
Какъ потускнѣли эти буквы!
Какъ потускнѣлъ весь міръ кругомъ!
И лучъ отцвѣлъ благоуханный,
Какъ отцвѣли мои мечты,
И навсегда угасло солнце,
Какъ навсегда исчезла ты!

Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ Гете не могъ устоять противъ желанія видѣть Фридерiku. Сколько онъ пробылъ въ Сессенгеймѣ, неизвѣстно, но существуетъ преданіе, что онъ былъ очень веселъ и потѣшалъ общество своими забавными выходками. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что въ это посѣщеніе Гете убѣдился въ томъ, что и Фридерика его любитъ. Въ письмѣ къ Горну, писанномъ въ декабрѣ 1770 г., Гете говоритъ, что онъ чувствуетъ себя счастливымъ и находится въ упоеніи этимъ сладостнымъ чувствомъ. Поэтому мы думаемъ, что къ этому времени всего естественнѣе отнести небольшое стихотвореніе, проникнутое сознаниемъ, удовлетвореніемъ любви: „Я чувствую то, что чувствуютъ ангелы; шутя, я овладѣлъ ея сердцемъ; теперь она моя! Судьба, ты мнѣ дала это счастье; сдѣлай же такъ, чтобъ наше завтра было такое же, какъ и сегодня, и научи меня—быть ея достойнымъ!“ Въ декабрѣ Гете получилъ отъ сестеръ Бріонъ письмо, въ которомъ онѣ его приглашали пріѣхать къ празднику, чтобы вмѣстѣ съ ними украшать елку. Гете отвѣчалъ на это письмо слѣдующимъ стихотвореніемъ.

Я скоро-скоро буду съ вами!
И пусть морозомъ и снѣгами
Зима насъ въ комнатѣ запретъ—
Каминъ веселый насъ согрѣетъ
И сумракъ грезъ намъ навѣетъ,
А вѣтеръ пѣсни намъ споетъ.
Смѣясь и весело болтая
И изъ цвѣтовъ вѣнокъ сплетая,
Мы встрѣтимъ вмѣстѣ новый годъ.

Быстро, какъ очаровательный сонъ, пронеслись праздники, и въ началѣ января Гете былъ уже въ Страсбургѣ. Переписка между нимъ и Фридерикой продолжалась попрежнему и могла только способствовать укрѣпленію ихъ отношеній. По словамъ Гете, Фридерика и въ своихъ письмахъ, какъ и вездѣ, оставалась неизмѣнной. „Вездѣ она умѣла сообщить что-нибудь новое и интересное, посмѣяться надъ забавными происшествіями, умно что-нибудь описать, надъ инымъ призадуматься. Перо ея летало и носилось такъ же свободно, какъ она сама. Я съ своей стороны писалъ ей съ такимъ же увлеченіемъ. Мысль объ ея чудныхъ качествахъ увеличивала еще болѣе мою любовь къ ней въ часъ разлуки, такъ что чѣмъ дальше шла эта переписка, тѣмъ драгоценнѣе она для меня становилась“. Такъ какъ у Гёте, работавшаго надъ своей диссертацией, не оставалось времени для поѣздокъ въ Сессенгеймъ, то пасторша съ дочерьми, вѣроятно побуждаемая просьбами Фридерики, рѣшилась выполнить свое давнишнее намѣреніе погостить въ Страсбургѣ у богатыхъ родственниковъ. Говоря о пребываніи своихъ сессенгеймскихъ друзей въ Страсбургѣ, Гёте употребляетъ загадочное выраженіе, что это пребываніе было для него въ своемъ родѣ испытаніемъ. Повидимому, это испытаніе состояло, во-первыхъ, въ томъ, что самолюбіе Гёте страдало отъ мысли, что въ глазахъ страсбургскаго общества дѣвицы Бріонъ, въ своихъ простенькихъ національныхъ костюмахъ, казались деревенщиной въ сравненіи съ своими, одѣтыми по послѣдней модѣ, кузинами и, во вторыхъ, въ томъ что имъ самимъ было неловко и не уютно, и что Гёте, догадываясь объ этомъ, болѣлъ за нихъ душой. Въ особенности, сознаніе, что она является въ сравненіи съ кузинами простой крестьянкой, мучило старшую сестру; она скучала, видимо тяготилась своимъ пребываніемъ въ городѣ и торопила отъѣздомъ. Что до Фридерики, то она хоть и чувствовала себя не въ своей тарелкѣ, но отлично сумѣла справиться и съ собой и съ своимъ положеніемъ, была рѣзва, весела, неистощима въ придумываніи всякаго рода удовольствій и развлеченій. Замѣтивъ однажды, что общество начинаетъ скучать, Фридерика, можетъ быть отчасти побуждаемая, свойственнымъ всякой женщинѣ, желаніемъ показать свое вліяніе надъ мужчиной, попросила Гете прочесть вслухъ Гамлета, на что тотъ, конечно, изъявилъ согласіе. Вообще, по словамъ Гете, она въ этомъ чуждомъ обществѣ, повидимому, чувствовала себя также легко и свободно, какъ птичка среди зелени; когда же Гёте вздумалъ было похвалить ее за это, она очень мило отвѣчала, что онъ былъ

возлѣ нея и что слѣдовательно ей было все равно, быть-ли въ деревнѣ или въ городѣ.—Хотя это первое испытаніе для чувства Гёте прошло благополучно, и его возлюбленная нисколько не упала въ его глазахъ, тѣмъ не менѣе, когда семейство Бріонъ уѣхало, у Гёте, по его собственному выраженію, точно камень свалился съ сердца. По отъѣздѣ Фридерики, Гёте снова погрузился въ свои занятія, въ которыхъ юриспруденція чередовалась съ естественными науками и медициной. Онъ работалъ успѣшно, имѣя въ виду лучшую награду—свиданіе съ Фридерикой. Такъ прошло время до начала апрѣля. На послѣдней лекціи, передъ Святой, профессоръ Эрманнъ посовѣтовалъ своимъ слушателямъ воспользоваться нѣсколькими свободными днями и освѣжиться путешествіемъ по окрестностямъ Страсбурга. Гёте счелъ эти слова за предписаніе свыше, взялъ верховую лошадь и въ тотъ же день поскакалъ въ Сессенгеймъ. Какимъ чувствомъ было полно его сердце, это всего лучше видно изъ слѣдующаго стихотворенія, которое мы приводимъ въ прекрасномъ переводѣ Каткова:

Коня скорѣе—сердце бьется!
И на конѣ помчался я.
Ужъ ночь на высахъ горъ снуется,
Въ объятыхъ вечера земля,
И вѣтви дубъ распростирая,
Какъ исполинъ во мглѣ стоитъ.
И изъ-за листьевъ мгла густая.
Глазами черными глядитъ.
Весь окруженный облаками,
Печально мѣсяцъ внизъ смотрѣлъ.
И вѣтеръ тихими крылами
Мнѣ въ уши жалобно свистѣлъ.
И стая призраковъ ходила—
Но чувства веселы мои,
Въ моей груди какая сила!
Какой огонь въ моей крови!

Гёте не успѣлъ предупредить Фридерiku о своемъ прѣѣздѣ, но чуткое сердце любящей дѣвушки предчувствовало это радостное событіе, такъ что когда Гёте вошелъ въ комнату, онъ явственно слышалъ, какъ Фридерика сказала на ухо сестрѣ: не правду-ли я говорила? Вотъ и онъ! На праздники въ Сессенгеймъ съѣхалось не мало гостей. Время проводили весело, гуляли, играли въ фанты, танцевали. Вдохновенной любовью къ Фридерикѣ, Гёте былъ душой общества. „Возлѣ Фридерики“, говоритъ онъ, „я былъ безконечно счастливъ, разговорчивъ, остеръ, предупредителенъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, сдержанъ чувствомъ любви и ува-

женія къ ней. Повидимому, мы принимали участіе въ общемъ весельѣ, но, въ сущности, видѣли только другъ-друга“. Прелести веселой природы, близость любимой женщины, сознаніе, что онъ любить,—всё это вызвало въ душѣ Гёте ликующее настроеніе, которое не замедлило найти себѣ выраженіе въ поэзіи. Вотъ одно изъ Сессенгеймскихъ стихотвореній. Гёте, которое можно назвать восторженнымъ гимномъ веснѣ, любви и красотѣ:

О, какъ ликуеть Весь міръ вокругъ! Какъ ярко солнце! Какъ зеленъ лугъ!	Любовь волшебна Смѣется намъ. Такъ тучка таетъ, Прильнувъ къ горамъ.
—	—
Цвѣты пестрѣютъ Въ лѣсу, въ поляхъ, И сотни пѣсень Звучать въ кустахъ.	Тебѣ о другъ мой, Мои мечты! Какъ взоръ твой блещетъ, Какъ любишь ты!
—	—
О радость, нѣга! Восторгъ, мечта! О небо, солнце! О красота!	Такъ любить птичка Тѣнистый лѣсъ, Цвѣтокъ такъ любитъ Лазурь небесъ!

На этотъ разъ Гёте прогостилъ въ Сессенгеймѣ довольно долго, отъ половины апрѣля до конца мая. Хотя онъ не дѣлалъ формальнаго предложенія Фридерикѣ, но общее мнѣніе давно считало ихъ женихомъ и невѣстой. Безусловно вѣря въ честныя намѣренія Гёте, родители Фридерики смотрѣли сквозь пальцы на ихъ прогулки вдвоемъ, на ихъ все возрастающую короткость. Къ тому могъ подумать, глядя на влюбленнаго поэта и сіяющую счастьемъ Фридериду, что этому счастью скоро настанетъ конецъ? А между тѣмъ этотъ печальный конецъ уже готовился. Въ то время, когда Гёте въ своихъ стихотвореніяхъ воспѣвалъ блаженство раздѣленной любви, повидимому, наполнявшее все существо его, въ письмахъ къ товарищамъ по временамъ слышались горькія ноты; онѣ показываютъ, что на чистомъ небосклонѣ его любви то тамъ, то сямъ мелькаютъ облака, не предвѣщающія ничего добраго. Хуже всего, что эти облака идутъ изъ собственной души поэта, которая оказалась неспособной отдаться вполне выпавшему на его долю счастью. „Состояніе моего сердца“,—писалъ Гёте Зальцманну изъ Сессенгейма,—довольно странное. Прелестная мѣстность, люди меня любящіе, цѣлый вѣнокъ радостей... Развѣ сны твоего дѣтства не сбылись?—спрашивалъ я самого себя. Развѣ ты теперь не обитаешь въ саду феи, о которомъ ты

мечталъ? Увы! все это такъ, мой другъ, но при всемъ томъ я чувствую, что человѣкъ не дѣлается ни на волосъ счастливѣе, когда онъ достигаетъ желаемого. Всегда есть придатокъ, который судьба привѣшиваетъ ко всякому счастью. Милый другъ, нужно много бодрости, чтобы не впасть въ уныніе въ этомъ мірѣ“. Биографы Гёте потратили не мало труда и остроумія, чтобы выяснить, что разумѣлъ онъ подъ словомъ придатокъ. Дюнцеръ думаетъ, что здѣсь разумѣется неспособность Гёте къ тихому семейному счастью, которымъ должна была увѣнчаться любовь его къ Фридерикѣ; по Шефферу—это неуверенность, что любовь къ Фридерикѣ могла наполнить собой всю жизнь гениальнаго поэта. Лейзеръ понимаетъ придатокъ въ смыслѣ сознанія противорѣчій между идеаломъ и дѣйствительностью, а Фиговъ въ смыслѣ измѣны самому себѣ и своему высокому призванію. По нашему мнѣнію ближе всѣхъ подошелъ въ данномъ случаѣ къ истинѣ биографъ Фридерики, Люціусъ, который объясняетъ жалобы Гёте на судьбу такъ, что ему необходимо было, во что бы то ни стало, рѣшить вопросъ о женитьбѣ и сдѣлать формальное предложеніе Фридерикѣ, котораго давно ожидали ея родные и въ особенности она сама.—Это объясненіе представляется весьма вѣроятнымъ. Не нужно упускать изъ виду, что Гёте въ то время было всего двадцать два года, что онъ мечталъ о свободѣ, славѣ и всего менѣе желалъ связать себя женитьбой. Пылкій и увлекающійся, онъ относился къ вопросу любви довольно легкомысленно, влюблялся и разочаровывался по нѣскольку разъ въ годъ. Онъ искренно увлекся Фридерикой, и это увлеченіе было, можетъ быть, сильнѣе всѣхъ предыдущихъ, но, добиваясь ея любви, наслаждаясь настоящимъ мгновеніемъ, онъ едва ли въ то время думалъ серьезно о нравственной отвѣтственности, налагаемой на мужчину возбужденнымъ имъ чувствомъ. Переходъ изъ роли обожателя въ роль жениха былъ для него не совсѣмъ пріятнымъ пробужденіемъ. Онъ зналъ, что ему предстоитъ по этому поводу выдержать сильную борьбу съ семейнымъ началомъ, потому что его отецъ, гордый франкфуртскій патрицій, никогда не согласится на бракъ многообѣщающаго сына съ дочерью бѣднаго сельскаго священника. Но этого мало. Съ вопросомъ о женитьбѣ на Фридерикѣ стоялъ въ тѣсной связи вопросъ о средствахъ для поддержанія будущей семьи; приходилось отказаться отъ блестящихъ литературныхъ плановъ и искать себѣ выгоднаго мѣста, такъ какъ на помощь со стороны отца рассчитывать было нечего... Вся эта житейская проза навела на юнаго поэта такое уныніе, что въ

письмѣ къ одной пріятельницѣ, писанномъ 25 іюня 1771 г., онъ завидуешь тому, у кого въ сердцѣ свободно, и осуждаетъ любовь за то, что она лишаетъ человѣка свободы дѣйствій. Бѣдная Фридерика ничего не подозрѣвала, что происходитъ въ сердцѣ ея возлюбленнаго; она наслаждалась настоящимъ и, разъ отдавши свое сердце Гете, не могла представить себѣ будущаго безъ него.— Чѣмъ сладостнѣе были ея надежды, тѣмъ горестнѣе разочарованіе. Защитивъ въ началѣ августа свою диссертацию, Гете передъ отъѣздомъ домой во Франкфуртъ, отправился въ Сессенгеймъ проститься съ Фридерикой. „Я не могъ—говоритъ онъ—отказать себѣ въ счастіѣ еще разъ видѣть ее передъ отъѣздомъ. Слезы сверкали въ ея глазахъ, когда я ей протянулъ въ послѣдній разъ руку, уже сидя верхомъ на лошади, да и у меня самого было тяжело на сердцѣ“. Должно думать, что, уѣзжая, Гете не порвалъ съ Фридерикой, но скорѣе далъ ей надежду уладить дѣло. Какъ отнеслись родители къ предполагаемой женитьбѣ сына, пришлось ему выдержать сильную борьбу съ отцомъ или, не имѣя серьезнаго намѣренія жениться, онъ и не вступалъ въ борьбу,—объ этомъ источники молчатъ. Извѣстно только, что изъ Франкфурта Гете написалъ Фридерикѣ письмо, сразу разрушившее всѣ ея надежды. Біографамъ Гете приходится прибѣгать къ софизмамъ, чтобы оправдать въ этомъ случаѣ его поведеніе; они говорятъ, что любовь Гете была не особенно сильна, и что поэтому съ его стороны было честнѣе разорвать съ Фридерикой теперь, чѣмъ послѣ свадьбы. Къ чести Гете нужно сказать, что онъ не прибѣгалъ къ подобнымъ уловкамъ и безповоротно призналъ себя виновнымъ. „Отвѣтъ Фридерики“—говоритъ онъ,—„на мое прощальное письмо растерзалъ мое сердце. Тутъ только я увидѣлъ въ первый разъ, какъ тяжело было ей меня потерять, и почувствовалъ полную невозможность не только исправить сдѣланное зло, но даже его облегчить. Она стояла передъ мною, какъ живая. Постоянно я чувствовалъ, что мнѣ ее не доставало и, что всего хуже, я не могъ простить себѣ моего собственнаго несчастья. Гретхенъ у меня отняли, Аннета меня покинула; здѣсь же въ первый разъ въ жизни вина за разлуку падала на меня самого. Я нанесъ глубокую рану прекраснѣйшему сердцу—и мысль объ этомъ, при недостаткѣ освѣжающаго вліянія другой любви, отравляла мнѣ жизнь горькимъ раскаяніемъ, дѣлая ее почти невыносимой“. Описанныя здѣсь чувства нашли себѣ поэтическое выраженіе въ стихотвореніи, начинающемся словами: „So hab' Ich wirklich dich verloren?“

Такъ я на-вѣкъ тебя утратилъ?
Иль ты ко мнѣ вернешься вновь?
Все слышу я твои напѣвы,
Все помню я твою любовь!
Какъ странникъ бодрый раннимъ утромъ
Напрасно въ высь небесъ глядитъ,
Когда въ волнахъ лазури ясной
Надъ нимъ пѣвецъ весны звучитъ,—
Такъ я, бродя въ лѣсахъ, въ долинахъ,
Бросая робкій взглядъ вокругъ,
Тебя зову я каждой пѣсней,
Вернись, вернись ко мнѣ, мой другъ!

Гёте назвалъ свои отношенія къ Фридерикѣ сессенгеймской идилліей. Увы! Это была идиллія только для него одного; для Фридерики это была настоящая жизненная драма, изъ которой она вышла съ разбитымъ сердцемъ и потрясеннымъ здоровьемъ. Разрывъ съ Гёте стоилъ ей сильнаго нервнаго расстройства, которое разрѣшилось меланхоліей. По цѣлымъ днямъ она сидѣла въ своей комнатѣ, плакала, не говорила ни слова. „Когда до меня“, пишетъ Гёте въ своей Автобіографіи, „дошла вѣсть о страданіяхъ Фридерики, я, по своему старому обычаю, сталъ искать утѣшенія въ поэзіи. Мое поэтическое покаяніе проявилось съ новой силой, и съ пламенной надеждой я искалъ получить прощеніе помощью этого добровольнаго самобичеванія. Обѣ Маріи въ Гецѣ фонѣ Берлихингенѣ и въ Клавиго, равно какъ и характеръ недостойныхъ ихъ любовниковъ, были плодами тогдашняго покаяннаго расположенія моего духа“. Прося Зальцмана переслать экземпляръ Геца Фридерикѣ, Гёте прибавляетъ: „Пусть бѣдная Фридерика немного утѣшится тѣмъ, что измѣникъ Вейслингенъ отравленъ“.

Прошло около года. Фридерика уже начала понемногу оправляться отъ своей меланхоліи, хотя ея сердечная рана далеко не зажила. Весной 1772 г. въ Сессенгеймъ пріѣхалъ пріятель Гёте, молодой поэтъ Ленцъ. Слышавъ еще въ Страсбургѣ печальную исторію Фридерики, онъ при свиданіи отнесся къ ней съ самымъ искреннимъ участіемъ. Подъ нѣжными лучами этого участія растаяло сердце Фридерики, и она сама рассказала Ленцу исторію своей любви къ Гёте. Нѣжную и поэтическую натуру Ленца поразила глубина ея любви и трагическая красота ея страданія. Отъ души жалѣя Фридерiku, онъ всячески старался ободрить ее, поднять ея духъ, вдохнуть въ ея увядающее сердце надежду.—Онъ сумѣлъ увѣрить Фридерiku, что хорошо знаетъ Гёте, что послѣд-

ній не могъ поступить съ ней такъ жестоко, что тутъ кроется простое недоразумѣніе, которое нужно разъяснить, и Гёте снова будетъ у нея ногъ, въ особенности, если узнаетъ, какъ она страдаетъ. Съ этой цѣлью онъ написалъ своему собрату по Аполлону письмо, гдѣ были описаны подробно всѣ страданія Фридерики и приложилъ къ ему нѣсколько стихотвореній. Въ одномъ изъ этихъ стихотвореній находится трогательное описаніе покинутой своимъ возлюбленнымъ дѣвушки, въ которой нетрудно узнать Фридерiku:

Въ унылой комнаткѣ своей
Она жила, полна страданья,
Полна о немъ воспоминанья...
Всегда стоялъ онъ передъ ней,
И только мракъ ночной спускался,
Онъ въ грѣзахъ сна предъ ней являлся.
Когда же солнце вновь блеснетъ,
Она сидитъ, о немъ мечтаетъ
И косы русыя сплетаетъ,
Какъ будто онъ опять придетъ.
И все поетъ и все смѣется,
Какъ будто онъ назадъ вернется!

Хотя изъ посредничества Ленца, какъ и слѣдовало ожидать, ничего не вышло, но его участіе принесло свою долю пользы: онъ ободрилъ Фридерiku, вселилъ въ ея душу надежду. Фридерика была глубоко благодарна Ленцу за его участіе, была съ нимъ откровенна, какъ съ братомъ, тѣмъ болѣе что Ленцъ былъ единственнымъ человѣкомъ въ домѣ, который еще вѣрилъ въ Гёте и съ которымъ можно было говорить о немъ. Но тутъ вышло печальное недоразумѣніе; чѣмъ ближе узнавалъ Ленцъ Фридерiku, тѣмъ она казалась ему привлекательнѣе; онъ кончилъ тѣмъ, что самъ влюбился въ нее и употреблялъ всѣ усилія, чтобъ ей поправиться. Весьма возможно также, что его болѣзненному самолюбію была отрадна мысль занять въ сердцѣ Фридерики мѣсто, которое занималъ Гёте. Плохо зная женское сердце, Ленцъ, съ свойственнымъ ему самообольщеніемъ, принялъ благодарность, которую выказывала ему Фридерика, за болѣе нѣжное чувство, и сдѣлалъ ей формальное предложеніе. Отвергнутый ею, онъ впалъ въ отчаяніе; біографы его увѣряютъ, что эта несчастная любовь положила начало психическому разстройству, которое впоследствии довело его до сумасшествія. Черезъ нѣсколько лѣтъ (зимой 1777 г.) онъ снова появился въ Сессенгеймѣ, снова объяснялся въ любви, рыдалъ, рвалъ на себѣ волосы, покушался на

самоубійство и былъ отвезенъ въ больницу для душевно-больныхъ въ Страсбургъ.

Все это рассказывала Гёте сама Фридерика, когда онъ посѣтилъ ее въ сентябрѣ 1779 г. Это было ихъ послѣднее свиданіе. Гёте былъ тогда важнымъ сановникомъ и другомъ веймарскаго герцога. Проѣзжая вмѣстѣ съ нимъ черезъ Страсбургъ въ Швейцарію, Гёте не могъ устоять противъ желанія увидать еще разъ Фридерикю. Онъ описалъ это свиданіе въ письмѣ къ своей веймарской пріятельницѣ г-жѣ фонъ - Штейнъ. Изъ письма этого видно, что Фридерика держала себя по отношенію къ Гёте съ большимъ достоинствомъ и тактомъ, и что всѣ ея старанія были направлены къ тому, чтобы снять послѣднюю тяжесть съ души своего возлюбленнаго. „25 сентября“, пишетъ Гёте, „я сдѣлалъ экскурсію въ сторону; въ Сессенгеймѣ я посѣтилъ одну семью, съ которой я разстался восемь лѣтъ тому назадъ. Я былъ принятъ дружески и радушно.—Меньшая дочь хозяина нѣкогда любила меня больше, чѣмъ я заслуживалъ, во всякомъ случаѣ гораздо болѣе тѣхъ, для которыхъ я расточалъ столько страсти и постоянства. Я принужденъ былъ оставить ее въ ту минуту, когда это могло ей стоить жизни. Она слегка коснулась этого пункта, насколько онъ имѣлъ отношеніе къ ея послѣдней болѣзни; вообще, она держала себя по отношенію ко мнѣ съ такой дружеской сердечностью, что я чувствовалъ себя совсѣмъ хорошо. Я долженъ отдать ей справедливость, что она не сдѣлала ни малѣйшей попытки воскресить въ моемъ сердцѣ прежнее чувство. Она повела меня по всѣмъ бесѣдкамъ; я долженъ былъ посидѣть въ каждой, и мнѣ было хорошо. Переночевавъ въ Сессенгеймѣ, я уѣхалъ на другое утро“. Послѣдствіемъ этого свиданія было возобновленіе переписки между Гёте и Фридерикой: по крайней мѣрѣ въ дневникѣ Гёте подъ 30 марта 1780 стоитъ слѣдующая краткая замѣтка: получено доброе письмо отъ Фридерики. Это письмо заканчиваетъ собою всѣ извѣстныя намъ личныя отношенія между Фридерикой и Гёте, но встрѣча съ ней не прошла безслѣдно для творчества Гёте: образъ тоскующей и безропотной Фридерики стоялъ передъ его глазами, когда онъ писалъ Геца и Клавиго, и въ лучшихъ женскихъ характерахъ, имъ созданныхъ, напримѣръ, въ Кларѣ и Гретхенъ, критики не напрасно ищутъ сходства съ Фридерикой. Замѣчательно, что одновременно съ послѣднимъ добрымъ письмомъ, писаннымъ ею къ Гёте, она получила письмо, которымъ закончились ея отношенія къ Ленцу. Письмо это, писанное изъ Россіи, куда по выздоровленіи отпра-

вился искать счастья Ленцъ, получено 27 марта 1780. Оно чисто дружескаго характера и подписано: любящій васъ всей душой братъ Ленцъ.

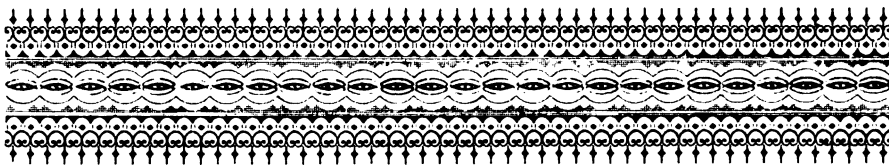
Фридерика не хотѣла выходить замужъ, хотя, благодаря ея красотѣ у ней не было недостатка въ женихахъ. Всѣмъ искателямъ ея руки она отвѣчала тоже, что отвѣчала и Ленцу: „сердце, полюбившее Гете, никому ужъ принадлежать не можетъ“. Послѣ смерти стариковъ Бріонъ, ихъ Сессенгеймскій домъ былъ проданъ, и Фридерика вмѣстѣ съ меньшей сестрой Софьей поселилась сначала у брата Христіана, пастора въ Ротау, а послѣ смерти своей старшей сестры Саломеи, бывшей замужемъ за пасторомъ Маркомъ въ Мейссенгеймѣ, близъ Кобленца; она переѣхала туда и посвятила остатокъ дней своихъ воспитанію ея единственной дочери. Закатъ ея жизни былъ такъ же прекрасенъ, какъ и начало. Она была добрымъ геніемъ всего околodka, но въ особенности ее любили дѣти. Самымъ драгоцѣннымъ сокровищемъ ея внутренняго міра было воспоминаніе объ ея первой и единственной любви. Меньшая сестра ея Софья рассказываетъ, что никогда слово укорины не слетало съ устъ ея. Гете продолжалъ попрежнему быть ея единственнымъ кумиромъ, и за доставленныя ей немногія счастливыя минуты она была ему благодарна всю жизнь. Когда кто-нибудь изъ окружающихъ дѣлалъ иногда горькій намекъ на легкомысліе и эгоизмъ ея кумира, она скромно отвѣчала, что Гете былъ слишкомъ великъ, и карьера его слишкомъ блестяща, чтобы они могли идти рука объ руку. Чуждая всякаго тщеславія, она не хотѣла, чтобы потомство занималось ею и, чувствуя приближеніе смерти, сожгла всѣ имѣвшія у нея письма Гете. Она умерла въ Мейссенгеймѣ на шестьдесятъ первомъ году своей жизни, оплаканная всѣми, кто только зналъ ее. Неизвѣстно, какъ встрѣтилъ извѣстіе объ ея смерти Гете, тогда готовившій къ изданію свою Автобіографію, но едва-ли можно сомнѣваться въ томъ, что воспоминаніе о ней было всегда живо въ его сердцѣ. Секретарь Гете, Крейтеръ, которому онъ за два года передъ этимъ диктовалъ Поззію и Правду, рассказываетъ, что когда они дошли до эпизода съ Фридерикой, великій поэтъ часто останавливался отъ волненія, прекращалъ диктовку, глубоко вздыхалъ и потомъ снова глухимъ голосомъ продолжалъ диктовать. Фридерика похоронена на Мейссенгеймскомъ кладбищѣ, на востокъ отъ церкви. Въ 1866 г. былъ ей воздвигнутъ по подпискѣ памятникъ, въ которомъ принимали участіе своими пожертвованіями и русскіе люди; тогда же на ея могилу была положена

мраморная плита съ слѣдующей многознаменательной надписью, сочиненной поэтомъ Эккардтомъ, въ которой въ двухъ стихахъ прекрасно выражена судьба несчастной счастливцы:

Ein Strahl der Dichtersonne fiel auf sie
So reich dass er Unsterblichkeit ihr lieh.
Лучъ генія ея такъ ярко озарилъ,
Что ей безсмертье подарилъ.—

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ смерти Фридрики, Гете издалъ въ свѣтъ свою Поэзію и Правду, гдѣ воздвигъ ей вѣчный нерукотворный памятникъ. Благодаря ему, Фридрика навсегда останется въ памяти потомства, какъ идеальная представительница того вѣчно-женственного начала, das ewig weibliche, которое, по выраженію Гете, никогда не перестанетъ привлекать къ себѣ сердца людей.





Госпожа Сталь и ея друзья.

Посвящается О. И. П—ой.

—*Adolf Strodtmann*: Frau von Staël und Benjamin Constant nach bisher ungedruckten Briefen derselben geschildert (въ еро Dichterprofile. Zweiter Band. Stuttgart, 1879.

—*Lettere inedite del Foscolo, del Giordani e della Signora di Staël a Vincenzo Monti*. Livorno, 1876.

Свѣдѣнія о жизни Сталь въ послѣднее время обогатились новыми данными, проливающими новый свѣтъ на интересную личность французской писательницы и на отношенія ея къ нѣкоторымъ современнымъ литературнымъ знаменитостямъ. Хотя о Сталь писано много, но личность ея далеко не разъяснена вполне, а многіе уголки въ ея жизни остаются до сихъ поръ темными. Старинная и лучшая біографія Сталь, написанная ея близкой родственницей, г-ой Неккеръ-де-Соссюръ *), не можетъ быть названа въ строгомъ смыслѣ слова біографіей, во-первыхъ, потому что г-жа Неккеръ-де-Соссюръ не держится хронологическаго способа изложенія, а располагаетъ свой матеріалъ по произвольнымъ, ею же самою придуманнымъ, рубрикамъ (напр., *vie domestique et sociale de m-me de Staël, relations de choix, société et conversation* и т. п.), при чемъ, разумѣется, всѣ эпохи въ жизни Сталь перемѣшаны; во-вторыхъ, —и это самое главное,—сообщая много данныхъ для характеристики Сталь, рассказывая подробно объ ея воспитаніи, привычкахъ, занятіяхъ, г-жа Неккеръ-де-

*) *Notice sur le caractère et les écrits de m-me Staël* обыкновенно предпосылается въ новѣйшихъ изданіяхъ собственнымъ Мемуарамъ Сталь, носящимъ заглавіе: „Dix années d'Exil“.

Соссюръ касается вскользь и притомъ весьма осторожно ея интимной жизни, ея отношеній къ мужу, а на *relations de choix* набрасываетъ непроницаемый покровъ. Такая сдержанность станетъ намъ понятна, если мы вспомнимъ, что г-жа Неккеръ-де-Соссюръ писала свои записки о жизни Сталь по просьбѣ ея дѣтей и всего черезъ два года послѣ ея смерти. Странно, что той же системы умолчанія держатся до сихъ поръ родственники Сталь, герцоги де-Брольи *), къ которымъ, по смерти ея сына Огюста, перешли всѣ ея бумаги. На всѣ предложенія издать хранящуюся у нихъ обширную переписку Сталь они отвѣчали категорическимъ отказомъ, а когда въ 1844 г. газета „*Presse*“ стала печатать письма Бенжамэнъ-Констана, близкаго друга ихъ знаменитой родственницы, они, боясь разоблаченій, наложили на печатаніе свое veto. Процессъ съ газетою „*Presse*“, надѣлавшій въ свое время не мало шума въ Парижѣ, надолго отбилъ охоту у издателей печатать что-либо относящееся до интимной жизни Сталь. Двѣнадцатилѣтнее безмолвіе, послѣдовавшее за этимъ процессомъ, было нарушено статьей Жефруа: „*M-me de Staël, ambassadrice de Suède*“ (*Revue des Deux-Mondes*, 1856, 1 Août), гдѣ на основаніи документовъ, извлеченныхъ авторомъ статьи изъ шведскихъ архивовъ, разсказана очень подробно исторія сватовства шведскаго посланника Сталя за дочь Неккера и приведено нѣсколько писемъ ея къ шведскому королю Густаву III. Годъ три спустя, вышла въ свѣтъ книга г-жи Ленорманъ, внучки m-me Рекамье: „*Souvenirs et correspondance, tirés des papiers de m-me Recamier*“; значительная часть этой книги посвящена отношеніямъ Рекамье къ Сталь, при чемъ было приложено нѣсколько писемъ Сталь. Интересъ, возбужденный въ публикѣ личностью знаменитой писательницы, побудилъ г-жу Ленорманъ издать въ свѣтъ, съ дозволенія родственниковъ Сталь, переписку ея съ герцогиней Луизой Саксенъ-Веймарской **), сохранившуюся въ герцогскомъ архивѣ въ Веймарѣ. Въ слѣдующемъ году была обнародована Сенъ-Рене-Талландье переписка Сисмонди съ графиней Альбани заключающая въ себѣ не мало разоблаченій касательно отношеній Сталь въ Б. Констану ***). Къ общему удивленію, изданіе этой переписки не

*) Дочь Сталя была замужемъ за герцогомъ де-Брольи, отцомъ извѣстнаго министра de l'ordre moral.

**) *Madame de Staël et la Grande-Duchesse Louise, par l'auteur des Souvenirs de m-me Recamier*. Paris, 1862.

***) *Lettres inédites à m-me Albany avec une introduction de Saint-René-Taillandier*. Paris, 1863.

встрѣтило протеста со стороны родственниковъ Сталь, хотя мужъ ея дочери, старый герцогъ де-Брольи, былъ еще живъ. Ободренная примѣромъ Талландье, редакція „Revue Moderne“ (мартъ и май, 1898) рискнула напечатать интимныя письма Б. Констана къ Форіэлю, а Сень-Бевъ разсказалъ съ свойственнымъ ему изяществомъ романической эпизодъ изъ жизни Сталь, основанный на неизданныхъ письмахъ ея къ Камиль Жордану ²⁾. Если мы ко всему этому присоединимъ изданія, поставленныя въ заголовкѣ нашей статьи, то получимъ значительный запасъ біографическихъ данныхъ, совершенно достаточный для того, чтобы оправдать задуманную нами попытку сдѣлать посильную характеристику нравственной личности Сталь и обрисовать отношенія ея къ нѣкоторымъ замѣчательнымъ лицамъ, игравшимъ важную роль въ ея жизни. Слѣдуя біографическому способу изложенія, какъ самому пригодному для нашей цѣли, мы напередъ заявляемъ, что едва упомянемъ о многихъ общеизвѣстныхъ фактахъ жизни Сталь, но зато съ тѣмъ большей подробностью остановимся на нѣкоторыхъ эпизодахъ, обыкновенно оставляемыхъ въ тѣни прежними ея біографами и которые ярко освѣщаются вновь изданными документами. Что до сочиненій Сталь, то мы ихъ коснемся настолько, насколько это необходимо для нашей главной цѣли.

I.

Анна-Марія Сталь—дочь Неккера, извѣстнаго министра финансовъ при Людовикѣ XVI. Отецъ ея, философъ, доктринеръ и страстный поклонникъ государственныхъ учрежденій Англіи, пользовался нѣкоторою извѣстностью, какъ писатель ³⁾. Мать ея, урожденная m-lle Кюршѳ, считалась одной изъ образованнѣйшихъ женщинъ своего времени. Она была швейцарка, дочь кальвинистскаго пастора изъ одной деревеньки близъ Лозанны, воспитавшаго ее въ принципахъ пуританскаго ригоризма. Достигши двадцатилѣтняго возраста, дѣвица Кюршѳ славилась на весь кантонъ своимъ умомъ и красотою; ее не иначе называли какъ la belle Curchod. Встрѣтивъ ее однажды въ обществѣ, юный Гиббонъ, проживавшій иногда въ Лозаннѣ, написалъ въ своемъ

*) Статья С.-Бёва Camille Jordan et m-me de Staël, была первоначально помещена въ *Revue des Deux-Mondes* (1868, 1 Mars), а потомъ перепечатана въ 12-мъ томѣ его „Nouveaux Lundis“.

**) См. характеристику литературной дѣятельности Неккера у С.-Бёва въ „Causeries des Lundis“, vol. VII.

дневникъ слѣдующее: „Я видѣлъ m-lle Кюршѡ. Omnia vincit amor, et nos cedamus amori“ (любовь все побѣждаетъ, и я склоняюсь передъ ея могуществомъ). Въ своей Автобіографіи, писанной позднѣе, Гиббонъ распространяется объ этой встрѣчѣ подробно. „Отецъ m-lle Кюршѡ далъ своей дочери весьма солидное образованіе. Своими успѣхами въ наукахъ и въ изученіи иностранныхъ языковъ она превозошла его ожиданія. Когда она появилась изрѣдка въ Лозанну, ея умъ, красота и ученость были предметомъ всеобщихъ восторговъ. Естественно, что рассказы о такомъ феноменѣ должны были возбудить мое любопытство: я увидѣлъ ее—и полюбилъ. Я нашелъ въ ней дѣвушку ученую, но безъ претензій, съ изящными манерами, способную оживлять разговоръ,—и это первое впечатлѣніе только утвердилось во мнѣ при болѣе близкомъ знакомствѣ. Она позволила мнѣ навѣстить ее въ домѣ ея отца. Я провелъ нѣсколько пріятныхъ дней въ ихъ домѣ и убѣдился, что и родные ея благопріятствовали нашему сближенію“. Судя по этому началу, можно заключить, что мы не далеки отъ обычной развязки романа, но наши заключенія будутъ преждевременны. У Гиббона былъ богатый отецъ, который зорко слѣдилъ за сыномъ и, узнавши всю эту исторію, немедленно вызвалъ сына въ Англію и запретилъ ему и думать о швейцарской безприданницѣ. Молодые люди встрѣтились нѣсколько лѣтъ спустя въ Парижѣ, когда m-lle Кюршѡ была уже m-me Неккеръ. Бракъ m-lle Кюршѡ съ Неккеромъ, заключенный по любви, былъ однимъ изъ самыхъ счастливыхъ. Семейное счастье Неккеровъ еще болѣе упрочилось рожденіемъ у нихъ (въ апрѣлѣ 1766 г.) дочери Анны-Маріи, будущей m-me Сталь. Отецъ и мать души не чаяли въ своей единственной дочери и дали ей не только блестящее, но и солидное образованіе. Такъ какъ Неккеръ былъ поглощенъ государственными дѣлами и рѣдко бывалъ дома, то заботы о воспитаніи дочери всецѣло взяла на себя мать. М-me Неккеръ занималась съ дочерью весьма усердно, наполняла ея юную головку самыми разнообразными свѣдѣніями, но преимущество заботилась о томъ, чтобы внѣдрить въ сердце дочери твердыя нравственныя правила. Руководясь въ жизни идеей нравственнаго долга, привыкши съ дѣтства подавлять свои чувства во имя нравственныхъ принциповъ, m-me Неккеръ того же требовала отъ своей живой и впечатлительной дочери. Упустивъ изъ виду, что только любовью можно подчинить себѣ такую живую и гордую натуру, она являлась передъ дочерью не иначе, какъ наставницей, во всеоружіи родительскаго

авторитета. Результатомъ такой ложной системы было нѣкотораго рода отчужденіе, которое съ раннихъ поръ вкралось въ ихъ взаимныя отношенія. Видя въ матери строгую наставницу, рѣзко осуждавшую самыя невинныя проявленія ея живаго и рѣзкаго характера, дочь перенесла всѣ свои симпатіи на отца, ставшаго съ тѣхъ поръ ея единственнымъ кумиромъ. Да и какъ ей было не любить отца, который былъ ея другомъ и товарищемъ ея игръ, и въ которомъ въ случаѣ нужды она находила защиту противъ суровой дисциплины матери. По своему общественному положенію, супруги Неккеръ должны были жить открыто, держать, какъ тогда говорилось, салонъ, куда сходились въ опредѣленный день всѣ литературныя знаменитости того времени. Тутъ можно было встрѣтить Бюффона, Мармонтеля, Дидро, Рейналя, Даламбера и неизбѣжнаго барона Гримма. Современники оставили описаніе салона Неккеровъ, тона тамъ господствовавшего, а также и характеристику самой хозяйки. Странное впечатлѣніе должна была производить на парижанъ эта чопорная, сдержанная, но замѣчательно умная и образованная пуританка. Скептическій аббатъ Галіани просто не могъ выносить ея добродѣтельной мины. Болѣе благосклонный наблюдатель, Мармонтель, отдавая должное уму, образованію и высокимъ нравственнымъ качествамъ m-me Неккеръ, находилъ, что манеры ея не достаточно изящны для свѣтской женщины, мужъ которой занималъ такое высокое общественное положеніе. По свидѣтельству аббата Морелье, разговоръ въ салонѣ у Неккеровъ велся весьма живо и занимательно, хотя собесѣдники нѣсколько стѣснялись личностью хозяйки дома, въ присутствіи которой нѣкоторые вопросы не могли быть затронуты, въ особенности вопросы религіозные; зато въ вопросахъ литературныхъ господствовала полная свобода мнѣній; нерѣдко сама хозяйка принимала живое участіе въ преніяхъ и говорила очень хорошо. Во время преній Неккеръ обыкновенно сидѣлъ въ сторонѣ, внимательно слушая мнѣнія другихъ, и изрѣдка позволяя себѣ вставлять замѣчанія, которыя поражали своей мѣткостью и здравымъ смысломъ. Въ 1780—81 годахъ, когда Неккеръ былъ впервые призванъ къ управленію финансами Франціи, на его литературныхъ вечерахъ постоянно присутствовала его 14—15-лѣтняя дочь, дѣвочка съ необыкновенно-подвижной фізіономіей и бойкими, умными глазами. Она занимала свое абонированное мѣсто—табуретъ возлѣ кресла матери и, едва начинались пренія, вся превращалась въ слухъ. „Нужно было видѣть,—рассказываетъ m-me Ролье, бывшая сама въ числѣ гостей—какъ



она слушала! Хотя она не раскрывала рта, но со стороны казалось, будто она тоже принимала участіе въ разговорѣ—до такой степени ея подвижныя черты дышали одушевленіемъ!“ Повидимому, ее интересовало все, даже политическіе вопросы, которые въ то время получили уже право гражданства въ салонахъ. Чтеніе, бесѣды съ нѣжно-любимымъ отцомъ, который не скучалъ по цѣлымъ часамъ толковать съ своей любимицей, засыпавшей его самыми разнообразными вопросами, наконецъ, постоянное присутствіе на литературныхъ вечерахъ,—все это способствовало необыкновенно быстрому развитію даровитаго ребенка, въ умѣ котораго были слиты два качества, рѣдко встрѣчающіяся вмѣстѣ—способность къ энтузіазму и экзальтаціи и способность къ анализу подробностей. Когда въ 1781 г. Неккеръ издалъ свой знаменитый финансовый отчетъ (*Compte rendu*), пятнадцатилѣтняя дочь написала ему анонимное письмо, въ которомъ провѣряла всѣ его выводы и высказала свои замѣчанія. Разумѣется, Неккеръ тотчасъ же узналъ слогъ и почеркъ своей любимицы. Въ томъ же году она сдѣлала извлеченіе изъ *Духа Законовъ* Монтескье, присоединивъ къ извѣщенію свои собственныя размышленія. Это раннее развитіе, эти усиленные занятія не замедлили вредно отразиться на ея здоровьѣ; доктора запретили ей занятія и посоветовали родителямъ отправить ее въ С.-Уанъ, близъ Парижа, гдѣ Неккеры имѣли помѣстье.

Лишенная возможности учиться, молодая дѣвушка съ жаромъ принялась за чтеніе и, блуждая по рощамъ С.-Уана, перечитала множество романовъ. Любимыми ея авторами были въ то время Ричардсонъ и Руссо. Легко себѣ представить, какъ повліяли произведенія названныхъ писателей на эту и безъ того экзальтированную натуру. Она до того сжилась съ героинями Руссо и Ричардсона, что почти не отдѣляла ихъ жизни отъ своей. Впослѣдствіи, вспоминая объ этомъ времени, она говорила г-жѣ Неккеръ-де-Соссюръ, что похищеніе Клариссы она считаетъ событіемъ своей собственной молодости. Складка чувствительности, навѣянная Руссо и Ричардсономъ, осталась навсегда въ характерѣ Сталь; она не могла слышать безъ слезъ разсказа о какомъ-нибудь великодушномъ поступкѣ или проявленіяхъ безпредѣльной любви. Руссо же, кромѣ того, привлекалъ ее культомъ природы и добродѣтели и своей моралью, полной гуманности и всепрощенія. Въ семнадцать лѣтъ сердце молодой и восторженной дѣвушки было раскрыто всѣмъ благороднѣйшимъ движеніямъ и ждало своей чреды... Есть извѣстіе, что первый человѣкъ, кото-

рый заставилъ сильнѣе заботиться ея сердце, быть молодой и блестящій виконтъ Матье-де-Монморанси, только-что возвратившійся изъ Америки, гдѣ онъ храбро сражался въ войнѣ за независимость. Съ своей стороны, онъ тоже полюбилъ дѣвицу Неккеръ и сдѣлалъ ей предложеніе. Она дала слово, но Неккеръ и его жена, искренніе кальвинисты, были противъ брака дочери съ такимъ ревностнымъ католикомъ, какъ Монморанси. Не безъ сильной внутренней борьбы молодая дѣвушка принесла свою первую любовь въ жертву семейному началу, и, считая себя глубоко виноватой передъ своимъ женихомъ, старалась по крайней мѣрѣ сохранить его уваженіе и дружбу. Въ юношескихъ произведеніяхъ Сталь можно открыть слѣды ея подавленного чувства къ Монморанси; въ своей комедіи: „*Sophie ou les sentiments secrets*“, она описываетъ яркими красками поэзію взаимной любви и томленія безнадёжнаго чувства, а героемъ своей трагедіи, написанной около этого времени, она выбрала Монморанси, предка своего возлюбленнаго. Впрочемъ, не одинъ Монморанси не могъ устоять противъ обаянія, которое производила высоко-даровитая и поэтическая дочь Неккера. Нѣкто графъ Гиберъ (Guibert), посредственный литераторъ, но очаровательный собесѣдникъ, тотъ самый Гиберъ, который плѣнилъ сердце знаменитой въ салонахъ XVIII в. м-ше Менинасъ, писавшей ему безумно-страстные посланія, оставилъ намъ восторженное описаніе дѣвицы Неккеръ подъ именемъ Зюльмы, одной изъ жрицъ Аполлона. „Вотъ изъ толпы жрицъ выступаетъ одна—никогда мнѣ не забыть ея! Въ ея большихъ черныхъ глазахъ свѣтился геній, ея волосы, цвѣта чернаго дерева, рассыпаются по плечамъ благоухающими кудрями; правда, черты лица ея скорѣе крупны и рѣзки, нежели тонки и нѣжны, но за то въ нихъ чувствуется нѣчто такое, что возвышаетъ ее надъ ея поломъ. Такой нужно представлять себѣ музу поэзіи, или Клію, или Мельпомену. „Вотъ она!“ невольно раздается при ея появленіи, и тотчасъ же все замираетъ, притаивъ дыханіе. Говоритъ ли она или поетъ подъ акомпаниментъ золотой лиры, я внимаю ей съ одинаковымъ восторгомъ, я открываю въ ея чертахъ нѣчто высшее, чѣмъ красота. Сколько разнообразія и игры въ ея подвижной фізіономіи! Сколько оттѣнковъ въ звукѣ ея голоса! Какое соотвѣтствіе между мыслью и выраженіемъ! Если даже иногда звуки ея голоса не долетали до меня, то по ея интонаціи, жестамъ, взгляду, я угадывалъ, что она хотѣла сказать“ и т. д.

Если мы исключимъ изъ этого панегирика все, что навѣяно ложнымъ вкусомъ того времени, любившимъ классическія прикрасы, то описаніе Гибера будетъ весьма близко къ дѣйствительности. По крайней мѣрѣ таковымъ его находитъ С.-Бевъ *), имѣвшій въ своихъ рукахъ портретъ Сталь писанный масляными красками до ея замужества. Что до впечатлѣнія, которое производило ея краснорѣчіе, то всѣ современники согласны, что это впечатлѣніе было почти неотразимо. „Если бъ я была царицей“— сказала однажды м-ме Тессе,—„я приказала бы Сталь говорить безъ умолку, и, кажется, никогда бы не устала ее слушать“.

II.

Двадцать лѣтъ отъ роду, дочь Неккера, уступая совѣтамъ обожаемаго отца, рѣшилась отдать свою руку шведскому посланнику при версальскомъ дворѣ, барону де-Сталь. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что при заключеніи этого союза, бывшаго источникомъ всѣхъ послѣдующихъ несчастій м-ме Сталь, любовь не играла никакой роли ни съ той, ни съ другой стороны. Изъ документовъ, найденныхъ Жефруа въ шведскихъ архивахъ, видно, что планъ женитьбы на дочери Неккера созрѣлъ въ головѣ Сталя еще въ 1779 г., когда онъ былъ только секретаремъ шведскаго посольства. Конечно, не прелести тринадцатилѣтней дѣвочки привлекали его, а ея громадное приданое; по самымъ скромнымъ расчетамъ, дочь Неккера имѣла около 500,000 фр. годового дохода, а такой кушъ былъ слишкомъ лакомымъ кусочкомъ для прогорѣвшаго шведскаго аристократа, чтобы можно было безъ борьбы уступить его другому счастливцу. Нужно отдать справедливость барону Сталю, что задуманный имъ планъ онъ привелъ въ исполненіе съ замѣчательнымъ дипломатическимъ искусствомъ. Онъ сумѣлъ заинтересовать своимъ дѣломъ не только шведскаго посланника графа Крейца и салонныхъ героинь въ родѣ м-ме Ламаркъ или м-ме Буфлеръ, которыя поддерживали оживленную переписку съ шведскимъ королемъ Густавомъ III и имѣли на него немалое вліяніе, но самого Густава III, Людовика XVI и Марію-Антуанетту. Переговоры между барономъ фонъ-Сталь съ одной стороны и семействомъ Неккеро夫—съ другой тянулись цѣлыхъ шесть лѣтъ, при чемъ обѣ стороны тщательно взвѣсили всѣ шансы, обдумали всѣ случайности.

*) Въ своей статьѣ о м-ме Сталь въ „Portraits de Femmes“.

Неккеръ, напрімѣръ, ставилъ непремѣннымъ условіемъ, чтобъ будущій зять его предварительно занялъ высокій постъ шведскаго посланника, чтобы Густавъ III далъ обѣщаніе никогда не упразднить шведскаго посольства при версальскомъ дворѣ, чтобъ мужъ дочери обязался не увозить ее въ Швецію иначе, какъ съ ея согласія и притомъ не надолго, и только тогда, когда всѣ эти условія были приняты, онъ далъ свое согласіе на бракъ дочери. Странно, что во всѣхъ этихъ продолжительныхъ переговорахъ ничего не говорили о чувствахъ дочери Неккера къ своему будущему мужу, даже ни разу не упоминается ея имя. Особа, которая принимала наиболѣе дѣятельное участіе во всей этой дипломатической сдѣлкѣ, м-ме Буфлеръ заботилась больше объ интересахъ Сталя и Густава III, чѣмъ о супружескомъ счастьи молодыхъ. Письмо ея къ Густаву III, писанное въ 1785 г., уже послѣ ихъ помолвки, показываетъ, что она плохо вѣрила въ счастье своего protégé съ дочерью Неккера. „Я отъ души желаю, чтобъ Сталь былъ счастливъ, но, по правдѣ сказать, плохо вѣрю въ это. Правда, его жена воспитана въ правилахъ чести и добродѣтели, но она совершенно незнакома съ свѣтомъ и его приличіями, и притомъ такого высокаго мнѣнія о своемъ умѣ, что ее трудно будетъ убѣдить въ ея недостаткахъ. Она властолюбива и рѣшительна въ своихъ сужденіяхъ; она такъ увѣрена въ себѣ, какъ ни одна женщина въ ея возрастѣ и положеніи. Она судить обо всѣмъ вкривь и вкось, и хотя ей нельзя отказать въ умѣ, но тѣмъ не менѣе изъ двадцати-пяти высказанныхъ ею сужденій развѣ только одно бываетъ вполне умѣстнымъ. Посланникъ не дерзаетъ дѣлать ей какое бы то ни было замѣчаніе изъ боязни оттолкнуть ее отъ себя на первыхъ порахъ“. Если супружеское счастье барона Сталя было по временамъ омрачаемо, какъ предсказывала м-ме Буфлеръ, безтактностью и неосторожностью его пылкой жены, не придававшей большого значенія свѣтскимъ приличіямъ, то послѣдняя имѣла болѣе серьезныя и глубокія причины къ недовольству. Поэтическія мечты молодой дѣвушки о супружескомъ счастьи, о сліяніи двухъ жизней въ одну рассыпались въ прахъ въ первый же годъ ея замужества. Въ мужѣ своемъ она нашла человѣка, правда, добраго и честнаго, но неспособнаго раздѣлять ея взглядовъ и смотрѣвшаго съ снисходительной улыбкой на проявленіе ея восторженной натуры. Не найдя въ супружествѣ того счастья, по которомъ изнывала душа ея, м-ме Сталь, скрѣпя сердце, покорилась своей участи, выѣзжала въ свѣтъ, принимала у себя, но зато замкнулась въ

самою себѣ и еще съ большимъ рвеніемъ, какъ бы желая забыться, предалась своимъ любимымъ литературнымъ занятіямъ. Въ самый годъ замужества она написала свои восторженные *Lettres sur Rousseau*, которыя были изданы въ 1788 г. и имѣли громадный успѣхъ. С.-Бёвъ замѣчаетъ, что въ этомъ юношескомъ произведеніи заключается уже зародышъ всѣхъ тѣхъ идей и воззрѣній, которыя Сталь разовьетъ въ своихъ послѣдующихъ твореніяхъ, какъ въ увертюрѣ уже слышится основная мысль оперы.

Когда вспыхнула революція и старикъ Неккеръ, послѣ своего кратковременнаго триумфа, долженъ былъ вторично бѣжать изъ Франціи, Сталь осталась въ Парижѣ и, опираясь на свое официальное положеніе, спасла многихъ отъ гильотины. Современные мемуары полны рассказовъ объ ея самоотверженіи, находчивости и всепобѣждающемъ краснорѣчій. Къ этому времени относится сближеніе Сталь съ графомъ Луи-де-Нарбоннѣ, перешедшее въ тѣсную дружбу и подавшее поводъ къ различнымъ сплетнямъ на ея счетъ. Графъ Луи-де-Нарбоннѣ былъ однимъ изъ блестящихъ кавалеровъ двора Людовика XVI; молодой, красивый собой, многосторонне-образованный и рыцарски-благородный, онъ былъ воплощеніемъ лучшихъ сторонъ эпохи *ancien régime*. Подобно Сталь, онъ считалъ возможнымъ соединить сочувствіе къ новымъ идеямъ съ преданностью Людовику XVI, и въ критическую минуту безъ всякаго колебанія принялъ портфель военнаго министра. Послѣ низверженія короля, онъ сдѣлался подозрительнымъ народу и принужденъ былъ скрываться. Сталь предложила ему убѣжище въ отелѣ шведскаго посольства. На другой же день полицейскіе агенты напали на его слѣдъ и явились арестовать его. Съ свойственнымъ ей мужествомъ, Сталь пошла навстрѣчу опасности, осыпала любезностями полицейскаго комиссара, увѣряла его, что онъ ошибся, даже сама предлагала обыскать домъ, но при этомъ вскользь замѣтила, что такой поступокъ со стороны французскихъ властей будетъ нарушеніемъ международнаго права, что подобное нарушеніе можетъ грозить весьма серьезными послѣдствіями, особенно въ виду того, что Швеція—ближайшій сосѣдь Франціи. Послѣдній аргументъ произвелъ рѣшительное дѣйствіе на плохо знакомаго съ географіей комиссара; извинившись за причиненное безпокойство, онъ поспѣшилъ удалиться, а нѣсколько часовъ спустя, Нарбоннѣ, снабженный голландскимъ паспортомъ, уже былъ на пути въ Англію.

Когда начались сентябрьскія убійства, Сталь, тоже собиравшаяся бѣжать, была остановлена на дорогѣ и при яростныхъ крикахъ толпы приведена въ Hôtel de Ville. Только великодушное заступничество Мануэля спасло ее отъ разъяренной черни. Выпровожденная, по распоряженію правительства, подъ конвоемъ за границу, Сталь не замедлила присоединиться къ своимъ политическимъ друзьямъ, нашедшимъ себѣ убѣжище въ Англіи. Колонія французскихъ эмигрантовъ, въ числѣ которыхъ находились Нарбоннъ, Талейранъ, m-me Бомонъ, Лалли-Толендаль, и др., поселилась въ Juniper Hall въ Сорреѣ. Туда прибыла Сталь и сдѣлалась центромъ небольшого кружка французскихъ изгнанниковъ, прекрасно описаннаго англійской писательницей миссъ Бэрней, впослѣдствіи вышедшей замужъ за адъютанта Лафайета, д'Арблѣ. Въ кружкѣ царствовала самая милая непринужденность, не мало шокировавшая чопорное англійское общество. Въ особенности подвергалась осужденію короткость Сталь съ Нарбонномъ, тѣмъ болѣе скандализовавшая англичанъ, что Сталь была одна, безъ мужа. Вотъ какъ описываетъ отношеніе Сталь къ Нарбонну миссъ Бэрней отцу *), не разъ видѣвшая ихъ вмѣстѣ: „Она любитъ его нѣжно“, — писала миссъ Бэрней отцу, очень интересовавшемуся этими отношеніями, — „но такъ просто и искренно, съ такимъ отсутствіемъ всякаго кокетства, что если бы они были двое мужчинъ, или двѣ женщины, то отношенія ихъ не были бы болѣе невинны. Ея умственное превосходство—единственный магнитъ, который притягиваетъ его къ ней“. Отецъ миссъ Бэрней не раздѣлялъ, впрочемъ, этого мнѣнія, и запретилъ дочери посѣщать Сталь. Зато младшая сестра миссъ Бэрней, миссисъ Филиппсъ, меньше ея обращавшая вниманіе на общественные толки, была нерѣдкой гостьей въ Juniper Hall'ѣ.

Обязанная давать отчетъ отцу о своихъ посѣщеніяхъ французской колоніи, миссисъ Филиппсъ въ одномъ изъ своихъ писемъ такъ характеризуетъ Сталь и ея отношенія къ Нарбонну: „Несмотря на свою эксцентричность и всѣ свои недостатки, m-me Сталь все-таки очаровательная собесѣдница. Что до Нарбонна, то съ каждымъ моимъ посѣщеніемъ онъ все болѣе и болѣе внушаетъ къ себѣ уваженіе. Они, собственно говоря, должны бы помѣняться ролями, потому что онъ деликатенъ, какъ женщина, и очень стра-

*) Мѣсто это приведено вполне въ книгѣ Джуліи Кавана: French Women of Letters.

даетъ отъ рѣзкихъ выходокъ и нарушенія bienséances, которыя она себѣ зачастую позволяетъ“.

Конечно, на основаніи приведенныхъ фактовъ трудно произнести рѣшительное сужденіе о характерѣ отношеній Сталь къ Нарбонну, но, принимая въ расчетъ темпераментъ Сталь, въ силу котораго всякое чувство принимало у нея страстный оттѣнокъ, нельзя поручиться, что тонкая грань, отдѣляющая дружбу отъ любви, не была ни разу перейдена ею. Это предположеніе находить себѣ сильное подтвержденіе въ одномъ изъ раннихъ произведеній Сталь, именно въ ея книгѣ: *De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations*. Что сочиненіе это, изданное ею позднѣе, въ 1796 г., было писано въ эпоху ея сближенія съ Нарбонномъ—доказывается тѣмъ, что по прибытіи въ Англію она отдала переписать свою нечеткую рукопись д'Арблѣ. Цѣль книги, писанной подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ видѣннаго ею террора, — доказать анализомъ различныхъ страстей ихъ пагубное вліяніе на благосостояніе какъ отдѣльныхъ личностей, такъ и всего человѣчества. Такъ и поступаетъ Сталь относительно ненависти, честолюбія, фанатизма и др. страстей, но лишь доходитъ дѣло до любви, тонъ мгновенно мѣняется, и авторъ изъ строгаго моралиста превращается въ восторженнаго панегириста, произносящаго пламенные рѣчи въ честь любви. Большая часть главы „*De l'amour*“ занята восторженнымъ, въ высшей степени поэтическимъ описаніемъ блаженства любви, сладости впервые раздѣленнаго чувства, описаніемъ, которое невольно выдаетъ личное настроеніе автора. Предупредивъ читателей, что она будетъ разсматривать любовь не съ точки зрѣнія юношескаго энтузіазма, Сталь вслѣдъ затѣмъ начинаетъ такимъ образомъ: „Если высшее существо, водворивъ человѣка на землю, желало ему дать понятіе о небесномъ блаженствѣ, ему не нужно было дѣлать ничего больше, какъ дать человѣку способность любить, жить въ другомъ существѣ, сливая свое бытіе съ нимъ. Честолюбіе, фанатизмъ, жажда славы—все это энтузіазмъ временный и преходящій; лишь ты одна, всесильная владычица людей, любовь, способна упоевать насъ каждое мгновеніе, ежеминутно доставляя намъ все новыя и новыя наслажденія. Когда мы преслѣдуемъ наши личныя цѣли, когда мы хотимъ удовлетворить нашимъ личнымъ вкусамъ, намъ иногда бываетъ трудно остановиться на одномъ опредѣленномъ предметѣ; сначала желаешь одного, потомъ начинаешь анализировать свое желаніе и самый предметъ, и желаніе охлаждѣваетъ или смѣняется другимъ, третьимъ, такъ что, наконецъ, устаешь

отъ смѣны собственныхъ желаній. Когда же любишь кого-нибудь, какъ просто и ясно рѣшеніе: „онъ этого хочетъ, ему это нужно, онъ отъ этого будетъ счастливѣе“ (il le veut, il en a besoin, il en sera plus heureux),— въ этихъ простыхъ словахъ заключается программа дѣйствій на цѣлую жизнь. Когда же любовь увѣнчивается взаимностію, когда она соединяетъ священнымъ и неразрывнымъ союзомъ два любящія сердца, тогда нѣтъ предѣла ихъ блаженству; тогда вся вселенная должна имъ казаться лежащей у ихъ ногъ; имъ должно быть даже страшно за свое счастье, потому что оно ужъ слишкомъ выдѣляетъ ихъ изъ среды остальныхъ людей, и такъ какъ они достигли на землѣ того счастья, которое обѣщано намъ въ другомъ мірѣ, то кто знаетъ, будетъ ли для нихъ существовать этотъ другой міръ?“ Читатель согласится, что это нѣсколько странное доказательство пагубности увлеченія любовью, и мы склонны объяснить эту авторскую оплошность со стороны Сталь только такимъ образомъ, что, отдавшись упорному сознанію своего собственнаго блаженства, она невольно выронила изъ своей руки указку моралиста и замѣнила ее пламенной кистью влюбленной Сафо.

III.

Сталь была непріятнымъ образомъ пробуждена отъ своихъ романическихъ грезъ письмомъ мужа, который поджидалъ жену въ Голландіи, чтобъ вмѣстѣ отправиться въ Швейцарію къ ея роднымъ. Не безъ слезъ и сожалѣній разошлась она съ Нарбонномъ, время мало-по-малу исцѣлило ея сердечную рану; по крайней мѣрѣ ни съ той, ни съ другой стороны ни малѣйшей попытки завазать вновь прежнія отношенія (хотя есть извѣстіе, что Сталь была очень огорчена, узнавъ о скорой измѣнѣ Нарбонна), а два года спустя они встрѣтились другъ съ другомъ въ Парижѣ, но уже какъ добрые знакомые. Передъ отъѣздомъ изъ Англіи, Сталь, возмущенная казнью короля и безчеловѣчнымъ обращеніемъ съ Марією Антуанеттой, издала анонимную брошюру: „*Reflexions sur le procès de la Reine*“. Сталь не думаетъ защищать королеву съ юридической точки зрѣнія; она становится на нравственную почву и, обращаясь ко всѣмъ женамъ и матерямъ Франціи, пытается возбудить ихъ состраданіе къ несчастнѣйшей изъ женъ и матерей. Прибывъ къ своимъ въ Коппѣ въ Швейцарію, Сталь застала свою мать на одрѣ болѣзни, въ скоромъ времени

унесшей ее въ могилу. Весь 1794 и большую часть 1795 г. Сталь провела съ отцомъ въ Коппé, прислушиваясь къ реву уже затихавшей революціонной бури и укрывая у себя французскихъ эмигрантовъ, которые прѣзжали въ Коппé съ шведскими паспортами, выданными имъ мужемъ Сталь. Ей удалось спасти многихъ и въ томъ числѣ одну даму, бывшую ея личнымъ врагомъ въ Парижѣ. Болѣе дѣятельное участіе въ обсужденіи политическихъ вопросовъ Сталь начинаетъ принимать уже послѣ паденія Робеспьера. Въ концѣ 1795 г. она издала въ Женевѣ анонимную брошюру: „*Reflexions sur la paix adressées à M. Pitt et aux Français*“. Знаменитый англійскій ораторъ Фоксъ былъ пораженъ вѣрностью взглядовъ, высказанныхъ въ этой брошюрѣ, и упомянулъ о ней съ большою похвалою въ одной изъ своихъ парламентскихъ рѣчей. Ко времени пребыванія Сталь въ Коппé относится романтический эпизодъ, которому суждено было играть важную роль въ ея жизни,—мы разумѣемъ ея встрѣчу съ Бенжамэнъ-Констаномъ.

Сталь познакомилась съ Констаномъ осенью 1794 г. черезъ пріятельницу послѣдняго, извѣстную писательницу m-me Дешарьеръ (De Charrière), жившую тогда въ Швейцаріи, и у которой онъ часто гостилъ. Сталь тогда было около тридцати лѣтъ. Она далеко не была красавицей; черты лица ея были слишкомъ крупны; она была не высока ростомъ, не особенно стройна и уже начинала полнѣть. Главную прелесть ея, по отзывамъ современниковъ, составляли большіе черные глаза, становившіеся необыкновенно выразительными, когда она одушевлялась разговоромъ, и прекрасныя маленькія руки. Своимъ матово-бронзовымъ цвѣтомъ лица, своими черными глазами она походила на турчанку; головной уборъ на подобіе восточнаго тюрбана, въ которомъ она обыкновенно изображается на своихъ портретахъ, довершалъ сходство. Б.-Констанъ, бывший на годъ моложе Сталь, смотрѣлъ поразительно-красивымъ и стройнымъ юношей; своими прекрасными голубыми глазами, своими разсыпавшимися по плечамъ русыми кудрями и своимъ фантастическимъ плащомъ онъ напоминалъ Вертера или вообще нѣмецкаго юношу-идеалиста старыхъ временъ. Въ нравственномъ отношеніи Б.-Констанъ и Сталь представляли еще болѣе рѣзкую противоположность Сталь—была натура энергическая, полная жизни и идеальныхъ стремленій, способная къ беззавѣтной привязанности. Б.-Констанъ, несмотря на свои 27 лѣтъ, былъ нравственно изношенный, пресыщенный и скупающій эгоистъ. Онъ ничего уже не ждалъ отъ жизни; его никуда не тянуло; одно время онъ даже, если не серьезно помышлялъ,

то все же рисовался намѣреніемъ лишить себя жизни *). Рядъ легкихъ побѣдъ и донъ-жуанскихъ подвиговъ въ мелкихъ нѣмецкихъ городахъ, развивъ въ немъ фатовство, подорвалъ уваженіе къ женщинамъ и вѣру въ прочность ихъ чувства. Съ ироніей, граничащей съ нравственнымъ цинизмомъ, онъ въ письмахъ къ м-ме Дешарьеръ отзывался о привязанностяхъ, имъ самимъ возбужденныхъ. Въ 1789 году онъ женился по любви на одной нѣмкѣ изъ Брауншвейга, а нѣсколько лѣтъ спустя разошелся съ ней безъ всякой серьезной причины... Словомъ, это былъ прототипъ столь намъ знакомыхъ и когда-то модныхъ типовъ Печорина, Тамарина, Лишняго человѣка и имъ подобныхъ. Повидимому, трудно было ожидать, чтобы характеры, столь діаметрально-противоположные, могли взаимно притянуться, но на дѣлѣ вышло иначе, и исторія Сталь и Констана оправдала собой старую поговорку: *les extrêmes se touchent*. Что Б.-Констанъ могъ понравиться Сталь—это было понятно. Хотя она часто повторяла свое любимое изреченіе, что человѣка можно узнать либо въ нѣсколько часовъ, либо въ нѣсколько лѣтъ, но жизнь ея доказываетъ, что она постоянно ошибалась, судя по первому благопріятному впечатлѣнію. А впечатлѣніе, кторое производилъ Б.-Констанъ, было несомнѣнно благопріятно: онъ былъ такъ уменъ, такъ краснорѣчивъ, такъ хорошъ собой!

Самая разочарованность Б.-Констана, начинавшая тогда входить въ моду, какъ принадлежность избранныхъ натуръ, придавала ему въ глазахъ женщинъ особую прелесть. Принимая въ расчетъ, съ одной стороны, природу мужчины, съ другой, судя по себѣ, Сталь могла думать, что подъ этой разочарованностью скрывается неудовлетворенная жажда дѣятельности и потребность сильнаго, всепоглощающаго чувства. Что удивительнаго, что, помимо желанія возбудить въ немъ это чувство, она возымѣла горделивую мысль, такъ ей свойственную—возвратить къ жизни эту богатую натуру, указать ей цѣль, достойную ея честолюбія, вдохнуть въ нее любовь къ родинѣ, правдѣ и свободѣ? Удивительно то, что въ потухшемъ сердцѣ самаго отъявленнаго эгоиста, какимъ безспорно былъ Б.-Констанъ, нашлась искра энтузіазма способная разростись въ яркое пламя. что чувство, внушенное ему Сталь, заронило въ немъ желаніе быть ея достойнымъ, сдѣ-

*) С.-Бѣвъ. въ третьемъ томѣ своихъ „Portraits Littéraires“ и въ статьѣ: „Benjamin Coustant et m-me de Charrière“, сдѣлавъ мастерскую характеристику Б.-Констана-юноши.

лать рѣшительный шагъ на пути къ нравственному перерожденію. Въ письмѣ къ m-me Дешарьеръ онъ такъ описываетъ впечатлѣніе своего перваго знакомства съ Сталь: „Я рѣдко встрѣчалъ въ одномъ лицѣ такое соединеніе самыхъ привлекательныхъ качествъ, столько правдивости, остроумія, блеска, и вмѣстѣ столько великодушія, простоты и непринужденности. Г-жа Сталь гораздо болѣе поражаетъ своимъ умомъ въ интимной бесѣдѣ, нежели въ салонѣ; она даже обладаетъ тѣмъ качествомъ, котораго ни вы, ни я не подозрѣвали въ ней—она имѣетъ способность слушать и съ такимъ же удовольствіемъ слѣдить за проявленіемъ чужого ума, какъ и своего собственнаго. Это вторая женщина, которая легко могла бы замѣнить для меня вселенную. Вы очень хорошо знаете, кто была первая. Она старается изъ всѣхъ силъ показать тѣхъ, кого любитъ, въ наилучшемъ свѣтѣ, что доказываетъ столько же ея умъ и тактъ, сколько и доброту. Однимъ словомъ, это существо исключительное, одна изъ тѣхъ рѣдкихъ натуръ которыя рождаются вѣками“.

Мы не имѣемъ свѣдѣній о томъ, какое впечатлѣніе произвела на Сталь первая встрѣча съ Б.-Констаномъ, но, судя по послѣдующему, имѣемъ полное основаніе предположить, что впечатлѣніе это было не менѣе сильно. Разставаясь съ Бенжамѣнъ-Констаномъ, Сталь взяла съ него слово пріѣхать къ ней погостить на болѣе продолжительное время. Б.-Констанъ сдержалъ слово, и лѣтомъ 1795 года пріѣхалъ въ Коппе съ рукописью своего нескончаемаго труда: „О происхожденіи религій“, надъ которымъ онъ трудился еще около тридцати лѣтъ, все-таки не окончивъ его, и прочелъ Сталь отрывокъ изъ него. Желая обратить мысли своего новаго друга въ другую сторону, Сталь прочла ему только что написанную политическую брошюру: „*Reflexions sur la paix interieure*“, гдѣ она стремится доказать, что истинная свобода совмѣстима съ существующимъ во Франціи республиканскимъ правительствомъ, и что обязанность всякаго честнаго патріота и друга свободы—поддерживать республику. Полемизируя съ роялистами, мечтавшими о возстановленіи монархіи, Сталь представляетъ имъ на видъ, что, при существующемъ положеніи партій, такое возстановленіе просто невысказано, — что учрежденіе монархіи, даже конституціонной, невозможно безъ предварительной военной диктатуры, которая весьма нежелательна. Событія доказали, насколько геніальная женщина была права въ своихъ предсказаніяхъ. Должно полагать, что во время своихъ продолжительныхъ бесѣдъ съ Б.-Констаномъ объ этомъ предметѣ, она обра-

тила его въ свою политическую вѣру и вдохнула въ него желаніе трудиться для прочнаго водворенія свободныхъ учреждений во Франціи, которымъ грозила опасность отъ начинавшейся реакціи,—мысль, которая, по признанію самого Констана сдѣлалась съ этихъ поръ цѣлью его жизни.

Вдохновенный ею, Констанъ еще въ бытность свою въ Коппé набросалъ свою первую политическую брошюру: „Du Gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s'y rallier“, самое заглавіе которой показываетъ, что въ ней развиваются тѣ же идеи, которыя проводила въ своей брошюрѣ Сталь. Въ томъ же духѣ по всей вѣроятности, въ промежутокъ между отъѣздомъ Констана изъ Коппé и своимъ переселеніемъ на зиму въ Парижъ—Сталь написала небольшую, но богатую мыслями статью о задачахъ романа („Essai sur les fictions“), гдѣ она настаиваетъ на необходимости расширить сферу содержанія романа, введя въ него изображеніе разнообразныхъ страстей, волнующихъ общество. Видя въ романѣ могущественную силу, способную сдерживать и облагораживать страсти и возвысить уровень нравственныхъ понятій въ обществѣ, она, конечно, должна была предпочитать романъ тенденціозный всякому другому, но съ истинно-художественнымъ тактомъ совѣтовала писать романъ такъ, чтобы тенденція сама-собою вытекала изъ его содержанія, а не казалась бы навязанной извнѣ, ибо въ противномъ случаѣ иллюзія исчезнетъ—и романъ не принесетъ никакой пользы. Какъ на образцы романовъ, въ которыхъ нравственная тенденція сливалась съ правдой изображенія, Сталь ссылается на произведенія англійскихъ романистовъ, Ричардсона и Фильдинга, и на только что появившійся тогда романъ Годвина—„Калебъ Вилльямсъ“.

IV.

Извѣстно, что первая держава, признавшая французскую республику, была Швеція. Всѣ знали, чьему вліянію долженъ былъ быть приписанъ этотъ фактъ, и потому, когда Сталь появилась въ Парижѣ, она была принята съ уваженіемъ и почетомъ влітельными кружками Парижа. Она открыла свой салонъ, который вскорѣ пріобрѣлъ европейскую извѣстность и не остался безъ вліянія на общественныя дѣла. Въ числѣ постоянныхъ посѣтителей салона Сталь были, между прочимъ, знаменитый аббатъ Сіасъ, Гара, Талейранъ, который, благодаря ея вліянію, могъ возвратиться во Францію и занять высокій постъ министра

иностранныхъ дѣлъ, и группа молодыхъ ученыхъ: Дону, Женгене, Сисмонди и Форіаль. Вслѣдъ за Сталь, прибылъ въ Парижъ и Б.-Констанъ, издавшій упомянутую выше брошюру, обратившую на него всеобщее вниманіе, какъ на восходящее свѣтило. Соединеніе такихъ избранныхъ членовъ, равно какъ остроуміе, любезность и увлекательное краснорѣчіе самой хозяйки сдѣлали салонъ Сталь однимъ изъ замѣчательныхъ явленій Парижа, и не было ни одного сколько-нибудь замѣчательнаго иностранца, который бы не искалъ чести быть ей представленнымъ. Зима 1796—1797 г., проведенная Сталь въ Парижѣ, имѣла рѣшительное вліяніе на ея судьбу: въ это время она окончательно сблизилась съ Констаномъ. Мы основываемъ наше предположеніе на слѣдующихъ данныхъ: въ предисловіи къ своей книгѣ: „*De l'influence des passions*“, писанной лѣтомъ 1796 г., Сталь уже жалуется на клевету, всюду ее преслѣдующую *), и надѣется изданіемъ своего сочиненія дать возможность публикѣ самой судить объ основныхъ чертахъ ея характера. Слова эти показываютъ, что клевета предшествовала ихъ окончательному сближенію, которое могло наступить не ранѣе зимы 1796 г., потому что только зимой Сталь удалось устроить негласный разводъ съ мужемъ, при чемъ было условлено, для избѣжанія толковъ и пересудовъ, продолжать жить въ одномъ домѣ. Баронъ Сталь далъ свое согласіе на разводъ безъ большихъ затрудненій; не теряя времени, онъ поспѣшилъ сойтись съ какой-то танцовщицей. Сталь однако ошиблась, что совмѣстное сожителство съ мужемъ послужитъ гарантіей противъ сплетенъ и пересудовъ. Сплетники, разумѣется, не унялись. Общественное мнѣніе всполошилось; политическіе противники Сталь, дамы, завидовавшія успѣху ея салона, кровныя аристократки, считавшія дочь Неккера *vulgaire* и *parvenue*,—всѣ почувствовали, что настала на ихъ улицѣ праздникъ. Не мало мелочныхъ непріятностей и булавочныхъ уколовъ самолюбію выпало въ это время на долю Сталь, не мало счастливыхъ минутъ было ими навсегда отравлено. Привыкнувъ давать исходъ волновавшимъ ее чувствамъ въ своихъ произведеніяхъ, Сталь въ 1797 г. начала писать свою „Дельфину“,—романъ, въ которомъ изобразила несчастную судьбу высоко-даровитой женщины, вступившей въ неравную борьбу съ деспотизмомъ общественнаго мнѣнія. Одновременно съ этимъ, Сталь трудилась надъ обширнымъ сочине-

*) См. Avant-propos: „Calomniée sans cesse et me trouvant trop peu d'importance pour me résoudre de moi, j'ai du céder à l'espoir“ и т. д.

ніемъ: „О литературѣ, разсматриваемой въ связи съ общественными учрежденіями“ („De la Littérature, considérée dans ses rapports avec les institutions sociales“). Сочиненіе это, по мѣрѣ его написанія, было читано Сталь ея друзьямъ: Сисмонди, Форіэлю, Женгенé и другимъ, которые дѣлали свои замѣчанія и поправки, такъ что книга „De la Littérature“ можетъ быть, по всей справедливости, названа обобщеніемъ взглядовъ новой исторической школы во Франціи *).

За печатаніемъ книги: „О литературѣ“ засталъ Сталь переворотъ 18-го брюмера (9-го ноября 1800 г.), низвергнувшій директорію и учредившій вмѣсто нея консульство, съ Наполеономъ во главѣ правительства. Сталь знала Наполеона раньше, встрѣчала его не разъ у брата его Жозефа, съ которымъ была дружна, одно время даже увлеклась блескомъ его побѣдъ и писала ему восторженные посланія, но никогда не питала довѣрія къ его нравственному характеру. Зная его необыкновенное честолюбіе и полное отсутствіе нравственныхъ принциповъ, она была увѣрена, что онъ на этомъ не остановится, и не замедлила заявить друзьямъ объ опасности, угрожающей свободѣ. Салонъ ея, сдѣлавшійся теперь центромъ оппозиціи, забили тревогу, а вдохновенный ею Б.-Констанъ произнесъ въ трибунатѣ, котораго былъ членомъ, блестящую рѣчь о необходимости прочныхъ гарантій для личности, въ виду могущихъ произойти случайностей. Сталь и ея друзьямъ не удалось возбудить общественнаго мнѣнія противъ Наполеона. Общество, едва опомнившееся отъ недавняго переворота и желавшее прежде всего покоя и порядка, равнодушно относилось къ деспотическимъ замашкамъ Наполеона, лишь бы только онъ упрочилъ во Франціи этотъ покой и порядокъ. Единственный результатъ великодушнаго протеста былъ тотъ, что онъ возбудилъ противъ Констана и въ особенности Сталь—гнѣвъ Наполеона, который еще болѣе усилился со времени изданія старикомъ Неккеромъ его послѣдняго труда („Dernières vues de politique et de finances, offertes à la nation française“. Genève, 1802).

Впрочемъ, прежде чѣмъ прибѣгнуть къ мѣрамъ строгости противъ такой знаменитости какъ Сталь, первый консулъ не счелъ унижительнымъ для себя вступить съ ней въ переговоры. Не понимая идеальныхъ побужденій Сталь и ея безкорыстной преданно-

*) См. характеристику сочиненія Сталь со стороны метода въ прекрасномъ трудѣ Шахова („Французская литература въ первые годы XIX в.“. Москва 1875), такъ рано похищеннаго у русской науки.

сти свободѣ, Наполеонъ послалъ брата своего Жозефа спросить ее прямо, чего она хочетъ, и употребить всѣ усилія, чтобъ склонить ее на сторону правительства, обѣщая, съ своей стороны, немедленно выплатить ей два милліона франковъ, данныхъ старикомъ Неккеромъ въ ссуду правительству еще въ то время, когда онъ управлялъ финансами Франціи. Выслушавъ предложеніе Наполеона, переданное ей Жозефомъ, Сталь невольно воскликнула: „Боже мой! Да вѣдь дѣло не въ томъ, чего я хочу, а что я думаю!“ Едва ли нужно говорить, что посольство Жозефа осталось безъ результатовъ. Сталь отвѣтила ему въ томъ смыслѣ, что она не отступитъ ни на шагъ отъ того, что считаетъ своимъ гражданскимъ долгомъ.

Еще до этого разговора вышла въ свѣтъ книга Сталь: „De la Littérature“, имѣвшая большой успѣхъ и вышедшая въ 1801 году вторымъ изданіемъ. Въ предисловіи къ этому труду Сталь опредѣляетъ тотъ масштабъ, которымъ она будетъ измѣрять достоинство и жизненность литературныхъ произведеній: „Нѣсколько жизнеописаній Плутарха, письмо Брута къ Цицерону, слова Кантона Утическаго у Аддисона, размышленія, внушенные Тациту его ненавистью къ тиранніи. — все это возвышаетъ душу, унижаемую современными событіями“. Органы, преданные правительству поспѣшили отозваться о книгѣ Сталь неодобрительно — и были, съ своей точки зрѣнія, совершенно правы. Основная мысль книги, — что литература находится въ тѣсной связи съ общественными учрежденіями и не можетъ процвѣтать при упадкѣ политической свободы, — была не въ бровь, а въ глазъ, и правительство не замедлило дать почувствовать, что понимаетъ брошенный ему вызовъ. Вообще со времени изданія книги: „De la Littérature“, правительство стало смотрѣть на Сталь, какъ на представительницу оппозиціонной мысли во Франціи, и въ каждомъ ея произведеніи усматривало прямой или косвенный протестъ противъ существующаго порядка вещей. Съ этой точки зрѣнія оно взглянуло на романъ Сталь: „Delphine“, написанный въ 1797—1798 году, но впервые изданный въ 1802 году.

Мы не имѣемъ намѣренія излагать подробно содержанія этого, во многихъ отношеніяхъ, замѣчательнаго произведенія, потому что дѣло не въ содержаніи, а въ тѣхъ мысляхъ, которыя высказываетъ Сталь устами своихъ героевъ. Оба романа Сталь: „Дельфина“ и „Коринна“, доказываютъ, что творчество характеровъ ей не давалось. Во всѣхъ созданныхъ ею лицахъ мало жизни; герои ея романовъ говорятъ много, но дѣйствуютъ мало, и

притомъ не всегда соотвѣтственно своему характеру; сама писательница чувствуетъ, что ея герои, такъ сказать, не стоятъ на собственныхъ ногахъ, и при всякомъ удобномъ случаѣ объясняетъ читателямъ ихъ дѣйствія. Основная тенденція романа, явствующая изъ его эпиграфа: „мужчина долженъ умѣть бороться съ общественнымъ мнѣніемъ, женщина—должна умѣть ему подчиняться“, какъ нельзя болѣе подтверждается судьбою героини романа—Дельфины. Эта прекрасная, благородная, полная возвышенныхъ стремленийъ личность имѣетъ одинъ весьма важный, въ глазахъ свѣта, недостатокъ, именно—желаніе слушаться только голоса своего собственнаго чувства и убѣжденія. Такое желаніе, преслѣдуемое ею со всѣмъ упорствомъ честнаго сердца, ставить ее въ антагонизмъ съ мнѣніемъ свѣта, который отмѣчаетъ тѣмъ, что разстроиваетъ ея бракъ съ любимымъ человѣкомъ, представивъ ему въ весьма неблагоприятномъ свѣтѣ принципы невѣсты. Леонсъ хотя и любитъ Дельфину, но чувствуетъ себя не въ силахъ бороться съ общественнымъ мнѣніемъ, подавляетъ свое чувство къ ней и женится на холодной и чопорной Матильдѣ. Дельфина умираетъ, но и Леонсъ, не найдя счастья съ Матильдой, тоже погибаетъ, отвергая единственный, представлявшійся ему выходъ,—разойтись съ женой. По поводу этой неизбежной катастрофы, Сталь, устами одного изъ дѣйствующихъ лицъ романа, высказываетъ свой взглядъ на жестокость неразрывнаго брака и требуетъ развода во имя священныхъ правъ человѣческаго сердца. Такая діатриба противъ неразрывности церковнаго брака въ эпоху заключенія конкордата и возстановленія официальныхъ отношеній къ Риму навлекла на Сталь упреки въ атеизмъ и безнравственности. Правительство воспользовалось этимъ случаемъ и, на основаніи доноса, ни на чемъ не основаннаго—будто Сталь подкапывалась подъ власть перваго консула—велѣло ей выѣхать изъ Парижа и не приближаться къ нему меньше чѣмъ на сто лье. Этотъ ударъ, хотя и ожидаемый ею, тѣмъ не менѣе, глубоко поразилъ ее. Сталь была уроженка Парижа, всѣ ея друзья и родные жили въ Парижѣ, вся умственная жизнь была для нея сосредоточена въ Парижѣ, и Франція безъ Парижа для нея значила немного. Но медлить было нельзя, и осенью 1803 года Сталь, собравшись на скоро, съ своими дѣтьми и Констаномъ отправилась въ Германію. Здѣсь ждалъ ее новый ударъ,—тѣмъ болѣе чувствительный, что онъ былъ нанесенъ дружеской рукой человѣка, котораго она такъ горячо, такъ безгранично любила.

V.

Охлажденіе Констана къ Сталь стало проглядывать въ его письмахъ задолго до ея изгнанія. Изъ одного письма его къ Форіэлю *), отъ 10-го мая 1802 г., видно, что онъ и тогда ужъ чувствовалъ себя несчастнымъ. Письмо это такъ характеристично для личности французскаго Печорина, что изъ него стоитъ привести отрывокъ: „Еслибъ я началъ—писать Констанъ—подробно описывать вамъ, какое глубокое отвращеніе я питаю къ жизни, я, конечно, очень бы наскучилъ вамъ, утопающему въ покоѣ и счастіѣ. Увы! я далекъ отъ того и другого—и ежедневно покупаю мою тоску цѣною различныхъ волненій. Есть какое-то непонятное сплетеніе судебъ, которое невозможно распутать и съ которымъ катишься внизъ, не имѣя времени оглядѣться вокругъ себя. Впрочемъ, можетъ быть, счастье въ самомъ дѣлѣ есть невозможность—по крайней мѣрѣ для меня, если я не нахожу его близъ замѣчательнѣйшей изъ женщинъ“. Въ другомъ письмѣ къ тому же лицу, писанномъ нѣсколькими мѣсяцами позднѣе, незадолго передъ изгнаніемъ Сталь, Б.-Констанъ не прикрывается уже міровой тоской, но выражается опредѣленнѣе и даетъ понять, что главная причина всѣхъ его несчастій заключалась въ безпокойномъ и несчастномъ характерѣ его подруги. „Я не жалуюсь на мое здоровье и желалъ бы, чтобъ и вы съ своей стороны могли сказать то же. Я желалъ бы, чтобы вы были также здоровы, но только гораздо счастливѣе меня. Если я говорю: счастливѣе—не думайте, что я подъ этимъ разумѣю мои личныя несчастія. Нѣтъ, я страдаю несчастіями другой особы. Жизнь моя была бы весьма сносна, если бы у этой другой сила духа равнялась силѣ ума. Но видѣть ея страданія, особенно когда они продолжительны, положительно невыносимо, и въ глубинѣ спокойной и монотонной на видъ жизни, которую я веду, есть вѣчное внутреннее волненіе, отравляющее всѣ мои помыслы, всѣ мои чувства“. Приведенными отрывками окончательно дорисовывается сухая и эгоистическая натура Б.-Констана. Онъ говоритъ и думаетъ только о себѣ, измѣряетъ чужое горе только по отношенію къ своему личному спокойствію. Различными софизмами и фразами, въ которыя по всей вѣроятности и самъ онъ не вѣрилъ,

*) Письма Б.-Констана къ Форіэлю напечатаны въ мартовской и майской книжкахъ „Revue Moderne“ за 1868 годъ.

онъ старается оправдать въ глазахъ друга свое охлажденіе къ Сталь и свою неспособность къ сильной привязанности: тутъ есть и міровая тоска, и вѣчное внутреннее волненіе, и невозможность личнаго счастья. Нравственныя страданія женщины, которая пожертвовала для него всѣмъ, которая любила его такой безграничной любовью, кажутся ему невыносимы вслѣдствіе ихъ продолжительности, и онъ не обнаруживаетъ ни малѣйшаго желанія облегчить или раздѣлить ихъ... Чтобы покончить съ характеромъ Констана, приведемъ одно замѣчательное мѣсто изъ письма матери Сисмонди къ сыну, который одно время бредилъ Констаномъ и наполнялъ свои письма къ матери похвалами ему. Мать Сисмонди, никогда не выдавшая Констана, на основаніи писемъ сына, составила о немъ въ высшей степени вѣрное понятіе. „Ты можешь быть найдешь забавнымъ“—писала она однажды сыну— „что я тебѣ буду давать совѣты относительно Констана; ты мнѣ скажешь, что я его не знаю; это правда, но то, что я буду тебѣ говорить о немъ и его характерѣ, выведено мною изъ тѣхъ похвалъ, которыя ты ему расточаешь въ своихъ письмахъ. По моему мнѣнію, это одинъ изъ тѣхъ людей, на которыхъ нельзя вполнѣ положиться. Онъ можетъ находить удовольствіе въ обществѣ людей (собственно: смаковать людей, *gouter les gens*), можетъ желать имъ понравиться, но истинной дружбы, самоотверженной и преданной отъ него ждать нечего. У него много ума, даже слишкомъ много, есть и страстность и способность увлекаться, но того совершенно нѣтъ, что мы называемъ *душою*“.

Въ то время какъ Б.-Констанъ изливалъ въ письмахъ къ Форіэлю свои жалобы на судьбу и на несчастный характеръ Сталь, сама Сталь, получивъ извѣстіе объ опасной болѣзни мужа, заболѣвшаго по дорогѣ изъ Парижа въ Коппé, забыла старые счеты съ нимъ и полетѣла ухаживать за больнымъ. Хотя она пріѣхала нѣсколько поздно, но присутствіе ея все-таки усладило послѣднія минуты барона; онъ умеръ на ея рукахъ 2-го мая 1802 г.

Изъ документовъ, обнародованныхъ Штротдманомъ, не видно, когда произошелъ разрывъ Сталь съ Констаномъ и вообще, доходило ли дѣло до открытаго разрыва. Штротдманъ полагаетъ, что уже то обстоятельство, что Констанъ не предложилъ ей своей руки послѣ смерти мужа было для такой гордой женщины, какъ Сталь, вполнѣ достаточно, чтобъ разойтись съ нимъ. Другіе, напротивъ того, думаютъ, что Констанъ предложилъ ей свою руку, но она, видя его охлажденіе къ себѣ, отказала ему. Конечно, все это не болѣе какъ догадки. Достоверно одно, что Сталь возврати-

лась изъ Германіи въ Швейцарію не съ Констаномъ, а съ А. В. Шлегелемъ, съ которымъ познакомилась въ Берлинѣ и которому поручила воспитаніе своихъ дѣтей. Пріѣхавъ въ Коппé, Сталь была глубоко поражена вѣстью о смерти горячо-любимаго отца, умершаго въ ея отсутствіе. Она была до того убита своей потерей, что думала, что не переживетъ ея, и, готовясь къ смерти, написала прощальное письмо Констану. Письмо это, впервые напечатанное у Штротдмана, показываетъ, что, несмотря на разрывъ, она все еще любила Констана, безгранично довѣряла и матерински заботилась о немъ. „Милый другъ“—писала Сталь—„радуйтесь за меня, если я умру раньше васъ. Переживъ отца, я не буду въ силахъ пережить еще васъ. Я соединюсь скоро съ этимъ чуднымъ человекомъ, котораго и вы также любили, и буду васъ ждать тамъ съ сердцемъ, которое, надѣюсь, помилуетъ Богъ за то, что оно много любило. Умоляю васъ, не разставайтесь съ моими дѣтьми; я прошу ихъ также—въ письмѣ, которое вы имъ передадите—любить въ васъ того, кого такъ любила ихъ мать. Ахъ, это роковое слово любить, рѣшившее нашу судьбу, имѣетъ ли оно какой-нибудь смыслъ въ другомъ мірѣ? Вы знаете, что въ силу заключенной между нами сдѣлки домъ въ улицѣ Матюренъ принадлежитъ намъ сообща—съ условіемъ, чтобы вы при жизни пользовались доходами съ него, а послѣ вашей смерти передали бы его моей дочери. Въ случаѣ, если бы вамъ вздумалось продать его, вы возмѣстите вырученную отъ продажи сумму тѣмъ способомъ, который опекуны признаютъ лучшимъ, но доходъ съ нея, во всякомъ случаѣ, принадлежитъ вамъ. Помните, что недвижимая собственность, которую вы завѣщали моей дочери, не принимается въ расчетъ при раздѣлѣ наслѣдства между моими тремя дѣтьми. Затѣмъ еще разъ прощайте, милый другъ; надѣюсь, что вы по крайней мѣрѣ будете возлѣ меня, когда я буду умирать. Увы! я не успѣла закрыть глаза моему отцу. Неужели же вы не пріѣдете закрыть мои?“

Но Б.-Констанъ не пріѣхалъ: онъ въ то время увлекался уже другой женщиной — Шарлотой Гарденбергъ, на которой въ скоромъ времени и женился. По этому поводу Сисмонди, раскусившій наконецъ Констана, мѣтко замѣчаетъ: „Б.-Констанъ сдѣлалъ довольно странный выборъ. Люди часто воображаютъ, что бури, бушующія въ ихъ сердцахъ, возбуждаются предметами ихъ привязанности, и что они успокоятся, привязавшись къ существамъ апатическимъ. Удаляясь отъ натуръ, сродныхъ имъ, онѣ въ сущ-

ности думаютъ убѣжать отъ самихъ себя, но этотъ пріемъ не долго можетъ обезпечить ихъ спокойствіе“.

Удивительная живучесть человѣческаго сердца! Отчаянное письмо Сталь къ Констану помѣчено 1-го октября 1804 г., и вотъ не болѣе какъ черезъ три мѣсяца, какъ бы желая забыться въ вихрь новаго чувства, Сталь пишетъ рядъ восторженныхъ посланій италіанскому поэту Винченцо Монти, съ которымъ познакомилась въ Миланѣ. Письма эти писаны ею съ дороги во время путешествія въ Римъ, Неаполь и обратно; но, прежде чѣмъ привести отрывки изъ нихъ, мы считаемъ не лишнимъ познакомить читателей съ личностью того, кому они были адресованы. Личность Винченцо Монти—талантливѣйшаго италіанскаго поэта XIX в.—представляетъ собой любопытный образчикъ полнѣйшей политической безпринципности. Онъ обладалъ въ высокой степени способностью входить во всякое настроеніе, хотя бы это настроеніе исключительно опредѣлялось личнымъ расчетомъ, замѣнявшимъ ему вдохновеніе. Въ продолженіе своей долгой жизни (1754—1827) Монти имѣлъ случай не разъ мѣнять предметы своего воспѣванія, и всякій разъ тонъ его произведеній поражалъ своею искренностью, какъ будто на самомъ дѣлѣ онъ условливался не корыстнымъ расчетомъ, но глубокимъ внутреннимъ убѣжденіемъ. Выступивъ въ своихъ раннихъ трагедіяхъ (Аристодемъ, Кай Гракхъ) поборникомъ свободы и ненавистникомъ тиранніи, Монти, нѣсколько лѣтъ спустя, въ качествѣ придворнаго папскаго поэта, воспѣвалъ Пія VI и предавалъ позору французскую революцію. Той же ненавистью къ французской революціи дышитъ его знаменитая поэма въ стилѣ Данте: *Bassvilliana* (1793), которая считается его лучшимъ произведеніемъ. Здѣсь онъ преклоняется передъ добродѣтелями „невиннаго агнца“ Людовика XVI и клеймитъ французскій народъ названіемъ народа убійцъ и злодѣевъ. Но лишь только французскія войска вступили въ Италію, какъ Монти тотчасъ же настроилъ свою лиру на другой ладъ и въ своихъ „*Mascharoniana*“ принялся воспѣвать французскій народъ и чернилъ Людовика XVI, а въ своихъ одахъ неустанно пѣлъ гимны Бонапарту. Наполеонъ, умѣвшій цѣнить преданныхъ ему поэтовъ, сдѣлалъ Монти секретаремъ цизальпинской республики и приказалъ выплачивать ему ежегодную пенсію. По низверженіи Наполеона, Монти еще разъ перемѣнилъ знамя, и въ своемъ „Возвращеніи Астреи“ краснорѣчиво воспѣлъ господство австрійцевъ.

Конечно, Сталь не знала всѣхъ этихъ подробностей біографіи Монти, тѣмъ менѣе могла она предвидѣть позорный конецъ его

поэтической карьеры. Въ 1805 г. слава Монти находилась въ своемъ зенитѣ; онъ былъ предметомъ всеобщаго поклоненія и считался первымъ поэтомъ Италіи. Къ этому нужно прибавить, что его величавая наружность, его умъ и увлекательный даръ слова производили чарующее впечатлѣніе. Встрѣтившись съ Монти въ Миланѣ, Сталь была буквально очарована имъ. Отправляясь въ дальнѣйшее путешествіе, она обѣщала писать ему каждую почту—и сдержала свое слово. Въ первыхъ письмахъ Сталь преобладаетъ дружескій тонъ, но мало-по-малу, по мѣрѣ удаленія Сталь отъ Милана, фантазія ея разыгрывается, нѣжность идетъ crescendo, потребность бесѣдовать съ Монти, слышать его несравненное чтеніе становится все сильнѣе и сильнѣе, и съ пера Сталь льются поэтическія, восторженные рѣчи. Вотъ отрывокъ изъ перваго письма: „Я такъ привыкла проводить съ вами дни, саго Monti, что, слѣдуя этой привычкѣ, сажусь сегодня же вечеромъ писать вамъ. Какъ! привычка въ двѣ недѣли? Да, это бываетъ. Когда я думаю о знакомствѣ моемъ съ вами, о нашемъ быстромъ сближеніи, мнѣ приходитъ въ голову, что я васъ уже знала, до такой степени я чувствую родство моей души съ вашей. Вы тотъ другъ, котораго давно ждала душа моя. Я на васъ не могу смотрѣть, какъ на новаго знакомаго; я имѣю на васъ, такъ сказать, право давности. Развѣ наши мысли въ продолженіе многихъ лѣтъ не были сходны? Развѣ послѣ самыхъ горячихъ споровъ мы подъ конецъ не соглашались другъ съ другомъ?“

Судя по одному изъ слѣдующихъ писемъ Сталь (отъ 23 января, изъ Болоньи), Монти былъ нѣсколько озадаченъ такимъ произвольнымъ примѣненіемъ платоновой теоріи дружбы къ чувствамъ людей XIX в., онъ отвѣчалъ нѣсколько холодно и церемонно, такъ что Сталь,—какъ она сама въ томъ сознается,—разорвала длинное письмо къ нему, уже совсѣмъ приготовленное къ отправкѣ. Такое наказаніе—должно полагать—не замедлило произвести свое дѣйствіе. Монти сталъ выслушивать болѣе сочувственно горячія тирады Сталь и отвѣчалъ ей болѣе дружески. „Я знаю“—писала она Монти—„что въ вашемъ характерѣ много подвижности и непостоянства; я хорошо понимаю, что въ этой подвижности вашъ талантъ находитъ новые источники вдохновенія, но не заставляйте меня страдать отъ этого свойства вашего характера; щадите меня хоть въ силу того, что вы мнѣ можете причинить много горя. Всѣ, которыхъ я люблю, имѣютъ надо мной эту ужасную власть; не злоупотребляйте же ею“.

Своеобразную прелесть писемъ Сталь къ Монти составляет тотъ меланхолическій тонъ, которымъ проникнуты нѣкоторыя изъ нихъ, свидѣтельствующій, что ея сердечная рана не зажила еще вполне, что, отдаваясь во власть новаго мучительно - сладкаго чувства, она по временамъ невольно вздыхала о своихъ прежнихъ, разбитыхъ жизни, иллюзіяхъ. Въ одномъ письмѣ у ней вырываются такіа слова: „я не живу настоящимъ; жизнь для меня не болѣе какъ воспоминаніе“. Но мало-по-малу сила охватившаго ее чувства смыкаетъ съ ея вѣчно-юнаго сердца все прошлое; она живетъ исключительно своей любовью къ Монти и наполняетъ письма восторженными признаніями ему. „Вѣрьте мнѣ, саго Monti, никто не будетъ такъ любить васъ и такъ удивляться вамъ, какъ я, и когда Альфіери сдѣлалъ двѣ тысячи миль, чтобъ видѣть четыре раза графиню Альбани, его едва ли встрѣтили съ большей любовью и преданностью, чѣмъ та, которую я питаю къ вамъ. Вы сами не подозреваете, сколько жизни вносите въ мою жизнь, и если существованіе есть благо, вы удваиваете это благо своимъ обществомъ. Ваша страстность, ваше краснорѣчіе, даже самая подвижность вашего характера, такъ опасная для людей, васъ любящихъ, придаетъ въ моихъ глазахъ особую прелесть и разнообразіе вашей бесѣды. Если вы на мое чувство отвѣтите взаимностью, я рѣшилась жить долго въ Италіи, чтобъ пользоваться невыразимымъ удовольствіемъ бесѣдовать съ вами“ (письмо отъ 16 іюня 1805 г.).

Въ слѣдующемъ письмѣ тонъ у Сталь становится еще болѣе восторженнымъ. „Любовь, саго Monti, есть небесное чувство и не слѣдуетъ его профанировать. Я васъ люблю всѣми силами моей души, и если вы не оскорбите моего чувства, оно можетъ имѣть большое вліяніе на мою жизнь. Если хотите, мы отправимся на будущій годъ вмѣстѣ въ Римъ; я буду гордиться тѣмъ, что приѣду туда съ вами и увижу вашихъ враговъ у вашихъ ногъ. Я не знаю, были ли вы когда-нибудь любимы женщиной, которая могла бы до такой степени чувствовать силу вашего таланта; что до меня, я горжусь этимъ качествомъ. Я чувствую прелесть каждаго произнесеннаго вами слова, тотчасъ запоминаю каждую написанную вами строку, и если вы желаете знать себя по впечатлѣнію, которое вы производите—для этого вамъ совершенно достаточно заглянуть въ мою душу“. На возвратномъ пути въ Швейцарію, Сталь остановилась въ Шамбери, откуда писала Монти слѣдующее: „Я остановилась здѣсь, саго Monti, посреди дня, къ немалому удивленію моихъ спутниковъ. Мнѣ хотѣлось

посѣтить тѣ мѣста, гдѣ вы скрывались изгнанникомъ *). Я видѣла каштановыя деревья, подѣ тѣнью которыхъ вы тогда отдыхали, и плакала о томъ времени, когда мы были такъ близки другъ къ другу и когда я могла сдѣлать васъ счастливымъ своею любовью. Да, шесть лѣтъ тому назадъ мы могли бы быть друзьями. Ахъ, мой другъ, жизнь наша слишкомъ коротка, чтобы можно было легко утѣшиться въ потерѣ цѣлыхъ шести лѣтъ любви и счастья“.

Весьма неравнодушный къ возбужденнымъ имъ восторгамъ и притомъ, въ свою очередь, плѣненный умомъ и любезностью Сталь, Монти еще въ Миланѣ далъ ей обѣщаніе пріѣхать погостить въ Коппé. На этомъ обѣщаніи Сталь основывала свои самыя дорогія надежды, и въ рѣдкомъ письмѣ не упоминаетъ о немъ. „Если мнѣ удастся увезти васъ съ собою въ Коппé, какъ вы мнѣ обѣщали, я обѣщаю вамъ съ своей стороны провести будущую зиму въ Миланѣ“ (письмо изъ Рима, отъ 7 февраля 1805 г.). „Завтра я тронусь въ обратный путь, саго Monti, и буду готовить мой домъ къ принятію васъ. Увѣряю васъ, что нигдѣ не встрѣтятъ васъ съ чувствомъ болѣе нѣжнымъ, истиннымъ и неизмѣннымъ. Помните, Монти, что теперь, когда еще передо мной цѣлая жизнь, я желаю провести ее съ вами; пріѣзжайте же ко мнѣ теперь, пока еще моя фантазія можетъ украсить яркими цвѣтами мою нѣжную дружбу къ вамъ“. Съ наивнымъ эгоизмомъ, вообще свойственнымъ влюбленнымъ, Сталь смотритъ на міровыя событія съ точки зрѣнія осуществленія своихъ заветныхъ надеждъ. „Здѣсь всѣ очень обезпокоены предстоящей войной“—пишетъ она Монти изъ Милана отъ 13 іюня 1805 г.—признаться сказать, я не вѣрю въ ея возможность, но такъ какъ я съ нѣкотораго времени смотрю на все только по отношенію къ нашей будущей встрѣчѣ, то, сознаюсь, желала бы, чтобъ какое-нибудь событіе отдало васъ навсегда моему сердцу и моимъ заботамъ“.

Напрасно люди, близко знавшіе Монти, предостерегали Сталь, чтобы она не слишкомъ полагалась на его обѣщанія и его преданность; предостереженія ихъ не имѣли никакого успѣха. Сталь не могла себѣ представить, чтобы человѣкъ, высказывавшій въ своихъ произведеніяхъ такія возвышенныя мысли, создавшій рядъ

*) Въ 1799 г., во время нашествія русско-австрійскихъ войскъ въ Ломбардію, Монти бѣжалъ изъ Италіи и нѣкоторое время скрывался въ лѣсахъ Савойи близъ Шамбери.

такихъ мощныхъ характеровъ, былъ въ жизни легкомысленнымъ флюгеромъ или, чтó гораздо хуже, политическимъ перебѣжчикомъ изъ корыстныхъ расчетовъ. Заключение отъ великаго таланта къ благородному характеру ей казалось неопровержимымъ, и, несмотря на то, что самъ Монти въ минуту откровенности сознавался ей, что онъ немного плутъ (*un poco furbo*), она приняла его признаніе за шутку и продолжала вѣрить ему безусловно. Въ своихъ письмахъ она не разъ касается этого щекотливаго вопроса. „Простите мнѣ,“—пишетъ она ему изъ Неаполя—страстную дружбу, которую я питаю къ вамъ. Что бы ни говорили о васъ враги ваши, я буду продолжать писать вамъ, вѣрный другъ. Столько таланта, столько возвышенности въ идеяхъ можетъ ли быть совмѣстимо съ легкомысленнымъ характеромъ? Тѣ, кто представляютъ васъ легкомысленнымъ, не понимаютъ васъ, но я васъ понимаю, потому что люблю; я васъ знаю, потому что удивляюсь вамъ“.

Пріѣхавъ въ Коппé, Сталь стала поджидать Монти и въ письмахъ своихъ все торопила его отъѣздомъ. Монти сначала отговаривался болѣзью, потомъ различными дѣлами, наконецъ, намекнулъ, что долгъ его, какъ человѣка семейнаго, не позволяетъ ему отлучиться на продолжительное время изъ Италіи. „Я не люблю слова *долгъ* (писала ему по этому поводу Сталь); мнѣ кажется, что слово *чувство* вполне замѣняетъ его, но если говорить о долгѣ, развѣ вы его не должны чувствовать по отношенію къ существу, любящему васъ такъ, какъ никто васъ не любить? Я глубоко убѣждена, что нѣтъ въ мірѣ лица, для счастья котораго вы были бы болѣе необходимы, чѣмъ для моего счастья, и что никогда, даже въ лѣта вашей юности, вашъ пріѣздъ въ Коппé не доставилъ бы мнѣ столько удовольствія, какъ теперь“. Зная характеръ Монти, легко догадаться, что слово долгъ было съ его стороны не болѣе какъ предлогъ, чтобы отложить на неопредѣленное время неосторожно данное обѣщаніе Сталь пріѣхать къ ней въ Коппé; на самомъ дѣлѣ Монти не поѣхалъ потому, что боялся навлечь на себя гнѣвъ Наполеона и лишиться получаемой по его распоряженію пенсіи. Прождавъ Монти напрасно еще весь слѣдующій годъ, Сталь, по всей вѣроятности, догадалась о причинѣ его уклоненій и прекратила съ нимъ переписку. Она возобновилась десять лѣтъ спустя, но была непродолжительна и отличалась болѣе спокойнымъ, дружескимъ тономъ. Отъ этого періода въ бумагахъ Монти сохранилось всего два письма

Сталь; въ одномъ она отвѣчаетъ на его письмо,—въ другомъ благодарить за присланное ей стихотвореніе.

VI.

Плодомъ путешествія Сталь въ Италію былъ ея знаменитый романъ „Коринна“, возбуждившій живой восторгъ не только во Франціи, но и во всей Европѣ. Какъ писательница въ высшей степени субъективная, Сталь вложила въ свое произведеніе многое изъ пережитаго и пережитоваго ею за послѣдніе годы. Здѣсь прежде всего должна была отразиться ея исторія съ Констаномъ. Въ своемъ первомъ романѣ „Дельфина“, писанномъ въ періодъ страстнаго увлеченія Констаномъ, она изображала его въ привлекательномъ образѣ Henri Lebensau, который борется съ обществомъ во имя священныхъ правъ человѣческаго сердца. Въ „Кориннѣ“ его легко узнали въ личности слабого и безхарактернаго лорда Нельвиля, который, напротивъ того, изъ боязни передъ общественнымъ мнѣніемъ трусливо отказывается отъ любящей его гениальной женщины, чтобъ сдѣлать блестящую партію *). Наказавъ такимъ образомъ легкомысленнаго друга, Сталь перемѣнила гнѣвъ на милость и позволила ему пріѣхать къ ней (переписывались они и послѣ разрыва). Съ этихъ поръ не проходило года, чтобъ Констанъ не пріѣзжалъ лѣтомъ въ Коппѣ. Одинъ разъ встрѣча ихъ въ Ліонѣ едва не окончилась трагически, потому что жена Констана приревновала его къ Сталь и, въ порывѣ отчаянія, приняла ядъ; къ счастью, пріемъ былъ недостаточно силенъ, и ее успѣли спасти.

Возвратившись изъ Италіи, Сталь жила лѣто и зиму въ Коппѣ, изрѣдка дѣлая экскурсіи въ тѣ города Франціи, гдѣ ей позволено было жить. Въ 1807 году, пользуясь отсутствіемъ Наполеона, бывшаго тогда въ прусскомъ походѣ, Сталь рискнула приблизиться къ Парижу на нѣсколько миль ближе. Наполеонъ узналъ объ этомъ послѣ сраженія при Прейсишъ-Эйлау и писалъ къ Камбасересу: „До свѣдѣнія моего дошло, что г-жа Сталь находится близъ Парижа. Я уже далъ приказъ министру полиціи немедленно препроводить ее обратно въ Женеву. Эта особа продолжаетъ свое ремесло интриганки; она—настоящая чума (c'est

*) Извѣстно, что Констанъ съ своей стороны отплатилъ Сталь, изобразивъ ее въ лицѣ Элеоноры въ своемъ романѣ „Адольфъ“. См. статью Pons'a „Les Femmes d'Adolphe“, предпосланную вышедшему въ прошломъ году новому изданію „Адольфа“ въ Bibliothèque de luxe.

une véritable peste). Я васъ прошу немедленно сообщить все это Фушѣ, иначе я принужденъ буду приказать жандармамъ водворить ее на мѣсто жительства“. Въ особенности бѣсило Наполеона, что эта женщина, представительница ненавистныхъ ему традицій XVIII в., возбуждала всеобщее участіе въ Европѣ, что она пользовалась большимъ уваженіемъ, что въ ея гостиной въ Коппе можно было встрѣтить не только всѣхъ европейскихъ знаменитостей, но даже принцевъ крови. Не зная, чѣмъ досадить ей, Наполеонъ запрещалъ и уничтожалъ ея сочиненія (такъ, въ 1810 г., по личному приказанію Наполеона, было сожжено десять тысячъ экземпляровъ ея книги *De l'Allemagne*, предварительно пропущенной цензурой), преслѣдовалъ людей, которые показывали ей дружбу и участіе (такъ, онъ изгналъ изъ Франціи *м-те Рекамье*, *Матье де-Монморанси*, *Б.-Констана* и др.), окружилъ ее шпионами, слѣдившими за каждымъ ея шагомъ и т. д. Въ особенности огорчало Сталь, что, съ одной стороны, она была причиной несчастій, обрушившихся на друзей ея, съ другой, что люди, на преданность которыхъ она имѣла полное право рассчитывать, либо малодушно отступились отъ нея, боясь компрометировать себя въ глазахъ правительства, либо совѣтовали ей смирить свой гордый духъ и сдѣлать шагъ къ сближенію съ Наполеономъ. Измученная всѣмъ этимъ, Сталь послѣ долгихъ колебаній рѣшилась навсегда покинуть Европу и искать себѣ и дѣтямъ новаго отечества въ свободной Америкѣ. О нравственномъ состояніи ея въ это время можно судить по письму ея къ *Камиль Жордану* отъ 3 октября 1811 г.: „Я не обвиняю васъ въ томъ, что вы отказались пріѣхать ко мнѣ; получивъ вашъ отказъ, я не ожидала новаго пароксизма преслѣдованія, неожиданно обрушившагося на меня. Еслибъ я могла его предвидѣть, конечно, я всѣми силами противодѣйствовала бы великодушію *Матье де-Монморанси*, какъ противодѣйствовала впоследствии, но безуспѣшно, великодушному поступку *м-те Рекамье*. Мнѣ кажется смѣшнымъ баронъ *Фохтъ* съ своимъ предпочтеніемъ излюбленныхъ мѣстъ друзьямъ; но когда дѣло идетъ объ изгнаніи, нельзя причинить мнѣ большаго горя, какъ подвергать себя этому бѣдствію ради меня, и я буквально умираю отъ страданій за друзей моихъ. Здоровье мое, когда-то очень крѣпкое, теперь разрушено, и весьма возможно, что я не вынесу переѣзда черезъ океанъ. Но мнѣ все равно. Я предпочитаю это положеніе тому пути, посредствомъ котораго мнѣ предлагаютъ выйти изъ него, и скажу вамъ прямо, такъ сказать со всеі высоты моей души, что въ

дѣлѣ нравственнаго достоинства обстоятельства поставили меня такъ высоко, какъ это возможно, и что по милости Божіей я смѣло думаю, что моимъ поведеніемъ подаю благородный примѣръ нашему вѣку“ *).

VII.

Второе замужество Сталь помѣшало ея планамъ переселенія въ Америку. Проѣзжая Женеву въ 1811 г., Сталь познакомилась съ однимъ молодымъ и красивымъ французскимъ офицеромъ де-Роккѣ, который лѣчилъ тамъ отъ ранъ, полученныхъ имъ въ испанской войнѣ. Сталь приняла горячее участіе въ юномъ страдальцѣ, окружила его всеми удобствами, навѣщала его, читала ему вслухъ и т. д. По мѣрѣ своего выздоровленія, молодой человѣкъ все болѣе и болѣе привязывался къ Сталь, считая ее своей спасительницей. „Я полюблю ее такъ, что она согласится быть моею женою“ — сказалъ онъ одному изъ своихъ друзей. „Да, помилуй“, — возражалъ другъ, — „вѣдь она годится тебѣ въ матери“. „Тѣмъ лучше“ — отвѣчалъ влюбленный Роккѣ — „ея возрастъ въ моихъ глазахъ — новое основаніе любить ее“. Сначала Сталь и слышать не хотѣла объ этомъ замужествѣ; она боялась сдѣлаться смѣшной въ глазахъ общества, выйдя замужъ за человѣка моложе ея двадцатью годами, но, тронутая силой и искренностью его привязанности, она согласилась обвѣнчаться съ нимъ тайно. Даже дѣти ничего не знали о новомъ бракѣ матери, и только на смертномъ одрѣ она имъ созналась во всемъ. Весной 1812 г., когда преслѣдованія со стороны швейцарскихъ властей сдѣлались особенно невыносимы, Сталь, взявъ своихъ дѣтей и въ сопровожденіи Роккѣ, рѣшилась бѣжать черезъ Австрію и Россію въ Швецію, гдѣ шведскій король Бернадотъ, очень уважавшій Сталь, предлагалъ ей вѣрное убѣжище. Сталь приняла приглашеніе и, пробывъ нѣкоторое время въ Москвѣ и Петербургѣ, поспѣшила отправиться въ Швецію, гдѣ написала свои записки, изданныя впослѣдствіи ея сыномъ, подъ заглавіемъ: „Dix années d'Exil“.

Передъ отъѣздомъ изъ Швеціи Сталь возобновила свою переписку съ Констаномъ, прерванную по желанію Роккѣ, который

*) Замѣчательное письмо, изъ котораго мы привели отрывокъ, можно найти въ статьѣ С.-Бёва: „Camille Jordan et m-me de Staël“, въ XII томѣ его „Nouveaux Lundis“.

вначалѣ ревновалъ ее къ прежнему любовнику. Изъ Швеціи Сталь переѣхала въ Англію, гдѣ оставалась до тѣхъ поръ, пока Наполеонъ не былъ разбитъ и заключенъ на островъ Эльбу. Тогда она возвратилась въ Парижъ послѣ десятилѣтняго изгнанія. Констанъ, прибывшій въ Парижъ раньше ея, вмѣстѣ съ союзниками, сдѣлался теперь горячимъ сторонникомъ возстановленія Бурбоновъ, подъ условіемъ необходимыхъ конституціонныхъ гарантій. Съ этою цѣлью онъ писалъ статьи въ „Journal des Débats“, издавалъ брошюры и т. д. Сталь поощряла его въ этомъ направленіи и приобрѣла на его имя недвижимую собственность, дававшую ему возможность быть избраннымъ въ палату депутатовъ. Но едва Сталь успѣла уѣхать въ Коппѣ, какъ ея легкомысленный другъ, влюбившись въ прекрасную роялистку m-me Рекамье, забылъ свои конституціонныя гарантіи и сдѣлался въ угоду ей самымъ яркимъ роялистомъ. Между тѣмъ событія шли съ невѣроятной быстротой. Вновь основанная монархія колебалась въ своихъ основаніяхъ. Наполеонъ, бѣжавшій съ острова Эльбы, торжественно подходилъ къ Парижу. Въ это-то время, именно 19 марта 1815 г., въ „Journal des Débats“ появилась громовая статья Констана противъ Наполеона, за которую правительство немедленно заплатило ему нѣсколько тысячъ франковъ. Начавъ съ характеристики Наполеона и призывая всѣхъ искреннихъ патриотовъ возстать противъ этого Аттилы и Чингисхана новыхъ временъ, Констанъ затѣмъ переходитъ къ самому себѣ и торжественно произноситъ свое *profession de foi*: „Нѣтъ, я не пойду жалкимъ перебѣзчикомъ отъ одного правительства къ другому, не стану оправдывать свой позоръ разными софизмами и бормотать безчестныя слова, чтобъ ими спасти жалкое существованіе... На сторонѣ короля — спокойствіе, свобода и миръ; на сторонѣ Бонапарта — рабство, анархія и война“ и т. д. Кто бы могъ повѣрить, что человѣкъ, такъ громившій Наполеона, не далѣе какъ черезъ три недѣли повѣритъ его обѣщаніямъ и сдѣлается членомъ его правительства? А между тѣмъ такъ дѣйствительно и случилось. Сталь, бывшая во время „ста дней“ въ Италіи, съ глубокимъ огорченіемъ услышала объ этомъ новомъ доказательствѣ политической безхарактерности своего друга, и послала ему негодующее письмо. Желая привлечь на свою сторону всѣ партіи, Наполеонъ, вѣроятно по совѣту Констана, настоятельно просилъ Сталь вернуться въ Парижъ и помочь своимъ вліяніемъ утвержденію новой конституціонной монархіи. Когда Сталь узнала объ этомъ, она дала весьма характеристическій отвѣтъ: „двадцать

лѣтъ обходились безъ меня и конституціи,— и теперь легко обойдутся безъ насъ обѣихъ“. На предложеніе же правительства возвратить ей два милліона ссуды, нѣкогда данной ея отцомъ правительству, она отвѣтила, что желала бы получить эту ссуду по праву, а не какъ милость. Никакія лестныя предложенія не заставили ее двинуться изъ Италіи. Она возвратилась въ Парижъ только по отреченіи Наполеона отъ престола. Здѣсь она снова встрѣтилась съ Констаномъ, который стоялъ теперь во главѣ либеральной оппозиціи. Она простила ему увлеченіе Наполеономъ и Бурбонами, какъ прощала прежде увлеченія женщинами; она поддерживала его въ борьбѣ за конституціонные принципы, которымъ снова грозила опасность. Смерть ея, послѣдовавшая 14 іюля 1817, поразила Констана больше, чѣмъ можно было ожидать отъ его легкомысленнаго характера. Онъ запирался по цѣлымъ днямъ въ своемъ кабинетѣ, все перечитывалъ ея письма, а ночи проводилъ безъ сна, сляясь въ азартной игрѣ заглушить грызущую его тоску.

Пробѣгая въ памяти всю жизнь Сталь, невольно привязываешься къ ея симпатичной и крайне оригинальной личности. Двѣ черты преобладаютъ въ ея нравственномъ характерѣ—страстная потребность любви, жертвы, самоотверженія и не менѣе страстная любовь къ свободѣ. И та, и другая были проникнуты въ ней той сердечностью, которая составляетъ подкладку всей ея нравственной природы. Она была, по счастливому выраженію Мопти, вся сердце (*tutto cuore*). Во всемъ XIX-мъ в. трудно встрѣтить другую женщину, которая бы въ такой степени соединяла въ себѣ женственность со всѣми ея достоинствами и недостатками, съ страстной любовью къ свободѣ и неподкупной гражданской честностью. „Когда подумаешь“, говорить Шпильтгагенъ *), „что эта женщина, въ другихъ отношеніяхъ истая француженка, нисколько не была ослѣплена побѣдами, блескомъ и помпой имперіализма, когда вспомнишь, что она первая своимъ чуткимъ сердцемъ узнѣла восходящую зарю деспотизма, которая настала такъ скоро, какъ не могли ожидать и мудрейшіе изъ мудрыхъ, то ей нельзя отказать въ удивленіи помимо литературнаго таланта. Оппозиціонное отношеніе ея къ Наполеону только отчасти объясняется ея семейными преданіями и связями. Нѣтъ

*) Въ предисловіи къ немѣцкому пореводу „Коринны“, въ „Bibliothek ausländischer Klassiker Band“ 77.

никакого сомнѣнія, что въ основѣ этого отношенія лежала неугасимая любовь къ свободѣ, въ которой она видѣла *единое на потребу*. Что это тяготѣніе къ свободѣ было, такъ-сказать, имманентно, присуще ея душѣ, видно изъ того, что она преслѣдовала деспотизмъ во всѣхъ сферахъ жизни. Возставая противъ политическаго цезаризма, который ставилъ свою личную волю выше совокупной воли народа, она въ своихъ романахъ ведетъ неустанную борьбу съ цезаризмомъ жизни, деспотизмомъ общественнаго мнѣнія, отнимающимъ у личности священное право самоопредѣленія“. Приведенная нами блестящая характеристика Сталь вполне подтверждается всѣми доселѣ извѣстными фактами ея біографіи. Вѣрность принципу придаетъ единство всѣмъ разнообразнымъ эпизодамъ ея жизни. Она заплатила дань своей страстной природѣ и много увлекалась, но ни разу не поступилась своими убѣжденіями въ пользу чувства; напротивъ того, сама вдохновляла другихъ въ священной борьбѣ съ Наполеономъ за свободу, и въ продолженіе цѣлыхъ двадцати лѣтъ была, какъ выразился о ней Наполеонъ, и Клориндой, и Армидой оппозиціи его режима. Полная вѣры въ силу права и въ свое человѣческое достоинство, она предпочла скорѣй страдать, чѣмъ склонить свое знамя передъ торжествующимъ деспотизмомъ, и въ этомъ отношеніи имѣла полное право сказать о себѣ, что ея жизнь можетъ служить поучительнымъ примѣромъ нашему времени.

Послѣсловіе. Статья наша была написана въ 1879 г. Съ тѣхъ поръ вышла въ свѣтъ обширная трехтомная біографія М-ше Сталь, составленная лэди Бленергассетъ, появились характеристики ея личности, подписанныя именами такихъ знатоковъ дѣла, какъ Сорель и Фагэ, и, наконецъ, въ 1895 г. былъ изданъ секретный *Дневникъ* Констана, бросающій много свѣта на отношенія его къ Сталь. Высокая автобіографическая цѣнность этого памятника видна между прочимъ изъ того, что Констанъ писалъ его для себя и ни въ какомъ случаѣ не предназначалъ для печати. Желая съ этой цѣлью обмануть своихъ наслѣдниковъ, Констанъ нарочно написалъ его греческими буквами, но хитрость не удалась и *Дневникъ* былъ изданъ, хотя и не вполне *). Но зато отношенія Сталь къ Констану рисуются здѣсь въ новомъ свѣтѣ, и окончательно рѣшается любопытный вопросъ, почему послѣ смерти

*) Journal Intime de Benjamin Constant. Paris 1895.

мужа Сталь въ 1802 г. любовь ея къ Констану не увѣнчалась бракомъ, котораго они, повидимому, должны были желать и отъ котораго они оба отказались безъ особой борьбы. Теперь выяснилось, что главною причиною отказа было непомерное самолюбіе обоихъ любовниковъ. Не желая промѣнять свое славное въ литературѣ имя на менѣе извѣстное имя Констана, Сталь предлагала ему тайный бракъ, на что тотъ тоже изъ самолюбія не согласился.— Впрочемъ, Констанъ не особенно настаивалъ на бракѣ и по другимъ причинамъ: во-первыхъ, любовь его къ Сталь уже успѣла къ этому времени значительно охладѣть и готова была перейти въ дружбу, о которой и слышать не хотѣла Сталь, а во-вторыхъ, важнымъ препятствіемъ къ браку былъ для Констана безпокойный характеръ Сталь, исключавшій всякую возможность тихой семейной жизни, о которой постоянно мечталъ утомленный житейскими бурями Констанъ. Изъ *Дневника* видно, сколько Констану приходилось терпѣть отъ властнаго и необузданнаго характера своей геніальной подруги. „Я никогда,—пишетъ онъ,—не встрѣчалъ женщины, у которой было бы столько прелести и преданности, но я также не встрѣчалъ женщины до такой степени требовательной, до такой степени способной подавлять все окружающее своею рѣзко опредѣленной личностью. Минуты, часы, годы—все должно быть въ ея распоряженіи, а когда она предается гнѣву, то его можно сравнить развѣ съ ураганомъ или землетрясеніемъ“. Одну изъ такихъ вспышекъ гнѣва и описываетъ Констанъ въ своемъ *Дневникѣ*. „Когда мы остались вдвоемъ,—говоритъ онъ,—буря мало-по-малу разыгралась. Ужасная сцена длилась до трехъ часовъ утра на тему, что я человѣкъ безчувственный, не заслуживающій никакого довѣрія, что мои чувства находятся въ противорѣчіи съ моими поступками. Увы! я тщетно пытался избѣжать монотонныхъ жалобъ не на реальныя невзгоды, а на общіе законы природы и въ особенности на старость. Послѣ десятилѣтней связи отъ меня требовали любви, несмотря на то, что мы оба приближались къ сорокалѣтнему возрасту, несмотря на то, что я сотни разъ повторялъ, что моя любовь прошла. Если мнѣ случалось иногда и утверждать противное, то это происходило вслѣдствіе конвульсій скорби и ярости, которыя приводили меня въ ужасъ.—Нужно, однакожъ, или разстаться съ нею, оставшись ея другомъ, или со-всѣмъ исчезнуть въ лица земли“. Въ особенности Сталь бушевала, когда провѣдала намѣреніи Констана жениться на Шарлоттѣ Гандербергъ. Послѣдняя, любившая Констана уже много лѣтъ, обладала всѣми тѣми качествами, которыхъ не было у Сталь—

кротостью, скромностью и ровнымъ характеромъ. Но, не щадя Сталь, рѣзко обличая ея мелочность, тщеславіе, невыносимый характеръ, Констанъ—нужно отдать ему справедливость—не щадилъ и себя. Жалкое зрѣлище представляетъ собою этотъ высоко-даровитый, но крайне безхарактерный человѣкъ, который, хорошо зная, что ему дѣлать, изнываетъ, подобно Гамлету, въ безплодныхъ колебаніяхъ и сѣтованіяхъ и тѣмъ причиняетъ массу страданій и себѣ и Шарлоттѣ. Желая, съ одной стороны, успокоить Сталь и щадить самолюбіе своей невѣсты, которая догадывалась, что происходитъ въ его душѣ, Констанъ перебѣгалъ отъ одной возлюбленной къ другой и поочередно обманывалъ ихъ обѣихъ. Въ концѣ концовъ, однакожъ, разрывъ съ Сталь былъ неизбѣженъ. Въ іюнѣ 1808 г. Констанъ женился на Шарлоттѣ, но едва успѣлъ жениться, какъ его охватила тоска по Сталь. Добрая и тихая Шарлотта показалась ему безцвѣтной и скучной въ сравненіи съ увѣнчанной ореоломъ генія прежней возлюбленной, и онъ уже начиналъ раскаиваться въ поспѣшно сдѣланномъ шагѣ. „Какъ горька моя жизнь!—воскликаетъ онъ. Какъ я былъ глупъ! М-те Сталь потеряна для меня, и отъ этого удара я не оправлюсь!“ Онъ снова пытается увидѣться съ М-те Сталь, провожаетъ ее въ Ліонъ, повидимому, не сознавая, какую рану онъ наноситъ этимъ женѣ. Онъ ведетъ себя такъ безтактно, что оскорбленная въ своихъ чувствахъ и своемъ женскомъ достоинствѣ Шарлотта дѣлаетъ попытку отравиться... Исторія Сталь и Констанъ—эта исторія столкновенія женщины огненного темперамента съ человѣкомъ совершенно неспособнымъ ни на сильную страсть, ни на глубокое всепоглощающее чувство, но способномъ постоянно увлекаться. Сталь правда много требовала отъ любимаго человѣка, но за то отдавалась ему вся до послѣдняго изгиба своей души. Констанъ же, какъ всѣ разсудочные и рефлектирующіе люди, закипалъ только на время и не могъ отдаться весь, хотя бы и хотѣлъ. Отсюда произошла драма, отъ которой сердца обоихъ любовниковъ не разъ исходили кровью.





Вліяніє Байрона на європейекія літературы.

Могучая поезія Байрона наклала свою оригінальную и неизгладимую печать на європейскую літературу первой половины настоящего столѣтія. Помимо геніальнаго таланта Байрона, были двѣ причины, содѣйствовавшія популярности его поэзіи на континентѣ. Перзая заключалась въ космополитическомъ характерѣ этой поэзіи, вторая—въ тѣхъ историческихъ условіяхъ, среди которыхъ она возникла. Разорвавъ съ неблагодарной родиной, оказавшейся для него не матерью, но злой мачихой, Байронъ провель почти половину своей жизни въ странствованіяхъ по Европѣ и, оставаясь англійскимъ лордомъ по своимъ инстинктамъ и привычкамъ, мало-по-малу сдѣлался чистымъ космополитомъ по своимъ убѣжденіямъ. Интересы свободы и человѣчества были всегда въ его глазахъ выше интересовъ національных; даже сюжеты своихъ произведеній онъ заимствовалъ не изъ англійской жизни, но изъ жизни различныхъ народовъ Европы. Не даромъ Гёте называлъ его всемірнымъ гражданиномъ и привѣтствовалъ въ немъ провозвѣстника той общечеловѣческой, всемірной літературы, скорое наступленіе которой онъ не разъ предсказывалъ. Второй причиной всеобщаго увлеченія поэзіей Байрона было то обстоятельство, что она пришлась какъ разъ ко времени, что могучіе звуки ея раздались въ удушливой атмосферѣ, созданной все болѣе и болѣе усиливавшейся въ Европѣ реакціей идеямъ XVIII в., завершившейся учрежденіемъ священнаго союза. Поэзія Байрона возстановила связь между прерванными традиціями XVIII в. и начинавшимся пробужденіемъ умовъ въ XIX в.; выражая свои чувства, онъ въ то же время выражалъ чувства общія. Вотъ почему вся задыхавшаяся въ удушливой атмосферѣ реакціи либеральная партія въ Европѣ увидѣла въ немъ своего поэтического

вождя и жадно прислушивалась къ его пѣснямъ, громившимъ гнетъ и тираннію и призывавшимъ народы къ священной борьбѣ за свободу. Апостольскія личности въ борьбѣ съ общественными предрассудками, протестъ противъ политическаго и соціальнаго гнета, горячее сочувствіе къ бьющимся за свою свободу народамъ, неудовлетвореніе и пресыщеніе безцѣльной жизнью и тѣсно связанный съ нимъ скептицизмъ, доходящій порой до мизантропіи и отчаянія, и рядомъ съ этимъ поэтическій восторгъ передъ вѣчными юными красотоми природы, на лонѣ которой человѣкъ находитъ нѣкоторое облегченіе отъ терзающихъ его жизненныхъ противорѣчій—таковы основныя черты и идейное содержаніе того направленія, которое извѣстно въ европейской литературѣ подъ именемъ байронизма.

Ранѣе другихъ континентальныхъ странъ Байронъ былъ оцененъ въ Германіи. Починъ въ этомъ отношеніи былъ данъ самимъ Гёте, считавшимъ Байрона величайшимъ поэтомъ XIX в. и поддерживавшимъ своимъ авторитетомъ его только-что начинавшуюся популярность въ Германіи. Въ бесѣдахъ Гёте съ его секретаремъ Эккерманомъ не разъ заходила рѣчь о Байронѣ, и всякій разъ Гёте отдавалъ полную справедливость генію англійскаго поэта. „То, что я считаю изобрѣтеніемъ въ поэзіи“,—сказалъ однажды Гёте Эккерману,—ни у кого не достигаетъ такой высокой степени развитія, какъ у Байрона. Способа, которымъ онъ развязываетъ драматическую интригу, никогда нельзя предвидѣть, и онъ всегда выше ожидаемаго читателемъ“. Вообще Гёте былъ весьма высокаго мнѣнія о драматическихъ произведеніяхъ Байрона, которыя признаются критикой слабѣ всего имъ написаннаго. Онъ удивлялся искусству, съ какимъ Байронъ, обладавшій такой мощной индивидуальностью, сумѣлъ совершенно скрыться за дѣйствующими лицами своихъ драмъ, особенно въ Марино Фальеро. По мнѣнію Гёте, въ характерѣ Байрона было нѣчто общее съ Т. Тассо, хотя сравненіе ихъ талантовъ могло только повредить италіанскому поэту. «Байронъ это—воспламененный кустарникъ, который можетъ превратить въ пепелъ священный кедръ Ливана. Великая эпопея Т. Тассо сохраняла свою славу въ теченіе вѣковъ, но Освобожденный Іерусалимъ можно совершенно уничтожить однимъ стихомъ изъ Д. Жуана“. Сожалѣя о преждевременной смерти англійскаго поэта, Гёте былъ того мнѣнія, что для литературы эта потеря безразлична, ибо онъ не могъ пойти дальше того, до чего дошелъ. „Байронъ коснулся уже вершинъ творчества и во всемъ, что бы онъ ни написалъ впослѣдствіи, онъ

не могъ бы переступить границъ, очерченныхъ вокругъ его таланта. Въ своей несравненной поэмѣ „Видѣніе Суда“ онъ достигъ высшей точки возможнаго для него совершенства“. Когда однажды его собесѣдникъ, вѣроятно, подъ вліяніемъ отзывовъ реакціонной англійской печати, выразилъ сомнѣніе, чтобы произведенія Байрона оказали полезное вліяніе на умственное развитіе чело-вѣчества, Гёте возразилъ ему довольно рѣзко: „Я не раздѣляю этого мнѣнія. Да и почему вы думаете, что смѣлость, дерзость и грандіозность Байрона сами по себѣ не могутъ способствовать нашему развитію? Нужно остерегаться признавать образовательное значеніе только за тѣмъ, что безусловно въ нравственномъ отношеніи; все великое можетъ содѣйствовать нашему развитію, если только мы сумѣемъ понять, въ чемъ состоитъ его величіе“. Въ другой разъ, разговаривая съ Эккерманомъ по поводу недо-конченной фантастической драмы „*Deformed Transformed*“, Гёте воскликнулъ: „Я снова перечелъ ее и долженъ сознаться, что талантъ Байрона показался мнѣ на этотъ разъ еще болѣе могу-чимъ. Его дьяволъ, очевидно, сродни моему Мефистофелю, но это нельзя назвать подражаніемъ, ибо все здѣсь ново и оригинально. Нѣтъ ни одного мѣста величиною съ булавочную голов-ку, которое было бы слабо, въ которомъ не просвѣчивали бы тверчество и умъ. Не будь у Байрона меланхоліи и отрицанія, онъ могъ бы сравниться съ Шекспиромъ и древними“. Кромѣ переводовъ нѣсколькихъ отрывковъ изъ „Д. Жуана“ и „Манфре-да“, Гёте заплатилъ дань удивленія и симпатіи генію Байрона, изобразивъ его подъ видомъ Эвфоріона во второй части „Фауста“. Въ этомъ фантастическомъ существѣ, сынѣ Фауста и троянской Елены, мелькнувшемъ какъ метеоръ и сдѣлавшемся жертвой своей отваги, прекрасно олицетворенъ безпокойный духъ и по-рывистое стремленіе къ свѣту и свободѣ, которое отличало Бай-рона. Сѣтованіе хора о безвременно погибшемъ юношѣ есть едва-ли не лучшая характеристика Байрона:

„Плачь не нуженъ погребальный:
Намъ завиденъ жребій твой!
Жилъ ты свѣтлый, но печальный,
Съ гордой пѣснью и душой.
Ахъ! рожденъ для счастья былъ ты!
Древній родъ твой славенъ былъ.
Рано самъ себя сгубилъ ты,
Въ полномъ цвѣтѣ юныхъ силъ.
Все имѣлъ ты: взглядъ глубокій,
Быстрый умъ и сердца жаръ,

И любовь жены высокой,
И чудесныхъ пѣсень даръ.
Ты летѣлъ не удержи́мо,
Въ даль невольно увлеченъ,
Ты презрѣлъ неукротимо
И обычай, и законъ.
Свѣтлый умъ къ дѣламъ чудеснымъ
Душу чистую привелъ:
Ты погнался за небеснымъ,
Но его ты не нашелъ.
Кто найдетъ? Вопросъ печальный!
Рокъ отвѣта не даетъ.
Въ дни, когда многострада́льный,
Весь въ крови, молчитъ народъ“.
(Переводъ Холодковского).

Оплакавъ такими теплыми поэтическими слезами гибель Байрона, Гёте читилъ въ немъ главнымъ образомъ возвышенныя стремленія и крупную поэтическую силу. Къ политическимъ тенденціямъ Байрона германскій олимпіецъ былъ совершенно равнодушенъ и едва ли придавалъ имъ большое значеніе. Но послѣдующее поколѣніе поэтовъ, въ которомъ негодованіе противъ торжествующей реакціи чередовалось съ приливами мизантропіи и унынія, происходившими отъ сознанія своего безсилія, увидало въ Байронѣ своего вождя, а въ его произведеніяхъ боевой кличъ, призывающій къ борьбѣ за поправленія права человѣческой личности. Такой взглядъ на Байрона господствуетъ у поэтовъ Юной Германіи, которые находились къ нему почти въ такихъ же вассальныхъ отношеніяхъ, въ какихъ ихъ предшественники, поэты Sturm und Drang, находились къ Шекспиру. Уже въ вышедшихъ въ 1822 году юношескихъ стихотвореніяхъ самаго крупнаго поэта Юной Германіи Гейне мы находимъ нѣкоторые изъ основныхъ элементовъ байронизма,—обстоятельство, тогда же замѣченное критикой. „Пѣсни Гейне,—писалъ Иммерманъ,—пропитаны недовольствомъ, нерѣдко доходящимъ до ярости и отчаянія. Горькое негодованіе противъ невыносимаго настоящаго, глубокая ненависть къ современному порядку вещей всецѣло овладѣли нашимъ Гейне, и этимъ объясняется, что изъ 53 стихотвореній, написанныхъ юношей, нѣтъ ни одного, изъ котораго бы вѣяло веселымъ и радостнымъ настроеніемъ. Нѣкоторое сходство замѣчается между этими стихотвореніями и произведеніями лорда Байрона, къ которымъ нашъ соотечественникъ, повидимому, питаетъ особенное сочувствіе. Сравненіе ихъ другъ съ другомъ можетъ послужить отчасти къ выгодѣ, а отчасти и къ невыгодѣ

для нашего поэта. Никто сильнѣе Байрона не умѣетъ изобразить страшную пропасть растерзанной души человѣка, и въ этомъ отношеніи Гейне можетъ слѣдовать за нимъ развѣ въ почтительномъ отдаленіи. Но зато у нашего поэта больше свѣжести и бодрости. Для него еще возможно любоваться поэзіей извѣстнаго явленія, тогда какъ Байронъ одинаково презираетъ и божественное, и человѣческое, и временное, и вѣчное. Годъ спустя послѣ этой рецензіи Гейне издалъ въ свѣтъ свою трагедію „Ратклифъ“, герой которой имѣетъ несомнѣнное сходство съ любимымъ байроновскимъ образомъ падшаго ангела. Смерть Байрона глубоко поразила Гейне. „Это былъ единственный человѣкъ,—писалъ онъ Мозеру,—съ которымъ я чувствовалъ духовное родство, и во многихъ отношеніяхъ насъ можно сравнить другъ съ другомъ“. Повидимому, смерть Байрона еще болѣе укрѣпила это духовное родство, потому что въ послѣдующихъ произведеніяхъ Гейне нерѣдко замѣчаются байроновскіе мотивы и байроновская манера. Чудныя, какъ бы подернутыя меланхоліей описанія природы въ *Reisebilder* невольно приводятъ на память подобныя же картины въ *Чапильдъ-Гарольдѣ*, а проникнутое ѣдкой ироніей описаніе нѣмецкихъ порядковъ въ „Зимней Сказкѣ“ до такой степени носитъ на себѣ отпечатокъ байроновской манеры, что кажется отрывкомъ изъ „Д. Жуана“. Предѣлы отмѣренного для моего сообщенія времени не позволяютъ мнѣ прослѣдить даже въ краткомъ очеркѣ вліяніе байронизма на нѣмецкую поэзію первой половины настоящаго столѣтія; замѣчу толькo что вліяніе это сказывается въ болѣе или менѣе сильной степени въ „Греческихъ Пѣсняхъ“ Вильгельма Мюллера, въ „Польскихъ Пѣсняхъ“ Платена, въ Д. Жуанѣ“ Ленау, въ „Шильонскомъ Узникѣ“ Морица Гартмана, въ стихотвореніяхъ нѣмецко-американскаго поэта Дранмора, въ политической лирикѣ Гервега и т. д. Популярность Байрона въ Германіи доказывается, сверхъ того, множествомъ стихотворныхъ переводовъ отдѣльныхъ его произведеній на нѣмецкій языкъ, количество которыхъ развѣ немного уступить количеству переводовъ изъ Шекспира.

Тѣ же причины, которыя способствовали популярности поэзіи Байрона въ Германіи, существовали, пожалуй, еще въ большей степени во Франціи: и тамъ, и здѣсь реакція создала удобную почву для воспріятія поэзіи борьбы, отчаянія и проклятія. „Всю нравственную болѣзнь нашего столѣтія,—какъ выразился въ одномъ мѣстѣ Альфредъ-де-Мюссе,—можно объяснить изъ двухъ причинъ. Народъ нашъ, продѣлавшій 1793 и 1814 г., носитъ въ

своемъ сердцѣ двѣ раны: того, что было—нѣтъ и то, что должно быть—еще не наступило. Нечего искать другихъ причинъ и объясненій нашей міровой скорби“. Самымъ раннимъ представителемъ байронизма во Франціи былъ Ламартинъ. Сообразно складу своей мягкой и сентиментальной натуры, Ламартинъ могъ усвоить себѣ только нѣкоторыя стороны байронизма, которымъ придалъ сентиментальный оттѣнокъ. Считая Байрона падшимъ ангеломъ, Ламартинъ возымѣлъ оригинальную и назидательную мысль примирить его съ Богомъ и церковью и съ этой цѣлью вскорѣ послѣ смерти Байрона издалъ окончаніе Чайльдъ-Гарольда („Le dernier chant du pèlerinage de Child Harold“), въ которомъ онъ заставляетъ Чайльдъ-Гарольда раскаяться, отказаться, отъ своихъ скептическихъ воззрѣній и умереть смертью вѣрующаго христіанина на поляхъ Греціи. Въ заключительномъ обращеніи къ лорду Байрону, Ламартинъ, сопоставляя себя съ умершимъ поэтомъ, увѣряетъ, что судьба его имѣетъ много общаго съ судьбой Байрона, что, подобно послѣднему, и ему довелось осушить отравленный кубокъ (J'ai vidé comme toi la coupe empoisonnée). Вдохновленный Байрономъ, Ламартинъ написалъ свою извѣстную оду къ Наполеону и свою безконечную поэму „La chute d'un Ange“, но оба подражанія безконечно ниже своего образца, не говоря уже о томъ, что они не вполне проникнуты байроновскимъ духомъ. По слѣдамъ Ламартина пошло немало поэтовъ романтической школы, издавшихъ въ свѣтъ массу стихотвореній, въ которыхъ они воспѣвали и Байрона, и востокъ, и свободу Греціи. С. Бѣвъ въ свое время зло и остроумно посмѣялся надъ ихъ бездарными произведеніями, но не нужно забывать, что памятникомъ этого увлеченія Греціей и востокомъ были, между прочимъ, „Les Orientales“ Виктора Гюго и Мессенскія элегіи „Les Messeniennes“ Казимира Делявиня. Хотя Альфредъ-де-Мюссе и отвергалъ мнѣніе критиковъ, что онъ въ своей поэмѣ „Namouna“ подражалъ Байрону и съ гордостью утверждалъ, что онъ пьетъ изъ своего собственнаго кубка, какъ онъ ни малъ (Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre), но новѣйшая критика сумѣла отыскать во многихъ его произведеніяхъ слѣды пристальнаго изученія Байрона, между прочимъ, въ его „Порціи“, характеръ которой представляетъ много сходныхъ чертъ съ характерами Лары и Паризины, и въ его поэмѣ „Намуна“, гдѣ дѣйствуетъ легендарный Донъ-Жуанъ, и которая, какъ по формѣ, такъ и по поэтической манерѣ, напоминаетъ Байроновскаго Донъ-Жуана. Равнымъ образомъ вліяніе Байрона замѣтно въ раннихъ ро-

манахъ Ж. Сандъ. Выступивъ на борьбу съ обществомъ и его вѣковыми предрасудками за права женщины, Ж. Сандъ нашла себѣ сильную нравственную поддержку въ произведеніяхъ англійскаго поэта, раньше ея поднявшаго знамя индивидуализма и въ процессѣ общества съ личностью всегда стоявшаго на сторонѣ личности. Разница между ними состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, что Байронъ обвиняетъ въ эгоизмѣ и несправедливости все человѣчество, тогда какъ Ж. Сандъ только одну половину человѣческаго рода, поработившую, по ея словамъ, женщину и коварно придуманными законами и обычаями стѣснившую свободу ея чувства и лишившую ее дѣятельнаго участія въ общественной жизни. Къ числу восторженныхъ поклонниковъ Байрона нужно причислить такъ родственнаго ему по духу автора „Ямбовъ“ и „Гимна къ свободѣ“ — Огюста Барбье. Посѣтивъ Вестминстерское аббатство и не найдя тамъ праха Байрона, Барбье написалъ превосходное стихотвореніе „Westminster“, гдѣ вложилъ въ уста поэта трогательную жалобу на преслѣдованія, которымъ онъ подвергался при жизни, и на вражду, препятствующую и послѣ смерти найти успокоеніе подъ сѣнью національнаго пантеона, въ уголкѣ поэтовъ. Барбье объясняетъ эти преслѣдованія тѣмъ, что Байронъ смѣло обличалъ пороки своихъ соотечественниковъ, что онъ сорвалъ маску съ ихъ мнимой добродѣтели. Къ концу сороковыхъ годовъ вліяніе поэзіи Байрона проявляется во французской литературѣ все слабѣе и слабѣе, но за то количество переводовъ изъ Байрона и этюдовъ о немъ увеличивается. — Фактъ, доказывающій, что увлеченіе прошло и что наступило время изученія и серьезной критической оцѣнки произведеній англійскаго поэта. Впрочемъ, послѣдній лучъ байронизма блеснулъ еще не такъ давно въ „Tentation de Saint Antoine“ Флобера, гдѣ многое оказывается навѣяннымъ вторымъ актомъ байроновскаго Каина.

Изъ всѣхъ странъ Европы менѣе другихъ подверглась вліянію поэзіи Байрона столь любимая имъ и столь часто имъ воспѣваемая Италія. Строго говоря, Байронъ въ своихъ драматическихъ произведеніяхъ больше обязанъ Альфіери, чѣмъ Уго Фосколо ему. Раздробленная политически, страдающая отъ деспотизма австрійской династіи на сѣверѣ и бурбонской на югѣ, Италія была слишкомъ поглощена своимъ собственнымъ горемъ, чтобы переноситься въ идеальный міръ романтической поэзіи, слѣдить за демоническими героями въ борьбѣ ихъ съ обществомъ или предаваться космополитической міровой скорби. Вся ея новая

поэзія носить на себѣ мѣстный и патріотическій характеръ, преимущественно отзывается на злобу дня. Пессимистическіе мотивы, попадающіеся у Фосколо, Манцони и другихъ поэтовъ, имѣютъ мало общаго съ байроническимъ повѣтріемъ; въ большинствѣ случаевъ они представляютъ собою плоды патріотическаго отчаянія въ возрожденіи и свободѣ Италіи. Даже меланхолія Леопарди, самаго космополитическаго и философскаго изъ италіанскихъ поэтовъ, сильно обостряется жгучими воспоминаніями о прежней славѣ его родины и ея теперешнемъ униженіи. Вслѣдствіе указанныхъ причинъ, италіанскіе поэты вдохновляются только одной политической тенденціей поэзіи Байрона и оставляютъ въ сторонѣ другія стороны байронизма. Таковъ, напр., Джьовани Беркѣ (Verchet), поэтъ сѣверной Италіи, авторъ весьма популярныхъ патріотическихъ пѣсенъ, въ произведеніяхъ котораго знаменитый италіанскій критикъ Франческо де-Санктисъ видитъ несомнѣнные слѣды вліянія Байрона. Но, если въ силу указанныхъ обстоятельствъ байронизмъ оказалъ сравнительно незначительное вліяніе на характеръ италіанской поэзіи, нигдѣ за то личность англійскаго поэта не была такъ популярна, какъ въ Италіи. Долговременное пребываніе Байрона въ Италіи, его высокопоэтическія описанія Рима и Венеціи, его сочувствіе дѣлу италіанской свободы, наконецъ, его роскошная, загадочная, фантастическая жизнь въ Венеціи,—все это создало вокругъ его личности ореолъ, до сихъ поръ не совсѣмъ поблекшій. До сихъ поръ гондольеръ укажетъ вамъ на Canale Grande palazzo, гдѣ жилъ Байронъ, и при этомъ не преминетъ сообщить нѣсколько слышанныхъ имъ отъ отца или дѣда анекдотовъ о щедрости и эксцентричности англійскаго поэта.

Мнѣ еще остается сказать нѣсколько словъ о судьбѣ поэзіи Байрона въ нашемъ отечествѣ. Нашъ байронизмъ есть явленіе своеобразное, во многомъ отступающее отъ своего источника. И у насъ, какъ и на Западѣ Европы, къ поэзіи привились далеко не всѣ составные элементы байронизма. Политико-соціальная основа поэзіи Байрона, не имѣвшая корней въ самой жизни, была у насъ понята весьма немногими и оставила мало слѣдовъ въ литературѣ; байроновскій индивидуализмъ, апоэозъ личности въ борьбѣ ея съ обществомъ, превратился у насъ въ обожаніе собственной личности и презрительное отношеніе ко всякой чужой; перенесенное на русскую почву байроновское разочарованіе совершенно лишилось своего трагическаго характера и было понято весьма односторонне, какъ слѣдствіе жизненнаго пресыщенія,

Видоизмѣненный такимъ образомъ байронизмъ оказалъ не малое вліяніе не только на поэзію, но и на нравы нашей интеллигентной молодежи двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Москвичи въ Гарольдовыхъ плащахъ,—какъ ихъ мѣтко окрестилъ Пушкинъ,—вдругъ ни съ того ни съ сего почувствовали непонятное презрѣніе къ обществу, ни въ чемъ передъ ними неповинному; непризнанныя натуры стали относиться пренебрежительно къ общественной нравственности и освященнымъ вѣками обычаямъ и считали такое отношеніе признакомъ высшей породы. Всѣ эти видоизмѣненія байронизма могли только уронить въ глазахъ общества значеніе поэтического направленія, которое, взятое въ цѣломъ, дѣйствовало во всякомъ случаѣ благотворно, внося въ литературу массу новыхъ идей, чувствъ и поэтическихъ образовъ, поднимая нравственное достоинство человѣка, возбуждая въ немъ энтузіазмъ къ дѣлу свободы и ненависть къ насилію и всякаго рода соціальной неправдѣ. Знакомство русскаго общества съ поэзіей Байрона началось только за нѣсколько лѣтъ до смерти великаго поэта. Въ то время какъ вся Европа давно уже зачитывалась его произведеніями и съ страстнымъ участіемъ слѣдила за его судьбой, мы имѣли о немъ и о его поэзіи довольно смутное понятіе, да и то съ чужихъ словъ. Первые переводы изъ Байрона появляются въ русскихъ журналахъ не ранѣе 1819 г. Съ этихъ поръ интересъ къ его поэзіи видимо растетъ. Въ „Вѣстникъ Европы“, „Сынъ Отечества“ и другихъ журналахъ то и дѣло попадаютъ переводы изъ Байрона. Каченовскій, не знавшій англійскаго языка, спѣшитъ удовлетворить любознательность своихъ подписчиковъ, печатая въ „Вѣст. Евр.“ свои неуклюжіе переводы отдѣльныхъ произведеній Байрона съ французскаго. Гнѣдичъ, Ротчевъ и другіе переводятъ „Еврейскія Мелодіи“, а въ 1821 г. отецъ русскаго романтизма Жуковскій, лично не симпатизировавшій Байрону и даже, по свидѣтельству А. И. Тургенева, дремавшій надъ нимъ, тѣмъ не менѣе увлеченный общимъ потокомъ, издаетъ, хотя и съ нѣкоторыми смягченіями и сокращеніями, свой переводъ „Шильйонскаго Узника“. Наибольшій энтузіазмъ возбуждала поэзія Байрона въ либеральномъ кружкѣ русскихъ поэтовъ, во главѣ котораго стояли кн. Вяземскій и Пушкинъ. Вяземскій, жившій въ началѣ двадцатыхъ годовъ въ Варшавѣ, по словамъ Тургенева, бредилъ Байрономъ и переводилъ его мелкія стихотворенія, а сосланный на югъ Россіи Пушкинъ, по его собственному признанію, буквально сходилъ съ ума отъ Байрона; онъ подражалъ англійскому поэту въ привычкахъ и образѣ

жизни и, впадая подъ вліяніемъ чтенія Байрона въ мрачное настроеніе, давалъ ему исходъ въ мелкихъ стихотвореніяхъ. Таковы его стихотворенія „Погасло дневное свѣтило“ и „Я пережилъ свои желанья“, оба написанныя на югѣ Россіи въ 1820 и 1821 г. Смерть Байрона вызвала въ либеральномъ кружкѣ русскихъ поэтовъ самое живое и неподдѣльное сожалѣніе. Рылѣевъ, Кюхельбекеръ и кн. Вяземскій излили свое горе въ отдѣльныхъ стихотвореніяхъ. Благодаря любезности нашего сочлена, В. Е. Якушкина, я могу привести вамъ двѣ строфы изъ до сихъ поръ неизданной элегіи Рылѣева. Стихотвореніе это, помимо глубокаго чувства, замѣчательно тѣмъ, что въ немъ прекрасно понята политико-соціальная основа поэзіи Байрона. Изображая горе греческаго народа, лишившагося своего мужественнаго защитника, поэтъ восклицаетъ:

„Рыдая, вокругъ его кипить
Толпа шумящаго народа—
Какъ будто въ гробѣ томъ свобода
Воскресшей Греціи лежитъ.
Какъ будто цѣпи вѣковыя
Готовы вновь тягчить ее,
Какъ будто идутъ на нее
Султанъ и грозная Россія.
Царица гордая морей!
Гордись не силою гигантской,
Но прочной славой гражданской
И доблестью твоихъ дѣтей.
Палящій умъ, свѣтило вѣка,
Твой сынъ, твой другъ и твой поэтъ,
Увянулъ Байронъ въ цвѣтѣ лѣтъ
Въ святой борьбѣ за вольность грека.

Не послѣднимъ былъ въ выраженіи этого общаго горя русской поэзіи и Пушкинъ. Есть трогательное преданіе, что, получивъ извѣстіе о смерти своего любимаго поэта, Пушкинъ, по русскому обычаю, отслужилъ панихиду по рабѣ Божьему Георгію. Вся Россія знаетъ наизусть тѣ чудныя строфы, которыя посвящены памяти Байрона въ стихотвореніи „Къ морю“, гдѣ Пушкинъ называетъ англійскаго поэта властителемъ нашихъ думъ, пѣвцомъ, оплаканнымъ самою свободой. Что до вліянія Байрона на Пушкина, то оно оказывается далеко не такъ значительнымъ, какъ можно было ожидать, не говоря уже о томъ, что оно продолжалось не болѣе трехъ—четырехъ лѣтъ. Слѣды вліянія Байрона можно отыскать въ нѣкоторыхъ мелкихъ стихотвореніяхъ и

въ юношескихъ поэмахъ Пушкина. Съ особенной силою оно проявляется въ „Цыганахъ“, которыми и оканчивается краткій байроническій періодъ пушкинскаго творчества. Здѣсь не только встрѣчаются отдѣльные мотивы байронизма, но—что гораздо важнѣе—самый типъ героя сложился подъ вліяніемъ Байрона. Въ Алексѣе нѣтъ ничего русскаго, да и вообще въ немъ нѣтъ никакой національной окраски. Онъ появляется неизвѣстно откуда и неизвѣстно куда пойдетъ. Какъ явленіе русской жизни, онъ необъяснимъ, но онъ прекрасно объясняется какъ явленіе литературное, какъ родственное героямъ Байрона воплощеніе гордости и мятежнаго протеста противъ устарѣвшаго общественнаго устройства, основаннаго на торжествѣ насилія, предразсудковъ и преклоненія передъ золотымъ тельцомъ. Самостоятельность Пушкина проявилась здѣсь не въ созданіи типа, но въ знаменательномъ критическомъ отношеніи къ нему, въ его осужденіи устами старика-цыгана. Когда друзья Пушкина, переведеннаго лѣтомъ 1824 г. изъ Одессы въ деревню, узнали, что онъ трудится надъ поэмою въ байроническомъ родѣ подѣ которой разумѣлся „Евгеній Онѣгинъ“, они пришли въ сильное безпокойство. „Пушкинъ“,—писалъ ему Рылѣевъ,—„ты пріобрѣлъ уже въ Россіи пальму первенства; ты можешь быть нашимъ Байрономъ, но ради Бога, ради Христа, ради твоего любезнаго Магомета—не подражай ему! Твое огромное дарованіе, твоя пылкая душа, могутъ вознести тебя до Байрона, оставивъ Пушкинымъ“. Опасенія друзей Пушкина были, впрочемъ, напрасны, ибо Байронъ въ это время уже утратилъ надъ нимъ прежнее обаяніе. Въ это время Пушкинъ увлекался Шекспиромъ, передъ которымъ его недавній кумиръ, (какъ драматургъ), казался ему ничтожнымъ. Непродолжительность и сравнительная слабость вліянія Байрона на Пушкина зависѣла, по моему мнѣнію, въ значительной степени отъ того, что ихъ художественные темпераменты были совершенно различнаго закала. Байронъ, если можно такъ выразиться, былъ человѣкъ фанатическаго темперамента; онъ не зналъ середины ни въ ненависти, ни въ любви; онъ считалъ малодушіемъ дѣлать малѣйшія уступки тому, что было противъ его убѣжденій. Напротивъ того, Пушкинъ натура уравновѣшенная, гармоническая, въ которой уживались и взаимно сглаживались самыя противоположныя стремленія и симпатіи. Уступая англійскому поэту въ глубинѣ мысли, картинности описаній, силѣ лирическаго полета, Пушкинъ далеко превосходилъ его чувствомъ мѣры, художественной простоты и жизненной правды. Онъ не могъ подняться до высоты политическаго энтузіазма Бай-

рона, но зато не могъ спуститься въ мрачныя бездны байроновскаго пессимизма и меланхолии. Сосредоточенная скорбь, демоническая гордость, мрачное отчаяніе, непримиримая ненависть никогда не могли привиться къ его мягкой, свѣтлой и гармонической натурѣ, способной сохранить въ самомъ пылу увлеченія трезвость ума и мѣру въ сужденіяхъ. Разница художественныхъ темпераментовъ обоихъ поэтовъ всего яснѣе обнаружилась въ ихъ отношеніяхъ къ Наполеону. Съ уничтожающей ироніей относится Байронъ къ развѣнчанному завоевателю, называетъ его презрѣннымъ ничтожествомъ, злымъ духомъ для человѣчества. Ненависть его къ поработителю народовъ не смягчается ни мыслью объ его гени, ни воспоминаніемъ о разразившемся надъ нимъ ударѣ судьбы, сразу низвергнувшемъ его съ высоты величія въ бездну ничтожества. Не такъ смотритъ на недавняго врага Россіи Пушкинъ въ своемъ стихотвореніи „Наполеонъ“, написанномъ въ 1821 году, т.-е. въ эпоху самаго сильнаго увлеченія гениемъ Байрона. Великодушно забывая все зло, сдѣланное міру Наполеономъ, нашъ поэтъ не позволяетъ себѣ никакого злорадства, не издѣвается надъ развѣнчаннымъ величіемъ, находитъ, что всѣ его воинственные замыслы и стяжанья искуплены

Тоскою душнаго изгнанья
Подъ снѣнью чуждою небесъ

и въ заключеніе приглашаетъ путника начертить слово примиренія на надгробномъ камнѣ Наполеона и заранѣе осуждаетъ всякаго, кто позволить себѣ невеликодушно издѣваться надъ его памятью:

Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его развѣнчанную тѣнь.

Подъ вліяніемъ находившихъ на него мрачныхъ минутъ, Байронъ высказываетъ иногда такіа безотрадныя пессимистическія воззрѣнія на жизнь, которыя мы можемъ найти развѣ только у Леопарди или г-жи Аккерманъ. „Сочти радостныя часы твоей жизни, перечисли дни свободные отъ нравственныхъ страданій и убѣдишься, что тебѣ можетъ быть было бы лучше совсѣмъ не существовать“. Зналъ такіа минуты и Пушкинъ, но его свѣтлая натура не допускала пессимизму всецѣло овладѣть имъ, и какъ ни горька была ему подчасъ печаль прошедшихъ дней, но онъ не жалѣетъ о томъ, что живетъ, не жаждетъ уничтоже-

нія, но хочетъ жить хоть бы для того, чтобы мыслить и страдать, и питаетъ надежду, что жизнь дастъ ему немало утѣшенія,

Средь горестей, заботъ и тревоженія.

Приведенные примѣры, надѣюсь, доказываютъ, что въ силу коренной разницы въ поэтическихъ темпераментахъ, Пушкинъ никогда не могъ проникнуться вполне байроновскимъ міросозерцаніемъ, что даже въ пору увлеченія поэзіей Байрона онъ всегда сумѣлъ остаться самимъ собою. Весьма возможно, что именно въ силу большого сродства поэтическихъ темпераментовъ, поэзія Байрона имѣла гораздо болѣе значительное вліяніе на другого нашего великаго поэта, на Лермонтова. Увлеченіе Байрономъ владѣло Лермонтовымъ еще на школьной скамьѣ. Ученическія тетради Лермонтова, составляющія драгоцѣнный матеріалъ для его біографіи, наполнены подражаніями и передѣлками изъ разныхъ поэтовъ, между прочимъ, изъ Пушкина, Гете, Шиллера и Байрона. Просматривая ихъ, нельзя не замѣтить, что вліяніе Байрона мало-по-малу дѣлается преобладающимъ: седьмая тетрадь почти на половину наполнена выписками изъ Байрона, переводами и подражаніями ему. Тутъ же мы встрѣчаемъ весьма любопытное стихотвореніе, въ которомъ 16-лѣтній Лермонтовъ, прочитавъ біографію Байрона, написанную Т. Муромъ, сопоставляетъ себя съ своимъ кумиромъ:

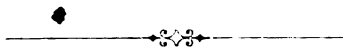
Я молодъ, но кипятъ на сердцѣ звуки
И Байрона достигнуть я бъ хотѣлъ:
У насъ одна душа, однѣ и тѣ же муки,
О если бѣ одинаковъ былъ удѣлъ!
Какъ онъ, ищу забвенія и свободы,
Какъ онъ, въ ребячествѣ пылалъ уже душой,
Любилъ закатъ въ горахъ, пѣнящіяся воды
И бурь земныхъ и бурь небесныхъ вой.
Какъ онъ, ищу спокойствія напрасно,
Гонимъ повсюду мыслию одной.
Гляжу назадъ—прошедшее ужасно,
Гляжу впередъ—тамъ нѣтъ души родной.

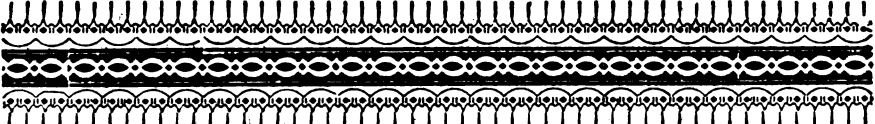
Увлеченіе Байрономъ продолжалось и впоследствии, и большинство написаннаго Лермонтовымъ носитъ на себѣ печать байронова генія. Пушкинъ въ одномъ мѣстѣ справедливо замѣтилъ, что герои Байрона всѣ на одно лицо, потому что онъ всюду изображалъ самого себя. Изъ произведеній Байрона Лермонтовъ извлекъ этотъ титанически гордый, неукротимый и тоскующій характеръ и сдѣлалъ его подъ разными именами героемъ своихъ

произведеній. Вслѣдствіе большого сродства своего поэтического темперамента съ темпераментомъ Байрона, нѣкоторыя стороны байронизма, какъ-то: отрицаніе, гордость возмущившейся противъ общества личности и байроновская меланхолія были поняты Лермонтовымъ глубже, чѣмъ Пушкинымъ. Несмотря однакожь на то, что вліяніе Байрона на Лермонтова продолжалось до самой смерти нашего поэта, его ни въ какомъ случаѣ нельзя назвать слабымъ осколкомъ Байрона, какъ называлъ его въ одномъ мѣстѣ кв. Вяземскій. Лермонтовъ обладалъ слишкомъ могучимъ и самостоятельнымъ талантомъ, чтобы осудить себя на одно подражаніе. Байронъ былъ для него, какъ и для Пушкина, только школой, только необходимой ступенью для достиженія самобытности. Масса лирическихъ стихотвореній свидѣтельствуетъ о необыкновенномъ ростѣ его могучаго таланта. Подражая складу русскихъ народныхъ былинъ, онъ создаетъ неподражаемую по своей оригинальности пѣсню про купца Калашникова; подражая Евгенію Онгину, онъ въ „Героѣ нашего времени“ кладетъ основы русскаго психологическаго романа. Было бы интересно прослѣдить подробнѣе отношеніе Байрона къ Лермонтову и къ послѣдующимъ поэтамъ, у которыхъ иногда мелькаютъ то тамъ, то сямъ искры байронизма; но это вопросъ спеціальныи, требующій спеціальнаго разсмотрѣнія.

Заняться имъ теперь было бы неумѣстно въ виду цѣли настоящаго засѣданія. На литературныхъ поминкахъ по Байронѣ мысль наша невольно обращается отъ планетъ къ стоящему посреди ихъ солнцу. Въ IV пѣснѣ „Чайльдъ-Гарольда“, измученный клеветой и злобными инсинуаціями критики, Байронъ вызываетъ къ потомству и высказываетъ пророческую надежду, что его произведенія не будутъ забыты, что бессмертное дыханіе его таланта расплавитъ желѣзные сердца людей и наполнитъ ихъ душу состраданьемъ къ его судьбѣ. Первая половина этого пророчества давно уже пріобрѣла всемірное значеніе, и опредѣленіе вліянія этого гения на европейскія литературы давно сдѣлалось предметомъ тщательнаго изученія. Мы глубоко увѣрены, что скоро исполнится и вторая часть его пророчества; по крайней мѣрѣ относительно Россіи она исполняется воочію. Ваше присутствіе въ такомъ количествѣ на настоящемъ засѣданіи служить новымъ подтвержденіемъ того, что русская публика привыкла видѣть въ Байронѣ нѣчто родное, что имя его, тѣсно связанное съ дорогими именами Пушкина и Лермонтова, вѣчно будетъ вызывать въ ней одно свѣтлое и благодарное воспоминаніе.

(Р. В.)





Поэзія міровой скорби *).

„Я не знаю отчего,—говорилъ Гамлетъ Розенкранцу и Гильденштерну,—но съ нѣкотораго времени я утратилъ всю мою веселость, оставилъ всѣ мои обычныя занятія. На душѣ моей стало такъ мрачно, что земля—это прекрасное твореніе Божіе—кажется мнѣ самою бесплодною скалою; небо—этотъ великолѣпный сводъ, устланный золотыми огнями,—кажется мнѣ скопленіемъ гадкихъ и заразительныхъ испареній. А человѣкъ—какое образцовое созданіе природы! Какъ благороденъ умомъ, какъ безконечно разнообразенъ своими способностями! Какъ изумительно изященъ и видомъ и движеніями! Какъ подобенъ своими дѣйствіями ангеламъ, а своимъ разумомъ—Богу! Краса міра, вѣнецъ творенія! И, при всемъ томъ, для меня онъ не болѣе какъ квинтэссенція праха! Противенъ мнѣ мужчина, противна мнѣ женщина“. Такими словами величайшій драматургъ новыхъ временъ около трехсотъ лѣтъ тому назадъ выразилъ сущность того мрачнаго пессимистическаго настроенія, которое онъ имѣлъ случай наблюдать и въ его время и которое составляетъ едва ли не самую выдающуюся черту современнаго міросозерцанія, нашедшую свое выраженіе и въ поэзіи и въ философіи. Настроеніе это, получившее въ Германіи характерное прозвище *міровой скорби* (Weltschmerz), не есть плодъ новаго времени; оно наблюдается въ разныя эпохи исторіи; оно почти такъ же старо, какъ міръ, но только подъ вліяніемъ новыхъ культурныхъ условій принимаетъ новыя формы,

*) Публичная лекція, читанная авторомъ 29 января 1889 г. въ Петербургѣ въ пользу Литературнаго Фонда.

вызывается новыми мотивами, расширяется въ своемъ объемѣ, углубляется въ своихъ основаніяхъ. Лишь только человѣкъ переходитъ отъ жизни непосредственной къ жизни сознательной, лишь только онъ начинаетъ задумываться надъ неразрѣшимыми проблемами бытія и прилагать къ жизни требованія своей критической мысли, какъ онъ тотчасъ же усматриваетъ противорѣчіе между желаемымъ и существующимъ, между тѣмъ, что есть и что, по его мнѣнію, должно быть, и это противорѣчіе такъ болѣзненно отзывается въ его душѣ, что нерѣдко отравляетъ въ его глазахъ всякую прелесть существованія. Не говоря уже о древней Индіи, создавшей болѣе чѣмъ 2 тысячи лѣтъ тому назадъ цѣлую пессимистическую систему Будды, даже въ жизнерадостной поэзіи грековъ, выросшей подъ свѣтлымъ небомъ Эллады, мы не разъ наталкиваемся на мрачныя мысли, способныя до нѣкоторой степени поколебать обычныя представленія о греческой жизни: „нѣтъ ничего на свѣтѣ несчастнѣе человѣка“. (Иліада, пѣснь XVII). „Лучшее, что можно пожелать людямъ,—это совсѣмъ не родиться“. (Элегія Теогнида); „лучше совсѣмъ не родиться, но для родившихся самое лучшее—поскорѣ умереть“. (Софокль „Эдипъ въ Колонѣ“). Столь же мрачный взглядъ на жизнь замѣчается у греческихъ философовъ Эмпедокла и Гегезія, у римскаго поэта-философа Лукреція, у римскихъ стоиковъ, доведшихъ до виртуозности искусство умирать, и т. д. Словомъ, по всей литературѣ античнаго міра проходитъ, то суживаясь, то расширяясь, траурная нить пессимизма и унынія, а между тѣмъ, вообще говоря, греки и римляне были народы, такъ сказать, оптимистическіе, у которыхъ преобладало свѣтлое воззрѣніе на жизнь, которые весьма цѣнили свое земное существованіе. Совершенно иныя воззрѣнія внесло въ міръ односторонне понятое въ средніе вѣка христіанство. Поставивъ идеаль жизни не на землѣ, а въ небесахъ, средневѣковой аскетизмъ отнесся отрицательно къ земному существованію человѣка, проповѣдывалъ отверженіе отъ міра и утѣшалъ своихъ послѣдователей тѣмъ, что несчастія земной жизни слишкомъ ничтожны въ сравненіи съ вѣчнымъ блаженствомъ, ожидающимъ праведниковъ на небесахъ. „Нѣтъ счастья въ этомъ мірѣ,—училъ знаменитый средневѣковой мистикъ св. Бонавентура,—жизнь—вѣчное искушеніе, и единственное средство спастись отъ искушенія—удалиться въ пустыню, въ монастырь“. Поставивъ передъ людьми такую высокую цѣль, какъ достиженіе вѣчнаго блаженства, христіанство, повидимому, должно было изгнать изъ души человѣка всякое сожалѣніе о земныхъ

радостяхъ. Но этого не случилось. Потребность земного счастья такъ присуща человѣческой природѣ, что сожалѣніе о немъ не могло быть заглушено вполне даже обѣтованіемъ вѣчнаго блаженства. И замѣчательно, что самыя горькія жалобы на несчастія земной жизни исходятъ изъ устъ главы католической церкви—могущественнаго папы Иннокентія III, передъ которымъ дрожали короли и народы. „Земля (говоритъ онъ въ своемъ сочиненіи *De miseria conditionis humanae*)—тюрьма, а не родина человѣка. Все здѣсь враждуетъ другъ съ другомъ—духъ и тѣло, дьяволъ и добродѣтель, люди и животныя. Если водворяется на землѣ миръ и тишина, то не надолго и быстро нарушается либо въ силу внутренняго несовершенства, либо вслѣдствіе зависти и насилія. Постоянно одна скорбь и отовсюду близка одна смерть. Мрачныя видѣнія тревожатъ сонъ человѣка; свѣтлыя исчезаютъ при пробужденіи. Несчастіе преслѣдуетъ его повсюду до самой могилы, идетъ за нимъ въ адъ, въ чистилище до самаго страшнаго суда“. Не мудрено, что при такомъ мрачномъ пессимистическомъ взглядѣ на жизнь, проповѣдуемомъ руководящими классами общества, не только для отказавшихся отъ міра аскетовъ, но и для людей, жившихъ въ міру, самое существованіе не представляло большой цѣнности. Въ поэмѣ средневѣковаго нѣмецкаго поэта Гартмана фонъ-деръ Ауэ „*Бѣдный Генрихъ*“ разсказывается, какъ этотъ рыцарь заболѣлъ проказой. Всѣ средства были испробованы, но оказались бесполезны. Согласно народному повѣрью, онъ могъ быть исцѣленъ кровью невинной дѣвушки. Дочь одного изъ его мызниковъ соглашается пожертвовать собою для спасенія жизни своего господина и такъ объясняетъ глубоко опечаленнымъ родителямъ причины своего рѣшенія: „Мнѣ нисколько не жаль этой жизни, ибо счастье здѣсь не прочно, сегодняшняя радость завтра превращается въ скорбь, а въ концѣ всего стоитъ смерть, передъ которой равны и добродѣтель и мужество, и низость и порокъ. Вся наша жизнь, вся наша юность не иное что, какъ туманъ и прахъ земной, а наше счастье ежеминутно дрожитъ, какъ листочекъ на деревѣ“. Почти въ томъ же духѣ высказывается о жизни знаменитый современникъ Гартмана Вальтеръ фонъ-деръ-Фогельвейде. По его словамъ, „міръ полонъ сладкой отравы; снаружи онъ блеститъ яркими цвѣтами; внутри онъ черенъ, мрачнѣе смерти“. Приведенныхъ примѣровъ, полагаю, достаточно для заключенія, что средніе вѣка не только не растратили полученное ими отъ древности печальное наслѣдство пессимизма и унынія, но скорѣе приумножили его.

Но вот проходить нѣсколько вѣковъ и средневѣковой сумракъ смѣняется свѣтлымъ и радостнымъ утромъ эпохи Возрожденія. По землѣ проносится точно свѣжее дуновеніе весны. Человѣчество просыпается; теологическая повязка спадаетъ съ его глазъ; оно съ любопытствомъ смотритъ на міръ, который при свѣтѣ античной культуры кажется ему краше, чѣмъ казался прежде. Подъ вліяніемъ этого новаго радостнаго чувства человѣчествомъ овладѣваетъ неизвѣстная прежде мучительная жажда счастья, знанія и свободы. Вліяніе духовенства и его воззрѣній ослабѣваетъ; подавленный человѣческій разумъ расправляетъ свои крылья и старается проникнуть въ тайны природы. Во главѣ движенія становятся люди, относящіеся отрицательно ко всему средневѣковому міросозерцанію и кладущіе основы новой свѣтской науки. Ихъ совокупными усиліями преобразовывается педагогія, исторія, нравственныя и политическія теоріи; идеаломъ жизни становится античная жизнь съ ея гражданскою свободой и культомъ прекраснаго, дававшая полный просторъ развитію всѣхъ силъ и способностей человѣка. Весь этотъ умственный переворотъ совершается быстро и производитъ отрадное, освѣжающее впечатлѣніе на освобождающіеся умы. Тутъ нѣтъ мѣста пессимизму и унынію, — все полно бодрости и надежды. „Весело жить“! восклицаетъ Ульрихъ фонъ Гуттенъ, и этотъ радостный крикъ, вырвавшійся изъ груди побѣдителя обскурантовъ, находитъ сочувственный отголосокъ во всей мыслящей Европѣ. Впрочемъ и тогда уже умы болѣе робкіе, а можетъ быть и болѣе проникательные, налуганные рѣзкимъ разрывомъ съ прошедшимъ и тою широкою свободой, которая была предоставлена человѣческому разуму, начинаютъ съ безпокойствомъ помышлять о будущемъ. Въ 1514 г. другъ Пиркгеймера, знаменитый живописецъ Альбрехтъ Дюреръ, пишетъ свою *Меланхолію*, въ которой символически выражаетъ тѣ тяжелыя предчувствія, которыя въ то время овладѣвали его душой. Картина Дюрера изображаетъ прекрасную женщину съ крыльями ангела, сидящую на берегу моря и погруженную въ глубокую задумчивость. Въ правой рукѣ она держитъ книгу и компасъ; вокругъ нея разбросаны въ хаотическомъ безпорядкѣ различные инструменты — символы различныхъ наукъ. Ни одинъ лучъ солнца не освѣщаетъ картины; она освѣщается тусклымъ свѣтомъ подернутой облаками кометы. Выраженіе лица красавицы совершенно гармонируетъ съ грустнымъ колоритомъ картины; печальный взоръ ея какъ бы устремленъ въ будущее, а черты лица ея выражаютъ страданіе. Предчувствіе

не обмануло великаго художника. Реакція наступила скоро. Золотыя мечты гуманистовъ разсыпались въ прахъ. Освобожденная отъ духовной тираніи Рима, Германія завела у себя новую тиранію различныхъ религіозныхъ сектъ, изъ которыхъ каждая, считая себя единственнымъ сосудомъ истины, стремилась выработать въ церковь столь же нетерпимую, какъ и низвергнутая церковь римская, и стала враждебно относиться къ наукѣ; католицизмъ, вначалѣ ошеломленный быстрыми успѣхами гуманизма и реформацин, снова собрался съ силами и, фанатизируя народныя массы, подготавливалъ религіозныя войны; власти, первое время сочувствовавшія новому движенію, круто поворачиваютъ въ противоположную сторону и начинаютъ преслѣдовать людей свободной мысли. Этьенъ Доле погибаетъ на кострѣ, Рамусъ становится жертвой религіознаго фанатизма толпы, а утомленный преслѣдованіями Десперъ оканчиваетъ свою жизнь самоубійствомъ. Видя надвигающіяся со всѣхъ сторонъ тучи, друзья человѣчества приходятъ въ уныніе, начинаютъ отчаяваться въ прогрессъ, сомнѣваться въ торжествѣ разума и справедливости. Извѣстный французскій психіатръ Бріерръ де-Буамонъ утверждаетъ, что съ XVI вѣка количество самоубійствъ въ Европѣ значительно увеличивается, и объясняетъ это явленіе упадкомъ религіознаго чувства и увлеченіемъ античною жизнью, гдѣ самоубійство считалось добродѣтелью Эти мотивы играли, конечно, важную роль, но едва ли въ данномъ случаѣ не было важнѣе отчаяніе въ томъ, что цѣль жизни, казавшаяся такъ близкой, не была достигнута. Какъ бы то ни было, но грустная нота сомнѣнія и разочарованія, осложненная въ каждой странѣ мѣстными мотивами, проникаетъ изъ жизни въ литературу. Въ 1586 г. выходитъ въ Лондонѣ сочиненіе (*Treatise of Melancholie by Timothy Bright*), специально посвященное описанію меланхоліи, болѣзни весьма распространенной въ Англіи, а нѣсколько лѣтъ спустя Шекспиръ въ своей комедіи „*Какъ вамъ угодно*“ выводитъ типъ меланхолика въ лицѣ Джэка. Возникшая на почвѣ пресыщенія и разочарованія въ людяхъ, меланхолія Джэка носитъ на себѣ несомнѣнные признаки душевной болѣзни. Это не притворство, не модная маска, надъ которой не мало поглумились Бэнъ-Джонсонъ, Дэвисъ и другіе современные Шекспиру писатели; это — настоящая душевная болѣзнь, главные симптомы которой перечислены въ вышедшей въ началѣ XVII вѣка *Анатоміи Меланхоліи* Бэртона (*Anatomy of Melancholy London, 1621*). За исключеніемъ развѣ короля Лира и Тимона Аѳинскаго, ни одинъ изъ шекспировскихъ

характеровъ не имѣетъ большаго права на названіе душевно-больного, какъ меланхолическій Джэкъ. Онъ не можетъ владѣть своими ощущеніями; онъ плачетъ навзрыдъ при видѣ раненаго оленя, и онъ же истерически хохочетъ, безъ перерыва цѣлый часъ, надъ шутовскими выходками Тачстона. Герцогъ называетъ его соединеніемъ всѣхъ диссонансовъ, но тѣмъ не менѣе любитъ слушать его глубокомысленныя разсужденія и относится къ нему съ уваженіемъ, смѣшаннымъ съ сожалѣніемъ. Симпатичное отношеніе Шекспира къ этому загадочному характеру отчасти объясняется тѣмъ, что онъ самъ былъ не чуждъ тѣхъ пессимистическихъ взглядовъ, которые на каждомъ шагѣ высказывалъ меланхолическій Джэкъ. Въ одномъ изъ самыхъ раннихъ произведеній Шекспира, именно въ его поэмѣ „*Лукреція*“ мы встрѣчаемъ цѣлую тираду пессимистическаго свойства противъ случая или судьбы, доказывающую, что Шекспиръ уже въ молодости горько задумывался надъ тѣми „проклятыми вопросами“, (*Verdammte Fragen*), надъ которыми два съ половиною вѣка спустя будетъ ломать голову Гейне. „О, случай! — восклицаетъ поэтъ, — ты главный виновникъ всего; ты способствуешь исполненію злодѣйскихъ замысловъ; ты ведешь волка туда, гдѣ онъ можетъ схватить ягненка. Какъ бы ни былъ преступенъ заговоръ, ты назначаешь удобную минуту для его осуществленія. Ты ведешь вѣчную войну съ разумомъ и справедливостью; въ глубинѣ твоей пещеры невидимо отъ всѣхъ скрывается зло, которое дѣлаетъ засаду на души идущихъ мимо. Когда же наконецъ, ты сдѣлаешься другомъ несчастнаго просителя? Когда ты назначишь послѣдній срокъ прекращенія его бѣдствій? Когда ты освободишь его душу, скованную нищетой? Когда ты доставишь лѣкарство больному и благосостояніе неимущему? Бѣдные, хромые, слѣпые плетутся за тобой, но, увы, имъ никогда не дожидаться благопріятнаго случая. Страждущій умираетъ въ то время, какъ докторъ поживаетъ сномъ праведника; сирота голодаетъ въ то время какъ ея угнетатель наслаждается роскошнымъ обѣдомъ; правосудіе задеваетъ банкеты въ то время, какъ незащитная вдова обливается слезами. Словомъ, у тебя никогда нѣтъ удобной минуты для дѣла милосердія и любви, тогда какъ гнѣвъ, зависть, насиліе и убійство всегда находятъ благопріятный случай для выполненія своихъ замысловъ“. Хотя все, сказанное здѣсь, Шекспиръ влагаетъ въ уста невинно погибающей Лукреціи, но самая пространность и общность этихъ нареканій на судьбу невольно наводятъ на мысль, что великій поэтъ воспользовался этимъ случаемъ, чтобы

сдѣлать общій выводъ изъ множества извѣстныхъ ему печальныхъ жизненныхъ фактовъ. Многія убѣжденія, слѣды которыхъ мы находимъ въ поэмахъ Шекспира, измѣняются со временемъ, но грустная нота пессимизма и разочарованія будетъ звучать еще долго, и мы услышимъ ея отголосокъ во многихъ позднѣйшихъ произведеніяхъ Шекспира. Столкновение человѣка съ суровою дѣйствительностью, разбивающею всѣ его лучшія вѣрованія, доводящею до пессимизма, отчаянія и мизантропіи, дѣлается съ этихъ поръ одною изъ любимыхъ темъ шекспировскаго творчества. Создавъ въ лицѣ Джэка типъ сентиментальнаго меланхолика, онъ нѣсколько лѣтъ спустя создаетъ въ лицѣ Гамлета типъ настоящаго пессимиста. Начиная съ Гете и Шлегеля, критика объясняла нерѣшительность Гамлета слабостью его воли и преобладаніемъ въ его характерѣ рефлексіи надъ активной силой. Вердеръ сдѣлалъ попытку перенести вопросъ съ субъективной почвы на объективную и доказывалъ, что обстоятельства дѣла и самое свойство возложеннаго на Гамлета долга запрещали ему дѣйствовать иначе. Въ недавнее время извѣстный публицистъ Эмиль де-Лавлѣ, воспользовавшись мыслью, нѣкогда высказанною Жоржъ Зандъ, сдѣлалъ къ этимъ объясненіямъ существенную поправку и указалъ на пессимизмъ Гамлета, какъ на причину, которая одна могла парализовать его волю. Первый ударъ его оптимистическому идеализму былъ нанесенъ извѣстіемъ о смерти обожаемаго отца и о скорѣй за ней послѣдовавшемъ второмъ бракѣ матери. Вѣра въ людей, присущая всякой возвышенной натурѣ, начинаетъ колебаться въ душѣ Гамлета; ему приходится разочароваться не только въ людяхъ вообще и ихъ привязанности, но въ самомъ близкомъ къ нему существѣ — родной матери. На душѣ его становится такъ горько, что онъ начинаетъ помышлять о самоубійствѣ. Слова духа и зрѣлище торжествующаго злодѣйства переворачиваютъ вверхъ дномъ его міросозерцаніе, разбиваютъ въ прахъ всѣ его идеалы. Мрачное, безразсвѣтное отчаяніе овладѣваетъ его сердцемъ, все представляется ему въ черномъ цвѣтѣ — и земля и люди; ему кажется, будто весь міръ вышелъ изъ своей колеи и на него возложена задача возстановить нравственную гармонію міра, поставить вселенную на настоящую дорогу. Передъ этой непосильной міровой задачей для него на время отступаетъ на второй планъ мщеніе за смерть отца. Что въ самомъ дѣлѣ пользы уничтожить одного злодѣя, когда весь міръ наполненъ злодѣями, подобно саду, поросшему сорными травами? Стоитъ ли жить въ этомъ мірѣ лжи, насилія и коварства, гдѣ

добродѣтель должна ползати на колѣняхъ передъ порокомъ и просить у него, какъ милости, позволенія дѣлать добро? Подъ вліяніемъ этихъ пессимистическихъ размышленій жизнь утрачиваетъ для Гамлета всякую цѣну: онъ думаетъ не объ убійствѣ дяди, а о своемъ собственномъ уничтоженіи, и только религія, да неизвѣстность, что станетъ съ человѣкомъ послѣ смерти, удерживаетъ его отъ самоубійства. Если даже пессимизмъ, овладѣвающій всѣмъ существомъ Гамлета, и не служить, какъ утверждаетъ Лавлѣ, единственной причиной его нерѣшительности, то, во всякомъ случаѣ, присоединеніе этого мотива къ уже существующимъ составляетъ не малую заслугу французскаго критика.

Проходить съ небольшимъ полтора ста лѣтъ, и старая тема разочарованія и меланхоліи, на время заглушенная иными мотивами, снова раздается въ европейской литературѣ. Починъ въ этомъ отношеніи принадлежалъ Англіи. Подернутыя облакомъ меланхоліи Юнговы *Ночи*, элегіи Грея и Макферсоновскій *Оссіанъ* производятъ сильное впечатлѣніе на континентъ, въ особенности въ Германіи. Гёте въ своей *Автобіографіи* свидѣтельствуетъ, что меланхолическое настроеніе, объявившее нѣмецкую молодежь въ эпоху созданія его Вертера, было навѣяно англійской поэзіей. „Англійскія, подтачивающія человѣческія радости и счастье, стихотворенія сдѣлались любимымъ предметомъ чтенія нашихъ молодыхъ людей. Одни, сообразно своему характеру, искали въ нихъ элегической грусти, другіе—мрачнаго отчаянія. Трудно себѣ вообразить, что даже великій нашъ учитель Шекспиръ поддерживалъ это настроеніе, несмотря на всю ясность и правду всей своей поэзіи. Гамлетъ съ его монологами сдѣлался произведеніемъ, преслѣдовавшимъ молодыхъ меланхоликовъ. Всѣ мы знали главнѣйшія мѣста этой трагедіи наизусть и читали ихъ вслухъ при всякомъ удобномъ случаѣ, думая превзойти въ меланхоліи самого датскаго принца, хотя никто изъ насъ никогда не видѣлъ духовъ и не былъ озабоченъ необходимостью отомстить за смерть царственнаго отца“. Но, кромѣ вліянія англійской поэзіи въ Вертерѣ замѣтно еще сильное вліяніе Руссо, котораго въ то время усердно изучалъ Гёте. Ни одинъ изъ писателей не порождалъ такого недовольства дѣйствительностью и прозою жизни, какъ Руссо. Его горячій протестъ противъ сухого рачіонализма, соціальнаго неравенства и общественныхъ предразсудковъ, его страстная проповѣдь священныхъ правъ человѣческаго сердца, его мечты о прелестяхъ первобытной жизни, его любовь къ уединенію и природѣ, въ которой онъ находилъ единствен-

ное лѣкарство отъ одолѣвавшей его меланхоліи, — все это нашло сочувственный отголосокъ въ душѣ юнаго Гёте и все это онъ перенесъ въ своего Вертера. Отсюда ведетъ начало та мечтательность, тотъ сантиментальный идеализмъ, который требуетъ отъ жизни того, чего она не можетъ дать, силится превратить прозу въ поэзію и изнываетъ въ безплодныхъ томленіяхъ. По словамъ Карлейля, Вертеръ былъ первымъ звукомъ той страшной жалобной пѣсни, которая потомъ облетѣла всѣ страны и до такой степени приковала къ себѣ слухъ людей, что они стали глухи ко всему другому. Успѣхъ Вертера былъ громадный. Гёте объясняетъ этотъ успѣхъ тѣмъ, что въ романѣ были изображены полно и ярко заблужденія больного и увлекающагося духа молодости и въ особенности тѣмъ, что онъ появился въ крайне благоприятное время. „Подобно тому“,—говоритъ онъ,—„какъ ничтожнаго фитиля достаточно, чтобы поджечь огромную мину, точно также и здѣсь взрывъ, произведенный въ публикѣ, былъ силенъ именно потому, что нѣмецкая молодежь сама успѣла себя приготовить къ нему въ достаточной степени“. Успѣхъ Вертера не ограничился одной Германіей; вся Европа имъ зачитывалась, вездѣ появлялись подражанія ему. Гёте въ одной изъ своихъ эпиграммъ такъ выражается объ успѣхѣ Вертера: „Въ Германіи ему подражали, во Франціи его читали, въ Англіи онъ былъ желаннымъ гостемъ, даже китайцы робкою рукою рисовали на стеклѣ образы Вертера и Шарлотты“. Здѣсь слѣдуетъ сдѣлать небольшую поправку: во Франціи не только усердно читали Вертера въ трехъ переводахъ, но не менѣе усердно ему подражали. Уже въ 1777 году, стало быть, всего черезъ 3 года послѣ выхода въ свѣтъ Вертера появились *Les dernieres aventures du Jeune d'Olban* Рамонда, а нѣсколько лѣтъ спустя *le Nouveau Werther* маркиза де-Лянгля и *Saint Elme* Горжи. Духъ вертеризма съ необыкновенной быстротою распространяется по Европѣ и окрашиваетъ все своимъ сантиментально-меланхолическимъ колоритомъ. Люди, по-видимому, самые антипоэтическіе были увлечены общимъ потокомъ, вдругъ почувствовали тоску и равнодушіе къ жизни и даже стали помышлять о самоубійствѣ. Въ бумагахъ кардинала Феша случайно уцѣлѣла собственноручная замѣтка Наполеона, тогда юнаго артиллерійскаго поручика, до такой степени проникнутая вертеризмомъ, что, читая ее, кажется, будто читаешь неизданную страницу изъ дневника Вертера. „Находясь среди людей, я ухожу въ себя и предаюсь моей меланхоліи. Въ какую же сторону она направляетъ мои мысли? Въ сторону смерти. На зарѣ моей жизни

я, кажется, имѣю право надѣяться на долгую жизнь. Какая же сила заставляетъ меня желать смерти? Но, что же, въ самомъ дѣлѣ, дѣлать въ этомъ мірѣ? Такъ какъ я во всякомъ случаѣ долженъ умереть, то не лучше ли заранѣе покончить съ собой? Будь мнѣ за 60-ть лѣтъ, я, конечно, заплатилъ бы дань предразсудкамъ моихъ современниковъ и терпѣливо дождался бы естественнаго конца; но такъ какъ я уже начинаю испытывать несчастія, такъ какъ мнѣ ничто не мило, то къ чему же жить, если пребываніе въ этомъ мірѣ не доставляетъ мнѣ счастья?“

Подъ совокупнымъ вліяніемъ произведеній Руссо, Вертера, Гёте, раціоналистическихъ идей XVIII вѣка и тяжелыхъ впечатлѣній, навѣваемыхъ современной жизнью, возникъ знаменитый романъ Шатобріана *Ренѣ*, вышедшій въ самомъ началѣ нынѣшняго столѣтія. Какъ въ XVI вѣкѣ главной причиной овладѣваемаго обществомъ мрачнаго настроенія было разочарованіе въ томъ, что сулила человѣчеству эпоха возрожденія, такъ и теперь главной причиной усилившагося пессимизма было разочарованіе въ результатахъ, достигнутыхъ французскою революціей. Привѣтствуемая лучшими умами, въ томъ числѣ и Кантомъ, какъ начало новой свѣтлой эры въ исторіи человѣчества, какъ занимающаяся заря равенства, братства и свободы, французская революція не оправдала возлагавшихся на нее надеждъ и кончилась банкротствомъ тѣхъ идеаловъ, которые въ глазахъ людей сообщали ей извѣстный престижъ и извѣстную нравственную силу. Потерпѣвшая полное крушеніе своихъ лучшихъ вѣрованій. либеральная партія впала въ тоску, уныніе, апатію, которыя были тѣмъ сильнѣе, чѣмъ сильнѣе она надѣялась. Между тѣмъ напуганное терроромъ большинство съ восторгомъ бросилось въ объятія новаго цезаря, который обѣщалъ ему порядокъ и мирное пользование благами жизни. Съ восшествіемъ на престолъ Наполеона открывается настоящая война противъ просвѣтительныхъ идей XVIII вѣка; все, что есть либеральнаго во Франціи, либо изгоняется, либо преслѣдуется властями; но хотя реакція торжествуетъ, она не чувствуетъ подъ ногами твердой почвы; она съ грустью видитъ, что къ старымъ традиціямъ вернуться трудно, что всѣ устои общества—религія, нравственность, власть—потрясены въ своихъ основаніяхъ и что при такихъ условіяхъ невозможно разсчитывать на прочный порядокъ. Памятникомъ унылаго настроенія, овладѣваемаго французскимъ интеллигентнымъ обществомъ въ первые годы имперіи, и былъ Ренѣ Шатобріана. У насъ было много писано объ этомъ романѣ, и потому я считаю

возможнымъ ограничиться только немногими замѣчаніями. Ренѣ— прототипъ тѣхъ демоническихъ натуръ, тѣхъ страдающихъ эгоистовъ, которые, облекшись впослѣдствіи въ гарольдовъ плащъ, расхаживали побѣдителями по Европѣ, заходили и къ намъ въ Россію, нигдѣ не находя для себя достойнаго дѣла, похищая десятками женскія сердца, разбивая десятки жизней, и все-таки оставались одинокими, мрачными, неудовлетворенными. Герой романа Шатобріана считаетъ себя избранною натурою, какимъ-то умственнымъ титаномъ; человѣчество кажется ему сборищемъ пигмеевъ, всѣ людскія дѣла ничтожными и суетными, и онъ предпочитаетъ лучше замкнуться въ своемъ одинокомъ величіи и ничего не дѣлать, чѣмъ участвовать въ пустой и безцѣльной сутолокѣ жизни. Добровольно устраниаясь отъ всякой дѣятельности, Ренѣ не можетъ также и наслаждаться жизнью, ибо рефлексія и долгое время пребываніе въ мірѣ мечты убили въ немъ всякое непосредственное чувство; онъ такъ много размышлялъ о любви, такъ тонко анализировалъ эту страсть, такъ часто переживалъ въ своемъ воображеніи ея наслажденія, что чувствуетъ себя состарѣвшимся для любви и при встрѣчѣ съ любимою женщиною, расточая ей страстные увѣренія, остается внутренне холоднѣе. Не имѣя никакой цѣли въ жизни, лишенный возможности наслаждаться ею, какъ наслаждаются простые смертные, онъ впадаетъ въ тоску, предается преступной меланхоліи (*mélancolie coupable*), носится съ ней повсюду, рисуется своими неслыханными страданіями и помышляетъ о самоубійствѣ. Помимо своего художественнаго достоинства и культурнаго значенія, романъ Шатобріана представляетъ интересъ въ психологическомъ и историко-литературномъ отношеніяхъ, какъ любопытная страница изъ исторіи человѣческой души и какъ произведеніе, породившее не мало подражаній и вообще оставившее прочный, хотя и мрачный, слѣдъ въ европейской литературѣ.

По мѣрѣ приближенія къ XIX вѣку, поэтическій горизонтъ становится все мрачнѣе и мрачнѣе и все сильнѣе и сильнѣе слышится въ поэзіи скорбная нота разочарованія. Фактъ этотъ, главнымъ образомъ, объясняется тѣмъ, что поэзія настоящаго времени не возвращается только въ средѣ личныхъ ощущеній поэта, но принимаетъ общественный характеръ. Чувствуя себя больше, чѣмъ прежде, частью великаго цѣлаго, поэтъ живетъ радостями и страданіями современнаго ему общества, принимаетъ горячо къ сердцу всѣ ненормальныя явленія осложнившейся общественной

жизни. Но этого мало: на ряду съ элементомъ социальнымъ вторгается въ современную поэзію элементъ философскій. Проникая прежде тонкими струями, онъ, начиная съ *Фауста* Гёте, вливается въ нее широкою волной. Подъ вліяніемъ этого элемента, входящаго въ составъ современнаго поэтического міросозерцанія, многіе поэты приобрѣтаютъ склонность смотрѣть на вещи не только съ поэтической, но и съ философской точки зрѣнія, пытаются рѣшать неразрѣшимыя проблемы человѣческаго существованія, прилагаютъ къ явленіямъ жизни мѣрку абсолютнаго идеализма; вторгнувшаяся въ поэзію рефлексія охлаждаетъ поэтическіе порывы, обезцвѣчиваетъ яркія краски, отравляетъ поэтическое созерцаніе ядомъ скептицизма. Большинство лириковъ XIX в., принявши въ свою грудь общественныя скорби и отравивши свою фантазію примѣсью рефлексіи, мрачно смотрятъ на жизнь, дѣлаютъ изъ нея печальные выводы.

Самымъ раннимъ и самымъ даровитымъ пѣвцомъ жизненнаго разочарованія былъ лордъ Байронъ. Меланхолическая нота, мало слышная въ его раннихъ стихотвореніяхъ, съ каждымъ годомъ слышится все сильнѣе, а подъ конецъ его жизни становится преобладающимъ тономъ въ аккордѣ его лиры. Неудовлетвореніе и пресыщеніе безцѣльною жизнью, негодованіе противъ людской лжи и неправды и противъ лицемернаго англійскаго общества, отвергнувшаго и оклеветавшаго поэта, отчаяніе при видѣ надвигающейся со всѣхъ сторонъ реакціи, грозившей уничтожить всякую честную мысль, всякій порывъ къ свободѣ, — вотъ почва, на которой выросло байроновское разочарованіе. Къ этому нужно прибавить и наслѣдственное предрасположеніе. „Я страдаю“, — писалъ Байронъ къ Моррею, — „наслѣдственною меланхоліей, которую я подавляю въ обществѣ и которая противъ моей воли овладѣваетъ мною, когда я остаюсь одинъ и берусь за перо“. Въ своихъ письмахъ онъ не разъ говорилъ, что чувствуетъ по временамъ тоску и тяжесть на душѣ и боится, подобно Свифту, кончить сумашествіемъ.

Процессъ развитія разочарованія въ душѣ поэта всего лучше прослѣдить по Чайльдъ-Гарольду. Въ первыхъ двухъ пѣсняхъ поэта, написанныхъ въ 1810—11 году, мрачныя мысли, навѣваемые на поэта жизненнымъ пресыщеніемъ, одиночествомъ и презрѣніемъ къ людямъ, разгоняются красотами природы и воспоминаніями о славномъ прошедшемъ древней Греціи. Проходитъ нѣсколько лѣтъ, и хотя Байронъ въ началѣ третьей пѣсни *Чайльдъ-Гарольда* и говоритъ, что онъ во многомъ измѣнился и смотреть

на жизнь спокойно, но на самомъ дѣлѣ оказывается, что онъ никогда не смотрѣлъ такъ мрачно на человѣческую жизнь. которая вообще представляется ему рядомъ страданій: „Обманчива наша жизнь; вѣтъ гармоніи вещей, это—жестокая судьба, это несмываемое пятно грѣха, это—колоссальное, все изсушающее ядовитое дерево, корни котораго въ землѣ, а вершина теряется въ небесахъ, изливающихъ на насъ, вмѣсто росы, болѣзни, смерть, рабство и другія бѣдствія, нами видимыя и, быть можетъ, еще болѣе такія, которыхъ мы не видимъ, но которыя терзаютъ нашу неисцѣлимо-больную душу все новыми и новыми муками“ (Чайльдъ-Гарольдъ, пѣсня IV). При такомъ взглядѣ на жизнь, естественно, что фантазія поэта принимаетъ въ это время особенно мрачное направленіе; онъ любитъ изображать ужасное въ человѣческой жизни—разбойничьи набѣги, пытки, смерть въ темницѣ, кровавыя сраженія, кораблекрушенія; по временамъ его душу смущаютъ мрачныя видѣнія: ему кажется, что вся вселенная объемлется вѣчною тьмой и всѣ люди, въ ней живущіе, умираютъ съ голоду...

Въ 1821 г. Байронъ создаетъ мистерію *Каина*, гдѣ даетъ полный просторъ своему мрачному настроенію и влагаетъ въ уста Каина свой дерзкій протестъ противъ міроваго порядка.

„Мнѣ невыносима (говоритъ Каинъ)

Земная доля, данная рожденьемъ...

...Древа жизни

Мы лишены безуміемъ отца,

А плодъ отъ древа знанія

Мать наша сорвала, и этотъ плодъ

Есть намъ смерть.

...Я живу для смерти.

Инстинктомъ жизни, инстинктомъ неизбѣжнымъ,

Я понимаю ужасъ этой смерти

И самъ себѣ, помимо воли, сталъ

Противень я. И это жизнь? О, если бъ

Не зналъ я никогда подобной жизни!“

(Переводъ г. Минаева).

Въ другомъ произведеніи онъ высказывалъ еще болѣе мрачный взглядъ на жизнь и на этотъ разъ отъ себя: „Сочти радостные часы своей жизни, перечисли дни свободные отъ нравственныхъ страданій, и убѣдишься, что тебѣ, можетъ быть, было бы лучше совсѣмъ не существовать“.

Было бы неосновательно, по приведеннымъ мѣстамъ, утверждать, что Байронъ былъ послѣдовательнымъ пессимистомъ, на подобіе Леопарди или М-ше Аккерманъ, у которыхъ пессимизмъ

отнялъ всякую энергію для борьбы съ жизнью. Лишь только жизнь призывала его къ себѣ, онъ тотчасъ сбрасывалъ съ себя бремя міровой скорби и бодро спѣшилъ на ея призывъ. Когда въ томъ же 1821 году итальянскіе патріоты предложили Байрону принять участіе въ подготовлявшемся возстаніи противъ ненавистнаго австрійскаго режима, онъ охотно согласился и писалъ въ своемъ *Дневникъ*: „Впередъ! Теперь время дѣйствовать,—и что значитъ наше личное я, если хоть одна неугасшая искра славнаго прошлаго будетъ завѣщана будущему? Здѣсь идетъ дѣло не объ одномъ человѣкѣ, даже не о миллионѣ людей, а о духѣ свободы, который слѣдуетъ распространять“. Проклиная жизнь и любовь и сознавая, что жить и любить не стоитъ, онъ все-таки хотѣлъ и жить, и любить. Въ одномъ изъ своихъ лучшихъ стихотвореній, написанныхъ въ Миссолонги незадолго до смерти, поэтъ пробуетъ заставить замолчать свое истерзанное, но все еще жаждущее любви, сердце:

„О сердце, замолчи! Пора забыть страданья.
Уже любви тебѣ ни въ комъ не возбудить!
Но если возбуждать ее не въ состояньи,
Все жъ я хочу еще любить!..

(Переводъ Гербеля).

Равнымъ образомъ, осыпая людей проклятіями за ихъ лживость, лицемеріе, рабскія чувства, онъ все-таки не пересталъ любить ихъ. „Если бы можно было купить свое спасеніе благотворительностью“,—говоритъ онъ въ своемъ *Дневникъ*,—„я бы давно купилъ его, ибо я отдалъ моимъ братьямъ по человѣчеству гораздо больше, чѣмъ я въ настоящее время имѣю. Я никогда не давалъ моей любовницѣ столько, сколько давалъ человѣку, находившемуся въ честной нуждѣ. Но изъ этого ничего не вышло. Мерзавцы, преслѣдующіе меня всю мою жизнь, все-таки восторжествуютъ, а люди воздадутъ мнѣ должное только тогда, когда рука, пишущая эти строки, будетъ также холодна, какъ сердца моихъ преслѣдователей“. Есть люди, которые чѣмъ сильнѣе любятъ, тѣмъ строже относятся къ предмету своей любви, какъ бы негодую на него за свое чувство, которому они не въ силахъ противостоять. Къ такимъ людямъ принадлежалъ и лордъ Байронъ. Поэтому нѣтъ ничего ошибочнѣе, какъ считать его мизантропомъ только на томъ основаніи, что въ его стихотвореніяхъ нерѣдко встрѣчаются злыя выходки противъ людей. Байрона глубоко печалило это полнѣйшее непониманіе его отношенія къ людямъ. „Нѣкоторые господа“,—говоритъ онъ въ *Донъ-Жуанъ*

(пѣснь IX, ст. XX и XXI),—„обвинили меня въ мизантропіи, тогда какъ я знаю объ этомъ предметѣ не болѣе, чѣмъ доска краснаго дерева, образующая покрышку моего пюпитра. Меня, самаго кроткаго и тихаго смертнаго, никогда не дѣлавшаго что-нибудь дурное и всегда склоннаго къ терпимости, зовутъ они мизантропомъ? Это происходитъ оттого, что они меня ненавидятъ, а не я ихъ“ (переводъ г. Соколовскаго). Байронъ могъ въ минуту негодованія, въ большинствѣ случаевъ совершенно справедливаго, обзывать людей грязью, ничтожествомъ, собаками; но не будемъ забывать, что этотъ мизантропъ создалъ въ *Манфредѣ* величайшій образецъ силы и нравственнаго мужества, не будемъ забывать, что когда было нужно, этотъ мизантропъ отдавалъ людямъ все, что онъ имѣлъ, считалъ дѣло челоуѣчества своимъ дѣломъ и отправился умирать за свободу чуждаго ему по крови, но родного по челоуѣчеству народа.

Пессимистическая тенденція, входящая составнымъ элементомъ въ поэзію Байрона, вырастаетъ у его современника, знаменитаго итальянскаго поэта, Джакомо Леопарди, въ цѣлую систему пессимизма. „Никто,—говоритъ Шопенгауэръ,—не исчерпалъ въ наше время этотъ вопросъ съ такой полотною и обстоятельностью. Леопарди вполнѣ проникнуть духомъ пессимизма. Насмѣшка и скорбь по этой жизни составляетъ главную тему его произведеній и разрабатывается въ нихъ въ такихъ разнообразныхъ формахъ, съ такимъ богатствомъ образовъ, что возбуждаетъ неослабный интересъ“. Жизнь Леопарди была однимъ сплошнымъ страданіемъ. Природа надѣлила его въ высшей степени нервнымъ и меланхолическимъ темпераментомъ. Ребенкомъ онъ испытывалъ по ночамъ безпричинные страхи; юношей онъ разстроилъ проведенными за учеными занятіями безсонными ночами свое слабое здоровье и зрѣніе до того, что въ двадцать пять лѣтъ выглядывалъ старикомъ, а въ тридцать почти лишился зрѣнія. Патріотическая скорбь по униженной родинѣ точила его сердце. Попытка любить и быть счастливымъ дважды окончилась неудачей и онъ замкнулся въ себя, предался наукѣ и поэзіи, переносилъ свое несчастье гордо, стараясь выработать себѣ то, чѣмъ онъ такъ гордился, именно: гигантскую силу страданія (*gigantesche forze di soffrire*). Такъ онъ прожилъ почти до сорока лѣтъ, погруженный въ свои мрачныя думы, ежедневно чувствуя, что силы его уходятъ, что онъ становится въ тягость и себѣ и другимъ. Судя по этой жизни, можно догадаться какова будетъ его поэзія и философія. По мнѣнію Леопарди, мѣтко названнаго пѣвцомъ смерти,

міръ не есть созданіе разумной и доброжелательной субстанціи, но слѣпой силы, которую онъ называетъ то случаемъ, то судьбой. Сущность человѣческой жизни есть страданіе; это единственное, что въ ней есть положительнаго. Люди, не понимающіе этого и жаждущіе продолженія жизни, суть не болѣе, какъ жертвы своей иллюзіи и своихъ обманчивыхъ надеждъ на счастье. Все, что, по мнѣнію людей, ведетъ къ счастью, даже самая добродѣтель, не заключаетъ въ себѣ никакихъ гарантій для счастья, ибо чѣмъ человѣкъ разумнѣе и добродѣтельнѣе, тѣмъ онъ меньше способенъ къ иллюзіи, тѣмъ съ большей яростью обрушивается на него судьба. Единственное, что есть въ мірѣ прочнаго и утѣшительнаго—это смерть. „О, смерть,—воскликаетъ онъ въ одномъ стихотвореніи—владычица временъ, прекрасная смерть! Ты одна сострадаешь несчастнымъ этой жизни! Я надѣюсь только на тебя! Самымъ счастливымъ днемъ моимъ будетъ тотъ, когда я успокою мою усталую голову на твоей дѣвственной груди!“ Такова въ общихъ чертахъ сущность пессимистической теоріи Леопарди, которую онъ высказываетъ и въ своихъ стихотвореніяхъ и въ своихъ философскихъ діалогахъ.

Теорія Леопарди—это горькое раздумье надъ жизнью людей и надъ своею собственною неудавшеюся жизнью. Леопарди не былъ бы поэтомъ, если бы искалъ вдохновенія только въ философіи, если бы въ своихъ стихотвореніяхъ отправлялся отъ идей, а не отъ пережитыхъ душевныхъ ощущеній. Хотя онъ въ одномъ письмѣ и говоритъ, что между его болѣзнію и матеріальнымъ положеніемъ и его пессимизмомъ нѣтъ никакой связи, но если мы даже дадимъ вѣру этому заявленію, то оно, во всякомъ случаѣ, можетъ относиться только къ его теоріямъ, но не къ его стихотвореніямъ, которыя, несомнѣнно, были вызваны реальными жизненными впечатлѣніями и писаны кровью его сердца. Одаренный поэтической натурой, способный и горячо любить и тонко понимать всю поэтическую сторону любви, Леопарди принужденъ навсегда схоронить въ душѣ сожигавшій его пламень. Но это не обошлось ему даромъ: по временамъ мечты несбывшагося счастья мутили его умъ, дразнили его фантазію. Тогда онъ брался за перо и изливалъ въ стихахъ взволнованное состояніе своего духа. Есть основаніе думать, что такъ долго лелѣянная исторія страданія подверглась бы большимъ измѣненіямъ, если бы Леопарди нашелъ удовлетвореніе въ томъ, что самъ считалъ высшимъ блаженствомъ на землѣ. Въ одномъ стихотвореніи несомнѣнно автобіографическаго характера онъ влагаетъ въ уста умирающаго

юноши Консальво слѣдующія слова, обращенныя къ безнадежно любимой имъ женщинѣ, пришедшей закрыть ему глаза первымъ и послѣднимъ поцѣлуемъ: „О, если бы ты хоть однажды вознаградила меня за мою любовь, за мое долгое томленіе,—земля показалась бы моему просвѣтленному взору настоящимъ раемъ. Весело и бодро перенесъ бы я ненавистную старость, ибо передо мною постоянно стояло бы воспоминаніе объ одномъ мгновеніи, когда я былъ счастливѣйшимъ изъ счастливыхъ“. Но у Леопарди не было такихъ освѣжающихъ душу воспоминаній. Томленіе неудовлетворенной любви или неспособность раздѣлять ея восторги составляетъ обычную тему его любовныхъ стихотвореній. Въ стихотвореніи „Послѣдняя пѣснь Сафо“ онъ жалуется вмѣстѣ съ греческой поэтессой на природу, которая дала ему способность любить, но не дала средствъ возбуждать любовь въ другихъ. Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ стихотвореній „Аспазія“ поэтъ съ торжествомъ заявляетъ своей возлюбленной, что страсть, зажженная ею въ его сердцѣ, потухла, что въ сущности онъ любилъ не ее, но свой идеалъ. Но торжество его было непродолжительно. За нѣсколько лѣтъ до своей смерти Леопарди снова поддался чарамъ любви, но и на этотъ разъ потерпѣлъ неудачу. Эта послѣдняя неудача повергла его въ мрачное отчаяніе, памятникомъ котораго осталось его знаменитое стихотвореніе *Къ самому себѣ* (A se stesso). Я приведу его въ переводѣ г. Н. Курочкина:

„Засни навѣкъ въ груди моей больной
Замученное сердце! Обаянье
Свое обманъ утратилъ надо мной—
И нѣтъ во мнѣ вернуть его желанья!
Погибло все, что въ помыслахъ моихъ
Казалось мнѣ и дорого, и свято,
И къ рухнувшимъ надеждамъ дней былыхъ,
Я чувствую глубоко, нѣтъ возврата!
Мнѣ лжи не надо! Ясно все теперь,
Неумолимо ясно все мнѣ стало.
Уми же, сердце бѣдное! Повѣрь
Довольно ты напрасно трепетало!
Нѣтъ смысла въ горестномъ бѣніи твоёмъ,
И цѣлый міръ не стоитъ сокрушенья!
Жизнь—ложь и горечь... Только грязи комъ
Весь шаръ земной; лишь призракъ—все творенье!
Въ послѣдній разъ въ отчаяннѣйшомъ
Ты содрогнись надъ участью безцѣльной
Всего, что рокъ, въ могуществѣ слѣпомъ,
Обрекъ на смерть и гибель безраздѣльно...
И, подавивъ безсильный ужасъ свой,
Простаясь навѣкъ съ страданіемъ напраснымъ,

Съумѣй застыть въ груди моей больной,
Въ презрѣннѣи холодномъ и безстрастномъ
Къ себѣ, къ другимъ и къ грубой силѣ той,
Что, слѣпо всѣмъ въ природѣ управляя,
Все сущее лишь къ безднѣ роковой
Небытія ведетъ. не уставая“.

Стихотвореніе это, окончательно резюмирующее сущность всей пессимистической теоріи Леопарди, было похоронною пѣснью всѣмъ иллюзіямъ жизни и счастья, не перестававшимъ по временамъ смущать измученное сердце поэта. Отдавъ послѣдній долгъ жизни, простившись навсегда съ ея иллюзіями, онъ гордо замкнулся въ своей философіи отчаянія и спокойно ожидалъ, пока, наконецъ, *la bella fanciulla*—смерть не приняла его въ свои объятія и не дала ему вкусить блаженный покой небытія...

При мысли о Леопарди невольно возстаетъ въ умѣ страдальческій образъ другого поэта, родственнаго ему по духу, столь же талантливаго и симпатичнаго и почти столь же несчастнаго. Я разумѣю нѣмецкаго поэта Николая Ленау, котораго, по моему мнѣнію, довольно неосновательно считаютъ главнымъ представителемъ поэзіи міровой скорби въ Германіи. Это тоже была натура нервная, экзальтированная и въ высшей степени впечатлительная. Что для другихъ проходило безслѣдно, то оставляло глубокий, неизгладимый слѣдъ въ его нѣжной душѣ. Великія проблемы человѣческаго бытія занимали его въ ранней юности, и, бывши студентомъ въ Вѣнѣ, онъ зачастую просиживалъ цѣлыя ночи, погруженный въ свои мысли и изнывая въ мукахъ сомнѣнія. Девятнадцати лѣтъ отъ роду онъ въ письмахъ къ матери жаловался, что не можетъ наслаждаться жизнью, потому что мрачныя мысли убиваютъ веселое расположеніе его духа, а гложущая тоска подтачиваетъ его силы. Въ другомъ письмѣ къ матери Ленау высказываетъ терзающую его мысль, что для человѣка, обладающаго любящимъ сердцемъ, сердце это не есть источникъ радостей, но самыхъ горькихъ разочарованій,—предсказаніе, сбывшееся на его собственной судьбѣ. Въ бытность свою студентомъ, Ленау сошелся съ дѣвушкой изъ народа, которая, проживъ съ нимъ 4 года, промѣняла его на богатаго негоціанта. Рана, нанесенная его сердцу этой измѣной, никогда не закрывалась. Вторымъ страшнымъ ударомъ для поэта была смерть любимой матери. Стихотворенія, въ которыхъ онъ оплакиваетъ эту потерю, принадлежатъ къ перламъ всемірной поэзіи. Послѣ смерти матери Ленау оставляетъ Вѣну и отправляется въ Штутгартъ, гдѣ его

принимаетъ съ восторгомъ кружокъ поэтовъ, во главѣ которыхъ стояли: Уландъ, Швабъ, Юстинъ Кернеръ и др. Здѣсь онъ встрѣчается съ одною очаровательною дѣвушкой, которая могла-бы сдѣлать его счастливымъ; чувство ихъ было взаимное, и друзья всячески старались устроить этотъ бракъ. Но когда уже дѣло приходило къ концу, Ленау неожиданно отказался отъ своей невѣсты. „Я чувствую“,—писалъ онъ своему зятю Шурцу, — „такъ мало счастья и радости въ моей душѣ, что не могу сдѣлать счастливымъ другого“. Когда Кернеръ, тронутый отчаяніемъ Ленау, убѣждалъ его сдѣлать надъ собою усиліе, поэтъ отвѣчалъ ему съ глубокой грустью. „Дважды не видать чудныхъ сновъ. Для меня сезонъ любви прошелъ навсегда. Я не имѣю права прищипить эту чудную розу къ моему увядшему сердцу. Тяжело у меня на душѣ, какъ будто я смерть ношу въ моей груди“. Чтобы размыкать свое горе, Ленау уѣхалъ въ Америку, предполагая поселиться тамъ навсегда. Онъ рассчитывалъ, что путешествіе по морю, и дикая, вмѣстѣ съ тѣмъ роскошная природа Америки разгонитъ его меланхолію. „О, корабль, разсѣвай волны какъ легкое облако и лети поскорѣе туда, гдѣ горитъ святое пламя свободы!“ Поэтическое представленіе объ Америкѣ, какъ о странѣ свободы, значительно потускнѣло при ближайшемъ знакомствѣ съ нею; меркантильный духъ населенія претилъ поэтической натурѣ Ленау и, перезимовавъ въ Америкѣ, онъ лѣтомъ возвратился въ Европу. Съ этихъ поръ начинается для поэта странническая жизнь: онъ живетъ то въ Вѣнѣ, то въ Гейдельбергѣ, то въ Штутгартѣ и нигдѣ не можетъ прочно устроиться. Между тѣмъ, его поэтическая извѣстность достигаетъ своего апогея, стихотворенія его читаются на расхватъ, книгопродавцы за нимъ ухаживаютъ, дамы носятъ его на рукахъ. Въ это время у Ленау снова появляется мысль о женитьбѣ и семейной жизни, которую онъ всегда считалъ единственною прочною пристанью для измученнаго сердца. Но было уже поздно. Нѣжная организація поэта не вынесла всѣхъ выпавшихъ на его долю испытаній и мрачнаго настроенія, навѣяемаго на него въ продолженіе многихъ лѣтъ меттерниховскою реакціею; въ особенности его подкосила послѣдняя нераздѣленная любовь къ одной замужней женщинѣ. Меланхолія его достигаетъ въ это время крайней степени. „Я недавно нашелъ у Гомера,—пишетъ онъ осенью 1843 г.,—одно слово, которое прекрасно характеризуетъ мое теперешнее душевное настроеніе—(αἴφρονος) „мрачный со всѣхъ сторонъ“. Менѣе чѣмъ черезъ годъ послѣ этого письма Ленау сошелъ съ ума.

Поэзія Ленау полно и ярко отражаетъ въ себѣ его меланхолическое душевное настроеніе, по временамъ граничившее съ пессимизмомъ. Но между пессимизмомъ Лепарди и пессимизмомъ Ленау большая разница. Въ то время, какъ Леопарди отрицаетъ прогрессъ и самый смыслъ жизни и смѣется надъ тщетными усиліями людей улучшить свое земное существованіе, Ленау вѣритъ, что наши страданія послужатъ на пользу человѣчеству:

„И страданья наши такъ должны принести
Новымъ поколѣніямъ лучшей жизни вѣсть“.

(Переводъ А. Н. Плещеева).

Считая человѣческую жизнь непрерывною цѣпью страданій, не видя въ ней никакой цѣли, Леопарди привѣтствуетъ смерть, какъ избавительницу отъ жизненной пытки, тогда какъ болѣе поэтическій Ленау видитъ поэтическую сторону въ самомъ страданіи; онъ оплакиваетъ бренность всего земного и терзается мыслью, что время считаетъ все, что самая скорбь не принадлежитъ намъ, что, оплакавъ смерть друга горячими слезами, мы, черезъ извѣстный промежутокъ времени будемъ вспоминать о немъ хладнокровно. По временамъ и ему кажется, что люди обречены на страданія, что жизнь играетъ злую шутку съ человекомъ, обманывая его призракомъ счастья. Такимъ настроеніемъ проникнуто стихотвореніе „Vanitas“ *).

„Къ цѣли тщетное стремленье,
Къ жизни тщетная борьба—
Вотъ твое предназначеніе,
Неизбѣжная судьба.
Предъ тобой красою чудной
Міръ таинственный сіялъ,
Но, уставъ отъ жизни трудной,
Ты природы не искалъ.
Пыль любви не лицемѣрной,
Обаянье красоты
И объятія дружбы вѣрной,—
Все отвергъ, какъ призракъ, ты.
И сыграла шутку злую
Жизнь коварная съ тобой,
Указавши золотую
Цѣль тебѣ въ дали нѣмой.
Сила, почести и слава
То что тѣшитъ родъ людской,

*) Это стихотвореніе, равно какъ и слѣдующее, я привожу въ неизданномъ переводѣ молодого поэта Д. Д. Пагирева, которому приношу глубокую благодарность...

Все—ничтожная забава,
Все—обманъ гетеры злой.
Вотъ манить она далеко;
Ты доврчиво спѣшишь...
Путь исчезъ—и одиноко
Надъ могилой ты стоишь.
Чуждъ тебѣ покой отрадный,
Съ смертью ты ведешь борьбу
И гетеры смѣхъ злорадный
Слышишь—и лежишь въ гробу“.

За исключеніемъ этихъ общихъ мотивовъ, пессимизмъ Ленау вращается почти исключительно въ сферѣ его личныхъ ощущений; онъ оплакиваетъ свою неудавшуюся жизнь, свою неудовлетворенную любовь, свою неспособность къ счастью.

„Пусть звѣзда моя сіяетъ,
Пусть померкнетъ—все равно
Затаенная снѣдаетъ
Скорбь меня уже давно.
И въ горахъ, гдѣ бури плачутъ,
Гдѣ царить орловъ семья
И потоки съ ревомъ скачутъ,
Неразлученъ съ нею я“.

Есть одно прекрасное стихотвореніе, въ которомъ, измученный непосильной борьбой съ овладѣвшимъ имъ безнадежнымъ чувствомъ, поэтъ жадно призываетъ покой смерти. „Глубокую рану ношу я въ моемъ сердцѣ; съ каждымъ днемъ она идетъ все глубже и глубже, истощая мои силы. Я зналъ только одну женщину, которой я могъ бы выговорить мою скорбную тайну. О, если бы я могъ выплакаться на ея груди. Но, увы, она лежитъ въ могилѣ. О, мать, услышь мольбы твоего сына и сжалъсь надъ нимъ и, если твоя любовь продолжаетъ бодрствовать надо мной и послѣ твоей смерти, возьми поскорѣе твое измученное дитя изъ этой жизни и, убаюкавъ, уложи его спать въ могилу“. Вообще говоря, печать величавой грусти лежитъ на всемъ, что написано Ленау, но это не мрачное отчаянье ничего не ждущаго отъ жизни пессимиста, а печаль утратившаго нравственное равновѣсіе меланхолика, который любитъ людей и жизнь, но чувствуетъ свою неспособность наслаждаться ею.

Глубже въ своихъ основахъ и радикальнѣе въ своихъ проявленіяхъ является пессимизмъ у современника Ленау, Гейне, поэта, гораздо болѣе Ленау, способнаго болѣть страданіями современнаго ему общества. „Сердце поэта“,—говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ,—„есть центръ міра, и потому въ наше время оно должно

быть особенно истерзано“. Воспитанный въ идеяхъ французской революціи, мечтавшій о братствѣ людей и водвореніи на землѣ царства правды, восторженный поклонникъ Байрона, Гейне въ своихъ юношескихъ произведеніяхъ былъ яркимъ выразителемъ мрачнаго и негодующаго настроенія, овладѣвшаго лучшими людьми Германіи въ эпоху меттерниховской реакціи. Несмотря на двойственность натуры Гейне, въ которой мечтательность и поэтический идеализмъ вѣчно боролись съ развѣдающимъ анализомъ и горькою ироніей, изъ нѣкоторыхъ его стихотвореній слышится такой вопль отчаянія, такіе мощные звуки негодованія, которыхъ мы тщетно стали бы искать у Ленау. Кто не знаетъ того прекраснаго стихотворенія, въ которомъ истерзанная созерцаніемъ торжества неправды, душа поэта требуетъ отъ Провидѣнія яснаго и опредѣленнаго отвѣта на проклятые вопросы, давно томящіе человечество:

„Отчего подъ ношей крестной
Весь въ крови влачится правый?
Отчего вездѣ безчестный
Встрѣченъ почестью и славой?“

(Переводъ М. Михайлова).

Къ 1823 г. относится знаменитое стихотвореніе „Сумерки боговъ“, очевидно навѣянное байроновскою „Тьмою“. Гейне жилъ тогда въ Люксбургѣ, избѣгалъ людей и бродилъ цѣлые дни по парку, погруженный въ мрачныя размышленія. „Здѣсь“,—писалъ онъ Мозеру,—„я поддерживаю знакомство только съ деревьями. Они стоятъ передо мною въ старомъ зеленомъ уборѣ, напоминаютъ старое доброе время и, напѣвая мнѣ своимъ шумомъ старыя пѣсни, навѣваютъ на душу тоску. Много горькаго всплываетъ во мнѣ и овладѣваетъ мной и, вѣроятно, отъ всего этого мои головныя боли усиливаются“. Подъ вліяніемъ охватившаго поэта мрачнаго настроенія и возникли „Сумерки боговъ“. Стихотвореніе начинается прелестною картиною возрожденія природы весною, но ни яркая зелень деревьевъ, ни коверъ цвѣтовъ, ни ласкающая мягкость ароматическаго воздуха, не могутъ разогнать пессимистическаго настроенія, овладѣвшаго душой поэта. Въ отвѣтъ на привѣтствіе Мая, приглашающаго его выйти изъ душной комнаты на воздухъ, поэтъ восклицаетъ:

„Напрасно ты, злой гость, меня манишь!
Насквозь тебя я понялъ, я проникнулъ
Строеніе вселенной всей насквозь:
И много я и глубоко я видѣлъ,

И нѣтъ теперь ужъ радости въ душѣ,
И вѣчная печаль терзаетъ сердце.
Я вижу все сквозь каменные стѣны
И мракъ людскихъ жилищъ и ихъ сердецъ;
Въ тѣхъ и другихъ я вижу ложь и горе;
На лицахъ всѣхъ читаю злыя мысли:
Въ румянцѣ цѣломудрія у дѣвы
Желаній страстныхъ трепеть вижу я.
На вдохновенно-гордой головѣ
У юноши колпакъ дурацкій вижу,
И ничего я, кромѣ рожъ какихъ-то
И испытыхъ тѣней, на всей землѣ
Не нахожу, и что она, не знаю —
Больница ль или сумасшедшій домъ“.

(Переводъ П. И. Вейнберга).

Принимая въ расчетъ молодость поэта, которому въ это время было не болѣе двадцати трехъ лѣтъ, нѣкоторые критики заподозрили искренность юношескаго пессимизма Гейне и упрекали его въ кокетничаньи своими страданіями съ цѣлью возбудить сожалѣніе въ чувствительныхъ сердцахъ. Съ этимъ, конечно, трудно согласиться. Гейне былъ слишкомъ искренній человѣкъ, чтобы сознательно драпироваться въ траурную мантию пессимизма; онъ всегда смотрѣлъ на міръ сквозь призму своихъ субъективныхъ впечатлѣній; но дѣло въ томъ, что въ этой разносторонней и въ высшей степени подвижной натурѣ впечатлѣнія быстро смѣнялись другъ друга; міровая скорбь, налетѣвшая на его душу подъ влияніемъ личныхъ невзгодъ или печальныхъ жизненныхъ фактовъ, быстро исчезала, лишь только жизнь показывала ему другія свои стороны, возбуждавшія въ немъ другія впечатлѣнія. Вотъ почему Гейне нельзя считать настоящимъ пессимистомъ; количество стихотвореній, проникнутыхъ пессимистическимъ настроеніемъ, составляетъ ничтожный процентъ въ общемъ количествѣ всего имъ написаннаго; міровая скорбь его, несмотря на весь радикализмъ своихъ проявленій, составляетъ только одну изъ сторонъ его поэтического міросозерцанія, и сторону, далеко не преобладающую.

Самымъ типическимъ представителемъ пессимистическихъ воззрѣній въ современной нѣмецкой поэзіи, нѣмецкимъ пѣвцомъ смерти является поэтъ, пишущій подъ всевдониомъ Дранмора, лучшія произведенія котораго извѣстны русскимъ читателямъ въ прекрасныхъ переводахъ гг. Вейнберга и Михайловскаго, появившихся нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ нашихъ журналахъ.

Усиленіе религіознаго скептицизма, влияніе пессимистическихъ воззрѣній Байрона и Леопарди и въ особенности рядъ со-

ціальнихъ разочарованій и политическихъ реакцій, ознаменовавшихъ исторію Франціи настоящаго столѣтія, создали тамъ весьма удобную почву для развитія пессимизма, не замедлившаго найти себѣ выраженіе и въ литературѣ. Отличительная черта французскаго пессимизма XIX вѣка состоитъ въ томъ, что онъ, главнымъ образомъ, вращается въ сферѣ соціальныхъ отношеній. „Всю нравственную болѣзнь нашего столѣтія“,—говоритъ въ одномъ мѣстѣ Альфредъ де-Мюссе,—„можно объяснить изъ двухъ причинъ. Народъ нашъ, продѣлавшій 1793 и 1814 гг., носитъ въ своемъ сердцѣ двѣ раны: того, что было—нѣтъ, и то, что должно быть—еще не наступило. Нечего искать другихъ причинъ и объясненій нашей міровой скорби“. На рѣдкаго изъ французскихъ писателей XIX вѣка не упала хоть одна капля міровой скорби, рѣдкій изъ нихъ не выпилъ хоть глотка изъ ея отравленнаго кубка. Ею въ большей или меньшей степени заражены всѣ значительные поэты и романисты Франціи, начиная съ Ламартина и Альфреда де-Мюссе и кончая Ришпенемъ и Полемъ Бурже. Принужденный по недостатку времени оставить ихъ въ сторонѣ, я останавливаю ваше вниманіе на самой крупной представительницѣ пессимизма въ современной французской поэзіи—на г-жѣ Луизѣ Аккерманъ. Въ ряду французскихъ поэтовъ-пессимистовъ г-жа Аккерманъ занимаетъ исключительное положеніе; элементъ соціального разочарованія совершенно отсутствуетъ въ ея поэзіи. Хотя г-жѣ Аккерманъ теперь уже 75 лѣтъ, но имя ея сдѣлалось извѣстнымъ не болѣе, какъ пятнадцать лѣтъ тому назадъ, когда появилась въ свѣтъ небольшая книжка ея стихотвореній. Всѣ были заинтересованы оригинальностью идей, смѣлымъ полетомъ фантазіи и, главнымъ образомъ, мрачнымъ пессимистическимъ міросозерцаніемъ новаго поэта, затронувшаго въ своихъ стихотвореніяхъ основные вопросы чело-вѣческаго существованія. Любопытство еще болѣе усилилось, когда узнали, что этотъ поэтъ—женщина; всѣ недоумѣвали, какимъ образомъ женщина могла достигнуть высотъ современнаго научнаго міросозерцанія, чтобы оттуда низвергнуться въ бездну самаго мрачнаго отчаянія; предполагали даже личное вліяніе Шопенгауэра. Словомъ, не было конца предположеніямъ, пока нѣсколько лѣтъ тому назадъ г-жа Аккерманъ не издала своей автобіографіи и своихъ *Pensées d'une solitaire*, представляющихъ собой, такъ сказать, идейную подкладку ея стихотвореній. Изъ автобіографіи г-жи Аккерманъ мы узнаемъ, что жизнь ея скорѣе изъ счастливыхъ, чѣмъ изъ несчастныхъ, что единственною потерей, оставившею глубокій слѣдъ въ ея душѣ, была потеря любимаго мужа,

умершаго еще въ 1846 г. „Судьба“,—говорить она,—„дала мнѣ все, чего я просила у нея, прежде всего—досугъ и независимость. Выводы современной науки не смущали меня лично, потому что я была подготовлена къ нимъ заранѣе; но мнѣ было горько за все человѣчество. Его безсиліе, скорби и тщетныя порыванія наполнили мою душу глубокимъ состраданіемъ. Родъ человѣческой казался мнѣ героемъ печальной драмы, разыгрывающейся въ заброшенномъ уголкѣ мірозданія, — въ силу слѣпыхъ законовъ предъ равнодушной природой, — драмы, развязка которой — поголовное уничтоженіе дѣйствующихъ лицъ. Созерцая то съ состраданіемъ, то съ негодованіемъ эту картину, я рѣшилась возвысить мой голосъ отъ лица человѣчества; я считала задачей, достойной поэта, сообщить моему голосу силу, соотвѣтствующую ужасной участи, ожидающей родъ человѣческой“. Дѣйствительно, чувство глубокаго [состраданія въ печальной участи человѣчества и не менѣе глубокаго отчаянія при мысли объ его уничтоженіи проникаетъ собою все, что вышло изъ-подъ пера г-жи Аккерманъ. Въ ея *Pensées* встрѣчаются, между прочимъ, такія мысли: „Мнѣ кажется, что какая-то злая воля управляетъ дѣлами людей. Если принять въ соображеніе, какъ она по временамъ все устраиваетъ къ худшему, ее можно назвать провидѣніемъ навыворотъ. У простаго случая не было бы ни такой пронизательности, ни такого постоянства въ выборѣ пагубныхъ комбинацій“. „Я не скажу человѣчеству: „иди впередъ! Я скажу ему: умирай, потому что никакой прогрессъ не улучшить твоей участи на землѣ. Все къ худшему въ этомъ худшемъ изъ міровъ; не на вратахъ ада, а въ преддверіи жизни нужно написать дантовское: входящіе оставьте надежду!“ Въ одномъ изъ лучшихъ стихотвореній г-жи Аккерманъ—*Les Malheureux* мрачная фантазія поэта рисуетъ картину страшнаго суда. Гремитъ труба архангела; при звукахъ ея задрожали въ своихъ гробахъ мертвецы; одни изъ нихъ стряхиваютъ съ себя могильный сонъ и встаютъ изъ гробовъ; другіе же, болѣе страдавшіе въ жизни, умоляютъ архангела не нарушать ихъ вѣчный покой.

„Какъ вновь родиться? Снова
Увидѣть воздухъ, небо, свѣтъ,
Холодныхъ зрителей страданія былого,
По`незабвеннаго?... О, нѣтъ!
Нѣтъ лучше вѣчный мракъ,—нѣтъ, лучше тишь нѣмая!
Вы, дѣти хаоса, укройте насъ крыломъ,
А ты, о смерть, небесъ посланница благая,
Ты, въ чьихъ объятыхъ мы заснули сладкимъ сномъ,
Теперь любовными руками
Прижми къ своей груди еще тѣснѣ насъ“...

Они не хотятъ даже въ рай, потому что всё блаженства рая не въ состояніи заглушить въ нихъ воспоминаній о перенесенныхъ ими страданіяхъ на землѣ.

„Пусть не снимаютъ съ насъ земли могильной бремя
Пусть не лишаютъ насъ, заснувшихъ въ царствѣ тьмы,
Забуть навѣкъ, что было время,
Когда существовали мы“.

(Переводъ г. Вейнберга).

Стихотворенія г-жи Аккерманъ интересны въ особенности тѣмъ, что отражаютъ въ себѣ жгучія муки души, разорвавшей со старыми традиціями, но не нашедшей въ себѣ силъ примириться съ новымъ научнымъ міросозерцаніемъ.

Въ стихотвореніи *Le Positivisme* г-жа Аккерманъ утверждаетъ, что позитивизмъ, удаливъ божество изъ вселенной и замѣнивъ его все сильными и безжалостными законами природы, самъ палъ жертвой своей побѣды, потому что пустота, прежде наполнявшаяся религіей, осталась ненаполненной, а съ низверженіемъ религіи человѣчество потеряло все, что у него было самого драгоценнаго—надежду и прибѣжище въ несчастіи. Та же тема развивается съ большею энергіей и глубиною чувства въ стихотвореніи *Свѣта! Свѣта* (*De la lumière*). Сказавъ, что прежде освѣщавшій человѣчество свѣточъ религіи погасъ, поэтъ продолжаетъ;

„Безсмертный свѣточъ свой наука предлагаетъ,
Но миллионами томительныхъ ночей,
Какъ мало отъ него трудъ генія бросаетъ
Мірѣ озаряющихъ лучей!
Пусть мглу ея лучи кой гдѣ избороздили,
Пусть мрачныхъ призраковъ исчезъ ненужный рой,—
Она расчистила пространство, но не въ силѣ
Наполнить пустоту собой?
И человѣкъ одинъ въ тоскѣ неутомимой
Дать разуму отвѣтъ зоветъ пустую тьму.
Увы! незримое попрежнему незримо.....
Освобожденному уму!“.

(Переводъ В. Курочкина).

Сборникъ стихотвореній г-жи Аккерманъ заканчивается стихотвореніемъ *Le cri*, которое дѣйствительно есть крикъ отчаянія, вырвавшійся изъ наболѣвшаго сердца поэта при видѣ погружающагося въ бездну небытія человѣчества. Этотъ раздирающій душу вопль есть послѣднее слово современнаго пессимизма. Для поэта, не вѣрующаго въ прогрессъ, отвергающаго христіанство, конечно, не остается никакого другого выхода, кромѣ отчаянія. А, между

тѣмъ, выходъ указанъ давно тѣмъ самымъ христіанствомъ, передъ истинною сущностью котораго осталась слѣпа г-жа Аккерманъ. Пока человѣкъ вращается исключительно въ сферѣ своихъ личныхъ интересовъ, носится съ своими страданіями, пассивно и безплодно горюетъ о томъ, чего нельзя измѣнить—ему не найти ни спокойствія, ни счастья. Нашъ великій сердцеѣдецъ Гоголь, въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Данилевскому, говоритъ, что единственное лѣкарство отъ тоски и скуки, наполнившей собою весь міръ, заключается въ стремленіи къ какой-нибудь цѣли,—стремленіи, которое охватило бы всего человѣка. Поставивъ своимъ основнымъ принципомъ любовь къ человѣчеству или, выражаясь современною философскою формулой, альтруизмъ, христіанство не только расширило въ значительной степени сферу душевныхъ симпатій человѣка, но и дало его прежнему безцѣльному эгоистическому существованію цѣль великую, возвышающую душу,—цѣль, малѣйшее приближеніе къ которой отодвинетъ на задній планъ неотвязныя мысли о краткости жизни, доставитъ человѣку несказанное внутреннее удовлетвореніе и съ избыткомъ вознаградитъ его за ненаполненную наукой пустоту.

Г-жа Аккерманъ увѣряетъ, что она говоритъ отъ лица всего человѣчества, что она есть органъ его страданій и его отчаянія; но то человѣчество, отъ имени котораго говоритъ она, едва ли составляетъ миллионную часть всего человѣчества, остальные части котораго ведутъ во мракъ и нищетѣ свою нескончаемую борьбу за право существованія. Помочь людямъ въ этой борьбѣ, разогнать мракъ, ихъ окружающій, водворить возможную на землѣ гармонію интересовъ и давно призываемое царство правды и свободы—вотъ великая социальная задача, вотъ великая цѣль жизни, стремленіе къ которой можетъ занять и мысль, и сердце человѣчества на многія тысячи лѣтъ. Пусть велико и необъятно наполняющее міръ зло, но не менѣе велики и необъятны силы человѣчества, дружно направленныя на борьбу съ нимъ. Работая въ этомъ направленіи, человѣчество обрѣтетъ душевный миръ, почувствуетъ подъ своими ногами твердую почву, а приближеніе хоть на іоту къ завѣтной цѣли дастъ ему силу и бодрость на новые труды, поможетъ ему проникать свѣтлымъ взоромъ въ загадочную даль будущаго.



Англійскіе поэты нужды и горя *).

Въ 1701 г. знаменитый англійскій писатель Аддисонъ путешествовалъ по Италіи и Швейцаріи. Съ дороги онъ писалъ своимъ лондонскимъ друзьямъ письма, обличающія въ немъ тонкаго и вдумчиваго наблюдателя всего видѣннаго. Главное, что поражаетъ насъ въ его письмахъ, это то, что, обращая вниманіе на все достопримѣчательное въ посѣщенныхъ имъ странахъ, Аддисонъ остается довольно равнодушенъ къ красотамъ швейцарской природы. Даже знаменитый перевалъ изъ Италіи въ Швейцарію, приводящій въ такой восторгъ туристовъ, не произвелъ на него никакого впечатлѣнія, кромѣ головокруженія. „Я только что“—пишетъ онъ,—„прибылъ въ Женеву послѣ весьма безпокойнаго переѣзда черезъ Альпы. Голова моя до сихъ поръ кружится отъ видѣнныхъ мною горъ и пропастей, и вы не можете себѣ представить, какое я испытываю удовольствіе, видя передъ собою равнину“. Признаніе это весьма характерно. Какъ это ни странно, но тѣмъ не менѣе вѣрно, что въ Англійи до Томсона, а во Франціи до Руссо, поэты мало обращали вниманія на природу и ея красоты и рѣдко пытались вставить дѣйствіе своей повѣсти или поэмы въ рамку красиваго пейзажа. Одушевлять же природу, ставить ее въ связь съ своимъ душевнымъ настроеніемъ или искать утѣшенія отъ жизненныхъ противорѣчій на ея лонѣ имъ и не приходило въ голову. Воспитанный въ школѣ ложно-классической академической правильности, вкусъ цѣнилъ и въ природѣ главнымъ образомъ то, что привлекало его въ литературѣ—правильность, изящество, симметрію. Вотъ почему

*) Публичная лекція, читанная авторомъ въ Москвѣ въ пользу Московскаго Комитета Грамотности.

писателямъ XVIII в. однообразно ровная плоскость нравилась больше уходящихъ въ небо горъ, а подстриженный паркъ съ симметрически-расположенными аллеями они предпочитали буйно разросшемуся лѣсу. „Требованія изящества“, замѣчаетъ Джонсонъ, „такъ усилились въ наше время, что чистая, неприкрашенная природа не могла быть терпима“. Задумавъ перевести Иліаду на англійскій языкъ (1715 г.). Попъ также отнесся къ Гемеру, какъ Расинъ къ Эврипиду: онъ долженъ былъ смягчить первобытную грубость греческихъ героевъ, придать ихъ рѣчамъ и манерамъ благородство и изящество. Аддисонъ умеръ въ 1719 г. на сорокъ восьмомъ году своей жизни, но если бы онъ прожилъ еще столько же и взглянулъ съ высоты прожитыхъ лѣтъ на англійскую поэзію XVIII в., то общій видъ ея напомнилъ бы ему женеvскую равнину и, вѣроятно, доставилъ бы ему такое же удовольствіе. Передъ его глазами раскинулась бы однообразная плоскость, покрытая тепличными, тщательно выхоленными цвѣтами и чахлыми деревьями. Среди ея, подобно могучему дубу, возвышается поэтъ природы Томсонъ, авторъ нѣкогда знаменитой описательной поэмы *Времена Года*, но онъ одинокъ: у него нѣтъ учениковъ и подражателей. Французскій вкусъ продолжаетъ господствовать и налагать свою печать на многочисленные продукты англійской поэзіи, въ которыхъ мы тщетно стали бы искать искренняго чувства или жизненной правды. Повидимому, педантизмъ изсушилъ у англійскихъ поэтовъ самый источникъ вдохновенія. Всѣ ихъ оды, идилліи, дидактическія поэмы и т. д. навѣяны не жизнью, но такъ называемыми образцами; въ нихъ нѣтъ ни непосредственности, ни мѣстнаго колорита, ни величаваго полета фантазіи, ни оригинальности въ выраженіи чувствъ. Первые признаки самостоятельности и живого чувства природы мы встрѣчаемъ, кромѣ Томсона, въ пѣсняхъ Прайора, элегіяхъ Грея и ранней поэмѣ Гольдсмита *Путешественникъ* (Traveller). Къ 1770 г. относится другая поэма Гольдсмита *Покинутыя деревня* (Deserted Village), которая открываетъ собою новую эру въ англійской поэзіи, знаменующую собою рѣшительный поворотъ къ реализму и жизненной правдѣ. Первоначально привитая къ области романа живая струя реализма не замедлила оплодотворить собою и засохшую ниву англійской поэзіи. Первый англійскій поэтъ, который вдохновлялся жизнью и стремился въ выраженіи своихъ чувствъ къ художественной правдѣ, былъ авторъ *Вѣфимдскаго Священника*. Никто болѣе Гольдсмита не былъ предназначенъ для этой роли. Его глубоко реальная натура могла вдохновляться только

пережитымъ и инстинктивно отворачивалась отъ всего манернаго, искусственнаго. „Природная красота, говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, всегда будетъ милѣе мнѣ и родственнѣе моему сердцу, чѣмъ всѣ прикрасы искусства“ *). Извѣстно, что оригиналомъ добраго вѣкфильдскаго пастора былъ отецъ Гольдсмита, а въ основѣ его лучшей комедіи (*She stoops to conquer*) лежитъ происшествіе, случившееся съ самимъ поэтомъ. Поэма *Покинутая деревня* была навѣяна Гольдсмиту посѣщеніемъ деревушки Лиссой въ Ирландіи, гдѣ онъ провелъ свое дѣтство. Поэтъ не узналъ родного уголка, оставившаго въ его душѣ столько свѣтлыхъ воспоминаній. Нѣкогда цвѣтущая деревня превратилась въ пустыню. Изъ разспросовъ сосѣдей Гольдсмиту узналъ, что владѣльцу ея, генералу Нэпиру, пришла фантазія расширить свое и безъ того обширное хозяйство. Не долго думая, онъ прогналъ жившихъ на его земляхъ фермеровъ, которые, распродавъ какъ попало свое имущество, эмигрировали въ Америку. „Милый, улыбающійся уголокъ“, восклицаетъ поэтъ, „исчезли всѣ твои прелести, всѣ твои чары! Рука деспота оставила свои слѣды на твоихъ хижинахъ, а опустошеніе бросило мрачную тѣнь на твои зеленые луга. Одинъ человѣкъ захватилъ въ свои жадныя руки все и распахалъ твои смѣющіяся равнины. Въ зеркалѣ твоего ручья не отражается болѣе ясное небо; поросшій осокой, онъ съ трудомъ пробиваетъ себѣ дорогу сквозь траву. Твои нѣкогда веселые домики лежатъ въ развалинахъ и длинная трава покрыла своею сѣтью полуразрушенную стѣну“. Отъ описанія деревни поэтъ переходитъ къ описанію прощанія жителей съ роднымъ уголкомъ. Ему кажется, что вмѣстѣ съ ними эмигрировала въ Америку свойственная англійскому земледѣльцу старинная доблесть. Разсужденія, которыми авторъ сопровождаетъ описаніе покинутой деревни, не лишены культурно-историческаго значенія, ибо въ каждомъ словѣ ихъ слышится восторженный поклонникъ Руссо. Поэтъ вздыхаетъ о томъ блаженномъ времени, когда земледѣлецъ обрабатывалъ свой собственный клочекъ земли, когда невинность и здоровье были его удѣломъ, когда онъ былъ богатъ незнаніемъ того, что такое богатство. Теперь все измѣнилось: „богатство съ своимъ неизмѣннымъ спутникомъ, роскошью, водворилось въ странѣ; торговля отняла у земледѣльца его землю, и нѣтъ болѣе ни сельскаго веселья, ни сельскихъ нравовъ“. Къ социальнымъ

*) To me more dear, congenial to my heart
One native charm, than all the gloss of art.

сѣтованіямъ поэта присоединяются и его личныя разочарованія. Утомленный житейской борьбой, поэтъ мечталъ о блаженствѣ окончить свою жизнь въ родномъ уголкѣ, среди своихъ земляковъ, но и этой мечтѣ не суждено теперь осуществиться:

Во всѣхъ скорбяхъ, мнѣ посланныхъ судьбой,
Во всѣхъ скитаньяхъ тягостныхъ и темныхъ,
Не разлучался я съ моей мечтой—
Окончить жизнь межъ этихъ хижинъ скромныхъ.
Хотѣлось мнѣ сберечь остатокъ дней,
Сберечь свѣчу отъ быстрого сгаранья,
Чтобъ послужить еще странѣ моей,
Среди народа бросить сѣмя знанья.
Хотѣлось мнѣ въ вечерній мирный часъ
Собрать толпу, которая съ вниманьемъ
Прослушаетъ мой горестный рассказъ
Про жизнь съ ея борьбой, мечтой, терзаньемъ...
Какъ прячется олень въ глуши лѣсной,
Заслыша лай собакъ и звуки рога,
Такъ въ мысляхъ я летѣлъ въ мой край родной,
Чтобъ тамъ почить, благословляя Бога *).

Поэма Гольдсмита имѣла большой успѣхъ и въ продолженіе пяти мѣсяцевъ выдержала пять изданій. Читателей того времени пріятно удивила ходожественная правда изображенія и тотъ теплый колоритъ, которымъ озарены въ ней картины сельской жизни. Критика осыпала Гольдсмита похвалами, но едва ли не самой высшей похвалой было для него восклицаніе маститаго поэта Грея, который, прослушавъ на смертномъ одрѣ поэму Гольдсмита, сказалъ: „Да, это настоящій поэтъ“!

Знамя реализма и гуманности, водруженное въ англійской поэзіи Гольдсмитомъ, захватилъ въ свои мощныя руки величайшій поэтъ XVIII в., Робертъ Бэрнсъ. Этотъ геніальный самородокъ едва ли не былъ самымъ оригинальнымъ изъ англійскихъ поэтовъ; по крайней мѣрѣ, онъ болѣе всего былъ обязанъ своему природному генію и менѣе всего культурѣ. Сынъ земледѣльца и самъ фермеръ, ведшій во все продолженіе своей недолгой жизни (онъ умеръ тридцати семи лѣтъ) упорную борьбу за свое существованіе, Бэрнсъ не имѣлъ возможности приобрести сколько-нибудь солидныя научныя свѣдѣнія. Образованіе его было чисто литературное и ограничивалось англійскими поэтами и шотланд-

*) Приведенный отрывокъ, равно какъ и переводы стихотвореній Бэрнса и Эллиота, сдѣланы для настоящей лекціи молодымъ поэтомъ К. Д. Бальмонтомъ, которому приношу глубокую благодарность. Авт.

скими балладами, которыя онъ читалъ и распѣвалъ ходя за плугомъ. „Я никогда“, говорилъ онъ въ своемъ автобіографическомъ мемуарѣ, не имѣлъ намѣренія посвятить себя поэзіи; любовь сдѣлала меня поэтомъ, и риѳма и пѣсня стали естественнымъ языкомъ для выраженія моихъ чувствъ“. Но, если Бэрнсъ не обладалъ солиднымъ образованіемъ, то взамѣнъ этого онъ обладалъ качествами, безъ которыхъ нельзя быть истиннымъ поэтомъ—необыкновенно-впечатлительнымъ темпераментомъ, чуткѣмъ ко всему поэтическому въ природѣ и жизни и гуманнымъ, любящимъ сердцемъ. Вальтеръ-Скоттъ рассказываетъ, что однажды въ его присутствіи Бэрнсъ залился слезами, увидѣвши въ одномъ домѣ гравюру, изображавшую убитаго солдата, возлѣ котораго стояла подкошенная горемъ жена съ ребенкомъ на рукахъ, а нѣсколько поодаль сидѣла, понутивъ голову, старая вѣрная собака. Любовь къ человѣчеству была религіей его сердца. Онъ вѣрилъ въ лучшія стороны человѣческой природы и относится снисходительно и гуманно къ человѣческимъ заблужденіямъ. Но сфера симпатій Бэрнса не ограничилась человѣкомъ. Великая тайна бытія наполняла его душу какимъ-то чувствомъ пантеистическаго восторга. Онъ обнималъ своимъ любовнымъ взоромъ всю природу, а его поэтическое сердце было связано таинственными нитями со всѣмъ, въ чемъ чувствовалось трепетаніе міровой жизни. „Никогда“, пишетъ онъ пріятелю, „я не могъ слышать безъ душевнаго волненія, близкаго къ восторженному благоговѣнію или поэзіи, громкій свистъ чибицы въ лѣтній полдень или дикое немолкаемое щебетаніе цѣлої стаи дроздовъ въ осеннее утро“. Одно изъ лучшихъ стихотвореній Бэрнса посвящено полевой маргариткѣ, которую онъ нечаянно срѣзалъ своимъ плугомъ. Въ другомъ стихотвореніи, не менѣе поэтическомъ, онъ горячо сочувствуетъ печальной судьбѣ бѣдной полевой мыши, гнѣздо которой было разорено его плугомъ, и сожалеетъ о томъ, что человѣческій эгоизмъ разорвалъ свою связь съ природой.

Твой бѣдный домикъ разоренъ.
Почти съ землей сравнялся онъ...
И не найдешь ты въ полѣ мховъ
На новый домъ.
А вѣтеръ, грозень и суровъ,
Шумитъ кругомъ.

(Переводъ М. Л. Михайлова).

Такого любовнаго отношенія къ природѣ мы не найдемъ ни у одного изъ англійскихъ поэтовъ до Бэрнса. Правда, у Шекспира

въ комедіи *Какъ Вамъ Угодно* выведенъ загадочный типъ меланхолика Джэка, который плачетъ надъ раненымъ оленемъ, но эта слезливая чувствительность англійскаго blasé XVI в., напоминающая героевъ Стерна, имѣетъ мало общаго съ тѣмъ пантеистическимъ чувствомъ родства съ природой, которое составляетъ оригинальную черту поэзіи Бэрнса. Чтобы найти нѣчто подобное, нужно перенестись почти за двѣ тысячи лѣтъ въ эпоху первобытной наивности и вспомнить Сакунталу, называвшую цвѣты своими братьями. Когда такая чуткая поэтическая душа начнетъ описывать человѣческую жизнь, отъ нея не укроется ни одинъ сдержанный вздохъ, ни одна затаенная человѣческая слеза. Я не имѣю намѣренія дѣлать общую характеристику всего написаннаго Бэрнсомъ, замѣчу только, что кромѣ пѣсенъ, наиболѣе прославившихъ его имя, гдѣ онъ оплакиваетъ печальную участь англійскаго земледѣльца, Бэрнсъ оставилъ нѣсколько небольшихъ поэмъ изъ окружающей жизни, замѣчательныхъ по своему неподражаемому юмору и художественной правдѣ изображенія. Шотландія съ своей сумрачной природой и съ оригинальными нравами своихъ полудикихъ горцевъ живьемъ возстаетъ въ его описаніяхъ. Въ проникнутой своеобразнымъ юморомъ балладѣ *Томъ О'Шэнтеръ* Бэрнсъ знакомитъ насъ съ суевѣріями своихъ земляковъ. Въ *Субботнемъ Вечерѣ Поселянина* поэтъ даетъ намъ полное идиллической прелести изображеніе семейной жизни шотландскаго зажиточнаго фермера. Высшей степени объективности и реализма достигаетъ Бэрнсъ въ поэмѣ *Веселые Нищіе* (Jolly Beggars), которая представляетъ собой настоящую бытовую картину въ тенъеровскомъ вкусѣ изъ жизни поддонковъ человѣческаго общества, поражающую своимъ мрачнымъ реализмомъ *). Въ полусвѣщенной корчмѣ пируетъ веселая компанія оборванцевъ, живущихъ кто милостыней, кто воровствомъ, кто грабежомъ. Они кричатъ, шумятъ, топаютъ ногами, но въ ихъ весельи есть нѣчто такое, отъ чего морозъ подираетъ по кожѣ. Отверженные обществомъ, они въ свою очередь объявили ему войну и смѣются надъ всѣми его учрежденіями. Одни изъ нихъ пьютъ изъ желанія забыться, другіе потому, что въ ихъ жизни нѣтъ другого счастья, другой цѣли, кромѣ выпивки и разгула. Страшно становится за человѣка, когда прислушаешься къ ихъ разговорамъ и къ пѣснѣ одного изъ нихъ, прерываемой шумными восклицаніями всей нищей братіи. Я приведу эту пѣсню въ переводѣ К. Д. Бальмонта:

*) Всѣ эти три поэмы переведены на русскій языкъ и помѣщены въ книгѣ Гербеля *Англійскіе Поэты*. Спб. 1875 г.

Законъ всегда мы къ чорту шлемъ!
Мы вольно, весело живемъ!
Суды—для трусовъ, подлецовъ,
А церкви, чтобъ кормить поповъ!
У насъ нѣтъ жадности къ чинамъ
И роскоши не нужно намъ!
Намъ лишь бы весело жилось!
А гдѣ живемъ? Да гдѣ пришлось!
Зайдемъ въ конюшню иль сарай
Для насъ любое мѣсто рай;
Подруги веселы у насъ,
Мужей не кинуть ни на часъ!
И что намъ въ томъ, что жизнь идетъ—
Намъ лишь бы не было заботъ!
Пускай заботятся ханжи,
Исчадыя скупости и лжи!
Такъ грянемъ, братцы, пѣсни мы
Въ честь нашей нищенской сумы,
Еще разъ грянемъ веселѣй
Въ честь нашихъ милыхъ и дѣтей!

Еще рѣшительнѣе по пути сближенія поэзіи съ жизнью пошелъ современникъ Бэрнса, Джорджъ Краббъ, котораго обыкновенно считают отцомъ реально-бытового направленія въ англійской поэзіи. Краббъ былъ родомъ изъ маленькаго приморскаго городка, Альдборо, гдѣ его отецъ занималъ сначала должность сельскаго учителя, а потомъ таможеннаго надсмотрщика. Суровую школу нужды и лишеній пришлось пройти поэту въ дѣтствѣ и юности, но эта школа сблизила его съ дѣйствительной жизнью, изоцригла его наблюдательность, возбудила въ немъ сочувствіе къ низшимъ классамъ общества, такъ что, когда онъ началъ писать, онъ не могъ быть никѣмъ инымъ, какъ только правдивымъ бытописателемъ жизни бѣднаго люда. Уже въ своемъ юношенскомъ произведеніи, поэмѣ *Дережня* (Village), обратившемъ на него всеобщее вниманіе, Краббъ является болѣе или менѣе сознательнымъ реформаторомъ англійской поэзіи: „Пѣснь моя“, говоритъ онъ, „будетъ имѣть цѣлью изображеніе сельской жизни, съ ея трудами и заботами, съ бытомъ крестьянина въ годы юности и старости, съ его удачами и бѣдами и съ концомъ его труднаго поприща, ибо я намѣренъ воспѣвать истинную, дѣйствительную жизнь бѣднаго человѣка, и муза моя не умѣетъ пѣть другого рода пѣсенъ. Далеки отъ насъ тѣ времена, когда сельскій бардъ воспѣвалъ звучнымъ стихомъ прелести своихъ родныхъ долинъ, когда пастушки, смѣняя другъ друга, поочередно прославляли красу природы и милыхъ пастушекъ. Времена не тѣ, но все еще въ нашихъ пѣсняхъ

слышны жалобы влюбленныхъ Коридоновъ и до сихъ поръ еще влюбленные пастухи поютъ о своихъ любовныхъ горестяхъ,—увы! единственныхъ горестяхъ, которыхъ они никогда не испытываютъ!“... *) Получивъ мѣсто пастора въ отдаленномъ уголкѣ Англіи, Краббъ отдался своимъ обязанностямъ съ рвеніемъ и любовью, но не забывалъ и поэзіи. Онъ былъ не только другомъ и утѣшителемъ, но и Гомеромъ своихъ прихожанъ. Въ 1807 г онъ издалъ въ свѣтъ свою знаменитую поэму *Приходскій Списокъ* (Parish Register), прославившую его имя по всей Англіи. Величайшіе поэты того времени сошлись въ похвалахъ Краббу. Вальтеръ-Скоттъ называлъ его своимъ любимымъ поэтомъ; Вордсвортъ удивлялся соединенію въ произведеніяхъ Крабба истины съ поэзіей; Байронъ въ своей ѣдкой сатирѣ, направленной противъ современныхъ поэтовъ и критиковъ (English Bards and Scottish Reviewers), замѣчаетъ, что иногда истина ссужаетъ свое благороднѣйшее пламя поэзіи, ея вдохновляемой, и приводитъ въ примѣръ Крабба, называя его лучшимъ изъ поэтовъ природы. Дамы-писательницы не меньше восхищались Краббомъ, чѣмъ мужчины, хотя и выражали свой восторгъ довольно наивнымъ образомъ. Извѣстная романистка Джэнь Остинъ, не терпѣвшая мужчинъ и рѣшившаяся никогда не выходить замужъ, прочтя „Приходскій Списокъ“, перемѣнила гнѣвъ на милость и сказала, что мистеръ Краббъ единственный мужчина, за котораго она, можетъ быть, вышла бы замужъ—признаніе ни къ чему ее не обязывавшее, такъ какъ Краббъ былъ давно женатъ.

Что же это была за поэма, возбуждавшая такіе единодушные восторги? Планъ ея отличается замѣчательной простотой и вмѣстѣ оригинальностью. Сообразно тремъ главнымъ моментамъ въ жизни всякаго человѣка, освящаемымъ церковью,—крещенію, бракосочетанію и похоронамъ, она дѣлится на три части. Поэмѣ предшествуетъ введеніе, прекрасно переведенное на русскій языкъ Миномъ, гдѣ мы находимъ характеристику того селенія, въ которомъ пришлось священствовать Краббу. Описаніе миловидныхъ, чистыхъ, утонувшихъ въ зелени домиковъ, обитаемыхъ трудолюбивыми и честными фермерами, смѣняется описаніемъ грязныхъ трущобъ, населенныхъ поддонками деревенскаго общества—пьяницами, ворами, контрабандистами и т. п. людьми.

*) Слова эти приведены въ статьѣ Дружинина о Краббѣ (*Собраніе сочиненій*, т. IV), заключающей въ себѣ обстоятельную характеристику всѣхъ произведеній поэта.

Но расстаюсь съ тобой, мой мирный уголокъ,
 Меня зовутъ къ себѣ несчастья и порокъ,
 Зовутъ отъ хижины, простой и чистой, къ этимъ
 Зловоннымъ улицамъ, гдѣ каждый вечеръ встрѣтимъ
 Толпу, готовую вступить въ жестокий споръ,
 Гдѣ бродитъ пьяница, мошенникъ, ловкій воръ.
 Что ночь, то драка здѣсь, проклятыя, крики, стоны,
 Мужья бьютъ пьяныхъ женъ, мужьямъ перечать жены,
 А дѣти съ воплями стараются разнять
 Жестокаго отца и бѣшеную мать.
 Войдите! Пужды нѣтъ, что душины эти хаты:
 Врачъ истинный идетъ и въ смирадныя палаты.

Первая часть поэмы носитъ названіе: *Крестины* (Baptisms). Отмѣчая крещеніе ребенка, Краббъ сообщаетъ всякій разъ исторію его отца и матери, и такимъ образомъ простая официальная отмѣтка превращается въ прелестную повѣсть. Нѣкоторыя изъ этихъ повѣстей въ высшей степени трогательны. Таковъ, напримѣръ, рассказъ о прекрасной дочери мельника. Много красивыхъ дѣву, шекъ было въ деревнѣ, описываемой Краббомъ, но ихъ всѣхъ затмевала своей красотой дочь мельника Люси. Отецъ очень гордился красавицей-дочкой и не иначе думалъ выдать ее, какъ за богатаго человѣка. Но судьба судила иначе. Люси полюбился бравый, но бѣдный матросъ, а такъ отецъ не хотѣлъ и слышать о бракѣ, то молодые люди сошлись безъ отцовскаго благословенія. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ они должны были разстаться. Вильямъ отплылъ въ походъ и вскорѣ былъ убитъ въ морскомъ сраженіи, а мельникъ, узнавъ, что дочь опозорила его имя, выгналъ ее изъ дому. Исторія эта очень обыкновенна, но она рассказана Краббомъ съ поразительнымъ драматизмомъ, а описаніе горя бѣдной Люси, грозящаго мало-по-малу окончиться безуміемъ—верхъ совершенства. Я позволяю себѣ привести цѣликомъ это мѣсто, такъ какъ оно представляетъ собою прекрасный образчикъ поэтической манеры Крабба:

Въ вечерній часъ, какъ тѣнь, она бредетъ въ поляхъ,
 Стараясь укачать младенца на рукахъ,
 Иль сядетъ и глядитъ незрячими очами,
 Какъ струйки ручейка сребрить луна лучами,
 Иль пѣсню запоетъ, но тихо, тихо такъ,
 Что слышать, какъ ручей журчитъ, струясь въ оврагъ.
 Тогда и пѣснь ея становится журчаньемъ,
 И чувствуетъ она съ невольнымъ содроганьемъ.
 Какъ возстаютъ предъ ней въ таинственной тиши
 Видѣнья ужаса, мечты больной души,

И сознаеть тогда въ мучительномъ раздумѣ,
Что ужъ мутится въ ней и ей грозитъ безумье.

(Переводъ Мина).

Повѣсти печальныя и трогательныя чередуются въ поэмѣ Крабба съ рассказами игриваго содержанія, дающими возможность познакомиться съ другими сторонами его таланта. Таковъ исполненный игривости и добродушнаго юмора рассказъ о мужѣ, пришедшемъ въ отчаяніе отъ неимовѣрнаго плодородія своей жены. Фермеръ Джерардъ Аблетъ женился по любви. Радостный и сіяющій онъ привелъ свою невѣсту къ алтарю, и во время вѣнчанія на слова священника: „да множится твой родъ, какъ вѣтви на деревѣ!“ онъ восторженно отвѣчалъ: „Амины!“ Супруги жили счастливо, и аккуратно каждый годъ жена радовала мужа рожденіемъ то сына, то дочери. Но по мѣрѣ увеличенія семейства уменьшалась радость мужа, съ ужасомъ думавшаго, чѣмъ онъ будетъ кормить такую семью; когда же жена стала дарить Джерарда двойнями, онъ пришелъ въ совершенное отчаяніе, едва отвѣчалъ на поздравленіе сосѣдей, ворчалъ на жену и даже позволялъ себѣ неделикатныя шутки насчетъ ея плодородія, но счастливая мать ничего не замѣчала и на всѣ его ворчанія, укоры и шутки отвѣчала ему однимъ смѣхомъ:

Моя жъ дражайшая—хоть вздохомъ, хоть бы словомъ
Отвѣтила въ отпоръ моимъ словамъ суровымъ—
Смѣется: любо ей дѣтми меня бѣситъ
И думать, какъ бы вновь ребенка мнѣ родить!

Во второй части поэмы, посвященной бракосочетаніямъ, есть не мало исторій то забавныхъ, то трогательныхъ. Къ послѣднимъ принадлежитъ исторія Фиби Даусонъ, которой восхищался на смертномъ одрѣ величайшій изъ ораторовъ Англіи Чарльзъ Фоксъ. Она начинается описаніемъ свадьбы героини, позволяющимъ заранее предсказать ея печальную судьбу. Описаніе это по содержанию и колориту нѣсколько напоминаетъ извѣстное стихотвореніе Некрасова, *Свадьба*, хотя разгульный дѣтина Некрасова во всякомъ случаѣ гораздо симпатичнѣе краббовскаго жениха.

Несчастливая чета стояла предъ пасторомъ,
Сведенная предъ нимъ судебнымъ приговоромъ
И прихотью любви. Напрасно молодая,
Широкій свой нарядъ стыдливо оправляя,
Прикрыть старалась то, что было такъ замѣтно.
Взволнованный женихъ-мальчишка непривѣтно
То опускалъ глаза, то подымалъ ихъ снова—
И было много въ нихъ преступнаго и злого;

Въ горячей головѣ шумѣли эль и пиво,
А бѣшенство въ груди. Нескладно, торопливо
Обѣты онъ свои произносилъ предъ Богомъ,
А на лицѣ его, озлобленномъ и строгомъ,
Казалось совсѣмъ иная мысль блуждала
И въ будущемъ женѣ немного общала...
Невѣста на вопросъ отвѣтила стыдливо
И, полная тоски, взглянула боязливо
На мужа своего, стараясь улыбнуться:
Авось его любовь и счастье къ ней вернуться?
Надѣясь добротой и рѣчью безъ обмана
Расшевелить золу любви, потухшей рано.
И вотъ они идутъ, выходятъ, но не рядомъ:
Тиранъ идетъ впередъ, блуждая мутнымъ взглядомъ
И толщій кошелекъ свой щупая рукой,
Поглядываетъ онъ въ ту сторону порою,
Гдѣ былъ трактиръ. Во слѣдъ ему шаги свои торопятъ
Несчастливая жена... И былъ безумно пропить
Послѣдній мѣдный грошъ, въ глазахъ ея, въ трактирѣ.
И вотъ они идутъ по улицѣ къ квартирѣ
Несчастливаго отца невѣсты, чтобъ обнимъ
Проститься навсегда съ любовью и покоемъ.

(Переводъ Гербеля).

Не менѣе интересна третья часть поэмы, посвященная похоронамъ. И здѣсь, какъ и въ предыдущихъ частяхъ, описывая самый обрядъ и сопровождавшіе его эпизоды, поэтъ рассказываетъ жизнь и дѣлаетъ характеристику личности покойника. Благодаря этому приему, читатель получаетъ цѣлый рядъ мастерски нарисованныхъ портретовъ, которые, рассматриваемые въ цѣломъ, представляютъ собой громадную бытовую картину *alfresco* провинціальной жизни Англіи въ началѣ нынѣшняго столѣтія.

Наибольшей зрѣлости поэтической талантъ Крабба достигаетъ въ его poemѣ *Мистечко*, написанной черезъ три года послѣ Приходскихъ Списковъ. По своему обыкновенію онъ въ описаніе жизни англійскаго приморскаго городка вставляетъ нѣсколько повѣстей, изъ которыхъ одна *Исторія Питера Граймса* замѣчательна по обнаруженной въ ней авторомъ силѣ психологическаго анализа. Муки преступной совѣсти Граймса, постоянно вызывающей передъ нимъ образы загубленныхъ имъ жертвъ, изображены до того правдиво и ярко, что ощущение ужаса невольно передается читателю *). Здѣсь же мы встрѣчаемъ поразительное по своему реализму описаніе рабочаго дома—этой грязной и вонючей тюръ-

*) Повѣсть эта переведена Миномъ и помѣщена въ изданіи Гербеля *Англійскіе поэты*.

мы, въ которую англійская благотворительность запирала всѣхъ немогущихъ прокормить себя рабочихъ и, давая имъ пищи ровно столько, чтобъ не умереть съ голоду, занимала ихъ совершенно бесполезными работами и думала, что дѣлаетъ доброе дѣло. Гуманное сердце Крабба энергически возстало противъ этой фари-сейской благотворительности, приравнивавшей бѣдняка къ преступнику. „Не такъ, говорить онъ, мы должны заботиться о страждущемъ собратѣ, трудившемся всю свою жизнь. Хорошій охотникъ, когда состарѣтся его любимая лошадь, не продаетъ ее за безцѣнокъ, но отводитъ ей лугъ, гдѣ она пасется до смерти. Отчего же мы не хотимъ дать волю нашему сердцу, когда намъ приходится позаботиться о старомъ поселянинѣ или матросѣ? Не лучше-ли кормить ихъ тамъ, гдѣ они родились и жили? Не лучше-ли не тревожить ихъ старости и предоставить имъ до послѣдней минуты видѣть передъ собой любимыя мѣста и дорогія лица“.

Знаменитый англійскій критикъ Джэффри въ своемъ разборѣ Приходскихъ Списковъ считаетъ Крабба первокласснымъ поэтомъ потому, что сила и правда кисти соединяются у него съ крайнею сжатостью и энергіей выраженія. Этими немногими словами прекрасно охарактеризована сущность поэтического таланта Крабба. „Къ каждому поэту, говорить въ одномъ мѣстѣ Карлейль, мы имѣемъ прежде всего право обратиться съ словами: смотри и наблюдай!“ И Краббъ смотрѣлъ и наблюдалъ. Передъ его пытливымъ взоромъ рассыпалась въ прахъ парадная оболочка жизни; онъ видѣлъ не только изнанку жизни, но ея сущность, сердцеви-ну. Какъ истинный мудрецъ, онъ смотрѣлъ съ тихой грустью на человѣческую суету и, хорошо зная слабость нашей природы, никогда не предъявлялъ къ ней идеальныхъ требованій; но его поэтическое сердце трепетало отъ радости, когда онъ встрѣчался съ явленіемъ, способнымъ поддержать его упорную вѣру въ достоинство чело-вѣка. Въ противоположность другимъ поэтамъ, старавшимся опозитизировать жизнь, Краббъ поставилъ своей единственной цѣлью правду изображенія; изъ всѣхъ его произведеній нельзя привести примѣра, изъ котораго можно было бы заклю-чить, что онъ хоть разъ принесъ правду въ жертву эффекту. Оттого его описанія англійской провинціальной жизни имѣютъ не только литературное, но и культурное значеніе. Значеніе же его въ исторіи англійской поэзіи и состоитъ въ томъ, что, идя по слѣдамъ Гольдсмита и Бэрнса, онъ продолжалъ разрабатывать затронутую ими жилу реального наблюденія и повелъ дѣло сбли-женія поэзіи съ жизнью гораздо дальше ихъ. Эта способность

видѣть правду жизни соединялась у Крабба съ замѣчательнымъ даромъ характеристики. Двумя-тремя штрихами онъ такъ умѣетъ изобразить характеръ человѣка, что мы легко можемъ представить его себѣ и предугадать всѣ его дѣйствія. Одна изъ главныхъ особенностей поэтической манеры Крабба заключается въ его сжатомъ, энергическомъ и необыкновенно точномъ словѣ. Мы мало знаемъ поэтовъ, которые были бы до такой степени экономны на слова, какъ Краббъ; вотъ отчего его такъ трудно переводить. Иллюзія, которую производятъ описанія Крабба, основана на сжатости и точности выраженія. На первый взглядъ кажется, что стиль Крабба имѣетъ много общаго со стилемъ величайшаго изъ французскихъ реалистовъ, Флобера. Но это сходство только кажущееся. Правда, Флоберъ много, даже слишкомъ много работаетъ надъ своимъ слогомъ и придавъ ему замѣчательную сжатость, силу и точность, но его слогу, при всей его сочности, недостаетъ простоты и естественности; въ немъ нерѣдко видно стараніе произвести эффектъ филигранной отдѣлкой фразы, чего мы не замѣчаемъ у Крабба. Притомъ же Флоберъ писалъ прозой; ему нечего было скупиться на сравненія и эпитеты, тогда какъ Краббу нужно было уложить глубокое содержаніе въ узкую рамку стиха, и притомъ такъ, чтобы послѣдній не утратилъ ни своей энергіи, ни своей красоты. Мнѣ кажется, что стихъ Крабба по своей образности, точности и силѣ можетъ быть сравниваемъ только съ лапидарными терцинами Данте.

Въ дѣятельности Крабба нужно обратить вниманіе на двѣ стороны, тѣсно соприкасающіяся между собою. Какъ художникъ, онъ является непосредственнымъ преемникомъ Гольдсмита и Бэрнса; какъ гуманистъ и филантропъ, онъ долженъ быть изучаемъ въ связи съ тѣмъ великимъ филантропическимъ движеніемъ, которое охватило Англію въ концѣ XVIII в. и выразилось въ дѣятельности Джона Говарда и Анны Моръ. Рисуя картины провинціальной жизни Англіи, Краббъ пытался возбудить сочувствіе своихъ читателей къ судьбѣ земледѣльцевъ и ремесленниковъ, которые являются главными героями его произведеній. Совершившееся подъ вліяніемъ изобрѣтенія паровой машины и механическаго ткацкаго станка превращеніе Англіи въ промышленную страну создало для филантропіи новый объектъ попеченія, а для литературы новый объектъ изученія и симпатіи въ лицѣ фабричнаго рабочаго. Если справедливо, что развитіе фабричнаго производства способствовало быстрому обогащенію множества лицъ, то не менѣе справедливо, что замѣна ручного станка меха-

ническимъ способствовала разоренію сотенъ тысячъ рабочихъ, оставшихся въ силу этой замѣны совѣмъ безъ работы. Отсюда недовольство рабочихъ, принимавшее не разъ размѣры настоящаго народнаго бунта. Зимой 1811 г. нортгемпширскіе ткачи, доведенные до отчаянія безработицей, ворвались на фабрики, гдѣ были новыя станки, и всѣ ихъ переломали. По этому поводу былъ внесенъ въ палату общинъ билль, назначавшій страшныя уголовныя кары, до смертной казни включительно, тѣмъ изъ рабочихъ, которые будутъ обвинены въ порчѣ и истребленіи хозяйскихъ машинъ и инструментовъ. Когда этотъ билль, прошедши черезъ нижнюю палату, перешелъ въ верхнюю, противъ него и въ защиту рабочихъ выступилъ величайшій поэтъ Англіи, лордъ Байронъ. Выразивъ свое сожалѣніе о прискорбныхъ фактахъ, подавшихъ поводъ къ внесенію билля въ парламентъ, Байронъ замѣтилъ, что никакими мѣрами нельзя предотвратить на будущее время ихъ повтореніе, потому что источникъ ихъ — голодъ. „Развѣ въ нашемъ кодексѣ мало всякихъ наказаній? Развѣ мы мало пролили крови на основаніи нашихъ уголовныхъ законовъ? Развѣ желѣзо и кровь были когда нибудь въ состояніи залѣчить раны обездоленнаго и голоднаго люда? Нѣтъ, такой безчеловѣчный законъ не можетъ пройти, вы не можете дать ему свою санкцію. Но, положимъ, онъ пройдетъ. Что же будетъ дальше? Неужели вы думаете, что если на основаніи новаго закона вы притянете къ суду одного изъ этихъ, доведенныхъ до отчаянія бѣдняковъ — такъ его и осудятъ? Никогда, по той простой причинѣ, что для осужденія его необходимо посадить двѣнадцать мясниковъ, вмѣсто присяжныхъ, и выписать съ того свѣта приснопамятнаго Джефрейса вмѣсто судьи“.

Парламентскую рѣчь Байрона нельзя, конечно, разсматривать какъ доказательство живого участія поэзіи въ рабочемъ вопросѣ, потому что Байронъ говорилъ не какъ поэтъ, а какъ политикъ, но тѣмъ не менѣе изъ нея можно заключить, что сочувствіе къ судьбѣ фабричныхъ рабочихъ проникло и въ высшіе слои англійскаго общества. Великія идеи равенства, братства и свободы, шедшія въ концѣ XVIII вѣка изъ Франціи, возбудили глубокое сочувствіе въ передовыхъ людяхъ Англіи, преимущественно въ сердцахъ англійской молодежи. Бэрнсъ во многихъ стихотвореніяхъ высказываетъ сочувствіе французской революціи, Вордсвортъ пишетъ свои страстные гимны къ свободѣ, Томасъ Пэнъ является горячимъ защитникомъ провозглашенныхъ французской революціей прирожденныхъ правъ человѣка, а Бентамъ ставитъ основ-

нымъ принципомъ своей нравственной системы счастье возможно-большаго количества людей. По мѣрѣ того, какъ эти идеи стали входить въ общее сознаніе, сочувствіе англійскаго общества къ рабочему люду стало усиливаться. Одни, какъ напримѣръ лордъ Байронъ, указывали на то, что обогащеніе промышленниковъ и фабрикантовъ шло параллельно съ обѣднѣніемъ рабочихъ, другіе, какъ напримѣръ Адамъ Смитъ, распространялись объ отупляющемъ дѣйствіи машинъ на рабочихъ, которые, привыкнувъ дѣлать постоянно одно и то же, мало-по-малу утрачивали свою природную сметку и изобрѣтательность и сами превращались въ живую машину. 1814 г. вышла въ свѣтъ поэма Вордсворта *Путешествіе* (Excursion), въ которой поэтъ высказываетъ свои горькія сѣтованія, что фабричная промышленность отняла у бѣдняка его единственное утѣшеніе — домашній очагъ. По словамъ поэта, хижины опустѣли, а если осталась дома мать, то она цѣлый день одна. Некому ей помочь покачать ребенка; не видно воалѣ нея дочерей, которыя въ прежнее время сидѣли за прялкой или занимались рукодѣльемъ; пусть и холоденъ очагъ, на которомъ въ прежнее время готовился для всей семьи обѣдъ. Некого ей похвалить, некого поучить, некому приказать! Бываютъ случаи, что отецъ семейства не нанимается на фабрику и остается дома, но и онъ тоже одинокъ. Когда онъ идетъ въ поле на работу или въ лѣсъ за дровами, его не сопровождаютъ, какъ въ прежнее время, сыновья. Можетъ быть они были немножко лѣнтяи, но зато они росли на его глазахъ, дышали свѣжимъ воздухомъ, топтали своими ногами зеленую траву. Теперь все это исчезло! Экономисты, пожалуй, скажутъ вамъ, что эти жертвы необходимы для общаго благосостоянія. Безсердечная и чудовищно-нелѣпая мысль! Развѣ мать можетъ благоденствовать, когда разрушается здоровье ея дѣтей, нарушается естественный ходъ ихъ развитія, искажается разумъ, иссушается сердце и эпоха расцвѣта становится одновременно эпохой увяданія. „Можно ли“, спрашиваетъ поэтъ, „ждать чего-нибудь отъ зрѣлаго возраста, когда онъ покоится на такихъ основаніяхъ?“

Къ концу тридцатыхъ и началу сороковыхъ годовъ относятся два общественныя движенія, которыя нашли свое выраженіе въ поэзіи. Я разумѣю агитацію противъ хлѣбныхъ законовъ и великое движеніе въ средѣ рабочихъ классовъ, извѣстное подъ именемъ чартизма. Прекрасную характеристику обоихъ движеній, ихъ возникновенія, роста, а также и тѣхъ результатовъ, къ которымъ ни привели, можно найти въ книгѣ академ. Янжула *Англійская*

Свободная Торговля. Отсылая желающихъ къ этому сочиненію, я коснусь только тѣхъ сторонъ движенія, которыя имѣютъ прямое отношеніе къ избранной мною темѣ. Вторая четверть настоящаго столѣтія ознаменовалась въ Англіи сильнымъ развитіемъ пауперизма въ средѣ рабочаго сословія. Причины этого печальнаго явленія лежали въ общихъ условіяхъ народнаго хозяйства въ Англіи, въ уничтоженіи кустарнаго производства, во введеніи интенсивныхъ формъ земледѣльческаго хозяйства, въ частыхъ промышленныхъ кризисахъ, оставлявшихъ безъ работы сразу десятки тысячъ людей, въ увеличеніи народонаселенія, совпавшемъ съ увеличеніемъ налоговъ и, наконецъ, въ дороговизнѣ хлѣба, бывшей результатомъ высокихъ пошлинъ (tax), налагаемыхъ въ интересахъ англійскихъ землевладѣльцевъ на ввозный хлѣбъ. Гарантированные въ силу хлѣбныхъ законовъ отъ всякой конкуренціи крупные землевладѣльцы могли назначить за свой хлѣбъ какія угодно цѣны, и народъ принужденъ былъ платить ихъ. Хотя движеніе, направленное противъ хлѣбныхъ законовъ, и было принципиально противоположно чартизму, потому что первое основывалось на принципѣ свободной торговли, а второй на принципѣ государственнаго вмѣшательства, но тѣмъ не менѣе въ этомъ послѣднемъ пунктѣ оба движенія сходились. И представители буржуазіи, и представители рабочаго класса одинаково негодовали на дороговизну хлѣба и были одинаково заинтересованы въ отмѣнѣ хлѣбныхъ законовъ. На почвѣ этого общественнаго недовольства и возникли *Пѣсни о Хлѣбныхъ Законахъ* (Corn Law Rhymes) Эбенезера Эллиота, впервые появившіяся въ 1831 г. и снискавшія автору и громкую извѣстность, и титулъ поэта бѣдныхъ людей. Эллиотъ самъ принадлежалъ къ рабочему сословію, былъ кузнецомъ въ Шеффилдѣ, даже имѣлъ свою собственную небольшую мастерскую. Склонность къ поэзіи проявилась въ немъ весьма рано, но все, что онъ ни печаталъ, было оставляемо безъ вниманія современной критикой. Нужно было много нравственной энергіи, чтобы, находясь въ его положеніи, не пасть духомъ. Но Эллиотъ съ честью выдержалъ двадцатилѣтній искусь, не бросалъ пера и терпѣливо ждалъ, когда наступитъ его часъ послужить своимъ перомъ родинѣ. Такимъ настроеніемъ проникнуто его стихотвореніе *Молитва Поэта*, въ которомъ желаніе послужить Англіи сливается съ желаніемъ почтить рано среди родныхъ полей.

Всесильный Богъ, молю тебя смиренно,
Дай силъ служить родной странѣ моей,
Пусть буду честнымъ, смѣлымъ неизмѣнно,

И пусть умру на утрѣ юныхъ дней...
Вдали отъ торжищъ, отъ толпы нестройной,
Пусть буду я, счастливый и спокойный,
Въ могилѣ одинокой почивать,
А надо мною въ лѣтній полдень знойный
Пусть будутъ маргаритки расцвѣтать,
И прилетать къ моей могилѣ пчелы,—
Трава, волнуясь, будетъ шелестѣть
И красногрудка въ часъ зари веселый
Надъ анемоной будетъ пѣсни пѣть.

(Переводъ К. Д. Бальмонта).

Наконецъ, часъ его насталъ. Когда началась агитація противъ хлѣбныхъ законовъ, Элліотъ сдѣлался однимъ изъ ея главныхъ дѣятелей. Онъ основалъ въ Шеффилдѣ общество противъ таксы на хлѣбъ (Antibreadtax Society), устраивалъ митинги, говорилъ рѣчи. Пѣсни его, направленные противъ хлѣбныхъ законовъ, распѣвались рабочими, служили текстами для рѣчей, ободряли упавшихъ духомъ. Наибольшею популярностью въ средѣ рабочихъ пользовалась его пѣсня подъ заглавіемъ *Семья Пролетаріевъ въ Англіи*, проникнутая ѣдкой ироніей и самымъ мрачнымъ безразсвѣтнымъ отчаяніемъ. Страстный тонъ ея, эти угрозы и проклятья богачамъ объясняются тѣмъ, что она написана въ эпоху ожесточенной борьбы, когда шансы на успѣхъ были слабы и когда друзья рабочихъ, и въ томъ числѣ Элліотъ, пришли въ отчаяніе. Цѣль ея была не только сорвать сердце, но и возбудить безпокойство въ лагерь противниковъ—и этой послѣдней цѣли она несомнѣнно достигла. Я привожу ее въ переводѣ К. Д. Бальмонта:

Они какъ воры въ домъ вошли,
Весь скарбъ. всю мебель унесли,
Все—и приданую кровать:
Бѣднякъ на доскахъ можетъ спать!
Сжимая грозно свой кулакъ,
Хозяинъ имъ во слѣдъ взглянулъ,
Нахмурилъ лобъ, рукой махнулъ,
И отъ жены ушелъ въ кабакъ.
Ура! Да здравствуетъ Англія!
Да здравствуетъ хлѣбный налогъ!
Жена въ отчаяньи—одна;
Рукой изсохшею она
Ребенка блѣднаго беретъ.
И душить въ ужасѣ и бьетъ,
И къ жизни хочетъ вновь воззвать...
Напрасно: трупъ ребенка нѣмъ.
Кричитъ безумная: зачѣмъ
Меня не задушила мать?
Ура! и т. д.

Завернуть въ грязное тряпье,
Въ вонючемъ ящикѣ забить,
Безъ погребенія лежитъ
Другой умершій сынъ ея.
У ней нѣтъ денегъ гробъ купить,
Могила даромъ не дадутъ,
Попы безъ денегъ не придутъ
Обрядъ послѣдній совершить.

Ура! и т. д.

У нихъ еще была и дочь;
Она ушла отъ нихъ туда,
Гдѣ нѣтъ ни чести, ни стыда...
Ей нищета была не въ мочь
И смерть предъ нею впереди...
Ей гробомъ былъ рабочій домъ,
Она передъ послѣднимъ сномъ
Звала: о мать моя, приди!

Ура! и т. д.

Увы! напрасенъ этотъ стонъ,
Передъ судьбою смущена
Трепещетъ мать. Не скажетъ онъ,
Что сумасшедшая она.
Допросъ не дологъ. Конченъ судъ.
Ее на площадь привели;
Шатаясь, мужъ стоитъ вдали,
И всѣ на казнь смотрѣтъ удуть.

Ура! и т. д.

О, богачи! За васъ законъ!
Не слышенъ вамъ голодныхъ стонъ.
Вашъ взоръ суровъ, вашъ духъ жестокъ,
Вы нищихъ прячете въ острогъ.
Но неизбѣженъ мести часъ!
Рабочій проклиняетъ васъ!
И то проклятье не умереть,
А перейдетъ изъ рода въ родъ.

Ура! да здравствуетъ Англія!

Да здравствуетъ хлѣбный налогъ!

Какъ всѣ стихотворенія, написанныя на случай, пѣсни Элліота утратили интересъ въ наше время, когда самая память о хлѣбныхъ законахъ давно исчезла. Но въ числѣ стихотвореній Элліота есть нѣсколько такихъ, которыя, благодаря своимъ поэтическимъ достоинствамъ, никогда не устарѣютъ. Таково напримѣръ стихотвореніе *Суббота*—прелестная семейная картинка изъ быта рабочихъ. Семья рабочаго ждетъ возвращенія его съ фабрики. Всѣ члены семьи стараются сдѣлать воскресный досугъ отца пріятнымъ и комфортабельнымъ. Положимъ, всѣ ихъ старанія прибавятъ

немного comfortу, но въ нихъ столько наивной прелести и чувства, что они въ состояніи растрогать до глубины души:

Насъ завтра ждетъ воскресный день,
Вставай, дитя проснись;
Ушелъ работать твой отецъ,
И ты за трудъ примись.
Весь домъ съ тобою приберемъ
Мы съ ранняго утра,
Очистимъ мы досчатый полъ
И пылъ страхнемъ съ ковра:
И окна вымоемъ, чтобъ въ нихъ
Заискрилось стекло;
Пусть осень на дворѣ,—у насъ
Уютно и свѣтло.
Почисти скобки у дверей,
Я вычищу диванъ;
Джонъ любить отдохнуть, когда
На улицѣ туманъ.
Почисти столикъ, книгу вынь
И положи на немъ;
Ты знаешь, любить твой отецъ
Читать воскреснымъ днемъ.
Пусть блещетъ ваза для цвѣтовъ.
Какъ онъ домой придетъ:
Въ саду онъ розу, можетъ быть,
Осеннюю найдетъ.
И горстку мху сорветъ въ лѣсу,
А въ полѣ—берденецъ.
Мы разукрасимъ домикъ нашъ
На славу, какъ дворецъ.
(Переводъ К. Д. Бальмонта).

Съ отнѣною въ 1846 г. хлѣбныхъ законовъ Эллиотъ счелъ свою поэтическую и социальную миссію оконченной. Сознывая, что онъ имѣлъ право на отдыхъ, онъ оставилъ Шеффилдъ и переселился въ пріобрѣтенный имъ маленькій загородный домикъ, близъ Бринсли, гдѣ и умеръ въ 1849 г. Незадолго до смерти онъ написалъ стихотвореніе подъ заглавіемъ *Надиробіе поэта* *), въ которомъ назвалъ себя пѣвцомъ людскихъ скорбей, громко пѣвшимъ правду и клеймившимъ враговъ народа—названіе имъ вполне заслуженное, которое навѣрно будетъ утверждено за нимъ потомствомъ.

Къ Эллиоту примыкаетъ цѣлая группа поэтовъ-чартистовъ, изъ которыхъ нѣкоторые, какъ напр. Томасъ Куперъ, были люди

*) Это единственное изъ стихотвореній Эллиота, переведенное на русскій языкъ. Оно помѣщено въ *Англійской Поэзіи* Гербея.

съ несомнѣннымъ поэтическимъ талантомъ; они воспѣвали страданія рабочаго люда, грозили имущимъ классамъ народнымъ мщеніемъ, создавали цѣлые планы соціальныхъ утопій, но ихъ стихотворенія слишкомъ тенденціозны. Въ нихъ больше стремленія къ эффекту, чѣмъ истинной поэзіи, они скорѣе напоминаютъ собой политическіе памфлеты извѣстной партіи, чѣмъ поэтическія произведенія; оттого они при самомъ своемъ появленіи произвели мало впечатлѣнія и скоро были забыты. Гораздо больше всѣхъ ихъ вмѣстѣ взятыхъ сдѣлалъ въ интересахъ рабочаго сословія талантливый Томасъ Гудъ, снова поставившій вопросъ на общечеловѣческую почву и воззававшій къ сердцу и совѣсти своихъ согражданъ. Въ 1844 г., когда чартистское движеніе, такъ напугавшее фабрикантовъ и капиталистовъ, было подавлено, когда общество, отогнавъ отъ себя страшный призракъ рабочей революціи, снова успокоилось въ утѣшительномъ сознаніи, что все обстоитъ благополучно, появилась на страницахъ *Punch*'а знаменитая *Пѣсня о Рубашкѣ*. Хотя подъ стихотвореніемъ не было подписи, но Диккенсъ тотчасъ догадался, кто былъ его авторомъ. Вмѣсто всякихъ фантазмагорій, проклятій и угрозъ, которыми наполняли свои произведенія поэты-рабочіе, Гудъ представилъ англійскому обществу страдальческой образъ представительницы столичнаго рабочаго сословія, лондонской швеи, у которой нѣтъ никакихъ интересовъ, никакихъ радостей въ жизни, никакихъ занятій кромѣ безконечнаго шитья. Сидя въ своей грязной и сырой комнаткѣ, одѣтая въ лохмотья, она шьетъ по цѣлымъ днямъ, шьетъ до отека пальцевъ, до одурѣнія, слезы душатъ ее, но она ихъ сдерживаетъ изъ опасенія, чтобъ онѣ не помѣшали ей кончить работу къ сроку, и изъ груди ея, надломленной, разбитой, невольно вырывается стонъ и жалоба на свою горькую участь:

Работай! работай! работай!
Пока не сожметъ головы какъ въ тискахъ!
Работай! работай! работай!
Пока не померкнетъ въ глазахъ!
О, братья любимыхъ сестеръ,
Опора любимыхъ супруговъ, матерей,
Не холстѣ на рубашкахъ вы носите—нѣтъ!
Но жизнь безотрадную швей.

(Переводъ М. Л. Михайлова).

Она чувствуетъ, что ея слабое, надломленное непосильнымъ трудомъ здоровье требуетъ отдыха, но она должна работать, не покладая рукъ, чтобъ заработать себѣ кусокъ хлѣба, а хлѣбъ такъ дорогъ...

О Боже,—спрашиваетъ она,—зачѣмъ это дорогъ такъ хлѣбъ,
Такъ дешево тѣло и кровь?

Впечатлѣніе, произведенное этимъ стихотвореніемъ, было впечатлѣніе громового удара въ ясную погоду. Сила таланта сдѣлала свое дѣло; иллюзія получилась полная—и общественная совѣсть встрепетулась. О жалкомъ положеніи лондонскихъ швей заговорила пресса; составилось благотворительное общество съ цѣлью улучшить ихъ участь. Ободренный успѣхомъ своей *Пѣсни о Рубашкѣ*, Гудъ, уже лежавшій на смертномъ одрѣ, написалъ еще нѣсколько стихотвореній, посвященныхъ интересамъ рабочаго сословія и проникнутыхъ такимъ же гуманнымъ чувствомъ—*Сонъ Лэди*, *Часы Рабочаго Дома* и *Пѣсня Работника* *). Лучшимъ изъ нихъ въ художественномъ отношеніи считается „Сонъ Лэди“, Героиня стихотворенія Гуда вела себя, какъ ведутъ всѣ женщины ея круга; она рядилась, ѣдила по баламъ, театрамъ, концертамъ, но никогда не вдумывалась въ жизнь, не замѣчала ея изнанки. И вдругъ ей однажды привидѣлся сонъ, который произвелъ совершенный переворотъ въ ея міросозерцаніи и заставилъ ее горько задуматься надъ своимъ бесполезнымъ существованіемъ. Она проснулась и долго не могла прійти въ себя отъ ужаса и скорби, словно передъ ней впервые раскрылась бездонная бездна чело-вѣческаго горя. Ей привидѣлся безконечный рядъ гробовъ, въ которыхъ лежали бѣдняки, преждевременно сошедшіе въ могилу отъ страданій, нищеты и непосильной работы. Она могла бы облегчить ихъ страданіе и продолжить ихъ жизнь, но она этого не сдѣлала:

„Всѣ эти страданья, всѣ раны нужды
Могла я легко исцѣлить:
Вѣдь я никогда не питала въ душѣ
Желанія злое творить.
Но видно не меньше злодѣя преступень
И тотъ, кто любви и добру недоступень“.
Въ отчаянны руки ломаетъ она
Тоска овладѣла душой
И тихо на пухъ изголовья текутъ
Горячія слезы рѣкой.
(Переводъ О. Б. Миллера).

У Гуда не было никакой своей программы по рабочему вопросу. Единственно, что онъ требовалъ для рабочаго сословія—это право на трудъ, и на эту тему написано его стихотвореніе *Пѣснь*

*) Первое изъ нихъ помѣщено у Гербея, а два послѣднія въ довольно рѣдкой книгѣ *Избранные поэты Англіи и Америки*. Спб., 1864 г.

Работника. Какъ поэтъ-реалистъ, онъ хотѣлъ дать обществу исполненное горькой правды изображеніе жизни рабочаго и тѣмъ разбудить общественную совѣсть, воззвать къ гуманному чувству людей, которые считали себя христіанами, но на самомъ дѣлѣ мало заслуживали этого названія. Вотъ почему онъ придавалъ такое значеніе своей *Пѣснѣ о Рубашкѣ*, которое произвело громадное впечатлѣніе на общество и сдѣлало его имя весьма популярнымъ въ средѣ рабочаго сословія. Гудъ видѣлъ въ этомъ стихотвореніи не только хорошіе стихи, но и хорошій поступокъ. Онъ желалъ остаться въ памяти людей какъ авторъ „*Пѣсни о Рубашкѣ*“ и, умирая, просилъ жену вырѣзать на его могильномъ памятникѣ всего пять словъ: онъ пропѣлъ „*Пѣсню о Рубашкѣ*“ (He sang the Song of the Shirt).

Гудъ умеръ въ 1845 г. Послѣ его смерти защиту человѣческихъ правъ и экономическихъ интересовъ рабочаго сословія взяли въ свои руки Диккенсъ, Кингсли, мистрисъ Гаскель и другіе писатели, но въ ихъ произведеніяхъ рабочій вопросъ переходитъ уже изъ области чистой поэзіи въ область соціального романа, и потому лежитъ за предѣлами избранной мною темы...

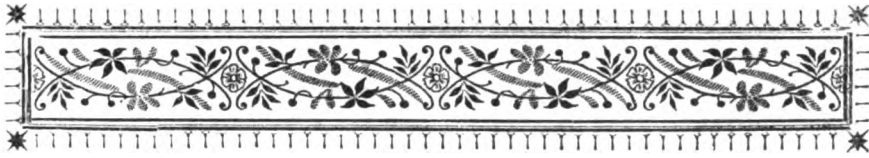
Рѣчь моя приходитъ къ концу. Я познакомилъ васъ съ цѣлымъ рядомъ англійскихъ поэтовъ XVIII и XIX вѣка, которые вдохновлялись въ своей дѣятельности не столько своими личными радостями и горестями, сколько мотивами общественными, альтруистическими. Я назвалъ ихъ поэтами нужды и горя, потому что этотъ элементъ преобладалъ въ жизни людей, которую они такъ правдиво изображали въ своихъ произведеніяхъ.

Надѣюсь, что отъ васъ не ускользнула связь, въ которую я ставлю реализмъ въ поэзіи съ преслѣдованіемъ ею цѣлей гуманныхъ. Такъ было по крайней мѣрѣ въ Англіи. Альтруизмъ въ поэзіи шелъ здѣсь рядомъ не съ идеализмомъ, а съ реализмомъ. И это вполне естественно. Я не хочу этимъ сказать, что поэты другого направленія, поставившіе своей задачей стремленіе къ идеалу, любили человѣчество меньше Бэрнса, Крабба, Вордсворта или Томаса Гуда. Я думаю, что различіе между идеализмомъ и реализмомъ въ поэзіи находится въ зависимости отъ тѣхъ цѣлей, которыя они преслѣдуютъ и отъ тѣхъ средствъ, которыя они употребляютъ для достиженія этихъ цѣлей. Поэты-реалисты хотятъ насъ заинтересовать изображеніемъ дѣйствительности; поэты-идеалисты напротивъ того хотятъ отвлечь насъ отъ нея и перенести въ лучшій міръ, гдѣ чувства возвышеннѣе и страсти разыгрываются грандіознѣе. Видя въ искусствѣ только подходящую

форму для выраженія своихъ идей, поэты-идеалисты создаютъ себѣ героевъ идеальныхъ, стоящихъ какъ бы внѣ пространства и времени и которымъ поэтому легко повѣрять свои задушевные мысли. Такъ, напримѣръ, поступилъ Байронъ въ Манфредѣ. Желая сдѣлать героя органомъ своихъ идей, поэтъ лишилъ его родной почвы, всякаго временнаго и мѣстнаго колорита и въ концѣ концовъ превратилъ его въ какой-то символъ. Эти избранныя, превышающія дѣйствительность, демоническія натуры, символически совмѣщающія въ себѣ все горе и всѣ мятежныя думы человѣчества, смотрятъ свысока на копошащееся у ихъ ногъ человѣчество и не чувствуютъ своей солидарности съ нимъ. „Хотя я и ношу образъ человѣка“—говоритъ Манфредъ,—„но не чувствую никакой симпатіи къ людямъ“. Такія слова влагаетъ въ уста своего любимаго героя поэтъ-идеалистъ, для котораго идея важнѣе жизненной правды. Совершенно иначе поступаютъ поэты-реалисты.

Задавшись цѣлью сблизить поэзію съ жизнью, они наполняютъ свои произведенія типами, выхваченными изъ жизни; рисуя горе, нужду и страданіе, они въ силу естественнаго хода вещей дѣлаются проводниками альтруизма и гуманныхъ чувствъ, ибо трагическая сторона жизни имѣетъ неострашимую силу привлекать къ себѣ поэтическія сердца, ее изучающія... И такъ, совпаденіе реализма съ альтруизмомъ въ англійской поэзіи нельзя считать случайнымъ, и великое нравственное значеніе поэтовъ-реалистовъ состоитъ въ томъ, чтобъ не дать погаснуть въ нашей душѣ священной искрѣ состраданія къ меньшому брату. Пусть же продолжаетъ постоянно звучать ихъ любящій и укоряющій голосъ! Честь имъ и слава! Они не даютъ намъ заснуть въ эгоистическомъ самоуслаженіи; они будятъ въ насъ благороднѣйшее изъ чувствъ—чувство человѣческой солидарности. Въ этомъ состоитъ ихъ миссія, ихъ величайшая заслуга. И потомство не забудетъ этой заслуги! Оно отведетъ имъ почетное мѣсто въ пантеонѣ своихъ самыхъ дорогихъ воспоминаній; оно не замедлитъ присоединить къ ихъ титулу поэтовъ жизненной правды болѣе почетный титулъ пѣвцовъ-заступниковъ обездоленнаго человѣчества.





Джорджъ Тикноръ.

(Биографическій очеркъ).

Биографія ученаго, посвятившаго себя наукѣ, проведеншаго большую половину жизни въ рабочемъ кабинетѣ въ приготовленіяхъ къ великому труду, конечно, не можетъ претендовать на внѣшнюю занимательность или драматическіе эффекты, которыми нерѣдко изобилуютъ жизнеописанія общественныхъ дѣятелей: политиковъ, полководцевъ, министровъ, принимавшихъ непосредственное участіе въ судьбахъ народовъ и испытавшихъ на собственной судьбѣ рѣзкіе повороты колеса фортуны. Интересъ, представляемый жизнью ученаго или писателя—интересъ внутренний, психологическій; тутъ есть свои радости и печали, своя поэзія и проза, свои побѣды и пораженія. Неутолимая жажда знанія, борьба съ внѣшними препятствіями, стоящими на пути къ завѣтной цѣли, муки сомнѣнія въ виду необъятности задачи и сознанія слабости своихъ силъ, радостное чувство, сопровождающее всякое преодоленное препятствіе и законное самоудовлетвореніе, что завѣтная цѣль не далека—все это въ большей или меньшей степени испытанное всякимъ истиннымъ ученымъ имѣло мѣсто и въ жизни Тикнора. Но, кромѣ того, биографія знаменитаго американскаго ученаго интересна еще и въ другомъ отношеніи: въ продолженіе своихъ неоднократныхъ путешествій по Европѣ Тикноръ имѣлъ счастливый случай познакомиться со многими знаменитостями литературнаго и политическаго міра. Благодаря этому обстоятельству, дневникъ его и письма полны мастерскихъ портретовъ, анекдотовъ и мѣткихъ наблюденій, представляющихъ драгоценный матеріалъ для исторіи европейской литературы XIX в.

Джорджъ Тикноръ родился въ 1791 въ Бостонѣ въ Соединенныхъ Штатахъ. Родители его, люди зажиточные, религіозные и знавшіе цѣну образованія (отецъ его въ молодости былъ директоромъ Франклиновской школы въ Бостонѣ, а мать въ трудное время своей жизни имѣла школу у себя на дому), не щадили средствъ, чтобъ дать своему сыну хорошее воспитаніе въ строго религіозномъ духѣ. Четырнадцать лѣтъ отъ роду, прекрасно подготовленный отцомъ, Тикноръ вступилъ въ Дармутскую коллегію, близъ Бостона, гдѣ пробылъ два года (1805—1807). По собственному сознанію Тикнора, школа дала ему весьма мало: учителя были плохіе, бібліотека и того хуже. Впрочемъ объ образовательныхъ средствахъ въ тогдашней Америкѣ всего лучше можно судить изъ того факта, что когда Тикноръ уже по выходѣ изъ коллегіи задумалъ учиться по-нѣмецки, то во всемъ Бостонѣ нельзя было найти ни одной нѣмецкой книги, и пришлось обращаться въ одинъ городъ за грамматикой, въ другой за словаремъ и въ третій за Вертеромъ Гёте. Отецъ Тикнора, самъ хорошій классикъ, видѣлъ, что коллегія мало принесла пользы сыну и помѣстилъ его къ доктору Гардинеру, извѣстному филологу, который приготавлиалъ молодыхъ людей изъ классическихъ языковъ для поступленія въ Кембриджскій университетъ (Harward College). Гардинеръ былъ отличный преподаватель и въ продолженіе трехлѣтнихъ занятій съ нимъ молодой Тикноръ, отличавшійся рѣдкой способностью къ изученію языковъ, перечиталъ много греческихъ и латинскихъ классиковъ. Здѣсь же окончательно опредѣлился у него вкусъ къ литературѣ. Достигши 19 лѣтняго возраста, Тикноръ, по обычаю всѣхъ своихъ соотечественниковъ, долженъ былъ избрать себѣ профессію. Не чувствуя въ себѣ призванія быть профессію. Не чувствуя въ себѣ призванія быть проповѣдникомъ, онъ избралъ право и въ 1810 г. поступилъ въ контору знаменитаго юриста того времени Уилльяма Солливана. Съ свойственнымъ ему рвеніемъ Тикноръ принялся за изученіе различныхъ юридическихъ тонкостей, но сердце его не лежало къ праву, и по прежнему все свое свободное время онъ употреблялъ на чтеніе любимыхъ классиковъ. Между тѣмъ время шло и, выдержавъ экзаменъ на степень barrister'a, онъ въ 1813 г. открылъ свою собственную адвокатскую контору. Контора впрочемъ существовала не долго, ибо не далѣе какъ въ слѣдующемъ году Тикноръ, окончательно убѣдившись въ своемъ призваніи, навсегда покончилъ съ юридической карьерой и рѣшилъ посвятить себя педагогической дѣятельности. Въ Америкѣ—думалъ онъ—никогда не

будетъ недостатка въ хорошихъ юристахъ, такъ какъ юридическая карьера представляетъ много привлекательнаго для способныхъ и честолюбивыхъ молодыхъ людей, но у насъ нѣтъ хорошихъ ученыхъ, опытныхъ преподавателей и образованныхъ литераторовъ; этотъ недостатокъ не такъ-то легко пополнить. Въ это время попалась ему подъ руку книга Г-жи Сталь о Германіи, заключающая въ себѣ между прочимъ восторженный панегирикъ нѣмецкой наукѣ, а одинъ пріятель, жившій въ Геттингенѣ, сообщилъ ему такъ много хорошаго о геттингенскомъ университетѣ, что онъ рѣшился ѣхать туда, доканчивать свое образованіе, предварительно изучивъ нѣмецкій языкъ и совершивъ путешествіе по родинѣ, чтобъ завести личныя сношенія съ американскими учеными и запасть отъ нихъ рекомендаціями въ Европу. Первое испытаніе на избранномъ имъ пути была предстоящая продолжительная разлука съ семьей, которую онъ горячо любилъ и гдѣ ему жилось такъ уютно и привольно. „На мое путешествіе въ Европу“—писалъ онъ одному изъ своихъ друзей—„я смотрю какъ на средство быть впослѣдствіи полезнымъ моей родинѣ; это великая жертва настоящимъ во имя будущаго, и чѣмъ болѣе приближается время жертвоприношенія, тѣмъ она кажется мнѣ тяжелѣе и безумнѣе“.

Путешествіе по родинѣ заняло около девяти мѣсяцевъ. Тикноръ посѣтилъ лучшіе города Соединенныхъ Штатовъ и познакомился съ знаменитыми людьми Америки, которые снабдили его рекомендательными письмами къ своимъ европейскимъ пріятелямъ. Въ своихъ письмахъ къ роднымъ и друзьямъ, равно какъ и въ своемъ дневникѣ, начатомъ имъ въ то время, юный Тикноръ является тонкимъ наблюдателемъ всего видѣннаго и превосходнымъ портретистомъ. Личности президента Мадисона, бывшаго президента Джефферсона и знаменитаго англійскаго критика и издателя Эдинбургскаго Обозрѣнія Джеффри, пріѣхавшаго въ Америку жениться, стоятъ передъ нами какъ живыя. Какъ образчикъ наблюдательности и литературнаго таланта Тикнора, приводимъ съ нѣкоторыми сокращеніями блестящую характеристику Джеффри, мимоходомъ набросанную въ письмѣ къ пріятелю:

„Представьте себѣ небольшого, довольно плотнаго человѣка, брюнета съ краснымъ лицомъ и черными глазами. Онъ входитъ въ комнату такой легкой, почти фантастической походкой, что всѣ ваши прежнія представленія о суровомъ и исполненномъ достоинства редакторѣ Эдинбургскаго Обозрѣнія разлетаются въ

прахъ, и вы становитесь способны впасть въ противоположную крайность и считать его легкомысленнымъ, тщеславнымъ и надменнымъ. Онъ держитъ себя свободно и даже нѣсколько фамиллярно; отъ этого, конечно, каждый себя чувствуетъ легко съ нимъ, и разговоръ завязывается сразу, безъ всякихъ церемоній, но мнѣ не разъ случалось замѣчать, что эта фамиллярность шокируетъ людей, привыкшихъ къ утонченнымъ манерамъ высшаго общества. Вотъ почему Джеффри внушалъ многимъ предубѣжденіе къ себѣ раньше, чѣмъ онъ начиналъ говорить. Но довольно остаться съ нимъ нѣсколько минутъ, чтобъ тотчасъ же постичь его настоящій характеръ, ибо онъ и въ разговоръ влетаетъ съ такой же стремительностью и апломбомъ, какъ и въ комнату. Какой бы ни былъ предметъ разговора, онъ мигомъ подхватываетъ нить его, и первое, что поражаетъ васъ,—это замѣчательная легкость и стремительность его рѣчи. Мысли и замѣчанія льются изъ устъ его цѣлымъ потокомъ; эта стремительность и легкость до того забавляютъ васъ, что первое время даже забываете вдумываться въ смыслъ его рѣчи. Когда же вдумаешься въ смыслъ имъ сказаннаго, то съ удивленіемъ замѣчаешь, что, несмотря на быстроту рѣчи, слово у него никогда не опережаетъ мысли. Еще болѣе достойно удивленія, что въ противоположность другимъ ораторамъ, онъ никогда не повторяется, чтобъ дать себѣ время сгруппировать свои идеи, что въ то время, когда слушатели едва въ состояніи слѣдить за бурнымъ потокомъ его краснорѣчія, рѣчь его такъ же стройна и логична, какъ будто бы онъ защищаетъ свое дѣло передъ судомъ. Но только тогда, когда вся эта внѣшняя блестящая сторона разговорнаго таланта Джеффри перестанетъ поражать васъ, когда вы нѣсколько освоитесь съ блескомъ и стремительностью его рѣчи, тогда только вы оцѣните весь объемъ его умственныхъ силъ, тогда вы поймете, какой сильной и искусной рукой онъ овладѣваетъ темой разговора и съ какимъ искусствомъ онъ вертитъ ее во всѣ стороны, чтобъ рассмотреть вопросъ со всѣхъ сторонъ. Тогда вы поймете, что для него игрушка то, что для обыкновеннаго ума составляетъ предметъ усилій, что онъ ни въ какомъ случаѣ не вводитъ въ дѣло и половины своихъ умственныхъ силъ. Все это вмѣстѣ взятое даетъ возможность предугадать, что въ состояніи сдѣлать Джеффри, если возвышенная и трудная проблема дастъ полный просторъ его уму, или если онъ будетъ возбужденъ возраженіями сильнаго противника. И при всемъ томъ какая простота! Слушая его, вы невольно ощущаете удовольствіе при мы-

сли, что онъ ничего не дѣлаетъ для эффекта и выставки, что онъ не избираетъ предметовъ разговора и не ведетъ ихъ нарочно такъ, чтобъ имѣть возможность выказать свой талантъ и свои познанія. Вы увидите, что онъ не имѣетъ претеціи казаться остроумнымъ во что бы то ни стало, и если ему случится поразить противника своими вѣскими аргументами, онъ не оборачивается во всѣ стороны—какъ это зачастую дѣлаютъ разные знаменитости—чтобы убѣдиться какое впечатлѣніе его слова произвели на слушателей. Словомъ, вы не можете пробыть съ нимъ одного часа, чтобъ не убѣдиться, что въ немъ нѣтъ ни искусственности, ни аффектаціи, что онъ говоритъ не съ цѣлью восторжествовать надъ своимъ противникомъ и выказать свое искусство, но потому, что голова его переполнена идеями и что разговоръ облегчаетъ его мозгъ“.

Около половины мая 1815 г. Тикноръ прибылъ въ Англію. Вся страна была тогда подъ сильнымъ впечатлѣніемъ только что полученнаго извѣстія о бѣгствѣ Наполеона съ острова Эльбы. Большинство англичанъ, конечно, стояло за войну съ нимъ до послѣдней крайности, но либеральная партія была противъ войны, справедливо предвидя, что паденіе имперіи, созданной сыномъ революціи, повлечетъ за собой усиленіе реакціи въ Европѣ. „Сэръ“,—говорилъ Тикнору докторъ Парръ, знаменитѣйшій филологъ въ Англіи, — „я считалъ бы себя не исполнившимъ своего долга, если бы каждый вечеръ, ложась въ постель, не молился за успѣхъ Наполеона“. Мѣсяць спустя Тикноръ былъ у лорда Байрона, когда ему сообщили потрясающую новость о пораженіи Наполеона при Ватерло. Новость эта произвела повидимому тяжелое впечатлѣніе на великаго поэта. „Я очень жалѣю объ этомъ“, — сказалъ онъ съ свойственной ему улыбкой, — „я все надѣялся увидеть когда-нибудь голову лорда Кэстлру на висѣлицѣ; теперь, очевидно, что я не доживу до этого“^{*)}). Тикноръ провелъ въ Лондонѣ нѣсколько болѣе мѣсяца и въ этотъ короткій промежутокъ времени успѣлъ перезнакомиться и сойтись на дружескую ногу со многими литературными, учеными и художественными знаменитостями Англіи. Первые дни онъ чувствовалъ себя какъ бы затеряннымъ среди милліона людей, которые жили своей собственной жизнью и которымъ до него не было никакого дѣла. Полученныя письма отъ

^{*)} Лордъ Кэстлру былъ тогда первый министръ и глава реакціонной партіи въ Англіи.

родныхъ сразу разрушили тяжелое чувство одиночества; онъ увидалъ, что его любятъ и помнятъ, и это сознаніе было для него дороже всего. „Объясните моимъ маленькимъ братьямъ и сестрамъ“,—пишетъ онъ матери,—„какъ они мнѣ дороги, постарайтесь, чтобъ они меня не забыли, потому что для меня ничего не будетъ ужаснѣе, если эти маленькія сердца до того отвыкнутъ отъ меня, что по возвращеніи моемъ изъ долгаго и скучнаго странствованія, они встрѣтятъ меня какъ чужого“.

Благодаря рекомендательному письму къ Джифорду, редактору „Quarterly Review“, Тикноръ былъ введенъ въ избранный литературный кружокъ, собиравшійся у книгопродавца и издателя Моррея. Здѣсь онъ имѣлъ случай видѣть Галлама, Дизраэли, лорда Байрона и др. Англіійскіе литераторы встрѣтили въ высшей степени дружелюбно молодого и любознательнаго американца и засыпали его приглашеніями. Съ особенною признательностью вспоминаетъ Тикноръ о радушномъ приѣмѣ, оказанномъ ему лордомъ Байрономъ, находившемся тогда въ зенитѣ своей славы и переживавшемъ краткій періодъ своего семейнаго счастья. Тикноръ, знавшій Байрона по его сочиненіямъ и по отзывамъ его литературныхъ враговъ, былъ пораженъ простотой его обращенія, добродушіемъ и отсутствіемъ всякой заносчивости. „Съ лордомъ Байрономъ“,—пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ,—„я имѣлъ въ высшей степени интересный и поучительный разговоръ, продолжавшійся около часу. Онъ мнѣ показался простымъ и чуждымъ всякой аффектаціи человѣкомъ. Онъ искреннимъ тономъ говорилъ о безумствахъ своей юности, рассказывалъ безъ всякаго хвастовства о своихъ странствованіяхъ по востоку и Греціи; о своихъ произведеніяхъ выражался скромно, а отзывы его о произведеніяхъ его враговъ отличались вѣрностью, глубиной и великодушіемъ. Хотя онъ теперь нисколько не похожъ на Чайльдъ-Гарольда или Гяура, но лица, знающія его лучше и ближе, увѣрили меня, что содержаніе этихъ поэмъ есть исторія юношескихъ увлеченій самаго поэта, и что идеальные образы Гяура, Чайль-Гарольда суть ничто иное, какъ воплощеніе страстей и чувствъ, бушевавшихъ собственную душу поэта. На вопросъ гостя, почему онъ не оканчиваетъ своего Чайльдъ-Гарольда, Байронъ, упомянувши, что эта поэма была начата въ самомъ мрачномъ настроеніи духа, подъ вліяніемъ охватившаго его недовольства противъ общества, добавилъ: „Я всецѣло погружаюсь въ то, что пишу; я не могу оторвать моихъ мыслей отъ работы; вотъ причина, почему я можетъ быть никогда не окончу Чайльдъ-Гарольда“. Признаніе въ высшей сте-

пени любопытное, показывающее до какой степени Байронъ былъ искрененъ и субъективенъ въ своихъ произведеніяхъ. Въ 1815 г., когда онъ лелѣялъ мечты о семейномъ счастіи, когда Англія носила его на рукахъ, ему, конечно, не могло прійти въ голову приняться вновь за Чайльдъ-Гарольда; для продолженія его нуженъ былъ разрывъ съ женой и обществомъ, нужно было бѣгство изъ родины, и когда все это совершилось, когда его снова обуяло то мрачное недовольство, подѣ влияніемъ котораго возникъ Чайльдъ-Гарольдъ, тогда только для Байрона стало возможнымъ приняться вновь за свою поэму.

Изъ ученыхъ и художественныхъ знаменитостей Тикноръ всѣхъ ближе сошелся съ первымъ химикомъ въ Англіи сэромъ Гэмфри Дэви и его женой (о которой г-жа Сталь выразилась, что она соединяетъ въ себѣ всѣ достоинства Коринны безъ ея недостатковъ) и съ знаменитымъ живописцемъ Уэстомъ. Однажды, когда Тикноръ любовался въ галлерей художника его извѣстной картиной, изображающей смерть Нельсона, Уэстъ разсказалъ ему случай, по поводу котораго она была написана. Незадолго передъ послѣдней экспедиціей Нельсона, художникъ встрѣтился съ нимъ въ домѣ сэра Уильяма Гамильтона. За обѣдомъ зашелъ разговоръ объ искусствѣ, при чемъ знаменитый адмиралъ выразилъ сожалѣніе, что онъ не получилъ въ юности никакого художественнаго образованія. „Впрочемъ“, — прибавилъ онъ, обращаясь къ художнику, — „есть одна картина, силу которой я чувствую, мимо которой я не могу пройти равнодушно: это ваша картина—смерть генерала Вольфа“. Когда художникъ поблагодарилъ его за такой лестный отзывъ, Нельсонъ спросилъ Уэста, почему онъ не написалъ другихъ картинъ въ этомъ родѣ? „Потому“, — отвѣчалъ художникъ, — „что жизнь не дала мнѣ другого подобнаго сюжета. Но я боюсь“, — продолжалъ онъ, — „чтобы ваше мужество не доставило мнѣ его; тогда я не премину имъ воспользоваться“. „Такъ вы это сдѣлаете, такъ вы это въ самомъ дѣлѣ сдѣлаете?“ — спросилъ Нельсонъ, наливая стаканъ шампанскаго и чокаясь съ художникомъ. „Смотрите же, мистеръ Уэстъ, исполните ваше обѣщаніе, ибо я навѣрное рассчитываю быть убитымъ въ первомъ сраженіи“. „Онъ въ скоромъ времени отправился въ экспедицію“, — прибавилъ художникъ, понизивъ голосъ, — „и результатомъ ея была картина, на которую вы теперь смотрите“.

Тикноръ оставилъ Лондонъ въ сопровожденіи своего американскаго друга Эверетта, тоже направлявшагося въ Геттингенъ. Геттингенскій университетъ стоялъ въ то время во главѣ герман-

скихъ университетовъ; въ числѣ его профессоровъ было нѣсколь-
ко европейскихъ знаменитостей (Гаусъ, Блюменбахъ, Эйхгорнъ,
Гееренъ и др.), привлекавшихъ слушателей со всѣхъ сторонъ
Европы, даже изъ Россіи. Тотчасъ по прибытіи въ Геттингенъ,
Тикноръ матрикулировался и повелъ регулярную жизнь настоя-
щаго нѣмецкаго студента—вставалъ въ пять часовъ утра, работалъ
по 12 часовъ въ сутки и т. д. Кромѣ посѣщенія лекцій по раз-
нымъ предметамъ курса, онъ занимался частнымъ образомъ съ Бе-
неке нѣмецкимъ языкомъ и литературой и съ молодымъ талант-
ливымъ Шульце греческимъ языкомъ. Послѣдній поразили его
своею прекрасно-выработанной методой преподаванія, о которой
не имѣли понятія въ Америкѣ. Само собою разумѣется, что при
такомъ обиліи занятій ему некогда было искать знакомствъ или
развлеченій. „Видѣть одинъ разъ въ недѣлю пріятеля“, — замѣ-
чаетъ онъ, — „считается здѣсь для каждаго занимающагося вполне
достаточнымъ“. Письма съ родины отъ нѣжно-любимаго отца
укрѣпляли его въ желаніи работать неутомимо для будущаго.
„Я увѣренъ“, — писалъ ему старикъ, — „что ты постоянно будешь
имѣть въ виду цѣль твоего путешествія и не уклонишься отъ нея
ни направо, ни налѣво. Ты не за тѣмъ оставилъ родину, чтобы
описывать намъ красоты европейской природы; ты оставилъ своего
отца, чтобы сдѣлаться умнѣе и лучше, чтобы быть впоследствии
полезнымъ и себѣ, и друзьямъ, и родинѣ“. Въ письмахъ Тикнора
къ роднымъ и друзьямъ мы находимъ полную картину универси-
тетской жизни въ Геттингенѣ съ характеристикой профессоровъ,
студентовъ, корпорацій и т. п. Нѣкоторые изъ сообщаемыхъ имъ
разказовъ весьма характеристичны и кажутся почти невѣроят-
ными въ наше время. Въ числѣ профессоровъ геттингенскаго
университета былъ нѣкто Михаэлисъ, человѣкъ желчный, сварли-
вый и къ тому же весьма жадный. Однажды пришелъ къ нему
бѣдный студентъ съ просьбой освободить его по бѣдности отъ
взноса обычнаго гонорара за слушаніе его лекцій. Михаэлисъ не
соглашался, ссылаясь на то, что онъ самъ человѣкъ небогатый,
что ему приходится содержать семью и т. под. Замѣтивъ во время
разговора, что на башмакахъ у студента серебряныя пуговицы,
профессоръ усомнился, чтобы студентъ былъ очень бѣденъ и на-
мекнулъ, что онъ не прочь взять ихъ взаменъ гонорара. Студенту
ничего не оставалось больше, какъ оторвать пуговицы и вручить
ихъ профессору, который преспокойно положилъ ихъ къ себѣ въ
карманъ. Совершенно переконфуженный, съ незастегнутыми баш-
маками, юноша отправился съ подобной же просьбой къ профес-

сору математики Кестнеру. Тотъ съ первыхъ же словъ освободилъ студента отъ гонорара, но при этомъ сказалъ: „Если вы дѣйствительно такъ бѣдны, какъ говорите, то вы должны постараться приобрести себѣ дешевое платье“. Съ этими словами онъ открылъ шкапъ и, вынувъ оттуда поношенные кожаные панталоны, сказалъ студенту: „вотъ вамъ пара добрыхъ брюкъ, хотя они вамъ, кажется, не нравятся, которые вы можете приобрести у меня почти даромъ. Сколько вы намѣрены дать за нихъ?“—Студентъ еще болѣе растерялся. Онъ пробормоталъ что-то въ родѣ извиненія, говорилъ, что ему брюки не нужны—все было напрасно. Профессоръ продолжалъ настаивать, утверждалъ, что брюки мало уступятъ новымъ и въ заключеніе сказалъ, что въ виду бѣдности студента онъ готовъ ихъ уступить меньше, чѣмъ за талеръ. Бѣдняку ничего не оставалось дѣлать, какъ отдать профессору послѣднія деньги и въ отчаяніи уйти домой. Онъ такъ и сдѣлалъ, но когда, придя въ свою каморку, онъ съ досадою швырнулъ свою покупку на столъ, изъ кармана брюкъ выпалъ кошелекъ, наполненный золотомъ. Думая, что деньги очутились тамъ случайно, юноша немедленно побѣжалъ къ профессору съ цѣлью возвратить ихъ. „Нѣтъ“,—отвѣчалъ Кестнеръ,—„покупка состоялась и теперь дѣло кончено. Покупая брюки, вы, конечно, купили ихъ со всѣмъ, что въ нихъ находится“—и съ этими словами онъ выпроводилъ окончательно растерявшагося студента изъ своего дома.

Во время пребыванія своего въ Геттингенѣ, Тикноръ имѣлъ случай познакомиться съ знаменитѣйшимъ филологомъ Германіи Вольфомъ, пріѣзжавшимъ заниматься въ богатой библіотекѣ геттингенскаго университета. Отдавая должное его уму и необыкновенной учености, Тикноръ отзывался весьма неодобрительно объ его нравственномъ характерѣ. „Чѣмъ болѣе я удивляюсь Вольфу, какъ ученому“,—пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ,—„тѣмъ болѣе я не уважаю его, какъ человѣка. Онъ разсорился со всѣми своими друзьями; онъ уронилъ себя ролью, которую игралъ во время пребыванія французовъ въ Галле и окончательно потерялъ уваженіе всѣхъ знавшихъ его порочную жизнь въ старости. Въ разговорѣ онъ поражаетъ какъ смѣлостью и оригинальностью своихъ идей, такъ и своею заносчивостью и тщеславіемъ; онъ любитъ говорить о себѣ и съ худо скрываемымъ самодовольствомъ рассказывалъ мнѣ, что въ англійскомъ журналѣ, посвященномъ классической древности (Classical Journal) его и Виттенбаха называли единственными филологами на континентѣ. Онъ много спрашивалъ меня объ Америкѣ, нашихъ ученыхъ и методѣ преподаванія. Я отвѣ-

чалъ ему какъ могъ и между прочимъ сказалъ, что одинъ модный проповѣдникъ въ Нью-Йоркѣ любилъ развлекать себя чтеніемъ Эсхилovýchъ хоровъ, которые онъ читалъ безъ словаря. Услышавши это, Вольфъ, шедшій со мной рядомъ, остановился и переспросилъ меня: „Это онъ вамъ самъ говорилъ, да?“ „Да“, — отвѣчалъ я. „Ну, такъ передайте ему, въ первый разъ когда увидите его, что онъ лжетъ и что это сказалъ я“.

Первоначально Тикноръ располагалъ пробывать въ Геттингенѣ всего нѣсколько мѣсяцевъ, но по мѣрѣ того, какъ онъ углублялся въ свои занятія, по мѣрѣ того, какъ научный горизонтъ все болѣе и болѣе расширялся передъ нимъ, онъ все дальше и дальше откладывалъ свой отъѣздъ, такъ что въ концѣ концовъ онъ оставался въ Геттингенѣ болѣе полутора года. Въ сентябрѣ 1816 г. Тикноръ, пользуясь шестинедѣльными вакаціями, сдѣлалъ путешествіе по сѣверной Германіи. Онъ посѣтилъ Лейпцигъ, Дрезденъ, Берлинъ и возвратился черезъ Галле и Веймаръ. Осмотру художественныхъ сокровищъ Дрездена онъ посвятилъ цѣлыхъ двѣ недѣли. Сикстинская Мадонна произвела на него громадное, почти подавляющее впечатлѣніе. „Я часто слышалъ о сильномъ впечатлѣніи, которое производитъ хорошая живопись, я зналъ очень хорошо, что сикстинская мадонна одно изъ лучшихъ созданій Рафаэля, но я все-таки не былъ подготовленъ къ такому видѣнію, я никакъ не могъ себя представить, чтобъ человѣческое искусство могло создать образъ такой идеальной красоты, какъ Рафаэлева мадонна, образъ, на которомъ самая улыбка показалась бы чѣмъ-то земнымъ и нечистымъ или такого младенца, какъ Іисусъ Христосъ, въ лицѣ котораго улыбка, свойственная дѣтскому возрасту, является просвѣтленной и освященной, но не подавленной божественнымъ вдохновеніемъ, просвѣчивающимъ во взглядѣ его кроткихъ, но глубокихъ глазъ“. Въ Берлинѣ Тикноръ между прочимъ, познакомился съ Розомъ, англійскимъ посланникомъ при прусскомъ дворѣ, который сообщилъ ему интересный анекдотъ о лордѣ Байронѣ, не встрѣчающійся ни въ одной изъ извѣстныхъ біографій поэта. Извѣстно, что лордъ Байронъ сильно тяготился своей несчастной хромотой, что она была одной изъ причинъ его мизантропіи и меланхоліи. Однажды лордъ Байронъ вмѣстѣ съ другимъ любителемъ сильныхъ ощущеній отправились посмотреть, какъ вѣшаютъ преступника. Для этого имъ нужно было провести ночь въ кофейнѣ по сосѣдству съ Ньюгетомъ, такъ какъ казнь совершалась рано утромъ. Когда они на зарѣ выходили изъ кофейни, у дверей стояла очень бѣдно одѣтая женщина. Предпола-

гая, что она нищая, Байронъ сунулъ ей въ руку какую-то монету, но она съ негодованіемъ швырнула ея въ поэта, назвавъ его при этомъ „хромымъ чортомъ“. Случай этотъ произвелъ на Байрона гораздо болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ казнь преступника. Нѣсколько часовъ онъ не могъ ничего говорить, пока, наконецъ, изъ устъ его не полился цѣлый потокъ жалобъ и проклятій. Съ неподдѣльнымъ отчаяніемъ онъ называлъ себя отверженцемъ человѣческаго общества, говорилъ, что, подобно Каину, отмѣченъ печатью проклятія, что даже нищій не хочетъ брать подавнія отъ человѣка, подобнаго ему и т. д. Въ Веймарѣ Тикнору снова пришлось говорить о Байронѣ съ Гёте. Величайшій поэтъ Германіи отнесся къ Байрону весьма сочувственно, признавалъ за нимъ знаніе человѣческаго сердца и громаднѣйшій описательный талантъ, но находилъ, что нѣкоторыя изъ его произведеній (напр., Лара) слишкомъ фантастичны и болѣе относятся къ міру призраковъ, чѣмъ къ міру дѣйствительному.

По прибытіи въ Геттингенъ, Тикноръ былъ обрадованъ пріятными извѣстіями изъ Америки: ему предлагали кѣеэдру иностранныхъ литературъ въ Harvard College, въ Кэмбриджѣ. Хотя Тикнору весьма льстило подобное предложеніе отъ лучшаго изъ американскихъ университетовъ, однако онъ отнесся къ нему съ рѣдкой въ двадцатипятилѣтнемъ юношѣ разсудительностью: онъ подавилъ порывъ нахлынувшего чувства и, обсудивъ дѣло со всѣхъ сторонъ, отложилъ отвѣтъ до будущаго года. Только годъ спустя изъ Рима онъ далъ свое согласіе. Между тѣмъ, въ виду предложенія кэмбриджскаго университета, планъ его путешествія долженъ былъ нѣсколько измѣниться. Онъ рѣшилъ остаться лишнѣхъ полгода въ Европѣ, чтобъ посѣтить Испанію и заняться испанскимъ языкомъ и литературою. Не безъ грустнаго чувства разставался онъ съ городомъ, гдѣ ему такъ хорошо жилось и работалось. „Вчера“,—пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ подъ 26 марта 1817 г.,— „я обошелъ весь городъ, чтобъ въ послѣдній разъ пожать руку моимъ добрымъ знакомымъ и друзьямъ. Съ многими изъ нихъ я не могъ разстаться безъ чувства глубокаго сожалѣнія. Я простился съ Эйхгорномъ, который, съ свойственной ему добротой и радушіемъ, всегда готовъ былъ помогать мнѣ во всемъ, съ Диссеномъ, чьи лекціи и бесѣды были такъ полезны мнѣ, съ семействомъ Сарториуса, гдѣ я чувствовалъ себя такъ же уютно, какъ дома, съ Шульце, состояніе здоровья котораго не предвѣщало ничего хорошаго, и, наконецъ, съ Блуменбахомъ ante alios omnes praestantissimus; съ нимъ и со многими другими я разстался съ чувствомъ

глубокаго сожалѣнія, превратившихъ день моего отъѣзда изъ Геттингена въ день скорби и сокрушенія“.

Изъ Геттингена черезъ Франкфуртъ, Гейдельбергъ и Страсбургъ Тикноръ направился въ Парижъ, куда и прибылъ въ началѣ апрѣля. Разумѣется, въ дорогѣ онъ сдѣлалъ нѣсколько интересныхъ знакомствъ и дневникъ его обогатился новыми портретами, характеристиками и анекдотами. Въ Франкфуртѣ онъ познакомился съ Фридрихомъ Шлегелемъ; въ Гейдельбергѣ сошелся съ старикомъ Фоссомъ и оставилъ очаровательное описаніе идиллической жизни, которую велъ этотъ престарѣлый другъ Клопштока, переводчикъ Шекспира и Аристофана. Фоссъ между прочимъ сообщилъ Тикнору о томъ глубокомъ впечатлѣніи, которое произвели на него слова Клопштока, сказанныя въ 1789 г. при первомъ извѣстіи о только-что вспыхнувшей французской революціи. „Вулканъ, вспыхнувшій во Франціи,—говорилъ Клопштокъ съ какимъ-то пророческимъ вдохновеніемъ,—„знаменуетъ собою начало великой общеевропейской войны между патриціями и плебеями. Много поколѣній погибнетъ въ этой борьбѣ; цѣлыя столѣтія пройдутъ въ войнахъ и опустошеніяхъ, но въ концѣ концовъ на отдаленномъ горизонтѣ я вижу побѣду свободы.“

Въ Парижѣ Тикноръ повелъ трудовую геттингенскую жизнь; съ ранняго утра бралъ уроки старо-французскаго и италіанскаго языковъ, работалъ въ библіотекахъ и посѣщалъ лекціи въ Collège de France. Это было какъ разъ въ то время какъ Вильмэнъ читалъ свой знаменитый курсъ по исторіи французской литературы XVIII в. Въ дневникѣ Тикнора мы находимъ тонкую оцѣнку лекцій Вильмэна, показывающую, что его не подкупила блестящая декламация французскаго профессора, что онъ подступалъ къ наукѣ съ весьма серьезными, чисто-нѣмецкими требованіями, которымъ не могъ удовлетворить Вильмэнъ. „Мнѣ все хотѣлось доискаться,—пишетъ онъ,—въ чемъ состоитъ тайна необыкновенной популярности Вильмэна, какъ профессора“. Въ лекціяхъ его нѣтъ ни могучаго краснорѣчія, которымъ отличаются чтенія Лакретеля, ни забавныхъ анекдотовъ и остроумныхъ изреченій, оживлявшихъ собою лекціи Андрие, ни солидныхъ научныхъ свѣдѣній, которыми вообще должны быть полны университетскія лекціи; онъ очевидно не обладаетъ ни однимъ изъ этихъ качествъ, но въ лекціяхъ Вильмэна есть то, что въ глазахъ француза стоитъ выше всего остального — необыкновенная плавность рѣчи. Несмотря на то, что онъ говоритъ *ex tempore*, безъ всякихъ замѣтокъ, у него есть большой выборъ счастли-

выхъ и блестящихъ фразъ, обиліе мѣткихъ эпиграматическихъ замѣчаній, которыя такъ поражаютъ воображеніе, что кажутся почти доказательствами. Короче, это особаго рода развлеченіе, болѣе похожее на то, что извѣстно во Франціи подъ неопредѣленнымъ названіемъ *spectacle*, чѣмъ на лекціи.“ Вечера Тикноръ проводилъ либо въ театрахъ, либо въ салонахъ. Рекомендательное письмо сэра Гэмфри Дэви открыло ему доступъ въ кружокъ г-жи Сталь, составлявшій предметъ самыхъ страстныхъ стремленій для иностранцевъ. Знаменитая писательница доживала въ это время свои послѣдніе дни. Прикованная къ постели недугомъ, сведшимъ ее въ могилу, она рѣдко показывались въ гостиной, возложивъ обязанности хозяйки на свою дочь герцогиню де-Брольи. Тѣмъ не менѣе она выразила желаніе видѣть Тикнора, и когда онъ вошелъ въ ея комнату, она протянула ему руку, но видно, что и это движеніе стоило ей большихъ усилій. „Не судите обо мнѣ, на основаніи того, что вы теперь видите. Это не я, вотъ уже болѣе четырехъ мѣсяцевъ я не болѣе какъ тѣнь, которая не замедлитъ исчезнуть.“ Тикноръ сталъ увѣрять ее въ противномъ, ссылаясь на мнѣніе докторовъ, съ которыми ему приходилось говорить объ ея болѣзни. „Да“,—отвѣчала она,—я знаю ихъ мнѣніе, но эти господа кладутъ въ свои сужденія такъ много авторскаго тщеславія, что я имѣю полное право имъ не вѣрить. Нѣтъ, мнѣ ужъ не выздоровѣть, я глубоко въ этомъ увѣрена.“ Затѣмъ разговоръ перешелъ къ Америкѣ, которой она предсказала великую будущность. Когда она произносила слова: „Вы—авангардъ человѣчества, вы—будущность міра“ блѣдныя щеки ея загорѣлись румянцемъ, представлявшимъ рѣзкій контрастъ съ ея худобой и блѣдностью. Въ гостиной г-жи Сталь Тикноръ встрѣтилъ самое блестящее общество Парижа: тутъ были и литературные знаменитости въ родѣ Б. Констана, В. Гумбольдта, Шатобріана, Шлегеля и дипломатическія, въ родѣ русскаго посланника при французскомъ дворѣ Поццо ди-Борго и свѣтскія, въ родѣ м-мъ Рекамье, сохранившей на своемъ лицѣ слѣды своей нѣкогда дивной красоты.

„Однажды,—разсказываетъ Тикноръ,—въ салонѣ г-жи Сталь собралось нѣсколько лицъ, чтобъ выслушать неизданный отрывокъ изъ путешествія Гумбольдта. Это было точъ въ точъ такое общество, которое, нѣкогда собиралось на *Soirées* временъ Людовика XV, и не нужно было большихъ усилій воображенія, чтобъ мысленно перенестись въ эту эпоху. Все здѣсь носило чисто-французскій отпечатокъ: и умъ, и устроуміе и живость; все при-

нимало форму чистофранцузской любезности, которая въ другихъ странахъ навѣрное показалась бы лестью. Я чувствовалъ себя сильно заинтересованнымъ и возбужденнымъ въ этотъ вечеръ. Конечно, это возбужденіе скоро прошло, и на другое утро я помнилъ только Гумбольдта, его скромность и его волшебное описаніе долины Ориноко. Изъ литературныхъ знаменитостей Парижа Тикноръ сошелся болѣе или менѣе коротко съ Шатобрианомъ, Б. Констаномъ и Гумбольдтомъ. Послѣдній буквально очаровалъ его необыкновеннымъ умомъ и необъятностью своихъ свѣдѣній. „Гумбольдтъ“,—записалъ онъ въ своемъ дневникѣ,—безъ всякаго сомнѣнія самый замѣчательный человѣкъ, котораго я видѣлъ въ Европѣ. Сегодня я долго бесѣдовалъ съ нимъ у него дома и замѣтилъ громадной величины географическую карту всего міра, висѣвшую надъ его рабочимъ столомъ. Мнѣ внезапно пришло въ голову, что эта карта—эмблема безпредѣльности его познаній и генія. Я былъ крайне изумленъ его свѣдѣніями въ классической древности, вѣрностью его художественнаго вкуса и знакомствомъ съ древними и новыми языками. Хотя онъ легко могъ бы обойтись безъ этихъ, во всякомъ случаѣ побочныхъ для него свѣдѣній, но я знаю мало классиковъ, которые обладали бы такими познаніями въ древней литературѣ, и я не знаю ни одного человѣка, который объяснялся бы на иностранныхъ языкахъ съ такой свободой какъ Гумбольдтъ. Если же припомнить, что все это лежитъ внѣ сферы его истиннаго величія, то невольно приходится на мысль, какъ же онъ долженъ быть великъ въ томъ, чему онъ посвятилъ всѣ силы своего генія.“

Лѣтомъ Парижъ необыкновенно опустѣлъ; всѣ знакомые Тикнора разъѣхались по дачамъ и помѣстьямъ; а 2-го сентября 1817 г. онъ самъ покинулъ столицу Франціи и черезъ Женеву, Миланъ и Венецію направился въ Римъ, гдѣ намѣренъ былъ провести зиму, чтобъ заняться италіанскимъ языкомъ и литературой, и подготовиться къ путешествію въ Испанію. Изъ всѣхъ видѣнныхъ Тикноромъ европейскихъ городовъ ни одинъ не произвелъ на него такого впечатлѣнія, какъ Римъ. Какъ очарованный, бродилъ онъ по улицамъ вѣчнаго города, то одинъ, то въ сопровожденіи извѣстнаго археолога Нибби, съ каждымъ днемъ открывая въ немъ все новыя и новыя прелести. Не мало интереса возбуждало въ Тикнорѣ и римское общество, стекшееся сюда со всѣхъ концовъ Европы. Въ качествѣ американца, которому были чужды всѣ счеты стараго міра, Тикноръ перезнакомился со всѣми сколько-нибудь интересными людьми всевоз-

можныхъ политическихъ партій. Онъ имѣлъ аудіенцію у папы и присутствовалъ на праздникѣ, устроенномъ нѣмецкой колоніей въ память трехсотлѣтняго юбилея сожженія папской буллы Лютеромъ; онъ познакомился съ Нибуромъ, тогдашнимъ посланникомъ при папской куріи и съ семействомъ Бонапартовъ и т. д. Изъ русскихъ, прожившихъ въ это время въ Римѣ, онъ бывалъ у адмирала Чичагова, героя 1812 года и у нашего посланника Италійскаго, отличнаго археолога, въ домѣ котораго онъ познакомился со всѣми знаменитыми римскими археологами. Русскіе вообще не нравились Тикнору, потому что легко отрекались отъ своей народности и выбивались изъ силъ, чтобы усвоить себѣ нравы и колоритъ всякой общественной среды, гдѣ имъ приходилось жить. Занятія въ Римѣ шли успѣшно и по прошествіи пяти мѣсяцевъ, Тикноръ настолько успѣлъ познакомиться съ итальянскимъ языкомъ и литературой, что считалъ возможнымъ исполнить послѣднюю часть своей программы и отправиться въ Испанію.

Въ началѣ мая 1818 г., высадившись въ Барселонѣ, онъ былъ уже на пути въ Мадридъ. Въ тѣ времена путешествіе по Испаніи было въ нѣкоторомъ родѣ подвигомъ: дороги были отвратительныя, гостиницъ не существовало вовсе, и путешественникамъ приходилось ночевать въ лачугахъ на грязной соломѣ и, конечно, не раздѣваясь. Правительство страны было такъ же дурно, какъ и дороги; картина общественныхъ порядковъ Испаніи нарисована въ письмахъ Тикнора къ роднымъ и друзьямъ такими черными красками, что кажется почти невѣроятной. Король издаетъ указы, но никто, начиная съ правительственныхъ агентовъ, не думаетъ ихъ исполнять; правительство декретируетъ налоги, но оно считаетъ себя счастливымъ, если въ казну попадетъ третья часть ихъ. Подкупъ и взяточничество царствуютъ всюду, и правительство само подаетъ примѣръ злоупотребленій, открыто торгуя мѣстами, облагая налогомъ право быть рехидоромъ*) 18 лѣтъ отъ роду или взимая 750 золотыхъ за право быть судимымъ высшимъ судомъ. Новый министръ финансовъ Гаррай при самомъ вступленіи своемъ въ должность прямо объявилъ, что всякій, желающій получить казенное мѣсто обязывается ежегодно вносить въ казну третью часть получаемого имъ по мѣсту дохода. Во всякой другой странѣ—замѣчаетъ Тикноръ—

*) Рехидоръ—мелкій муниципальный чиновникъ, нѣчто въ родѣ волостного старшины.

подобныя легализированныя злоупотребленія не замедлили бы вызвать цѣлую революцію, но религіозный и преданный своимъ государямъ испанскій народъ довольствуется пассивнымъ сопротивленіемъ власти, платитъ третью часть налоговъ и вступаетъ въ сдѣлку съ продажными чиновниками, которые за извѣстную плату охотно оставляютъ его въ покоѣ. Высшее общество Мадрида не представляло для Тикнора большого интереса; по его словамъ, это было собраніе людей, мало образованныхъ, едва усвоившихъ себѣ европейскій лоскъ и къ тому же преданныхъ азартной игрѣ, составлявшей непремѣнную принадлежность всякаго *Soirée*. Но если американскаго путешественника возмущали общественные порядки Испаніи и не удовлетворяло высшее общество, то его вполне примирилъ съ нею простой народъ, стоявшій въ сторонѣ отъ общей заразы и сохранившій въ своемъ бытѣ и характерѣ много оригинальныхъ и симпатичныхъ чертъ. Мало склонный къ увлеченію, Тикноръ по временамъ впадаетъ въ лиризмъ, когда ему приходится говорить о національномъ характерѣ Испанцевъ. Нигдѣ онъ не встрѣчалъ такого радушія и гостепріимства, такой любезности и вѣжливости, соединенной съ чувствомъ собственнаго достоинства; все это вмѣстѣ съ оригинальнымъ и поэтическимъ колоритомъ самой жизни навсегда привязало его къ Испаніи. „Повѣрите ли вы“—пишетъ онъ къ своему другу Чаннингу изъ Мадрида—что то, что кажется романической выдумкой въ другихъ странахъ, здѣсь становится фактомъ и что во всемъ, что касается нравовъ и обычаевъ испанцевъ, Сервантесъ и Лессажъ—самые достовѣрные историки Испаніи. Перебравшись черезъ Пиренеи, вы чувствуете себя перенесенными не только въ другую страну, но даже въ другую эпоху, по крайней мѣрѣ на два вѣка назадъ; вы къ удивленію находите, что народъ продолжаетъ здѣсь вести поэтическую жизнь, о которой мы не имѣемъ понятія. Пастушескій бытъ напр. можно наблюдать до сихъ поръ во многихъ частяхъ Испаніи. Возвращаясь домой вечеромъ, я каждый разъ встрѣчаю группы ремесленниковъ, танцующихъ подъ звуки флейты и кастаньетовъ свои живописные національные танцы, а по ночамъ мнѣ не разъ случалось видѣть молодого человѣка съ гитарой въ рукахъ, заливающего передъ балкономъ своей возлюбленной свою любовь и свои страданія.“

Четырехмѣсячнаго пребыванія въ Мадридѣ было совершенно достаточно для Тикнора, чтобъ вполне усвоить себѣ испанскій языкъ. Счастливый случай послалъ ему въ руководители такого

знатока испанской старины и народности, какъ Конде, который ежедневно по три часа занимался съ нимъ языкомъ, читалъ испанскихъ классиковъ и т. п. Запасшись книгами по исторіи испанской литературы, которую онъ тогда уже задумалъ сдѣлать предметомъ своихъ лекцій, Тикноръ выѣхалъ изъ Мадрида на югъ Испаніи, намѣреваясь пробраться оттуда въ Португалію. Путешествіе по югу Испаніи было въ то время не совсѣмъ безопасно: земская полиція была плохо организована и бездѣйствовала, а правильно организованныя разбойничьи шайки преспокойно разгуливали по странѣ, наводя ужасъ на жителей. Въ виду всего этого Тикноръ счелъ за лучшее ѣхать не въ почтовомъ дилижансѣ, но примкнуть къ купеческому каравану, и такимъ образомъ совершилъ путешествіе изъ Гранады въ Малагу. Остатки нѣкогда славной мавританской цивилизаціи не могли не привлечь его вниманія, и онъ посвящаетъ нѣсколько прекрасныхъ страницъ описанію памятниковъ мавританской архитектуры. Гранадскій архіепископъ удивилъ его какъ роскошью своего истинно царскаго приема, такъ и своимъ колоссальнымъ невѣжествомъ. Желая похвастаться передъ своимъ ученымъ гостемъ сокровищами своей библіотеки, добродушный прелать пресерьезно увѣрялъ Тикнора, что въ числѣ ея драгоцѣнностей находятся между прочимъ автографы всѣхъ пророковъ и апостоловъ, до сихъ поръ производящіе чудеса. Изъ Севильи въ Лиссабонъ Тикноръ не рѣшился ѣхать столбовой дорогой на Бадахось, а по совѣту мѣстныхъ жителей предпочелъ прибѣгнуть къ помощи контрабандистовъ, которые за небольшую сумму взялись переправить его черезъ горы въ Португалію. Въ назначенный день двое изъ нихъ съ двумя запасными мулами открыто явились въ городъ, въ гостиницу, гдѣ жилъ Тикноръ и, захвативъ съ собой его и его багажъ, направились въ горы. „Мы достигли“,—разсказываетъ Тикноръ—„на закатѣ солнца ущелья, гдѣ расположились лагеремъ контрабандисты. Всѣхъ ихъ было двадцать восемь человѣкъ при сорока мулахъ. Это были бравые молодцы, вооруженные ружьями, пистолетами и саблями. Одни изъ нихъ расположились группами подъ тѣнью громаднаго пробковаго дерева, другіе суетились вокругъ огня и готовили ужинъ. Мнѣ стоило большого труда приноровиться къ ихъ привычкамъ: разостлавъ свое одѣяло, я расположился на немъ, какъ дома, ѣлъ за двоихъ и спалъ также безопасно и спокойно, какъ храбрѣйшій изъ нихъ. На другой день я уже былъ съ ними на короткой ногѣ, а восьмидневное путешествіе по мало—проѣзжимъ дорогамъ, съ умышленнымъ объѣз-

домъ всякихъ населенныхъ мѣстъ, установило между мною и моими добрыми и вѣрными проводниками особаго рода дружбу. Двое изъ нихъ, отъ природы одаренные далеко не дюжинными способностями, познакомили меня съ принципами ихъ ассоціаціи и съ своими религіозными и политическими убѣжденіями, находившимися въ связи съ ихъ соціальнымъ положеніемъ. Разговоры съ ними были моимъ главнымъ развлеченіемъ, и хотя мѣста, черезъ которыя мы проѣзжали, были печальны и пустынно, но я рѣдко проводилъ такъ весело недѣлю, какъ въ это восьмидневное путешествіе. Новость положенія и необычность всего видѣннаго очень нравились мнѣ: спать подъ открытымъ небомъ, обѣдать подъ тѣнью деревьевъ, жить на дружеской ногѣ съ людьми, стоящими внѣ закона и рискующими ежедневно быть разстрѣлянными, либо повѣшенными, словомъ, вести въ продолженіе цѣлой недѣли жизнь кочевого араба или мамелюка,—все это вмѣстѣ взятое сумѣло скоро вселить въ мою душу ту веселую безпечность, которою отличались мои спутники. Короче, я былъ веселъ всю дорогу, и она не показалась мнѣ длинна. Достигнувъ границы Португаліи, я съ особеннымъ чувствомъ простился съ единственной въ мірѣ страной, гдѣ покровительство контрабандистовъ гораздо предпочтительнѣе покровительства законовъ правительства, съ которымъ они враждуютъ“.

Португалія не надолго удержала нашего путешественника онъ уѣхалъ оттуда по прошествіи мѣсяца и въ концѣ декабря 1818 года мы его снова видимъ въ Парижѣ. Прежніе знакомые Тикнора герцогиня де-Брольи (г-жи Сталь уже не было въ живыхъ), Гумбольдтъ и др. встрѣтили его съ прежнимъ радушіемъ; кромѣ того, письма французскаго посланника при испанскомъ дворѣ герцога Монморанси Лавалы, съ которымъ онъ сблизился въ Мадридѣ, открыли ему доступъ въ салонъ герцогини Дюрэ, графини де С.-Олеръ, маркизы Лувуа и др. Весьма интересенъ рассказъ Тикнора о встрѣчѣ его съ знаменитымъ Талейраномъ: „Зайдя какъ-то разъ вечеромъ къ г-жѣ Дюрэ, я засталъ у ней пожилого господина, который стоялъ у камина, обернувшись спиной къ огню. Онъ былъ одѣтъ въ длинный, сѣраго цвѣта, однобортный, застегнутый до верху, сюртукъ, въ петлицѣ котораго виднѣлась ленточка почетнаго легіона. Хозяйка вела съ нимъ оживленный разговоръ, называя его *mon prince*. Они обсуждали вопросъ, бывший въ то время предметомъ самыхъ разнообразныхъ толковъ въ обществѣ и журналахъ. Вопросъ состоялъ въ томъ, обязательно ли для протестантовъ, въ силу одной статьи консти-

туціонной хартіи, гласившей, что католицизмъ признается государственной религіей во Франціи, выказывать внѣшнимъ образомъ уваженіе къ католическимъ церемоніямъ, именно украшать дома свои коврами во время прохожденія процессіи въ праздникъ Тѣла Господня. Ревностные католики утверждали, что обязательно, протестанты отрицали это и перенесли дѣло въ высшее судебное учрежденіе, которое высказалось въ ихъ пользу. Герцогиня была недовольна рѣшеніемъ суда и не безъ искусства отстаивала свое мнѣніе; господинъ въ сѣромъ сюртукѣ остроумно возражалъ ей, но повидимому не имѣлъ никакого желанія входить въ обсужденіе этого вопроса по существу. Задѣтый подъ конецъ за живое нѣсколькими колкими замѣчаніями своей собесѣдницы, онъ сказалъ ей въ упоръ, внезапно измѣнивъ тонъ: „А знаете ли вы, кто присовѣтовалъ вставить выраженіе „государственная религія“ въ хартію?—Нѣтъ не знаю“,—отвѣчала герцогиня, но кто бы ни вставилъ его, слова эти превосходны“.

— „Такъ знайте же, что слова эти вставлены по моему совѣту“.— „Я очень рада, — сказала на это герцогиня съ тонкой усмѣшкой, что эти золотыя слова принадлежатъ вамъ, и благодарю васъ за нихъ“.— „А знаете ли вы, — продолжалъ неизвѣстный гость, почему я такъ поступилъ?“

— „Не знаю, но думаю, что вы по обыкновенію руководились самыми благими намѣреніями“.— Нѣтъ, я посовѣтовалъ вставить эти слова въ хартію, потому что они ровно ничего не значатъ“. Озадаченная этимъ оригинальнымъ признаніемъ, герцогиня, пользуясь присутствіемъ Тикнора, поспѣшила перевести разговоръ на Америку. Уходя, Тикноръ узналъ, что неизвѣстный гость въ сѣромъ сюртукѣ, сразившій такимъ образомъ хозяйку дома, былъ Талейранъ.

Въ январѣ 1819 г. Тикноръ перебрался изъ Парижа въ Лондонъ. Онъ попрежнему дѣлилъ свое время между библіотекой и салонами. Въ числѣ лицъ, оказавшихъ ему на этотъ разъ наибольшее вниманіе, былъ лордъ Голландъ, одинъ изъ образованнѣйшихъ англійскихъ вельможъ, знатокъ испанской литературы и авторъ прекрасной біографіи Лопе-де-Веги. Въ домѣ его Тикноръ имѣлъ случай познакомиться съ даровитѣйшими представителями либеральной партіи въ Англіи—Мэкинтошемъ, лордомъ Брумомъ, Сиднеемъ Смитомъ, лордомъ Джономъ Росселемъ и др. Душою общества былъ Сидней Смитъ, очаровательнѣйшій собесѣдникъ въ Англіи, блестящій юморъ котораго Тикноръ сравниваетъ съ фосфорическимъ блескомъ океана. Въ гостеприимномъ

домъ лорда Голландъ Тикноръ большею частью проводилъ свободное отъ занятій время; онъ бывалъ бы и чаще, если бы не боялся утруждать лэди Голландъ, которая неизвѣстно почему не особенно его долюбивала. Однажды, видимо желая сконфузить молодого американца, которому оказывали, какъ ей казалось, слишкомъ много вниманія, она спросила Тикнора съ самой невинной улыбкой, правда ли, что Америка была первоначально заселена преступниками, перевезенными туда изъ Англіи? „Мнѣ этотъ фактъ неизвѣстенъ,—отвѣчалъ Тикноръ, „но я очень хорошо знаю, что въ числѣ первыхъ поселенцевъ въ Америкѣ были ваши предки и что статую одного изъ нихъ до сихъ поръ можно видѣть въ King's Chapel въ Бостонѣ“. Впослѣдствіи впрочемъ лэди Голландъ сумѣла лучше оцѣнить Тикнора и осталась навсегда въ наилучшихъ отношеніяхъ съ нимъ.—Изъ Лондона Тикноръ сдѣлалъ экскурсію въ Шотландію и провелъ два очаровательныхъ дня въ замкѣ Вальтеръ-Скотта. Въ Эдинбургѣ онъ получилъ грустную вѣсть о кончинѣ нѣжно-любимой матери. Сообщая ему эту вѣсть, отецъ просилъ его возвратиться домой весной, такъ какъ весна наилучшее время для такого дальняго переезда, „а твоя святая и нынѣ блаженная мать—писалъ убитый горемъ старикъ—часто говорила мнѣ, что ты возвратишься къ намъ весной; въ послѣдній же періодъ своей жизни, когда силы ея слабѣли съ каждымъ днемъ, она просила меня сказать тебѣ, чтобы ты безумно не убивался по ней, но, имѣя въ виду свою карьеру, продолжалъ бы работать по прежнему во славу Божию, на пользу себѣ и своей родинѣ“. Тикноръ свято исполнилъ просьбу умирающей и искалъ утѣшенія отъ скорби въ занятіяхъ. Боясь, чтобъ жгучія воспоминанія не лишили его необходимаго мужества, онъ въ своемъ дневникѣ и письмахъ къ роднымъ избѣгалъ говорить о своей невознаградимой утратѣ, и только полгода спустя, когда горе его отчасти утратило острый характеръ, онъ далъ исходъ своимъ чувствамъ и написалъ трогательныя строки, которыя позволяютъ заключать, какъ тяжель былъ нанесенный ему ударъ: „Одиннадцатаго февраля я получилъ извѣстіе о смерти матери. Мысль о томъ, что я не былъ при ней въ эти минуты была такъ горька, что я едва могъ вынести ее. Мнѣ все казалось, что я поступилъ не хорошо, уѣхавши въ Европу; даже теперь, когда я пишу эти строки, когда жгучая скорбь уже улеглась, я не могу совершенно изгнать изъ моей головы этой мысли. Но все въ рукахъ Того, Кто отнялъ у меня все, что было у меня самаго дорогого, и Кто одинъ можетъ утѣшить насъ въ Имѣ же

ниспосылаемыхъ горестяхъ“. Хотя со времени полученія роковаго извѣстія потребность видѣть своихъ возрастала съ каждымъ днемъ, но и на этотъ разъ онъ во имя матери сумѣлъ подавить свое желаніе и отложилъ отъѣздъ до весны. „Во снѣ и на яву“, писалъ онъ сестрѣ, „строю я воздушныя замки и разные планы касательно моей жизни на родинѣ, но до свиданія съ вами ничего не могу рѣшить. Знаю только, что мое преобладающее желаніе — это уменьшить хоть часть того великаго долга, который я долженъ уплатить вамъ и моему дорогому отцу. Какъ это можно наилучшимъ образомъ устроить,—рѣшайте вы, такъ какъ вы представляете главный предметъ моихъ самыхъ священныхъ обязанностей“. Посѣтивъ поэтовъ, такъ-называемой, Озерной Школы (Lake-School) Соути, Уордсворта (кстати замѣтимъ, что характеристика Соути принадлежитъ къ числу лучшихъ украшеній Дневника) и заѣхавъ въ Лондонъ, чтобы проститься съ пріятелями, Тикноръ въ концѣ апрѣля сѣлъ въ Ливерпулѣ на корабль, который долженъ былъ доставить его въ Америку.

6-го іюня 1819 г., послѣ четырехлѣтняго отсутствія, Тикноръ вступилъ подъ кровлю родительскаго дома. Отецъ имѣлъ полное право гордиться такимъ сыномъ; вѣрный завѣту отца, онъ дѣйствительно возвратился умнѣе и лучше, чѣмъ уѣхалъ изъ дому. Систематическія занятія развили его умъ и расширили сферу его умственнаго созерцанія; общеніе съ великими умами міра придало еще болѣе возвышенности его идеямъ; между тѣмъ сердце его оставалось такимъ же чистымъ, какъ и прежде, сохранило ту же дѣтскую вѣру въ Бога, ту же любовь къ семьѣ, родинѣ и друзьямъ. Онъ возвратился съ твердымъ желаніемъ посвятить свои силы на служеніе родинѣ и наукѣ, и тотчасъ по пріѣздѣ сталъ уже готовиться къ лекціямъ. 10 августа послѣдовало официальное назначеніе его профессоромъ французской и испанской литературы въ Harvard College, а нѣсколько дней спустя при многочисленномъ собраніи публики онъ прочелъ съ большимъ успѣхомъ свою вступительную лекцію объ общемъ характерѣ испанской литературы. Манера чтенія Тикнора была скорѣе нѣмецкая, чѣмъ французская, хотя онъ и читалъ безъ тетради; помня слышанное имъ отъ Гёте замѣчаніе, что краснорѣчіе ослѣпляетъ, но не научаетъ, онъ не старался поразить своихъ слушателей эффектными фразами или блестящими парадоксальными идеями; изложеніе его имѣло характеръ строгій, спокойный, историческій, хотя и не лишено было изящества.

Одинъ изъ тогдашнихъ слушателей Тикнора такъ отзывался объ его университетскихъ чтеніяхъ: „онъ обладалъ рѣдкой способностью приковывать къ себѣ вниманіе аудиторіи; когда онъ говорилъ, слушатели боялись проронить дыханіе, а между тѣмъ онъ не болѣе какъ подробно разъяснялъ имъ же составленный весьма точный и методическій конспектъ (Syllabus), который находился въ рукахъ у каждаго студента“. Старику Тикнору не долго пришлось гордиться успѣхами сына: ударъ паралича поразилъ его въ іюнѣ 1821 г. Какъ истинный христіанинъ, онъ умеръ съ твердостью, едва успѣвъ благословить сына на бракъ съ Анной Элліотъ, дочерью богатаго бостонскаго купца. Наслѣдство, оставшееся послѣ отца, и значительное приданое, взятое за женой, дали возможность Тикнору устроиться вполне комфортабельно въ своемъ собственномъ домѣ, который становится съ этихъ поръ сборнымъ пунктомъ всего, что было образованнаго и развитога въ Бостонѣ. Прескоттъ, Чаннингъ, Уэбстеръ, Эверретъ и другія знаменитости были въ теченіе многихъ лѣтъ его постоянными гостями; нѣкоторые изъ болѣе близкихъ друзей подолгу проживали въ гостепріимномъ домѣ Тикнора, что впрочемъ нисколько не нарушало обычнаго хода его занятій.—Проработавъ зиму, Тикноръ обыкновенно предпринималъ лѣтомъ экскурсіи по родинѣ и въ свою очередь гоцивалъ у своихъ знакомыхъ и друзей. Такъ текла въ продолженіе многихъ лѣтъ свѣтлымъ и ровнымъ потокомъ жизнь Тикнора въ Бостонѣ. Въ 1834 г. онъ былъ уже отцомъ нѣсколькихъ дѣтей, и дѣятельно занимался ихъ воспитаніемъ. Тикноръ былъ не изъ тѣхъ отрѣшившихся отъ міра ученыхъ, которые, зарывавшись въ свои книги, не хотятъ откликаться на запросы жизни, напротивъ того: значительную часть оставшагося отъ обычныхъ ученыхъ занятій времени, онъ охотно отдавалъ общественнымъ обязанностямъ. Вскорѣ послѣ смерти отца онъ былъ избранъ предсѣдателемъ педагогическаго совѣта городскихъ школъ (мѣсто, которое много лѣтъ занималъ его отецъ) и обнаружилъ на этомъ посту замѣчательную дѣятельность; кромѣ того онъ принималъ горячее и дѣятельное участіе въ устройствѣ бостонской публичной библіотеки, былъ главой общества распространенія дешевыхъ и полезныхъ книгъ въ народъ и т. д. Съ самаго вступленія своего въ ряды профессоровъ Harvard College Тикноръ вмѣстѣ съ своимъ геттингенскимъ товарищемъ Эверретомъ задумалъ планъ преобразованія этого первобытнаго учрежденія. Основанный въ 1638 г. Джономъ Гарвардомъ, этотъ древнѣйшій изъ американ-

скихъ университетовъ, представлялъ изъ себя въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія нѣчто весьма странное. Раздѣленій на факультеты въ немъ не было, и каждый студентъ обязанъ былъ слушать и сдавать экзаменъ изъ всѣхъ преподаваемыхъ въ коллегіи предметовъ. Въ прежнее время, когда предметовъ было не много, такой порядокъ не представлялъ большихъ неудобствъ, но, по мѣрѣ увеличенія числа каедръ (въ 1820 г. число ихъ доходило до двадцати), такая многопредметность дѣлала почти невозможнымъ всякое серьезное занятіе, всякую спеціальность. Убѣдившись на опытѣ въ бесполезности такого хаотическаго устройства, Тикноръ выработалъ проектъ раздѣленія Harward College на факультеты, принявъ за образецъ раздѣленіе, существовавшее въ Геттингенѣ. Въ защиту этого проекта онъ издалъ въ 1825 г. особый мемуаръ *), въ которомъ кромѣ того настаивалъ на измѣненіи устарѣвшихъ методовъ преподаванія. Хотя часть проекта, касавшаяся раздѣленія преподаванія филологическихъ предметовъ, и была принята, но въ цѣломъ проектъ Тикнора разбился объ оппозицію преданныхъ рутинѣ бостонскихъ профессоровъ и это обстоятельство побудило главнымъ образомъ Тикнора выйти въ 1834 г. въ отставку. „Въ продолженіе цѣлыхъ 15 лѣтъ“,—писалъ онъ своему другу Дэвису,—„я былъ дѣятельнымъ профессоромъ и въ продолженіе по крайней мѣрѣ 13 лѣтъ я велъ постоянную борьбу за лучшую организацію нашего университета. Въ моей спеціальности я одержалъ побѣду, но я не могъ добиться принятія моего проекта въ цѣломъ. Пока я надѣялся провести его, я оставался въ университетѣ; утративъ же всякую надежду, я считъ своимъ долгомъ выйти изъ него“. Къ университетскимъ непріятностямъ присоединилось еще одно печальное событіе, которое заставило Тикнора въ слѣдующемъ году оставить родной городъ и искать освѣженія въ продолжительномъ путешествіи по Европѣ. Осенью 1834 г. Тикноръ лишился своего единственнаго сына, прелестнаго мальчика, на которомъ сосредоточивались всѣ его надежды. Ударъ былъ слишкомъ жестокъ, и Тикнору нужно было призвать на помощь всю энергію своего характера и всю свою преданность волѣ Провидѣнія, чтобъ не впасть въ отчаяніе. Друзья Тикнора выказали горячее участіе въ постигшемъ его горѣ, прислали ему много сочувственныхъ писемъ. Вотъ что писалъ онъ по этому поводу Дэвису: „Письма ваши,

*) Remarks on changes lately proposed or adopted in Harward University. Boston 1825.

мой милый Чарльзъ, очень обрадовали насъ. Участіе друзей есть единственное земное утѣшеніе въ скорби, и вамъ, которому самому приходилось много страдать, нечего повторять, какъ мы цѣнимъ ваше участіе. Пока мой сынъ былъ живъ, я погружался мечтою въ будущее и видѣлъ въ немъ блестящую надежду, сіявшую для меня съ каждымъ днемъ все ярче. Но теперь, когда его больше нѣтъ, я живу только прошедшимъ и настоящимъ; я каждую минуту чувствую невознаградимую потерю, постоянно ощущаю отсутствіе того, что мнѣ было такъ дорого и что было безъ моего вѣдома связано со всѣмъ моимъ существованіемъ, со всѣмъ моимъ внутреннимъ міромъ. Да, мнѣ теперь горько, очень горько, не потому чтобъ я обманулся въ своихъ ожиданіяхъ и утратилъ въ сынѣ будущую опору моихъ преклонныхъ лѣтъ, но потому что, я не вижу больше его свѣтлой улыбки, не слышу его милаго голоса*.

Лѣтомъ 1835 г. Тикноръ съ женою и двумя дочерьми (старшей изъ нихъ было уже въ это время 12 лѣтъ) отплылъ изъ Америки въ Англію. Проведя лѣто въ путешествіи по Англіи и Германіи и посѣтивъ старыхъ пріятелей, Тикноръ предпочелъ на зиму отправиться въ Дрезденъ, городъ тихій, уютный и представлявшій много ресурсовъ для научныхъ занятій и художественнаго образованія. Здѣсь Тикноръ познакомился съ Людвигомъ Тикомъ, графомъ Баудишиномъ, Раумеромъ, художникомъ Ретшемъ, знаменитымъ иллюстраторомъ Шекспира, и другими болѣе или менѣе замѣчательными людьми; здѣсь было положено начало его многолѣтней дружбѣ съ принцемъ Іоанномъ, въ послѣдствіи королемъ Саксонскимъ, подавшей поводъ къ интересной перепискѣ между ними, продолжавшейся до самой смерти Тикнора. Принцъ Іоаннъ былъ еще тогда молодымъ человѣкомъ и трудился надъ своимъ классическимъ переводомъ Божественной Комедіи Данте, изданнымъ имъ нѣсколько лѣтъ спустя подъ псевдонимомъ Филалетеса. Весною 1836 г. Тикноръ съ семействомъ сдѣлалъ экскурсію въ Берлинъ. Гумбольдтъ, жившій тогда постоянно въ Берлинѣ, встрѣтился съ Тикноромъ по-пріятельски, самъ показывалъ ему зоологическія и минералогическія коллекціи берлинскаго университета и познакомилъ его съ замѣчательными людьми въ Берлинѣ—первымъ министромъ и извѣстнымъ писателемъ Ансильйономъ, основателемъ исторической школы въ правѣ Савиньи и др. Отъ Ансильйона Тикноръ услышалъ интересный рассказъ о разговорѣ г-жи Сталь съ Фихте, который онъ не замедлилъ занести въ свой дневникъ. Въ бытность свою въ Берлинѣ г-жа Сталь была предметомъ общаго вни-

манія; ученые и литераторы наперерывъ добивались чести быть представленными французской писательницѣ, пользовавшейся большою извѣстностью въ Германіи. Когда на одномъ вечерѣ ей былъ представленъ Фихте, г-жа Сталь послѣ обычныхъ привѣтствій попросила знаменитаго философа подарить ей *un petit quart d'heure* и познакомить ее съ своей философскою системою, основной принципъ которой я всегда казался ей темнымъ. Объяснить въ четверть часа основы философскоіи системы, на созданіе которой ушла цѣлая жизнь, было бы дѣломъ труднымъ даже для человѣка въ десять разъ лучше владѣвшаго французскимъ языкомъ, чѣмъ Фихте; тѣмъ не менѣе задѣтый за живое философъ принялъ вызовъ и, запинаясь на каждомъ шагу, началъ изложеніе своей системы. Г-жа Сталь, слушавшая его съ большимъ вниманіемъ, повидимому, осталась вполнѣ удовлетворенной его объясненіями. „Довольно“ сказала она, прерывая философа, „я васъ превосходно поняла. Ваша система прекрасно иллюстрируется однимъ эпизодомъ изъ путешествій барона Мюнхгаузена“ *). При этихъ словахъ лицо Фихте приняло отчаянное выраженіе героя трагедіи. Не замѣчая впечатлѣній, произведеннаго ея замѣчаніемъ, Сталь продолжала: „Однажды баронъ прибылъ на берегъ широкой рѣки и не видя ни паромъ, ни лодки, на которой онъ могъ бы переправиться на другой берегъ, онъ находился въ состояніи близкомъ къ отчаянію; впрочемъ и на этотъ разъ остроуміе выручило его; онъ бросилъ въ воду, вмѣсто доски, свой плащъ и, держась за рукава его, переправился на тотъ берегъ. Мнѣ кажется, что вы также точно поступаете съ вашимъ я; не правда-ли г-нъ Фихте?“ Присутствовавшій при этомъ разговорѣ Ансильонъ рассказывалъ Тикнору, что Фихте былъ очень скупфуженъ и никогда не простилъ г-жѣ Сталь этой выходки, хотя вѣроятно все же, что она не имѣла намѣренія его обидѣть.

Изъ Берлина американскіе путешественники двинулись черезъ Прагу въ Вѣну.—Интересуясь всѣми выдающимися людьми Европы, каковы бы ни были ихъ политическія убѣжденія, Тикноръ по прибытіи въ Вѣну, познакомившись съ ориенталистомъ

*) Баронъ Мюнхгаузенъ, ганноверскій уроженецъ и одно время офицеръ русской службы, извѣстенъ фантастическими рассказами о своихъ странствованіяхъ и походахъ въ Россіи, весьма напоминающими собою „Не любо не слушай, а лгать не мѣшай“ Они первоначально появились на англійскомъ языкѣ, потомъ не разъ были переводимы на французскій и нѣмецкій яз. и пользовались большимъ успѣхомъ. Последнее ихъ изданіе вышло 1862 г. въ Парижѣ съ рисунками Густава Дорэ.

Гаммеромъ и романистомъ Фердинандомъ Вольфомъ, отправился также и къ Меттерниху съ рекомендательнымъ письмомъ отъ Гумбольдта. Подѣйствовала ли рекомендація Гумбольдта или самъ Тикноръ произвелъ благопріятное впечатлѣніе на всесильнаго министра, но только послѣдній не разъ приглашалъ Тикнора къ себѣ и подолгу бесѣдовалъ съ нимъ наединѣ. Страницы, посвященныя Меттерниху, принадлежать къ самымъ интереснымъ страницамъ дневника Тикнора. Какъ бы желая оправдаться передъ безпристрастнымъ судьей отъ заводимыхъ на него обвиненій, Меттернихъ съ полной откровенностью изложилъ передъ Тикноромъ теорію своей реакціонной политики, какъ единственно возможной въ Европѣ и гордился тѣмъ, что былъ постоянно вѣренъ ей. „По моему мнѣнію“—говоритъ онъ—„для человѣка самое важное быть разсудительнымъ и умѣреннымъ и желать только того, что можетъ осуществиться. Мой умъ, напримѣръ, совершенно спокойный; я ни къ чему не отношусь страстно, и вотъ почему мнѣ не въ чемъ упрекать себя. Увѣряютъ, что я слишкомъ деспотиченъ въ политикѣ; это не вѣрно. Правда, я не люблю демократіи, потому что она всюду и вездѣ является разлагающимъ элементомъ. По моему темпераменту и привычкамъ я болѣе склоненъ къ созиданію, чѣмъ къ разрушенію. Вотъ почему единственное правленіе, которое мнѣ по душѣ, это правленіе монархическое; по моему мнѣнію, только одна монархія въ состояніи соединить вмѣстѣ людей и направить ихъ совокупныя усилія на пользу цивилизаціи“. Въ отвѣтъ на возраженіе Тикнора, что хотя въ республиканскомъ правительствѣ меньше послѣдовательности и системы, но за то больше простора для ума и личной инициативы, чѣмъ въ монархіи, которая сама хочетъ дѣлать все за всѣхъ, Меттернихъ сказалъ слѣдующее: „Вы говорите о своей странѣ, а я о своей. Я очень хорошо знаю, что только благодаря своимъ демократическимъ учрежденіямъ Америка сдѣлала такіе быстрые успѣхи; не спорю, что если взять съ одной стороны тысячу американцевъ, а съ другой тысячу французовъ или Австрійцевъ, то первые, какъ личности, окажутся болѣе развитыми и интересными, но при всемъ своемъ развитіи они смотрятъ въ разныя стороны и не въ состояніи составить изъ себя одно цѣлое, способное неустанно прогрессировать. Въ Америкѣ демократія вполне естественна; вы всегда были демократами; оттого демократія у васъ—истина; въ Европѣ же она—ложь, а я ненавижу всякую ложь. Да и у васъ она не болѣе какъ непрерывный *tour de force*. Ваша политическая система скоро портится, и оттого вы часто находитесь въ отчаян-

номъ положеніи. Я не знаю, чѣмъ все это окончится и когда, но не думаю, чтобы все это кончилось спокойно“. Извѣстно, что когда кто-то при Талейранѣ сравнилъ Мазарини съ Меттернихомъ, Талейранъ ѣдко замѣтилъ, что сравненіе не совсѣмъ вѣрно: кардиналъ обманывалъ, но не лгалъ, Меттернихъ же постоянно лжетъ, но никого не въ состояніи обмануть. Изъ словъ сказанныхъ Тикнору при второмъ свиданіи, можно заключить, что талейрановскій сарказмъ былъ извѣстенъ Меттерниху и что онъ воспользовался первымъ представившимся случаемъ, чтобы возразить на него: „Съ тѣхъ поръ, какъ я занимаю мой постъ министра иностранныхъ дѣлъ я не измѣнялъ себѣ ни на волосъ. Я никогда никого не обманывалъ, и вотъ почему думаю, что у меня во всемъ мірѣ нѣтъ ни одного личнаго врага. У меня было не мало товарищей, которыхъ мнѣ приходилось устранять, но я не обманывалъ никого изъ нихъ, и ни одинъ не имѣетъ противъ меня лично никакой вражды. Ко мнѣ часто обращались за совѣтомъ вожди различныхъ партій въ другихъ странахъ; я съ ними говорилъ такъ же прямо и откровенно, какъ теперь говорю съ вами; не рѣдко потому я былъ поставленъ въ необходимость раздавить ихъ, но я никогда не обманывалъ ихъ, и увѣренъ, что въ настоящее время даже среди ихъ у меня нѣтъ личныхъ враговъ“. Послѣ одного изъ такихъ разговоровъ, продолжавшихся около двухъ часовъ, Тикноръ откланялся Меттерниху. Послѣдній проводилъ его до дверей и на прощаніи наговорилъ ему кучу любезностей. „Пять минутъ спустя—тонко замѣчаетъ Тикноръ—онъ по всей вѣроятности, позабылъ о моемъ существованіи“.

Всего любопытнѣе то, что во взглядахъ на современное состояніе Европы республиканецъ Тикноръ и вождь европейской реакціи во многомъ сходились другъ съ другомъ. Оба были убѣждены, что потрясеніе принципа авторитета въ Европѣ грозитъ неисчислимыми бѣдствиями, и что свобода, какъ средство врачеванія социальныхъ недуговъ, слишкомъ тонкое блюдо для европейскаго общества, привыкшаго къ многовѣковой правительственной опецѣ. Меттернихъ съ горестью говорилъ Тикнору, что Англія быстрыми шагами идетъ къ революціи, что у Франціи революція уже на носу и что въ Европѣ нѣтъ государственныхъ людей, способныхъ предотвратить грозящій кризисъ. Тикноръ, можетъ быть отчасти подъ вліяніемъ бесѣдъ съ Меттернихомъ, смотритъ почти также мрачно и безотрадно на европейскіе порядки и сравнивая ихъ съ американскими, преисполняется чувствомъ патріотической гордости. „Ты просишь меня, пишетъ онъ

своему другу Ричарду Дана изъ Рима отъ 22 февраля 1837 г., сообщить тебѣ что нибудь утѣшительное для стараго тори. Рѣшительно нечего. Выраженіе Меттерниха, сказанное мнѣ прошлымъ лѣтомъ, что современное состояніе Европы отвратительно (*l'état actuel de l'Europe est dégoûtant*) вполне выражаетъ мои собственные впечатлѣнія и еще болѣе соотвѣтствовало бы твоимъ, если бы ты такъ много поѣздилъ по Европѣ, какъ я. Справедливо, что старые принципы, которыми держится общество, распатаны, что шумъ разрушенія слышится всюду и что этому разрушенію едва ли сможетъ противодѣйствовать сложная правительственная машина, у которой по мѣрѣ увеличенія числа колесъ и тренія уменьшается движеніе. Словомъ, механизмъ пришелъ въ разстройство, пружины утратили свою упругость, и только внѣшняя сила заставляетъ его двигаться. Высшіе классы, которымъ принадлежитъ власть, представляютъ изъ себя жалкую картину слабости, самонадѣянности и нравственнаго разложенія. Государственные люди боятся будущаго и медлятъ; сегодня уступать, завтра прижмутъ — и всегда не во время. Съ другой стороны средній классъ быстро богатѣетъ и становится развитѣе, въ низшихъ же классахъ, мало развитыхъ и образованныхъ, замѣчается глухое недовольство и зависть. При такомъ положеніи дѣлъ правительству ничего не остается какъ искать опоры въ среднемъ сословіи, другими словами опереться на принципъ собственности. Но вѣдь это уже цѣлая революція, ибо личный интересъ никогда не въ состояніи замѣнить собою уваженіе къ авторитету власти. Мы увидимъ впослѣдствіи, каковъ будетъ результатъ этого опыта среди народовъ, испорченныхъ сверху и лишенныхъ нравственно принциповъ внизу, а таковы всѣ народы Европы, не исключая даже до нѣкоторой степени и англичанъ. Мы, американцы, страдаемъ противоположными недостатками, на мой взглядъ гораздо болѣе предпочтительными. Въ основѣ нашей жизни лежитъ принципъ семейной нравственности, почти отсутствующей въ Европѣ. Въ самыхъ обдѣленныхъ классахъ общества мы встрѣчаемъ людей, одаренныхъ такимъ умомъ, волей и свѣдѣніями, которыхъ мы тщетно будемъ искать въ соотвѣтственныхъ классахъ европейскаго общества. Вообще человѣкъ въ Америкѣ болѣе человѣкъ, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Несмотря на ошибки, неразрывно связанныя съ широкимъ разливомъ свободы, все-таки чувствуется, что наша жизнь больше даетъ удовлетворенія уму, сердцу и душѣ, чѣмъ жизнь старой Европы“.

Выѣхавъ изъ Вѣны въ іюль 1836, наши путешественники провели нѣсколько мѣсяцевъ въ странствованіяхъ по Тиролю, Швейцаріи и сѣверной Италіи, а на зиму поселились въ Римѣ. Тикноръ нанялъ прекрасную виллу на склонѣ Монте-Пинчіо, откуда открывался великолѣпный видъ на озаренный солнцемъ вѣчный городъ. Въ Римѣ Тикноръ встрѣтился съ своимъ старымъ пріятелемъ Бунзеномъ, который ввелъ его въ кружокъ нѣмецкихъ археологовъ и художниковъ; тутъ онъ познакомился съ египтологомъ Лепсіусомъ, живописцемъ Овербекомъ, археологомъ Гергардтомъ и маститымъ датскимъ скульпторомъ Торвальдсеномъ. Прогулки по Риму въ обществѣ такихъ руководителей какъ Бунзенъ и Гергардтъ, изученіе памятниковъ искусства и занятія въ Ватиканской бібліотекѣ наполняли собою цѣлый день; вечеръ же Тикноръ по прежнему посвящалъ обществу и перезнакомился со всѣми сколько нибудь интересными людьми въ Римѣ; въ числѣ лицъ, съ которыми онъ стоялъ въ это время на пріятельской ногѣ, были историкъ Сисмонди, другъ Гете Кестнеръ, бібліотекаръ ватиканской бібліотеки филологъ Анжело Май, знаменитый лингвистъ кардиналъ Меццофанти и др.

Осень и зиму слѣдующаго года Тикноръ провелъ съ своимъ семействомъ въ Парижѣ. Дочь г-жи Сталь, герцогиня де Брольи и ея мужъ, бывшій еще недавно первымъ министромъ, встрѣтили его какъ стараго друга и употребили всѣ усилія, чтобы сдѣлать его пребываніе въ Парижѣ наиболѣе пріятнымъ. Въ салонѣ г-жи де Брольи Тикноръ, встрѣтился съ Вильменомъ, Гизо, Сенъ-Бевомъ, Мериме и др. Кромѣ того онъ имѣлъ случай познакомиться и сойтись съ Форіелемъ, авторомъ Исторіи Провансальской Поэзіи, который пріятно удивилъ его своими глубокими познаніями въ древней испанской поэзіи, съ Ламартиномъ, весьма неудачно изображавшимъ изъ себя политика, историками Августиномъ Тьерри, Минье и др. Изъ русскихъ, встрѣченныхъ имъ въ Парижѣ, Тикноръ отзывался съ большимъ сочувствіемъ о братьяхъ А. И. и Н. И. Тургеневыхъ. Парижъ на этотъ разъ вообще произвелъ на него менѣе пріятное впечатлѣніе чѣмъ прежде, главнымъ образомъ потому, что политика совершенно вытѣснила литературные и художественные интересы и что изъ-за личныхъ мелочныхъ счетовъ политическихъ партій общество забывало великіе интересы свободы и прогресса. Салоны превратились въ политическіе клубы съ самыми разнообразными оттѣнками; въ нихъ только и толковали что о выборахъ, о дѣйствіяхъ министерства, о томъ, кто будетъ преемникомъ Молѣ и т. д. Однажды,

когда положеніе дѣлъ было особенно натянуто и ежечасно ждали министерскаго кризиса, когда Молё шатался и восходила звѣзда Гизо и Тьера, Тикноръ нарочно посѣтилъ въ одинъ день различные салоны, чтобы полюбоваться игрой человѣческаго честолюбія и политическихъ страстей. Онъ началъ съ перваго министра Молё. Въ салонахъ Молё было болѣе чѣмъ просторно; депутатовъ было мало, только иностранные дипломаты блуждали по заламъ, стараясь прочесть въ глазахъ хозяина его судьбу. Самъ Молё глядѣлъ мрачно и желая уклониться отъ дипломатическихъ бесѣдъ, разговаривалъ противъ своего обыкновенія довольно долго съ Тикноромъ, который первое время не могъ понять этой неожиданной любезности. У Гизо было совершенно наоборотъ. Скромная квартира знаменитаго доктринера была биткомъ набита депутатами и людьми его партіи, лица которыхъ выражали торжество. Они часто подходили и перешептывались съ Гизо, который подъ личиною строгости и достоинства тщетно старался скрыть внутреннее волненіе. Отъ Гизо Тикноръ отправился къ Тьеру. Здѣсь уже совершенно не было той сдержанности, которая царствовала въ салонѣ Гизо. Начиная съ самого хозяина, который сіялъ отъ удовольствія и разсыпался въ любезностяхъ даже передъ Монталамберомъ и карлистами, всѣ присутствующіе шумно высказывали свою радость. Настоящимъ оазисомъ среди этой пустыни, мѣстомъ гдѣ Тикнору приходилось отводить душу, была скромная гостиная историка Огюстена Тьерри, совершенно ослѣпшаго и лишеннаго ногъ, но переносившаго свое горе съ снокойствіемъ истиннаго философа и забывавшаго всѣ свои немощи и страданія, когда разговоръ касался его любимаго предмета. Далѣе Тикноръ нашеть, что Парижъ въ продолженіе двадцати лѣтъ измѣнился еще къ худшему и въ другомъ отношеніи: подъ рукою Бальзака, Жоржа Занда и Поль-де-Кока изящная литература приняла болѣзненно-страстное направленіе, а театры наполнились массою скандальныхъ пьесъ, отражавшихъ въ себѣ растлѣнные нравы парижской буржуазіи.

Лѣтомъ 1838 г. Тикноръ съ семействомъ возвратился въ Америку. Какъ человѣкъ осторожный, онъ не рѣшился сѣсть на одинъ изъ пороходовъ, которые только что начинали дѣлать свои рейсы между Англіей и Америкой, но предпочелъ болѣе продолжительное плаваніе на парусномъ суднѣ. По прибытіи въ Америку онъ былъ несказанно обрадованъ замѣченнымъ имъ прогрессомъ во всѣхъ сферахъ жизни родной страны. „Трудно вамъ выразить“—писалъ онъ по этому поводу къ одному лондонскому

пріятелю, — „какъ я пораженъ улучшеніями, происшедшими здѣсь во время моего трехлѣтняго отсутствія. Эти три года, ознаменовавшіеся величайшимъ коммерческимъ кризисомъ, когда либо пережитымъ нами, могли бы въ другихъ странахъ имѣть послѣдствія, опасныя для всего общественнаго строя. Между тѣмъ у насъ положеніе низшихъ классовъ весьма удовлетворительно; благодаря своей бережливости и заработкамъ, они живутъ довольно комфортабельно, а получаемое ими прекрасное воспитаніе, въ связи съ чистотою семейныхъ нравовъ, держать ихъ пока въ сторонѣ отъ тѣхъ превратностей, которыя составляютъ удѣлъ высшихъ классовъ. На каждомъ шагу я вижу очевидные признаки прогресса; дома и селенія вырастаютъ какъ бы изъ земли; Бостонъ уже связанъ съ другими городами тремя желѣзными дорогами; по рѣкамъ по всѣмъ направленіямъ ходятъ пароходы; словомъ, я вижу дѣятельность и прогрессъ не въ одномъ какомъ нибудь классѣ, но во всемъ населеніи страны. Воспитаніе сдѣлало у насъ болѣе значительные успѣхи, чѣмъ накопленіе богатствъ, а если мы сумѣемъ распространить его блага на всѣхъ гражданъ и сберечь при этомъ чистоту семейныхъ нравовъ, то я не знаю, чего еще намъ больше желать“.

При такомъ бодромъ и радостномъ настроеніи духа весело было работать, и въ скоромъ времени по возвращеніи своемъ изъ Европы Тикноръ принялся за давно задуманную имъ Исторію Испанской Литературы, которая въ продолженіе цѣлыхъ десяти лѣтъ была главнымъ дѣломъ его жизни. Матеріалы для этого труда онъ постоянно собиралъ во время своихъ продолжительныхъ странствованій по Европѣ; приступивъ же къ ихъ обработкѣ, онъ далъ полномочіе своимъ корреспондентамъ, не жалѣя средствъ, приобрѣтать для него недостающія книги и заказывать копии съ рукописей. За исключеніемъ близкихъ родныхъ и его друга Прескотта, съ которымъ онъ въ продолженіе многихъ лѣтъ привыкъ дѣлиться всякой мыслью, никто и не подозрѣвалъ, что Тикноръ занятъ такимъ колоссальнымъ трудомъ. Дверь его кабинета была по прежнему открыта для всѣхъ, кто до него имѣлъ дѣло; онъ по прежнему предсѣдательствовалъ въ педагогическомъ совѣтѣ и различныхъ благотворительныхъ обществахъ, по прежнему принималъ горячее участіе въ общественныхъ дѣлахъ. Проникнутый глубокимъ убѣжденіемъ, что жизнь взыскиваетъ съ человѣка больше, чѣмъ ученый трудъ, Тикноръ, оставивъ кафедру, считалъ себя въ правѣ отдавать наукѣ только свои досуги и работалъ преимущественно лѣтомъ, когда онъ уѣзжалъ изъ Бостона

въ какой-нибудь прохладный и зеленый уголокъ на берегу Атлантическаго океана или въ сосѣдствѣ Ниагарскаго водопада. Такъ подвигался въ продолженіе многихъ лѣтъ неслышными, но твердыми шагами трудъ, который долженъ былъ увѣковѣчить имя Тикнора въ наукѣ. Онъ находилъ такое удовольствіе въ этомъ трудѣ, что не особенно торопился изданіемъ его въ свѣтъ, и на нетерпѣливый вопросъ племянника, когда же онъ приступитъ къ печатанію, онъ спокойно отвѣчалъ: „когда все будетъ окончено“. Наконецъ весною 1848 г. всѣ три тома были готовы, и Тикноръ послалъ ихъ въ рукописи своему другу Прескотту, мнѣніе котораго онъ высоко цѣнилъ, съ просьбой откровенно высказать свое мнѣніе и сдѣлать замѣчанія на поляхъ. Прескоттъ выполнилъ требуемую отъ него дружескую услугу съ полной откровенностью, умѣньемъ и тактомъ: въ письмѣ къ Тикнору, онъ мѣтко указалъ на характеристическія черты труда Тикнора, на его выдающіяся достоинства и на недостатки, вытекающіе изъ увлеченія любимымъ предметомъ; кромѣ того къ письму онъ приложилъ восемнадцать страницъ своихъ замѣтокъ и дополненій, изъ которыхъ впоследствии составилъ его разборъ труда Тикнора, напечатанный въ 1850 въ North American Review. „Мнѣ нечего говорить“—писалъ онъ Тикнору—„какое наслажденіе доставило мнѣ чтеніе Вашего труда, посвященнаго предмету, всегда глубоко интересовавшему меня. Я не колеблюсь сказать, что Вашъ трудъ, какъ въ отношеніи научномъ, такъ и въ отношеніи художественномъ, какъ произведеніе искусства, исполненъ такимъ образомъ, что онъ неперемѣнно долженъ занять важное и прочное мѣсто въ литературѣ. Не только европейскіе ученые, но и природные испанцы не перестанутъ обращаться къ Вашей книгѣ, какъ къ самой полной и правдивой исторіи испанскаго народнаго духа, насколько онъ отразился въ литературныхъ произведеніяхъ. Люди, подобно мнѣ, поверхностно-знакомые съ испанской литературой, удивятся по прочтеніи вашей книги, какъ богата Испанія всѣми родами произведеній, существующихъ въ остальной Европѣ, и какъ много она создала самостоятельныхъ литературныхъ формъ. Болѣе свѣдущіе, безъ сомнѣнія, отдадутъ полную справедливость той смѣлости, съ которой Вы проникаете въ самые темные и отдаленные уголки литературы и извлекаете оттуда много такого, что было либо совершенно неизвѣстно, либо не было оцѣнено по достоинству, а равно также и тому искусству, съ которымъ Вы поставили и по возможности рѣшили много темныхъ и запутанныхъ вопросовъ въ этой области. Самый планъ книги представляется мнѣ вполне

разумнымъ. Распредѣливъ литературный матеріалъ по великимъ эпохамъ, носящимъ на себѣ яркія характеристическія черты, Вы этимъ самымъ произвели ясное впечатлѣніе на умъ читателя и связали умственное движеніе народа съ тѣми измѣненіями въ политическомъ и нравственномъ состояніи его, которыя не могли не оказать вліянія и на литературу. Вы прекрасно выяснили основную и едва ли не самую замѣчательную черту кастильской литературы—глубокій національный характеръ ея, благодаря которому она занимаетъ совершенно особое мѣсто среди европейскихъ литературъ, никогда не подвергавшихся тѣмъ вліяніямъ, которымъ она подвергалась.—Наиболѣе интересные отдѣлы Вашего труда безспорно тѣ, гдѣ Вы касаетесь такихъ общен-тересныхъ вопросовъ, какъ напр. вопросъ о народныхъ испанскихъ романахъ, а равно также и главы, посвященныя характеристикѣ Лопе де Веги, Кальдерона и въ особенности Сервантеса. Наименѣе интересными для обыкновеннаго читателя покажутся подробныя изслѣдованія о мало извѣстныхъ второстепенныхъ писателяхъ. Если вы, имѣя въ виду интересы публики, намѣрены сократить Вашу книгу, то сокращайте ее только въ этихъ отдѣлахъ. Здѣсь Вы можете свободно дѣйствовать авторскими по-жницами“.

Книга Тикнора, вышедшая одновременно въ Нью-Йоркѣ и Лондонѣ въ концѣ 1849, сразу создала ученую репутацію автора и заняла первое мѣсто въ ряду сочиненій, посвященныхъ исторіи испанской литературы. Лучшіе знатоки испанской литературы въ Европѣ Фердинандъ Вольфъ, Фордъ, Ф. Шаль и др. почти ее лестными рецензіями; а лица, которымъ онъ самъ послалъ свою книгу, прислали ему восторженные благодарственные письма. Вотъ что между прочимъ писалъ Тикнору престарѣлый, но юный духомъ, Людвигъ Тикъ: „Въ своей жизни я не мало прочелъ испанскихъ книгъ и имѣлъ дерзость считать себя въ числѣ знатоковъ испанской поэзіи, но Ваша книга совершенно пристыдила меня, потому что изъ нея я узналъ много совершенно неизвѣстнаго для меня. Особенно новы и поучительны кажутся мнѣ главы, посвященныя испанскимъ народнымъ романсамъ, и я радуюсь при мысли, что мнѣ еще не разъ придется обратиться къ нимъ за поученіемъ“.

Исторія испанской литературы составляетъ итогъ всей научной дѣятельности Тикнора. Задуманная имъ еще въ молодости, подъ вліяніемъ раннихъ испанскихъ симпатій, она создавалась въ теченіе многихъ лѣтъ; она была не разъ предметомъ его уни-

верситетскихъ лекцій и была окончена въ 1848 году, когда ея автору шель уже 57 годъ. Онъ же занимала собою его мысль и въ старости; каждое новое изданіе ея являлось въ точномъ смыслѣ слова исправленнымъ и дополненнымъ; экземпляръ ея до самой смерти лежалъ у него на рабочемъ столѣ, и онъ ежедневно испещрялъ его поля замѣтками и поправками, возникавшими по мѣрѣ болѣе глубокаго изученія различныхъ деталей и легшими въ основу четвертаго и послѣдняго изданія, вышедшаго уже послѣ его смерти.

Выше было замѣчено, что Тикноръ не былъ кабинетнымъ ученымъ, что научныя занятія не мѣшали ему интересоваться злобой дня и стараться по мѣрѣ силъ быть полезнымъ своимъ согражданамъ. Посмотримъ же теперь, какъ онъ относился къ живымъ общественнымъ вопросамъ, волновавшимъ его время.

Самымъ крупнымъ вопросомъ, надвигавшимся какъ туча съ юга, былъ вопросъ о невольничествѣ. Тикнору не разъ приходилось краснѣть въ Европѣ, когда ему указывали на эту язву американской жизни, находившуюся въ такомъ рѣзкомъ противорѣчій съ американской конституціей, основанной на принципѣ всеобщаго равенства. Онъ могъ возражать, что европейцы не знаютъ американской жизни, что этотъ вопросъ не можетъ быть рѣшенъ однимъ почеркомъ пера, что въ силу той же конституціи сѣверъ не могъ предписывать законы югу и т. п., но въ душѣ онъ не могъ не сознать, что пока рабство существуетъ, для Америки невозможно правильный прогрессъ и ей нечего гордиться своими учрежденіями передъ старымъ міромъ. „Мнѣ нѣтъ никакой охоты“, — писалъ онъ въ 1843 г. къ знаменитому теологу Чарльзу Ляйелю — „толковать объ этомъ вопросѣ; онъ мнѣ противенъ во всѣхъ отношеніяхъ, ибо въ будущемъ грозитъ большими опасностями нашей странѣ. Сущность этого учрежденія заключается въ себѣ нѣчто до того пагубное и роковое, что какъ ни верти его, изъ него ничего не можетъ выйти, кромѣ зла“. Онъ предвидѣлъ очень ясно, что рано или поздно этотъ проклятый вопросъ можетъ быть рѣшенъ только силою оружія и что торжество сѣвера и уничтоженіе невольничества будутъ неперемѣнными результатами этой борьбы, но полагалъ, что и здѣсь торопиться не слѣдуетъ, ибо съ каждымъ днемъ свободный сѣверъ пріобрѣтаетъ во всѣхъ отношеніяхъ перевѣсъ надъ живущимъ рабскимъ трудомъ югомъ и что, чѣмъ позднѣе начнется война, тѣмъ она будетъ менѣе упорна и продолжительна. Революція 1848 г. на время отвлекла Тикнора отъ домашнихъ вопросовъ и всецѣло приковала его вниманіе къ дѣламъ Европы.

Врагъ всякаго насильственнаго переворота, совершеннаго руками невѣжественной толпы, Тикноръ не вѣрилъ въ прочность республики во Франціи и утверждалъ, что не пройдетъ и года, какъ социальный порядокъ, низвергнутый въ Парижѣ въ февральскіе дни, будетъ, въ силу естественнаго хода вещей, замѣненъ военнымъ деспотизмомъ — предсказаніе къ несчастію оправдавшееся слишкомъ скоро. Не менѣе мрачно смотрѣлъ онъ на вспыхнувшую въ 1853 г. крымскую войну; онъ не могъ сочувствовать ни Турціи, ни Россіи: первой потому, что она дѣлала безплодной для цивилизаціи всякую почву, на которой утверждала свое господство; второй — потому, что побѣда Россіи не замедлила бы сказаться усиленіемъ русскаго вліянія, а стало быть и автократическаго принципа въ Европѣ.

Въ 1856 г. Тикноръ предпринялъ свое послѣднее путешествіе въ Европу; онъ ѣхалъ на этотъ разъ не по своимъ дѣламъ, но по дѣламъ дорогаго ему учрежденія — бостонской публичной бібліотеки. Хотя въ Бостонѣ существовали двѣ бібліотеки: одна при Harvard College и другая при Атенеумъ-клубѣ, но ни одна изъ нихъ не удовлетворяла тѣмъ условіямъ, которымъ, по мнѣнію Тикнора, должна удовлетворять публичная бібліотека въ большомъ городѣ. Основаніе этой бібліотеки было положено однимъ разбогатѣвшимъ въ Европѣ бостонскимъ уроженцемъ, лондонскимъ банкиромъ Бэтсомъ, который пожертвовалъ 50,000 долларовъ для постройки зданія и обѣщалъ, въ случаѣ открытія бібліотеки, снабжать ее книгами. Какъ только зданіе было воздвигнуто, отовсюду стали приливать пожертвованія книгами и деньгами; самъ Тикноръ пожертвовалъ городу значительную часть своей собственной бібліотеки, оставивъ для себя только испанскій отдѣлъ. Въ 1856 г. пожертвованія достигли такой значительной цифры, что комитетъ бібліотеки рѣшилъ отправить одного изъ попечителей, именно Тикнора, въ Европу, для окончательныхъ переговоровъ съ Бэтсомъ, закупки книгъ и заведенія правильныхъ сношеній съ извѣстными европейскими книгопродавцами. Несмотря на преклонный возрастъ, Тикноръ не счелъ себя въ правѣ отклонить отъ себя это лестное порученіе и лѣтомъ 1856 г. отправился въ Европу. Къ сожалѣнію, на этотъ разъ онъ не велъ своего дневника и все, что мы знаемъ объ его пребываніи въ Европѣ, основывается на его немногочисленныхъ письмахъ къ друзьямъ и женѣ. Въ послѣдній разъ повидался Тикноръ съ своими европейскими пріятелями и завелъ сношенія во всѣхъ главныхъ книжныхъ центрахъ Европы — Лондонѣ, Парижѣ, Лейпцигѣ и др. Зимѣ 1856—1857 г. онъ провелъ въ Римѣ

и, полюбовавшись въ послѣдній разъ карнаваломъ, весною двинулся въ Парижъ. На этотъ разъ столица міра представила для него весьма мало привлекательнаго; многихъ изъ его прежнихъ знакомыхъ онъ не засталъ въ живыхъ; литературные и политическіе салоны, которыми славился Парижъ въ прежнее время, исчезли или замѣнились блестящими балами второй имперіи, выставками безумной роскоши и тщеславія, которыя, конечно, не могли быть по душѣ такому ригористу, какъ Тикноръ. Повидавшись съ семействомъ де-Брольи и проведя два пріятныхъ дня въ Val Richer у Гизо, онъ поторопился оставить Парижъ для Лондона. Здѣсь онъ провелъ около двухъ мѣсяцевъ, посѣщая литературные кружки и изучая устройство Британскаго Музея.

Возвратившись на родину въ сентябрѣ 1857 года, Тикноръ первое время былъ буквально поглощенъ дѣлами Бостонской публичной библіотеки, которая въ скоромъ времени была открыта для публики. По мысли Тикнора, принимавшаго дѣятельное участіе въ ея организаціи, Бостонская публичная библіотека должна была соединять въ себѣ удобство кабинета для чтенія и циркулирующей библіотеки (*circulating library*): она не только имѣла при себѣ нѣсколько обширныхъ залъ для чтенія, но и отпускала книги на домъ, для чего въ разныхъ частяхъ города было открыто нѣсколько ея отдѣленій; какъ входъ, такъ и право полученія книгъ на домъ были бесплатны для всѣхъ жителей Бостона, платившихъ городскіе налоги. Въ 1858 г. Тикноръ понесъ тяжелую утрату въ смерти своего друга, знаменитаго историка Вильяма Прескотта. „Я не могу свыкнуться съ этой потерей“—писалъ онъ къ одной общей пріятельницѣ;—„какое-нибудь постороннее обстоятельство заставляетъ меня съ каждымъ днемъ чувствовать ее все сильнѣе и сильнѣе... Много свѣта унесла эта потеря изъ тѣхъ немногихъ лѣтъ, можетъ-быть мѣсяцевъ, которые остаются мнѣ, ибо чувствую, что въ послѣднее время я сильно постарѣлъ и быстрыми шагами приближаюсь къ могилѣ“. Вдова Прескотта просила Тикнора написать біографію своего друга; онъ, конечно, не могъ отказать въ этой просьбѣ и съ свойственной ему энергіей принялся за собираніе необходимыхъ матеріаловъ. Онъ обратился письменно ко всѣмъ лицамъ, знавшимъ Прескотта, и просилъ ихъ сообщить ему находящіяся у нихъ письма покойнаго и свои воспоминанія. Многіе откликнулись на этотъ призывъ и прислали Тикнору много драгоценныхъ матеріаловъ. За работой приведенія этихъ матеріаловъ въ порядокъ и застала его вспыхнувшая въ 1861 г. война съ вера съ югомъ. Глубоко убѣжденный въ конечномъ торжествѣ съвера,

Тикноръ съ страстнымъ участіемъ слѣдилъ за всѣми перипетіями этой братоубійственной борьбы, въ которой американская конституція съ честью выдержала выпавшее ей на долю жестокое испытаніе, а сепаратистская и рабовладѣльческая партія была окончательно сломлена...

Біографія Прескотта, написанная Тикноромъ съ необыкновенной теплотой и одушевленіемъ, вышла въ свѣтъ въ 1864 г., когда ей автору было уже 72 года. Несмотря на то, что книга появилась въ самый разгаръ войны и рисковала пройти незамѣченной, она была вся раскуплена многочисленными друзьями и почитателями Прескотта въ Америкѣ и Европѣ. Никто лучше Банкрофта не выразилъ впечатлѣнія, которое произвела эта образцовая біографія на всѣхъ знавшихъ Прескотта. „Я много вообще ожидалъ“— писалъ Тикнору Банкрофтъ— „отъ біографіи Прескотта, тѣмъ болѣе отъ Вашей біографіи, но, признаюсь, Ваша книга далеко превзошла мои ожиданія. Вы нарисовали Прескотта такимъ, какимъ онъ былъ въ дѣйствительности, не оставивъ ни одной черты его характера неразъясненной. Въ жизни онъ былъ гораздо выше, чѣмъ въ своихъ произведеніяхъ, и именно такимъ Вы его и представили. Прочтя внимательно Вашу книгу, я могу смѣло утверждать, что въ ней нѣтъ ни ошибокъ, ни упущеній, ни преувеличеній. Я думалъ, что однообразіе жизни ученаго невольно отниметъ у его біографіи внѣшнюю занимательность и драматическій интересъ, но вы сумѣли нарисовать такую поразительно-занимательную картину тревогъ его духа и его борьбы съ внѣшними испытаніями, что передъ ней блѣднѣютъ описанія подвиговъ героя или опасностей, которымъ подвергался какой-нибудь авантюристъ. Ваша книга написана для поученія юношамъ и утѣшенія старцамъ; это лучший памятникъ, когда-либо воздвигнутый человѣкомъ науки своему собрату и другу. Вы исполнили свою задачу съ такимъ мастерствомъ, что, воздвигая памятникъ Прескотту, Вы тѣмъ самымъ воздвигнули вѣчный памятникъ самому себѣ“.

Послѣдніе годы своей жизни Тикноръ провелъ почти безвыѣздно въ Бостонѣ. Силы его видимо слабѣли; онъ выходилъ рѣдко изъ дому и ничего не писалъ, кромѣ писемъ, которыя становятся все грустнѣе и грустнѣе. „Не покидайте меня“—пишетъ онъ одному старому пріятелю за два года до смерти — „за одно то, что я устарѣлъ. Помните, что семидесятилѣтній старикъ дѣлаетъ не то, что онъ хочетъ, но то, что можетъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ мнѣ показалось очень страннымъ, когда старый докторъ Джаксонъ увѣрялъ меня, что изъ него осталась только третья

часть, теперь я вижу, что онъ говорилъ правду и что я самъ подхожу къ этому“. Тѣмъ не менѣе умственная энергія была еще очень свѣжа; онъ читалъ много, и чтеніе не утомляло его; онъ интересовался новостями ученой литературы, преимущественно испанской, и вносилъ результаты новѣйшихъ испанскихъ изслѣдованій на поля своей книги; онъ весьма тщательно изучилъ вновь вышедшій переводъ Иліады лорда Дэрби и переводъ Божественной комедіи Данте, сдѣланный его преемникомъ по кафедрѣ въ Harvard College знаменитымъ американскимъ поэтомъ Лонгфелло. Его не столько огорчалъ упадокъ силъ, сколько то, что кругъ его друзей все рѣдѣлъ и рѣдѣлъ.

Въ 1863 г. онъ получилъ извѣстіе о смерти своего лондонскаго пріятеля сэра Корнвалля Льюиза, и два года спустя онъ имѣлъ несчастье лишиться друга своего дѣтства и товарища по Геттингену — Эверрета. Потерявъ почти всѣхъ своихъ старыхъ друзей, онъ жадно ухватился за тѣхъ немногихъ, которые еще оставались у него. „Старайтесь еще немного пожить“, — писалъ онъ другому другу своего дѣтства генералу Тейеру, — „я не могу обойтись безъ всѣхъ васъ“. Насталъ наконецъ и его чередъ — онъ умеръ отъ апоплексическаго удара въ первый день новаго 1871 г. на 79 году своей жизни, завѣщавъ передъ смертію свою богатую коллекцію испанскихъ книгъ Бостонской публичной библіотекѣ.

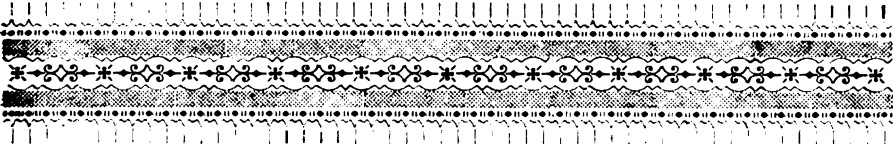
Познакомившись съ главными фактами жизни Тикнора большею частію на основаніи его собственныхъ словъ, постараемся теперь собрать въ одно цѣлое основныя черты его нравственнаго образа. Тикноръ былъ, что называется, цѣльная и уравновѣшенная натура; онъ былъ весь скроенъ какъ бы изъ одного цѣльнаго куска, и такъ какъ всѣ его страсти и чувства всегда находились подъ контролемъ разсудка, то онъ всегда оставался вѣренъ себѣ, отличался замѣчательной выдержкой, самообладаніемъ и почти всегда достигалъ, чего хотѣлъ. Воспитанный въ пуританской семьѣ, онъ унаслѣдовалъ отъ нея серьезный взглядъ на жизнь, какъ на нравственный долгъ, и, по словамъ одного изъ друзей его дѣтства, всегда чувствовалъ себя счастливымъ, исполняя этотъ долгъ. Такая спокойная, гармоничная натура не была способна къ бурной политической дѣятельности, и отецъ Тикнора не ошибался, когда писалъ сыну еще въ 1817 г., что университетская кафедра есть поприще, наиболѣе соотвѣтствующее складу его ума, наклонностямъ и характеру. Но хотя Тикноръ не чувствовалъ въ себѣ способностей свойственныхъ государственнымъ людямъ и потому сознательно сторонился всякой политической

дѣятельности, политическія убѣжденія его были въ высшей степени тверды и опредѣленны. Проф. М. М. Ковалевскій въ своихъ блестящихъ лекціяхъ о Національномъ Характерѣ Американцевъ (См. Русскія Вѣдомости 1883 г. № 71—73) весьма ярко выставилъ на видъ основную черту американскаго народнаго характера—политическій консерватизмъ. „Нигдѣ“, говоритъ онъ, „основы народной жизни не поставлены въ такой степени выше критики, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Конституція, подобно религіи и семьѣ, внѣ сферы повседнежнаго обсужденія и законодательныхъ переворотовъ“. Справедливость этой мысли прекрасно иллюстрируется характеристикой политическихъ мнѣній изучаемаго нами писателя... Истинный представитель лучшихъ сторонъ американскаго народнаго характера, Тикноръ является въ то же время типическимъ представителемъ американскаго консерватизма и предразсудковъ. Къ конституціи 1788 онъ относится съ какимъ-то суевѣрнымъ уваженіемъ; по его мнѣнію, это актъ величайшей политической честности, передъ которымъ нужно только преклоняться. „Я не думаю“,—писалъ онъ въ 1840 г. своему другу Дэвису,—„что съ тѣхъ поръ какъ стоитъ міръ существовало гдѣ бы то ни было собраніе людей, болѣе проникнутыхъ возвышенными и честными намѣреніями, чѣмъ то, которое начертало основы нашей конституціи. Честность и желаніе исполнить свой долгъ, а не талантъ или политическая мудрость руководили нашими избранниками, и вотъ почему они намъ дали лучшую изъ когда либо существовавшихъ конституціонныхъ хартій“. — Считая себя однимъ изъ обладателей этого талисмана, Тикноръ считалъ себя въ правѣ смотрѣть индифферентно и даже нѣсколько свысока на борьбу политическихъ партій въ Европѣ, въ чемъ его справедливо упрекали европейскіе друзья. Онъ не могъ отрицать, что въ сферѣ науки и искусства старый свѣтъ далеко оставилъ за собой новый, но онъ утѣшался мыслью, что нигдѣ демократическія учрежденія не пустили такихъ прочныхъ корней, какъ въ Америкѣ, потому что они основаны съ одной стороны на образцовой конституціи, съ другой—на широкомъ разлитіи образованія въ массѣ народа. „Въ Европѣ не понимаютъ“, писалъ онъ въ 1847 къ сэру Чарльзу Ляйелю, „что народъ, не умѣющій ни читать, ни писать и не имѣющій политическаго образованія, не можетъ быть разумнымъ властелиномъ страны“. Когда вспыхнула междоусобная американская война, Тикноръ съ нескрываемымъ торжествомъ писалъ тому же лицу. „Властелинъ нашъ — ибо народъ единственный властелинъ въ Америкѣ — вступилъ наконецъ въ свои права. Вездѣ

прекращены обычныя занятія, и всѣ занимаются только политикой. Мужчины, женщины, дѣти — всѣ съ утра на улицѣ, потому что сильное волненіе не позволяетъ имъ оставаться дома, въ четырехъ стѣнахъ. Митинги собираются ежедневно и повсюду, въ городахъ и селеніяхъ: всюду составляются подписки на военныя издержки, для семействъ убитыхъ воиновъ, для госпиталей. Въ эти послѣдніе шесть мѣсяцевъ наши учрежденія самымъ убѣдительнымъ образомъ доказали свою силу. Пока народъ не поднимался, правительство Линкольна и Бьюканана было безсильно. Теперь мы быстро плывемъ по теченію, ежеминутно чувствуя могучую руку нашего рулевого“.

Въ частной жизни, въ отношеніяхъ къ людямъ, Тикноръ отличался благородствомъ и искренностью; онъ никогда не скрывалъ своихъ убѣжденій и умѣлъ относиться терпимо и гуманно къ мнѣніямъ другихъ; оттого у него было много искреннихъ друзей среди людей всевозможныхъ политическихъ партій. Подъ спокойной и нѣсколько суровой наружностью этого пуританина и моралиста билось нѣжное и любящее сердце. Разъ привязавшись къ кому нибудь, онъ былъ необыкновенно постояненъ въ своихъ привязанностяхъ, и друзья его юности оставались его друзьями до самой смерти. — Но самой дорогой и симпатической чертой его характера было желаніе идти навстрѣчу нуждамъ и страданіямъ ближнихъ. Не было въ Бостонѣ ни одного полезнаго или благотворительнаго учрежденія, въ устройствѣ или процвѣтаніи котораго онъ не принималъ бы самаго дѣятельнаго участія. Заботы объ этихъ учрежденіяхъ поглощали собою почти все его время, и этимъ объясняется, почему при всей своей энергіи и усидчивости онъ написалъ сравнительно мало. „Человѣкъ—говаривалъ онъ — „не можетъ быть счастливъ, если у него нѣтъ въ виду работы по крайней мѣрѣ на десять лѣтъ впередъ“. А такъ какъ такой работы, направленной къ благу ближнихъ, всегда у него было въ виду много, то онъ могъ считать себя счастливымъ и свѣтло смотрѣть въ будущее. Проработавъ, не покладая рукъ, болѣе полстолѣтія на пользу науки и ближнихъ, онъ упалъ съ дерева жизни, какъ плодъ, вполне созрѣвшій для вѣчности, и былъ искренно оплаканъ своими соотечественниками, видѣвшими въ его смерти національную потерю.





Апостолъ гуманности и свободы (Теодоръ Паркеръ).

(Посвящается Р. М. Хинъ.)

Америка пользуется въ Европѣ не совсѣмъ лестной репутаціей. Ее называютъ страной рекламы, конкуренціи, наживы и вообще житейскаго матеріализма, а американцевъ считаютъ дѣльцами, людьми умными, энергическими, но лишенными всякихъ идеальныхъ стремленій. Такой взглядъ на Америку сдѣлался общимъ мѣстомъ почти у всѣхъ посѣщавшихъ ее европейцевъ, которые, впрочемъ, сознаютъ, что пребываніе въ этой странѣ и зрѣлище происходящей тамъ борьбы за существованіе всегда сообщало имъ неожиданный приливъ энергіи и душевной бодрости, навѣянной мощнымъ развитіемъ личности и свободы. Если неблагопріятный взглядъ на Америку провѣрить памятниками американской литературы, которые должны же въ большей или меньшей степени отражать въ себѣ американскую жизнь, то онъ окажется слишкомъ одностороннимъ, ибо на ряду съ людьми практическими, изобрѣтателями и дѣльцами стоятъ въ Америкѣ люди мысли, писатели, исполненные самыхъ возвышенныхъ идеальныхъ стремленій, которые мучатся надъ вѣчными проблемами человѣческаго бытія, переносятъ своихъ читателей въ свѣтлую высь міра идеальнаго и оказываютъ на нихъ самое благотворное нравственное воздѣйствіе. Такими писателями были особенно богаты сороковые и пятидесятые года, когда дѣйствовали Чаннингъ, Лонгфелло, Эмерсонъ и другіе, изъ произведеній которыхъ лился кроткій свѣтъ идеализма и гуманности, озарявшій не только Америку, но и Европу. Къ этой блестящей плеядѣ писателей долженъ быть причисленъ знаменитый проповѣдникъ и моралистъ, личность котораго, окруженная такимъ ореоломъ славы въ Америкѣ, совершенно неизвѣстна у насъ въ Россіи, хотя

своимъ громаднымъ литературнымъ талантомъ и своими высокими нравственными качествами онъ способенъ внушить къ себѣ и горячую симпатію, и почтительное удивленіе. Теодоръ Паркеръ принадлежитъ къ тѣмъ исключительнымъ, можно сказать providенціальнымъ натурамъ, которыя отъ поры до времени появляются въ исторіи, чтобъ освѣжить нравственную атмосферу человѣчества, поддержать въ насъ вѣру въ достоинство человѣческой природы и указать сбившимся съ пути людямъ истинный путь, ведущій къ правдѣ и свободѣ.

Въ виду того, что главнымъ жизненнымъ подвигомъ Паркера была его упорная, можно сказать, героическая борьба съ невольничествомъ, я считаю не лишнимъ сдѣлать краткій историческій очеркъ развитія учрежденія, которое долгое время было язвой американской жизни и повидимому несмываемымъ пятномъ на американской конституціи. Въ началѣ XVIII вѣка одинъ голландскій купеческій корабль привезъ изъ Африки и весьма выгодно сбылъ въ Южной Америкѣ нѣсколько десятковъ рабовъ-негровъ, которые были употреблены для обработки табака. Вслѣдъ за этимъ ихъ начали ввозить не только въ Южную, но и въ Сѣверную Америку и ввозили такъ успѣшно, что въ 1775 году число ихъ доходило до полумилліона, а въ половинѣ нынѣшняго столѣтія возросло до четырехъ милліоновъ. Рабовладѣльцы, имѣвшіе право жизни и смерти надъ привозимымъ изъ Америки живымъ товаромъ, обращались съ рабами жестоко и обременяли ихъ непосильною работою. Невольничество, все болѣе и болѣе распространявшееся въ южныхъ штатахъ, приводило въ отчаяніе друзей человѣчества. „Кто нарушаетъ законъ Господа Бога,—писалъ знаменитый авторъ деклараціи американской независимости Томасъ Джефферсонъ въ своихъ „Notes on Virginia“,—по которому всѣ люди имѣютъ одинаковыя права,—тотъ возбуждаетъ Его гнѣвъ и мщеніе, и я дрожу, когда помышляю о божественномъ правосудіи“. Джефферсонъ не былъ одинъ въ своемъ протестѣ: вскорѣ было основано общество уничтоженія невольничества, первымъ президентомъ котораго былъ Франклинъ. Благодаря экономическимъ условіямъ и дружной общественной инициативѣ, невольничество скоро исчезло въ сѣверныхъ штатахъ, но зато свило себѣ прочное гнѣздо на югѣ.

Въ нынѣшнемъ столѣтіи рабство было главнымъ социальнымъ вопросомъ въ Америкѣ. Оно придадо особый характеръ американской цивилизаціи; оно вырыло пропасть между сѣверными и южными штатами; оно оказывало громадное вліяніе на

промышленность, торговлю; направление административной власти и даже на выборъ президента, ибо плантаторы южныхъ штатовъ подавали свои голоса только за того кандидата, который давалъ имъ обѣщаніе гарантировать ихъ рабовладѣльческія права. Съ другой стороны, оппозиція рабству со стороны сѣвера началась очень рано. Въ 1808 г. конгрессъ запретилъ ввозъ рабовъ, но такъ какъ онъ все-таки продолжался, то въ 1820 г. это преступленіе было приравнено къ пиратству. Когда вопросъ о рабствѣ подвергался обсужденію въ печати или на митингахъ, защитники рабства утверждали, что негры представляютъ собою низшіе организмы сравнительно съ бѣлыми людьми, безъ руководства которыхъ они не могли бы и существовать, и при этомъ ссылались на Библію, Платона, Аристотеля и на спеціальныя, ими же заказанныя, мнимо-научныя трактаты.

А зло между тѣмъ все росло и росло, деморализуя и управляющихъ и управляемыхъ и бросая тѣнь на христіанскую религію, которая могла уживаться съ подобнымъ учрежденіемъ. Въ 1830 г. появился первый номеръ журнала „Освободитель (Liberator)“, предпринятаго на собственный страхъ Вильямомъ Лойдомъ Гаррисономъ. Появленіе этого органа знаменуетъ собою эпоху въ исторіи борьбы противъ рабства. Гаррисонъ былъ бѣдный и мало образованный типографщикъ, который самъ былъ и наборщикомъ и редакторомъ, а первое время и единственнымъ сотрудникомъ своего журнала. Денегъ у него было ровно столько, сколько нужно для выпуска въ свѣтъ перваго номера: но онъ вѣрилъ въ правоту своего дѣла, и эта вѣра придавала ему необыкновенную энергію. Съ пламеннымъ краснорѣчіемъ онъ нападалъ на рабство, предавалъ позору его защитниковъ, но при этомъ ссылался только на Евангеліе. „Я ничего не смыслю въ политикѣ,—говорилъ онъ,—но я знаю, что Христосъ вновь пригвожденъ къ кресту въ лицѣ невольника-негра“.

Когда листки „Освободителя“ проникли на югъ, плантаторы взволновались. Въ газетахъ юга появились угрозы по адресу Гаррисона, на которыя онъ не обратилъ никакого вниманія. Мало того, убѣжденный въ правотѣ и окончательномъ торжествѣ своего дѣла, онъ настолько пренебрегалъ мнѣніемъ своихъ противниковъ, что даже перепечатывалъ направленные противъ него статьи, только сопровождая ихъ своими примѣчаніями. Въ 1835 г. раздраженіе южанъ противъ Гаррисона достигло крайней степени и выразилось въ формѣ возмутительнаго насилія. Идя однажды вечеромъ по улицамъ Бостона, редакторъ „Освободителя“

былъ окруженъ толпой прилично одѣтыхъ людей, которые неожиданно набросились на него, связали, накинули на шею веревку и потащили по улицамъ, угрожая повѣсить за городомъ. Гаррисона спасла наступившая темнота. Запертый на ночь въ тюрьму, онъ ушелъ оттуда, прибѣжалъ въ свою типографію и къ утру напечаталъ воззваніе, начинавшееся словами: „Теперь я не отступлю ни на одинъ вершокъ и заставлю себя слушать“. И онъ сдержалъ свое слово. Его листокъ получилъ самое широкое распространеніе, сдѣлался настоящей общественной силой, и вокругъ Гаррисона сформировалась партія аболиціонистовъ, считавшая въ рядахъ своихъ такихъ людей, какъ Сомнеръ, Вендель-Филиппсъ, Линкольнъ и др.

Вторымъ важнымъ событіемъ въ борьбѣ съ невольничествомъ было вышедшее въ 1835 г. сочиненіе Чаннинга о рабствѣ (On slavery). Отвращеніе Чаннинга къ рабству было основано на его личномъ знакомствѣ съ этой язвой американской жизни. Высланный по совѣту докторовъ изъ Бостона въ болѣе мягкій климатъ, Чаннингъ поселился на островѣ С.-Круа и былъ ежедневнымъ свидѣтелемъ всѣхъ ужасовъ невольничества, которые, какъ кошмаръ, преслѣдовали его всю жизнь. „Ничто,—писалъ онъ друзьямъ,—не дастъ вамъ понятія о бѣдствіяхъ, претерпѣваемыхъ невольниками. Рабство есть гибель человѣческой души: оно низводитъ человѣка до животнаго. Рабъ не сознаетъ своего положенія, не чувствуетъ своего униженія. Онъ не имѣетъ никакихъ потребностей совершенствовать свои потребности, ибо, что бы онъ ни дѣлалъ, его положеніе не улучшится. Будущее для него повтореніе настоящаго. У раба нѣтъ надежды, и если вы присоедините къ этому невѣжество негра, то легко поймете его склонность къ чисто животнымъ наслажденіямъ и порождаемые ею отвратительные пороки“.

Сочиненіе Чаннинга о рабствѣ есть трактатъ теоретическій, достоинство котораго состоитъ въ особой оригинальной точкѣ зрѣнія. Отстраняя аргументы экономическіе и фізіологическіе, которые приводились pro и contra рабовладѣльцами и аболиціонистами, Чаннингъ сразу занимаетъ возвышенное положеніе, ставя вопросъ на почву общечеловѣческую. Точкою отправленія для него служить убѣжденіе, что негръ есть существо, одаренное разумомъ и безсмертной душой, и въ качествѣ такового не можетъ переходить изъ рукъ въ руки, какъ вещь. Какъ человѣкъ, онъ имѣетъ неотъемлемыя человѣческія права, полученныя имъ отъ Бога при рожденіи, права, которыхъ государство не можетъ

отнять у него. Отъ признанія человѣческой личности у раба негра Чаннингъ переходитъ къ перечисленію всѣхъ золъ и пороковъ, порождаемыхъ рабствомъ, изслѣдуетъ подробно пагубное вліяніе этого учрежденія на самихъ рабовладѣльцевъ и въ заключеніе предлагаетъ рядъ мѣръ къ постепенному освобожденію негровъ. Сила логики, ясность доказательствъ, безпристрастіе сужденія даже о рабовладѣльцахъ и наконецъ пламенная любовь къ человѣчеству, которая озаряетъ все сочиненіе своимъ ровнымъ и теплымъ свѣтомъ—таковы достоинства этого небольшого трактата, сильно повліявшаго на направленіе общественнаго мнѣнія въ Америкѣ. Извѣстно, что этимъ трактатомъ были вдохновлены знаменитыя „*Писни о Невольничествѣ*“ Лонгфелло. Въ посвященіи этихъ стихотвореній Чаннингу Лонгфелло прекрасно выяснилъ все великое значеніе его трактата:

Когда изъ книги мнѣ звучалъ
Твой голосъ величаво, строго,
Я сердцемъ трепетнымъ зывалъ:
Хвала тебѣ, служитель Бога!
Хвала! Твоя святая рѣчь
Немолчно пусть звучитъ народу!
Твои слова—разящій мечъ
Въ священной битвѣ за свободу.
Не прерывай свой грозный кличъ.
Покуда ложъ законъ для вѣка,
Пока здѣсь цѣпь, клеймо и бичъ
Позорятъ званье человѣка.

(Переводъ Милгайлова).

Привѣтствіе Лонгфелло было получено Чаннингомъ незадолго до его смерти. Въ своей прощальной проповѣди великій боецъ за свободу негровъ коснулся главнаго пятна, позорившаго Америку передъ лицомъ другихъ націй и заключилъ свою рѣчь трогательною молитвою о томъ, чтобъ господству насилія и эгоизма былъ положенъ конецъ: „Да придетъ Царство Твое, Господи, о немъ же мы непрестанно молимся! Да просвѣтитъ намъ душу Спаситель рода человѣческаго, который пролилъ кровь Свою за насъ на крестѣ! Да примиритъ Онъ человѣка съ человѣкомъ и небо съ землей! Да придетъ предсказанный вѣкъ любви и добра, по которомъ истомились ваши души! Да снизойдетъ благословеніе Отца Небеснаго на слабыя усилія дѣтей Его поправить насиліе и угнетеніе и водворить на землѣ свѣтъ и свободу!“

Дѣятельность Чаннинга оставила свѣтлый плодотворный слѣдъ въ жизни Америки, и противники рабства заимствовали

изъ его сочиненій свои главные аргументы. Къ числу самыхъ восторженныхъ почитателей Чаннинга принадлежали г-жа Бичеръ-Стоу и Теодоръ Паркеръ. Первая изъ нихъ прославилась на весь міръ своимъ знаменитымъ романомъ „*Хижина дяди Тома*“. Еще бывши дѣвушкой, она имѣла случаи дѣлать экскурсіи въ рабовладѣльческіе штаты. Она познакомилась со многими неграми, часто бесѣдовала съ ними на плантаціяхъ, была не разъ свидѣтельницей, какъ ихъ продавали на рынкахъ, отрывая дѣтей отъ матери, разлучая жену съ мужемъ. Живя въ Цинциннати, на пути съ юга въ Канаду, она часто, сидя въ своей комнатѣ, слышала лай дрессированныхъ собакъ, звуки выстрѣловъ и отчаянные крики. То были крики и вопли бѣглыхъ невольниковъ, догоняемыхъ и истязуемыхъ своими владѣльцами. Когда въ 1850 г. былъ изданъ законъ о бѣглыхъ невольникахъ (*Fugitive slaves law*), въ силу котораго негры, давно упешіе отъ своихъ господъ и жившіе самостоятельно, снова признавались ихъ собственностью, а всякій, пріютившій у себя бѣглаго раба, подвергался строгой отвѣтственности, г-жа Бичеръ-Стоу отвѣтила на него своимъ романомъ, который заставилъ покраснѣть рабовладѣльцевъ и сильно наклонилъ вѣсы общественнаго мнѣнія въ пользу аболиціонистовъ.

Съ закономъ о бѣглыхъ рабахъ связанъ самый блестящій періодъ общественнаго служенія Паркера, но прежде, чѣмъ перейти къ изображенію этой стороны его дѣятельности, нужно познакомить васъ съ его личностью.

Теодоръ Паркеръ родился въ 1810 г. въ Массачузетсѣ. Отецъ его, потомокъ переселившихся изъ Англіи пуританъ, былъ чловѣкъ достойный и довольно образованный; мать его очень любила литературу. Дома Паркеръ получилъ очень тщательное воспитаніе, во многомъ напоминающее домашнее воспитаніе Паскаля. Подобно отцу Паскаля, отецъ Паркера главнымъ образомъ заботился о томъ, чтобы развить въ ребенкѣ сознательное и критическое отношеніе къ окружающему міру, ко всему, что онъ видѣлъ или читалъ. Не менѣе благотворно было вліяніе нравственное, ибо сами родители могли служить ребенку ежедневнымъ нравственнымъ примѣромъ. „Я никогда не слышалъ“,—писалъ впоследствии Паркеръ,—„чтобы мой отецъ или моя мать произнесли хоть одно слово противъ религіи или въ защиту суевѣрія. Съ самаго ранняго дѣтства меня пріучали прислушиваться къ немолчно раздававшемуся въ моемъ сердцѣ голосу совѣсти, любить правду и уважать чловѣка, не обращая вниманія на національность и общественное положеніе“.

Окончивъ мѣстную школу и самъ сдѣлавшись учителемъ, Паркеръ быстро подготовился къ университетскому экзамену и въ 1830 г. поступилъ студентомъ въ Гарвардскую коллегію въ американскомъ Кембриджѣ. Здѣсь онъ поразилъ и товарищей и наставниковъ своими необыкновенными способностями: двадцати-четырехъ лѣтъ отъ роду онъ уже зналъ десять языковъ. Первоначально онъ думалъ посвятить себя юридической карьерѣ, которая съ одной стороны привлекала его своей самостоятельностью и возможностью играть впоследствии политическую роль, а съ другой—отталкивала тѣмъ, что ему въ качествѣ адвоката приходилось бы отстаивать неправыя дѣла.

Въ то время, какъ Паркеръ колебался и изнывалъ въ мукахъ сомнѣнія, въ Бостонъ прибылъ Чаннингъ, чтобы произнести нѣсколько проповѣдей. Этотъ упоенный Богомъ человекъ имѣлъ самыя возвышенныя понятія о роли священника и проповѣдника въ современномъ обществѣ. По словамъ Чаннинга, священникъ прежде всего долженъ обладать героизмомъ и возвышеннымъ строемъ духа. Онъ долженъ до такой степени проникнуться нравственными идеалами, чтобъ говорить о добродѣтели не съ слащавой сентиментальностью, но съ силою глубокаго внутренняго убѣжденія; нужно также, чтобъ душа его горѣла любовью къ человѣку и была проникнута вѣрой въ его способность совершенствоваться. Но главное, чего требовалъ Чаннингъ отъ священника и проповѣдника,—это забвенія себя и своихъ личныхъ интересовъ во имя вѣчной истины. Для священника церковная кафедра должна быть алтаремъ, на которомъ онъ приноситъ свою личность Богу въ жертву и Его правдѣ.

Съ восторгомъ, затаивъ дыханіе, юный Паркеръ слушалъ вдохновенныя слова великаго учителя и мысленно спрашивалъ себя: можешь ли ты хотя немного приблизиться къ этому идеалу? И когда внутренній голосъ отвѣчалъ ему утвердительно, колебанія его окончились, и онъ медленно сталъ готовиться къ духовной карьерѣ. Рѣшившись посвятить себя на служеніе Богу и Его правдѣ, Паркеръ далъ себѣ клятву никогда и не передъ кѣмъ не спускать своего знамени, всегда прямо и открыто свидѣлствовать истину, рискуя вызвать противъ себя не только недовольство, но даже преслѣдованіе. Едва ли нужно говорить, что онъ всегда остался вѣренъ этой клятвѣ.

По окончаніи курса наукъ на богословскомъ факультетѣ, Паркеръ получилъ мѣсто священника въ West-Roxbury, воелѣ Бостона. Здѣсь произошло его первое столкновеніе съ обществен-

нымъ мнѣніемъ. По своимъ религіознымъ убѣжденіямъ Паркеръ принадлежалъ къ весьма распространенной въ Америкѣ сектѣ унитаріевъ, но кромѣ того онъ былъ послѣдователемъ рacionalesтической, такъ называемой, тюбингенской школы, позволялъ себѣ критически относиться къ тексту Св. Писанія и даже осмѣливался утверждать, что христіанство есть историческое явленіе, что въ самой Библии на ряду съ истинами вѣчными есть истины относительныя, объясняемыя духомъ той эпохи и не вполне примѣнимыя къ нашему времени. Мнѣнія эти, высказываемыя имъ съ каеэдри, вызвали цѣлую бурю въ средѣ духовенства. Его не задумались провозгласить атеистомъ. Жители Бостона стали относиться къ нему какъ къ зачумленному, избѣгали встрѣчаться съ нимъ на улицахъ и въ омнибусахъ и т. п. Одинъ изъ извѣстныхъ проповѣдниковъ Новой Англіи спеціально пріѣзжалъ въ Бостонъ, чтобы убѣдить Паркера не вступать въ неравную и безплодную борьбу съ общественнымъ мнѣніемъ. „Вспомните“,—говорилъ онъ Паркеру,—„что всѣ древніе философы склоняли предъ нимъ свои головы, что самъ Сократъ велѣлъ принести жертву Эскулапу. Повѣрьте, что вы погибнете, не сдѣлавъ ничего полезнаго“. Но Паркеръ былъ не изъ тѣхъ людей, которыхъ могли остановить подобныя опасенія. Не имѣя возможности излагать свои мнѣнія съ каеэдри, онъ хотѣлъ издать ихъ въ формѣ книги, но не могъ найти издателя.

Утомленный этой непосильной борьбой, Паркеръ отправился въ 1843 г. отдохнуть душой въ Европу. Въ концѣ сентября, послѣ 25-дневнаго переѣзда онъ прибылъ въ Ливерпуль. Дорогой онъ не столько думалъ о предстоящемъ ему наслажденіи—увидѣть старый міръ съ его вѣковой цивилизаціей, сколько о томъ, что ему надо дѣлать при возвращеніи на родину. Въ своей записной книжкѣ онъ писалъ слѣдующія строки: „Подобно льву, разрывающему въ пустынѣ дикаго осла, и въ общественной пустынѣ богатый всюду уничтожаетъ бѣднаго. Я долженъ стремиться къ тому, чтобы слабый не былъ больше рабомъ сильнаго“. Въ Ливерпульѣ гуманное сердце Паркера было сильно потрясено контрастомъ между богатствомъ города, его великолѣпными зданіями и магазинами и множествомъ бѣдняковъ, бродившихъ по городу, напрасно ища себѣ работы. Пробывъ нѣсколько дней въ Лондонѣ, Паркеръ отправился въ Парижъ, гдѣ пропадалъ по цѣлымъ днямъ, слушая лекціи Кузена и Жюль-Симона и осматривая достопримѣчательности города. Далѣе черезъ Ліонъ и Марсель онъ прибылъ въ Италію и провелъ зиму, переѣзжая изъ

Флоренція въ Римъ и Неаполь. Флоренція съ ея чудесами искусствъ буквально очаровала его. Хотя Паркеръ внимательно изучалъ и восхищался памятниками древняго Рима, но самый городъ ему не понравился. И здѣсь его кольнуло въ сердце контрастъ между роскошью съ одной стороны и бѣдностью и лохмотьями—съ другой.—„Этотъ городъ“,—пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ,—„обезглавившій нѣкогда св. Павла и теперь, навѣрно распялъ бы самого Христа, если бы Онъ снова появился на землѣ“. Несказанное великолѣпіе папскаго служенія нисколько не плѣнило Паркера; глядя на него, онъ думалъ о томъ, во что превратилось Евангеліе.

Обратный путь Паркера лежалъ черезъ Германію. Въ Гейдельбергѣ онъ познакомился съ двумя свѣтилами тогдашней науки, Шлоссеромъ и Гервинусомъ; въ Тюбингенѣ онъ посѣтилъ знаменитаго историка еврейскаго народа Эвальда и славу тюбингенской богословской школы Баура. Посѣщеніе еврейскаго кладбища въ Прагѣ навело его на мысль о незаслуженной печальной судьбѣ евреевъ въ Европѣ. Въ письмѣ къ друзьямъ встрѣчаются по этому поводу слѣдующія высоко-гуманныя слова: „Здѣсь могилы знаменитыхъ раввиновъ и добрыхъ левитовъ. Я питаю врожденную симпатію къ этому загадочному народу, угнетаемому столько поколѣній и все еще процвѣтающему. Мнѣ невольно приходитъ на мысль, сколько услугъ оказалъ человѣчеству этотъ народъ и какъ мы за это его отблагодарили“.

Странствуя по Европѣ, восхищаясь чудесами искусства и цивилизаціи, Паркеръ не унывалъ изъ виду своей главной цѣли—служить родной землѣ. „Въ продолженіе пяти мѣсяцевъ“,—пишетъ онъ въ дневникѣ,—„я имѣлъ довольно времени, чтобы обдумать мое положеніе. Я чувствую всю важность моей задачи и всю тяжесть лежащей на мнѣ отвѣтственности, но въ то же время я чувствую, что долженъ идти впередъ и впередъ. Пока длится моя жизнь, я долженъ бороться съ врагами истины, не зная покоя и отдыха; я очень благодаренъ за данную мнѣ возможность отдохнуть и собраться съ силами, но дѣло зоветъ меня!“ Въ началѣ сентября 1844 г. Паркеръ былъ уже на пути въ Америку. Онъ прибылъ какъ нельзя болѣе кстати. Во время его отсутствія произошелъ благотворный поворотъ общественнаго мнѣнія въ его пользу, и бостонская община избрала его своимъ проповѣдникомъ. Паркеръ съ благодарностью принялъ предложеніе и скоро съ бостонской кафедры раздалось его могучее всепобѣждающее слово.

Какъ проповѣдникъ, Паркеръ уступалъ многимъ въ природ-

номъ краснорѣчіи, но онъ превосходилъ всѣхъ силой внутренняго убѣжденія, придававшей его рѣчи вдохновенный характеръ. Другъ Паркера, знаменитый американскій юмористъ Лоуэль, не разъ слышавшій его съ кафедръ, такъ описываетъ его манеру говорить: „Вотъ онъ стоитъ на кафедрѣ, болѣе похожій на коренастаго земледѣльца, чѣмъ на проповѣдника. Манера его, если не совершенно неуклюжа, то во всякомъ случаѣ лишена граціи, но зато тяжеловатые періоды его рѣчи бьютъ какъ удары топора по крѣпкому дубу. Вы забываете, кто говорить, и невольно прислушиваетесь къ оратору, въ проповѣди котораго блестящее краснорѣчіе Тэйлора соединяется съ здравымъ смысломъ Латимера“. Паркеръ имѣлъ громаднѣйшій успѣхъ на кафедрѣ; тысячи стекались слушать его, но эти тысячи не только не возбуждали въ немъ чувства гордости, но, наоборотъ, приводили его въ смущеніе. „Толпа“, — писалъ онъ другу, — „всегда имѣетъ въ себѣ нѣчто подавляющее; при видѣ громадной аудиторіи я всегда чувствую себя такимъ маленькимъ. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ у меня духовный хлѣбъ, чтобы насытить всѣхъ алчущихъ истины? Я не болѣе какъ бѣднякъ, у котораго всего пять хлѣбовъ и двѣ рыбы на нѣсколько тысячъ человѣкъ“.

Время выступленія Паркера на проповѣдь было весьма тяжелое время для друзей свободы. Рабовладѣльцы торжествовали по всей линіи. Они имѣли большинство на выборахъ и проводили въ президенты своихъ кандидатовъ; они имѣли большинство въ конгрессѣ и проводили какіе угодно законы; они запугивали своихъ противниковъ насиліемъ и угрозами: Гаррисонъ едва спасся отъ смерти, сенаторъ Сомнеръ былъ жестоко избитъ двумя негодяями за рѣчь противъ рабства; они сжигали типографіи аболіціонистовъ и разгоняли наборщиковъ, а въ 1850 г. имъ удалось провести въ конгрессѣ жестокій законъ о бѣглыхъ рабахъ, въ силу котораго тысячи негровъ, жившихъ много лѣтъ на волѣ и достигшихъ значительнаго матеріальнаго благосостоянія, снова попадали въ рабство къ своимъ прежнимъ владѣльцамъ. Поселившись въ Бостонѣ, Паркеръ по мѣрѣ силъ противодействовалъ злу. Онъ сдѣлался грознымъ обличителемъ плантаторовъ; онъ устраивалъ митинги, на которыхъ громилъ жестокихъ рабовладѣльцевъ и мастерски опровергалъ ихъ софизмы; онъ основалъ комитетъ для вспоможенія бѣглымъ невольникамъ, укрывалъ ихъ у себя, помогалъ имъ перебираться въ Канаду.

Дѣятельность Паркера въ Бостонѣ была полна драматическихъ эпизодовъ, которые слѣдуетъ разсказать. Въ октябрѣ 1850 г.

Паркеръ пріютилъ у себя чету невольниковъ, бѣжавшихъ съ юга, и объявилъ властямъ, что ихъ отнять у него развѣ съ жизнью. Онъ вооружился и сталъ поджидать появленія рабовладѣльческихъ агентовъ, такъ называемыхъ kidnappersъ, которые охотились за бѣглыми невольниками и получали за каждого пойманнаго негра десять долларовъ. Въ виду необыкновенной популярности Паркера въ Бостонѣ, агенты не дерзнули арестовать бѣглецовъ силой, и Паркеру удалось переправить ихъ въ Европу. Но удача не спасла его отъ отвѣтственности, и поведеніе его было осуждено собраніемъ бостонскаго духовенства. Въ свое оправданіе Паркеръ произнесъ глубоко прочувствованную рѣчь, изъ которой я приведу отрывокъ.

Отвѣчая на обвиненіе въ укрывательствѣ бѣжавшей четы негровъ, Паркеръ сказалъ: „Да, это правда. Я дѣйствительно укрылъ въ моемъ домѣ двухъ бѣглыхъ невольниковъ. Это вѣнецъ моего апостольства и благословенное право моего священства, ибо я считаю своей обязанностью позаботиться, какъ о спасеніи душъ моихъ прихожанъ, такъ и объ ихъ личной безопасности. Я вынужденъ былъ дать имъ убѣжище въ моемъ домѣ, чтобы спасти ихъ отъ ловцовъ людей. Да, правда и то, что я долженъ былъ вооружиться и день и ночь охранять двери моего дома. Когда я готовился къ сегодняшней проповѣди, у меня на столѣ лежалъ заряженный пистолетъ, а въ двухъ шагахъ отъ меня стояла моя обнаженная сабля. Я сознаюсь, что я поступилъ такъ въ Бостонѣ въ половинѣ XIX вѣка, вынужденный необходимостью защищать моихъ прихожанъ, которыхъ хотѣли предать мукѣ, худшей чѣмъ самая смерть. Вы знаете хорошо, что я человѣкъ мирный и что нужны были очень сильные мотивы, чтобы заставить меня проливать человѣческую кровь. Но я родился въ маленькомъ городкѣ, гдѣ началась война за нашу независимость. Предки мои принесли себя въ жертву за святыя права человѣчества. Кровь ихъ течетъ въ моихъ жилахъ. И послѣ этого вы хотите, чтобы я заперъ мою дверь беззащитнымъ и несчастнымъ? Братья мои, я не боюсь людей. Я мало интересуюсь ихъ уваженіемъ и ихъ ненавистью. Можетъ статься, что меня принудятъ нарушить человѣческіе законы, но я никогда не осмѣлюсь нарушить вѣчный законъ Бога. Вы меня часто обвиняли въ невѣріи. Я признаю, что мои взгляды на религію не сходятся съ вашими, но есть одинъ пунктъ, гдѣ я всегда останусь глубоко вѣрующимъ. Я вѣрю въ Бога Предвѣчнаго Отца, какъ бѣлой, такъ и черной расы. Будь, что будетъ, но закона братолюбія я никогда не нарушу“.

Бывали случаи, когда Паркеру требовалось еще болѣе героизма. Когда Соединенные Штаты объявили войну Мексикѣ, Паркеръ жестоко обличалъ инициаторовъ этой войны, а самую войну называлъ несправедливой и безчестной, ибо она была затѣяна въ интересахъ рабовладѣльческой партіи. На одномъ митингѣ въ Бостонѣ, гдѣ Паркеръ громилъ эту войну съ свойственной ему силой, неожиданно вошло въ залу нѣсколько десятковъ волонтеровъ, только-что возвратившихся съ театра войны и гордыхъ своими побѣдами. Паркеръ не смутился и смѣло продолжалъ свои обличенія. Тогда въ залѣ послышались голоса: „Вонъ его! Убейте его!“ (Turn him out! Kill him!) сопровождаемые шумомъ заряжаемыхъ ружей. „Вы желаете, чтобъ я ушелъ“, — сказалъ онъ своимъ энергическимъ голосомъ, обращаясь къ волонтерамъ, — „но этого не будетъ! Я здѣсь на своемъ посту и на всѣ ваши угрозы убить меня заявляю, что я уйду отсюда одинъ, безъ оружія, и что ни одинъ волосъ не упадетъ съ головы моей“. Пристыженные буяны умолкли, а Паркеръ, не торопясь, окончилъ свою рѣчь и ушелъ домой, сопровождаемый своими восторженными слушателями. Человѣкъ, одаренный такою силою духа, долженъ былъ имѣть громадное вліяніе, но онъ пользовался этимъ вліяніемъ только во имя подвиговъ христіанской любви. Однажды ему стоило только мигнуть, и толпа мгновенно выломала дверь тюрьмы и извлекла оттуда убѣжавшаго негра. По этому поводу Паркеръ писалъ въ своемъ дневникѣ, что это самое благородное дѣло, которое сдѣлалъ Бостонъ въ послѣднія сто лѣтъ.

Но случалось Паркеру не разъ переживать минуты разочарованія и скорби, когда всѣ его усилія были тщетны. Въ томъ же 1851 г. въ силу закона о бѣглыхъ рабахъ одинъ бѣжавшій негръ былъ захваченъ на улицахъ Бостона. Наэлектризованная Паркеромъ чернь бросилась было вырывать его изъ рукъ агентовъ, но полиція была предупреждена и разогнала толпу. Случай этотъ подаль поводъ къ одной изъ лучшихъ проповѣдей Паркера, гдѣ онъ далъ полный исходъ охватившему его чувству негодованія. Изъ этой рѣчи я приведу весьма характерный отрывокъ:

„Изъ мрачныхъ темницъ рабства этотъ человѣкъ ушелъ къ намъ въ Массачусетсъ. За нимъ не было другихъ провинностей, кромѣ любви къ свободѣ. Онъ пришелъ къ намъ, какъ чужеземецъ, просящій гостепріимства, а мы его гостепріимно засадили въ тюрьму. Онъ былъ голоденъ—Бостонъ далъ ему паекъ, предназначенный для преступниковъ; онъ чувствовалъ жажду—Бостонъ напоилъ его оцтомъ и желчью; онъ былъ нагъ—Бостонъ вмѣсто

одежды надѣлъ на него цѣпи. Сидя въ тюрьмѣ, больной, онъ просилъ религіознаго утѣшенія—Бостонъ послалъ ему вмѣсто священника полицейскаго комиссара. Во имя нашего Бога онъ просилъ крещенія свободой—мы его окрестили въ рабство. При этомъ Бостонъ былъ крестнымъ отцомъ, а церковь Новой Англіи сказала ему: „Отнынѣ твое имя—рабъ. Я крещу тебя во имя нашей американской Троицы: золотого червонца, серебрянаго доллара и мѣдной копейки“.

Но нигдѣ краснорѣчіе Паркера не достигаетъ такой поразительной силы, какъ въ его рѣчи противъ знаменитаго оратора Даніэля Вебстера, который, выставивъ свою кандидатуру на постъ президента, искалъ поддержки юга и провелъ въ конгрессѣ законъ о выдачѣ бѣглыхъ рабовъ. На аргументы аболиціонистовъ Вебстеръ отвѣчалъ обстоятельно и побѣдоносно, тѣмъ привелъ въ восторгъ плантаторовъ. Доказательства его сводились къ тому, что всякій законъ долженъ быть исполняемъ въ силу одного того, что онъ законъ, какъ бы намъ ни было тяжело исполнять его. По мнѣнію Вебстера, нѣтъ никакой заслуги исполнять то, что намъ нравится; обязанность гражданина состоитъ въ томъ, чтобъ побѣждать въ себѣ предрасудки и личныя чувства и честно исполнять обязательства, налагаемыя конституціей, тѣмъ болѣе, что законъ Божій никогда не предписывалъ ослушанія законамъ человѣческимъ. Противъ этой-то рѣчи Вебстера Паркеръ обрушился со всей силой своей логики и своей уничтожающей ироніи. Онъ иронически спрашивалъ Вебстера, въ чемъ состоялъ долгъ Даніила, въ томъ ли, чтобы исполнить законъ Дарія, запрещавшій молиться истинному Богу, или же въ томъ, чтобъ исповѣдывать Его, какъ это дѣлали позднѣе апостолы, нарушая этимъ повелѣніе іудейскаго синедріона. „Я еще припомню мистеру Вебстеру“,—продолжалъ Паркеръ,—„одинъ случай, когда законъ требовалъ одного, а совѣсть совершенно другого. Вотъ текстъ этого замѣчательнаго закона: первосвященникъ и фарисеи требуютъ, чтобы всякій, кому извѣстно мѣстопробываніе Іисуса Назарея, довелъ бы объ этомъ до свѣдѣнія властей, чтобы они могли немедленно арестовать его“. Итакъ, по-вашему гражданскій долгъ учениковъ Іисуса Христа состоялъ въ томъ, чтобы выдать своего Учителя. Среди нихъ были слабые люди, которые оставили все, чтобы итти за Нимъ, были женщины, какъ Марѳа и Марія, которыя помогали Учителю изъ своихъ незначительныхъ средствъ, которыя умывали ноги Его своими слезами и утирали своими волосами. Но такъ какъ онѣ дѣлали это охотно, такъ какъ это

доставляло имъ удовольствіе, то съ ихъ стороны тутъ не было никакой заслуги. Но среди учениковъ Иисуса Христа нашелся одинъ сильный и проникнутый чувствомъ гражданскаго долга человѣкъ, который донесъ на Учителя римскому центуріону. Онъ тоже любилъ Иисуса Христа, но онъ имѣлъ настолько силы духа, чтобы подавить это чувство, чего не могли сдѣлать такіе слабые люди, какъ Іоаннъ, Марія. И при всемъ томъ — странное дѣло! — Іуда Искаріотъ пользуется у насъ дурной репутаціей: его называютъ сыномъ погибели, а въ Евангеліи сказано, что дьяволъ вселился въ него и внушилъ ему гнусный замыселъ. Но, впрочемъ, всѣ мы жестоко ошибаемся. По мнѣнію нашихъ республиканскихъ политиковъ, Іуда только честно исполнилъ свои конституціонныя обязательства. Онъ поступилъ такъ потому, что законъ обязывалъ его выдать Учителя. Онъ взялъ за это 30 серебрянниковъ, по-нашему 15 долларовъ; мнѣ кажется, что нашъ Yankee сдѣлалъ бы это за 10. Эта плата была имъ вполне заслужена. А между тѣмъ не только христіане, но даже фарисеи не захотѣли осквернить храмъ свой цѣною этой крови. А все-таки по-моему мы сильно ошибаемся, называя Іуду Искаріота предателемъ. Какой онъ предатель? Онъ — патріотъ; онъ сумѣлъ побѣдить свои предразсудки; онъ нашелъ въ себѣ силу совершить то, что ему было непріятно; онъ поддержалъ законъ и конституцію, онъ спасъ единство союза. Слава ему!“

Паркеръ можетъ быть названъ величайшимъ и типичнѣйшимъ представителемъ американскаго проповѣднаго слова. Только при той безграничной свободѣ проповѣди, которая существуетъ въ протестантской Америкѣ, можно было произносить проповѣди, въ которыхъ ораторъ, стоя на возвышенной религіозно-нравственной точкѣ зрѣнія, могъ призывать къ своему суду всѣ власти, всѣ авторитеты, касаться и вѣчныхъ истинъ религіи, и жгучихъ вопросовъ современной политики, становиться поочередно моралистомъ, сатирикомъ и поэтомъ, отъ молитвы переходить къ памфлету, отъ поученія къ картинѣ нравовъ и при этомъ не упускать изъ виду служить высокимъ цѣлямъ человѣколюбія и свободы.

Занятія по паствѣ, участіе въ благотворительныхъ обществахъ, разъѣзды по провинціи, сопровождавшіеся чтеніемъ лекцій и рѣчей (были годы, когда Паркеръ произносилъ отъ 80 до 100 рѣчей), наконецъ, напряженная нервная дѣятельность въ комитетѣ по переселенію негровъ съ ея безчисленными непріятностями, образчики которыхъ были приведены выше, — все это

должно было дѣйствовать разрушающимъ образомъ на повидимому крѣпкій организмъ Паркера. Не имѣя пятидесяти лѣтъ, онъ уже выглядѣлъ совершеннымъ старикомъ. Вскорѣ не замедлили появиться угрожающіе признаки чахотки. 7 января 1859 года, когда Паркеръ всходилъ на кафедру, съ нимъ сдѣлался первый припадокъ кровохарканія. Испуганные этимъ зловѣщимъ предзнаменованіемъ, друзья убѣдили его взять у своей паствы годичный отпускъ и провести нѣсколько мѣсяцевъ на югѣ, на Антильскихъ островахъ. Изъ С.-Круа онъ написалъ своимъ прихожанамъ обширное и трогательное посланіе, въ которомъ разсказалъ исторію своего пастырскаго служенія. Посланіе это, имѣющее характеръ автобіографіи, служить важнѣйшимъ источникомъ для біографіи Паркера.

По прибытіи въ С.-Круа Паркеръ узналъ, что въ этомъ городѣ существуетъ цѣлая колонія освобожденныхъ негровъ. Онъ немедленно отправился туда и вынесъ отрадное впечатлѣніе отъ посѣщенія этой колоніи, благосостояніе которой могло служить блестящимъ фактическимъ опроверженіемъ американскаго предрассудка, что негры, предоставленные самимъ себѣ, не въ состояніи достигнуть ни свободы, ни благосостоянія.

Здоровье Паркера поправлялось быстро; ему казалось, что съ каждымъ глоткомъ теплаго и влажнаго воздуха возстановлялись его силы. Обрадованные такимъ быстрымъ подъемомъ духа и физическихъ силъ, американскіе врачи отправили Паркера для окончательнаго излѣченія въ Европу.

Ранней осенью 1859 года Паркеръ отплылъ въ старый міръ. Онъ посѣтилъ Англію, Францію и провелъ шесть недѣль во французской Швейцаріи, у подножья Юры. Здѣсь онъ встрѣтилъ цѣлый кружокъ интеллигентныхъ иностранцевъ, въ обществѣ которыхъ и проводилъ время. Профессоръ Десоръ разсказываетъ, что этотъ кружокъ задумалъ издать нѣчто въ родѣ альманаха, для котораго Паркеръ написалъ остроумную шутку: „Мысли шмеля о планѣ устройства вселенной“. Эта ѣдкая сатира на педантическій способъ разсужденія ученыхъ обществъ, обсуждающихъ устройство вселенной съ точки зрѣнія человѣка, воображающаго себя царемъ природы и посрамляемаго въ своемъ высокомѣріи разсужденіями шмеля, который въ сущности имѣетъ такое же право надѣяться, что его потребности и взгляды будутъ приняты въ соображеніе Творцомъ вселенной. Къ этому альманаху приложенъ тогдашній портретъ Паркера. Величавое, до времени состарившееся, окаймленное сѣдою бородою лицо, на которомъ болѣзнь, трудъ и

горе оставили свои неизгладимые слѣды, высокое голое чело и тонкая, нѣсколько ироническая улыбка — такимъ выглядить на этомъ портретѣ Паркеръ. Живя въ Швейцаріи, Паркеръ снова почувствовалъ большое облегченіе и значительный приливъ силъ. Однажды онъ въ присутствіи своихъ товарищей по пансіону срубилъ большую сосну и не почувствовалъ при этомъ особеннаго утомленія. Но этотъ приливъ силъ былъ только иллюзіей. Черезъ нѣсколько дней онъ отправился въ Римъ, чтобъ поработать въ Ватиканской библіотекѣ, но силы ему измѣнились, и онъ большею частью долженъ былъ оставаться дома.

Въ Римѣ Паркеръ получилъ печальное извѣстіе, которое еще болѣе его подкосило. Ему писали, что его другъ, аболіціонистъ, капитанъ Джонъ Броунъ, задумавшій произвести вооруженное возстаніе негровъ въ Виргиніи, потерпѣлъ неудачу, былъ раненъ, взятъ въ плѣнъ и присужденъ къ смертной казни. Дѣло Броуна сильно взволновало общественное мнѣніе не только Америки, но и Европы. По этому поводу величайшій поэтъ Франціи Викторъ Гюго написалъ свое знаменитое посланіе къ американскому народу, изъ котораго я позволяю себѣ привести отрывокъ. Заявивъ въ самомъ началѣ, что даже съ политической точки зрѣнія убійство Броуна было бы непоправимой ошибкой, Викторъ Гюго продолжаетъ: „Я не больше какъ ничтожный атомъ, но во мнѣ, какъ и во всякой человѣческой душѣ, живы всѣ чувства, составляющія то, что мы называемъ совѣстью, и потому я со слезами преклоняю колѣна предъ великимъ лучезарнымъ знаменемъ Новаго Свѣта и съ глубокимъ сыновнимъ почтеніемъ умоляю славную американскую республику, родную сестру французской, не нарушать всемірнаго нравственнаго закона, спасти Джона Броуна, низвергнуть угрожающій ему позорный эшафотъ и не позволять, чтобы на глазахъ ея, почти по ея волѣ, совершилось то, что превзошло бы своимъ ужасомъ первое братоубійство на землѣ. Да, пусть будетъ извѣстно Америкѣ, пусть она поглубже вдумается въ это; есть нѣчто болѣе ужасное, чѣмъ даже Каинъ, убивающій Авеля: это—Вашингтонъ, убивающій Спартака!“

Но все было напрасно. Рабовладѣльческіе судьи въ Виргиніи были глухи ко всѣмъ увѣщаніямъ, ко всѣмъ мольбамъ. Все, чего можно было добиться отъ нихъ,—это отсрочки казни до 16 декабря 1859 г. Горько оплакивая предстоящую смерть Броуна, Паркеръ утѣшалъ себя мыслию, что эта смерть не будетъ безплодна для дѣла свободы. „Я увѣренъ“,—писалъ онъ своему другу Джонсону,—„что Броунъ умретъ какъ святой и мученикъ. Но отъ того,

что Виргинія повѣситъ Броуна, человѣчество не погибнетъ. Великія хартіи свободы всегда пишутся кровью, и нашей демократіи тоже предстоитъ переплыть это Красное море, въ которомъ захлебнутся многіе фараоны“. Слова эти оказались пророческими: не болѣе какъ черезъ четыре года послѣ смерти Паркера вспыхнула кровопролитная война между сѣверными и южными штатами, которая окончилась побѣдою сѣверянъ и освобожденіемъ негровъ на всей американской территоріи.

Въ Римѣ Паркеръ оставался не долго. Происшедшее въ концѣ декабря столкновеніе съ папской полиціей до того разстроило Паркера, что онъ просилъ жену увести его изъ Рима на какой-нибудь клочокъ земли, гдѣ можно было бы умереть спокойно. Его перевезли во Флоренцію, гдѣ онъ въ скоромъ времени и умеръ (10 мая 1860 г.), не успѣвъ дожить до пятидесяти лѣтъ. Паркеръ угасъ съ спокойной ясностью мудреца и сожалѣлъ только о томъ, что не успѣлъ сдѣлать всего, что могъ. „Вы видите“,—говорилъ онъ окружающимъ,—„что я не боюсь смерти, но я желалъ бы пожить еще нѣсколько времени, чтобъ окончить начатыя труды. Мнѣ были даны отъ Бога очень большія способности, но я исчерпалъ ихъ развѣ только наполовину“. Бостонъ трогательно оплакивалъ его потерю. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ жители Бостона не хотѣли приглашать никого на оставленную имъ кафедру проповѣдника, и долгое время послѣ смерти Паркера друзья его — Гаррисонъ, Вендель-Филиппсъ, Эмерсонъ и др. — собирались, какъ и прежде, по воскресеньямъ въ его квартирѣ, чтобъ обмѣниваться мыслями по поводу тѣхъ вѣчныхъ вопросовъ, которые занимали Паркера при жизни.

Чтобъ составить себѣ правильное понятіе объ общественномъ значеніи писателя, мало оцѣнить его талантъ, умъ и художественный стиль; нужно прежде всего опредѣлить сферу его созерцанія, границы его умственного горизонта. Чѣмъ эта сфера шире, чѣмъ больше общественныхъ вопросовъ она захватываетъ, тѣмъ обширнѣе и могущественнѣе вліяніе писателя на современное ему общество. Если приложить этотъ критеріумъ къ литературной дѣятельности Паркера, то окажется, что въ самой Америкѣ найдется очень мало писателей, которые въ своихъ литературныхъ работахъ захватывали бы вполне столько важныхъ нравственныхъ и общественныхъ вопросовъ. Въ основѣ дѣятельности Паркера, какъ проповѣдника и моралиста, лежали двѣ идеи — вѣра въ добрые источники человѣческой природы и вѣра въ ихъ безконечное совершенствованіе подъ вліяніемъ христіанства. Паркеръ былъ глу-

боко убѣжденъ, что если извлечь изъ христіанства элементы любви, состраданія и нравственнаго совершенства и приложить ихъ къ общественнымъ явленіямъ, то для человѣчества настанетъ вѣчная весна счастья и свободы. Проработавъ всю свою жизнь на пользу науки, Александръ Гумбольтъ въ своихъ Мемуарахъ съ глубокою тоскою вопрошаетъ: О, если бы мы, по крайней мѣрѣ, знали, зачѣмъ мы пришли въ этотъ міръ? (Wüssten wir nur wenigstens, warum wir auf dieser Welt sind?) Подобный вопросъ, вполне понятный со стороны ученаго, прожившаго всю свою жизнь въ сферѣ теоретическаго мышленія, никогда не могъ быть предложенъ себѣ ни Чаннингомъ, ни Паркеромъ, но если бы кто-нибудь предложилъ его имъ, ни тотъ, ни другой не затруднились бы отвѣтить: „Мы здѣсь затѣмъ“, — сказали бы они оба въ одинъ голосъ, — „чтобы сдѣлать другихъ и сдѣлаться самимъ лучше и счастливѣе“. Высшая награда для людей подобнаго закала здѣсь на землѣ состоятъ въ томъ, что они не знаютъ разочарованія въ людяхъ, ни горькаго раздумья надъ жизнью вообще. Въ противоположность общепринятому мнѣнію, жизненный кубокъ кажется имъ тѣмъ слаще, чѣмъ они ближе къ концу. Не даромъ Чаннингъ незадолго до своей смерти (а онъ умеръ 62 лѣтъ) писалъ, что только теперь онъ позналъ всю сладость жизни, ибо подъ конецъ ея онъ научился находить прекрасное тамъ, гдѣ не замѣчалъ прежде. Нѣчто подобное говоритъ о себѣ Паркеръ въ своей проповѣди о вѣчной жизни: „Чѣмъ больше я живу, тѣмъ больше я люблю этотъ чудный міръ, тѣмъ сильнѣе чувствую въ каждомъ большомъ и маломъ предметѣ его Создателя“.

Знакомый на опытъ съ изнанкой человѣческой жизни, съ подонками человѣческаго общества, Паркеръ не только не возненавидѣлъ людей, но еще болѣе увѣровалъ въ присущіе имъ добрые инстинкты. Въ отвѣтъ прихожанамъ, благодарившимъ его за поученія, оказавшія на нихъ, по ихъ словамъ, столь благотворное нравственное вліяніе, Паркеръ въ своемъ посланіи изъ С.-Круа между прочимъ пишетъ, что жизнь многихъ изъ нихъ была поучительна для него самого. „Достаточно, если я скажу, что среди васъ я встрѣтилъ нѣсколько мужчинъ и нѣсколько женщинъ самаго скромнаго общественнаго положенія, которые своею жизнью прибавили новыя черты къ идеальному образу человѣческаго совершенства и даже въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ превзошли его“. Нѣтъ ничего удивительнаго, что при такомъ взглядѣ на человѣческую природу жизнь казалась Паркеру непрерывнымъ чудомъ. „Земная и морская флора“, — говоритъ онъ, — „полна красотъ и

тайнъ, изслѣдованіемъ которыхъ занимается наука. Вселенная, заключающая ихъ въ себѣ, гораздо разнообразнѣе, загадочнѣе и привлекательнѣе для созерцающаго духа, но космосъ человѣческой жизни съ его оригинальной флорой и фауной еще болѣе привлекателенъ, и законы, имъ управляющіе, вызываютъ еще большее мое удивленіе, чѣмъ математическіе законы, управляющіе превращеніемъ внѣшняго міра. Космосъ матеріи кажется мнѣ незначительнымъ въ сравненіи съ космосомъ безсмертнаго и вѣчно развивающагося духа. Изученіе этого космоса представляетъ собою предметъ моихъ восторговъ и моего поученія. Вѣроятно, когда-нибудь появится гений, который, подобно Бэкону, дастъ намъ Новый Органонъ человѣчества, опредѣлитъ его принципы, выведетъ его общую формулу, его небесную механику“.

Литературная дѣятельность Паркера была очень разнообразна. Умъ его отличался необыкновенной широтою и плодovitостью, а привычка къ импровизаціи съ избыткомъ замѣняла обработку слога и придавала его изложенію особую оригинальность. Сочиненія Паркера въ англійскомъ изданіи занимаютъ собою 14 томовъ. Изъ нихъ три посвящены богословскимъ вопросамъ, одинъ политикѣ, одинъ социологіи, одинъ исторіи Америки. два—борьбѣ съ рабствомъ, а остальные посвящены самымъ разнообразнымъ вопросамъ и состоятъ изъ проповѣдей, рѣчей, статей и рецензій. Оставляя въ сторонѣ богословскіе трактаты Паркера, я приведу нѣсколько выдержекъ изъ его проповѣдей и мелкихъ статей, которыя дадутъ вамъ понятіе о міросозерцаніи Паркера и объ особенностяхъ его литературнаго таланта.

Въ проповѣдяхъ Паркера мы встрѣчаемъ удивительно рѣдкое соединеніе паеоса и ироніи, возвышенный полетъ мысли со свойственной американцу практичностью и здравымъ смысломъ. Всѣми этими качествами обладаетъ его знаменитая проповѣдь о войнѣ, сказанная въ то время, когда Америка объявила войну Мексикѣ.

Паркеръ отправляется отъ положенія, что взгляды народа на войну стоятъ въ тѣсной связи со ступенью развитія его. У народовъ первобытныхъ война считается дѣломъ почетнымъ, одобряемымъ Богомъ; не даромъ Богъ древнихъ евреевъ называется воинъ, вождемъ народныхъ силъ, который страшно караетъ враговъ своихъ. Христіанство, внесшее въ міръ любовь и всепрощеніе, можетъ относиться къ войнѣ только отрицательно. Если война справедлива, то христіанство есть обманъ и ложь; если же несправедливо христіанство, тогда война есть вещь несправедливая, ложь

и обманъ. Всякая наступательная война есть отрицаніе христіанства, оскорбленіе вѣчнаго божественнаго закона любви. Вычисливъ статистическими цифрами, во сколько обойдется народу начавшаяся война изъ-за Техаса, Паркеръ продолжаетъ: „Впрочемъ, потеря собственности ничтожна въ сравненіи съ потерей многихъ тысячъ жизней. Человѣческая жизнь есть нѣчто священное. Пройдитесь по отдаленнымъ закоулкамъ Бостона, заговорите съ самымъ несчастнымъ и грязнымъ оборванцемъ и вы убѣдитесь, что и онъ кому-нибудь любъ и дорогъ; онъ чей-нибудь братъ, мужъ или сынъ. Человѣческое сердце трепетало раньше, чѣмъ онъ родился; его мать, нѣжно прижимая его къ своей груди, обливала его своими слезами, молилась за него. Его жизнь, можетъ-быть, не имѣетъ никакого значенія для сильныхъ этого міра, потому что у него нѣтъ ни гербовъ, ни ливрейныхъ лакеевъ, но не нужно забывать, что и онъ, подобно власти имѣющимъ, ведетъ свое происхожденіе отъ перваго человѣка. Богъ создалъ его и его безсмертную душу, какъ создалъ міръ и послалъ на землю Христа, чтобъ искупить его. Какой же грѣхъ послѣ этого проливать безъ пользы кровь его! Въ начавшейся теперь войнѣ вы посылаете на убой 50,000 человѣкъ, и столько же по всей вѣроятности вышлетъ противная сторона. Эти 100,000 принадлежатъ къ различнымъ народностямъ; у нихъ нѣтъ вражды между собою; земля достаточно просторна для тѣхъ и другихъ; никто изъ нихъ не заслоняетъ солнца другъ другу, а между тѣмъ каждый изъ силъ выбивается, чтобъ уничтожить противника. Пушки бросаютъ свои ядра и картечи, мортиры—свои бомбы, свистятъ ружейныя пули, работаютъ копья и сабли, а всѣ павшіе растаптываются желѣзными подковами лошадей. Изъ оставшихся же въ живыхъ многіе явятся домой калѣками: кто безъ руки, кто безъ ноги, кто безъ глаза, кто искалѣченъ такъ, что его не узнаетъ и родная мать. Сочтите сиротскіе дома въ Германіи и Голландіи, посѣтите гриничскій госпиталь или домъ инвалидовъ въ Парижѣ и вы увидите, во сколько обошлась человѣчеству военная слава Наполеона и Веллингтона. Но будемъ справедливы и къ войнѣ; каждому нужно воздать должное. Есть цѣлый классъ людей, которымъ война доставляетъ выгоду. Это всѣ поставщики припасовъ и владѣльцы пароходовъ, которые ихъ нанимаютъ воюющимъ сторонамъ по 600 долларовъ въ день. Этотъ классъ людей радуется каждой войнѣ. Пусть опустошенная страна обнищаетъ, за то они наживутся. Есть еще одинъ классъ, которому она служить на пользу, на славу и даже дѣлаетъ его предметами воспѣванія. Я недавно прочелъ въ газетахъ, что

герцога Веллингтона получилъ за свои боевыя заслуги 5,400,000 долларо́въ и кромѣ того 40,000 долларо́въ ежегодной пенсіи“.

Описывая послѣдствія войны, Паркеръ подробно останавливался на томъ пагубномъ вліяніи, которое имѣетъ война на общественную нравственность. „Гдѣ война“, — говоритъ онъ, — „тамъ прекращается дѣйствіе нравственнаго закона, хитрость и сила являются единственными вожжами людей. Битва при Іоркѣ-Таунѣ была, какъ извѣстно, выиграна посредствомъ обмана, хотя бы этотъ обманъ былъ совершенъ самимъ Вашингтономъ. Впрочемъ, въ качествѣ солдата онъ только исполнялъ свой долгъ. На войнѣ государство обучаетъ людей лгать, воровать, убивать. Оно призываетъ волонтеровъ, которые съ его позволенія были простыми разбойниками, а теперь эти разбойники съ своего собственнаго позволенія становятся волонтерами. Солдатская школа обыкновенно дѣлаетъ людей неспособными для мирной жизни гражданъ. Возвратившіеся изъ похода солдаты нерѣдко становятся язвой своего родного села и позоромъ для матерей, ихъ родившихъ. Бываютъ, впрочемъ, случаи, когда война можетъ быть оправдана даже съ точки зрѣнія религіи *); это — война оборонительная, когда человѣкъ сражается за собственный очагъ, за жену, дѣтей, за все, что для него дороже жизни, за неотъемлемыя человѣческія права, за то, что всѣ люди свободны и равны между собою. Какъ я ни ненавижу войну вообще, но такихъ людей я могу только уважать, ибо идея свободы и равенства стоитъ того, чтобъ пролить за нее кровь“.

Совершенно другимъ характеромъ отличается проповѣдь Паркера о безсмертіи души. Извѣстно, что этотъ вопросъ нерѣдко переходилъ изъ области теологіи въ область этики и метафизики. Еще въ концѣ XVIII вѣка Руссо и Кантъ выводили необходимость вѣры въ будущую жизнь изъ присущаго человѣку чувства справедливости. Чувство это требуетъ, чтобы добродѣтель была награждена, а порокъ наказанъ, а такъ какъ этого зачастую не бываетъ въ здѣшнемъ мірѣ, то необходимо допустить существованіе другой жизни, гдѣ возстановится нарушенная гармонія между добродѣтелью и наградой, порокомъ и наказаніемъ, и принципъ справедливости получить, такимъ образомъ, свое полное удовлетвореніе. Доказательство безсмертія души, высказанное Гёте въ его

*) Паркеръ заблуждался, говоря такъ, потому что всѣ великія религіи міра (исключая ислама) были противъ всякаго насилія, какъ наступательнаго, такъ и оборонительнаго, противъ всякихъ войнъ, каковы бы онѣ ни были. *Изд.*

разговорахъ съ Эккерманомъ, имѣть метафизическій характеръ и основывается на присущей всякой силѣ идеѣ дѣятельности. „Если я“, — говоритъ Гёте, — „дѣйствовалъ неутомимо до конца дней моихъ, то природа должна мнѣ дать другую форму существованія, когда моя человѣческая форма разложится и не будетъ больше въ состояніи удержать въ себѣ моего духа“. Перечисливъ въ первой половинѣ всѣ извѣстныя ему доказательства безсмертія души, Паркеръ переноситъ вопросъ на всѣмъ понятную почву человѣческаго сердца:

„Бываютъ времена, когда мы совѣмъ не думаемъ о безсмертіи души. Въ счастливый и свѣтлый періодъ жизни мы довольствуемся ощущаемымъ нами счастьемъ. Но приходитъ день, когда это счастье оказывается недостаточнымъ, а наступившее горе невыносимымъ. Когда смерть внезапно похищаетъ у васъ жену, отца, ребенка, друга—жизнь перестаетъ удовлетворять насъ. Я спрашиваю самого холодного, самого скептического изъ васъ: неужели при потерѣ любимаго существа жизнь будетъ ему казаться такою, какъ казалась прежде? Неужели онъ не будетъ простираетъ руки къ небу и умолять о безсмертіи? Когда я встрѣчаю въ праздничный день на улицѣ много народа, я не только не думаю о вѣчной жизни, даже о своей собственной. Но когда на моихъ глазахъ опускается окоченѣлый трупъ въ нѣмую, неумолимую могилу, я чувствую, что этимъ не можетъ все кончиться, что для человѣка настанетъ другая жизнь. Земля, наполняющая могилу, дернъ, ее покрывающій,—вѣдь не мой братъ. Глядя на него, я еще живѣе чувствую свое безсмертіе. Черезъ могилу я гляжу на небо. Но бываютъ еще худшія минуты, горькія какъ смерть, которыя медленнымъ ядомъ отравляютъ душу, минуты, въ которыя самая жизнь кажется человѣку напрасной и безцѣльной, а свои собственные добрыя дѣла суетными и ничтожными. Несмотря на это, человѣкъ чувствуетъ, что въ его сердцѣ горитъ безсмертное пламя,—душа борется съ земной оболочкой и рвется къ небу. Надежда на вѣчную жизнь, вѣра въ будущее торжество правды и лежащую предъ нами стезю безконечнаго прогресса радуетъ неутѣшное сердце. Въ такія минуты небесный свѣтъ прорѣзываетъ мглу испытаній, грѣха и скорби, а окрашенные въ пурпуръ облака на востокъ возвѣщаютъ приближеніе небесной утренней зари; лицо наше озаряется ея свѣтомъ, и печаль наша исчезаетъ раньше, чѣмъ мы успѣемъ прочувствовать ее. Мысль, что слабые и бѣдные рыбы получаютъ восстановление своихъ правъ, сообщаетъ намъ новую энергію и заставляетъ насъ

отстаивать ихъ права здѣсь на землѣ. Великимъ утѣшеніемъ преисполняется душа наша, когда въ ней поселяется твердая надежда на безсмертіе, но еще важнѣе, когда мы предвосхищаемъ время и уже здѣсь на землѣ приобщаемся къ вѣчной жизни. Это можетъ быть достигнуто всякимъ человѣкомъ. Радости неба начинаются для насъ съ той минуты, когда мы начинаемъ исполнять долгъ, приближающій насъ къ нимъ. Справедливость, мудрость, религія и любовь—вотъ то, что ожидаетъ насъ на небѣ, достиженіе ихъ здѣсь—это высшее благо нашей жизни“.

Хотя любвеобильному сердцу Паркера были одинаково дороги и близки всѣ его прихожане, но онъ отдавалъ больше своего времени тѣмъ, кто наиболѣе въ немъ нуждался, тѣмъ обездоленнымъ судьбою,—

Чьи работаютъ грубыя руки,
Предоставивъ почтительно вамъ
Погружаться въ искусства, науки,
Предаваться мечтамъ и страстямъ.
(Некрасовъ).

Онъ не только помогалъ бѣднякамъ матеріально, но онъ пытался поднять ихъ человѣческое достоинство торжественнымъ признаніемъ, что ихъ скромная дѣятельность почтенна, что, трудясь въ потѣ лица своего, они тѣмъ самымъ исполняютъ завѣтъ самого Бога. Въ числѣ мелкихъ сочиненій Паркера есть интересная статья, которую можно бы назвать апофеозомъ мускульнаго труда. Статья эта вдохновила англійскаго проповѣдника Чарльза Кингсли, когда онъ открывалъ лондонскую всемірную выставку 1851 года своею прекрасною рѣчью „О значеніи физическаго труда“. Упомянувъ о предразсудкѣ противъ этого труда, который у богатыхъ людей считается чуть не позоромъ, Паркеръ видитъ въ этомъ предразсудкѣ отголосокъ тѣхъ варварскихъ временъ, когда господа проводили свою жизнь въ лѣни и праздности, а всѣ домашнія работы исполнялись рабами. По мнѣнію Паркера, такой взглядъ противорѣчитъ духу христіанства, которое измѣряетъ достоинство человѣка количествомъ услугъ, оказанныхъ имъ своимъ ближнимъ. „Благороднѣйшая и величайшая душа, когда-либо существовавшая на землѣ, вышла не изъ рядовъ сытыхъ и праздныхъ людей, а изъ представителей труда и нищеты“.

По мѣткости характеристики, тонкости психологическаго анализа весьма интересна проповѣдь Паркера противъ современнаго

ему фарисейства. Сдѣлавъ характеристику фарисеевъ въ эпоху І. Христа, Паркеръ продолжаетъ:

„Этотъ родъ людей не вымеръ и въ наше время. Они такъ же многочисленны, какъ и во времена І. Христа, и такъ же плохи. И теперь, какъ и тогда, они предпочитаютъ похвалу людей похвалѣ отъ Бога. Имъ пріятнѣе съ меньшими издержками казаться добрыми, нежели на самомъ дѣлѣ быть ими. Какъ въ прежнее время они шли противъ Мессіи, такъ и теперь они выступаютъ противъ всякаго прогресса. Въ какихъ пророковъ они не бросали камнями? Они воздвигаютъ посмертные памятники тѣмъ реформаторамъ, которыхъ при жизни навѣрно привели бы къ эшафоту. Фарисеи встрѣчаются во всѣхъ слояхъ общества, во всѣхъ общественныхъ положеніяхъ: и среди консерваторовъ, и среди радикаловъ, и среди богатыхъ, и среди бѣдняковъ. Хотя они по природѣ своей всегда одинаковы, но все таки ихъ можно раздѣлить на нѣсколько классовъ: фарисеи домашняго очага, фарисеи прессы, церковные фарисеи и т. д. Фарисей домашняго очага—это такой человѣкъ, который, повидимому, имѣетъ въ виду благосостояніе и удовлетвореніе своего семейства, жены, дѣтей, и который на самомъ дѣлѣ думаетъ только о себѣ. Онъ заставляетъ своихъ слугъ много работать, но это для того, чтобъ они не пріучались къ лѣни; онъ кормитъ ихъ плохо изъ опасенія, чтобы они не пріучались къ излишествахъ. Все, что онъ ни дѣлаетъ,—все это въ интересахъ другихъ. Если онъ мужъ, то онъ распространяется о жертвахъ, которыя онъ приноситъ своей женѣ; если отецъ—то своимъ дѣтямъ. Этотъ родъ фарисеевъ самый рѣдкій, ибо обыкновенно люди дома сбрасываютъ съ себя личину и являются въ своемъ настоящемъ свѣтѣ. Гораздо многочисленнѣе фарисеи прессы. Фарисей прессы — это вылощенный господинъ, издающій газету. Онъ больше всего хлопочетъ о томъ, чтобъ не сказать слова, которое могло бы оскорбить нѣжный слухъ своего кружка. Онъ держитъ носъ по вѣтру, идетъ по пятамъ общественнаго мнѣнія и иногда пускается въ предсказанія, но весьма общаго свойства, такъ что ихъ можно истолковать и въ ту и въ другую сторону. Статьи его въ этомъ случаѣ своимъ двойнымъ смысломъ напоминаютъ извѣстное изреченіе оракула лидійскому царю Креазу: если онъ перейдетъ черезъ рѣку Гались, то разрушитъ большое государство, но чье государство, свое или персидское, объ этомъ оракуль благоразумно умолчалъ. Если фарисей-журналисту нужно подорвать чью либо репутацію или уронить въ общественномъ мнѣніи какое-либо почтенное учрежденіе,

то онъ помѣщаетъ злую статейку за подписью „сообщено“ и сопровождаетъ ее редакціонной замѣткой, что въ своей газетѣ онъ даетъ просторъ всякимъ мнѣніямъ. Если какой-нибудь неизвѣстный ученый, не принадлежащій къ его кружку, присылаетъ ему статью, то послѣдняя отвергается съ примѣчаніемъ редактора, что „надо остерегаться опасныхъ людей“. Самый ненавистный сонмъ фарисеевъ—это фарисеи-проповѣдники, которые обладаютъ пороками всѣхъ предыдущихъ типовъ фарисеевъ и занимаютъ такое возвышенное положеніе, въ которомъ всякое, даже самое маленькое, пятно кажется позорнымъ. Главный грѣхъ фарисея-проповѣдника состоитъ въ томъ, что онъ предпочитаетъ форму содержанію и придерживается формы, когда она прикрываетъ собою уже давно испарившееся содержаніе. Фарисеи этого рода вѣрятъ больше въ букву, чѣмъ въ духъ. Кто въ ихъ присутствіи будетъ указывать на противорѣчія въ книгѣ Царствъ, того они не замедлятъ прославить атеистомъ“.

Если въ приведенныхъ отрывкахъ Паркеръ является тонкимъ наблюдателемъ человѣческой природы, то есть проповѣди, въ которыхъ онъ является истиннымъ художникомъ. Говорятъ, что Паркеръ могъ плакать отъ умиленія, если слышалъ о какомъ-нибудь подвигѣ гуманности и великодушія. Такимъ умиленнымъ чувствомъ проникнута его проповѣдь о старости (Of old age), гдѣ онъ дѣлаетъ характеристику извѣстной всему Бостону благотворительницы миссъ Кайндли. По художественнымъ достоинствамъ эту характеристику можно смѣло поставить рядомъ съ любимымъ отрывкомъ изъ „Стихотвореній въ прозѣ“ Тургенева.

„Миссъ Кайндли—всеобщая бабушка; ее очень любятъ дѣти; 60 лѣтъ тому назадъ она одѣвала ихъ бабушекъ къ вѣнцу; она помогала дѣдушкѣ этого мальчика окончить университетъ, а отцу этого человѣка стать на ноги и разбогатѣть. Теперь она стара, очень стара. Дѣти, снующія вокругъ нея, не вѣрятъ, что было время, когда она была такая же маленькая, какъ они, что у ней была мама, которая цѣловала ее алый ротикъ. Когда миссъ Кайндли является куда-нибудь на праздникъ Рождества, ея появленіе сопровождается массой подарковъ и игрушекъ. Теперь полдень; она сидитъ одна; она погружена въ размышленія; она говоритъ сама съ собой. Вотъ она подходитъ къ комоду и вынимаетъ изъ ящика книгу съ золотыми застежками. Позолота потемнѣла, переплетъ выцвѣлъ. Она раскрываетъ книгу и находитъ на первомъ бѣломъ листѣ свое имя Агнеса, а внизу годъ и число. Итакъ, сегодня ровно 68 лѣтъ, какъ она сдѣлала эту надпись своею, по-

видимому, дрожавшей рукой. Ужъ очень, очень обветшала эта милая старая Библия. Она раскрывается на 14-й гл. Евангелія отъ Іоанна, и миссъ Кайндли читаетъ: „Да не смущается сердце ваше, вѣруйте въ Меня!“ Она раскрываетъ книгу въ другомъ мѣстѣ и находитъ въ ней бумажку съ какимъ-то порошкомъ; можно догадаться, что это цвѣтокъ, превратившійся въ пыль. Рука ея дрожить и слезы невольно катятся изъ глазъ. Одна слезинка падаетъ на порошокъ, и онъ мгновенно превращается: это уже не порошокъ, это—роза свѣжая, благоуханная, усѣянная брильянтами весенней росы. Да и сама бабушка преобразилась. Это не трясущая своей головой старушка, это—прекрасная Агнеса, такая, какой она была, когда ей минуло 18 лѣтъ. Прошло ровно 68 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ природа праздновала свой праздникъ: пышно распустившіеся цвѣты благоухали, а птицы пѣли на всѣ тоны гимны любви и счастья. Возлѣ миссъ Кайндли стоялъ ея женихъ, который поднесъ ей эту розу. Рука милаго обнимала ея стройный станъ; ея черные локоны ниспадали на плечи жениха. Она чувствовала его дыханіе на своей зардѣвшейся щекѣ; ихъ уста сблизились; ихъ души слились въ святомъ союзѣ безконечной любви. Этотъ поцѣлуй любви былъ вмѣстѣ съ тѣмъ поцѣлуемъ разлуки, ибо женихъ долженъ былъ уѣхать въ далекіе края. Они дали слово думать другъ о другѣ, глядя на полярную звѣзду. На прощаніе она подарила ему эту Библию. Онъ уѣхалъ и больше не вернулся. Видно, Богъ призвалъ его къ себѣ. Одна Библия вернулась къ Агнесѣ; она положила въ нее на память розу, символъ и воспоминаніе ихъ юной любви. Сегодня душа ея съ нимъ, но придетъ часъ, когда души ихъ сольются, какъ двѣ капли росы на лепесткѣ розы, и мрачная дряхлость земли замѣнится для нихъ вѣчной юностью неба“.

Когда пробѣгаешь мыслью разнообразную общественную или литературную дѣятельность Паркера, въ душѣ самъ собою складывается привлекательный и оригинальный нравственный обликъ этого истиннаго апостола гуманизма и свободы. Это была въ полномъ смыслѣ слова возвышенная, цѣльная и героическая натура, у которой слово никогда не расходилось съ дѣломъ, которая ежедневно была готова жертвовать жизнью за свои убѣжденія. Путеводной звѣздой всей дѣятельности Паркера, какъ литературной, такъ и общественной, была идея нравственнаго совершенствованія личности и тѣсно связанная съ ней идея всемірнаго братства людей. Ни религіознымъ догматамъ, ни политическимъ учрежденіямъ онъ не придавалъ большого значенія; онъ ждалъ

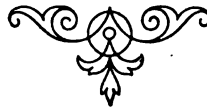
всего отъ нравственнаго подъема духа подъ вліяніемъ христіанскаго идеала: онъ былъ глубоко убѣжденъ, что на землѣ будетъ лучше, если мы сами сдѣлаемся лучше. Это убѣжденіе озаряло его жизненный путь. Оно утѣшало его даже тогда, когда онъ прислушивался къ приближающимся шагамъ смерти. Въ предсмертномъ бреду ему казалось, что личность его раздвоилась, что въ то время, какъ одинъ Паркеръ умираетъ во Флоренціи, двойникъ его живетъ въ Америкѣ и продолжаетъ дѣло перваго.

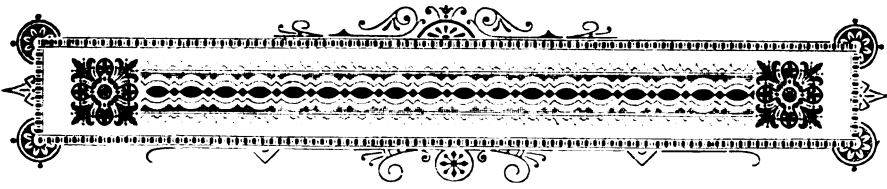
Такъ какъ однимъ изъ главныхъ препятствій для осуществленія любимой мечты о братствѣ людей были національные предрассудки, то Паркеръ употребилъ всѣ силы своей души на борьбу съ ними. Борьба эта, присоединившая Паркера къ фалангѣ свѣтлыхъ ратоборцевъ за священные права человѣческой личности, была его главнымъ жизненнымъ подвигомъ.

Паркеръ былъ вдохновеннымъ проповѣдникомъ того, что составляетъ сущность христіанскаго идеала—любви и безконечнаго нравственнаго совершенства. Многія изъ его идей либо забывались, либо отвергались, но идея грядущаго пересозданія человѣчества не можетъ быть отвергнута, ибо она есть логическій результатъ прогресса.

При мысли о роли и значеніи личностей, подобныхъ Паркеру, въ исторіи человѣчества невольно приходитъ на мысль и напрашивается на сравненіе фактъ, давно случившійся въ Вера-Крусѣ и сообщаемый Паркеромъ въ посланія къ своимъ бостонскимъ прихожанамъ. Во время войны Англіи съ Франціей, мимо Вера-Круса проходилъ поздно ночью англійскій военный корабль. Подойдя къ городу, онъ замѣтилъ громадную черную массу, которую капитанъ и матросы приняли за непріятельскій корабль. Англичане окликнули черную массу, но не получили отъ нея никакого отвѣта. Озадаченный этимъ загадочнымъ молчаніемъ и боясь засады, капитанъ велѣлъ пустить въ черную массу ядро, но и на этотъ разъ она не удостоила англичанъ отвѣтомъ. Тогда онъ велѣлъ бомбардировать корабль-призракъ. Бомбардировка длилась всѣ ночи; ядра свистали, бомбы разрывались, но черная масса оставалась попрежнему безмолвна и неподвижна. Такъ продолжалось до утра, когда англичане увидали, какъ безсильны и бесплодны были ихъ выстрѣлы, ибо они были направлены въ гранитную скалу. И въ области нравственности есть такія же крѣпкія, какъ скала, истины, о которыя рано или поздно разобьется эгоизмъ и непониманіе людей. Блеснетъ лучъ солнца, и люди увидятъ, что ихъ усилія исказить вѣчную истину были

напрасны, что она попрежнему стоит неподвижно и не боится никаких нападений. Вдохновеннымъ глашатаемъ этой вѣчной истины, возвышающей, подобно скалѣ, изъ волнъ житейскаго моря, и былъ Теодоръ Паркеръ. Онъ былъ провозвѣстникомъ того желаннаго времени, давно уже призываемаго друзьями человечества, когда исчезнутъ національныя предразсудки и расовыя антипатіи и когда люди увидятъ другъ въ другѣ братьевъ. Будучи глубоко убѣжденъ въ конечномъ наступленіи этой счастливой поры, онъ утѣшалъ унывающихъ словами, которыми я позволяю себѣ заключить настоящую бесѣду: «битва за истину, какъ бы она ни казалась намъ безнадежной, въ концѣ концовъ будетъ выиграна».





Новая книга о Маккіавелли *).

Разбирая книгу одного современнаго ему писателя, Лессингъ далъ о ней слѣдующій характеристическій отзывъ: „Эта книга содержитъ въ себѣ много истиннаго и новаго, но къ сожалѣнію, все, что есть въ ней истиннаго—не ново, а что ново—не истинно“. Эти слова не разъ приходили намъ въ голову, когда мы читали сочиненіе г. Алексѣева, представляющее собою талантливо, впрочемъ, написанную апологію Маккіавелли. „Цѣль этихъ этюдовъ“—говоритъ авторъ—„доказать наперекоръ господствующимъ въ современной литературѣ воззрѣніямъ, что Маккіавелли разсматривалъ политическіе вопросы не съ односторонней точки зрѣнія практическаго политика, а изучалъ явленія государственной жизни въ связи со всѣми вліяющими на нихъ условіями, *что онъ не только не отрицалъ морали, а, напротивъ, считалъ нравственныя требованія обязательными для политика*, и видѣлъ въ гражданскихъ добродѣтеляхъ главное основаніе общежитія; что онъ съ неумолимой логикой доказывалъ развращающее вліяніе деспотизма на народныя нравы, и видѣлъ въ республикѣ государственную форму, которая одна можетъ примирить противоположность общественныхъ интересовъ, обезпечить матеріальное благосостояніе народа, и раскрыть этому народу путь къ нравственному просвѣщенію“ (Предисловіе, стр. XI).

Прочтя подчеркнутыя строки, читатель въ правѣ спросить: какими же новыми данными запасся авторъ, дававшими ему право сдѣлать, написанное нами, смѣлое заявленіе? Изъ книги г. Алексѣева не видно, чтобъ онъ въ подкрѣпленіе своей теоріи приво-

*) Алексѣевъ, Маккіавелли, какъ политичный мыслитель. Москва 1880 г.

диль бы какія-нибудь новыя данныя, которыми бы не пользовались предшествующіе изслѣдователи; къ сожалѣнію, не видно даже, чтобъ онъ придавалъ особую цѣну фактическому приращенію нашихъ свѣдѣній о Маккіавелли. Автору кажется, что тѣ изъ предшествовавшихъ изслѣдователей, которые сосредоточивали все свое вниманіе на изученіи историческихъ условій, опредѣлившихъ воззрѣнія Маккіавелли, а не на анализъ самихъ воззрѣній, шли по ложному пути, потому что политическая доктрина флорентинскаго секретаря еще не созрѣла для исторической критики: „Пока воззрѣнія извѣстнаго писателя не изучены и не истолкованы съ достаточной основательностью и полнотой, до тѣхъ поръ и объясненіе этихъ воззрѣній условіями времени можетъ вести лишь къ ложнымъ и совершенно произвольнымъ выводамъ, какъ то и доказываетъ книга Виллари“ *). Такой взглядъ на роль исторической критики въ научныхъ изслѣдованіяхъ намъ кажется крайне невѣрнымъ. Исторія науки показываетъ, что воззрѣнія извѣстнаго писателя не могутъ быть надлежащимъ образомъ поняты и оцѣнены безъ изученія среды, гдѣ они возникли, безъ изученія ихъ отношеній къ воззрѣніямъ предшествующихъ писателей. Прежде, чѣмъ подвергать воззрѣніе извѣстнаго писателя критическому анализу, по существу,—нужно опредѣлить степень ихъ оригинальности, нужно предварительно выдѣлить изъ нихъ то, что не принадлежитъ ему самому, что навѣяно окружающей жизнью, или заимствовано у предшествующихъ писателей. Если бы воззрѣнія извѣстнаго писателя можно было истолковать вполнѣ, при помощи свѣта, исходящаго изъ нихъ самихъ, то историческая критика потеряла бы свой главный *raison d'être* и сдѣлалась бы излишней роскошью, безъ которой легко обойтись. Мы увидимъ впослѣдствіи, какъ этотъ ложный взглядъ на роль исторической критики отомстилъ за себя, какъ г. Алексѣевъ принялъ за оригинальное въ воззрѣніяхъ Маккіавелли то, что въ сущности ему не принадлежало, а перешло къ нему, такъ-сказать, по наслѣдству отъ классическихъ писателей.

Въ тѣсной связи съ ложнымъ взглядомъ автора на роль исторической критики стоитъ его несправедливое отношеніе къ одному изъ главнѣйшихъ представителей ея по отношенію къ Маккіавелли—Виллари. Не скроемъ, что насъ крайне непріятно поразило

*) Авторъ разумѣетъ извѣстное сочиненіе Виллари: „*Macchiavelli e il suo tempo*“ (Маккіавелли и его время), вышедшее въ 1877 и въ томъ же году переведенное на нѣмецкій языкъ.

обращеніе свысока начинающаго ученаго съ такимъ талантливымъ и почтеннымъ ветераномъ науки, какъ Виллари. Мы рѣшительно недоумѣваемъ, откуда г. Алексѣевъ знаетъ, что Виллари не далъ себѣ труда самостоятельно изучить произведенія Маккіавелли, что онъ не сумѣлъ освободиться изъ-подъ вліянія господствующихъ въ современной литературѣ взглядовъ и т. п. (Предисловіе, стр. VI). Виллари не сказалъ еще своего послѣдняго слова о Маккіавелли: въ вышедшемъ до сихъ поръ первомъ томѣ онъ довелъ жизнь флорентинскаго публициста только до 1506 г., когда Маккіавелли ничего не писалъ, кромѣ стихотвореній и посольскихъ донесеній. Самая интересная эпоха въ жизни Маккіавелли, эпоха его вынужденнаго досуга, которой мы обязаны его главнѣйшими политическими трактатами, остается еще впереди, а судя по первому тому, мы въ правѣ надѣяться, что знаменитый историкъ Саванароли прольетъ массу свѣта и на Маккіавелли *).

За предисловіемъ въ книгѣ г. Алексѣева слѣдуетъ введеніе (стр. 3—22), заключающее въ себѣ краткій очеркъ литературы о Маккіавелли. Послѣ Р. Моля, автору не для чего было заниматься перечисленіемъ и классификаціей различныхъ взглядовъ, высказанныхъ о Маккіавелли и подвергать ихъ критической оцѣнкѣ; онъ поставилъ своей задачей, во-первыхъ, показать, какъ сложились тѣ, по его мнѣнію, ложныя воззрѣнія на Маккіавелли, которыя еще до сихъ поръ держатся въ обществѣ и литературѣ; во-вторыхъ, объяснить, въ силу какихъ причинъ возникли эти воззрѣнія; въ-третьихъ, опредѣлить, что наше время сдѣлало для пониманія Маккіавелли, и что еще остается сдѣлать. Объясняя, какъ сложился взглядъ на Маккіавелли, какъ на безнравственнаго политика, авторъ несправедливо утверждаетъ (стр. 5), что, изъ политическихъ писателей Италіи XVI вѣка, никто не обвиняетъ Маккіавелли въ безнравственности, а всѣ признаютъ въ немъ глубокаго мыслителя, тонкаго наблюдателя, остроумнаго писателя. Въ доказательство своей мысли, онъ ссылается на Гвиччардини, лич-

*) Что Виллари не думаетъ ограничить свою задачу одной біографіей Маккіавелли въ связи съ исторіей его времени, видно изъ предисловія къ его труду. Сказавъ, что Маккіавелли до сихъ поръ представляется какимъ-то сфинксомъ, что воззрѣнія его толкуются ученые на разные лады, Виллари ставитъ задачей своего труда — изучить время, въ которое жилъ Маккіавелли, его жизнь и „сочиненія“, и представить его такимъ, какимъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, со всѣми его добродѣтелями и пороками (Machiavelli und seine Zeit, übersetzt von Mangold. 1 Band. Vorrede, S. VIII). Опытъ изученія сочиненій Маккіавелли представляетъ помѣщенный въ первомъ томѣ прекрасный разборъ исторической поэмы „Первое десятилѣтіе“ (Decennale Primo).

наго друга Маккіавелли, и человѣка одинаковаго съ нимъ образа мыслей, забывая, что республиканская партія во Флоренціи вся поголовно обвиняла Маккіавелли въ политическомъ отступничествѣ и не могла простить ему „Il Principe“. Упомянувъ, подъ 1527 г., о смерти Маккіавелли и о томъ, что смерть его не возбудила ни въ комъ сожалѣнія, современный ему флорентинскій историкъ Варки (Varchi) прибавляетъ: „Причина всеобщей великой ненависти къ нему (dell' odio grandissimo), помимо цинизма его рѣчей и образа жизни, несоотвѣтственнаго его сану, заключалась въ томъ, что онъ написалъ книгу „Il principe“, посвященную Лоренцо Медичи, съ цѣлю наставить герцога сдѣлаться абсолютнымъ повелителемъ Флоренціи, сочиненіе, по истинѣ, нечестивое (empia veramente), достойное не только порицанія, но и уничтоженія, которое впрочемъ и самъ онъ хотѣлъ уничтожить послѣ перемѣны правительства во Флоренціи; въ этомъ сочиненіи, онъ, казалось, давалъ совѣты герцогу, какъ отнять у богатыхъ имущество, у бѣдныхъ—честь, а у тѣхъ и другихъ вмѣстѣ—свободу. Вотъ почему, при извѣстіи объ его смерти случилась вещь, повидимому, невозможная, что смерть его была одинаково пріятна добрымъ и злымъ; добрымъ—потому что они считали его злымъ; злымъ же—потому что они считали его не только хуже, но „искуснѣ себя“ *). Почти въ тѣхъ же выраженіяхъ говоритъ о всеобщей ненависти къ Маккіавелли другой современникъ Джьованни Батиста Бузини **). Въ числѣ политическихъ трактатовъ XVI в., вызванныхъ сочиненіями Маккіавелли, авторъ упоминаетъ (см. прим. 2) о книгѣ Ботеро: „Della Ragione di Stato“ и о сочиненіи Джьанноти: „Della Repubblica Fiorentina“, но онъ совершенно упустилъ изъ виду, что оба эти трактата, построенные на иныхъ нравственныхъ принципахъ, чѣмъ трактаты Маккіавелли, суть не что иное, какъ косвенный отвѣтъ Маккіавелли. О трактатѣ же венеціанца Паруты: „Della perfezione della vita Politica“, авторъ совершенно не упоминаетъ, тогда какъ эта книга заключаетъ въ себѣ строгое осужденіе теорій Маккіавелли, сдѣланное во имя поправленныхъ имъ нравственныхъ принциповъ ***). Говоря о памфлетахъ іезуитовъ противъ Маккіавелли, авторъ высказываетъ взглядъ, къ которому мы охотно присоединяемся, что іезуиты видѣли въ Маккіавелли главнымъ образомъ не политическаго писателя, а свободнаго мыслителя, врага свѣт-

*) Varchi, Storia Fiorentina. Milano, 1845, vol. I, Libro IV, p. 150—151.

**) Gino Capponi, Storia della Repubblica di Firenze. T. II, p. 362.

***) Mezières, Étude sur les ouvrages politiques de P. Paruta. Paris, 1853, p. 23 и слѣд.

скаго владычества папъ, не признававшего авторитета католической церкви; но мы не можемъ согласиться съ его мнѣніемъ, будто свѣтскіе писатели XVI в. вооружались противъ Маккіавелли только изъ политическихъ мотивовъ. Ссылка автора на Жентиле такъ же мало доказательна, какъ и предшествующая одиночная ссылка на Гвиччардини. Если цѣль протестанта Жентиле, писавшаго подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ ужасовъ Вареоломеевской ночи, была— не изучить политическіе трактаты Маккіавелли, а по поводу ихъ изобличить въ безбожіи и безнравственности людей, стоявшихъ во главѣ Франціи и державшихся, по его мнѣнію, маккіавелистической политики, то почему же вооружились противъ Маккіавелли другіе писатели, находившіеся совершенно въ другихъ условіяхъ, напримѣръ, англійскіе *esprits forts* конца XVI в., которые, къ тому же, относились совершенно индифферентно къ религіознымъ вопросамъ? Итакъ, не только невѣжество и религіозный фанатизмъ, не только политическіе мотивы, но мотивы чисто нравственнаго свойства были причиной того, что уже въ XVI в. политическая доктрина флорентійскаго дипломата считалась символомъ политической безнравственности.

Новѣйшихъ критиковъ Маккіавелли авторъ дѣлитъ на двѣ группы: къ первой онъ относитъ Маттера, Форлендера и др., которыхъ онъ порицаетъ за то, что они хотя и добросовѣстно изучили политическіе трактаты Маккіавелли и подвергли ихъ тщательному анализу, но не обратили вниманія на тѣ условія, въ которыхъ онъ жилъ и дѣйствовалъ *). Писатели второй группы, Ранке, Гервинусъ и др., страдают, по мнѣнію автора, противоположнымъ недостаткомъ: они стараются объяснить ученіе Маккіавелли не столько совокупностью его воззрѣній, его мнѣній и взглядовъ на задачи политической науки, сколько условіями его времени (стр. 17). Надоумленный ошибками своихъ предшественниковъ, авторъ въ первой части своего труда (отъ стр. 23—106) ставитъ своей задачей изучить политическое ученіе Маккіавелли въ связи съ его философскими воззрѣніями. Какъ бы опасаясь, что публика недостаточно оцѣнитъ новостъ и трудность этого приѣма по отношенію къ Маккіавелли, авторъ въ предисловіи (стр. VII) спѣшитъ установить настоящую точку зрѣнія: „Такое систематическое изложеніе воззрѣній Маккіавелли—задача не легкая. Мак-

*) Судя по отзыву автора о Виллари, мы полагали, что онъ ихъ за это похвалитъ, такъ какъ, по его мнѣнію, политическая доктрина Маккіавелли еще не созрѣла для исторической критики, но, по счастью, справедливость восторжествовала на этотъ разъ надъ послѣдовательностію.

киавелли нигдѣ не излагаетъ своего міросозерцанія и не развиваетъ своихъ воззрѣній на мораль, религію и государство, а выставляетъ лишь отдѣльныя положенія и практическія правила. Эти правила и положенія разбросаны по его многочисленнымъ сочиненіямъ, и, лишь сопоставляя ихъ между собою, вникая въ ихъ внутреннюю связь и стараясь раскрыть ту логическую нить, которая объединяетъ ихъ, можно возстановить основныя философскія воззрѣнія, на которыхъ покоится все ученіе Маккиавелли*. Взглядъ г. Алексѣева на философское міросозерцаніе Маккиавелли какъ на подкладку его политической доктрины, дѣйствительно представляетъ новостъ въ литературѣ о Маккиавелли, и мы охотно привѣтствовали бы такую новинку, если бы авторъ сдержалъ свое обѣщаніе—при воссозданіи философскаго міросозерцанія, принять въ расчетъ всѣ произведенія Маккиавелли, и, во-вторыхъ, если бы философское міросозерцаніе Маккиавелли на самомъ дѣлѣ оказалось бы прочнымъ базисомъ, на которомъ можно строить заключенія о произведеніяхъ Маккиавелли чисто политическаго характера. Къ сожалѣнію, вступительная глава, носящая въ книгѣ громкое названіе „Міросозерцаніе Маккиавелли“ (стр. 25—36), не удовлетворяетъ ни одному изъ этихъ условій. Изъ цитатъ видно, что авторъ судитъ о философскомъ міросозерцаніи Маккиавелли главнымъ образомъ на основаніи его недоконченной сатирической поэмы: „Золотой Осель“ (*Asino d'oro*), которой самъ Маккиавелли*) не придавалъ никакого серьезнаго значенія. Ибо что такое въ самомъ дѣлѣ „*Asino d'oro*“? Это очень остроумная пародія на божественную комедію Данте, написанная также терцинами; въ ней Маккиавелли рассказываетъ, какъ онъ на половинѣ жизненной дороги заблудился въ дремучемъ лѣсу, гдѣ ему повстрѣчалось цѣлое стадо различныхъ животныхъ, которое пасла нимфа, одна изъ прислужницъ Цирцеи. Изъ разговоровъ съ ней онъ узнаетъ, что эти животныя были прежде людьми, что Цирцея превратила ихъ въ различныхъ животныхъ, сообразно характеру каждаго; люди гордые и храбрые стали львами, жадные и прожорливые—волками и т. д. Въ сопровожденіи нимфы, играющей здѣсь роль Беатриче „Божественной Комедіи“, Маккиавелли обходитъ вечеромъ поочередно всѣхъ животныхъ. Въ особенности обращаетъ на себя его вниманіе громадный боровъ, который съ видимымъ удовольствіемъ барахтается въ своей грязи. Маккиавелли вступаетъ съ нимъ въ разговоръ, спрашиваетъ, не желаетъ ли онъ снова принять человѣ-

*) См. письмо къ Веттори, отъ 10 августа 1513 г., въ *Lettere Familiari*.

ческій образъ и возвратиться къ людямъ? Въ отвѣтъ на это боровъ произноситъ длинную рѣчь о преимуществахъ животнаго состоянія предъ человѣческимъ и остроумно доказываетъ, что животныя и благоразумнѣе, и сильнѣе, и умѣреннѣе, и даже счастливѣе людей. Рѣчь свою боровъ-мизантропъ заключаетъ слѣдующей тирадой, на которой и обрывается поэма: „если кто-либо изъ людей кажется тебѣ веселымъ и счастливымъ—не вѣрь ему: боровъ, барахтающійся въ грязи и не терзающій себя никакими мыслями, гораздо счастливѣе его!“ Все это, безспорно, очень остроумно, но не рискованно ли всѣ эти мысли о преимуществахъ животной жизни передъ человѣческой приписывать Макіавелли? Не рискованно ли на этомъ шаткомъ основаніи утверждать, какъ это дѣлаетъ авторъ (на стр. 26), что человѣкъ, по возрѣнію Макіавелли, не царь природы, а самая жалкая и безпомощная тварь. Мы не отрицаемъ впрочемъ, что въ „Asino d'oro“ есть много субъективнаго; таково, напримѣръ, вступленіе къ поэмѣ; такова вся вторая половина пятой пѣсни, гдѣ Макіавелли разсуждаетъ о причинахъ паденія государствъ, и на которую не разъ ссылается г. Алексѣевъ; но восьмая пѣснь, на которой онъ почти исключительно основываетъ свои заключенія о міросозерцаніи Макіавелли, заключаетъ въ себѣ какъ будто нарочно всего меньше субъективнаго элемента, потому что и содержаніе ея, и мизантропія, на половину заимствованы изъ Плутарха *).

Кромѣ приведеннаго нами безотраднаго взгляда на человѣческую природу, авторъ считаетъ весьма важнымъ составнымъ элементомъ философскаго міросозерцанія Макіавелли его вѣру въ силу судьбы и его отрицаніе прогресса. Авторъ подробно излагаетъ взглядъ Макіавелли, что человѣчество не идетъ впередъ по прямой линіи, но, описывая круги, постоянно возвращается къ своей исходной точкѣ, или, что еще хуже, идетъ назадъ, нисколько, повидимому, не подозревая, что и этотъ взглядъ не есть оригинальный продуктъ философскаго міросозерцанія Макіавелли, а навѣянъ на него классической древностью, какъ извѣстно, не

*) Въ числѣ такъ-называемыхъ „Moralia“ Плутарха есть діалогъ „Gryllus“, въ которомъ какой-то грекъ, превращенный Цирцеей въ борова, пространно доказываетъ Одиссею преимущество животнаго передъ человѣкомъ. И порядкомъ доказательствъ, и примѣры, приводимые въ ихъ подтвержденіе, не оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что діалогъ Плутарха служилъ непосредственнымъ источникомъ Макіавелли. — Впрочемъ, у Макіавелли встрѣчаются пропуски, измѣненія и дополненія, иногда довольно характеристическія, и на нихъ-то и слѣдовало обратить вниманіе.

признававшей прогресса, и скорѣе вѣрившей въ регрессъ, какъ то доказывалось сагою о золотомъ вѣкѣ. Приведенными примѣрами, полагаемъ, достаточно доказано, что глава, озаглавленная: „Міросозерцаніе Маккіавелли“, едва ли можетъ претендовать на научную цѣнность, и что ее, при всемъ желаніи, едва ли можно разсматривать какъ философское основаніе, на которомъ покоятся политическія теоріи Маккіавелли. Изъ ложныхъ и шаткихъ посылокъ, какъ и слѣдовало ожидать, вытекаютъ ложныя и шаткія заключенія. Приписавъ Маккіавелли мысль, высказываемую въ „Asino d'oro“ боровомъ, что человѣкъ есть самая жалкая и безпомощная тварь въ природѣ, авторъ выводитъ изъ нея взглядъ италіанскаго публициста на происхожденіе государства (стр. 27), и при этомъ ссылается на „Discorsi“ (кн. I, глава II), тогда какъ въ указанномъ мѣстѣ Маккіавелли объясняетъ происхожденіе государства исключительно потребностью защищаться отъ внѣшнихъ враговъ и не думаетъ утверждать, что человѣкъ сталъ искать союза съ себѣ подобными потому, что чувствовалъ свое безсиліе въ борьбѣ съ природой. Перевернувъ нѣсколько страницъ, мы встрѣтимъ (на стр. 41) другую причину, соединившую людей въ общежитіе. Это— „потребность общими силами защищать общіе интересы“; но и это объясненіе еще не есть окончательное, потому что, на стр. 257, потребность общежитія объясняется другими мотивами: она есть результатъ побѣды человѣка надъ природою и наступившаго затѣмъ мира: „Миръ съ природой научаетъ человѣка дорожить и миромъ съ себѣ подобными“, — такъ что читатель окончательно недоумѣваетъ, какими же причинами объяснялъ Маккіавелли происхожденіе общежитія и государства?

Отъ чисто-философской основы теорій Маккіавелли авторъ переходитъ въ слѣдующей главѣ къ ихъ этическимъ и политическимъ основамъ. Здѣсь г. Алексѣевъ меньше покушается на новаторство, и потому дѣло идетъ гораздо лучше. Слѣдуя плану, предложенному Форлендеромъ *), авторъ удачно сопоставляетъ отдѣльныя мѣста изъ различныхъ произведеній Маккіавелли, объясняетъ одно другимъ, отъ частныхъ восходитъ къ принципамъ, и, благодаря этому приему, въ результатъ получается стройное систематическое изложеніе взглядовъ Маккіавелли на сущность человѣческой природы, роль государства, различныя формы правленія и т. п. Хотя и здѣсь мѣстами даетъ себя чувствовать спѣш-

*) Въ первомъ томѣ его замѣчательнаго труда: *Geschichte der philosophischen Moral-Rechts und Staats-Lehre*.

ность работы, отразившаяся, между прочимъ, и въ неточности ссылокъ *), но, вообще говоря, эта часть труда г. Алексѣева отдѣлана тщательнѣе другихъ, и мы особенно рекомендуемъ ее тѣмъ, кто на основаніи „Il Principe“ считаетъ Маккіавелли приверженцемъ абсолютизма.

Выяснивъ себѣ основныя черты философскихъ и политическихъ воззрѣній Маккіавелли, авторъ, согласно своему взгляду на задачи исторической критики, только во второй части считаетъ возможнымъ задаться вопросомъ: какъ и при какихъ условіяхъ они сложились? Судя по предисловію (стр. VIII—IX), гдѣ авторъ сильно журить Виллари за то, что онъ „не воспользовался богатымъ матеріаломъ, заключающимся въ самыхъ сочиненіяхъ Маккіавелли, что онъ упустилъ изъ виду цѣлый рядъ свидѣтельствъ въ посольскихъ донесеніяхъ Маккіавелли, прямо указывающихъ на то, какъ и когда зародились зачатки тѣхъ воззрѣній Маккіавелли, которыя подробно развиты и обоснованы имъ въ его политическихъ трактатахъ“,—мы ожидали найти въ этой части книги г. Алексѣева много новаго сравнительно съ сочиненіемъ итальянскаго историка, но ожиданія наши не оправдались: авторъ либо перефразируетъ сужденія Виллари, либо дѣлаетъ къ нимъ дополненія, своею незначительностью доказывающія, что собственно ничего существеннаго упущено не было. Извѣстно, что Виллари болѣе чѣмъ кто-либо изъ новѣйшихъ біографовъ Маккіавелли придаетъ значеніе его посольскимъ донесеніямъ, что для него они служатъ точкой отправленія при изученіи политической доктрины Маккіавелли. Приведши нѣсколько характеристическихъ мѣстъ изъ перваго донесенія Маккіавелли изъ Франціи, Виллари прибавляетъ отъ себя слѣдующее: „Читатели, конечно, замѣтятъ, что въ нѣсколькихъ пунктахъ этого донесенія просвѣчиваетъ какъ бы сквозь тучи образъ творца „Discorsi“ и „Principe“. Политическія правила, которымъ въ послѣдствіи Маккіавелли придастъ наукообразную форму, являются здѣсь начертанными еще нетвердой рукой и какъ бы случайно; мы увидимъ, что они будутъ формулироваться яснѣе въ его послѣдующихъ посольскихъ донесеніяхъ“ (ibid., стр. 309). Такого же взгляда на посольскія донесенія Маккіавелли держится, какъ мы видѣли, и г. Алексѣевъ, такъ что принципиальной разницы между нимъ и Виллари не оказывается. Пойдемъ далѣе. Виллари въ своей книгѣ подробно останавливается

*) Укажемъ для примѣра на ссылки 72 и 87, которыя совершенно не подтверждаютъ того, что должны, повидимому, подтверждать.

на небольшомъ политическомъ трактатѣ, написанномъ Маккиавелли по поводу возмущенія въ Ареццо. Его поразило въ этомъ интересномъ документѣ то, что Маккиавелли смотритъ на событіе, котораго ему довелось быть свидѣтелемъ, не съ точки зрѣнія дипломата, а съ точки зрѣнія мыслителя, возводящаго все къ общимъ началамъ. „Маккиавелли“—говоритъ Виллари—„съ давнихъ поръ смотрѣвшій на политическія событія не какъ простой дипломатъ, а какъ человѣкъ науки, въ умѣ котораго одиночные факты уже тогда подводились подъ общія нормы и принципы, написалъ по поводу видѣнныхъ имъ событій въ Ареццо небольшой трактатъ: „*Del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati*“. Это не дѣловая бумага, выпедшая изъ дипломатической канцеляріи, но первая попытка возвыситься отъ ежедневной жизненной практики до высотъ научнаго созерцанія. Здѣсь мы найдемъ тѣ же великія достоинства и недостатки, съ которыми встрѣтимся потомъ въ большихъ политическихъ трактатахъ Маккиавелли“ (ibid., стр. 324—325). Подъ вліяніемъ приведеннаго взгляда Виллари сложилось мнѣніе и нашего автора: „трактатъ этотъ“—говоритъ онъ—„замѣчателенъ во многихъ отношеніяхъ. Онъ показываетъ, во-первыхъ, что Маккиавелли, стоя еще въ самомъ круговоротѣ политической жизни, относился къ совершающимся на его глазахъ событіямъ не какъ практическій политикъ, принимающій во вниманіе лишь то, что входитъ въ кругъ его служебной дѣятельности, но какъ мыслитель, старавшійся раскрыть внутреннія причины явленій, подвести ихъ подъ общія точки зрѣнія и извлечь изъ нихъ правила политической мудрости“ (стр. 138). Возвращаясь снова къ этому же трактату, Виллари замѣчаетъ, что хотя Маккиавелли постоянно ссылается на историческіе факты, какъ на образцы и примѣры для подражанія, но въ сущности историческіе факты нужны ему только для того, чтобы придать большій авторитетъ правиламъ, извлеченнымъ изъ наблюденій надъ дѣйствительною жизнью. Подобную же мысль, но только въ другихъ выраженіяхъ, высказываетъ и нашъ авторъ на стр. 139: „свои политическія правила Маккиавелли извлекалъ не изъ римской жизни, а изъ изученія дѣйствительной жизни. Онъ обращался къ римлянамъ лишь за совѣтами и изучалъ древнюю жизнь лишь для того, чтобъ провѣрять воззрѣнія, которыя слагались подъ впечатлѣніемъ пережитыхъ имъ событій“. Намъ кажется, что приведенныя мѣста достаточно доказываютъ, что книга Виллари не осталась даже безъ вліянія на книгу г. Алексѣева, и что италіанскому историку нечего было дожидаться ука-

заній нашего автора, щобъ умѣть пользоваться посольскими донесеніями Маккіавелли...

Но возвратимся къ разбираемой книгѣ. Выше было замѣчено, что вторая часть ея посвящена вопросу: какъ и при какихъ условіяхъ сложилась политическая доктрина флорентинскаго дипломата? Самъ Маккіавелли не разъ указывалъ (см. посвященія къ „Il Principe“ и „Discorsi“, и знаменитое письмо къ Веттори, отъ 10 декабря 1513 г.) на двойной источникъ своихъ политическихъ теорій — современную жизнь и классическую древность. Ошибка г. Алексѣева состоитъ въ томъ, что онъ ограничилъ свою задачу первымъ источникомъ, что онъ посвятилъ все свое вниманіе изученію того воздѣйствія, которое оказывала на Маккіавелли современная ему дѣйствительность, и оставилъ въ сторонѣ источникъ литературный. Изъ древнихъ писателей, оказавшихъ вліяніе на Маккіавелли, онъ упоминаетъ только объ одномъ Т. Ливіѣ и совершенно умалчиваетъ о Полибіѣ и Аристотелѣ, вліяніе которыхъ было гораздо значительнѣе, какъ то было доказано на диспутѣ однимъ изъ оппонентовъ г. Алексѣева, профессоромъ Ковалевскимъ. Вслѣдствіе этого односторонняго приѣма, многія стороны политическаго ученія Маккіавелли либо получили ложное освѣщеніе, либо остались безъ всякаго объясненія. Такъ, напримѣръ, г. Алексѣевъ утверждаетъ (стр. 129), вопреки самому автору „Il Principe“, что вся программа этого трактата заключается въ одномъ посольскомъ донесеніи Маккіавелли о злодѣйствахъ Цезаря Борджіа, тогда какъ давнымъ-давно доказано *), что планъ „Il Principe“ возникъ въ умѣ Маккіавелли подъ вліяніемъ 9-й главы 8-й книги „Политики“ Аристотеля, гдѣ вкратцѣ изложена теорія тиранніи и даже исчислены всѣ средства, которыми поддерживается эта форма правленія. Объясняя, какимъ образомъ жизнь оказывала свое воздѣйствіе на складъ политическихъ и нравственныхъ убѣжденій Маккіавелли, авторъ невольно долженъ былъ коснуться личнаго характера своего героя и написалъ ему восторженный панегирикъ. Характеристика Маккіавелли принадлежитъ къ самымъ

*) Еще въ XVI ст. знаменитый французскій гуманистъ и переводчикъ Политики Аристотеля, Луи Леруа (Regius), замѣтилъ, что Маккіавелли „formant son Prince a tiré d'Aristote les principaux fondements de telle institution“. Новѣйшая критика, въ лицѣ Бартеlemi С.-Илера, Ранке, вполнѣ подтвердила догадку Леруа. Въ виду всего этого звучитъ нѣсколько странно заявленіе автора, что не философскій и политическій трактаты древнихъ, а античная жизнь была для Маккіавелли тѣмъ матеріаломъ, изъ котораго онъ черпалъ правила политическаго искусства (стр. 174).

краснорѣчивымъ страницамъ книги г. Алексѣева, и вмѣстѣ съ тѣмъ служить образчикомъ блестящей, хотя и не строго научной, манеры автора:

„Его трезвый умъ былъ недоступенъ иллюзіямъ“—говорить г. Алексѣевъ о Маккіавелли. „Онъ былъ врагъ всякой лжи, сторонился ея даже тогда, когда она могла скрыть отъ него всю отвратительную наготу дѣйствительной жизни. Маккіавелли не принадлежалъ къ тѣмъ счастливымъ натурамъ, которыя умѣютъ отвлекаться отъ окружающей ихъ обстановки и создать себѣ мірокъ, до котораго бы не доносились стонъ и плачь, оскорбляющіе ихъ нѣжный слухъ и нарушающіе ихъ душевное спокойствіе. Маккіавелли не искалъ этого спокойствія, напротивъ: онъ боялся и избѣгалъ его. Когда обстоятельства принудили его покинуть общественную службу, онъ мучается своею бездѣятельностію, и тишина деревенской жизни тяготитъ его. Онъ жаждетъ тѣхъ тревогъ и тревоженій, которыя пугаютъ другихъ. Страдать страданіями своего народа, радоваться его радостями было потребностію его души. То, что для другихъ—душевное спокойствіе вдали отъ мірской суеты, то была для Маккіавелли общественная жизнь; то, что для другихъ семейный очагъ, убаюкивающій ихъ въ мирный и безмятежный сонъ, то была для Маккіавелли общественная площадь. А человѣкъ, который смотритъ дѣйствительности прямо въ лицо, который стоитъ среди своего народа и не замыкаетъ ушей, когда онъ зоветъ о помощи, для такого человѣка иллюзіи не существуютъ, для него эта жизнь—тернистый путь, и этотъ міръ—не лучший изъ міровъ, а мрачное поле брани, пропитанное потомъ и кровью несчастныхъ жертвъ, обезсилѣвшихъ въ борьбѣ за существованіе. Маккіавелли былъ поэтомъ, но не тѣмъ поэтомъ, который „рожденъ для вдохновенія, для пѣсенъ сладкихъ и молитвъ“. Какъ его изслѣдующая мысль занята судьбами своего отечества, такъ и источникъ его вдохновенія — бѣдствія, постигшія Италію. Въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ онъ изливаетъ свое горе, оплакиваетъ несчастную судьбу своего родного города, воспѣваетъ геройскіе подвиги павшихъ за святое дѣло свободы и громитъ тирановъ и деспотовъ“ (стр. 152—153). И далѣе: „Маккіавелли пережилъ знаменательную эпоху въ исторіи своего родного города. На его глазахъ рушилось владычество Медичи; онъ присутствовалъ при возстановленіи демократическаго строя, во главѣ котораго стоялъ Саванарола, онъ былъ свидѣтелемъ его смерти на кострѣ, и видѣлъ, какъ созданное имъ дѣло погребено; онъ игралъ активную роль въ реорганизаціи республиканскихъ учреждений и былъ до-

стойнымъ сподвижникомъ Содерини; онъ съ болью въ сердцѣ долженъ былъ покинуть свой родной городъ, когда эти учрежденія пали и Медичи заняли свое прежнее мѣсто“ и т. д. (стр. 155).

Таковъ идеальный портретъ флорентинскаго политика, начертанный искусной рукой его восторженнаго поклонника! Но сходенъ ли этотъ портретъ съ оригиналомъ—въ этомъ позволительно сомнѣваться. До насъ дошла интимная переписка Маккиавелли съ друзьями, гдѣ ему нечего было думать о потомствѣ, гдѣ онъ является, такъ сказать, въ нравственномъ неглиже, со всѣми своими достоинствами и недостатками. Контрастъ между Маккиавелли-писателемъ и Маккиавелли-человѣкомъ выходитъ настолько поучителенъ, что на немъ стоитъ остановиться. Въ то время какъ идеальный Маккиавелли г-на Алексѣева, обреченный на вынужденное бездѣйствіе, вслѣдствіе возвращенія Медичи во Флоренцію, томимый гражданской скорбію, исходитъ любовью къ своимъ согражданамъ и не знаетъ покоя, настоящій Маккиавелли, эпикуреецъ до мозга костей, срываетъ цвѣты удовольствія и наполняетъ цѣлыя страницы своихъ писемъ описаніемъ своихъ любовныхъ похожденій *). Въ то время, какъ идеальному Маккиавелли, лишенному всякой иллюзіи, жизнь представляется тернистымъ путемъ или мрачнымъ полемъ брани, откуда доносятся до него стоны его несчастныхъ соотечественниковъ, — настоящему Маккиавелли, немудрствующему лукаво и плывущему по теченію, жизнь кажется мечтой, сновидѣніемъ, которымъ онъ спѣшитъ насладиться, пока можно **). Въ то время, какъ идеальный Маккиавелли не можетъ перенести паденія республиканскихъ учреждений Флоренціи и съ сердечной болью покидаетъ свой родной городъ, настоящій Маккиавелли, относившійся не только равнодушно, но даже сочувственно къ происшедшему перевороту ***), преспокойно остается во Флоренціи, надѣясь, что новое правительство дастъ ему какую-нибудь должность; когда же ему это не удастся, и онъ, заподозрѣнный Медичи, подвергается пыткамъ и затѣмъ удаляется въ изгнаніе,—

*) См. Письма къ Веттори въ „Lettere Familiare“ (письмо XXIX, XXXIV и XL).

**) E così andiamo temporeggiando in su queste universali felicità, godendoci questo resto della vita, che me la pare sognare (Изъ письма къ Веттори, отъ 18 марта 1512 г.).

***) См. его письмо къ одной дамѣ (думаютъ, что это мадонна Альфонсина, мать Лоренца Медичи), гдѣ Маккиавелли такъ выражается о переворотѣ 1512 г.: E questa città (т.-е. Флоренція) resta quietissima e spera non vivere meno onarata con l'aiuto loro (Медичей), che si vivesse ne' tempi passati, quando la felicissima memoria del Magnifico Lorenzo loro padre governava.

онъ только и мечтаетъ о томъ, какъ бы поступить на службу къ исконнымъ угнетателямъ своего родного города. Правда, что, поступая такимъ образомъ, Маккіавелли продолжаетъ любить и Италію, и Флоренцію, но едва ли можетъ быть сомнѣніе, что онъ болѣе всего любилъ самого себя и свой комфортъ. Ради этого комфорта онъ готовъ былъ насиловать свою политическую совѣсть и постоянно бомбардировалъ своего друга Веттори просьбами рекомендовать его либо Медичи, либо папѣ, и поручиться за его вѣрность (*fede*). Мы не сомнѣваемся, что если бы г. Алексѣевъ смотрѣлъ на своего героя не изъ прекраснаго далѣка, не съ высоты его политическихъ трактатовъ, а изучилъ бы его интимную переписку, дающую такой богатый матеріалъ для характеристики личности Маккіавелли, то и самая характеристика вышла бы иная; она, конечно, утратила бы часть своей картинности и восторженности, но зато была бы ближе къ истинѣ.

Третья часть книги г. Алексѣева носитъ заглавіе „Мѣсто, занимаемое Маккіавелли въ исторіи политическихъ ученій“. Она распадается на три отдѣла: въ первомъ, авторъ изслѣдуетъ отношеніе ученія Маккіавелли къ политической доктринѣ среднихъ вѣковъ; во второмъ проводитъ параллель между Маккіавелли, Гвиччардини и Боденомъ; въ третьемъ дѣлаетъ попытку разъяснить ученіе Маккіавелли о нравственности. Предѣлы журнальной рецензіи не позволяютъ намъ остановиться подробно на первыхъ двухъ отдѣлахъ. Замѣтимъ только, что, по нашему мнѣнію, ни въ области политики, ни въ области нравственности Маккіавелли далеко не былъ такимъ новаторомъ, какимъ онъ представляется автору. Достаточно вспомнить Марсилія Падуанскаго, сэра Джона Фортескю и Филиппа де-Комина, чтобы убѣдиться, что не всѣ средневѣковые писатели разсуждали о политическихъ вопросахъ, какъ схоластики и богословы, что не всѣ они примѣняли къ политикѣ теологическіе приемы изслѣдованія. Если, воспитанный на Аристотелѣ, Марсилій Падуанскій и уклонялся иногда въ сферу общихъ схоластическихъ вопросовъ объ отношеніи свѣтской власти къ духовной,—то сэръ Джонъ Фортескя, отстаивавшій въ своихъ сочиненіяхъ исконныя вольности англійскаго народа,—то Филиппъ де-Коминъ, изучавшій политическое искусство въ школѣ Людовика XI, стояли всецѣло на почвѣ дѣйствительныхъ отношеній. На этомъ основаніи никакъ нельзя согласиться съ авторомъ (стр. 172), что „Маккіавелли является *первымъ* политическимъ писателемъ, всецѣло поглощеннымъ свѣтскими интересами и обсуждающимъ политическіе вопросы съ точки зрѣнія этихъ интере-

совъ“. Равнымъ образомъ, мы не можемъ вмѣстѣ съ авторомъ считать Маккіавелли новаторомъ и въ нравственной области. Попытки построить мораль на чисто свѣтскихъ началахъ встрѣчаются еще и въ средніе вѣка *), а въ половинѣ XV вѣка знаменитый италянскій гуманистъ Лоренцо Валла въ своемъ трактатѣ: „De voluptate et vero bono“, смѣло провозглашаетъ цѣлью человѣческой жизни достиженіе личнаго счастья, и строить на этомъ эпикурейскомъ принципѣ цѣлую систему нравственности.

Разборъ ученія Маккіавелли о нравственности занимаетъ собою весьма обширный отдѣлъ книги г. Алексѣева (отъ стр. 228 до 316), въ свою очередь, распадающійся на нѣсколько главъ. Въ первой авторъ говоритъ о методѣ Маккіавелли, во второй — сравниваетъ воззрѣнія Маккіавелли на сущность государства съ господствующими въ наукѣ воззрѣніями, и только въ третьей — переходитъ къ капитальному вопросу своей книги — къ разъясненію взглядовъ Маккіавелли на нравственность. Вотъ какъ авторъ объясняетъ задачу этой части своего труда: „Писатели“, — говоритъ онъ, — „изучавшіе творенія флорентинскаго секретаря, имѣютъ въ виду лишь политика, историка, драматурга, поэта; Маккіавелли же моралистъ — неизвѣстенъ ученому міру. Въ настоящемъ отдѣлѣ мы хотимъ пополнить этотъ пробѣлъ въ литературѣ о Маккіавелли и познакомить читателя съ воззрѣніями автора „Князя“ на нравственность и на отношеніе политики къ морали“ (стр. 229). Понятно, послѣ этого, съ какимъ интересомъ мы приступили къ чтенію этого отдѣла книги г. Алексѣева, и какъ велико было наше разочарованіе, когда, послѣ самаго внимательнаго чтенія, мы не вынесли яснаго представленія относительно нравственныхъ воззрѣній Маккіавелли, — можетъ быть, потому, что самъ авторъ не имѣетъ на этотъ предметъ опредѣленнаго взгляда и неоднократно противорѣчитъ самому себѣ. Полемизируя съ критиками, утверждающими, что Маккіавелли вѣрить въ абсолютныя начала морали, но только не считаетъ возможнымъ прилагать ихъ къ политикѣ, авторъ замѣчаетъ (стр. 240): „Но мы знаемъ, что міросозерпаніе Маккіавелли исключаетъ вѣру въ какія бы то ни было абсолютныя начала; онъ не могъ, поэтому, отдѣлять политики отъ морали, которая для него не существовала“. Нѣсколько ниже авторъ утверждаетъ, что хотя Маккіавелли отрицалъ самобытность нравственныхъ началъ въ человѣкѣ, но признавалъ мораль, какъ необходимое послѣдствіе сожителства людей въ государствѣ, и ви-

*) Bartoli, I Precursori del Rinascimento. Firenze, 1877, p. 27—29.

дѣлъ въ общемъ благѣ высшее мѣрило человѣческихъ поступковъ (стр. 240—241), и что „такимъ образомъ нравственность, по воззрѣнію Маккіавелли, есть совокупность правилъ, вытекающихъ изъ началъ общаго блага и воплотившихся во всемъ строѣ государственной жизни, сложившихся исторически, независимо отъ воли отдѣльныхъ лицъ“ (стр. 244—245). Этому утилитарному опредѣленію нравственности противорѣчитъ слѣдующее заявленіе автора, изъ котораго видно, что для Маккіавелли существовать еще критеріумъ высшаго порядка, критеріумъ чисто-нравственный. Вотъ подлинныя слова г. Алексѣева: „Нравственно поступаетъ, по воззрѣнію Маккіавелли, не тотъ, кто въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ разсчитываетъ послѣдствія своихъ поступковъ и согласуетъ ихъ съ общимъ благомъ, а тотъ, кто подчиняется *нравственному правилу, какъ таковому*. Вотъ почему съ точки зрѣнія Маккіавели убійство тирана, оправдываемое Блунчи требованіями нравственного порядка, остается всегда и при всѣхъ условіяхъ преступленіемъ, ибо такой самосудъ никогда не можетъ быть возведенъ въ общее правило“ и т. д. (стр. 274). Такимъ образомъ, оказывается, что авторъ приписываетъ Маккіавелли цѣлыхъ три, противорѣчащихъ другъ другу, системы нравственности; во-первыхъ, Маккіавелли совсѣмъ не признаетъ морали, какъ не признаетъ вообще никакихъ абсолютовъ; во-вторыхъ, онъ является приверженцемъ теорій, оцѣнивающихъ поступки мѣриломъ общаго блага; и въ-третьихъ, онъ признаетъ безусловность нравственныхъ понятій, какъ таковыхъ. Автору слѣдовало либо свести всѣ эти противорѣчія къ одному нравственному центру, къ одному высшему единству, либо, подобно другимъ критикамъ, усомниться совсѣмъ въ твердости нравственныхъ принциповъ Маккіавелли. Авторъ не сдѣлалъ ни того, ни другого, и не совсѣмъ великодушно предоставилъ своимъ читателямъ изнывать въ мукахъ сомнѣнія...

Обратимся теперь къ знаменитому вопросу объ отношеніи политики къ нравственности въ сочиненіяхъ Маккіавелли. Каковы бы ни были взгляды Маккіавелли на нравственность, придерживался ли онъ интуитивной теоріи или утилитарной — сущность вопроса состоитъ въ томъ, руководился ли онъ въ своихъ политическихъ совѣтахъ принципами исповѣдуемыхъ имъ нравственныхъ теорій, или же онъ на самомъ дѣлѣ, какъ утверждаетъ большинство критиковъ, считалъ политику областью, къ которой нравственныя требованія неприменимы?

Мы видѣли изъ предисловія, что г. Алексѣевъ брался доказывать наперекоръ господствующимъ въ наукѣ воззрѣніямъ, что

Маккіавелли считалъ нравственныя требованія обязательными для политика; надо полагать, что онъ вскорѣ увидѣлъ бесплодность своихъ усилій, потому что, сдѣлавши нѣсколько замѣчаній, по поводу одного мѣста въ „Discorsi“, онъ, на стр. 247, вынужденъ былъ сознаться, что „Маккіавелли можетъ одобрять извѣстныя жестокія и коварныя средства въ политикѣ, которыя служатъ цѣлямъ противоположнымъ его политическимъ убѣжденіямъ, и которыя онъ не оправдываетъ съ точки зрѣнія нравственной“. Но если нельзя совершенно выгородить Маккіавелли отъ упрековъ въ политической безнравственности, то можетъ быть можно сузить районъ его коварныхъ совѣтовъ, указавъ на исключительныя условія ихъ примѣненія. Это и дѣлаетъ г. Алексѣевъ (на стр. 255), утверждая, „что если Маккіавелли и одобрялъ жестокія и суровыя политическія средства, въ виду той полезной цѣли, которой они служатъ, то онъ считалъ необходимымъ прибѣгать къ подобнымъ средствамъ или въ тиранніи, или при основаніи и переустройствѣ государства, или для подавленія мятежей и возстаній, или, наконецъ, на войнѣ, или въ тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, гдѣ цѣль не можетъ быть достигнута законными средствами“. Посредствомъ такого искуснаго приѣма, г. Алексѣевъ однимъ ударомъ слагаетъ съ своего героя всякую отвѣтственность за цѣлый рядъ безнравственныхъ и жестокихъ совѣтовъ, которыми наполненъ, напримѣръ, „Il Principe“, ибо кто же будетъ спорить, что Маккіавеллевскому Principe приходится дѣйствовать при исключительныхъ условіяхъ? Смѣемъ однако увѣрить г. Алексѣева, что этимъ способомъ ему едва ли удастся поправить сложившуюся вѣками репутацію Маккіавелли. Что суровыя и жестокія мѣры часто употребляются и даже одобряются при исключительныхъ условіяхъ, въ эпоху общественныхъ кризисовъ, и что при нормальномъ теченіи политической жизни въ нихъ не представляется надобности — это само собою разумѣется; но дѣло въ томъ, что Маккіавелли, по поводу исключительныхъ случаевъ, нерѣдко высказываетъ общія правила, такъ-сказать, формулы политической мудрости, поражающія какъ своей логикой, такъ и своимъ безсердечіемъ и нравственнымъ цинизмомъ. Такъ, напримѣръ, въ одномъ мѣстѣ „Il Principe“ (Cap. III), Маккіавелли провозглашаетъ слѣдующее возмутительное, но вмѣстѣ съ тѣмъ весьма мудрое политическое правило, что при управленіи людьми нужно или снискать ихъ благосклонность, или совсѣмъ уничтожить ихъ (spagnere), ибо люди мстятъ только за легкія обиды; тяжелый же гнетъ лишаетъ ихъ возможности мести; потому, если приходится угнетать

людей, то нужно это дѣлать такъ, чтобы отнять у нихъ всякую возможность къ отмщенію. Въ другомъ мѣстѣ (ibid., cap. XVIII) Макіавелли даетъ „Principe“ мудрый совѣтъ не исполнять своихъ обязательствъ и обѣщаній, если такое исполненіе будетъ для него невыгодно. „Конечно“, — прибавляетъ онъ, — „если бы всѣ люди были честны, то это правило было бы не хорошо, но такъ какъ они безчестны и не исполняютъ своихъ обязательствъ, по отношенію къ тебѣ, то и тебѣ нечего исполнять своихъ, по отношенію къ нимъ“. Приведенными примѣрами, (а ихъ можно привести не одинъ десятокъ), надѣмся, доказывается, что истинный источникъ безнравственности политическихъ совѣтовъ Макіавелли лежитъ не въ исключительности условій, которыя ему приходится изслѣдовать, а въ его пессимистическомъ воззрѣніи на человѣческую природу и въ его взглядѣ на политику, какъ на науку успѣха. Только ставши на эту точку зрѣнія и можно понять, почему Макіавелли можетъ одобрять или признавать цѣлесообразными такія средства, которыя служатъ цѣлямъ противоположнымъ его политическимъ убѣжденіямъ, и которыя онъ навѣрное не оправдалъ бы съ точки зрѣнія нравственной. На этомъ основаніи мы думаемъ, что стараться во что бы то ни стало сдѣлать изъ Макіавелли гуманнаго политика, который только въ крайнихъ случаяхъ, во имя общаго блага, давалъ свое согласіе на мѣры, возмущающія нравственное чувство — значить прежде всего оказывать плохую услугу самому Макіавелли, ибо въ чемъ же и состоитъ, главнымъ образомъ, значеніе Макіавелли въ области политики, какъ не въ томъ, что онъ внесъ въ политику научный методъ? Можно не одобрять рекомендуемыхъ имъ жестокихъ мѣръ, можно возмущаться безнравственностью его политическихъ совѣтовъ, но нельзя не признать, что всѣ его совѣты отличаются неутомимой логикой, глубокимъ знаніемъ человѣческой природы и общественныхъ отношеній. Благодаря Макіавелли, мы узнали, наконецъ, до чего можетъ дойти политика, если она совершенно эманципируется отъ религіи и морали...

Сдѣлавши нѣсколько весьма цѣнныхъ замѣчаній объ отношеніи политики къ нравственности и указавъ на противорѣчія, встрѣчающіяся по этому вопросу въ трудахъ новѣйшихъ ученыхъ, авторъ задается задачей — выяснить *преемственную* связь, существующую, по его мнѣнію, между нравственнымъ ученіемъ Макіавелли и новѣйшимъ утилитаризмомъ. Чтобы достигнуть этой цѣли, г. Алексѣеву слѣдовало бы начать изложеніе нравственныхъ ученій утилитаристовъ не съ XVIII в., не съ Гельвеція и Голь-

баха, но съ родоначальника новѣйшаго утилитаризма — Бэкона, на котораго Маккіавелли дѣйствительно оказалъ значительное вліяніе *); затѣмъ, перейти къ Гассенди и Ларошфуко, и отъ нихъ уже къ Гельвецію и Гольбаху. Тогда, по крайней мѣрѣ, читатели могли бы наглядно убѣдиться въ томъ, въ чемъ имъ теперь приходится на половину вѣрить автору на-слово.

Заключительная глава книги г. Алексѣева носить заглавіе — „Маккіавелли—защитникъ политической свободы“. Въ ней авторъ подробно останавливается на томъ произведеніи, которое и среди современниковъ и въ потомствѣ составило Маккіавелли печальную репутацію сторонника абсолютизма и политическаго ренегата. Авторъ совершенно справедливо настаиваетъ на теоретическомъ характерѣ этого трактата, внушеннаго Маккіавелли политикой Аристотеля, хотя и признаетъ, что въ немъ Маккіавелли подѣлился и своими личными наблюденіями надъ политикою оовременныхъ ему тирановъ; но г. Алексѣевъ ошибается, утверждая, что въ „Principe“ Маккіавелли говоритъ о тиранніи съ *внутреннимъ омерзѣніемъ*, что онъ съ какимъ-то *злорадствомъ* указываетъ на всѣ тѣ жестокія мѣры, которыми поддерживается эта ненавистная ему государственная форма. Въ виду важности этого открытія, автору слѣдовало бы подкрѣпить свое мнѣніе ссылкой на подлинныя слова Маккіавелли. До сихъ поръ всѣхъ читателей этого трактата поражало, напротивъ того, полнѣйшее безстрастіе, съ которымъ Маккіавелли рекомендуетъ самыя жестокія мѣры, способныя поддержать власть князя. Да иначе и не могло быть. Предназначивъ свой трактатъ сначала для Джуліано, а потомъ для Лоренцо Медичи, и основавъ на немъ свои надежды на лучшее будущее **), Маккіавелли, какъ искусный политикъ, не позволилъ бы своему субъективному чувству пробиться наружу и тѣмъ испортить все дѣло, — скорѣе нужно предположить, что онъ постарался стать на точку зрѣнія князя и поддѣлаться подъ деспотическіе вкусы Лоренцо ***); извѣстно, что это послѣднее обстоятельство и возму-

*) Попытка опредѣлить степень этого вліянія сдѣлана въ недавнее время Эбботомъ (Abbot) въ статьѣ „Bacon as a Moralist“, предпосланной его прекрасному изданію Бэконовыхъ Essays. London, 1876.

**) „Произведеніе мое“ — писалъ Маккіавелли къ Веттори, отъ 10 декабря 1513 г., — „должно быть пріятно (accetto) князю и въ особенности князю новому; вотъ почему я и посвящаю его великолѣпному Джуліано“.

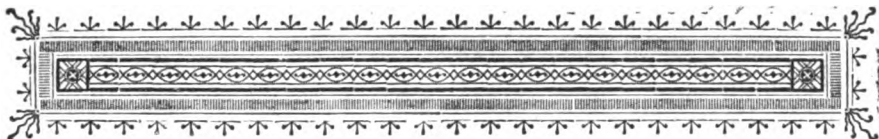
***) Кардиналъ Поль, древнѣйшій обличитель Маккіавелли, въ своихъ письмахъ сообщаетъ со словъ пріятелей Маккіавелли, что онъ—*se non solum iudicium suum in illo libro fuisse secutum, sed illius ad quem scriberet.*

тило современниковъ Макіавелли, знавшихъ его за искренняго республиканца.

Мы указали на слабыя стороны труда г. Алексѣева. Надѣмся, что наши скромныя замѣчанія будутъ приняты авторомъ съ тѣмъ же доброжелательствомъ, съ какимъ мы ихъ дѣлаемъ. Въ заключеніе, укажемъ и на несомнѣнныя достоинства книги г. Алексѣева, къ числу которыхъ мы относимъ оригинальность мысли, замѣчательную способность обобщенія и систематизаціи и, не всегда встрѣчающійся въ ученыхъ трудахъ, даръ изложенія. Произведенія, подобныя труду г. Алексѣева, несмотря на всѣ свои несовершенства, способны будить мысль и давать толчокъ къ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ—въ этомъ и состоитъ ихъ значеніе для науки.



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.



Отношеніе Пушкина къ иностранной словесности.

(Рѣчь, читанная Н. И. Стороженько на торжественномъ собраніи Московскаго университета 6 іюня 1880 г.) *.

Приглашенный совѣтомъ университета принять посильное участіе въ настоящемъ чествованіи памяти нашего великаго поэта, я избралъ предметомъ моей бесѣды съ вами вопросъ объ отношеніяхъ Пушкина къ корифеямъ западной литературы,—вопросъ, до сихъ поръ еще не вполне разъясненный нашей критикой, хотя біографы Пушкина, въ особенности г. Анненковъ, въ своихъ драгоценныхъ Матеріалахъ, собрали для этой цѣли достаточное количество данныхъ. Если я не ошибаюсь, то изученіе этого вопроса можетъ прибавить нѣсколько новыхъ чертъ для характеристики Пушкина, ибо исторія отношеній нашего поэта къ корифеямъ западной литературы не только опредѣляетъ собою сферу его литературнаго созерцанія, но и бросаетъ свѣтъ на развитіе его художественнаго вкуса, его жизненныхъ воззрѣній,—словомъ, на его авторскую фizioномію.—Ранній періодъ поэтической дѣятельности Пушкина, заканчивающійся его ссылкой на югъ Россіи, характеризуется преобладаніемъ французскаго вліянія какъ въ его поэзіи, такъ и въ его нравственныхъ и политическихъ воззрѣніяхъ. Подобно большинству своихъ современниковъ, Пушкинъ былъ воспитанъ на произведеніяхъ французской литературы; бібліотека его отца состояла главнымъ образомъ изъ произведеній французской литературы XVII—XVIII в. и изъ переводовъ классиковъ на французскій языкъ. Еще до своего отъѣзда въ лицей Пушкинъ прочелъ Плутарха и Гомера во французскихъ переводахъ и цѣлую массу романовъ, поэмъ, путеше-

*) Напечатано въ „Русскомъ Курьерѣ“.

ствій и т. п. Первые поэтическіе опыты ребенка-Пушкина были написаны на французскомъ языкѣ: въ нихъ онъ подражалъ Мольеру (импровизированная комедія *Escamoteur*, и Вольтеру (шуточная поэма *Tolïade*, написанная въ подраженіе Вольтеровой *Генріадѣ*); извѣстно также, что, за превосходное знаніе французскаго языка, Пушкина въ лицей прозвали французомъ. Лицей могъ только поддержать и развить въ Пушкинѣ любовь къ французской литературѣ. Что бы ни говорили о невысокомъ уровнѣ научныхъ занятій и слабости дисциплины въ лицей, несомнѣнно, что литературный интересъ былъ возбужденъ тамъ въ весьма сильной степени. Воспитанники лицея составляли между собой литературные кружки, издавали нѣсколько рукописныхъ журналовъ и пополняли недостатки своего образованія чтеніемъ классическихъ писателей, преимущественно французскихъ, приобщавшихъ ихъ юные умы къ великому умственному движенію XVIII в. Воспитанный въ безусловномъ благоговѣніи къ корифеямъ французской литературы, Пушкинъ еще не дерзалъ относиться къ нимъ критически. Поэтическимъ кумиромъ его былъ въ это время литературный диктаторъ XVIII в. Вольтеръ, котораго Пушкинъ считалъ величайшимъ изъ поэтовъ. Одно изъ раннихъ лицейскихъ стихотвореній Пушкина, *Городокъ*, весьма важное въ автобіографическомъ отношеніи, даетъ намъ прекрасное понятіе о степени начитанности Пушкина и объ его литературныхъ вкусахъ. Здѣсь 15-лѣтній Пушкинъ описываетъ другу, какъ онъ проводитъ время въ лицей, чѣмъ занимается, и при этомъ перечисляетъ всѣхъ своихъ любимыхъ авторовъ:

Укрывшись въ кабинетъ,
Одинъ и не скучаю
И часто цѣлый свѣтъ
Съ восторгомъ забываю.
Друзья мнѣ—мертвецы,
Парнасскіе жрецы.
Надъ полкою простою,
Подъ тонкою тафтою,
Со мной они живутъ.
Пѣвцы краснорѣчивы,
Прозаики шутливы,
Въ порядкѣ стали тутъ.
Сынъ Мома и Минервы,
Фернейскій злой крикунъ.
Поэтъ въ поэтахъ первый,
Ты здѣсь, сѣдой шалунъ?
Онъ Фебомъ былъ воспитанъ.

И съ дѣтства сталъ пить,
Всѣхъ больше перечитанъ,
Всѣхъ менѣе томить.
Соперникъ Эврипида,
Эроты нѣжный другъ,
Арьоста, Тасса внукъ—
Скажу ль? отецъ Кандида!
Онъ все: вездѣ великъ,
Единственный старикъ!

Упомянувъ затѣмъ о Гомерѣ, Виргиліи, Горации, Торквато Тассо, „добромъ и простосердечномъ“ мудрецѣ Лафонтэнѣ, „исполнинѣ“ Мольерѣ, Расинѣ, Руссо, о „воспитанныхъ Амуромъ“ Парни съ Грекуромъ, объ „Аристархѣ“ Лагарпѣ, а изъ русскихъ—о Державинѣ, Дмитріевѣ, Крыловѣ, Княжнинѣ, Озеровѣ, Фонѣ-Визинѣ, Богдановичѣ и Карамзинѣ,—Пушкинъ продолжаетъ:

Мой другъ! Весь день я съ ними.
То въ думу углубленъ,
То мыслями своими
Въ Элизій пренесенъ.

Пушкинъ забылъ упомянуть еще объ одномъ поэтѣ, оставившемъ слѣдъ въ его лицейскихъ стихотвореніяхъ, именно о Манферсоновомъ Оссіанѣ, котораго онъ читалъ, по всей вѣроятности, въ Летурниеровскомъ переводѣ. Извѣстно то непреодолимое очарованіе, которое производилъ въ концѣ XVIII и началѣ XIX столѣтія этотъ мечтательный пѣвецъ, вытѣснившій изъ сердца Вертера самого Гомера. Пушкинъ заплатилъ дань общему увлеченію въ нѣсколькихъ своихъ лицейскихъ стихотвореніяхъ (К о л ѣ н а, О с г а р ь, Э в л е г а), но тѣмъ все и ограничилось. Свѣтлое, бодрое анакреонтическое міросозерцаніе юнаго поэта не могло ужиться съ мечтательнымъ сумракомъ оссіановыхъ поэмъ, и Пушкинъ въ скоромъ времени разстался съ шотландскимъ бардомъ, и разстался навсегда. Гораздо сильнѣе было вліяніе французскихъ эротическихъ поэтовъ—Грекура, Парни, а изъ русскихъ—Батюшкова, настроившихъ музу Пушкина на эротическій ладъ и сообщившихъ его стиху античную грацію и пластику.—Подъ вліяніемъ передовыхъ мыслителей XVIII вѣка начали формироваться у юноши Пушкина серьезные взгляды на жизнь и ея задачи, какъ это видно изъ перваго посланія къ Чаадаеву (1818 г.), написаннаго вскорѣ послѣ выхода изъ лицея.—Въ 1819 г. Пушкинъ отправился на нѣкоторое время къ себѣ въ Михайловское; за нимъ слѣдовали и его любимые авторы:

Оракулы вѣковъ, здѣсь вопрошаю васъ!
Въ уединеніи величаюмъ
Слышнѣ вашъ отрадный гласъ;
Онъ гонить лѣни сонъ угрюмый,
Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ,
И ваши творческія думы
Въ душевной зрѣютъ глубинѣ.

Вдохновенный ими, онъ пишетъ въ деревнѣ свое знаменитое стихотвореніе „Уединеніе“, гдѣ съ ювеналовскимъ негодованіемъ клеймитъ крѣпостное право. Въ скоромъ времени къ сонму вдохновителей Пушкина прибавилось еще одно знаменитое имя, имя Андрэ Шенье, съ произведеніями котораго, вышедшими полнымъ собраніемъ въ 1819 г., Пушкинъ впервые познакомилъ русскую публику.—Симпатическая личность Шенье, его безстрашный характеръ, его восторженная любовь къ свободѣ, наконецъ, его трагическая судьба—все это влекло къ нему Пушкина съ неотразимой силой. Пушкинъ остался вѣренъ Шенье даже тогда, когда главный кумиръ его юности, Байронъ, сталъ утрачивать надъ нимъ свое обаяніе.

Межъ тѣмъ, какъ изумленный міръ
На урну Байрона взираетъ,
И хору европейскихъ лиръ
Близъ Данте тѣнь его внимаетъ,
Зоветъ меня другая тѣнь;
Давно безъ пѣсенъ, безъ рыданій,
Съ кровавой плахи въ дни страданій
Соседшая въ могилу сѣнь *).

Ссылкой Пушкина на югъ Россіи заключается періодъ исключительно французскаго вліянія,—періодъ, который самъ поэтъ прекрасно охарактеризовалъ въ своемъ „Посланіи къ Дельвигу“ (1821).

Поклонникъ правды и свободы,
Бывало, что ни напишу,
Все для иныхъ не Русью пахнетъ;
О чемъ цензуру ни прошу,
Ото всего Тимковскій ахнетъ.

На югѣ Пушкинъ подпалъ подъ могучее вліяніе новаго литературнаго свѣтила, горѣвшаго тогда полнымъ блескомъ на литературномъ горизонтѣ Европы,—поэта, котораго самъ Пушкинъ назвалъ властителемъ душъ современнаго ему поколѣнія, лорда Байрона. Не одной силой таланта условливалось это вліяніе; были

*) Изъ стихотворенія Андрэ Шенье (1825).

другія причины, подготовившія его, и притомъ причины чисто личныя. Пушкинъ уѣхалъ изъ Петербурга, пресыщенный грубыми эпикурейскими удовольствіями, которыя не могли наполнить собою его души *), — озлобленный противъ власти, полный презрѣнія къ обществу, которое эгоистически отвернулось отъ него въ годину невзгоды **). Душевная пустота томила его; онъ искалъ серьезной и возвышенной цѣли въ жизни — и не находилъ ея. Такое настроеніе было какъ нельзя болѣе благопріятно для воспріятія байронизма. Пушкинъ, настолько овладѣвшій тогда англійскимъ языкомъ, что могъ читать Байрона въ подлинникѣ, бредилъ его произведеніями и старался подражать ему даже въ образъ жизни. Впрочемъ, вліяніе Байрона на поэзію Пушкина было не такъ сильно, какъ можно было ожидать, судя по отзывамъ современниковъ ***), собственнымъ признаніямъ Пушкина, говорившаго, что онъ, въ бытность свою въ Кишиневѣ, буквально сходилъ съ ума отъ Байрона, и письмамъ друзей поэта, убѣждавшихъ его не подражать Байрону, а оставаться самимъ собою (Рылѣевъ); во всякомъ случаѣ вліяніе Байрона на Пушкина было несравненно слабѣе вліянія того же поэта на Лермонтова. Лирическія стихотворенія Пушкина, относящіяся къ этой эпохѣ, показываютъ, что байроническое настроеніе только по временамъ овладѣвало нашимъ поэтомъ (Я пережилъ мои желанія, Элегія и т. п.), но не успѣло пустить глубокихъ корней въ его душѣ, попрежнему раскрытой всему живому и поэтическому. Сказанное примѣняется и къ поэмамъ Пушкина. Первые признаки байронизма мы замѣчаемъ въ „Кавказскомъ плѣнникѣ“, гдѣ Пушкинъ задался мыслью создать типъ разочарованнаго героя, который

Жизни молодой
Давно утратилъ сладострастье,

который любить природу и презираетъ человѣка; но неизвѣстно, сколько въ этомъ типѣ личнаго, пережитаго и сколько нужно отнести на счетъ литературныхъ источниковъ Пушкина — поэмъ Байрона, Рэнэ Шатобріана и др. произведеній того же направле-

*) См. стихотвореніе къ „Прелестницѣ“ (1818 г.).

**) См. посланіе къ Глинкѣ, начинающееся словами:

Когда средь оргій жизни шумной
Меня постигнулъ остракизмъ, и т. д.

***) Извѣстенъ отзывъ гр. Воронцова о Пушкинѣ: „qu'il n'est encore qu'un faible imitateur d'un original très peu recommandable—Lord Byron.“

нія, ибо Пушкинъ прямо заявляетъ, что характеръ „Кавказскаго плѣнника“ навѣянь на него окружающей жизнью. „Я хотѣлъ“— пишетъ онъ къ одному изъ своихъ друзей,—изобразить это равнодушіе къ жизни и ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которая сдѣлалась отличительными чертами молодежи XIX в.“. Пушкинъ самъ сознавалъ, что характеръ плѣнника вышелъ блѣденъ, самъ смѣялся надъ нимъ, но въ то же время признавался, что не можетъ отдѣлаться отъ симпатіи къ нему, потому что,—говорилъ онъ,—„въ немъ есть стихи моего сердца“. Гораздо болѣе байронической тенденціи въ другой поэмѣ Пушкина—„Цыгане“. Здѣсь Пушкинъ затрогиваетъ одну изъ самыхъ живыхъ сторонъ байронизма—именно вражду къ пропитанному матеріализмомъ и рабски-настроенному, современному обществу, хотя герой поэмы, Алеко, презирающій людей за то, что они

Главы предъ идолами клонять
И просятъ денегъ и цѣпей,—

самъ выставленъ мелкимъ эгоистомъ и не имѣетъ въ себѣ ничего титаническаго, свойственнаго героямъ Байрона. Въ Евгѣніи Онѣгинѣ вліяніе Байрона почти незамѣтно: задуманный первоначально въ подраженіе шуточной поэмѣ Байрона „Беппо“, Евгѣній Онѣгинъ развивается совершенно самостоятельно, наполняется чисто-русскими бытовыми подробностями, пока не становится, наконецъ, невиданной дотошъ яркой картиной русскаго помѣщичьяго быта начала нынѣшняго столѣтія.

Низведенный до самыхъ скромныхъ размѣровъ, байронизмъ поэмъ Пушкина оказывается кромѣ того явленіемъ своеобразнымъ, во многомъ отступающимъ отъ своего источника. Пушкинъ могъ усвоить себѣ нѣкоторыя черты байроновскаго міросозерцанія, отвѣчавшія въ данный моментъ его личному настроенію; но, въ первыхъ, онъ не проникли глубоко въ его душу,—во-вторыхъ, подъ вліяніемъ особыхъ условій жизни, онъ приняли своеобразную окраску. Такъ, на примѣръ, байроновскій индивидуализмъ, эта апотеоза личности въ борьбѣ ея съ обществомъ и его устарѣлыми предразсудками, превратилась на русской почвѣ въ обожаніе собственной личности и презрѣніе ко всякой чужой; равнымъ образомъ поколѣніе, къ которому принадлежалъ Пушкинъ, не могло понять всей глубины байроновскаго разочарованія и видѣло въ немъ только слѣдствіе жизненнаго пресыщенія. Словомъ, вся философская, пессимистская и политико-соціальная основа поэзіи Байрона съ ея пламеннымъ протестомъ противъ

наступившей въ Европѣ реакціи, съ ея страстною любовью къ свободѣ и священной ненавистью къ ея угнетателямъ, осталась почти совершенно чужда его русскимъ подражателямъ. Мы можемъ указать только на одно стихотвореніе Пушкина—„Возстань, о Греція, возстань“,—въ которомъ слышится Байроновскій мотивъ сочувствія къ бьющемуся за свободу народу. Несмотря на то, что байронизмъ былъ понятъ у насъ одностороннимъ образомъ, несмотря на условность и тенденціозность самихъ типовъ, созданныхъ Байрономъ, все-таки безспорно, что поэзія его вошла обновляющимъ элементомъ въ поэзію Пушкина, что она была необходимою ступенью, черезъ которую долженъ былъ пройти его геній на пути къ правдѣ и художественному совершенству. И именно такимъ образомъ смотрѣлъ самъ Пушкинъ на этотъ переходный моментъ своей поэтической дѣятельности. Въ своемъ разборѣ *Θρακίικων Ἑλεγίων* Тепликова („Современникъ“, 1836), Пушкинъ, защищая молодого поэта отъ упрековъ въ рабскомъ подражаніи Байрону, даетъ намъ ключъ къ правильному пониманію своихъ собственныхъ отношеній къ великому англійскому поэту. „Въ наше время молодому человѣку который готовится посѣтить великолѣпный Востокъ, мудрено,—говоритъ онъ, садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона и невольнымъ соучастіемъ не сблизить своей судьбы съ судьбою Чайльдъ-Гарольда. Ежели, паче чаянія, молодой человѣкъ еще и поэтъ и захочетъ выразить свои чувствованія, то какъ избѣжать ему подражанія? Можно ли за то укорять его? Талантъ неволенъ и его подражаніе не есть безстыдное похищеніе — признакъ умственной скудности, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые міры, стремясь по слѣдамъ генія“... Итакъ, надежда открыть новые міры, стремясь по слѣдамъ генія—вотъ разгадка, такъ называемаго, байроническаго періода поэтической дѣятельности Пушкина; вотъ та идея, которая одушевляла Пушкина, когда онъ пробуя свои силы, создавалъ въ духѣ Байрона характеры своихъ героевъ. И, прибавимъ, надежда не обманула поэта: на почвѣ байронизма зародилась идея „Евгенія Онѣгина“, которымъ Пушкинъ открылъ новый міръ правды и народности въ нашей поэзій.

Въ началѣ 1824 г. Пушкинъ писалъ къ одному московскому пріятелю о своемъ времяпровожденіи въ Одессѣ: „Читаю Библию,—Св. Духъ иногда мнѣ по сердцу,—но предпочитаю Гете и Шекспира“. За нѣсколько дальнѣйшихъ строчекъ этого письма,

въ которомъ Пушкинъ шутя сообщаетъ, что онъ беретъ у какого-то глухаго англичанина уроки чистаго атеизма, Пушкинъ былъ высланъ изъ Одессы въ Михайловское.

Стихотвореніемъ своимъ „Къ морю“ онъ, по вѣрному замѣчанію г. Анненкова, простился не только съ моремъ, но и съ пѣвцомъ моря—Байрономъ. Въ деревнѣ Пушкинъ всецѣло предался изученію Шекспира, и это изученіе не замедлило отразиться во взглядахъ его на задачи поэзіи вообще и драматическаго творчества въ особенности. Сопоставляя драмы Шекспира съ трагедіями Байрона, Пушкинъ видѣлъ, какъ его недавній кумиръ тускнѣлъ и меркнулъ въ лучахъ шекспировскаго генія.—„Я не читалъ ни Кальдерона, ни Веги,—пишетъ Пушкинъ къ Раевскому,—но что за человекъ Шекспиръ! Я не могу придти въ себя (*Je n'en reviens pas*). Какъ ничтоженъ передъ нимъ Байронъ трагикъ,—Байронъ, во всю жизнь понявшій только одинъ характеръ—именно свой собственный. И вотъ Байронъ одному изъ своихъ лицъ далъ гордость, другому—ненависть, третьему—меланхолію; такимъ образомъ изъ одного полнаго мрачнаго и энергическаго характера вышло у него множество незначительныхъ характеровъ. Развѣ это—трагедія? Существуетъ еще одно заблужденіе: задумавъ разъ какой-нибудь характеръ, писатель старается выразить его и въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ, на подобіе моряковъ и педантовъ въ старинныхъ романахъ Фильдинга. Все это далеко отъ природы. Отсюда—неловкость діалога и бѣдность его. Но разверните Шекспира. Никогда не выдаетъ онъ своего дѣйствующаго лица преждевременно. Оно говоритъ у него со всею беззаботностію жизни, потому что въ данную минуту поэтъ уже знаетъ, какъ заставить его говорить, сообразно характеру, имъ выражаемому“.

Подъ вліяніемъ драматическихъ хроникъ Шекспира Пушкинъ задумываетъ историческую трагедію изъ русской жизни. Онъ останавливается на эпохѣ Бориса Годунова и прилежно изучаетъ лѣтописи и исторію Карамзина. „По примѣру Шекспира,—говоритъ онъ въ другомъ письмѣ,—я ограничился соображеніемъ эпохъ и лицъ историческихъ, не гоняясь за сценическими эффектами и романтическимъ паеосомъ. Стилъ ея вышелъ смѣшанный. Онъ пошлъ и низокъ тамъ, гдѣ мнѣ приходилось выводить грубыя и пошлыя лица“. Слѣды прістальнаго изученія Шекспира видны и въ стремленіи къ объективному воспроизведенію эпохи, и въ созданіи цѣльныхъ и живыхъ характеровъ, соединяющихъ въ себѣ типическое съ индивидуальнымъ

и въ психологическомъ мотивированіи дѣйствія и, наконецъ, въ самомъ языкѣ, нерѣдко достигающемъ у Пушкина шекспировскаго лиризма, энергіи и типичности. Еще Бѣлинскій замѣтилъ что Борисъ Годуновъ построенъ по образцу драматическихъ хроникъ Шекспира, что вся трагедія состоитъ изъ отдѣльныхъ сценъ, изъ которыхъ каждая существуетъ какъ бы независимо отъ цѣлаго. Можно указать также на нѣкоторые отдѣльные мотивы и положенія, которыя Пушкинъ нашелъ у Шекспира, но которые онъ разработалъ совершенно самостоятельно. Такъ одна сцена въ Генрихѣ IV Шекспира, когда умирающій король даетъ наставленіе своему сыну, какъ царствовать, вызвала подобную же сцену въ Борисѣ Годуновѣ; подобно англійскому узурпатору, и русскій узурпаторъ считаетъ нужнымъ поставить на видъ своему преемнику, что ему царствовать лучше будетъ потому, что престолъ переходитъ къ нему не путемъ преступленія, но по праву.—Мнѣ кажется также, что молитва преступнаго и кающагося короля въ III-мъ актѣ Гамлета осталась не безъ вліянія на знаменитый монологъ Бориса, начинающійся, словами: Достигъ я высшей власти, который Бѣлинскій находилъ несвойственнымъ Борису и достойнымъ развѣ мелодраматическаго злодѣя; можно указать еще на народныя сцены, на введеніе въ драму личности юродиваго, какъ на отдаленные шекспировскіе отголоски, но все это—мелочи. Главная заслуга Пушкина состоитъ въ глубокомъ проникновеніи въ духъ Шекспировой драмы, въ усвоеніи себѣ основныхъ приѣмовъ шекспировскаго творчества.—Мицкевичъ былъ такъ пораженъ истинно-шекспировскимъ духомъ Бориса Годунова, въ особенности прологомъ, что надѣялся со временемъ привѣтствовать въ Пушкинѣ второго Шекспира и невольно воскликнулъ: „*Tu Shakespeare eris si fata sinant*“!

Подъ вліяніемъ изученія произведеній Шекспира Пушкинъ отчасти развилъ, отчасти перестроилъ свою собственную литературную теорію. Въ глубинѣ души Пушкина всегда лежало стремленіе къ правдѣ и естественности; все искусственное выходило у него блѣдно и искусственно. Онъ прежде всѣхъ чувствовалъ фальшь своихъ собственныхъ героевъ, но теперь эти взгляды, укрѣпленные изученіемъ Шекспира, сдѣлались главной основой его литературнаго кодекса. Когда онъ съ высоты шекспировскаго творчества и шекспировскаго реализма взглянулъ на произведенія своихъ прежнихъ кумировъ, то они показались ему дѣлаными и холодными; въ Вольтерѣ, который въ ранней юности ка-

зался ему первымъ изъ поэтовъ, онъ теперь отрицалъ не только поэтическое вдохновеніе, но даже и поэтическое чутье; самъ „исполинь“ Мольеръ казался ему далеко не исполиномъ въ сравненіи съ Шекспиромъ. Сопоставленіе ихъ между собою повело Пушкина къ замѣчательнымъ соображеніямъ о сравнительномъ достоинствѣ ихъ драматической манеры, сохранившимся въ его Запискахъ *). „Лица, созданныя Шекспиромъ, говоритъ Пушкинъ,—„не суть, какъ у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живыя, исполненные многихъ страстей, многихъ пороковъ; обстоятельства развиваютъ передъ зрителемъ ихъ разнообразныя, многосложныя характеры. У Мольера скупой скупъ—и только; у Шекспира Шейлокъ скупъ, смѣтливъ, мстителенъ, чадолубивъ, остроуменъ. У Мольера лицомѣръ волочится за женой своего благодѣтеля—лицемѣря, спрашиваетъ стаканъ воды—лицемѣря. У Шекспира лицомѣръ **) произноситъ судебный приговоръ съ тщеславной строгостью, но справедливо; онъ оправдываетъ свою жестокость глубокомысленными сужденіями государственнаго человѣка; онъ обольщаетъ невинность сильными, увлекательными софизмами, а не смѣшною смѣсью набожности и волокитства“. Трудно въ немногихъ словахъ выразить сильнѣе коренное различіе въ драматической манерѣ не только Мольера (по нашему мнѣнію, Мольеръ менѣе грѣшенъ въ этомъ отношеніи, чѣмъ Корнель и Расинъ) и Шекспира, но англійскихъ и французскихъ драматурговъ вообще. Дѣйствительно, французскіе драматурги XVII вѣка, подобно своему великому соотечественнику, Декарту, идутъ по большей части отъ абстракта, отъ идеи, сосредоточиваютъ все свое вниманіе на изображеніи одной страсти, чаще всего на одномъ данномъ положеніи; оттого ихъ герои кажутся воплощеніемъ извѣстной идеи, а не живыми людьми; напротивъ того, англійскіе драматурги, идя по слѣдамъ своего соотечественника Бэкона, отправляются отъ конкретнаго, отъ разнообразія жизни; общее и типическое они такъ искусно сливаютъ съ частнымъ и индивидуальнымъ, что созданныя ими характеры производятъ впечатлѣніе живыхъ людей. Зная отвращеніе Пушкина отъ всего искусственнаго, напряженнаго манернаго, мы поймемъ, почему онъ проходитъ холодно мимо французскихъ романтиковъ—Альфреда де-Виньи, Ламартина, даже Виктора Гюго—

*) Записки Пушкина до сихъ поръ не вполне изданы; но значительныя извлеченія изъ нихъ напечатаны въ 5 томѣ Анненковскаго изданія Пушкина.

**) Пушкинъ разумѣетъ Анжело въ драмѣ: „Мѣра за мѣру“.

и относится восторженно къ Альфреду де-Мюссе, который пора-
зилъ его своею непосредственностью и глубиною чувства.

Обыкновенно принимаютъ, что періодъ шекспировскаго
вліянія на Пушкина заканчивается 1832 годомъ, потому что съ
этихъ поръ онъ не пробуетъ себя болѣе въ драматическомъ ро-
дѣ. Это мнѣніе можетъ быть принято не иначе, какъ съ боль-
шими оговорками. Справедливо, что послѣ Русалки Пушкинъ
не написалъ ничего драматическаго, но что онъ не переставалъ
заниматься Шекспиромъ, это доказывается нѣкоторыми мѣстами
его Записокъ, гдѣ онъ старается проникнуть въ характеръ
Фальстафа проведенной параллелью между Шекспиромъ и Молье-
ромъ и т. д. и наконецъ его поэмой Анжело (1833), которая
есть не что иное какъ передѣлка Шекспировой Мѣры за мѣру.
Не догадываясь объ источникѣ Анжело, не подозрѣвая, съ ка-
кими трудностями приходилось бороться Пушкину, Бѣлинскій
несправедливо призналъ это произведеніе недостойнымъ таланта
Пушкина, между тѣмъ какъ оно несомнѣнно обладаетъ многими
существенными достоинствами: помимо художественной простоты
разказа и прекраснаго стиха, Пушкинъ былъ сильно заинтере-
сованъ психологической проблемой, заключающейся въ характе-
рѣ Анжело. „Анжело — лицемѣръ, — замѣчаетъ онъ въ Запи-
скахъ, — потому что его гласныя дѣйствія противорѣчатъ его
тайнымъ страстямъ. А какая глубина въ этомъ характерѣ!“ Со-
образно своей задачѣ, Пушкинъ выбрасываетъ изъ своего перело-
женія все не идущее прямо къ цѣли и, напротивъ того, поль-
зуется всякимъ выраженіемъ, всякой чертой, проскользнувшей
въ разговорѣ дѣйствующихъ лицъ, которая можетъ бросить свѣтъ
на загадочный характеръ Анжело. У Шекспира Анжело бросаетъ
Маріанну главнымъ образомъ потому, что приданое ея погигло
во время кораблекрушенія. Пушкинъ справедливо счелъ этотъ
мотивъ слишкомъ тривиальнымъ для человѣка съ такой чистой
репутаціей, какъ Анжело, и, упомянувъ вскользь объ этомъ
обстоятельствѣ, выдвигаетъ другой мотивъ, именно дурные слухи,
которые ходили объ его невѣстѣ.

Пускай себѣ молвы неправо обвиненье, —
Нѣтъ нужды. Не должно коснуться подозрѣнья
Къ супругѣ Кесаря.

Послѣднихъ стиховъ нѣтъ у Шекспира: они прибавлены
Пушкинымъ, — и нельзя не сознаться, что мотивъ, выдвинутый
Пушкинымъ на первый планъ, какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ

характеру Анжело, которому была всего дороже его незапятнанная репутация. Разсматриваемый какъ психологическій этюдъ, Анжело окажется весьма замѣчательнымъ произведеніемъ, а мастерской переводъ нѣсколькихъ сценъ показываетъ, что мы лишились въ Пушкинѣ великаго переводчика Шекспира. Я далеко не исчерпалъ всего богатаго матеріала, представляемаго исторіей отношеній нашего поэта къ богатой литературѣ Запада, но, полагая, и приведенныхъ фактовъ достаточно, чтобы признать, что поэты и мыслители западной Европы имѣли для нашего поэта громадное воспитательное значеніе. Изучая ихъ, муза Пушкина прониклась общечеловѣческимъ содержаніемъ, обогатилась множествомъ новыхъ мотивовъ, нашла въ нихъ, наконецъ, недостижимые образцы художественнаго совершенства, и потому на праздникъ, посвященномъ чествованію Пушкина, слѣдуетъ воздать должное, помянуть добрымъ словомъ и великихъ учителей его—тѣхъ геніевъ Запада, идя по слѣдамъ которыхъ, нашъ Пушкинъ и самъ научился открывать новые міры!





Литературные итоги Пушкинского праздника *).

Самым крупным событием Московского Пушкинского праздника была рѣчь Ѳ. М. Достоевскаго. Ни одному изъ ораторовъ на этомъ празднествѣ не выпала такая завидная участь, какъ г. Достоевскому: публика слушала его, какъ очарованная, изрѣдка позволяя себѣ прерывать оратора шумными изъясненіями своего восторга. Въ газетахъ были въ свое время описаны тѣ истерическія оваціи, предметомъ которыхъ сдѣлался г. Достоевскій преимущественно со стороны женской половины своей аудиторіи. Въ самомъ дѣлѣ, трудно было не увлечься, слушая эту страстную, проникнутую глубокою вѣрой, рѣчь, въ которой знаменитый писатель дѣлился съ публикой самыми дорогими убѣжденіями, самыми задушевными чаяніями своего наболѣвшаго сердца. Многое въ рѣчи г. Достоевскаго и тогда возбуждало недоумѣніе, казалось натяжкой, но некогда было формулировать свои сомнѣнія; стремительный потокъ краснорѣчія увлекалъ васъ невольно, не давалъ времени опомниться, а подъ вліяніемъ всеобщаго восторга вамъ самимъ хотъ на минуту хотѣлось повѣрить въ то, во что такъ горячо вѣрилъ ораторъ. Теперь рѣчь г. Достоевскаго уже напечатана, и—странное дѣло! чѣмъ болѣе вдумываешься въ нее, тѣмъ болѣе возстаютъ улегшіяся было сомнѣнія, тѣмъ болѣе бьетъ въ глаза не хитрая руссофильская тенденція, въ угоду которой г. Достоевскій не церемонится съ логикой, искажаетъ общеизвѣстные факты, такъ что въ концѣ концовъ испытываешь досаду, что позволилъ себѣ увлечься этой талантливой, поэтической, но въ то же время крайне парадоксальной и тенденціозной импровизаціей. Таковы

*) Напечатана въ газетѣ *Русскій Курьеръ* 15 іюля 1880 г.

по крайней мѣрѣ наши теперешнія впечатлѣнія отъ рѣчи г. Достоевскаго, которыя мы надѣемся подкрѣпить подробнымъ ея разборомъ.

Рѣчь г. Достоевскаго распадается на двѣ половины: въ первой онъ дѣлаетъ характеристику созданныхъ Пушкинымъ художественныхъ типовъ и указываетъ на ихъ общественное значеніе; во второй онъ распространяется о поразительной отзывчивости Пушкина, объ его необыкновенной способности творить въ духѣ другихъ народовъ, и видитъ въ ней указаніе и пророчество на дальнѣйшія судьбы русскаго народа. — Въ первой половинѣ рѣчи г. Достоевскаго есть много хорошаго. Съ свойственной ему тонкостью психологическаго анализа г. Достоевскій разбираетъ личность Алеко и замѣчаетъ, что въ лицѣ его Пушкинъ впервые отыскалъ и гениально отмѣтилъ типъ того историческаго русскаго скитальца, который необходимо долженъ былъ явиться въ нашемъ оторванномъ отъ народа обществѣ. Все это было бы и ново и справедливо, если бы оратору предварительно удалось доказать, что Алеко типъ русскій, но этого то и нельзя доказать, ибо Алеко типъ интернаціональный, искусственно выросшій на почвѣ байронизма; поэтому-то въ немъ и нѣтъ ни одной русской черты. Такъ какъ, по мнѣнію г. Достоевскаго, основныя черты въ характерѣ Алеко суть гордость и праздность, то сообразно этому онъ даетъ Алеко совѣтъ, во-первыхъ, побѣдить свою гордость и, во-вторыхъ, поработать на родной нивѣ на пользу народа: „Смирись, гордый человѣкъ, и прежде всего сломи свою гордость! Смирись, праздный человѣкъ, и прежде всего потрудишься на родной нивѣ! Не внѣ тебѣ правда, а въ тебѣ самомъ, въ твоёмъ собственномъ трудѣ надъ собою. Побѣдишь себя, усмиришь себя—и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себѣ, и начнешь великое дѣло—и другихъ свободными сдѣлаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконецъ, народъ свой и святую правду его“.—Подавая такой благой совѣтъ Алеко, г. Достоевскій упустилъ изъ виду, во-первыхъ, что у Алеко нѣтъ родной нивы, а если и есть, то она не русская и во-вторыхъ, что у этого скитальца, кромѣ гордости и праздности, есть цѣлый міръ теоретическихъ убѣжденій, которыя были главною причиною его скитальчества, которыя и пригнали его къ цыганамъ. Сколько бы ни смирялъ свою гордость Алеко, сколько бы онъ ни работалъ на родной нивѣ, онъ не можетъ отречься отъ навѣянныхъ мятежнымъ западомъ идеаловъ свободы и человѣческаго достоинства, — онъ всегда будетъ находить ненормальнымъ тотъ порядокъ вещей, при которомъ люди

Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волей своей,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ, да цѣпей.

Такое различіе между характеромъ и убѣжденіями Алеко должно постоянно имѣть въ виду, въ особенности когда знаешь, что въ процессѣ Алеко съ современнымъ ему обществомъ Пушкинъ, находившійся тогда подъ сильнымъ вліяніемъ Байрона, несомнѣнно стоялъ на сторонѣ скитальца. Алеко могъ оказаться, (какъ и дѣйствительно оказался) гордымъ и мстительнымъ человекомъ, но его личные пороки, плоды гнилой цивилизаціи, не мѣшаютъ его протесту противъ общественныхъ неправдъ, быть справедливымъ, а въ этомъ протестѣ и заключается весь пафосъ его личности. Послѣдуй Алеко совѣту г. Достоевскаго, онъ, конечно, сталъ бы нравственно лучше, не мстилъ бы Земфирѣ, а оставилъ бы цыганъ и возвратился бы къ себѣ домой, чтобы поработать на пользу своего народа. Но мы сомнѣваемся, чтобы онъ обрѣлъ то счастье, которое сулитъ ему г. Достоевскій, чтобы онъ сталъ свободенъ самъ и сдѣлалъ бы свободнымъ и свой народъ, ибо свобода общественная есть результатъ борьбы и политическаго развитія и не дается сама собой, какъ награда за добродѣтель. Въ одномъ только мы согласны съ г. Достоевскимъ, что великое дѣло общественнаго пересозданія должно быть совершено чистыми руками.

Разговорившись объ Алеко и русскихъ скитальцахъ, г. Достоевскій причисляетъ къ тому же типу и Онѣгина, называя его искателемъ міровой гармоніи, что крайне невѣрно, ибо въ хандрѣ Онѣгина нѣтъ и слѣда социальной подкладки. Владѣя обезпеченнымъ состояніемъ и не связанный никакими опредѣленными занятіями, Онѣгинъ съ ранней юности посвящаетъ себя изученію *науки страсти нежной*, достигаетъ въ этомъ отношеніи замѣчательной виртуозности и имѣетъ большой успѣхъ у дамъ; когда же женщины ему надоѣдаютъ, то на него нападаетъ хандра—не по міровому идеалу, какъ полагаетъ г. Достоевскій, а просто наша русская хандра—результатъ праздности и пресыщенія. Въ этомъ отношеніи можно сказать, что Онѣгинъ имѣетъ больше общаго съ Чайльдъ Гарольдомъ и Кавказскимъ Плѣнникомъ, чѣмъ съ угрюмымъ и философствующимъ Алеко.

Женская половина аудиторіи г. Достоевскаго пришла въ не-описанный восторгъ отъ его характеристики Татьяны. Мы не можемъ раздѣлять этого восторга по той простой причинѣ, что

г. Достоевскій слишкомъ поусердствовалъ и вложилъ въ свою, впрочемъ мастерскую, характеристику Татьяны много субъективнаго, освѣтилъ ее своимъ собственнымъ свѣтомъ, чего, какъ извѣстно, критику дѣлать не полагается. По мнѣнію г. Достоевскаго, Татьяна — апоеозъ русской женщины; она своимъ благороднымъ инстинктомъ чувствуетъ, въ чемъ правда; ей предназначилъ поэтъ высказать мысль поэмы въ знаменитой сценѣ послѣдней встрѣчи съ Онѣгинымъ. Мысль эта, видите ли, состоитъ въ томъ, что истинно-русская женщина никогда не захочетъ построить свое счастье на несчастьи другого. Татьяна любитъ Онѣгина, но она знаетъ, что измѣна ея покроетъ стыдомъ, позоромъ и убьетъ ея старика-мужа, и потому отвергаетъ Онѣгина. „Скажите“, — восклицаетъ г. Достоевскій, — „могла ли рѣшить иначе Татьяна съ ея высокой душой, съ ея сердцемъ, столько выстрадавшимъ? Нѣтъ, чистая русская душа рѣшаетъ вотъ какъ: „пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмѣрно сильнѣе, чѣмъ несчастье этого старика, пусть, наконецъ, никто и никогда, и этотъ старикъ тоже, не узнаютъ моей жертвы и не оцѣнять ее, но я не хочу быть счастливою, загубивъ другого.“ Если бѣ одна изъ восторженныхъ слушательницъ г. Достоевскаго, выслушавъ эту тираду, предложила ему, въ простотѣ сердца, неосторожный вопросъ: „Откуда вы все это знаете? Гдѣ вы увидали затаенныя мысли Татьяны?“ — то г. Достоевскому оставалось бы отвѣчать словами Гамлета: *Въ очахъ души моей, Горацио*, потому что въ самой поэмѣ нѣтъ ничего подобнаго. У Пушкина есть борьба любви съ долгомъ, а не съ состраданіемъ къ мужу, о которомъ Татьяна и не вспоминаетъ:

Я вышла замужъ, Вы должны,—
Я васъ прощу,—меня оставить;
Я знаю, въ вашемъ сердцѣ есть
И гордость, и прямая честь.
Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
Но я другому отдана...
И буду вѣкъ ему вѣрна.

Изъ этихъ словъ ясно, какъ день, что якорь, удержавшій Татьяну отъ паденія, было чувство формальнаго долга. Шевельнись въ душѣ Татьяны другое чувство, болѣе возвышенное, напр. состраданіе къ мужу, не желаніе построить свое счастье на несчастьи другого, — Пушкинъ не преминулъ бы отмѣтить его. Но г. Достоевскому нужно было во что бы то ни стало сдѣлать изъ Татьяны апоеозъ русской женщины, и вотъ онъ позволяетъ себѣ надѣлать ее всѣми тѣми качествами, которыми, по его мнѣнію,

должна обладать идеальная русская женщина. Мало того: разступивъ на скользкую почву идеализаціи, г. Достоевскій уже не можетъ остановиться и начинаетъ фантазировать въ томъ смыслѣ, что если бъ и умеръ мужъ Татьяны, она все-таки не пошла бы за Онѣгинымъ, потому что она видитъ его насквозь, потому что она знаетъ, что онъ любитъ не ее, а свою новую фантазію, что онъ вообще никого неспособенъ любить и т. д.

По странной ироніи судьбы, въ то то самое время, какъ г. Достоевскій фантазировалъ въ Москвѣ о доблестяхъ Татьяны, въ Петербургѣ вышла книжка кн. Вяземскаго: *А. С. Пушкинъ (по документамъ Остафьевскаго архива)*, изъ которой оказывается, что Пушкинъ имѣлъ намѣреніе заставить Татьяну бѣжать съ Онѣгинымъ и что исполненію этого намѣренія помѣшало бѣгство его собственной сестры, Ольги Сергѣевны, съ офицеромъ Измайловскаго полка Павлицевымъ. По этому поводу Пушкинъ однажды сказалъ сестрѣ: „Ты мнѣ *испортила* моего Онѣгина: онъ долженъ былъ увести Татьяну, а теперь... этого не слѣдуетъ“.— Куда теперь дѣлись фантазіи г. Достоевскаго о характерѣ Татьяны и о той идеѣ поэмы, которую будто бы она призвана выразить въ послѣдней сценѣ своей съ Онѣгинымъ? Изъ всего, этого, впрочемъ, не слѣдуетъ, что г. Достоевскій—плохой критикъ; напротивъ того, г. Достоевскій одаренъ рѣдкой для критика провицательностью, но что прикажете дѣлать съ поэтами? Докажешь имъ какъ дважды два—четыре, что герой долженъ дѣйствовать въ такомъ-то положеніи такъ-то и такъ-то, а они возьмутъ, да, какъ будто нарочно, и заставятъ его поступать совершенно наоборотъ... Такіе чудачки, право!..

Отъ неудачнаго апопееоза Татьяны г. Достоевскій переходитъ, во второй половинѣ своей рѣчи, къ еще болѣе неудачному апопееозу всего русскаго народа. Какъ у настоящаго мастера своего дѣла, все это у него дѣлается до того просто, что даже становится вчужѣ завидно. Сначала доказывается, что ни одинъ поэтъ въ мірѣ не обладаетъ такою всемірною отзывчивостью, такою способностью творить въ духѣ другихъ народовъ, какъ Пушкинъ. Такъ какъ эту всемірную отзывчивость г. Достоевскій признаетъ главнѣйшею способностью нашей національности, то на основаніи ея онъ предрекаетъ намъ завидную участь—вмѣстить въ своей душѣ всѣ другіе народы и, можетъ-быть, въ концѣ концовъ изречь окончательное слово великой общей гармоніи, братскаго соединенія всѣхъ племенъ по Христову евангельскому закону. Въ виду такого блестящаго результата стоятъ ли церемониться съ

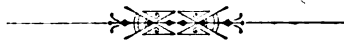
фактами? И г. Достоевскій не церемонится: онъ смѣло провозглашаетъ, что „самые величайшіе изъ европейскихъ поэтовъ никогда не могли воплотить въ себя съ такою силой геній чужого, сосѣдняго, можетъ быть, съ ними народа, духъ его, какъ это могъ проявлять Пушкинъ. Напротивъ, обращаясь къ чужимъ народностямъ, европейскіе поэты чаще всего перевоплощали ихъ въ свою же національность и понимали по-своему. Даже у Шекспира его италіянцы, напр., почти сплошь тѣ же англичане“. Приведя въ примѣръ Шекспира, г. Достоевскій не подозрѣвалъ, какую онъ себѣ вырылъ яму. Европейская критика давно уже признала за Шекспиромъ ту самую необыкновенную способность воплощать въ себѣ духъ другихъ народовъ, *) какою г. Достоевскій справедливо восхищается въ Пушкинѣ. Правда, что, вслѣдствіе недостаточнаго знакомства съ классическимъ міромъ, въ драмахъ Шекспира, заимствованныхъ изъ греческой и римской жизни, встрѣчаются иногда фактическія неточности и невѣрное освѣщеніе не только отдѣльныхъ личностей, но и цѣлыхъ сословій (наприм., плебеевъ въ *Коріоланѣ*), но какъ нарочно въ пьесахъ, заимствованныхъ изъ италіанской жизни („Ромео и Юлія“, „Отелло“) Шекспиръ обнаружилъ такое глубокое проникновеніе въ духъ италіанскаго общества, такое знаніе италіанской жизни, что многіе критики утверждаютъ, что онъ непремѣнно посѣтилъ Италію. Г. Достоевскій, какъ не специалистъ, могъ не знать, какъ стоитъ этотъ вопросъ въ современной Шекспировской критикѣ, но ему не простительно не знать, какъ смотрѣлъ на итальянскія пьесы Шекспира тотъ поэтъ, которымъ онъ, такъ сказать, колетъ глаза Шекспиру. Вотъ, напр., отзывъ Пушкина о „Ромео и Юліи“, который мы находимъ въ „Матеріалахъ“ г. Анненкова (169 стр. перваго изданія): „Въ ней отразилась Италія, современная поэту, съ ея климатомъ, страстями, праздниками, нѣгой, сонетами, съ ея роскошнымъ языкомъ, исполненнымъ блеска и *concetti*. Такъ понималъ Шекспиръ драматическую мѣстность“ и т. д. Ту же способность проникать въ духъ другихъ народовъ мы найдемъ у всѣхъ великихъ европейскихъ поэтовъ (Гёте, Шиллера, Байрона и др.) и даже у второстепенныхъ (Рюккерта, Боденштедта и др.), правда, не въ одинаковой степени, но это уже зависитъ не столько отъ національности, сколько отъ субъективной воспримчивости cadaго изъ нихъ и степени подготовки. Несомнѣнно, впрочемъ,

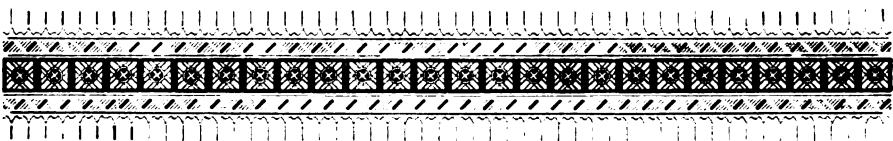
*) См. объ этомъ сочиненіе О'Коннеля: *New Exegesis of Shakspeare. Interpretations of his principal characters and Plays on the principle of Races.* Edinburgh. 1859.

что нѣмцы, у которыхъ Шекспиръ сдѣлался почти національнымъ поэтомъ, воспріимчивѣе въ этомъ отношеніи, чѣмъ французы и италіянцы. Что до насъ, то единственнымъ доказательствомъ нашей всемірной отзывчивости, кромѣ всѣми признаваемой русской переимчивости, пока останется Пушкинъ, но еще вопросъ, насколько Пушкинъ обязанъ былъ въ этомъ отношеніи своей національности и насколько своему ненаціональному воспитанію, благодаря которому онъ любилъ европейскихъ писателей столько же, если не болѣе, чѣмъ своихъ родныхъ. Поэтому мы думаемъ, что выводить изъ этого одиночнаго факта тѣ блестящія перспективы на будущность русскаго народа, которыя выводитъ г. Достоевскій, по меньшей мѣрѣ преждевременно; поддерживать же уже существующее національное самообольщеніе даже вредно, — пожалуй, выросши въ этомъ чувствѣ, мы впослѣдствіи окажемся недостойны нашего великаго призванія.

Г. Достоевскій въ концѣ своей рѣчи заявляетъ, что онъ говоритъ не отъ себя, — что онъ только разгадываетъ нѣкоторую великую тайну, унесенную въ гробъ Пушкинымъ. Смѣемъ увѣрить почтеннаго оратора, что тайна, унесенная въ могилу Пушкинымъ, была не та тайна, которою онъ такъ обязательно подѣлился съ своими слушателями на достопамятномъ утрѣ 8 іюня. Хотя Пушкинъ и горячо любилъ русскій народъ, но его трезвый умъ былъ далекъ отъ всякаго національнаго самообольщенія. Въ своей статьѣ о Мильтонѣ, упрекнувъ французовъ за то, что они считали себя первымъ народомъ въ человѣчествѣ, Пушкинъ воскликнулъ: „И вотъ къ чему ведетъ *невѣжественная* страсть къ народности!“ Будемъ же вѣрны завѣту великаго поэта; будемъ любить свой народъ, но любить трезво, не унижая предъ нимъ другіе народы: паче же всего будемъ заботиться объ его образованіи, будемъ стараться (не во гнѣвъ будь сказано г. Достоевскому!) поднять его до себя, пріобщить его къ европейской культурѣ, не овладѣвъ которой, онъ никогда не выполнитъ своего призванія. Толковать же о смиренномъ общеніи съ народомъ, восхищаться его всемірной отзывчивостью, выдавать ему одному аттестатъ всечеловѣчности — дѣло не хитрое, но зато и бесполезное, и притомъ осужденное самой народною мудростью, давно уже провозгласившей устами стариннаго русскаго грамотника, что.

Гнило всегда словно похвальное:
Похвала живетъ человѣку пагуба.





Пушкинъ *).

„Сегодняшнее торжество есть знаменательное явленіе въ нашей будничной сѣренькой жизни, это — великій праздникъ, и притомъ праздникъ поэтический. Это не только столѣтняя годовщина рожденія величайшаго изъ русскихъ поэтовъ, котораго Общество Любителей Россійской Словесности имѣло счастье считать въ числѣ своихъ членовъ, — это, можно сказать, день рожденія нашей художественно-народной поэзіи, впервые достигающей подъ его рукой и всеобщаго признанія, и высшаго развитія. Въ лицѣ Пушкина мы прежде всего чувствуемъ великую художественную силу, чудный даръ Божій, приближающій человека къ его Творцу. Съ помощью своего громаднаго поэтическаго таланта Пушкинъ сумѣлъ проникнуть въ сокровенныя глубины русской души и выразить результаты своего проникновенія въ цѣломъ рядѣ картинъ и образовъ, сдѣлавшихъ ее вѣчнымъ достояніемъ всего человѣчества. На всемъ созданномъ Пушкинымъ лежитъ печать самобытнаго, оригинальнаго въ самыхъ подражаніяхъ, генія. Паритъ ли онъ орломъ надъ скалами Кавказа, любитъ ли красотой женщины, упивается ли чарами тихой украинской ночи, или стоитъ погруженный въ думы передъ разстилающейся передъ нимъ необозримой зеркальной пеленой Чернаго моря,—ездѣ онъ остается самимъ собою, ездѣ творческая сила его генія бьетъ цѣлымъ каскадомъ образовъ, эпитетовъ, сравненій, ездѣ поэтическая мысль его освѣщаетъ картину. Обаянію поэзіи Пушкина немало способствуетъ его стихъ, — тотъ чудный стихъ, въ которомъ, по выраженію Бѣлинскаго, „античная пластика и строгая простота сочетались съ очаровательной игрой романтической риѣмы, который мягко и нѣженъ, какъ ропотъ волны,

*) Читано въ торжественномъ собраніи Московскаго Университета въ столѣтнюю годовщину рожденія Пушкина 26 мая 1899 г.

прозраченъ и чистъ, какъ кристаллъ, крѣпокъ и могучъ, какъ ударъ меча въ рукѣ богатыря“. Такимъ стихомъ еще не говорила русская поэзія, и не мудрено, что съ тѣхъ поръ, какъ Россія услышала его, имя Пушкина стало на устахъ у всѣхъ, сдѣлалось какъ бы символомъ самой поэзіи. Въ полной гармоніи съ поэзіей Пушкина стоитъ его нравственная личность, поразительная по своей простотѣ, искренности и благородству. Зная жизнь Пушкина, зная, сколько ему приходилось терпѣть отъ подозрительности властей и цензуры, можно только изумляться, какъ онъ уцѣлѣлъ, какъ онъ не ожесточился, не впалъ въ отчаяніе, не былъ увлеченъ мутнымъ потокомъ современной дѣйствительности, а донесъ до могилы въ незапятнанной чистотѣ свое поэтическое знамя, на которомъ ярко горитъ его тройственный поэтический девизъ: красота, свобода и гуманность. Чтобы спасти чистоту этого знамени, Пушкинъ стоялъ на сторожѣ не только противъ всякихъ внѣшнихъ вліяній, но и противъ себя самого. Я приведу только одинъ примѣръ этой рѣдкой свободы духа, но зато примѣръ поразительный. Въ 1831 г., возмущенный нападками польской и иностранной прессы на Россію, Пушкинъ поддался охватившему русское общество чувству негодованія и отвѣтилъ врагамъ стихотвореніемъ „Клеветникамъ Россіи“ и „Бородинская годовщина“, но тотчасъ же опомнился: чувство гуманности и братолюбія взяло верхъ надъ политическими соображеніями, и, какъ бы устыдившись своихъ угрозъ, онъ поспѣшилъ вставить въ свою грозную филиппику нѣсколько стиховъ, въ которыхъ, говоря отъ имени русскаго народа, онъ великодушно обѣщалъ милость мятежнымъ, но глубоко несчастнымъ, врагамъ:

Они народной Немезиды
Не узрять гнѣвнаго лица,
И не услышать пѣснь обиды
Отъ лиры русскаго пѣвца.

Здѣсь кстати напомнить другую выдающуюся черту поэзіи Пушкина, это—необыкновенную искренность и неподкупную честность его поэтического чувства. Въ противоположность многимъ поэтамъ, которые ради эффекта готовы рядиться въ чуждыя одежды и красиво воспѣвать неиспытанныя ощущенія, Пушкинъ, подобно Гёте, воспѣвалъ только тѣ чувства, которыя своимъ огнемъ дѣйствительно согрѣвали его сердце и его фантазію. Оттого всѣ его лирическія стихотворенія суть, какъ и стихотворенія Гёте, въ большей или меньшей степени *Gelegenheits Gedichte*, т. е. стихотворенія, написанныя на случай. Даже когда Пушкинъ

подражалъ другимъ поэтамъ, онъ до того входилъ въ ихъ настроеніе, что это настроеніе дѣлалось его собственнымъ, что духъ его перевоплощался въ духъ другихъ народовъ, какъ это было давно уже замѣчено Гоголемъ и доказано Достоевскимъ. Нигдѣ присутствующая поэзіи Пушкина безоглядная искренность чувства не выразилась такъ ярко, какъ въ его стихотвореніи „На смерть г-жи Ризничъ“. Пушкинъ встрѣтился съ г-жей Ризничъ въ Одессѣ и восторженно полюбилъ ее. Любовь эта, увѣнчанная взаимностью, скоро была прервана разлукой, ибо г-жа Ризничъ должна была по своимъ семейнымъ дѣламъ уѣхать въ Италію, гдѣ черезъ два года и умерла. Другой поэтъ, менѣе искренній, чѣмъ Пушкинъ, воспользовался бы этимъ удобнымъ случаемъ, чтобы окружить ореоломъ поэзіи свое чувство и горячими слезами оплакать смерть любимой женщины. Далекій отъ всякой рисовки, рискуя прослыть безчувственнымъ, Пушкинъ въ стихотвореніи „Подъ небомъ голубымъ страны своей родной“ со стыдомъ и болью въ сердцѣ признается, что онъ, еще такъ недавно страстно любившій г-жу Ризничъ, выслушалъ вѣсть о смерти ея довольно равнодушно. Но прошло нѣсколько лѣтъ, и образъ г-жи Ризничъ, на время заслоненный другими впечатлѣніями, вновь возсталъ въ душѣ поэта въ его Болдинскомъ уединеніи,—возсталъ во всей своей обаятельной прелести и тогда-то онъ написалъ чудное стихотвореніе „Для береговъ отчизны дальней“, въ которомъ воздвигъ вѣчный поэтический памятникъ и своей любви и особѣ, ее внушившей.

Англійскій поэтъ Шелли въ своей статьѣ „Въ Защиту Поэзіи“ называетъ поэтовъ непризнанными законодателями человѣчества. Замѣчаніе это въ высшей степени глубоко и справедливо. Дѣйствительно, они—законодатели, но законодатели особаго рода. Въ то время, какъ обыкновенные законодатели пишутъ гражданскіе и уголовные законы и съ помощью карательныхъ мѣръ регулируютъ человѣческіе поступки, эти непризнанные, но тѣмъ не менѣе весьма вліятельные, законодатели проникаютъ въ нашу душу, регулируютъ наши чувства, сообщаютъ нашей душѣ новыя возвышенныя настроенія. Изъ произведеній каждаго великаго поэта можно извлечь цѣлый кодексъ идей, взглядовъ и чувствъ, изъ которыхъ слагается его поэтическое міросозерцаніе. Нерѣдко этотъ идеальный кодексъ оказываетъ такое вліяніе на общество, что на немъ воспитываются цѣлыя поколѣнія. Хотя Пушкинъ никогда не преслѣдовалъ въ своихъ произведеніяхъ цѣлей дидактическихъ, но если сопоставить все имъ написанное съ извѣстными фактами его жизни, то получится нѣчто цѣльное и

гармоническое, при чемъ окажется, что Пушкинъ далеко не былъ такъ легкомысленъ, какъ утверждали его враги, что въ его міросозерцаніи были извѣстные прочные нравственные устои, тѣ добрыя чувства, въ пропагандѣ которыхъ онъ видѣлъ свою главную заслугу передъ обществомъ.

Идти по слѣдамъ Пушкина—значить прежде всего вѣрить въ конечное торжество свѣта надъ тьмой, въ торжество свободы надъ деспотизмомъ и на фундаментѣ этой вѣры выработать себѣ свѣтлое, бодрое и гармоничное міросозерцаніе, одинаково далекое какъ отъ наивнаго оптимизма, такъ и отъ мрачнаго пессимизма. Только эта вѣра, да надежда на судъ потомства помогли Пушкину переносить свои жизненные невзгоды съ твердостью, не искать смерти, но желать жить, чтобы мыслить и страдать.

Идти по слѣдамъ Пушкина—значить такъ же серьезно смотрѣть на свою задачу, какъ Пушкинъ смотрѣлъ на свое поэтическое призваніе, работать такъ же неутомимо, какъ онъ работалъ, и при этомъ держать въ памяти слова поэта: „безъ постоянного труда нѣтъ ничего истинно великаго!“

Идти по слѣдамъ Пушкина—значить вѣчно стремиться впередъ, трудиться, не покладая рукъ, надъ своимъ собственнымъ развитіемъ, стараясь вознаградить

Матежной младостью утраченные годы

И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ.

Идти по слѣдамъ Пушкина—значить высоко держать знамя собственного достоинства и нравственной независимости, считать идеаломъ жизни такую жизнь, гдѣ не приходится поступаться этими благами, которыя Пушкинъ цѣнилъ выше всякихъ политическихъ правъ:

Для власти, для ливреи

Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи —

Вотъ счастье! вотъ права!

Идти по слѣдамъ Пушкина—значить смотрѣть на міръ свѣтлымъ, незатемненнымъ никакими предразсудками взоромъ, отрѣшиться разъ навсегда отъ всякаго фанатизма, какъ религіознаго, такъ и политическаго, и помнить, что въ глазахъ нашего великаго поэта интересы свободы, человѣчности и правды всегда стояли выше всякихъ политическихъ и національных соображеній. Подобно столь высоко имъ цѣнимому Мицкевичу онъ тоже мечталъ о тѣхъ блаженныхъ временахъ:

Когда народы, распри позабывъ,

Въ великую семью соединятся.

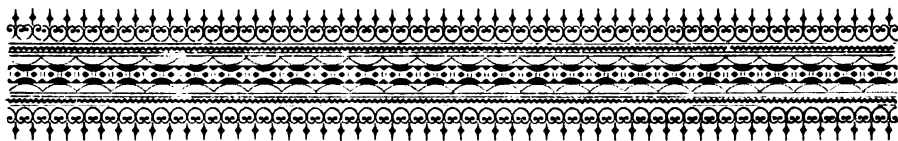
Идти по слѣдамъ Пушкина—значить горячо любить Россію и ту родную старину, которая „замерзла его свирѣль“, вѣрить въ творческія силы русскаго народа, въ его способность сравняться съ другими народами въ самостоятельной дѣятельности на поприщѣ науки и искусства.

Я далеко не исчерпалъ всѣхъ оставленныхъ намъ завѣтовъ Пушкина, навѣваемыхъ его произведеніями, но полагаю, что и приведеннаго достаточно, чтобы имѣть право считать Пушкина не только великимъ поэтомъ, но и мудрымъ учителемъ людей который насаждалъ въ нашей душѣ сѣмена добра и гуманности, расширилъ нашъ умственный горизонтъ, мощно содѣйствовалъ успѣхамъ народнаго самосознанія и придалъ болѣе возвышенный полетъ нашей общественной мысли. Въ этомъ его культурная заслуга, за которую мы, объединенные чувствомъ благодарности, должны въ этотъ торжественный день сказать ему наше великое народное спасибо.

„Когда я подумаю,—говорить въ одномъ письмѣ Шиллеръ,—что можетъ быть черезъ сто лѣтъ, когда мой прахъ давно развѣется по вѣтру, люди будутъ благословлять мою память и дарить мнѣ слезы восторга и удивленія, то я радуюсь моему поэтическому призванію и прощаю судьбѣ всѣ перенесенныя мною невзгоды“. Такая минута настала для нашего Пушкина: сегодня не только Россія, но и весь образованный міръ преклоняется передъ его гениемъ и благословляетъ его память, и если наши полудикіе инородцы еще не читаютъ его произведеній, то едва ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что имя его раздается сегодня и на сѣверѣ, и на югѣ Россіи, и въ тундрахъ Сибири, и въ степяхъ Башкиріи; сегодня, наконецъ, воочию сбылось вѣщее слово Тютчева:

Тебя, какъ первую любовь,
Россіи сердце не забудетъ!





М. Ю. Лермонтовъ.

I.

Памяти Лермонтова *).

(15 июля 1841 г. — 15 июля 1891 г.)

..Его убійца хладнокровно
Навелъ ударъ—спасенія нѣтъ:
Пустое сердце бьется ровно,—
Въ рукѣ не дрогнулъ пистолетъ.
Лермонтовъ (на смерть Пушкина).

Сегодня исполнилось ровно полстолѣтія съ того рокового дня, когда безбожный выстрѣлъ Мартынова разрушилъ смертную оболочку великой души Лермонтова. Безвременная трагическая кончина гениальнаго поэта и обстоятельства его дуэли, до сихъ поръ не вполне разъясненныя, вызвали въ тогдашнемъ петербургскомъ обществѣ самые разнообразныя толки. Большой свѣтъ и высшіе административныя кружки, задѣтые Лермонтовымъ въ его стихотвореніи „На смерть Пушкина“, ветрѣтили извѣстіе объ его смерти довольно равнодушно и даже видѣли въ ней достойное воздаяніе за беспокойный характеръ поэта и его отрицательное отношеніе къ современной дѣятельности. Съ другой стороны, образованная публика, жадно ловившая всякій стихъ Лермонтова и считавшая его непосредственнымъ преемникомъ Пушкина, видѣла въ его смерти громадную общественную потерю. Краснорѣчивымъ выразителемъ ея скорби былъ Бѣлинскій, который прекрасно разъяснилъ значеніе кончины Лермонтова для осиротѣвшей русской поэзіи. Горе, охватившее въ то время образованныхъ русскихъ людей, становилось еще острѣе при мысли, что Лермонтовъ по-

*) Напечатано въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ 15 июля 1891 г. въ день пятидесятилѣтней годовщины смерти поэта.

гибъ въ ранней юности, не успѣвъ совершить и половины того, чего отъ него ожидали. Хотя Пушкинъ тоже погибъ слишкомъ рано, въ цвѣтѣ силъ и надеждъ, но на основаніи всего имъ сдѣланнаго можно съ достаточною вѣроятностію догадываться о томъ направленіи, которое должна была принять на будущее время его художественная дѣятельность. Извѣстно, что задолго до смерти Пушкинъ сумѣлъ смирить въ себѣ бурные порывы молодости, придти въ гармонію съ собою и отчасти съ окружающей средой, словомъ, выработалъ себѣ болѣе или менѣе спокойное міросозерцаніе. Общественнымъ идеаломъ Пушкина въ послѣдніе годы его жизни была нравственная независимость художника, воспѣтая имъ въ стихотвореніи „Изъ Пиндемонте“, для достиженія которой онъ охотно пожертвовалъ бы всякими политическими правами. Придя къ убѣжденію, что плетью обуха не перешибешь, онъ то мечталъ идти объ руку съ правительствомъ, разъясняя публикѣ его мѣропріятія, то уходилъ въ чистое искусство, гдѣ ему было легко и привольно дышать. Само правительство, заинтересованное въ процвѣтаніи его генія, составлявшаго славу и гордость Россіи, оказывало покровительство его поэтической музѣ подъ условіемъ, конечно, чтобы она не выходила изъ очерченнаго вокругъ нея круга. Совершенно въ иномъ положеніи находился Лермонтовъ. Жизнь его была, такъ сказать, перерѣзана пополамъ; онъ погибъ двадцати семи лѣтъ отъ роду, не успѣвъ сладить съ своимъ пламеннымъ темпераментомъ, не успѣвъ развернуть вполне своего таланта и окончательно выяснить своего міросозерцанія. Самый ходъ его развитія былъ иной, чѣмъ у Пушкина. Пушкинъ началъ съ отрицательнаго отношенія къ современной дѣйствительности и сочувствія къ лучшему общественному строю и его провозвѣстникамъ въ Россіи; Лермонтовъ—съ воспѣванія существующаго порядка. Въ юношескихъ стихотвореніяхъ Лермонтова весьма мало общественнаго элемента; изъ тѣхъ же немногихъ мѣстъ, гдѣ этотъ элементъ проявляется, видно, что современная русская дѣйствительность вполне удовлетворяла юношу-поэта, которому ничего не оставалось болѣе какъ прославлять ее и предавать позору ея враговъ. Такимъ патріотическимъ духомъ проникнуто стихотвореніе „Опять народныя вѣсти“, навѣянное знаменитымъ Пушкинскимъ стихотвореніемъ „Клеветникамъ Россіи“ и написанное Лермонтовымъ въ 1831 г., когда ему было семнадцать лѣтъ. Годъ спустя, въ предисловіи къ третьей части своей поэмы „Измаиль-Бей“ Лермонтовъ снова возвращается къ прежней темѣ, поетъ гимны русскому оружію и предсказываетъ скорое наступленіе того

времени, когда западъ и востокъ признають власть Россіи, когда черкесъ съ гордостью воскликнетъ:

Пускай я рабъ, но рабъ царя вселенной!

Въ противность всякимъ ожиданіямъ, пребываніе въ Петербургѣ, въ юнкерской школѣ, въ значительной степени охладило патріотическій пылъ Лермонтова. Петербургъ, своимъ сквернымъ климатомъ, своей казенщиной и преобладаніемъ военнаго элемента, на первыхъ порахъ внушаетъ ему слѣдующіе стихи, вошедшіе въ его поэму „Сашка“.

Увы! какъ скверенъ этотъ городъ
Съ своимъ туманомъ и водой!
Куда ни взглянешь—красный воротъ,
Какъ шить, стоитъ передъ тобой.

Выпущенный въ 1834 г. корнетомъ въ лейбъ-гвардіи гусарскій полкъ, Лермонтовъ сталъ вести разсѣянную свѣтскую жизнь, что, впрочемъ, не мѣшало ему много думать, наблюдать и писать. Къ этому времени относится его первое столкновеніе съ петербургской бюрократіей. Цензура III отдѣленія не пропускаетъ его комедіи, въ которой онъ, по словамъ А. Н. Муравьева, написалъ рѣзкую критику на современные нравы. Стихотвореніе „На смерть Пушкина“ (1837 г.), въ которомъ Лермонтовъ выступилъ пламеннымъ выразителемъ скорби и негодованія, охватившаго русское общество, и заклеилъ презрѣніемъ высшіе административныя кружки, ускорившіе своимъ злословіемъ и бездѣятельностью роковую развязку, составляетъ переломъ въ отношеніяхъ поэта къ администраціи. Съ этихъ поръ Лермонтовъ попадаетъ въ разрядъ подозрительныхъ, его ссылаютъ на Кавказъ, и онъ уѣзжаетъ, совершенно разочарованный не только Петербургомъ, но и Россіей.

Прощай, немытая Россія!
Страна рабовъ, страна господъ!
И вы, мундиры голубые,
И ты, имъ преданный народъ!
Быть можетъ за хребтомъ Кавказа
Укроюсь отъ твоихъ вождей,
Отъ ихъ всевидящаго глаза,
Отъ ихъ всеслышащихъ ушей *).

Неизвѣстно, удалось ли Лермонтову укрыться на Кавказѣ отъ всевидящихъ очей петербургской администраціи, но что за его произведеніями былъ учрежденъ усиленный надзоръ—это не

*) Стихотвореніе это, не вошедшее до сихъ поръ въ собраніе сочиненій Лермонтова, напечатано въ „Русской Старинѣ“, 1887 г. № 12.

подлежить сомнѣнію. Цензура не пропустила его „Пѣсни про купца Калашникова“, и только, благодаря заступничеству Жуковского, печатаніе ея было разрѣшено на свой страхъ министромъ народнаго просвѣщенія, да и то безъ имени Лермонтова. Съ „Сказкой для дѣтей“ впослѣдствіи вышло гораздо хуже. Цензура выбросила изъ нея цѣлыхъ одиннадцать строфъ, навсегда утраченныхъ. „Не по моему желанію“,—говорить поэтъ въ заключительной строфѣ, случайно уцѣлѣвшей въ нѣмецкомъ переводѣ Боденштедта,—заканчиваю здѣсь мою рѣчь: моя поэма охранена свыше отеческими руками отъ излишней длинноты. Однако съ неохотой я отказываюсь отъ заключенія, которое вычеркнуто все безъ разбора, а вмѣстѣ съ тѣмъ вычеркнута и мораль. Такимъ образомъ, цензура постоянно обращаетъ мой талантъ въ отрывокъ, лишь только захотѣлось бы мнѣ развернуться. Желая быть образцомъ повиновенія, оставляю и эту сказку отрывкомъ“ *).

Ссылка Лермонтова продолжалась годъ съ небольшимъ: въ началѣ 1838 г., вслѣдствіе хлопотъ своей бабушки Арсеньевой, Лермонтовъ былъ возвращенъ въ Петербургъ. На первыхъ порахъ высшее петербургское общество встрѣтило опальнаго поэта весьма радушно. Лермонтовъ сдѣлался въ нѣкоторомъ родѣ моднымъ человѣкомъ, героемъ дня. Дамы съ нимъ любезничали, выпрашивали стиховъ, засыпали приглашеніями. „Я пустился въ большой свѣтъ“,—писалъ онъ къ одной изъ своихъ пріятельницъ,—„въ теченіе мѣсяца на меня была мода, меня искали наперерывъ; дамы съ притязаніями собирать замѣчательныхъ людей въ своихъ гостиныхъ хотятъ, чтобъ я былъ у нихъ и т. д.“ Но это не могло продолжаться долго. Вскорѣ между поэтомъ и grand monde началось весьма понятное охлажденіе. Вращаясь въ петербургскомъ большомъ свѣтѣ, нужно было подлаживаться къ господствовавшему тамъ тону, восхищаться всѣмъ русскимъ, находить мудрыми и благодѣтельными всѣ мѣропріятія администраціи. Такое восторженное, можно даже сказать—лирическое отношеніе къ существующему порядку было въ эту эпоху почти обязательнымъ для всякаго, въ особенности для военнаго, но на такую роль былъ менѣе всего способенъ Лермонтовъ, натура искренняя, независимая, неспособная ни къ лести, ни къ лицемерію. Мы видѣли, что въ юности Лермонтовъ, упоенный военнымъ могуществомъ Россіи и той почетной ролью, которую она играла въ системѣ европейскихъ государствъ, былъ искреннимъ и востор-

*) Сочиненія Лермонтова, изд. Ефремова. Спб., 1882. Т. I, стр. 616.

женнымъ панигиристомъ правительства. Впослѣдствіи восторгъ его значительно уменьшился, когда онъ увидѣлъ, что этимъ внѣшнимъ почетомъ далеко не искупались мрачныя стороны внутренней жизни нашего отечества. Невеселую картину представляла наблюдателю тогдашняя Россія: безправіе закрѣпощеннаго народа, дикій разгулъ помѣщичьей власти, задыхающаяся въ цензурныхъ колодкахъ печать, беззаконіе и взяточничество въ судахъ, мудрящая надъ народной жизнью бюрократія, а надъ всѣмъ этимъ нависшая какъ туча, одаренная обширными полномочіями и жаждущая выслужиться администрація, подъ надзоръ которой была отдана запуганная интеллигенція... Отъ проникательнаго взора поэта не укрылось, что не было искренности и правды въ отношеніяхъ общества къ власти, что такъ-называемый на офиціальномъ языкѣ патріотизмъ былъ въ сущности лицемѣріемъ и раболопствомъ. Возмущенный всѣмъ этимъ до глубины души, поэтъ не стѣснялся выражать свой протестъ при всякомъ удобномъ случаѣ. Результаты такой неосторожности легко было предвидѣть. Въ большомъ свѣтѣ и связанныхъ съ нимъ высшихъ административныхъ кружкахъ стали смотрѣть на него какъ на человека безпокойнаго, даже опаснаго, стали обвинять его въ отсутствіи патріотизма, чуть не въ измѣнѣ отечеству. Какъ всѣ эти несправедливыя обвиненія отражались на чуткой душѣ поэта, видно изъ ряда его неизданныхъ стихотвореній, сообщенныхъ пріятелемъ Лермонтова Глѣбовымъ нѣмецкому поэту Фридриху Боденштедту и переведенныхъ этимъ послѣднимъ на нѣмецкій языкъ. „Нѣтъ, я не измѣнилъ своей странѣ и не недостойнъ отцовъ моихъ. Это потому, что я не похожу на васъ ни въ чемъ и не ползаю, какъ вы; это потому, что ваши дѣла часто заставляютъ меня краснѣть отъ стыда; это потому, что я не слышу музыки въ бряцаніи цѣпей и не вижу ничего привлекательнаго въ блескѣ штыковъ—вы утверждаете, что я не патріотъ“. И далѣе: „Богъ далъ мнѣ языкъ, но когда я вздумалъ говорить—у меня захватило горло. Странныя вещи происходятъ въ моей странѣ и удивительный обычай завелся у насъ: разумному нуженъ разумъ для глупости, а языкъ для молчанія!“ Въ особенности должны были раздражить петербургскихъ сановниковъ слѣдующія язвительныя строки: „Не завидую я ни вашимъ крестамъ, ни вашимъ гибкимъ спинамъ; не завидую тому, чѣмъ вы сдѣлались черезъ подказначество и низкопоклонство“ *).

*) Соч. Лермонтова, изд. Ефремова, Т. I., стр. 625—627,

Благодаря подобнымъ выходкамъ, какъ въ стихахъ, такъ и въ частныхъ разговорахъ, Лермонтовъ съ каждымъ днемъ дѣлался все болѣе и болѣе ненавистнымъ высшей петербургской администраціи, которая прославила его человѣкомъ опаснымъ и даже успѣла вооружить противъ него самого Государя, такъ что, когда въ 1840 г. произошла извѣстная дуэль Лермонтова съ Барантомъ, онъ по Высочайшему повелѣнію былъ снова сосланъ на Кавказъ, откуда ему уже не суждено было возвратиться.

Оппозиція Лермонтова, которой его враги сумѣли придать преступное значеніе, въ сущности не только не заключала въ себѣ ничего преступнаго, но даже ничего политическаго. Лермонтовъ никогда не былъ революціонеромъ; сомнительно, чтобы его можно было даже назвать либераломъ въ современномъ значеніи этого слова. Въ основѣ его протестующаго настроенія лежала не политическая доктрина, но нравственное чувство, возмущенное главнымъ образомъ отсутствіемъ чувства собственнаго достоинства въ русскомъ обществѣ, ползавшемъ въ прахъ передъ властью и смѣшивавшемъ раболѣпіе и лесть съ патріотизмомъ. Это презрѣніе къ современному обществу могло только усилить ту горечь разочарованія, которая съ юныхъ лѣтъ отравила собой душу Лермонтова. Доведенный до полнаго отчаянія обрушившимися на него преслѣдованіями, Пушкинъ, какъ художникъ, прежде всего искалъ утѣшенія въ искусствѣ *). Для Лермонтова, менѣе способнаго забыть въ вымыслахъ идеальнаго міра раны, нанесенныя дѣйствительной жизнью, нуженъ былъ другой щитъ, другой ангель-утѣшитель. Такимъ ангеломъ-утѣшителемъ явилась для Лермонтова религія. Только религія могла смирить эту огненную боевую натуру, исполнить ее прощенія и любви. Изливъ свое негодующее и истекающее кровью сердце въ загадочномъ, проникнутомъ мрачнымъ отчаяніемъ, стихотвореніи: „Не смѣйся надъ моею пророческой судьбою“, гдѣ онъ, повидимому, изображаетъ себя политическимъ мученикомъ, Лермонтовъ ищетъ утѣшенія въ религіи, которая проливаетъ цѣлительный бальзамъ въ его истерзан-

*) В. Е. Якушкинъ нашелъ въ черновыхъ тетрадяхъ Пушкина весьма характерный въ этомъ отношеніи отрывокъ, который стоитъ припомнить.

...И бурныя кипѣли въ сердцѣ чувства,
И ненависть, и грезы мести блѣдной.
Но здѣсь меня таинственнымъ щитомъ,
Святымъ прощеньемъ осынила
Поэзія, какъ ангель-утѣшитель,
И спасла меня.

ную душу, мирить его съ жизнью и учить молиться за враговъ своихъ *). Религіозное и общественное настроеніе, охватившее душу поэта въ послѣдніе годы его жизни, находится въ тѣсной связи съ измѣнившимися взглядами на задачи поэтическаго творчества. Хотя и въ юношескихъ стихотвореніяхъ Лермонтова по временамъ мелькаетъ смутное сознаніе своего великаго поэтическаго призванія **), но это сознаніе появляется случайно и быстро потухаетъ въ мрачныхъ мысляхъ о своей ненужности ***). И это вполне понятно: для юноши-поэта центръ вселенной есть любимая женщина, цѣль жизни—ея любовь. Для нея онъ слагаетъ свои пѣсни, отъ нея одной ждетъ одобренія и награды *). Любовь и пѣсни—вотъ вся жизнь пѣвца **). Но, по мѣрѣ своего развитія и углубленія въ жизнь, Лермонтовъ ставитъ для своей поэтической дѣятельности болѣе серьезныя задачи. Въ стихотвореніи „Поэтъ“ (1839 г.) онъ называетъ поэта осмѣяннымъ пророкомъ; въ стихотвореніи „Журналистъ, Читатель и Писатель“ (1840 г.) онъ изображаетъ поэта неумолимымъ обличителемъ современныхъ пороковъ и называетъ его рѣчь пророческою. Въ одномъ неизданномъ стихотвореніи, извѣстномъ только по переводу Боденштедта, Лермонтовъ такъ характеризуетъ свою собственную поэтическую дѣятельность: „Какъ страстно любилъ я прекрасное съ блаженнымъ пыломъ пѣвца, какъ сильно звучали пѣсни въ моей груди! Съ гордымъ мужествомъ и сознаніемъ своего полнаго права боролся я за все истинное и доброе, и т. д.“

*) См. заключительныя строки стихотворенія: „Когда стою подъ древнимъ сводомъ храма“:

Еще молюсь за тѣхъ, которые сгубили
Во мнѣ мечты о счастья бытія,
Которые мнѣ душу отравили—
За тѣхъ молюся я!

Необъяснимо, почему это превосходное стихотвореніе, давно уже извѣстное и неоднократно напечатанное, не вошло до сихъ поръ въ полное собраніе произведеній Лермонтова.

**) Соч. Лермонтова, изд. Ефремова, II, 84, 90—91.

***) Ibid. 83: Какъ въ ночь звѣзды падучей пламень,
Не нуженъ въ мірѣ я, ср. Ibid., 147.
Никто не дорожитъ мной на землѣ
И самъ себѣ я въ тягость, какъ другимъ,

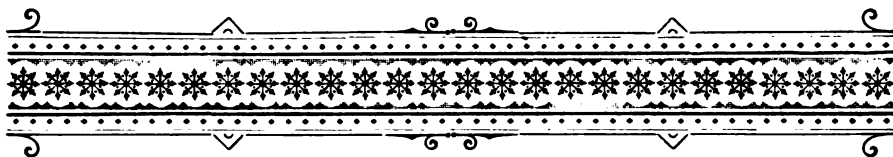
****) Ibid. 118: Тобою только вдохновенный,
Я строки грустныя писалъ, ср. Ibid. 119.

*****) Ibid. Т. 1, 6.

Всѣ эти заявленія служатъ прелюдіей къ знаменитому стихотворенію „Пророкъ“, гдѣ проводится взглядъ на поэтическое призваніе, какъ на священную миссію. Этотъ могучій призывъ къ проповѣди чистыхъ ученій любви и правды есть вмѣстѣ съ тѣмъ и заключительный аккордъ всей поэзіи Лермонтова.

Такимъ образомъ росъ въ ширь и глубь могучій геній Лермонтова, поражающій глубиной мысли и прелестью стиха, передъ которымъ иногда меркнетъ даже стихъ самого Пушкина. Чѣмъ завершилось бы это необычайное развитіе, какое направленіе приняла бы впослѣдствіи поэзія Лермонтова, несомнѣнно становившаяся все серьезнѣе и глубже—объ этомъ мы можемъ только мечтать и дѣлать догадки, безъ всякой надежды придти къ чему-нибудь вѣрному и положительному. Одно стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія, что гениальному таланту Лермонтова предстояла громадная будущность, что съ минуты смерти началось для него и безсмертіе.





Женскіе типы, созданные Лермонтовым*).

Изученіе женскихъ типовъ, созданныхъ Лермонтовымъ, представляетъ двоякій интересъ: автобіографическій и чисто-литературный. Извѣстный нѣмецкій поэтъ Фридрихъ Боденштедтъ, лично знавшій нашего поэта и оставившій его прекрасную характеристику, справедливо замѣчаетъ, что „всѣ произведенія Лермонтова могутъ быть названы написанными на случай, *Gelegenheits Gedichte*—въ томъ смыслѣ, какой придавалъ этому выраженію Гете. Неопредѣленные заоблачные сны фантазіи были ему совершенно чужды: куда ни обращалъ онъ глаза, къ небу ли или къ аду, онъ всегда отыскивалъ прежде твердую точку опоры на землѣ“. Изъ біографіи Лермонтова извѣстно, что женщины всегда играли въ его жизни весьма важную, можно даже сказать, преобладающую роль. Потерявъ рано мать, поэтъ былъ воспитанъ горячо любившей его бабушкой Арсеньевой, которая ревниво охраняла его отъ вліянія отца. Подобно Данте и Байрону, Лермонтовъ еще въ дѣтскомъ возрастѣ влюбился въ дѣвочку-ребенка, которую встрѣтилъ въ Пятигорскѣ на водахъ. „Кто мнѣ повѣритъ,—пишетъ Лермонтовъ въ своей ученической тетради,—что я зналъ любовь, имѣя десять лѣтъ отъ роду? Это была истинная любовь, съ тѣхъ поръ я еще не любилъ такъ“. Въ одномъ изъ своихъ юношескихъ стихотвореній Лермонтовъ такъ выражается о своей первой любви:

Въ ребячествѣ моемъ тоску любви знойной
Ужъ сталъ я понимать душою безпокойной:
На мягкомъ ложѣ сна не разъ во тьмѣ ночной
При свѣтѣ трепетномъ лампы образной,
Воображеніемъ, предчувствіемъ томимый,
Я предавалъ свой умъ мечтѣ непобѣдимой...

*) Читано въ публичномъ засѣданіи Общества любит. Россійской словесности 14 апрѣля.

Эта дѣтская любовь оставила такіе глубокіе слѣды въ впечатлительной душѣ поэта, что онъ со слезами вспоминаетъ о ней за полтора года до своей смерти:

И если какъ нибудь на мигъ удастся мнѣ
Забыться,—памятью къ недавней старинѣ
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенкомъ и кругомъ
Родныя все мѣста; высокій барскій домъ
И садъ съ разрушенной теплицей...
И странная тоска тѣснить ужъ грудь мою:
Я думаю о ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье,
Съ глазами полными лазурнаго огня,
Съ улыбкой розовой, какъ молодого дня
За рощей первое сіянье.

Переѣхавъ тринадцати лѣтъ въ Москву для поступленія въ университетскій благородный пансіонъ, Лермонтовъ гостилъ по лѣтамъ у родныхъ своей бабушки Столыпиныхъ въ ихъ подмосковской деревнѣ Средниковѣ; здѣсь онъ былъ окруженъ цѣлымъ роемъ молодыхъ дѣвицъ, родственницъ и сосѣдокъ, въ которыхъ поочередно влюблялся и которыя были первыми музами—вдохновительницами его поэзіи. Вспоминая объ этомъ нѣсколько лѣтъ спустя, Лермонтовъ писалъ:

...Четырнадцать лѣтъ
Я самъ страдалъ отъ каждой женской ножки,
За каждую отдалъ бы цѣлый свѣтъ,
Я цѣловалъ слѣды ихъ по дорожкѣ...*)

Юношескія стихотворенія Лермонтова полны описаній любовныхъ восторговъ, измѣнъ и разочарованій; послѣдній элементъ въ нихъ преобладаетъ и въ соединеніи съ семейными невзгодами подготавливаетъ почву для воспріятія поэзіи Байрона, съ которой онъ знакомится еще до поступленія своего въ студенты московскаго университета. Къ первому году студенчества относится любовь Лермонтова къ Екатеринѣ Александровнѣ Сушковой, вышедшей впослѣдствіи замужъ за Хвостова и оставившей послѣ себя любопытныя записки, въ которыхъ она описываетъ исторію своего знакомства съ Лермонтовымъ. Любовь эта, имѣвшая всѣ признаки сильнаго чувства, внушила Лермонтову нѣсколько прекрасныхъ стихотвореній („У вратъ обители святой“, „Благодарю“ и т. д.), которыя онъ тогда же вписалъ въ альбомъ

*) Изъ поэмы „Сашка“ (*Русская Мысль* 1882, январь).

Сушковой. Будучи на два года старше Лермонтова, Сушкова относилась къ Лермонтову, какъ обыкновенно относятся взрослые дѣвушки къ подросткамъ; она охотно принимала стихи Лермонтова, немного кокетничала съ нимъ, подчасъ подсмѣивалась надъ его восторгами, что страшно огорчало и бѣсило шестнадцатилѣтняго поэта, имѣвшаго слабость считать себя взрослымъ. Впрочемъ, любовное томленіе Лермонтова было непродолжительно. Отвергнутый Сушковой, поэтъ нашелъ утѣшеніе въ любви къ другой дѣвушкѣ, своей ровесницѣ по годамъ В. А. Лопухиной. Эта любовь была не только самая восторженная, но и самая прочная изъ привязанностей Лермонтова и продолжалась до самой смерти поэта. Какъ истинный рыцарь, Лермонтовъ скрывалъ отъ глазъ свѣта имя дамы своего сердца и только однажды, посвятивъ ей извѣстное стихотвореніе:

У ногъ другихъ не забывалъ
Я взоръ твоихъ очей и т. д.

онъ поставилъ въ заголовкѣ начальную букву ея фамиліи. Судя по нѣкоторымъ намекамъ, попадающимся во многихъ стихотвореніяхъ Лермонтова, можно догадаться что любовь его была раздѣлена, и если она не увѣнчалась бракомъ, то это объясняется тѣмъ, что молодымъ людямъ не было въ совокупности полныхъ тридцати трехъ лѣтъ. Хотя университетскіе годы жизни Лермонтова ознаменованы сильнымъ вліяніемъ Байрона, надолго опредѣлившимъ собою направленіе его поэзіи, но въ выраженіи своихъ любовныхъ ощущеній Лермонтовъ былъ ближе къ поэтамъ романтической школы, чѣмъ къ Байрону. Подобно романтикамъ, Лермонтовъ вѣрилъ въ роковую силу и предъизбраніе любви, былъ убѣжденъ, что каждый мужчина имѣетъ соотвѣтствующую себѣ женскую душу, судьба которой какой-то таинственной силой неразрывно связана съ его судьбой. „Горе имъ,—если они не вполне довѣряютъ этому святому таинственному влеченію: оно существуетъ и должно существовать вопреки всякимъ умствованіямъ, иначе душа брошена въ наше тѣло только для того, чтобы оно двигалось и питалось. Что такое были бы всѣ цѣли, весь трудъ человѣчества безъ любви?“*)

„Не вѣрятъ многіе любви“,—говоритъ Лермонтовъ въ стихотвореніи подъ заглавіемъ „11 іюня 1831 г.“, которое по всѣмъ правамъ должно быть названо его юношеской поэтической автобіографіей.

*) Юношеская повѣсть Лермонтова (*Вѣстникъ Европы*, 1873 г., № 10).

И тѣмъ счастливы: для иныхъ она
Желанье, порожденное въ крови,
Разстройство мозга, иль видѣнье сна...
Я не могу любовь опредѣлить,
Но это страсть сильнѣйшая! Любить
Необходимо мнѣ и я любилъ
Всѣмъ напряженіемъ душевныхъ силъ.

Вѣра въ роковую силу любви, считая свободу выбора первымъ основаніемъ индивидуальной свободы, романтики ставили это чувство выше долга и общественныхъ условій и проповѣдывали опасный принципъ, такъ называемыя права сердца, не знающія никакихъ преградъ и подсудныя только суду собственной любящей совѣсти. „Любовь“,—писалъ Шиллеръ своей невѣстѣ Шарлоттѣ фонъ-Ленгефельдъ,—исключительное состояніе, къ которому нельзя примѣнять всѣхъ обязанностей и всѣхъ нравственныхъ масштабовъ*), а въ своемъ „Д. Карлосъ“ онъ вложилъ въ уста несчастнаго принца, у котораго отецъ отбилъ невѣсту, слѣдующую знаменитую фразу: „права моей любви старше ея брачныхъ клятвъ.“ Эти романтическія воззрѣнія на бракъ и любовь были усвоены и нашимъ поэтомъ, который на университетской скамьѣ не мало переводилъ изъ Шиллера. Услышавъ, что любимая имъ дѣвушка вышла замужъ, Лермонтовъ спрашиваетъ ее:

Откройся мнѣ: ужели непритворны
Лобзанія твои?
Они правамъ супружества покорны,
Но не *правамъ любви*.
Онъ *для тебя не созданъ*: ты родилась
Для пламенныхъ страстей;
Отдавъ ему себя, ты не спросилась
У *совѣсти* своей!

Когда Сушкова, встрѣтившись съ поэтомъ нѣсколько лѣтъ спустя въ Петербургѣ, сообщила ему, что судьба ея почти рѣшена, что она выходитъ замужъ, любима и будетъ любить, Лермонтовъ отвѣчалъ ей съ горькой ироніей:

„Будете любить? Пошлое выраженіе, впрочемъ доступное женщинамъ. Любовь по приказанію, по долгу! Желаю вамъ полнаго успѣха, но мнѣ что-то не вѣрится, чтобъ вы полюбили вашего будущаго мужа, да этого и не будетъ!“

*) Въ юношеской повѣсти Лермонтова встрѣчается такая фраза: „Любовь—вездѣ любовь, т.-е. самозабвеніе и сумашествіе“ (*Вѣстникъ Европы* 1873, № 10, стр. 478).

Обладая пылкимъ и любящимъ сердцемъ, готовый отдать жизнь за любимую женщину, Лермонтовъ не былъ въ состояніи принести для ея счастья въ жертву собственное чувство и благословить ее на счастье съ другимъ, словомъ, возвыситься до того самоотверженія любви, которое внушило Пушкину его несравненное стихотвореніе:

Я васъ любилъ, любовь еще быть можетъ
Въ моей душѣ угасла не совсѣмъ и т. д.

Слушая на одномъ вечерѣ этотъ романсъ въ исполненіи знаменитаго тенора Яковлева, Лермонтовъ при словахъ:

Но пусть она васъ больше не тревожитъ:
Я не хочу печалить васъ нечѣмъ,

сказалъ вполголоса сидѣвшей съ нимъ рядомъ Сушковой: „О, нѣтъ, пускай тревожитъ—это вѣрнѣйшее средство не быть забыту!“

Я васъ любилъ такъ искренно, такъ нѣжно,
Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ.

„Это совсѣмъ нужно измѣнить. Естественно ли желать счастья любимой женщинѣ, да еще съ другимъ? Нѣтъ, пусть она будетъ несчастлива! Я такъ понимаю любовь, что я предпочелъ бы ея любовь ея счастью. Несчастлива черезъ меня,—это связало бы ее на вѣкъ со мною“. (Записки Хвостовой, стран. 140—141).

Вообще пребываніе Лермонтова въ школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ и первые свѣтскіе успѣхи въ Петербургѣ отразились весьма неблагоприятно на его характерѣ. По его собственному выраженію, холодная иронія втѣснялась въ его душу, какъ вода въ разбитое судно. Подъ вліяніемъ всего пережитого и передуманнаго пылокое сердце поэта охладѣло, характеръ его ожесточился; онъ щеголялъ своимъ разочарованіемъ и своимъ презрѣніемъ къ людямъ, не вѣрилъ въ женщинъ и легкомысленно игралъ ихъ чувствами. „Я волочусь“,—писалъ Лермонтовъ къ своей пріятельницѣ М. А. Лопухиной,— „и вслѣдъ за объясненіемъ въ любви говорю дерзости. Вы думаете, что за такіе подвиги меня гонять прочь? О, нѣтъ, совсѣмъ напротивъ: женщины ужъ такъ сотворены. Я начинаю приобрѣтать надъ ними власть“ *). Встрѣтившись съ Лермонтовымъ въ Петербургѣ, Сушкова была поражена совершившейся въ немъ перемѣной. Изъ робкаго и молящаго обожателя, какимъ она его знала въ Москвѣ, Лермонтовъ

*) „Сочиненія Лермонтова“, изд. 4-е, СПб., 1880, т. стр. 530.

превратился въ настойчиваго и самоувѣреннаго петербургскаго льва, желавшаго показать въ свѣтѣ, какъ его любятъ женщины. „Лермонтовъ“,—разсказываетъ Сушкова,—поработилъ меня совершенно своей взыскательностью, своими капризами: онъ не молилъ, но требовалъ любви, онъ не преклонялся предъ моей волей, но налагалъ на меня свои тяжелыя оковы“ (Записки, стр. 156). На этотъ разъ роли ихъ радикально перемѣнились. Лермонтовъ безъ труда влюбилъ въ себя Сушкову и въ свою очередь посмѣялся надъ ней. Не такъ было съ его другой московской страстью, В. А. Лопухиной, которая вскорѣ по выходѣ замужъ появилась въ петербургскомъ свѣтѣ. При встрѣчѣ съ ней прежнее чувство вспыхнуло въ душѣ поэта съ новой силой и выразилось въ цѣломъ рядѣ стихотвореній: „Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою“. „Въ полдневный жаръ въ долину Дагестана“ и т. д. Слѣдуя своей всегдашней привычкѣ переносить въ свои произведенія все пережитое, весь запасъ своихъ идей и чувствъ, Лермонтовъ обрисовалъ свои отношенія къ обѣимъ женщинамъ въ своемъ романѣ „Княгиня Лиговская“ *), въ которомъ онъ изобразилъ подъ именемъ Негуровой—Сушкову. Такъ по крайней мѣрѣ думаетъ лучший знатокъ Лермонтова, проф. Висковатовъ, много лѣтъ работающій надъ его біографіей. Романъ Лермонтова, начатый имъ въ 1836 г., такъ и остался недоконченнымъ. Причина этого объяснена самимъ Лермонтовымъ въ письмѣ къ своему пріятелю Раевскому, писавшему его подъ диктовку поэта: „Романъ, который мы съ тобой начали, затянулся и врядъ ли кончится, ибо обстоятельства, которыя составляли его основу, перемѣнились, а я, знаешь, не могу въ этомъ отступать отъ истины“ **). Кстати вспомнить, что на вопросъ Сушковой, почему онъ такъ ведетъ себя съ женщинами, Лермонтовъ отвѣчалъ: „Я изготавляю на дѣлѣ матеріалы для моихъ будущихъ сочиненій“ (Записки, стр. 186).—Приведенныхъ примѣровъ, конечно достаточно, чтобы видѣть, какой глубокий интересъ представляетъ изученіе созданныхъ Лермонтовымъ женскихъ типовъ съ автобіографической точки зрѣнія. Оно какъ нельзя лучше доказываетъ, что творчество Лермонтова питалось реальными мотивами и что количество этихъ мотивовъ будетъ возрастать по мѣрѣ того, какъ мы

*) Напечатанъ впервые въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, 1882, январь.

**) См. статью проф. Висковатова по поводу „Княгини Лиговской“ (*Рус. Вѣстн.* 1882, мартъ).

будемъ обладать большимъ количествомъ матеріаловъ для его біографіи.

Неменьшій интересъ представляетъ изученіе созданныхъ Лермонтовымъ типовъ со стороны чисто литературной. И въ этомъ отношеніи женскіе типы дадутъ критику больше матеріала для его выводовъ, чѣмъ характеры мужскіе, ибо въ этихъ послѣднихъ Лермонтовъ въ большинствѣ случаевъ только объективируетъ свои собственныя чувства. Созданные имъ герои имѣютъ внутреннее родство не только другъ съ другомъ, но и съ своимъ творцомъ *). Когда мы читаемъ, что Измаиль-бей воспламенялъ воображеніе женщинъ и веселился ихъ любовью и тоской, намъ невольно припоминаются собственные свѣтскіе подвиги Лермонтова, описанные имъ съ такой откровенностью въ приведенномъ выше письмѣ къ Лопухиной; равнымъ образомъ, когда мы читаемъ, какъ безжалостно играетъ Печоринъ чувствами княжны Мэри, намъ невольно приходятъ въ голову отношенія Лермонтова къ Сушковой, рассказанныя имъ съ нѣкоторой долей цинизма въ письмѣ къ другой своей пріятельницѣ Сашенькѣ Верещагиной *). Отношеніе Лермонтова къ попадающимся въ его произведеніяхъ женскимъ типамъ было другое. Въ созданіи ихъ онъ меньше былъ связанъ своимъ субъективизмомъ, больше наблюдалъ и изучалъ; оттого они вышли не только разнообразнѣе, но и правдивѣе и жизненнѣе. Изъ всѣхъ женскихъ личностей, созданныхъ Лермонтовымъ, мы знаемъ только одну, съ которой поэтъ сознавалъ свое внутреннее родство,—это Нина въ „Сказкѣ для Дѣтей“ и о которой онъ сказалъ:

Такія души я любилъ давно
Отыскивать по свѣту на свободѣ.
Я самъ вѣдь былъ немножко въ этомъ родѣ.

Оставляя въ сторонѣ Тамару и нѣсколько эпизодическихъ женскихъ личностей въ родѣ Лейлы въ „Хаджи Абрекѣ“ или Зары въ „Измаиль-бей“, представляющихъ собою скорѣе силуэты, чѣмъ портреты, я останавливаю ваше вниманіе только на героиняхъ „Маскарада“ и „Героя нашего времени“. Говоря о „Маскарадѣ“, я

*) Въ „Княгинѣ Лиговской“ Лермонтовъ выводитъ себя подъ именемъ Печорина; посвященіе Измаиль-бея оканчивается стихами:

Тобою полны счастья звуки.
Меня узнаешь ты въ другихъ.

*) Письмо это найдено проф. Висковатовымъ. См. его статью „Лермонтовъ по выходѣ изъ школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ“ (*Рус. Мысль*, 1884 № 11).

буду имѣть въ виду первую редакцію этой пьесы, какъ болѣе характерную и болѣе полную. Это—драма любви, ревности и мести, фабулой своей нѣсколько напоминающая „Отелло“ и несомнѣнно написанная подъ вліяніемъ пьесы Шекспира. И тамъ и здѣсь поводомъ къ ревности служить оброненная вещь: въ первомъ случаѣ браслетъ, во второмъ—платокъ. Если разочарованный и подозрительный мизантропъ Арбенинъ, испытавшій, по его собственнымъ словамъ, всѣ сладости порока и злодѣйства, нисколько не похожъ на довѣрчиваго и благороднаго Отелло, то зато Нина своей душевной чистотой, непрактичностью и беззаветной преданностью мужу безспорно напоминаетъ Дездемону. Видя, что Арбенинъ, за котораго она недавно вышла замужъ по любви, часто бываетъ при ней мраченъ и угрюмъ, а безъ нея скучаетъ, она объясняетъ это тѣмъ, что онъ мало любитъ ее и не вполне увѣренъ въ ея любви. Чтобы доказать свою любовь и преданность, она изъясняетъ готовность бросить свѣтъ, уѣхать въ деревню и жить для него одного:

Скажи мнѣ просто: „Нина,
Кинь свѣтъ, я буду жить съ тобой
И для тебя“. Скажи мнѣ это—я готова.
Въ деревнѣ молодость свою я схороню,
Оставлю балы, пышность, моду
И эту скучную свободу.
Скажи лишь просто мнѣ, какъ другу.

Объясненій Арбенина, что онъ бываетъ мраченъ и раздражителенъ потому, что прошлое до сихъ поръ гнететъ его душу, что, вспоминая о своей порочной юности, онъ не смѣетъ подойти къ ней и осквернить ее своимъ прикосновеніемъ,—она не понимаетъ и въ отвѣтъ на тираду Арбенина говоритъ: „Ты странный человѣкъ!“ Чтобы заронить въ душу такого человѣка, какъ Арбенинъ, мучительное чувство ревности, не нужно адскихъ ухищреній Яго, ибо въ темной душѣ Арбенина вполне достаточно того яда подозрительности, которымъ Яго отравляетъ душу Отелло. Еще раньше потери браслета, онъ по свойственной ему душевной низости уже начинаетъ подозрѣвать жену; исторія съ браслетомъ окончательно убѣждаетъ его въ справедливости его подозрѣній; онъ неистовствуетъ, оскорбляетъ жену, мучитъ ее допросами, грозитъ мстью и наконецъ самымъ предательскимъ образомъ отравляетъ ее. Будь Нина и Дездемона нѣсколько похитрѣе или по крайней мѣрѣ опытнѣе, онѣ конечно сумѣли бы справиться съ своимъ положеніемъ и не погибли бы, но тогда

онѣ не были бы тѣмъ, чѣмъ онѣ есть; вся трагедія ихъ жизни состоитъ въ томъ, что лучшія свойства ихъ характера—благородство, душевная чистота въ соединеніи съ какимъ-то упрямствомъ невинности—обращаются на ихъ голову и влекутъ ихъ къ гибели. Несправедливо заподозрѣнные своими мужьями, оскорбленные въ самыхъ святыхъ своихъ чувствахъ, обѣ героини погибаютъ, призывая Бога въ свидѣтели своей невинности, съ тѣмъ впрочемъ различіемъ, что Дездемона, видя нравственныя страданія Отелло, прощаетъ ему, тогда какъ Нина, возмущенная холодною жестокостію Арбенина, умираетъ съ проклятіемъ на устахъ. Мимоходомъ замѣчу, что вліяніе Шекспира чувствуется не только на общемъ характерѣ пьесы Лермонтова, но и въ частности. Знаменитымъ прощаніемъ Отелло съ своей прежней жизнью навѣяны стихи, въ которыхъ Арбенинъ прощается съ своимъ навѣки разрушеннымъ семейнымъ счастіемъ:

...Но ты, мой рай,
Небесный и земной, прощай!

Рѣшившись убить Дездемону, Отелло пытается оправдать свой поступокъ тѣмъ, что она можетъ обмануть еще и другихъ; тотъ же мотивъ приводитъ въ свое оправданіе отравившій Нину Арбенинъ:

Шагъ сдѣланъ роковой, назадъ идти далеко,
Но пусть никто не гибнетъ за нее!

Перехожу теперь къ женскимъ типамъ романа „Герой нашего времени“, въ которомъ Лермонтовъ далъ намъ первый образчикъ русскаго психологическаго романа. Нигдѣ онъ не является такимъ знатокомъ человѣческаго сердца, такимъ тонкимъ аналитикомъ душевныхъ движеній. Что здѣсь Лермонтовъ сознательно ставитъ себѣ психологическую задачу, видно изъ того высокаго значенія, которое онъ придаетъ изученію внутренняго человѣка. „Исторія души человѣческой“,—говоритъ онъ въ предисловіи къ журналу Печорина,—„хотя бы и самой мелкой, едва ли не любопытнѣе и полезнѣе исторіи цѣлаго народа, особенно когда она слѣдствіе наблюденій ума зрѣлаго надъ самимъ собой и когда она писана безъ тщеславнаго желанія возбудить участіе или удивленіе“. Внѣшняя и внутренняя наблюдательность, способность углубленія въ жизнь была соединена въ Лермонтовѣ съ свойственной романисту способностью создавать живые и типическіе образы; все это предвѣщало, что въ лицѣ его готовится, какъ выразился Гоголь,—будущій великій живописецъ русскаго быта. Оставаясь въ предѣлахъ нашей задачи, попытаемся сдѣлать характери-

ку женскихъ личностей романа Лермонтова, съ которыми Печоринъ сталкивается на Кавказѣ. Мы остановимся подробнѣе на Вѣрѣ, личность которой, самая интересная въ психологическомъ отношеніи, оставлена почему-то въ тѣни предшествующей критикой. Вѣра представляетъ собой оригинальный типъ женщины, которую съ полнымъ правомъ можно назвать мученицей своего чувства. Эмоціональность развита въ ней въ высокой степени, но эта эмоціональность односторонняя. Любовь охватываетъ ея сердце съ такой роковой силой, что всѣ остальные чувства являются у ней какъ-бы атрофированными. Она теряетъ нравственное равновѣсіе, теряетъ власть надъ собой и соотвѣтственно этому надъ ней пріобрѣтаетъ почти деспотическую власть тотъ, кого она любитъ. Нельзя сказать, чтобы женщины этого типа въ своихъ любовныхъ увлеченіяхъ руководились исключительно чувственной страстью или жаждой наслажденій. Напротивъ того, въ большинствѣ случаевъ любовь даетъ имъ очень мало радостей и очень много горя и упрековъ совѣсти. Такова многострадальная героиня романа Лермонтова. Встрѣтившись съ Печоринымъ въ петербургскомъ свѣтѣ, Вѣра, бывшая уже замужемъ, не замедлила поддаться обаянію его чарующей, демонической личности. Гордымъ титаномъ предсталъ онъ передъ ней, и простодушная женщина пала въ прахъ передъ его непонятымъ людьми величіемъ. Онъ ее увлекъ, измучилъ и бросилъ. Съ тѣхъ поръ прошло нѣсколько лѣтъ. Вѣра потеряла перваго мужа, вышла замужъ за второго, богатаго старика, и пріѣхала съ нимъ и съ малолѣтнимъ сыномъ отъ перваго брака на Кавказъ, на воды. Тутъ-то и происходитъ ея вторая и послѣдняя встрѣча съ Печоринымъ. Съ первыхъ же минутъ встрѣчи онъ доводитъ ее до слезъ своими язвительными намеками, потомъ снова увлекаетъ ее и, увѣряя ее въ любви, въ то же время волочитъ за княжной Мэри и заставляетъ Вѣру страшно ревновать его къ ней. „Ты знаешь“,—говоритъ она Печорину,—„что я твоя раба, что я никогда не умѣла тебѣ противиться... и я буду за то наказана: ты меня разлюбишь“. Самъ Печоринъ,—этотъ тонкій знатокъ женскаго сердца, умѣющій играть на немъ, какъ на послушномъ инструментѣ, не можетъ додуматься до источника этой необъяснимой привязанности. „За что она меня такъ любитъ—право не знаю, тѣмъ болѣе, что это единственная женщина, которая поняла меня совершенно, со всѣми моими слабостями и дурными страстями? Неужели зло такъ привлекательно?“ Разставаясь съ Печоринымъ навсегда, Вѣра въ своемъ послѣднемъ письмѣ сама пытается разъяснить

намъ тайну своей странной привязанности къ Печорину; ея объясненія доказываютъ, что идеальный и романическій элементъ игралъ гораздо болѣе важную роль въ ея любви, чѣмъ страсть:

„Мы расстаемся на вѣки; однакожь ты можешь быть увѣренъ, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя всѣ свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая разъ тебя не можетъ смотрѣть безъ нѣкотораго презрѣнія на прочихъ мужчинъ, не потому, чтобы ты былъ лучше ихъ, о нѣтъ! но въ твоей природѣ есть что-то особенное, тебѣ одному свойственное, что-то гордое и таинственное; въ твоемъ голосѣ, что бы ты ни говорилъ, есть власть непобѣдимая. Никто не умѣетъ такъ постоянно хотѣть быть любимымъ; ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно; ни чей взоръ не общаетъ столько блаженства и никто не можетъ быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается увѣрить себя въ противномъ“.

Одинъ изъ критиковъ „Героя нашего времени“ назвалъ Вѣру сатирой на женщинъ. Выраженіе рѣзкое и несправедливое! Хотя Вѣра принадлежитъ къ числу тѣхъ женщинъ, у которыхъ чувство сильнѣе долга и собственнаго достоинства, но ее нельзя назвать типомъ отрицательнымъ. У ней есть то, что составляетъ основу всякой истинной женственности, — способность любить, жертвовать собой и прощать. Поставленная въ другія условія, эта женщина, при ея готовности приносить въ жертву все для любого человѣка, могла бы составить счастье любимаго мужчины. Если даже отвергнуть гипотезу проф. Висковатова, что въ личности Вѣры есть нѣсколько чертъ, перенесенныхъ на нее изъ характера В. А. Лопухиной, то все-таки нельзя допустить, чтобы такой поэтъ, какъ Лермонтовъ, могъ отнестись съ сатирической точки зрѣнія къ представительницѣ той роковой и таинственной силы любви, которую онъ воспѣвалъ много лѣтъ въ своихъ стихотвореніяхъ.

Прощальное письмо Вѣры къ Печорину интересно еще въ другомъ отношеніи. Въ первоначальной редакціи оно заканчивалось мольбою Вѣры къ Печорину, чтобы онъ женился на княжнѣ Мэри. „Мэри тебя любить... Если что-нибудь доброе кроется въ твоей душѣ, женись на ней! О, не погуби ее! Одной довольно!“ Эти великодушныя слова въ значительной степени примиряютъ насъ съ Вѣрой и прибавляютъ весьма привлекательную черту къ ея нравственному характеру, но для Лермонтова дороже всего художественная правда. Вдумавшись въ нихъ глубже,

онъ, находившій неестественнымъ, чтобы мужчина могъ принести въ жертву свое чувство для счастья любимой женщины нашелъ еще болѣе неестественнымъ чтобы женщина, одаренная такимъ страстнымъ темпераментомъ и способная къ такой исключительной, можно сказать, фанатической привязанности, могла искренно пожелать любимому человѣку быть счастливымъ съ другой, и потому въ исправленномъ текстѣ онъ замѣнилъ великодушную просьбу Вѣры къ Печорину просьбой совершенно противоположнаго характера, которой она и заканчиваетъ свое письмо: „Неправда ли, ты не любишь Мэри? Ты не женишься на ней? Послушай, ты долженъ принести мнѣ эту жертву, я для тебя потеряла все на свѣтѣ“. Посредствомъ этой замѣны Вѣра, правда проигрываетъ въ нравственномъ отношеніи, но зато сильно выигрываетъ въ смыслѣ цѣльности своего психологическаго типа. Характеристика Вѣры у Лермонтова—это блистательный психологическій этюдъ, одинаково совершенный, какъ въ общемъ замыслѣ, такъ и въ отдѣлкѣ деталей. Что, напримѣръ, можетъ быть милѣе и женственнѣе слѣдующихъ словъ Вѣры, обращенныхъ къ Печорину и мгновенно озаряющихъ глубину ея деликатной любящей и поэтической натуры: „О, я прошу тебя: не мучь меня попрежнему пустыми сомнѣніями и притворной холодностью. Я можетъ быть скоро умру; я чувствую, что слабѣю со дня на день... и несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебѣ... Вы, мужчины, не понимаете наслажденій взора, пожатія руки... а я, клянусь тебѣ, я, прислушиваясь къ твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые страстные поцѣлуи не могутъ замѣнить его“...

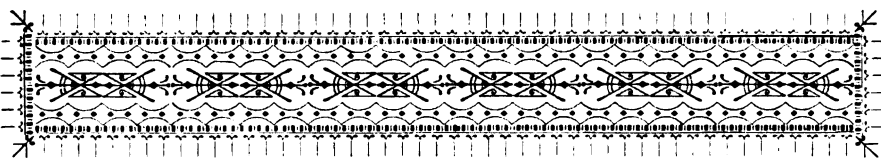
Легкая и изящная княжна Мэри съ ея стройнымъ станомъ и бархатными глазками, которые, по выраженію Печорина, такъ мягки, какъ-будто они тебя гладятъ, принадлежитъ къ другому типу женщинъ. Это—натура болѣе уравновѣшенная и сдержанная и менѣе страстная, и потому по отношенію къ ней Печоринъ держится другой тактики. Тщательно изучивъ женское сердце, хорошо зная, что въ немъ самая ненависть ближе къ любви, чѣмъ равнодушіе, Печоринъ старался дѣлать мелкія непріятности княжнѣ: безцеремонно лорнируетъ ее, отвлекаетъ отъ нея кавалеровъ во время прогулки, перекупаетъ коверъ, который она хотѣла купить, и т. д. Онъ въ короткое время достигаетъ своей цѣли; княжна считаетъ его дерзкимъ и при встрѣчѣ даритъ его взглядомъ, который выражаетъ досаду, стараясь выразить равнодушіе. „Въ продолженіе двухъ дней,—пишетъ Печоринъ въ своемъ

дневникъ,—„дѣла мои ужасно подвинулись: княжна меня ненавидитъ“. Молва между тѣмъ помогаетъ Печорину. Носятся слухи, что онъ сосланъ на Кавказъ за какую-то романическую исторію; сама княгиня рассказываетъ дочери эту исторію и сильно заинтересовываетъ ее личностью Печорина. Когда послѣдній чувствуетъ что почва для него достаточно подготовлена, онъ знакомится съ княжной на балу. Счастливый случай помогаетъ ему оказать ей существенную услугу, защитивъ ее отъ дерзостей полупьянаго драгунскаго капитана; въ разговорѣ съ ней онъ тщательно избѣгаетъ упоминанія объ этой непріятной исторіи, но мимоходомъ даетъ княжнѣ вскользь почувствовать, что она ему давно нравится. Заронивъ такимъ образомъ искру въ ея сердце, Печоринъ искусно раздуваетъ ее то нѣжностью, то равнодушіемъ. Однажды, въ припадкѣ откровенности, стараясь придать своему тону какъ можно больше искренности, онъ рассказываетъ печальную исторію своей жизни, говоритъ о томъ, что онъ былъ готовъ любить весь міръ, но что люди его не поняли, что вслѣдствіе этого лучшія чувства въ немъ умерли, а въ душѣ его поселился холодное и безсильное отчаяніе,—словомъ, повторяетъ ей все то, что онъ по всей вѣроятности говорилъ Вѣрѣ и другимъ женщинамъ. Печоринъ съ восторгомъ наблюдалъ, какъ при его разказахъ въ глазахъ Мэри дрожали слезы и какъ состраданіе впустило свои когти въ ея неопытное сердце; онъ по опыту знаетъ что у женщинъ отъ состраданія одинъ шагъ до любви. Благородная по натурѣ княжна не могла допустить мысли, чтобъ Печоринъ игралъ ея чувствомъ. Видя, что онъ колеблется сдѣлать рѣшительный шагъ, и объясняя по-своему его нерѣшительность, она дѣлаетъ усиліе надъ собой, побѣждаетъ свою стыдливость и сама первая говоритъ ему великое слово *люблю*. Когда же Печоринъ, насытивъ этимъ признаніемъ свое самолюбіе, съ свойственнымъ ему цинизмомъ откровенности объявляетъ княжнѣ, что онъ никогда не любилъ ея, она, униженная и оскорбленная, замыкается въ чувство собственнаго достоинства и, оставшись наединѣ съ собой, по ночамъ оплакиваетъ свое горе. Княжна Мэри представляетъ собой въ ряду женскихъ личностей, созданныхъ Лермонтовымъ, типъ обработанный тщательно и полно. Образъ ея такъ полонъ жизни и художественной правды, что кажется, будто гдѣ-то встрѣчалъ ее или надѣешься встрѣтить. Ухаживаніе за ней Грушницкаго и Печорина это рядъ необычайно тонкихъ психологическихъ штриховъ, которымъ нельзя вдоволь надивиться.

Мнѣ слѣдовало бы дать вамъ характеристику Бэлы, этой первобытной, непосредственной натуры, этого дикаго и благоуханнаго цвѣтка, выросшаго въ разсѣлинахъ кавказскихъ скалъ, если бы все, что можно сказать о ней, не было давно исчерпано въ превосходной статьѣ Бѣлинскаго, помѣщенной въ III-мъ томѣ полнаго собранія его сочиненій. Замѣчу только, что за исключеніемъ шекспировской Миранды трудно найти во всемірной литературѣ болѣе очаровательное воплощеніе женственности, какою она вышла изъ рукъ природы.

„Герой нашего времени“ вышелъ въ свѣтъ въ 1840 г.; меньше чѣмъ черезъ годъ Лермонтова не стало. Еще Гоголь замѣтилъ, что никто до Лермонтова не писалъ у насъ такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Но этимъ не исчерпывается значеніе этого гениальнаго произведенія въ исторіи русской литературы. „Герою нашего времени“ Лермонтовъ положилъ прочную основу нашему психологическому роману. Хотя Тургеневъ и Достоевскій считали себя учениками Пушкина, но по психологическому пошибу творчества ихъ романы и повѣсти тѣснѣе примыкаютъ къ „Герою нашего времени“, чѣмъ къ „Капитанской дочкѣ“ и повѣстямъ Пушкина. При обсужденіи литературной дѣятельности Лермонтова не нужно упускать изъ виду, что онъ не успѣлъ сдѣлать и половины того, что могъ сдѣлать, что онъ едва началъ выходить изъ своихъ Wanderjahre, т.-е. изъ эпохи шатанія и исканія пути, которая есть у каждого крупнаго таланта. Произведенія Лермонтова напоминаютъ собою великолѣпное, но далеко недостроенное зданіе. Мы любуемся его фасадомъ, расположеніемъ комнатъ, солидностью матеріала, употребленнаго для постройки, но мы и предугадать не можемъ всѣхъ тѣхъ красотъ, которыми поразилъ бы насъ талантъ архитектора, если бы ему удалось осуществить свой планъ и довести зданіе до конца. Когда мы подумаемъ, что Лермонтовъ погибъ 27 лѣтъ отъ роду, что въ предѣлахъ такъ скупо отмѣренной ему жизни онъ успѣлъ написать, кромѣ множества лирическихъ стихотвореній, поставившихъ его имя рядомъ съ именемъ Пушкина, такія произведенія, какъ „Демонъ“, „Мцыри“, „Сказка про царя Ивана Васильевича“ и „Герой нашего времени“, то мы почувствуемъ потребность благоговѣнно преклониться передъ силой его поэтическаго таланта, передъ этой необыкновенной мощью творчества, которая была неизсякаемымъ ключемъ изъ его гениальной природы.





Поэтъ-мыслитель *).

(По поводу пятидесятилѣтія смерти Баратынскаго).

Поставивъ одной изъ своихъ задачъ устраивать отъ времени до времени литературныя поминки по отшедшимъ въ вѣчность русскимъ поэтамъ, О. Л. Р. С. постановило въ числѣ другихъ поэтовъ помянуть добрымъ словомъ и Е. А. Баратынскаго, тѣмъ болѣе, что скоро исполнится ровно полстолѣтія со времени его кончины. Странная судьба постигла стихотворенія Баратынскаго! Его первые поэтическіе опыты въ анакреонтическомъ родѣ, печатавшіеся въ началѣ двадцатыхъ годовъ въ нашихъ журналахъ, были встрѣчены съ восторгомъ и критикой и публикой. Затѣмъ скоро наступила реакція. Чѣмъ болѣе мужалъ талантъ поэта, чѣмъ глубже становилось содержаніе его произведеній, тѣмъ холоднѣе къ нему относились и критика и публика. Возмущенный такимъ несправедливымъ отношеніемъ къ таланту поэта, котораго онъ высоко цѣнилъ, Пушкинъ пишетъ въ „Литературной Газетѣ“ Дельвига цѣлую статью о Баратынскомъ, въ которой первой причиною охлажденія публики къ поэту считаетъ возрастающую зрѣлость его произведеній. „Понятія и чувства 18-лѣтняго поэта, говоритъ онъ, близки и сродны всякому; молодые читатели понимаютъ его и съ восхищеніемъ узнаютъ въ его произведеніяхъ собственныя чувства и мысли, выраженные живо, ясно, гармонически. Но лѣта идутъ—юный поэтъ мужаетъ, талантъ его растетъ, понятія становятся выше, чувства измѣняются—пѣсни его уже не тѣ, а читатели всѣ тѣ же, развѣ только сдѣлались еще холоднѣе сердцемъ

*) Читано на литературномъ вечерѣ, устроенномъ О. Л. Р. С. въ память Баратынскаго и Некрасова, 27 марта 1894 г.

и равнодушнѣе къ поэзіи жизни.—Поэтъ отдѣляется отъ нихъ и мало-по-малу уединяется совершенно. Онъ творитъ для самого себя и если изрѣдка еще обнародываетъ свои произведенія, то встрѣчаетъ холодное невниманіе. А между тѣмъ — продолжаетъ Пушкинъ — Баратынскій принадлежитъ къ числу отличныхъ нашихъ поэтовъ. Онъ оригиналенъ, ибо мыслить, и мыслить по-своему правильно и независимо, между тѣмъ какъ чувствуетъ сильно и глубоко. Гармонія его стиховъ, свѣжесть слога, живость и точность выраженія должны поразить всякаго, хотя нѣсколько одареннаго вкусомъ и чувствомъ“. Къ сожалѣнію этотъ восторженный отзывъ о Баратынскомъ величайшаго изъ нашихъ поэтовъ не оказалъ вліянія на отношеніе къ нему критики. Князь Вяземскій склоненъ думать, что самъ Пушкинъ больше всѣхъ былъ виной непопулярности Баратынскаго, потому что невольно заслонялъ его собою, давилъ его своимъ превосходствомъ. Какъ бы то ни было, но когда въ 1835 г. вышло въ свѣтъ собраніе стихотвореній Баратынскаго, вотъ какой отзывъ далъ о нихъ Бѣлинскій въ *Молотѣ*: „нѣсколько разъ“— говоритъ онъ — „перечитывалъ я стихотворенія Баратынскаго и вполнѣ убѣдился, что поэзія только изрѣдка и слабыми искорками блеститъ въ нихъ. Основной и главный элементъ ихъ составляетъ умъ, изрѣдка задумчиво разсуждающій о высокихъ человѣческихъ предметахъ, почти всегда скользящій по нимъ, всего чаще разсыпавшійся каламбуромъ и блещущій островами“ (Соч., т. I, стр. 248). Проходитъ еще нѣсколько лѣтъ, и хотя имя Баратынскаго изрѣдка появляется въ журналахъ, но о немъ ужъ больше не говорятъ, такъ что когда въ 1842 г. вышелъ въ свѣтъ новый сборникъ его стихотвореній *Сумерки*, то, по словамъ Лонгинова, онъ произвелъ впечатлѣніе привидѣнія, явившагося среди удивленныхъ и недоумѣвающихъ лицъ, не умѣющихъ дать себѣ отчета въ томъ, какая это тѣнь и чего она проситъ отъ потомковъ? Правда, Бѣлинскій въ своей статьѣ, посвященной *Сумеркамъ*, нѣсколько исправляетъ свой прежній отзывъ о Баратынскомъ, признаетъ его талантъ яркимъ и замѣчательнымъ, и его самого лучшимъ изъ поэтовъ, появившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ, но тутъ же по какому-то странному недоразумѣнію съ свойственною ему страстностью обрушивается на Баратынскаго за его мнимую ненависть къ наукѣ и неразумное пристрастіе къ младенческимъ суевѣріямъ. Черезъ два года Баратынскій умираетъ на 44 году жизни, въ полномъ расцвѣтѣ силъ и таланта — и его безвременная смерть проходитъ почти незамѣченной въ литературѣ. Журналы за весьма немногими исключеніями либо ограничиваются

помѣщеніемъ сухого некролога поэта, либо принимаются ехидно доказывать—какъ это сдѣлалъ напимѣръ критикъ Б. д. Чтенія,— что Баратынскій не былъ поэтомъ, что источникъ его элегическаго вдохновенія изсякъ, какъ только кончились его жизненные испытанія. Со времени смерти Баратынскаго прогрессъ забвенія его стихотвореній пошелъ такими быстрыми шагами, что кн. Вяземскій въ 1869 г. имѣлъ полное право написать въ своей Записной Книжкѣ слѣдующія горькія слова: „Какъ непонятна и смѣшна была бы въ наше время сентиментальная проза Карамзина, такъ равно покажется страннымъ и совершенно отсталымъ мое обращеніе къ Баратынскому, нынѣ едва ли не забытому поколѣніемъ ему современнымъ и вѣроятно совершенно неизвѣстному поколѣнію новѣйшему“. Даже въ исторіи литературы Баратынскому не нашлось мѣста: Милюковъ, писавшій подъ влияніемъ Бѣлинскаго, въ своей *Исторіи Русской Поэзіи* посвящаетъ Баратынскому всего двѣ строки, а Водовозовъ въ своей книгѣ *Новая Русская Литература* совсѣмъ не упоминаетъ о немъ. Если бы въ хрестоматіяхъ не перепечатывалось знаменитое стихотвореніе *На смерть Гёте*, если бы Глинка не написалъ чудной музыки на слова Баратынскаго *Не искушай меня безъ нужды*, то весьма вѣроятно, что публика знала бы о Баратынскомъ не больше того, сколько она знаетъ напр. о Подолинскомъ и во всякомъ случаѣ меньше, чѣмъ о Козловѣ. Въ послѣднее время впрочемъ замѣчается поворотъ къ лучшему: два изданія стихотвореній Баратынскаго, изданныя его сыновьями, вновь напомнили публикѣ забытаго поэта и дали поводъ говорить о немъ критикѣ. Г. Венгеровъ въ своемъ *Критико-библіографическомъ Словарѣ* посвящаетъ ему обстоятельную статью, а г. Андріевскій въ своихъ *Литературныхъ Чтеніяхъ* (С.-Пб. 1891 г.) дѣлаетъ попытку реабилитировать поэзію Баратынскаго и по этому поводу весьма удачно полемизируетъ съ Бѣлинскимъ.

Въ чемъ же состоитъ сущность поэзіи Баратынскаго, какіе мотивы въ ней преобладаютъ и какъ отражается въ его стихотвореніяхъ его личность — вотъ вопросы, на которыхъ я остановлюсь, насколько мнѣ позволитъ время.

Умѣвшій глубоко проникать въ человѣческую душу, Пушкинъ въ извѣстномъ посланіи къ Дельвигу однимъ мѣткимъ словомъ сразу опредѣлилъ характеръ Баратынскаго, назвавши его нашимъ Гамлетомъ. Дѣйствительно, и у Гамлета и у Баратынскаго мы замѣчаемъ общія черты — неудовлетвореніе жизнью и мучительный душевный разладъ, происходящій отъ сильнаго развитія рефлексіи и анализа. Разница между англійскимъ Гамлетомъ и его русскимъ

соименникомъ состоитъ въ томъ, что у Гамлета рефлексія и анализъ преобладаютъ надъ активной силой, парализуютъ его волю, мѣшаютъ ему притти къ какому-нибудь твердому рѣшенію, а у Баратынскаго рефлексія и анализъ отравляютъ своимъ прикосновеніемъ сладкое чувство бытія, мѣшаютъ ему отдаться своимъ непосредственнымъ впечатлѣніямъ, жить какъ живутъ другіе. И такъ, вѣчная борьба непосредственнаго чувства съ развѣдающимъ анализомъ, прикосновеніе котораго сразу убиваетъ нѣжные цвѣты счастья и надежды—вотъ драма, постоянно разыгрывающаяся въ сердцѣ поэта, которую можно прослѣдить съ самаго дѣтства Баратынскаго вплоть до его кончины. Дѣтскія письма поэта поражаютъ вдумчивымъ отношеніемъ ребенка къ окружающей жизни. Въ одномъ изъ писемъ къ матери изъ петербургскаго пансіона восьмилѣтній Баратынскій сообщаетъ свои первыя жизненныя разочарованія. „Я думалъ“—пишетъ онъ—„найти здѣсь дружбу, но нашелъ лишь холодную, притворную учтивость и дружбу разсчитливую. Нѣсколько лѣтъ спустя Баратынскій, уже поступившій въ Пажескій корпусъ, начинаетъ тяготиться пребываніемъ своимъ въ немъ и проситъ мать перевести его въ Морской корпусъ, такъ какъ онъ чувствуетъ сильную склонность къ морской службѣ. Посмотрите, какими аргументами 14-лѣтній философъ надѣялся побѣдить упорство матери и ея вполне понятныя опасенія: „Я знаю“ — пишетъ онъ — „сколько вашему сердцу должно быть тяжело, что я вступлю въ службу, столь опасную, но скажите, знаете ли вы какое-либо мѣсто въ мірѣ, гдѣ бы жизнь человѣка не была подвержена тысячѣ опасностей? Вездѣ, малѣйшее дуновеніе можетъ разрушить слабую пружину, которую мы называемъ жизнью. Я умоляю, милая маменька, не противиться моей склонности. Я не могу служить въ гвардіи: ее слишкомъ берегутъ; во время войны она остается въ постыдномъ бездѣйствіи. Вѣрьте, милая маменька, ко всему можно привыкнуть, кромѣ бездѣйствія и скуки. Я бы даже предпочелъ въ полномъ смыслѣ слова несчастіе невозмутимому покою. Сознаніе моихъ бѣдствій удостовѣряло бы меня въ томъ, что я существую“.—Проходитъ два года, и философъ въ духѣ Декарта неожиданно превращается въ философа школы Шопенгауера. Онъ пишетъ матери изъ сельца Подвойскаго, имѣнія дяди, совершенно пессимистическое письмо, изъ котораго видно, что неотвязная мысль о непрочности человѣческаго счастья мѣшала 16-лѣтнему русскому Гамлету наслаждаться деревенскимъ привольемъ. „Я сознаю въ себѣ“—пишетъ Баратынскій—„пренесносное свойство характера, отчасти отравляющее жизнь мою: во

мнѣ есть склонность слишкомъ издадека предвидѣть все то, что мнѣ можетъ случиться непріятнаго. Иногда челоѣкъ посреди всего того, что, повидимому, должно было бы сдѣлать его счастливымъ, носить въ душѣ своей сокрытый ядъ, который гложетъ его и дѣлаетъ неспособнымъ къ какому бы то ни было радостному ощущенію“. Письмо это было послѣднимъ письмомъ Баратынскаго изъ Пажескаго корпуса. Замѣшанный вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ своихъ товарищей въ одну весьма некрасивую исторію, Баратынскій былъ совсѣмъ исключенъ изъ корпуса. Это несчастное событіе, унизившее Баратынскаго въ глазахъ другихъ и его собственныхъ, произвело, по свидѣтельству его друга и родственника Путята, подавляющее впечатлѣніе на чувствительнаго юношу и наложило на его характеръ ту глубокую задумчивость и грусть, которою такъ искренно проникнуты всѣ его произведенія. Онъ всячески старался искупить свой юношескій грѣхъ, заставить всѣхъ позабыть лежащее на его имени пятно, и послѣ двухлѣтнихъ стараній былъ въ 1819 г. опредѣленъ рядовымъ въ одинъ изъ гвардейскихъ полковъ. Живя въ Петербургѣ, Баратынскій сблизился съ Жуковскимъ, Плетневымъ, Пушкинымъ, Кюхельбекеромъ, Дельвигомъ и др. Юность Баратынскаго, какъ и всякаго молодого челоѣка, была не чужда увлеченій; Вакхъ и Киприда играли въ ней далеко не послѣднюю роль, но въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Баратынскаго мы тщетно стали бы искать той нѣги, того вакхическаго упоенія, которыми проникнуты стихотворенія современныхъ ему поэтовъ. По всему видно, что чувственный угаръ не могъ наполнить собой души поэта, на днѣ которой съ ранней поры свили свое прочное гнѣздо рефлексія и разочарованіе*). Весьма характерно въ этомъ отношеніи стихотвореніе, написанное двадцатилѣтнимъ поэтомъ при полученіи извѣстія, что онъ скоро увидится съ предметомъ своей страсти:

Ужъ близокъ, близокъ день свиданья,
Тебя, мой другъ, увижу я!
Скажи, восторгомъ ожиданья
Что жъ не трепещешь, грудь моя?
Не мнѣ роптать, но дни печали
Быть можетъ, поздно миновали.

*) Замѣчательно, что Баратынскій принадлежалъ къ тѣмъ немногимъ русскимъ людямъ, у которыхъ раннее разочарованіе проявилось совершенно самостоятельно и независимо отъ Байроновскаго вліянія. Страстный поклонникъ самостоятельности въ поэзіи, Баратынскій негодовалъ на подражателей и въ своемъ посланіи къ Мицкевичу укоряетъ послѣдняго въ томъ, что, будучи самъ великимъ поэтомъ, онъ лежитъ у ногъ Байрона.

Съ тоской на радость я гляжу,
Не для меня ея сіянье,
И я напрасно упованье
Въ больной душѣ моей бужу.
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполне:
Все мнится, счастливъ я ошибкой,
И не къ лицу веселье мнѣ.

Въ 1820 г., къ которому относится приведенное стихотвореніе, Баратынскій былъ переведенъ въ чинъ унтеръ-офицера въ пѣхотный Нейшлотскій полкъ, стоявшій въ какомъ-то захолустьи въ Финляндіи. Друзья отъ всей души сожалѣли даровитаго юношу, обреченнаго влачить въ одиночествѣ и скукѣ тяжелую жизнь солдата. „Бѣдный Баратынскій!“—писалъ Пушкинъ къ Вяземскому—„какъ объ немъ подумаешь, такъ по неволѣ постыдишься унывать“. Баратынскій провелъ въ Финляндіи около пяти лѣтъ, и нужно сознаться, что въ общемъ это пребываніе было весьма благопріятно для его поэтической дѣятельности.—Суровыя красоты природы, досугъ и невольное одиночество—все это заставило юнаго поэта глубже вдуматься въ жизнь. Результатомъ этихъ думъ было сознательное и глубокое разочарованіе, которымъ проникнуты стихотворенія *Не искушай меня безъ нужды*, *Безнадежность* и др. Въ стихотвореніи *Истина*, относящемся къ 1824 г., поэтъ жалуется, что разочарованіе совершилось не вполне, что въ его душѣ все еще живетъ сожалѣніе о золотыхъ снахъ юности, о грезахъ счастья и любви. Отслуживъ положенный срокъ въ Финляндіи, Баратынскій былъ произведенъ въ офицеры, вышелъ въ отставку и поселился въ Москвѣ. Въ своихъ стихотвореніяхъ онъ не разъ высказывалъ неудовлетвореніе легкомысленными увлеченіями молодости и желаніе прочной привязанности:

Оставимъ юнымъ шалунамъ
Слѣпую жажду сладострастья,
Не упоенія, а счастья
Искать для сердца нужно намъ. (*Посланіе къ Коншину*).

Это счастье онъ думалъ найти въ женитьбѣ на Настасѣ Львовнѣ Энгельгартъ. И письма Баратынскаго, и рассказы современниковъ, и стихотворенія, посвященные женѣ, свидѣтельствуютъ, что съ обѣихъ сторонъ это былъ бракъ по любви, и что Баратынскій, повидимому, долженъ былъ найти въ немъ полное удовлетвореніе своей жажды тихаго семейнаго счастья. Въ дѣйствительности дѣло стояло иначе. И это вполне понятно, ибо источникъ печали заключался не внѣ, но внутри поэта, и не было на

свѣтъ женщины, которая своею любовью могла бы уничтожить душевное раздвоение, притупить острее анализа, снять съ души бремя, налагаемое тяжелыми общественными условіями, въ которыхъ приходилось жить поэту *). Баратынскій женился въ 1826 г., и уже въ слѣдующемъ году мы читаемъ въ его стихотвореніяхъ, что онъ утомленъ душой, что у него прошла охота пѣть и что онъ повеселѣеть, когда умереть. Къ тому же году относится прекрасное стихотвореніе *Когда взойдетъ денница золотая*, гдѣ поэтъ рисуешь въ такихъ чертахъ свое тогдашнее душевное настроеніе:

Страдаю я! Изъ-за дубравы дальней
Взойдетъ заря,
Міръ озарить, души моей печальной
Не озаря.
Будь новый день любимцу въ счастье, сладость,
Душѣ моей
Противенъ онъ. Что прежде въ радость,
То въ муку ей...

Просматривая стихотворенія Баратынскаго, написанныя послѣ женитьбы, мы замѣчаемъ, что мрачное настроеніе поэта не только не ослабѣло, но скорѣе усилилось,—знакъ, что въ тихомъ семейномъ счастьѣ онъ не нашелъ избавленія отъ преслѣдовавшей его тоски. Замѣчательнѣе всего, что источникомъ этого мрачнаго настроенія является у нашего Гамлета, какъ и у Шекспировскаго, рефлексъ, анализъ, мысль. Пушкинъ любилъ приводить выраженіе Баратынскаго, что въ женихахъ счастливъ только дуракъ, ибо мыслящій челоуѣкъ безпокоенъ и волнуемъ мыслью о будущемъ. Въ недоконченной поэмѣ *Воспоминаніе*, сравнивая свою прежнюю непосредственность съ послѣдующимъ сознательнымъ существованіемъ, Баратынскій даетъ понять, что въ прежнее время онъ былъ счастливъ потому, что жилъ заодно съ природой и не зналъ ни страстей, ни тиранніи мысли:

Не зналъ я радостей, не зналъ я мукъ другихъ,
За мигомъ не успѣлъ другой предвидѣть мигъ,
Я слишкомъ счастливъ былъ спокойствіемъ незнанья...

Въ прекрасномъ стихотвореніи *Весна*, описавъ ликованіе всей природы весною, поэтъ завидуетъ тому счастливцу, который на

*) Хотя Баратынскій своей службой въ Финляндіи загладилъ свой юношескій грѣхъ, но связи его съ кружкомъ петербургскихъ либераловъ не были ему прощены. Погодинъ въ своемъ „Дневникѣ“ подъ 1826 г. пишетъ: „Мицкевичъ находился тогда подъ надзоромъ полиціи, да и самъ Пушкинъ съ Баратынскимъ были еще не совершенно обѣлены“. (Барсуковъ, Жизнь и Труды Погодина, т. II, стр. 70).

пиру природы *забвенье мысли нѣтъ*. Баратынскій отлично зналъ, что это постоянное преобладаніе мысли и анализа надъ непосредственнымъ чувствомъ нарушаетъ гармонію человѣческаго существованія, что дума легла, по его выраженію, могильной насыпью на его грудь, что передъ обнаженнымъ мечомъ мысли блѣднѣетъ земная жизнь, но онъ не могъ сладить съ собой и могъ только въ отчаяніи восклицать:

На что вы, дни? Юдольный міръ явленья
Свои не измѣнить!
Всѣ вѣдомы, и только повторенья
Грядущее сулить.
Не даромъ ты металась и кипѣла,
Развитіемъ спѣша,
Свой подвигъ ты свершила прежде тѣла,
Безумная душа!

Бывали минуты, когда, подавленный своимъ мрачнымъ настроеніемъ, видя въ жизни одни повторенія, Баратынскій, подобно италіанскому поэту-пессимисту, пѣвцу смерти Леопарди, призываетъ къ себѣ смерть, какъ желанную гостью, надѣлая ее, подобно Леопарди, самыми нѣжными эпитетами:

О дочь верховнаго ээира,
О свѣтозарная краса!
Въ рукахъ твоихъ олива мира,
А не губящая коса!
Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба.
Недоумѣнье, принужденье,
Условье смутныхъ нашихъ дней;
Ты всѣхъ загадокъ разрѣшенье,
Ты разрѣшенье всѣхъ цѣпей!

Если преобладаніе рефлексіи и анализа помѣшало Баратынскому вкусить сладость простого непосредственнаго человѣческаго счастья, по которомъ такъ томилась его душа, то присутствіе этихъ элементовъ въ его поэзіи помѣшало ему сдѣлаться лирикомъ въ пушкинскомъ смыслѣ этого слова, т.-е., лирикомъ, способнымъ откликаться сердцемъ на все поэтическое въ природѣ и жизни. Философскій складъ ума и вѣчное самоуглубленіе, такъ рано проявившееся въ его письмахъ, постоянно отвлекали его поэзію отъ жизненныхъ явленій къ темамъ общаго философскаго характера. Такъ въ стихотвореніи *Послѣдній Поэтъ* онъ разсуждаетъ о вредномъ вліяніи высокой промышленной культуры на поэзію; въ стихотвореніи *Примѣты* онъ затрогиваетъ вопросъ объ

отношеніи науки къ прежнему поэтическому воззрѣнію на природу; въ діалогѣ *Онъ и Она* онъ излагаетъ прекрасными стихами задуманное въ кантовскомъ духѣ доказательство будущей жизни. Всѣ эти стихотворенія ясно доказываютъ, что Баратынскій былъ не только поэтъ, но и мыслитель, что поэтическая фантазія его была окрыляема, какъ у его любимаго поэта Гете, не только чувствомъ, но и мыслью. Благодаря такому свойству таланта Баратынскаго, его поэзія всегда останется поэзіей для немногихъ. Но, кромѣ того, есть еще обстоятельство, которое помѣшаетъ стихотвореніямъ нашего поэта-мыслителя сдѣлаться когда нибудь общимъ достояніемъ—это несовершенство формы, тусклость образовъ, тяжеловатость стиха. Хотя въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Баратынскаго техника стиха доведена до изумительнаго совершенства, приводившаго въ восторгъ даже такого виртуоза формы, какимъ былъ Пушкинъ, но, судя по количеству вариантовъ, должно думать, что эта отдѣлка дорого стоила поэту. Баратынскій не могъ сказать о себѣ подобно Пушкину:

Давай мнѣ мысль какую хочешь,
Ее съ конца я заострю,
Летучей риемой оперю и т. д.

Легкость и гармонія стиха давались ему съ боя, послѣ упорной филигранной отдѣлки, и Тургеневъ въ одномъ письмѣ къ Аксакову справедливо замѣтилъ, что въ стихотвореніяхъ Баратынскаго видны слѣды не только рѣзца, но даже подпилка. Въ особенности это справедливо по отношенію къ стихотвореніямъ общаго характера, въ которыхъ онъ болѣе заботился о точности выраженія, чѣмъ о совершенствѣ формы. Но, когда исключительнымъ вдохновеніемъ Баратынскаго было чувство, тогда онъ становился настоящимъ поэтомъ, и изъ его переполненнаго сердца выливались стихи, которые по своей искренности, художественной простотѣ, силѣ и гармоніи смѣло могутъ быть поставлены рядомъ съ лучшими стихами Пушкина и Лермонтова. Возьмемъ для примѣра два стихотворенія *Весна* и *Признаніе*. Ни у кого изъ поэтовъ, за исключеніемъ развѣ Гете и Шелли, мы не встрѣтимъ такого пантеистическаго восторга, объявшаго чуткую душу поэта при видѣ ликующей весенней природы. Проникнутый этимъ восторгомъ, Баратынскій восклицаетъ:

Что съ нею, что съ моей душой?
Съ ручьемъ она ручей
И съ птичкой птичка. Съ нимъ журчитъ,
Летаетъ въ небѣ съ ней.

Въ стихотвореніи *Признаніе* Баратынскій беретъ другой мотивъ изъ человѣческой жизни, можетъ быть изъ своей собственной, и обработка его доказываетъ, что нашему поэту были одинаково доступны и поэзія природы и поэзія тонкихъ душевныхъ ощущеній. Рѣдкій изъ людей не переживалъ хоть разъ въ жизни того мучительнаго состоянія, когда всѣ усилія воскресить въ своей душѣ когда-то милый образъ становятся тщетными, когда этотъ образъ, нѣкогда озарявшій нашу душу яркимъ свѣтомъ, скользитъ теперь по ней какой-то неуловимой тѣнью. Пушкинъ увѣковѣчилъ этотъ моментъ въ стихотвореніи *Подъ небомъ голубымъ страны своей родной*, Баратынскій—въ прекрасномъ стихотвореніи *Признаніе*, проникнутомъ тихой грустью и сердечнымъ сокрушеніемъ по своей невольной винѣ.

Притворной нѣжности не требуй отъ меня:
Я сердца моего не скрою хладъ печальный.
Ты права, въ немъ ужъ нѣтъ прекраснаго огня
Моей любви первоначальной.
Напрасно я себѣ на память приводилъ
И милый образъ твой и прежнія мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы далъ, но далъ ихъ свыше силъ и т. д.

Въ дополненіе къ предложенной мною краткой характеристикѣ Баратынскаго мнѣ хочется еще сказать нѣсколько словъ объ одной чертѣ въ характерѣ поэта, рисующей его личность въ самомъ симпатичномъ свѣтѣ. Молодость Баратынскаго какъ разъ совпала съ тѣмъ многознамѣнательнымъ подъемомъ общественнаго духа, который предшествовалъ кончинѣ императора Александра I. Проживая въ 1819—1820 въ Петербургѣ, Баратынскій перезнакомился со многими изъ передовыхъ людей того времени, обыкновенно называемыхъ декабристами, а съ однимъ изъ нихъ, Кюхельбекеромъ, онъ былъ даже очень друженъ. По словамъ своего сына и біографа, Баратынскій хотя и не былъ посвященъ въ тайны политическаго общества, но со всѣмъ увлеченіемъ своихъ лѣтъ сочувствовалъ тому, что заключалось въ великодушномъ, неопредѣленномъ и гибкомъ словѣ свобода!" Къ этому времени должно отнести нѣчто въ родѣ гимна этой свѣтлой богинѣ, отъ котораго до насъ дошло только четыре стиха:

Съ неба, чистая и золотистая,
Къ намъ слетѣла ты;
Все прекрасное, все опасное
Намъ пропѣла ты.

Хотя судьба рано разъединила поэта съ товарищами молодости, но онъ всегда вспоминалъ о нихъ съ глубокимъ сочувствіемъ:

Я братьевъ зналъ, и сны молодые
Соединили насъ на мигъ,
Далече бѣдствуютъ иные,
И въ мірѣ нѣтъ уже другихъ.

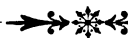
Но пролетѣвшія какъ чудный сонъ бесѣды съ этими друзьями молодости, мечтавшими между прочимъ и объ освобожденіи крестьянъ, заронили не одно доброе зарно въ воспріимчивую душу поэта. Поселившись послѣ женитьбы въ деревнѣ, Баратынскій имѣлъ случай видѣть собственными глазами бѣдность и страданія народа и дикій разгулъ помѣщицѣй власти, и сдѣлался горячимъ и убѣжденнымъ сторонникомъ освобожденія крестьянъ. Съ восторгомъ онъ привѣтствовалъ всякую правительственную мѣру, направленную къ улучшенію ихъ быта. Когда въ 1842 г. вышелъ правительственный указъ объ обязанныхъ крестьянахъ, Баратынскій восторженно отозвался о немъ въ письмѣ къ Путятѣ: „Редакція превосходна! Нельзя было приступить къ дѣлу умнѣе и осторожнѣе. Благословенъ грядый во имя Господне! У меня солнце въ сердцѣ, когда я думаю о будущемъ! Вижу и осязаю возможность исполненія великаго дѣла и скоро и спокойно“. Осенью 1843 г. Баратынскому удалось наконецъ осуществить свое давно лелѣянное желаніе побывать за границей. Привыкшій на родинѣ быть вѣчно на сторожѣ и замыкаться въ самомъ себѣ, поэтъ получилъ наконецъ на склонѣ лѣтъ своихъ возможность быть самимъ собою и высказываться вполнѣ. Зиму онъ провелъ въ Парижѣ и очень сблизился съ молодымъ, тогда только что начинавшимъ поэтомъ Огаревымъ. Преждевременно состарившійся Баратынскій пріятно удивилъ Огарева и весь его кружокъ смѣлостью своихъ идей, энергіей и широтой своихъ общественныхъ симпатій. Это не былъ тотъ молчаливый, ушедшій въ себя, человекъ, котораго нужно было, по словамъ кн. Вяземскаго, допрашивать, чтобъ узнать его мнѣнія. Рѣчь его лилась потокомъ; онъ какъ бы торопился высказать все, что у него накопилось въ душѣ въ долгіе годы думъ и подневольнаго молчанія. Весной пріятели разстались. Огаревъ остался въ Парижѣ, а Баратынскій уѣхалъ въ Неаполь, гдѣ вскорѣ неожиданно умеръ отъ разрыва сердца, вызваннаго безпокойствомъ о здоровьѣ жены. Узнавъ объ его смерти, И. В. Кирѣевскій оплакалъ ее въ Москвитянинѣ ¹⁾, а Огаревъ почтилъ память безвре-

¹⁾ „Пѣвецъ любви, печали, сердечныхъ думъ и сердечныхъ сомнѣній, своеобразный поэтъ, высокій, глубоко чувствующій художникъ, искренній въ каждомъ

менно угасшаго поэта прекраснымъ стихотвореніемъ, которое было неизвѣстно современникамъ и появилось въ печати всего четыре года назадъ:

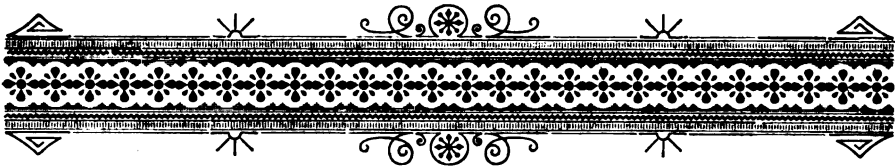
Въ его груди любила и томила
Прекрасная душа
И ко всему прекрасному стремилась,
Поэзіей дыша.
Святой огонь подъ холодной сѣдиною
Онъ гордо уберегъ,
Не оскудѣлъ хоть и страдалъ душою
Средь жизненныхъ тревогъ.
На жизнь смотрѣлъ хоть грустно онъ, но смѣло
И все впередъ спѣшилъ;
Онъ жаждалъ дѣла, онъ насъ сзывалъ на дѣло
И вѣрилъ въ Бога силъ!
О, сколько разъ съ горячимъ рукожатьемъ
Съ слезою на глазахъ,
Онъ намъ твердилъ: впередъ, молодые братья,
Предъ истиной—все прахъ!
Онъ избралъ насъ и старецъ, умирая,
Друзья, намъ завѣщалъ,
Чтобы по немъ, какъ тризну совершая,
Въ борьбѣ нашъ духъ мужалъ.
(„Русская Мысль“, 1890 г. № 10).

Баратынскій не дожилъ до осуществленія великаго дѣла, къ которому онъ призывалъ своихъ юныхъ парижскихъ друзей. Судьба, не баловавшая его при жизни, не позволила ему дожить до обѣтованнаго дня освобожденія крестьянъ. Жизнь его прошла въ глухую и мрачную эпоху нашей общественной жизни, не растворенную надеждою на лучшіе дни. Задыхаясь въ атмосферѣ мрака и произвола, изнывая подъ тяжелымъ бременемъ мучившаго его душевнаго разлада, извѣрившись въ людей, но полный глубокой вѣры въ силу правды и добра, онъ жилъ для того же, для чего жилъ его другъ и сверстникъ Пушкинъ,—чтобъ мыслить и страдать.



звукъ, отчетливо—изящный въ каждой мечтѣ, похищенный преждевременной смертью, оставилъ въ вашей словесности нѣсколько прекрасныхъ созданий, не оцѣненныхъ по своему достоинству, но почти ничтожныхъ въ сравненіи съ тѣмъ, что онъ могъ бы сдѣлать“ и т. д.

(„Москвитянинъ“, 1845 г. № 1).



Эволюція критическихъ идей Бѣлинскаго *).

М. Г.

Устроивая литературныя поминки по Бѣлинскомъ, мы были глубоко убѣждены, что московское общество откликнется на нашъ призывъ. Ваше присутствіе и въ такомъ числѣ на настоящемъ засѣданіи показываетъ, что наша увѣренность была не напрасна, что московскому образованному обществу дорога память о великомъ русскомъ критикѣ, дѣятельность котораго началась въ Москвѣ. Чудное и поразительное явленіе представляетъ собою эта 14-лѣтняя дѣятельность! Недоучившійся студентъ, бѣднякъ, зарабатывающій свой хлѣбъ журнальной работой, вдругъ становится, благодаря своему выдающемуся таланту, во главѣ русской критики, создаетъ и разрушаетъ литературныя репутаціи. Къ его сужденіямъ, къ его вдохновеннымъ рѣчамъ прислушиваются то съ восторгомъ, то съ негодованіемъ, но всегда со вниманіемъ всѣ извѣстные тогдашніе литераторы, ибо этотъ гениальный самоучка обладаетъ рѣдкой проницательностью и умѣетъ открыть присутствіе большого таланта тамъ, гдѣ никто этого не подозрѣваетъ и, наоборотъ, никто не умѣетъ такъ разоблачить убожество таланта подъ блестящей мишурой фразъ, какъ онъ. Предоставляя другимъ познакомить васъ съ главными фактами біографіи Бѣлинскаго, его характеромъ и темпераментомъ, его отношеніями къ современной ему общественной мысли, я намѣренъ остановиться на одномъ вопросѣ, на одной сторонѣ ея дѣятельности, именно—на эволюціи его критическихъ взглядовъ. Одаренный отъ природы рѣдкимъ эстетическимъ чутьемъ и страст-

*) Читано въ торжественномъ засѣданіи О. Л. Р. С. посвященномъ чествованію памяти Бѣлинскаго.

ной любовью къ литературѣ, Бѣлинскій въ самый ранній періодъ своей дѣятельности весь отдается своему непосредственному чувству и любитъ прекраснымъ во всѣхъ видахъ и у всѣхъ народовъ. Онъ отдаетъ дань восторга и протестующему идеализму Шиллера, и трезвому реализму Сервантеса, но въ особенности преклоняется передъ гениальной многосторонностью Шекспира. Точка зрѣнія его на художественныя произведенія была въ то время чисто эстетическая, и задача критика состояла, по его мнѣнію, въ томъ, чтобы выяснитъ себѣ—точно ли разбираемое произведеніе изящно, и заслуживаетъ ли авторъ названія поэта? Изъ рѣшенія этого вопроса—говоритъ онъ,—сами собой вытекаютъ отвѣты о характерѣ и важности сочиненія (т. 1, стр. 212). Въ то время Бѣлинскій имѣлъ свою собственную, отчасти навѣянную философіей Шеллинга, теорію процесса поэтического творчества. Процессъ этотъ заключалъ въ себѣ три главные момента: появленіе основной идеи, безсознательно вторгающейся въ душу художника, вынашивание ея въ душѣ и выясненіе тѣхъ образовъ въ которые она должна воплотиться и наконецъ самое ея воплощеніе въ художественную форму.—Теорія эта изложена Бѣлинскимъ въ 1835 г. въ его замѣчательной статьѣ о Повѣстяхъ Гоголя. Но натура критика была слишкомъ живая и отзывчивая, чтобы онъ могъ долго успокоиться на формально-эстетической точкѣ зрѣнія. Не болѣе какъ черезъ годъ онъ уже ставитъ для критики болѣе широкія задачи и утверждаетъ, что наша критика должна быть учителемъ общества и на простомъ языкѣ высказывать высокія истины. Нѣмецкая и трансцендентальная по своему принципу, она должна быть французской по способу изложенія. Нѣмецкая теорія и французскій способъ изложенія—вотъ единственное средство сдѣлать ее глубокой и общедоступной (т. 2, стр. 78). Въ концѣ 1837 г. Бѣлинскій, при посредствѣ Бакунина, подпадаетъ подъ могущественное вліяніе гегелевской философіи искусства, дѣлается страстнымъ сторонникомъ теоріи объективнаго творчества и не менѣе страстнымъ противникомъ всякихъ тенденцій въ искусствѣ. Увлеченный этой теоріей, онъ позволяетъ себѣ рѣзкія выходки противъ Шиллера, порицаетъ Жоржъ Сандъ и Ламартина за ихъ тенденціозность и жестоко издѣвается надъ Менцелемъ за его требованіе, чтобы искусство служило обществу. Подъ вліяніемъ гегельянца Ретшера Бѣлинскій дѣлается въ это время убѣжденнымъ пропагандистомъ нѣмецкой философской критики и настаиваетъ на томъ, что полное и совершенное пониманіе произведеній искусства воз-

можно только через посредство философской критики, ибо тоталитетъ художественнаго произведенія заключается въ общей идеѣ, а идея открывается только вполне овладѣвшему царствомъ абсолютной идеи (т. II стр. 323). Отсюда является у Бѣлинскаго требованіе отъ каждаго художественнаго произведенія болѣе или менѣе глубокой общей идеи; произведенія, не удовлетворяющія этому условію, напр. Слово о полку Игоревѣ, не считаются имъ художественными. Увлеченіе гегеліанствомъ продолжалось съ небольшимъ два года. Отрезвленію Бѣлинскаго способствовалъ разрывъ его съ Бакунинымъ и сближеніе съ кружкомъ Герцена, ставившимъ для литературной дѣятельности живыя общественныя задачи, а болѣе всего совершившееся осенью 1839 г. переселеніе въ Петербургъ. Тутъ гегелевскому культу дѣйствительности наносится жестокий ударъ, ибо представшая передъ Бѣлинскимъ дѣйствительность была такого рода, что способна была внести въ душу самое горькое разочарованіе. Тяжелыя впечатлѣнія ложившіяся въ эту мрачную эпоху на всѣ благородныя сердца, не замедлили бросить густую тѣнь и на душу Бѣлинскаго. „Меня убило, — писалъ онъ въ 1840 г. къ Боткину, — зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роль подлецы и дюжинныя посредственности, а все благородное и даровитое лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи“. Что удивительнаго, что, подъ вліяніемъ испытанныхъ Бѣлинскимъ тяжелыхъ впечатлѣній, мало-по-малу измѣнились взгляды его на задачи критики и сталъ выступать въ нихъ на первый планъ элементъ общественный. Происшедшій съ нимъ душевный переломъ Бѣлинскій такъ характеризуетъ въ письмѣ къ Боткину: „Ты знаешь мою натуру, она вѣчно въ крайностяхъ; я съ трудомъ и болью расстаюсь съ старой идеей, а въ новую перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита. Итакъ, я теперь въ новой крайности. Соціальная идея стала для меня идеей идей“. Это измѣненіе взглядовъ замѣтно уже въ разборѣ рѣчи проф. Никитенко О Критикѣ, гдѣ Бѣлинскій дѣлаетъ попытку примирить критику эстетическую съ критикой общественно-исторической, при чемъ права послѣдней онъ считаетъ безспорными. По его мнѣнію, каждое произведеніе искусства должно быть разсматриваемо по отношенію къ эпохѣ и по отношенію художника къ обществу; разсмотрѣніе его жизни и характера также можетъ служить къ уясненію его созданія. Еще большее измѣненіе произошло во взглядахъ Бѣлинскаго на задачи художественнаго творчества. Прежде онъ требовалъ отъ художественнаго произведенія только красоты или гар-

моніи идеи и формы; теперь онъ прежде всего останавливается на содержаніи и общемъ смыслѣ художественныхъ произведеній: „Что красота—говорить онъ—есть необходимое условіе въ искусствѣ—это аксіома, но съ одной красотой искусство недалеко уйдетъ, особенно въ наше время. Нашъ вѣкъ рѣшительно отрицаетъ искусство для искусства, красоту для красоты. Байронъ, Шиллеръ и Гете—это философы и критики въ поэтической формѣ. О нихъ всего менѣе можно сказать, что они поэты и больше ничего. Правда, Гете еще могъ бы подходить подъ идеалъ поэта, который поетъ, какъ птица, для себя, но и онъ не могъ не заплатить дань духу времени; его Вертеръ есть ничто иное, какъ вопль эпохи; въ его Фаустѣ заключены всѣ нравственные вопросы, какіе только могутъ возникнуть въ груди человѣка нашего времени (т. VI стр. 208—209).

Слова эти были написаны Бѣлинскимъ въ 1842 г. Ставя такія широкія задачи для искусства, Бѣлинскій не могъ теперь иначе, какъ отрицательно, относиться къ нѣмецкой философской критикѣ, которая продолжала разбирать художественныя произведенія съ философско-художественной точки зрѣнія; поэтому выходки противъ нѣмецкой критики нерѣдко попадаютъ въ это время въ статьи и письма Бѣлинскаго. Въ 1844 г. въ статьяхъ, посвященныхъ разбору стихотвореній Пушкина, Бѣлинскій жестоко нападаетъ на нѣмецкую критику, которая при разсматриваніи произведеній искусства опирается на само искусство, вращается въ сферѣ чистой эстетики и оставляетъ безъ вниманія исторію, общество, жизнь. И оттого—замѣчаетъ по этому поводу Бѣлинскій,—жизнь давно уже оставила тѣхъ нѣмецкихъ поэтовъ, которые своими произведеніями угождаютъ такой критикѣ (т. VIII стр. 347—348). Въ тѣхъ же статьяхъ Бѣлинскій излагаетъ весьма подробно свою новую критическую теорію. Первой задачей критики онъ считаетъ всестороннее изученіе личности писателя съ цѣлью уясненія того, въ чемъ состоитъ паѳосъ его творчества. Безъ этого, по словамъ Бѣлинскаго, критикъ можетъ раскрыть нѣкоторыя частныя красоты или недостатки разбираемаго поэта, но значеніе и сущность его дѣятельности останутся для него такой же тайной, какъ и для читателей (*ibid.* стр. 361). Съ большей опредѣленностью Бѣлинскій выражаетъ свои новые взгляды въ написанной въ томъ же году статьѣ по поводу Тарантаса гр. Соллогуба: „Чисто-художественная критика—говоритъ онъ, не допускающая историческаго взгляда, теперь никуда не годится, какъ односторонняя, пристрастная и неблагодарная. Художествен-

ность и теперь великое качество литературныхъ произведеній, но если при ней нѣтъ качества, заключающагося въ духъ современности, она уже не можетъ сильно увлекать насъ. Поэтому теперь посредственно-художественное произведеніе, но которое даетъ толчокъ общественному сознанію, будить вопросы и рѣшаетъ ихъ гораздо важнѣе самаго художественнаго произведенія, ничего не дающаго сознанію внѣ сферы искусства. Вообще нашъ вѣкъ—вѣкъ рефлексіи, мысли, тревожныхъ вопросовъ, а не искусства. Скажемъ болѣе: нашъ вѣкъ враждебенъ чистому искусству и чистое искусство невозможно въ немъ“ (т. IX стр. 313).

При такомъ взглядѣ на задачи художественнаго творчества и роль критика становилась другая. Главная его задача состояла не въ томъ, чтобы разяснять публикѣ художественныя достоинства разбираемаго произведенія или обличать его художественную фальшь, а въ томъ, чтобы раскрывать его общественный смыслъ, его социальное значеніе и попутно будить общественное сознаніе проводить въ общество просвѣтительныя и гуманныя идеи. Такимъ образомъ, подъ вліяніемъ условій русской жизни совершилась эволюція критическихъ взглядовъ Бѣлинскаго, мало-по-малу превратившая его изъ художественнаго критика въ критика-публициста. Враги Бѣлинскаго сильно нападали на него за эту неустойчивость взглядовъ, не принявъ въ соображеніе, что Бѣлинскій постоянно шелъ впередъ и что окружающая жизнь постоянно представляла ему свои новыя стороны, соотвѣтственно которымъ и мѣнялись его взгляды. Измѣненія эти были настолько радикальны, а отпаденіе отъ прежнихъ заблужденій было въ Бѣлинскомъ такъ искренно и глубоко, что онъ считалъ за личную обиду, если собесѣдникъ въ разговорѣ упоминалъ о томъ, что онъ въ прежнее время держался отвергаемыхъ имъ нынѣ воззрѣній. По словамъ Тургенева, Бѣлинскій простить себѣ не могъ статью о Менцелѣ; онъ считалъ ее не только литературной ошибкой, но дурнымъ поступкомъ. Еще хуже онъ смотрѣлъ на свою статью о Бородинской годовщинѣ. По этому поводу одинъ современникъ передаетъ слѣдующій случай: однажды Бѣлинскій обѣдалъ у своихъ знакомыхъ; въ числѣ гостей былъ какой-то инженерный офицеръ. Желая доставить удовольствіе гостю, хозяинъ спросилъ офицера—хочетъ ли онъ познакомиться съ Бѣлинскимъ. „Это авторъ статьи о Бородинской годовщинѣ?“ спросилъ его на ухо офицеръ—Да. „Въ такомъ случаѣ нѣтъ, покорно благодарю“, сухо отвѣтилъ онъ. Слышавшій этотъ разговоръ Бѣлинскій съ свойственной ему пылкостью подбѣжалъ къ офицеру, горячо пожалъ

ему руку и сказали: „Вы благородный человекъ, я васъ уважаю“. Приведенный случай показываетъ, насколько любовь къ истинѣ была у Бѣлинскаго выше расчетовъ самолюбія. Другой сумѣлъ бы какъ-нибудь замаскировать столь нелестную для своего самолюбія перемену убѣжденій, но Бѣлинскій былъ выше этихъ эгоистическихъ соображеній и доказывалъ свою любовь къ истинѣ тѣмъ, что безъ оглядки приносилъ на алтарь ея свою собственную личность. Враги, конечно, не упускали случая подхватить эти самообличенія и осыпали Бѣлинскаго насмѣшками и клеветами, больно отзывавшимися въ его сердцахъ. Въ одну изъ такихъ горькихъ минутъ изъ-подъ пера его вылилась жалоба на свою судьбу, безспорно имѣющая, подобно Гоголевской параллели между двумя писателями въ шестой главѣ „Мертвыхъ Душъ“, автобиографическое значеніе.

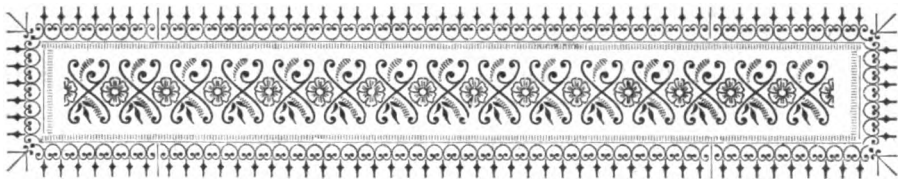
„Тяжка у насъ—говорилъ онъ въ одномъ мѣстѣ—роль критика, проникнутаго убѣжденіемъ и не отдѣляющаго вопросовъ объ искусствѣ и литературѣ отъ вопросовъ о своей собственной жизни, отъ всего, что составляетъ сущность и цѣль его нравственнаго существованія. И тѣмъ хуже ему, если онъ настолько уважаетъ истину и столько смиряется передъ ней, что всегда готовъ отказаться отъ мнѣнія, которое онъ защищалъ съ жаромъ и энергіей, но которое въ процессѣ своего непрерывно движущагося сознанія, онъ уже не можетъ признавать за справедливое“. (т. VII стр. 52). Но это уныніе было мимолетное. Бѣлинскій былъ слишкомъ убѣжденъ въ пользѣ своей дѣятельности, чтобы мечтать о прекращеніи ея или о переѣзѣ карьеры. „Упорствуя, волнуясь и спѣша“, онъ твердо шелъ къ своей цѣли, не покидалъ своего знамени до тѣхъ поръ, пока дыханіе смерти не прекратило бѣненіе его сердца, горѣвшаго пламенной любовью къ истинѣ, родинѣ и человѣчеству. Критическая дѣятельность Бѣлинскаго имѣла громадное, не только литературное, но и общественное значеніе. Какъ литературный критикъ онъ обладалъ почти безошибочнымъ эстетическимъ чутьемъ и необыкновенной чисто-художественной, фантазіей, съ помощью которой онъ переживалъ созданныя художникомъ положенія, какъ переживалъ ихъ самъ художникъ. На этихъ двухъ качествахъ основывалась его рѣдкая критическая проницательность, которая такъ удивляла его читателей. Онъ первый оцѣнилъ по достоинству Гоголя, угадалъ талантъ Лермонтова, Кольцова, Достоевскаго, Майкова и другихъ писателей, которые составляютъ теперь гордость нашей литературы. Гончаровъ, знавшій лично Бѣлинскаго, думаетъ, что ему

помогало въ этомъ случаѣ то, чего недоставало другимъ критикамъ—это страстное сочувствіе къ художественнымъ произведеніямъ. Чѣмъ ярче и сильнѣе талантъ, тѣмъ страстнѣе было и впечатлѣніе. Оно будило его нервную систему, затрогивало фантазію и порождало тѣ горячія критическія изліянія, которыя бросали столько свѣта и огня на все, что производила литература замѣчательнаго. Въ послѣдніе годы жизни Бѣлинскаго критическая дѣятельность его приняла публицистическій оттѣнокъ и чисто литературные интересы отступили на второй планъ сравнительно съ интересами общественными. Съ одной стороны онъ явился вдохновеннымъ выразителемъ всѣхъ лучшихъ стремленій и надеждъ современнаго ему поколѣнія; съ другой стороны всѣ язвы эпохи нашли въ немъ своего страстнаго и неподкупнаго обличителя. Въ рѣдкой изъ написанныхъ имъ въ послѣдніе годы статей онъ не касается какого нибудь общественнаго вопроса, который и разъясняетъ читателямъ. Время было такое, что нужно было ободрять впавшее въ уныніе и апатію общество, поддерживать въ немъ вѣру хоть въ отдаленное торжество гуманныхъ идей. Могучій голосъ Бѣлинскаго ободрялъ робкихъ и унывающихъ, соединялъ разрозненныхъ, вразумлялъ недоумѣвающихъ.. Эту сторону своей дѣятельности самъ Бѣлинскій считалъ выше своей чисто литературной дѣятельности, ибо видѣлъ въ ней исполненіе своего гражданскаго долга передъ обществомъ.

Полвѣка прошло со времени смерти Бѣлинскаго. Съ тѣхъ поръ многое, о чемъ мечталъ Бѣлинскій, осуществилось: литературѣ дышится сравнительно легче, крѣпостное право уничтожено, судебная волокита, сословность и канцелярская тайна замѣнены гласнымъ и для всѣхъ равнымъ судомъ. Исчезли также давно всѣ тѣ, которыхъ Бѣлинскій считалъ тормозами нашего общественнаго развитія и которые своими нападками и преслѣдованіемъ отравили его недолгую жизнь. Но, забывая по-христіански все содѣянное ими, мы не должны забывать, что тѣмъ подъемомъ общественнаго сознанія, той массой свѣта и тепла, которыя пролились съ тѣхъ поръ на русскую землю, мы обязаны, главнымъ образомъ, людямъ сороковыхъ годовъ и стоявшему во главѣ ихъ Бѣлинскому.



МАЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.



Новости украинекой литературы *).

Сборникъ, заглавіе котораго мы выписали, составляетъ пріятное явленіе въ современной малорусской литературѣ. Честь и слава новымъ дѣлателямъ на нашей родной нивѣ — Украинѣ! Но за то какъ обильна, какъ благодатна эта нива! какіе полные, свѣжіе звуки несутся оттуда!

Постараемся отдать сколько возможно краткій отчетъ о сборникѣ г. Мордовцева. Онъ открывается поэмой самого издателя „Казаки и Море“, которой предпослано предисловіе, заключающее въ себѣ нѣсколько общихъ мыслей объ украинскомъ нарѣчіи. Начало этого предисловія изложено весьма неясно. Не знаешь, считаетъ ли авторъ украинскій языкъ за вѣтвь великорусскаго (стр. 10), или даетъ ему значеніе самостоятельнаго нарѣчія. Изъ послѣдующаго видно, что авторъ считаетъ украинское нарѣчіе „отдѣльною отраслью языковъ славянскихъ“ (стр. 13). Но въ такомъ случаѣ къ чему же эти недомолвки? Имъ не мѣсто въ строго - ученomъ изложеніи. По нашему мнѣнію, въ настоящее время всякія препиранія о древности и самобытности южно-Русскаго нарѣчія совершенно безплодны, особенно, когда появляются изданія памятниковъ древняго церковно-славянскаго языка, свидѣтельства которыхъ могущественнѣе и убѣдительнѣе всевозможныхъ разсужденій. И потому хорошо сдѣлалъ г. Мордовцевъ, приведши изъ одной рукописи XIV вѣка, хранящейся въ Румянцевскомъ музеѣ, нѣкоторыя особенности, указывающія на южнорусское ея происхожденіе. Приводя эти особенности, между которыми главное мѣсто занимаетъ употребленіе *y* вмѣсто *о* (напримѣръ, *y* міръ вмѣсто въ міръ) и, наоборотъ, *о* вмѣсто *y*

*) Малорусскій Литературный Сборникъ. Издалъ Д. Мордовцевъ. Саратовъ, 1853. Это первая печатная статья Н.И., написанная еще на студенческой скамьѣ. Мы перепечатаваемъ ее изъ Отечественныхъ Записокъ, 1859 (Сентябрь) безъ всякихъ измѣненій.

(напримѣръ, въ словѣ вчоникъ), а равно также употребленіе нѣкоторыхъ словъ, звучавшихъ и тогда совершенно по украински, напримѣръ *вовця* (теперь вивця). Хома, Хведоръ и т. д.—г. Мордовцевъ замѣчаетъ: „Но мы не станемъ болѣе заниматься доказательствами древности идиотизмовъ южнорусскаго языка; довольно того, если скажемъ, что, *вѣроятно, такъ же*, какъ въ XIV вѣкѣ, существовало южнорусское нарѣчіе и въ XIII и даже, можетъ быть, въ XII и XI. Но къ-чему это *вѣроятно, можетъ-быть* когда мы можемъ доказать фактами, что украинскій говоръ оказывалъ свое вліяніе на письменные памятники XII вѣка? Недавно, въ „Чтеніяхъ“ московскаго Общества Исторіи и Древностей, былъ изданъ О. М. Бодянскимъ драгоценный памятникъ нашей древней письменности — житіе Θεодосія по харатейному списку одного сборника XII вѣка. Въ этомъ житіи мы видимъ, какъ, сквозь тройную броню церковно-славянскаго склада рѣчи, пробивались иногда слова чисто-народныя. Правда, они показываются еще какъ-то робко, но, тѣмъ не менѣе, число ихъ значительно. На первой страницѣ встрѣчается слово *взгодникъ*, вмѣсто угодникъ; въ другихъ мѣстахъ встрѣчаются слова: *жито, проскоуры, оукропъ*, которыя и до сихъ поръ употребляются народомъ. Въ одномъ мѣстѣ преподобный Несторъ такъ описываетъ свиданіе Θεодосія съ матерью, пришедшею взять его изъ монастыря: „и *оготмѣшися* емъ (то-есть, когда они обнялись) плакашеся горько“. Здѣсь украинскому глаголу придана славянская форма. Даже наша неизмѣнная *свита* и тогда уже была въ употребленіи, что видно изъ слѣдующихъ мѣстъ житія: „А одежда его (Θеодосія) бѣ *свита* власяна, остра на тѣлѣ“, или: „онъ (о) въ единой *свитѣ* си пребывааше (Варлаамъ)“. Кажется приведенныхъ примѣровъ достаточно, чтобы заключить, что въ XII вѣкѣ существовало нарѣчіе, которымъ говорила тогдашняя кievская Русь, которое, незамѣтно для самого Нестора, вторгалось въ его повѣствованіе и которое есть ничто иное, какъ наше украинское нарѣчіе.

Возвратимся же къ стихотворному опыту г. Мордовцева „Казаки и Море“. Предупреждая строгій судъ читателей и критики, авторъ такъ выражается въ предисловіи къ своему произведенію: „Что касается до моего опыта, который я теперь предлагаю благосклоннымъ любителямъ южнорусской народности, то объ немъ скажу, что только любовь къ своему родному языку дала мнѣ смѣлость надѣяться, что опытъ мой не встрѣтитъ осужденія за неумѣстное, быть можетъ, появленіе въ свѣтъ, и что эта самая любовь защититъ меня отъ

должныхъ упрековъ и нареканій“. Изъ этихъ словъ мы, къ удовольствію нашему, узнаемъ, что г. Мордовцевъ очень любитъ украинскій языкъ и литературу. Ну, что-жь? Любовь — хорошее дѣло! Мы сами за любовь. Что можетъ быть безкорыстнѣе этого чувства? „Но позвольте—замѣтить намъ — любовь г. Мордовцева нисколько не походитъ на воспѣваемую вами любовь: она слишкомъ притязательна, эгоистична. Г. Мордовцевъ любитъ не безкорыстно: любовь его даетъ ему смѣлость надѣяться на снисходительность критики, любовь послужить ему щитомъ отъ должныхъ упрековъ и нареканій; словомъ, любовь г. Мордовцева не идеальная, а современная, практическая“. Прислушавшись къ голосу этихъ отъявленныхъ пессимистовъ, мы немного поохладили свой восторгъ относительно любви г. Мордовцева къ украинскому языку, любви, отъ которой такъ ускоренно забилося наше неопытное сердце. Нѣтъ, г. Мордовцевъ! если вы дѣйствительно любите свое дѣло, то во имя этой любви вы должны радоваться всякому упреку, всякому дѣльному замѣчанію, вамъ сдѣланному.

Мы не будемъ долго останавливаться на стихотворныхъ отрывкахъ г. Мордовцева. Въ нихъ есть нѣсколько удачныхъ мѣстъ, кой-гдѣ попадаются прекрасные стихи — и только. Самая форма изложенія довольно-небрежна; это, выражаясь словами Мольера, *pi prose, pi vers*: стихи чередуются съ вычурной прозой, проза—съ не всегда удачными стихами. Нуженъ добрый запасъ терпѣнія, чтобы прочесть до конца этотъ длиннѣйшій трактатъ о морскихъ разбояхъ казаковъ на Черномъ Морѣ. Не зная положительно, на сколько оно развито у читателей, мы избавляемъ ихъ отъ изложенія содержанія сей „трудной повѣсти“; да притомъ же образованное чувство нашего времени не въ состояніи долго выносить кровавыхъ сценъ насилія, пожаровъ и разбоевъ. Но, чтобъ дать хотя малѣйшее понятіе объ искусствѣ, съ которымъ г. Мордовцевъ живописуетъ свои картины, я покажу вамъ только двѣ изъ нихъ. Вотъ напримѣръ, какъ описывается взрывъ крѣпости. Слушайте:

Торѣхъ!.. Зъ корогвами
Зъ синами, зъ ножами,
Зъ кривыми шаблями,
И уси зъ чубами,
И мури и брами...
Земля застогнала...
Нічого не стало!
Не стало! не стало! (Стр. 51).

Поняли ли вы что-нибудь? Если нѣтъ, то сцена дѣйствія перемѣняется. Мы въ Стамбулѣ. Казаки грабятъ его окрестности. Султанъ собираетъ совѣтъ. Для возбужденія умовъ, онъ призываетъ одному пашѣ прочесть передъ всѣмъ собраніемъ повѣсть о бѣдствіяхъ, претерпѣнныхъ турками отъ казаковъ. Эта сцена передана г. Мордовцевымъ съ потрясающею вѣрностью:

Несе паша щось писане
 Отима поводитъ.
 „Читай!“ мабудь, гукнувъ султанъ:
 Лопотобородій.
 Почавъ читать, та гавкати
 И ротомъ и носомъ,
 То завые звирюкою,
 То знову голосить. (Стр. 83).

Не станемъ переводить этого на русскій языкъ, потому что украинскій букетъ тотчасъ исчезнетъ, а въ этомъ вся краса.

Притомъ же, на русскомъ литературномъ языкѣ это выйдетъ слишкомъ блѣдно и не для всѣхъ понятно. Если не вѣрите намъ, то послушайте, что говоритъ самъ авторъ: „Въ числѣ преимуществъ, которыя имѣетъ южнорусское нарѣчіе предъ великорусскимъ, это то, что оно въ книгѣ одинаково понятно для всѣхъ слоевъ общества, чѣмъ не всегда можетъ похвалиться великорусскій литературный языкъ. Возьмите на удачу любое малороссійское сочиненіе и прочитайте его самому отъявленному чумаку, который только и знаетъ своихъ воловъ и деготь, онъ съ участіемъ будетъ слушать васъ, и каждое слово, каждое выраженіе будетъ интересоваться его въ высшей степени, потому что вы ему будете читать то, что онъ знаетъ и понимаетъ, и притомъ такимъ языкомъ, какимъ онъ самъ говорить съ колыбели“. Мы не пробовали еще рекомендуемаго г. Мордовцевымъ средства, но увѣрены, что чумака, который съ наслажденіемъ будетъ слушать что нибудь изъ Котляревскаго, Шевченка, Марка Вовчка, Кулиша и др., ничего не пойметъ изъ приведенныхъ нами отрывковъ.

Впрочемъ, нельзя не сознаться, что въ стихотворныхъ отрывкахъ г. Мордовцева есть нѣсколько удачныхъ мѣстъ. Къ нимъ мы относимъ всю вторую главу: пѣсня Гали не лишена истинной поэзіи. Также хорошо и вѣрно дѣйствительности прощаніе кошевого съ Доропомъ, который былъ избранъ казаками предводителемъ въ предстоящемъ походѣ на турокъ. Обратившись къ нему, кошевой сказалъ.

„Молись, атамане,
Плюнь—же тричі: плюватимешъ
Въ бороду султану...
Ось Покрова—не покрие
Сіду чуприну,
Якъ не візьмешъ оцихъ дітокъ
За рідну дитину...
Оце-жъ тобі моя шабля.
Заржлвіла бідна!
А се тобі *куля срібна*.—
Якъ матінка рідна —
Возьми її... Коли прийде
Послідня година,
Тоді стріляй! Не прокинешъ...
Цілуй мене, сине...
А ви, діти, хай Пречиста
И васъ покриває,
Одъ ворога и отъ моря
Усюди спасає...
Батька й матіръ споминайте
.....
Слово Боже, святу церкву
Любіть до загину...
А загинете... не згине
Козацкая слава:
Живи будете загибі
Въ незнаемімъ краю“.

Видно, что авторъ съ архелогическою точностію изучилъ всѣ условія запорожскаго быта: онъ не забылъ ни одной подробности, которою сопровождалось отправленіе казаковъ въ походъ, и искусно воспользовался преданіемъ о чудодѣйственномъ свойствѣ серебряной пули... Въ самомъ дѣлѣ, еще до сихъ поръ въ Малороссіи ходитъ повѣрье, что колдуна, „характерника“ можно убить только серебряной пулей. Да не только пуля, но вообще всякая серебряная вещь (наприм., пуговица), если ея зарядить ружье, всегда попадетъ въ колдуна. Отголосокъ этого повѣрья сохранился и въ пѣсняхъ. Такъ, въ одной пѣснѣ (см. Метлинскаго „Народныя Южнорусскія Пѣсни“, стр. 403) джура храброго Перебійноса на вопросъ поляковъ, чѣмъ можно убить его господина, отвѣчаетъ:

„Ой видріжете або видервите й та срібного кгудзя (пуговицу).
И то чи не вбєте або чи не скараєте вірного мого друга“.

О чудесномъ значеніи серебра сообщаетъ читателямъ еще одинъ разсказъ, помѣщенный въ любопытномъ сочиненіи Новосельскаго: „Народъ украинскій“. „Однажды выгнали насъ всѣхъ.—

разсказывалъ старый Власть Дзенжера—на облаву, чтобы выгнать изъ лебединскихъ лѣсовъ скрывшихся тамъ гайдамаковъ. Облавой начальствовалъ князь Любомирскій; а съ нимъ было не мало войска: довольно-таки надворныхъ казаковъ и шляхты. Мы окружили лѣсъ и начали пробираться черезъ него. Гайдамаки то тамъ, то сямъ выскакивали изъ лѣсу, но тотчасъ же падали, бѣдняжки, подъ нашими выстрѣлами. Стою я, какъ теперь помню, возлѣ огромнаго срубленнаго дуба; только выбѣгаетъ ко мнѣ, словно какой волкъ изъ лѣсу, гайдамака, такой оборванный, несчастный. Стоявшій неподалеку отъ меня ловкій стрѣлокъ Дзюбенко тотчасъ же выстрѣлилъ въ него; но пуля отскочила, какъ горохъ отъ стѣны. А гайдамака все идетъ на меня, какъ будто ничего не замѣчаетъ. Понявъ, въ чемъ дѣло, я оторвалъ отъ пояса серебряную пуговку, забилъ ее въ стволъ, и какъ выстрѣлилъ, такъ онъ тутъ же и перевернулся“. (*Lud Ukrainski przez A. Nowosielskiego*, Вильно, 1857., т. 2-й, стр. 164). Извѣстно также, что знаменитый сподвижникъ Хмельницкаго, Золотаренко, по преданію, погибъ отъ серебряной пули. Убійцу схватили, и онъ сознался, что его подговорили католическіе ксензы: дали ему пулю изъ священной чаши съ словами и заклинаніями и посулили ему царство небесное. Дѣйствительно, на пулѣ нашлись латинскія слова. (Маркевичъ—„Исторія Малороссіи“. I, стр. 357).

Любопытно бы было сличить съ этимъ преданіемъ о миѳическомъ значеніи серебра у другихъ народовъ: тогда разрѣшилась бы неразрѣшенная до сихъ поръ загадка о серебряной пулѣ въ украинскихъ легендахъ. Приглашаемъ любителей старины обратить вниманіе на этотъ любопытный вопросъ.

Вслѣдъ за поэмой издателя, помѣщенъ въ „Сборникъ“ переводъ на украинскій языкъ одной повѣсти Гоголя („Вечеръ наканунѣ Ивана Купала“). Переводъ сдѣланъ довольно хорошимъ языкомъ, но былъ бы лучше, если бъ г. Мордовцевъ не держался такъ близко подлинника: тогда языкъ перевода былъ бы гораздо живѣе и развязнѣе.

Переходимъ теперь къ самому любопытному отдѣлу сборника — къ народнымъ пѣснямъ, собраннымъ г. Костомаровымъ. Здѣсь помѣщено болѣе двухсотъ пѣсенъ и думъ, записанныхъ въ одной только западной части Волынской губерніи; между ними есть нѣсколько историческихъ и весьма-древнихъ; таковы, напр., думы о Свирговскомъ (1574 г.), Серпягѣ (1577 г.) и т. д. Если судить по этому, то какая богатая жатва ожидаетъ впереди любителей украинской старины! Извѣстно, что славяне вообще

а малороссіяне въ особенности весьма скудно одарены историческимъ инстинктомъ: событія собственной исторіи мало ихъ интересуютъ, а между тѣмъ они свято хранятъ пѣсни старины и передаютъ ихъ какъ семейную драгоценность, отъ отца къ сыну. Благодаря этому нѣжному, можно-сказать, религіозному отношенію украинскаго простолюдина къ его роднымъ пѣснямъ, мы теперь можемъ вызвать нѣсколько цѣльныхъ, живыхъ звуковъ изъ доносящагося до насъ неяснаго гула минувшихъ временъ, начертить яркую картину исторической жизни Украины, по крайней мѣрѣ какъ она отразилась въ народномъ сознаніи. Пѣсни—это запекшаяся кровь народа на развалинахъ его исторической жизни. „Камень съ краснорѣчивымъ рельефомъ и историческою надписью, (говоритъ Гоголь), ничто противъ этой живой, говорящей и звучащей о прошедшемъ лѣтописи. Въ этомъ отношеніи пѣсни для Малороссіи — все: поэзія и исторія и отцовская могила“. Гоголь обожалъ малороссійскія пѣсни; съ какою наивною радостію онъ всегда говорилъ о нихъ! Напоминаемъ читателямъ отрывокъ изъ письма его къ М. А. Максимовичу (см. „Записки о жизни Гоголя“, Спб., 1865 г., томъ I, стр. 124): „Я очень порадовался, услышавъ отъ васъ о богатомъ присовокупленіи пѣсенъ и собраніи Ходаковского. Какъ бы я желалъ теперь быть съ вами и пересмотрѣть ихъ вмѣстѣ при трепетной свѣчѣ, между стѣнами, убитыми книгами и книжной пылью, съ жадностію жиды, считающаго червонцы! Моя радость, жизнь моя! пѣсни! какъ я васъ люблю! Что всѣ черствыя лѣтописи, въ которыхъ я теперь роюсь, передъ этими звонкими, живыми лѣтописями!“ Но и пѣснями надо пользоваться осторожно, при пособіи строгой исторической критики. Народъ смотритъ на все своими глазами, онъ подчасъ прихотливо перетасовываетъ, такъ сказать, имена историческихъ дѣятелей, смѣшиваетъ въ своей памяти различныя мѣстныя названія, такъ что изслѣдователю иногда стоитъ большаго труда добиться истины.

Но возвратимся къ пѣснямъ, собраннымъ г. Костомаровымъ. Къ нимъ почтенный собиратель присовокупилъ довольно-обширныя примѣчанія, составленныя вообще (за немногими исключеніями) весьма отчетливо.

Мы остановимся только на тѣхъ пѣсняхъ, которыя, чѣмъ бы то ни было, вызовутъ наши замѣчанія. Начнемъ съ историческихъ пѣсенъ и думъ. Самая важная изъ нихъ—безспорно, пѣсня о Хмельницкомъ, съ которой мы познакомимъ читателей.

Въ ней народъ проклинаятъ Хмельницкаго за то, что онъ отдавалъ татарамъ въ неволю цѣлыя украинскія села.

Ой Хмеле-Хмельниченьку!

Учинивъ еси ясу

И межъ панами великую трусу!

Бодай тебѣ, Хмельниченьку, перва куля не минула,

Що *великъ орді брати* дівкі й молодиці!

Парубки йдуть співаючи, а дівчата, рыдаючи,

А молодіи молодиці старого Хмеля проклинаячи:

Бодай тебе, Хмельниченьку, перва куля не минула! (стр. 185).

Г. Костомаровъ, въ примѣчаніи, къ выписанной нами пѣснѣ, объясняетъ ея происхожденіе тѣмъ, что на Волыни не было постоянного козачества, а потому имя Хмельницкаго не могло остаться въ такомъ ореолѣ, какъ въ Украинѣ, тѣмъ болѣе, что Хмельницкій возмущалъ волынскихъ крестьянъ противъ пановъ, а потомъ, при заключеніи мира съ поляками, обыкновенно оставлялъ ихъ мщенію владѣльцевъ, забывая, что и на Украинѣ, гдѣ было постоянное козачество, сохранилась такая же пѣсня. Г. Кулишъ, въ первомъ томѣ „Записокъ о Южной Руси“ (стр. 322), помѣстилъ пѣсню, записанную имъ въ самой Украинѣ (въ мѣстѣчкѣ Смилой), которая обвиняетъ Хмельницкаго въ томъ же и почти такими же словами, какъ волынская пѣсня. Обвиненіе это весьма важно. Виножникъ возрожденія Малороссіи, доблестный вождь украинскаго народа, „козацкій батько“, какъ его называетъ пѣсня, обвиняется въ измѣнѣ своему народу! Это страшное народное проклятiе бросаетъ на величественную фигуру Хмельницкаго какой-то зловѣщій отблескъ. Постараемся, сколько возможно разяснить дѣло. Пѣсня, записанная г. Костомаровымъ, скорѣе всего можетъ относиться къ концу 1653 и началу 1654 г., когда, по жванецкому договору, поляки позволили татарамъ, въ продолженіе шести недѣль, грабить Украину и уводить въ плѣнъ ея русскихъ жителей. Г. Костомаровъ, въ своей „Исторіи Богдана Хмельницкаго“ (т. II, стр. 391), справедливо замѣчаетъ, что гетманъ не могъ противиться этому договору, боясь, чтобы поляки открыто не соединились съ татарами. И въ самомъ-дѣлѣ, что могъ сдѣлать Хмельницкій противъ соединенныхъ силъ татаръ и поляковъ? Но онъ не оставался хладнокровнымъ зрителемъ плѣненія своихъ соотечественниковъ, ибо не даромъ въ послѣдствіи крымскій ханъ, при свиданіи, говорилъ ему: „всячески мнѣ на тебя гнѣватися предлежитъ, понеже ты *всегда насъ укоряешь и поносишь*, аки бы мы не съ воинствомъ польскимъ и нѣмецкимъ ратуемъ, но зъ женами въ поли во время жатвы и съ малыми

отрочатами. И оглагольствуеши, аки бы мы Русь нарочно умаленія ради погубляемъ, чего и въ мысли нашей никогда не бывало“ и т. д. (Флоровская и Писаревская Лѣтоп., см. Маркевича, т. V, стр. 55). Да вообще союзы съ татарами въ эпоху Хмельницкаго обошлись намъ весьма дорого. Это было одно изъ самыхъ отчаянныхъ средствъ, за которыя когда-либо хватался Хмельницкій, чтобы вырвать свою несчастную родину изъ рукъ Польши. Можно прадположить, что онъ иногда долженъ былъ молчать, боясь лишиться ихъ союза. Но едва ли кто рѣшится обвинить Хмельницкаго, будто бы онъ *велика орді браті дієкі и молодичі*. Не можетъ быть, чтобы человѣкъ, котораго сердце такъ болѣзненно ныло, когда поляки угнетали украинское посполство, захотѣлъ искупить свое спокойствіе кровью и слезами своихъ земляковъ! Нѣтъ, это — недоразумѣніе несчастнаго народа, который, видя себя оставленнымъ всѣми, какъ-бы на убой, обвинилъ въ этомъ отвѣтственное лицо — гетмана. Да не упрокнуть насъ въ пристрастіи къ Богдану Хмельницкому: поистинѣ, мы далеки отъ этого чувства. Но мы не могли принять на себя тяжелой роли обвинителей противъ него, потому что еще не выслушана *altera pars*, не приведены въ извѣстность всѣ данныя pro и contra: скорбный голосъ этой пѣсни едва слышенъ посреди торжественныхъ кликовъ благодарности и восторговъ, которыми тотъ же народъ почтилъ память своего любимаго гетмана:

Въ той часъ була честь, слава,
Войсковая справа!
Сама себе на сміхъ не давала,
Неприятеля підъ ноги топтала!

Вслѣдъ за этою пѣснею, въ собраніи г. Костомарова слѣдуютъ двѣ прекрасныя думы о битвѣ подъ Берестечкомъ (1651 г.) и битвѣ подъ Почаевымъ (1675 г.). Послѣдняя есть не что иное, какъ благочистивое преданіе о чудотворномъ спасеніи Почаева Пресвятой Дѣвой. Это до сихъ поръ единственная у насъ религіозная *народная* дума. Къ-сожалѣнію, мы не можемъ сказать того же о слѣдующей за ней пѣснѣ, то же о почаевской битвѣ. Стоитъ прочесть нѣсколько строкъ изъ нея, чтобы убѣдиться, что это произведеніе не народное. По всей вѣроятности, оно обязано своимъ происхожденіемъ благочестивому вдохновенію какого-нибудь монаха.

Пойдемъ далѣе. Подъ № 9 помѣщена дума о Морозенкѣ, любимомъ героѣ украинской поэзіи. Напрасно только г. Костомаровъ въ примѣчаніи къ этой пѣснѣ силится слить въ одно

лицо два совершенно различных лица: корсунскаго полковника Мозыру, который у Коховскаго иногда называется Мрозовицкимъ, и знаменитаго Морозенка (См. „Украинецъ“, издаваемый Максимовичемъ, кн. I, стр. 163. Москва. 1859 г.). И потомъ мы думаемъ, что г. Костомаровъ ошибается, предполагая, что объ этомъ Мрозовицкомъ пѣсни народныя поютъ подъ именемъ Морозенка“. Далѣе г. Костомаровъ говоритъ, что въ 1658 г. Мрозовицкій упоминается въ числѣ доброжелателей Виговскаго. А если это такъ, то мы еще болѣе разубѣждаемся въ тождественности Мрозовицкаго и Морозенка. Изъ исторіи извѣстно, что украинскій народъ не любилъ Виговскаго за то, что онъ желалъ господства „значныхъ“, за то, что онъ осиротилъ Украину, истребивши лучшихъ сыновъ ея, за то, что онъ, по выраженію пѣсни, „розшарпалъ ея ясную долю“. Отсюда понятно, что доброжелатель ненавистнаго Виговскаго и участникъ его замысловъ не могъ остаться въ памяти народа, окруженный такимъ чуднымъ сіяніемъ, какимъ озаренъ Морозенко, краса и слава южнорусскаго козачества.

Въ пѣснѣ о подончикахъ (донскихъ казакахъ) воспѣвается запорожскій полковникъ, котораго донцы везутъ въ Москву. По нашему мнѣнію, это не кто иной, какъ знаменитый Максимъ Желѣзникъ, который былъ взятъ донцами*) и отправленъ въ Кіевъ, гдѣ и сданъ въ печерскую крѣпость плацъ-майору Лбову, 8-го іюля 1768 г. **), а потомъ привезенъ въ Москву, о чемъ упоминаетъ Державинъ въ своихъ „Запискахъ“ („Русск. Бес.“ 1858, № 1). Дальнѣйшая судьба его неизвѣстна.

Пѣснею о подончикахъ оканчиваются историческія пѣсни въ собраніи г. Костомарова. За ними слѣдуютъ пѣсни о событіяхъ изъ частной жизни и легенды. Съ одной изъ такихъ пѣсенъ мы познакомимъ читателей. Происшествіе, въ ней описанное, случилось во второй половинѣ прошлаго столѣтія; такъ, по крайней мѣрѣ, можно заключить изъ упоминанія Потоцкаго, старосты каневского, извѣстнаго своимъ неукротимымъ характеромъ. Г. Костомаровъ, въ примѣчаніи къ этой пѣснѣ, рассказываетъ о немъ слѣдующее: „Панъ Потоцкій, староста каневскій, прославился своими своевольствами, которыя онъ совершалъ безнаказанно, по причинѣ слабости польскаго правительства. Впослѣдствіи онъ удалился въ Почаевскій монастырь и построилъ тамъ великолѣпный храмъ, существующій понынѣ“.

*) „Записки о Южной Руси“ Кулиша, т. I, стр. 300.

**) См. статью М. А. Максимовича въ „Русской Бесѣдѣ“ 1857 г. № 1.

Въ числѣ многихъ изустныхъ объ немъ анекдотовъ, достоинъ замѣчанія рассказъ объ его обращеніи. Онъ ѣхалъ по горѣ, параллельной съ тою, на которой стоитъ Почаевскій Монастырь. Кучеръ опрокинулъ его. Панъ, которому ничего не стоило убить человѣка, приказалъ ему стать, а самъ прицѣлился въ него изъ ружья. Кучеръ, обратившись къ монастырю, закричалъ: *Найсвятѣйшая Мати Божая почаевская! рятуй* (спаси) *мене и дітей моихъ!*.. Три раза панъ хотѣлъ стрѣлять, три раза осѣкалось ружье, при восклицаніяхъ къ Божьей Матери обреченнаго на смерть. Это событіе, какъ рассказываютъ, сдѣлало переломъ въ душѣ пана. Этотъ-то самый страшный Потоцкій является въ упомянутой нами пѣснѣ дѣйствующимъ лицомъ. При изложеніи ея содержанія, мы будемъ имѣть въ виду уже напечатанный прежде вариантъ пѣсни о Бондаривнѣ *).

Въ городѣ Луцкѣ, подъ звуки музыки, ходитъ веселый хоръ водъ дѣвушекъ; впереди всѣхъ идетъ молодая Бондаривна. Въ это время панъ каневскій былъ въ Луцкѣ на охотѣ. Наслышавшись о красотѣ ея, онъ отправился посмотрѣть на нее. Жаднымъ взоромъ слѣдилъ онъ за нею во время танца, и пламя дикой страсти внезапно забушевало въ немъ. Подошедши, онъ поцѣловалъ Бондаривну. Видя бѣду неминуемую, молодая дѣвушка бросилась бѣжать; но гусары Потоцкаго поймали ее и привели въ палаты стараго магната. Потоцкій посадилъ ее на золотомъ креслѣ, велѣлъ музыкѣ играть и, обратившись къ Бондаривнѣ, спросилъ, чего она лучше желаетъ: пить ли съ нимъ медъ—вино, или гнить въ сырой землѣ? Не смутилась духомъ Бондаривна: чувство человѣческаго достоинства сообщило ей геройскую твердость. Видя вѣрную смерть, она всеже предпочла ее позору. Героиня гордо отвѣчала:

„Ой волю жъ я десять разивъ въ сирій землі гнити,
Ніжъ зъ тобою, муй паночку, да медъ—вино пити!“

Не пожалѣлъ панъ каневскій ея бѣдной, простой красоты, ея молодой жизни... Онъ выстрѣлилъ изъ ружья, и Бондаривна пала мертвая. Отнесли ее домой и нарядили, какъ невѣсту. Пану каневскому захотѣлось еще разъ взглянуть на нее. Она лежала въ новой хатѣ; вѣнокъ изъ барвинка—обыкновенная принадлежность украинской дѣвушки на свадьбѣ и похоронахъ—покрывалъ ея строгое чело. При взглядѣ на нее, безжизненную, но все еще прекрасную, совѣсть и раскаяніе, быть можетъ, въ первый разъ

*) „Малор. пѣсни“, изданныя М. Максимовичемъ. М. 1827 г. Стр. 80.

заговорили въ Потоцкомъ. Онъ сожалѣлъ, раскаивался, ломалъ руки... Но пусть сама пѣсня доскажетъ эту потрясающую сцену:

„Ой прийшовъ панъ Канівський до нової хати,
Да заломивъ білі руки, ставъ собі думати!
Ой тижъ, моя Бондаривна!.. яка жъ бо ти гожа!
Ой якъ же ти процвітаєшъ якъ въ горді рожа!
Ой тижъ, моя Бондаривна!.. яка жъ бо ти біла!
Ой якъ же ти процвітаєшъ якъ въ саду лелія“. (Стр. 241).

Долго не знали, гдѣ жила Бондаривна. Теперь не подлежить, кажется, сомнѣнію, что она жила на Волыни, тѣмъ болѣе, что г. Костомаровъ, въ примѣчаніи къ этой прекрасной пѣснѣ, замѣчаетъ, что на Волыни народъ до сихъ поръ помнитъ Бондарину, и нерѣдко въ деревенскомъ домикѣ можно встрѣтить портретъ ея въ одеждѣ волынскихъ сельскихъ дѣвицъ.

Предѣлы журнальной статьи не позволяютъ намъ останавливаться на всѣхъ замѣчательныхъ пѣсняхъ въ собраніи г. Костомарова. Говорить же о нихъ вообще послѣ Гоголя, Бодянского, Максимовича и др. мы считаемъ излишнимъ. Отсылаемъ читателей къ самому „Сборнику“ г. Мордовцева, по пословицѣ: *gratis ex ipso fonte bibuntur aquae*.

Въ заключеніе, въ „Сборникъ“ г. Мордовцева помѣщены четыре украинскія сказки: *Охъ, Коза-Дереза, Про Ивашека да про Відьму* (варіантъ сказки, помѣщенной въ „Запискахъ о Южной Руси“ Кулиша, т. II, стр. 17—20) и *Про Королеву Катерину*. Всѣ эти сказки весьма замѣчательны въ миеологическомъ отношеніи. Мы подѣлимся съ читателями содержаніемъ первой изъ нихъ.

„У одного человѣка было три сына. Будучи въ нуждѣ, онъ отправился нанимать ихъ; на дорогѣ онъ сѣлъ однажды на колодѣ и отъ усталости сказалъ: „охъ!“ Вдругъ является Охъ и спрашиваетъ: „зачѣмъ ты звалъ меня и куда идешь?“ — „Да вотъ иду, говоритъ, сына нанимать.“ — „Найми мнѣ на три года.“ — „Хорошо“. Вотъ, по прошествіи трехъ лѣтъ, отецъ пришелъ за сыномъ. „Ну, ладно“ сказалъ Охъ: „если узнаешь своего сына, то возьмишь, а не узнаешь — еще на годъ останется“. Мужикъ, разумѣется, не узналъ сына, превращеннаго Охомъ на этотъ разъ въ голубя. Черезъ годъ онъ пришелъ опять и на этотъ разъ узналъ сына и увелъ его домой. На дорогѣ сынъ говорилъ отцу: „Вотъ господа будутъ хотиться съ ястребомъ за перепелами; я оборочусь ястребомъ, и меня стануть торговать. Ты продавай за сто рублей; только сними мѣдную цѣпочку (ретязъ), которая будетъ у меня на шеѣ. Такъ и случилось: господа купили его за сто рублей

безъ цѣпочки, и сынъ снова возвратился къ отцу. Въ другой разъ онъ оборотился собакой, и отецъ продалъ его за двѣсти рублей, тоже безъ ошейника, и онъ возвратился снова. Въ третій разъ сынъ говоритъ отцу: „Батюшка! скоро въ городѣ будетъ ярмарка: я оборочусь конемъ—продавай меня не меньше, какъ за тысячу рублей, только безъ узды“. Но на ярмаркѣ отецъ, увлеченный корыстью, продалъ сына за тысячу сто рублей съ уздечкой. Купившій его — былъ Охъ, тотъ самый, что выучилъ его чародѣйству. Видя, что дѣло плохо, сынъ бросился въ море и оборотился окунемъ. Охъ пустился за нимъ въ видѣ щуки. Въ это время княжескія дочери стояли у берега на перекладинѣ и мыли бѣлье. Окунь тотчасъ же сталъ золотымъ перстнемъ и упалъ у ногъ княжеской дочери, которая надѣла его на руку. Но Охъ обернулся старикомъ, вышелъ на берегъ и сталъ предлагать княжеской дочери за перстень сто рублей. А перстень и говоритъ ей: „Не отдавай меня дешевле двухсотъ и какъ будешь отдавать, то не давай въ руки, а ударь меня объ землю“. Княжеская дочь такъ и сдѣлала: продала перстень и ударила имъ о-земь. Онъ и рассыпался на десять горошинъ. А Охъ оборотился пѣтухомъ и давай клевать горохъ. Но тутъ откуда ни возмись ястребъ и убилъ пѣтуха“. Таково содержаніе этой прекрасной сказки, за обнародованіе которой мы приносимъ искреннюю благодарность г. Мордовцеву.

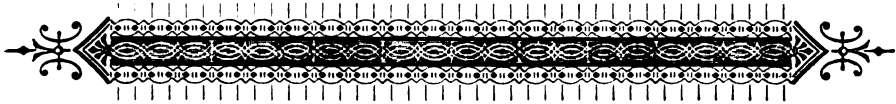
Читатели, вѣроятно, замѣтили, что въ рассказанной нами сказкѣ главную роль играетъ не сынъ крестьянина, выученикъ знаменитаго Оха, а сверхъестественная *мѣдная цѣпочка* (ретьязъ) и *узды*, посредствомъ которой онъ превращался во что хотѣлъ. Вотъ почему онъ просилъ отца продавать его одного, безъ цѣпочки, или узды. Этотъ эпическій мотивъ сближаетъ нашу сказку подобнаго рода съ сказаніями въ германской и сѣверной мифологіи. Извѣстно, что такъ называемыя *дѣвы-лебеди* (Schwanjungfrauen), купаясь, оставили на берегу *лебединое кольцо* (Schwanring), или *лебединую сорочку* (Schwanhemd). Кто овладѣвалъ тѣмъ или другимъ, тотъ овладѣвалъ и самой вѣщей дѣвой. (См. Grimm. Deutsche Myth. 1. 399). Однажды рыцарь увидѣлъ въ дикомъ лѣсу купающуюся въ рѣкѣ дѣву. Онъ тихонько подкрался къ ней и овладѣлъ ея золотой *цѣпью*. Тогда она не могла болѣе скрыться отъ него, ибо въ этой *цѣпи* заключалась особенная сила (mit dieser Kette war besondere Kraft verbunden). Вскорѣ рыцарь женился на вѣщей дѣвѣ, и она ему родила за одинъ разъ семерыхъ дѣтей, изъ которыхъ у cadaго было вокругъ шеи золотое *кольцо*

(ibid., стр. 400). Яковъ Гриммъ (см. введение къ Reinhard Fuchs, стр. 242—243) предлагаетъ объяснить названіе волка *isangrim* изъ *isan* (eisen) и *grim—grima*, что на древне-сѣверномъ и англосаксонскомъ языкѣ означаетъ привязанную къ лицу маску, а также *узду* (capistrum in freno). Последнее значеніе преобладаетъ въ новосѣверныхъ нарѣчіяхъ.

Такимъ образомъ, украинская сказка ввела насъ въ таинственную среду древне-сѣвернаго эпоса. Основной мотивъ ея непонятенъ внѣ этой среды, потому что самъ по себѣ онъ составляетъ не болѣе, какъ разрозненный членъ великаго эпического цѣлаго.

Отъ души желаемъ видѣть скорѣе продолженіе трудовъ г. Мордовцева и его сотрудниковъ на поприщѣ старины и народности.





Геніальный горемыка.

„Геніальный горемыка“—такъ прозвала Шевченка въ одномъ письмѣ другъ его, княжна В. Н. Репнина; и въ этомъ прозвищѣ нѣтъ ничего преувеличеннаго. Справедливо, что Шевченко обладалъ геніальными поэтическими способностями, которыя заставляли нѣкоторыхъ критиковъ, напримѣръ Аполлона Григорьева, ставить его на ряду съ Пушкинымъ и Мицкевичемъ, и не менѣе справедливо, что жизнь его, къ тому же оборванная преждевременной кончиной, была въ полномъ смыслѣ слова многострадальной.

Тарасъ Григорьевичъ Шевченко родился 25 февраля 1814 г. въ Кіевской губерніи, Звенигородскаго уѣзда, въ деревнѣ Моринцы.

У отца его, крѣпостного крестьянина помѣщика Энгельгарта, было кромѣ него еще семь человѣкъ дѣтей. Дѣтство поэта было самое печальное. Въ семьѣ царствовали вѣчная нужда и вѣчный подневольный трудъ. Мать Шевченка не вынесла этой жизни и, надломленная непосильной работой и множествомъ дѣтей, умерла на тридцать первомъ году своей жизни, когда Тарасу едва исполнилось девять лѣтъ.

Вынужденный по необходимости для присмотра за дѣтьми и хозяйствомъ взять другую жену, отецъ Шевченка женился на вдовѣ, у которой было трое собственныхъ дѣтей. Съ водвореніемъ мачихи начался настоящій семейный адъ: отецъ вѣчно ссорился съ женой, которая вымещала свою злобу на его дѣтяхъ; въ особенности она возненавидѣла Тараса за то, что послѣдній не разъ поколачивалъ ея любимаго сына Степанка.

Однажды у квартиранта солдата пропало 45 коп. Мачиха не замедлила заподозрить Тараса въ кражѣ и, пользуясь отсутствіемъ изъ дому мужа, подвергла ребенка съ помощью дяди такой ужасной экзекуціи, что онъ не выдержалъ, принялъ на себя чужую

вину и сознался въ мнимой кражѣ; въ послѣдствіи оказалось, что кражу совершилъ Степанко.

Вскорѣ послѣ этого событія Тарасъ лишился своего единственнаго защитника отца, который умеръ въ 1825 г., простудившись на возвратномъ пути изъ Кіева, куда его зачѣмъ-то посылалъ управляющій.—Замѣчательно, что отецъ угадалъ, что въ сынѣ кроется нѣчто не совсѣмъ обыкновенное; распредѣляя передъ смертью между дѣтьми свое имущество, онъ умышленно обдѣлилъ Тараса, сказавъ домашнимъ:

„Сыну моему Тарасу ничего не нужно изъ моего хозяйства; онъ не будетъ заурыаднымъ человѣкомъ; изъ него выйдетъ либо что-нибудь очень хорошее, либо большой негодяй“.

Послѣ смерти отца начинаются странствованія Тараса по чужимъ людямъ: то онъ пасетъ свиней у дяди, то учится грамотѣ у пьянаго дьячка, подвергается чуть не ежедневно побоямъ и сѣченію; то, чувствуя страсть къ живописи, бѣжитъ учиться къ маляру-дьячку, который находитъ его неспособнымъ къ этому искусству; тогда онъ въ отчаяніи возвращается въ свое родное село, становится на нѣкоторое время пастухомъ общественнаго стада, работникомъ у мѣстнаго священника, отъ котораго опять хочетъ перейти къ маляру, но это ему не удается, потому что его берутъ во дворъ и опредѣляютъ въ комнатные казачки къ молодому барину. Нельзя сказать, чтобы эта должность была особенно трудная; она состояла въ томъ, чтобы дремать по цѣлымъ днямъ въ передней въ ожиданіи, пока баринъ позоветъ набить трубку или налить ему изъ стоящаго тутъ же графина стаканъ воды.

Богатое лишеніями и побоями всякаго рода дѣтство поэта оставило навсегда въ его душѣ горькій осадокъ; впрочемъ, у него были два воспоминанія, которыя бросали отрадный лучъ свѣта на это мрачное время его жизни и нашли отголосокъ и въ его поэзіи. Въ эпилогѣ къ „Гайдамакамъ“ онъ съ чувствомъ глубокой благодарности вспоминаетъ о своемъ дѣдѣ, столѣтнемъ старикѣ, который не разъ трогалъ его до слезъ своимъ рассказомъ о Коліивщинѣ, о томъ, какъ поляки замучили Титаря, и какъ отомстили за него казаки *). Другое воспоминаніе относится къ дѣтской любви Тараса. Подобно Данте и Байрону,

*) Спасибі, дідусю, що ты заховавъ
Въ голові столітній ту славу козачу—
Я їй онукамъ теперъ розказавъ.

Шевченко девяти лѣтъ отъ роду полюбилъ дѣвочку однолѣтку, по имени Оксану, которая отвѣчала ему взаимностью. Много лѣтъ спустя, вспоминая въ ссылкѣ объ этомъ событіи, Шевченко поэтически описываетъ то восторженное состояніе, въ которое повергъ его первый поцѣлуй любви; ему казалось, что въ его душѣ засіяло солнце, что все принадлежитъ ему и нивы, и лѣса, и сады*). Переселившись въ барскую переднюю, Шевченко перенесъ туда и свою страсть къ живописи и собранныя всякими неправдами лубочныя картинки, съ которыхъ онъ писалъ копіи. За эту, издавна тлѣвшую въ немъ искру любви къ искусству ему пришлось дорого поплатиться.

„Однажды“, — такъ рассказываетъ самъ Шевченко, — „во время пребыванія нашего въ Вильно, панъ и пани уѣхали въ дворянское собраніе. Все въ домѣ успокоилось и уснуло. Я зажегъ свѣчку въ уединенной комнатѣ, развернулъ свои картинки и, выбравъ изъ нихъ казака Платова, принялся съ благоговѣніемъ копировать. Время летѣло для меня незамѣтно. Уже я добрался до маленькихъ казачковъ, гарцующихъ около дюжихъ копытъ генеральскаго коня, какъ позади меня отворилась дверь, и вошелъ мой помѣщикъ, возвратившійся съ бала. Онъ съ остервенѣніемъ выдралъ меня за уши и надавалъ пощечинъ, не за мое искусство, нѣтъ! а за то, что я могъ бы сжечь не только домъ, но и городъ. На другой день онъ велѣлъ кучеру Сидоркѣ выпоротъ меня хорошенько, что и было исполнено съ достоудолжнымъ усердіемъ“ **).

Описанный Шевченкомъ возмутительный случай имѣлъ однако хорошія послѣдствія. Усмотрѣвъ въ казачкѣ несомнѣнную страсть къ живописи, баринъ задумалъ сдѣлать его комнатнымъ живописцемъ и для этой цѣли отправилъ его учиться въ Варшаву куда въ скоромъ времени пріѣхалъ и самъ на зиму. Впрочемъ, обученіе Шевченка живописи длилось не долго; по случаю начавшагося польскаго возстанія Энгельгартъ переѣхалъ въ Петербургъ, распорядившись, чтобы дворовыхъ людей его, и въ томъ числѣ Шевченка, переслали къ нему по этапу.—Въ Петербургѣ Шевченко былъ отданъ въ ученіе на четыре года къ живописнымъ дѣлѣ мастеру Ширяеву, у котораго можно было выучиться кра-

*) Неначе сонце засіяло;

Неначе все на свѣті стало

Чужи ягната до воды.

Мое: ланы, гаі, сады.

И мы, жартуючи, погналы

**) См. Автобіографическое письмо Шевченка, приложенное къ Пражскому изданію его сочиненій. (1876).

силье окна, двери, заборы, словомъ,—всему, кромѣ живописи. Отсутствіе руководства возмѣщалось тѣмъ, что Шевченко бѣгалъ въ свѣтлыя петербургскія ночи въ Лѣтній Садъ, гдѣ рисовалъ со статуй. Тамъ онъ свелъ знакомство съ землякомъ-художникомъ Сошенкомъ, который обласкалъ его, пригласилъ къ себѣ, а по праздникамъ училъ живописи. Замѣчая въ самоучкѣ выходящій изъ ряду талантъ, Сошенко познакомилъ его съ конференцъ-секретаремъ Академіи Художествъ В. И. Григоровичемъ и украинскимъ писателемъ Е. П. Гребенкой. Послѣдній, человѣкъ очень добрый, принялъ теплое участіе въ Шевченкѣ, снабжалъ его книгами, а иногда и деньгами.

По прошествіи нѣкотораго времени Григоровичу и Гребенкѣ, уже успѣвшимъ полюбить Шевченка, удалось познакомить его съ придворнымъ живописцемъ Венеціановымъ, который въ свою очередь представилъ его Жуковскому.

Занимаясь по праздникамъ у Сошенка, Шевченко дѣлалъ такіе быстрые успѣхи, что Энгельгартъ, увидѣвъ случайно его работу, сталъ ему заказывать портреты своихъ пріятелей, за которые иногда награждалъ художника цѣлымъ рублемъ серебра. Въ скоромъ времени Шевченко сталъ получать и посторонніе заказы. Какой-то полковникъ заказалъ ему свой портретъ за пятьдесятъ рублей. Заказчикъ жилъ на Пескахъ, а Шевченку пришлось ходить къ нему на сеансы съ Васильевского острова. Портретъ очень удался; онъ былъ, что называется, до противности похожъ, но именно это обстоятельство и было причиной того, что полковникъ, считавшій себя гораздо лучше, отказался принять его. Вѣбшенный тѣмъ, что его мѣсячный трудъ пропалъ даромъ, Шевченко замазалъ эполеты и, обернувъ шею портрета салфеткой и намыливъ щеки, подарилъ его хозяину той цырюльни, гдѣ полковникъ постоянно брился, съ тѣмъ, чтобы онъ былъ выставленъ на улицу вмѣсто вывѣски. Полковнику ничего не оставалось больше, какъ купить свой портретъ и уничтожить, что онъ и сдѣлалъ; но онъ задумалъ отомстить и, узнавъ, что Шевченко—крѣпостной человѣкъ Энгельгарта, отправился къ помѣщику съ цѣлью купить у него дерзкаго художника. Можно себѣ представить отчаяніе Шевченка. Онъ кинулся ко всѣмъ своимъ друзьямъ и покровителямъ и умолялъ спасти его. Тѣ обратились къ Жуковскому и Брюллову, писавшему въ это время портретъ Жуковского. Явилась мысль разыграть этотъ портретъ въ лотерею; посредствомъ лотереи, устроенной гр. Вѣльгорскимъ, въ которой принимали участіе даже лица царской фамиліи, было выручено

2500 р., и Жуковский, предварительно условившись съ Энгельгартомъ, купилъ за эту сумму вольную для Шевченка.

Это было 22 апрѣля 1838 г.

„Въ этотъ день, — рассказываетъ Сошенко, — когда онъ по обыкновенію сидѣлъ за работой, къ нему неожиданно ворвался Шевченко черезъ окно и, опрокидывая все на пути, бросился къ нему на шею съ крикомъ:— „свобода! свобода!“

Когда онъ разсказалъ все толкомъ Сошенку, то художники расплакались, какъ дѣти.

Освобожденіемъ Шевченка отъ крѣпостной зависимости заканчивается первый періодъ его жизни. Впослѣдствіи, когда онъ свылся съ свободой, прошедшее казалось ему какимъ-то дикимъ и несвязнымъ сномъ.

„Вѣроятно“, — замѣчаетъ онъ, — „многіе изъ русскаго народа посмотрятъ когда-то по моему на свое прошедшее“.

Разсказавъ кратко исторію этого періода въ своемъ извѣстномъ письмѣ къ редактору „Народнаго Чтенія“, Шевченко прибавляетъ, что воспоминаніе о немъ стоило ему дороже, чѣмъ онъ думалъ.

„Сколько лѣтъ потерянныхъ! Сколько цвѣтовъ увядшихъ! И чтó я купилъ у судьбы своими усиліями—не погибнуть? Едва ли не одно страшное уразумѣніе своего прошедшаго!“

Получивъ свободу, Шевченко былъ немедленно принятъ въ Академію Художествъ и скоро сдѣлался однимъ изъ любимыхъ учениковъ знаменитаго Брюллова. Къ этому же достопамятному году въ жизни Шевченка относятся его первые поэтическіе опыты, которые, по его словамъ, тоже начались въ Лѣтнемъ Саду въ свѣтлыя, безлунныя ночи.

„Украинская строгая муза, — говоритъ онъ, — долго чуждалась моего вкуса, извращеннаго жизнью въ школѣ, въ помѣщичьей передней, на постоянныхъ дворахъ и въ городскихъ квартирахъ, но когда дыханіе свободы возвратило моимъ чувствамъ чистоту первыхъ лѣтъ дѣтства, проведенныхъ подъ убогою батьковскою стрѣхой, она, спасибо ей, обняла меня и приласкала на чужой сторонѣ“.

Какъ бы желая поскорѣе высказать то, чтó давно таилось въ его наболѣвшей душѣ, Шевченко работаетъ усиленно, пишетъ съ какой-то лихорадочной поспѣшностью. Уже въ 1840 г. выходитъ въ свѣтъ первое изданіе „Кобзаря“, куда вошли такія высоко-художественныя произведенія, какъ „Наймичка“, „Катерина“, „Тополя“ и „Утоплена“. Онъ самъ сознается, что любовь къ поэзіи, всегда сливавшаяся у него съ любовью къ

родинѣ, въ это время отодвинула у него на задній планъ самую живопись.

„Передъ дивнымъ произведеніемъ Брюллова“,—писалъ онъ въ послѣдствіи въ своемъ „Дневникѣ“,—„я задумывался и лелѣялъ въ сердцѣ своемъ слѣпца-кобзаря и своихъ кровожадныхъ гайдамаковъ. Въ тѣни его изящно-роскошной мастерской, какъ въ западной дикой степи наднѣпровской, передо мной мелькали тѣни нашихъ бѣдныхъ гетмановъ. Передо мной разстилалась степь, усѣянная курганами, передо мной красовалась моя прекрасная бѣдная Украина во всей непорочной, меланхолической красотѣ своей.—И я задумывался, я не могъ отвести своихъ духовныхъ очей отъ этой родной чарующей прелести. Странное и всемогущее призваніе! Я хорошо зналъ, что живопись—моя будущая профессія, мой насущный хлѣбъ, и вмѣсто того, чтобъ изучать ея глубокія таинства и еще ~~подъ~~ руководствомъ такого учителя, какъ безсмертный Брюлловъ, я сочинялъ стихи, за которые мнѣ никто ни гроша не заплатилъ, которые наконецъ лишили меня свободы, и которые я все-таки кропаю. Право, странное и неугомонное призваніе!“

Лишь только первые звуки Кобзаря достигли Малороссіи, какъ молодое интеллигентное поколѣніе, мечтавшее о возрожденіи украинской литературы, встрѣтило ихъ съ восторгомъ; Шевченко сразу сдѣлался его вождемъ, его знаменемъ; даже старыя паны, дотолѣ пренебрегавшіе языкомъ своихъ крѣпостныхъ, почувствовали нѣкоторое уваженіе къ инструменту, изъ котораго можно извлекать такіе свѣжіе, нѣжные и поэтическіе звуки. Но главными распространительницами поэзіи Шевченко были мечтавательныя украинскія барышни, тѣ, чьи слезы Шевченка считалъ для себя высшей наградой *).—Несмотря на неблагопріятные отзывы Бѣлинскаго, и русская публика, въ особенности московская, стала интересоваться произведеніями вновь народившагося поэта.

Щепкинъ, по происхожденію малороссъ, былъ однимъ изъ первыхъ, угадавшихъ въ неизвѣстномъ никому кобзарѣ великаго народнаго поэта, и сдѣлался на всю жизнь восторженнымъ поклонникомъ его таланта и глашатаемъ его славы; онъ нерѣдко читалъ въ тогдашнихъ литературныхъ кружкахъ произведенія Шевченка,

*) Може найдеть дівоче
Серце, карі очі,
Що заплачуть на сі думи—
Я більше не хочу.

Одну сліозу зъ очей карихъ—
И пань надъ панами!
Думи мої, думи мої,
Лыхо мыні зъ вами!

переводилъ ихъ и разъяснялъ москвичамъ ихъ красоты. Когда лѣтомъ 1843 г., получивъ званіе художника, Шевченко отправился въ Малороссію, ему уже предшествовала громкая извѣстность; онъ сдѣлался предметомъ общаго вниманія; помѣщики засыпали его приглашеніями. Въ то время среди малороссійскихъ пановъ было не мало людей, которые сумѣли оцѣнить въ Шевченкѣ внутренняго человѣка и принимали бывшаго крѣпостного какъ равнаго. Нѣкоторые, кромѣ того, заказывали ему портреты. Шевченко охотно принималъ и заказы, и приглашенія, и гостилъ у многихъ изъ нихъ. Но истиннымъ подаркомъ судьбы было для Шевченко знакомство съ высоко-даровитой и оригинальной княжной В. Н. Репниной, дочерью бывшаго украинскаго генералъ-губернатора, князя Н. Г. Репнина, проживавшей съ отцомъ и матерью въ своемъ помѣстьи Яготинѣ.

Шевченко, приглашенный писать портретъ съ кв. Репнина, скоро сдѣлался своимъ въ домѣ князя, но особенно сблизился съ княжною В. Н., которая скоро стала другомъ, сестрой и воплощенной совѣстью поэта. Какое значеніе имѣла эта дружба для Шевченка,—это видно изъ писемъ княжны къ поэту и изъ посвященія ей написанной на русскомъ языкѣ поэмы „Тризна“ гдѣ онъ называетъ княжну своимъ добрымъ ангеломъ—

Для васъ я радостно сложилъ	Вашъ добрый ангелъ осынилъ
Свои житейскія оковы,	Меня бессмертными крылами
Священнодѣйствовалъ я снова	И тихоструйными рѣчами
И слезы въ звуки перелилъ.	Мечты о раѣ пробудилъ.

Вліяніе княжны было особенно дорого въ это время, ибо Шевченко имѣлъ неосторожность сойтись на дружескую ногу съ цѣлой компаніей людей веселаго нрава, въ сущности хорошихъ, но безпутныхъ, которые, соединяя любовь къ родной поэзіи съ любовью къ спиртнымъ напиткамъ, систематически спаивали его. Познакомившись съ этой компаніей, Шевченко пропадалъ по цѣлымъ днямъ и нерѣдко возвращался съ оргій въ домъ Репниныхъ навеселѣ, что сильно огорчало княжну.

„О, не говорите“,—писала ему однажды по этому поводу княжна,—„что на васъ нападаютъ люди; здѣсь не завистники,—ваши обвинители; я, сестра ваша, вашъ искреннѣйшій другъ—ваша обвинительница. Я не сузу объ васъ по рассказамъ, я не осуждаю васъ, но говорю вамъ, какъ брату, что не разъ, что слишкомъ часто я видала васъ такимъ, какимъ не желала бы видѣть никогда. Простите моей искренности, моей докучливости и поймите безкорыстное чувство, которое водить моимъ перомъ“.

Пространствовавъ болѣе года по Полтавской и Черниговской губерніямъ, Шевченко посѣтилъ Кіевъ и оттуда проѣхалъ въ свое родное село. Съ этихъ поръ Кіевъ дѣлается его, такъ сказать, главною квартирою, откуда онъ дѣлаетъ экскурсіи по Малороссіи, посѣщаетъ знакомыхъ помѣщиковъ и, интересуясь стариной, осматриваетъ города, церкви, развалины. Въ Кіевѣ Шевченко близко сошелся съ кружкомъ земляковъ, съ Костомаровымъ во главѣ, которые съ страстнымъ напряженіемъ слѣдили за ходомъ начавшагося на западѣ славянскаго движенія и мечтали о соединеніи всѣхъ славянъ на федеративныхъ началахъ, подъ главенствомъ Россіи.

„Мы не могли“,—говоритъ Костомаровъ,—„уяснить себѣ въ подробности образа, въ какомъ должна была явиться наша воображаемая федерація государствъ; создать этотъ образъ мы предоставляли будущей исторіи. Во всѣхъ частяхъ федераціи предполагались одинакіе основные законы и права, свобода торговли и всеобщее уничтоженіе крѣпостного права и рабства, въ какомъ бы то ни было видѣ“.

Послѣдній пунктъ программы былъ для Шевченка самый симпатичный и, хотя Шевченко не принималъ непосредственно участія въ организаціи кружка и рѣдко посѣщалъ его собранія, но тѣмъ не менѣе идея славянской взаимности сильно увлекла его и внушила ему прекрасное, начатое въ то время, стихотвореніе „Славянамъ“, въ которомъ онъ, изображая желаемое уже сбывшимся, воспѣваетъ русскаго двуглаваго орла, разорвавшаго своими когтями оковавшія славянъ цѣпи, и предвѣщаетъ близкій конецъ лукавому панству. Извѣстно, какъ печально кончилось это платоническое увлеченіе идеей славянской взаимности. Члены кружка, принявшаго названіе Кирилло-Меѳодіевскаго общества, были арестованы и привезены въ Петербургъ; въ числѣ ихъ находился и Шевченко. При арестѣ у него было найдено нѣсколько не предназначавшихся для печати стихотвореній, которыя его и погубили. Оправданный въ принадлежности къ Кирилло-Меѳодіевскому обществу, онъ былъ обвиненъ въ сочиненіи обличительнаго стихотворенія на одно высокопоставленное лицо, разжалованъ въ рядовые и отправленъ въ отдѣльный Оренбургскій корпусъ съ запрещеніемъ писать и рисовать. Велико было преступленіе Шевченка, въ которомъ онъ самъ сильно раскаивался, но еще болѣе велико и даже чрезмѣрно было наказаніе! Изъ культурной, проникнутой высшими духовными интересами, среды, онъ былъ переброшенъ въ грубую солдатскую обстановку, гдѣ каждый офицеръ имѣлъ

надъ нимъ, такъ сказать, право жизни или смерти, ибо могъ вколотить его въ гробъ. Къ чести русскаго офицерства нужно сказать, что оно, за немногими исключеніями, умѣло уважать талантъ и несчастіе и относилось къ Шевченку, какъ къ товарищу.

Ссылка Шевченка продолжалась около десяти лѣтъ. Въ іюнѣ 1847 г. онъ былъ отправленъ на перекладной въ Оренбургъ, а отсюда—къ своему батальону въ Орскую крѣпость, гдѣ пробылъ около года. Изъ Орской крѣпости онъ послалъ свое первое письмо къ кн. Репниной, живо рисующее его тогдашнее душевное состояніе.

„Вы непременно разсмѣялись бы“, — пишетъ Шевченко, — „если бы увидали теперь меня: вообразите себѣ самага неуклюжаго гарнизоннаго солдата, растрепаннаго, небритаго, съ чудовищными усами,—и это буду я! Смѣшно, а слезы катятся. Чтѣ дѣлать? Такъ угодно Богу; видно, я мало терпѣлъ въ этой жизни. Правда, что мои прежнія страданія въ сравненіи съ настоящими были дѣтскія слезы. Горько, невыносимо горько! И при всемъ этомъ горѣ мнѣ строжайше запрещено рисовать и писать, кромѣ писемъ. А здѣсь такъ много новаго; киргизы такъ живописны, оригинальны и наивны, сами просятся подъ карандашъ,—и я одурѣваю, когда смотрю на нихъ. Мѣстоположеніе здѣсь грустное, однообразное: тощія рѣчки Уралъ и Орь, обнаженные сѣрыя горы и безконечная киргизская степь. Иногда эта степь оживляется бухарскими караванами на верблюдахъ, какъ волны моря зыблущимися вдали и своею жизнью удваивающими тоску. Я иногда выхожу за крѣпость къ караванъ-сарая или мѣновому двору, гдѣ обыкновенно бухарцы разбиваютъ свои разноцвѣтные шатры. Какой стройный народъ! Какія прекрасныя головы! И какая постоянная важность безъ малѣйшей гордости! Если бы мнѣ можно было бы рисовать, сколько бы я вамъ прислалъ новыхъ и оригинальныхъ рисунковъ!..—но чтѣ дѣлать? Смотрѣть же и не рисовать—это такая мѣка, которую пойметъ только истинный художникъ.

Я приведу еще отрывокъ изъ одного письма Шевченка къ кн. Репниной, который можетъ дать намъ понятіе, какъ жилось поэту въ казарменной обстановкѣ Орской крѣпости.

„Вчера я не могъ кончить письма, потому что солдаты-товарищи кончили ученіе; начались рассказы, кого били, кого обѣщались бить; шумъ, крикъ, балалайка—выгнали меня изъ казармъ. Я пошелъ на квартиру къ офицеру (меня, спасибо имъ, всѣ принимаютъ какъ товарища), и только расположился писать письмо.—Вообразите мою мѣку: — хуже казармъ, а эти люди (да простить

имъ Богъ!) съ большой претензіей на образованіе и знаніе приличій. Боже мой! Неужели и мнѣ суждено быть такимъ? Страшно!“

Въ концѣ письма Шевченко прибавляетъ, что ему весной предстоитъ походъ въ степь, на берега Аральскаго моря для возведенія новаго укрѣпленія, и что люди бывалые называютъ здѣшнюю жизнь Эдемомъ въ сравненіи съ жизнью походною.

„Каково же должно быть тамъ,“ — восклицаетъ онъ, — „если здѣсь Эдемъ?“

Экспедиція къ Аральскому морю, которой такъ боялся Шевченко, состоялась весной 1849 г. и продолжалась до глубокой осени слѣдующаго года. Несмотря на трудности похода и всякаго рода лишенія, изъ которыхъ самымъ существеннымъ было отсутствіе писемъ изъ Россіи, такъ какъ почта приходила два раза въ годъ, Шевченку въ общемъ жилось лучше, чѣмъ въ Орской крѣпости, главнымъ образомъ, потому, что, по ходатайству начальника экспедиціи Бутакова, начальникъ отдѣльнаго Оренбургскаго корпуса Обручевъ разрѣшилъ Шевченку снимать виды въ степи и берега Аральскаго моря. Благодаря тому же Бутакову, который былъ для него не начальникомъ, а братомъ и другомъ, Шевченко пользовался значительной свободой, гулялъ по степи, пѣлъ родныя пѣсни и заносилъ въ неразлучную съ нимъ переплетенную въ простую дегтярную кожу книжку вновь сочиненныя стихотворенія.

Въ стихотвореніи одного русскаго поэта Шевченко изображается стоящимъ одиноко среди пустыни; глаза его горятъ огнемъ вдохновенія, онъ простираетъ руки къ далекой родинѣ, какъ-будто собирается летѣть туда, но часовой не дремлетъ; онъ предполагаетъ, что поднадзорный задумалъ бѣжать и держать ружье наготовѣ, „готовый выстрѣлить по первому стиху“.

По окончаніи экспедиціи, по ходатайству Бутакова, Шевченко былъ препровожденъ въ Оренбургъ и прикомандированъ къ Бутакову, чтобы закончивать подъ его руководствомъ работы по описанію Аральскаго моря. На этотъ разъ пребываніе его въ Оренбургѣ продолжалось около полугода. Онъ отдохнулъ душой въ обществѣ своего друга Федора Лаазаревскаго и ссыльныхъ поляковъ, которые относились къ нему весьма сердечно. Начальство тоже относилось къ нему болѣе чѣмъ снисходительно: онъ не жилъ въ казармахъ, а въ отдѣльномъ флигелѣ, который былъ предоставленъ въ его распоряженіе его пріятелемъ, адъютантомъ Обручева, Герномъ. Но этому блаженству скоро наступилъ конецъ. Хотя Шевченко продолжалъ рисовать укрдкой,

но запрещеніе все еще тяготѣло надъ нимъ. Онъ писалъ къ Репниной, писалъ къ Жуковскому, прося ихъ исходатайствовать ему позволеніе рисовать и, не получая отвѣта, самъ рѣшился написать 10 января 1850 г. трогательное письмо къ Дубельту, которое я позволяю себѣ привести цѣликомъ, такъ какъ оно еще не было обнаружено.

„Ваше превосходительство! Походъ въ Киргизскую степь и почти двухлѣтнее плаваніе по Аральскому морю даютъ мнѣ смѣлость вторично беспокоить В. П. моею покорнѣйшею просьбою. Я вполнѣ сознаю мое преступленіе и отъ души раскаиваюсь. Командиръ мой, капитанъ-лейтенантъ Бутаковъ, ежедневный свидѣтель моего поведенія въ продолженіе двухъ лѣтъ подтвердить истину моихъ словъ, ежели угодно будетъ В. П., спросить у него. Я прошу милостиваго ходатайства Вашего передъ Августѣйшимъ монархомъ нашимъ, прошу одной великой милости—позволенія рисовать. Я въ жизнь мою ничего не рисовалъ преступнаго, — свидѣтельствую Всемогущимъ Богомъ. Умоляю Васъ! Вы какъ слѣпому откроете глаза и оживите мою убитую душу. Лѣта и мое здоровье, разрушенное скорбутомъ въ Орской крѣпости, не позволяютъ мнѣ надѣяться на военную службу, требующую молодости и здоровья. Прошу Васъ, примите хотя малѣйшее участіе въ судьбѣ моей и Богъ Васъ наградитъ за доброе дѣло“.

Письмо это осталось безъ отвѣта, а на послѣдовавшее вслѣдъ за нимъ ходатайство главнаго начальника края В. А. Перовскаго былъ полученъ отвѣтъ, что графъ Орловъ находитъ рановременнымъ входить съ всеподданнѣйшимъ докладомъ о помилованіи Шевченка.

Скоро, впрочемъ, случилось событіе, которое надолго лишило мѣстное начальство всякой возможности ходатайствовать объ облегченіи участи поэта. По доносу одного офицера, имѣвшаго съ Шевченкомъ личные счеты, весною 1850 г. у него былъ произведенъ обыскъ *), было найдено два альбома съ стихами и рисунками—явное доказательство, что онъ, вопреки Высочайшему повелѣнію, продолжалъ писать стихи и заниматься рисованіемъ. Должно полагать, что дѣло это показалось шефу жандармовъ гр. Орлову дѣломъ государственной важности, ибо онъ лично

*) Обстоятельства этого дѣла подробно изложены въ моей статьѣ „Первые четыре года ссылки Шевченка“ („Кіевская Старина“ 1889. Октябрь).
Авторъ.

докладывалъ о немъ Государю Императору, и вскорѣ воспослѣдовала Высочайшая резолюція, въ силу которой рѣшено было рядового Шевченка препроводить въ Ново-Петровское укрѣпленіе на берегу Каспійскаго моря, подъ строгій надзоръ мѣстнаго ротнаго командира.

Пребываніе Шевченка въ Ново-Петровскомъ укрѣпленіи продолжалось цѣлыхъ семь лѣтъ. Первые два года были едва ли не самой мрачной полосой въ жизни поэта. Ротный командиръ оказался строгимъ служакой и убѣжденнымъ фронтовикомъ. Задавшись цѣлью сдѣлать такого же фронтовика и изъ Шевченка, онъ по восьми часовъ въ сутки морилъ его всякими военными экзерциціями, ежеминутно давая ему чувствовать, что онъ не болѣе какъ присланный для исправленія солдатъ. Впрочемъ, встрѣтивъ со стороны Шевченка полнѣйшую безответность, онъ на третій годъ смягчился, ослабилъ возжи дисциплины и даже сталъ приглашать поэта къ себѣ.

Положеніе поэта въ Ново-Петровскомъ укрѣпленіи сильно измѣнилось къ лучшему, когда комендантомъ укрѣпленія былъ назначенъ маіоръ Усковъ, добрый и человѣкъ, который обращался съ нимъ, какъ съ товарищемъ, дружески раскрылъ передъ нимъ двери своего дома, а лѣтомъ переводилъ его въ свой садъ и поселялъ въ бесѣдкѣ, гдѣ вдали отъ постороннихъ глазъ онъ могъ свободно заниматься живописью и поэзіей. Ко времени пребыванія Шевченка въ Ново-Петровскомъ укрѣпленіи относится оживленная переписка его съ Казачковскимъ, Гулакомъ, Лазаревскимъ, а также ссылными поляками, изъ которыхъ онъ въ особенности сошелся съ Брониславомъ Залѣскимъ и Сигизмундомъ Сѣраковскимъ.

Отбывъ срокъ своей ссылки, они возвратились въ Россію и дали Шевченку слово сдѣлать для него все возможное.

„Бду“,—писалъ ему въ 1855 г. Сѣраковский, — „съ полной надеждой, что судьба твоя будетъ облегчена. Богъ великъ, Государь милостивъ! Батьку! Великіе люди переносили и великія страданія; въ пустынѣ жилъ и пѣвецъ Апокалипсиса *), въ пустынѣ и ты теперь живешь, нашъ лебедь“.

Съ восшествіемъ на престолъ новаго императора у всѣхъ ссылныхъ явилась надежда, если не на полное прощеніе, то на значительное облегченіе своей участи, по крайней мѣрѣ въ смыслѣ географическомъ, въ смыслѣ приближенія къ центрамъ; не чуждъ

*) Іоаннъ Богословъ.

былъ этихъ розовыхъ надеждъ и Шевченко, и потому можно себя представить его отчаяніе, когда онъ узналъ, что имя его вычеркнуто самимъ Государемъ изъ Высочайшаго манифеста 22 апрѣля 1855 г.

„О, спасите меня,—писалъ онъ къ своей новой покровительницѣ, гр. Анастасіи Ив. Толстой,—„еще одинъ годъ—и я погибъ“.

Къ счастью спасеніе было не за горами. Мужъ гр. Толстой вице-президентъ Акад. Худ. гр. Ѳедоръ П. Толстой сумѣлъ заинтересовать судьбою Шевченка тогдашняго президента Акад. Художествъ В. К. Марію Николаевну, по ходатайству которой Шевченко получилъ прощеніе съ правомъ выйти въ отставку и избрать себя родъ жизни.

Получивъ эту радостную вѣсть отъ Лазаревского въ маѣ 1857 г., Шевченко еще остался два мѣсяца въ укрѣпленіи въ ожиданіи оффиціальной бумаги и 2 августа отправился на рыбацкѣй лодкѣ въ Астрахань. — Радостное чувство свободы до того наполнило все его существо, что онъ совершенно позабылъ какъ шесть лѣтъ тому назадъ писалъ къ кн. Репниной, что ссылка такъ измѣнила его нравственно, что онъ не узнаетъ самого себя. Теперь онъ заноситъ въ свой „Дневникъ“ замѣчательныя въ психологическомъ отношеніи слова: „все это неисповѣдимое горе прошло, какъ-будто не касаясь меня; малѣйшаго слѣда не оставило по себѣ. Ни одна черта въ моемъ внутреннемъ образѣ не измѣнилась; по крайней мѣрѣ, мнѣ такъ кажется“.

Пробывъ около мѣсяца въ Астрахани, Шевченко отправился на пароходѣ въ Нижній, гдѣ его ждала встрѣча съ Щепкинымъ. Узнавъ, что Шевченко прибылъ въ Нижній, добрыйшій М. С. согласился пріѣхать на гастроли, чтобы только повидаться съ нимъ. Встрѣча была самая радостная и умилительная. Великій артистъ и великій поэтъ бросились другъ другу въ объятія и зарыдали. Рассказываютъ, что нижегородскій губернаторъ, декабристъ Муравьевъ, случайно присутствовавшій при этой сценѣ, тоже не могъ удержаться отъ слезъ:

„Эхъ, В. П., что вы дѣлаете“,—сказалъ ему Щепкинъ,—„вы мнѣ всѣхъ губернаторовъ испортили“.

Шевченко пробылъ въ Нижнемъ нѣсколько мѣсяцевъ, пока не получено было разрѣшеніе пріѣхать въ Петербургъ. Въ мартѣ 1858 г. онъ проѣзжалъ Москву, видѣлся со своимъ старымъ другомъ кн. Репниной, къ которой онъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ Щепкинымъ. Я не разъ спрашивалъ княжну объ этомъ свиданіи. Подробности у ней за тридцать лѣтъ ускользнули, но общее впе-

чатлѣніе осталось, и впечатлѣніе очень грустное. Въ 1847 г., когда она разсталась съ Шевченкомъ, онъ былъ молодымъ чело-вѣкомъ, сильнымъ, здоровымъ, полнымъ надеждъ на будущее. Теперь передъ ней стоялъ старикъ, сѣдой, лысый, съ лицомъ покрытымъ, вслѣдствіе скорбута, красными пятнами, съ усталымъ, апатическимъ взглядомъ, разбитый физически и нравственно. Тщетно друзья дѣлали надъ собою усилія, чтобъ попасть въ преж-ній тонъ; это имъ плохо удавалось: между ними лежала непро-ходимая черта—десятилѣтняя ссылка поэта. По словамъ кн. Реп-ниной, Шевченко показался ей совсѣмъ потухшимъ. Но онъ по-тухъ развѣ на половину.

Прибывъ въ Петербургъ, Шевченко былъ принятъ, какъ род-ной, въ семействѣ гр. Толстого, который велѣлъ отвести ему мастерскую и квартиру въ самомъ зданіи Академіи. Находяв-шіеся въ Петербургѣ земляки восторженно привѣтствовали поэта; русскіе писатели—Тургеневъ, Полонскій и др. искали случая съ нимъ познакомиться. Аксаковъ приглашалъ его въ сотрудники „Паруса“. Всѣ какъ бы наперерывъ старались уваженіемъ, ласкою и любовью вознаградить поэта за долгіе годы страданія и униженія. По словамъ дочери гр. Толстого, г-жи Юнге, жизнь Шев-ченка въ Петербургѣ потекла хорошо и радостно. Окруженный теплой дружбой и тѣми духовными наслажденіями, которыхъ онъ такъ долго былъ лишенъ, онъ какъ-будто ожилъ и своимъ ласко-вымъ обращеніемъ оживлялъ всѣхъ окружающихъ.

„Въ Петербургѣ“,—писалъ онъ своему пріятелю, коменданту Ново-Петровскаго укрѣпленія Ускову, — „мнѣ живется хорошо; живу въ Академіи, товарищи-художники меня полюбили, а мои многочисленные земляки просто на рукахъ носятъ. Словомъ, я вполне счастливъ“.

Отогрѣвшись въ атмосферѣ любви и сочувствія, Шевченко началъ съ большимъ рвеніемъ занятія живописью. Растративъ въ ссылкѣ свою технику, онъ не дерзалъ приниматься за большую картину, а писалъ этюды сепіей и акварелью и дѣлалъ гравюры съ произведеній Рембрандта. Муза поэзіи тоже стала изрѣдка по-сѣщать его, ибо къ 1858 г. относится его прекрасное стихотво-реніе къ Музѣ, въ которомъ онъ благодаритъ богиню за то, что никогда не покидала его и всячески помогала ему переносить выпавшія на его долю страданія. Повидимому, все сбылось, о чемъ онъ мечталъ въ ссылкѣ, но только повидимому. Петербургская обстановка не могла долго удовлетворять поэта. Душа его томила-сь тоскою по родинѣ. Его угнетало одиночество, его тянуло на Украину.

„Что же мнѣ дѣлать съ собою“? — спрашиваетъ онъ своего родича и друга В. Шевченка, — „я съ ума сойду на чужбинѣ и въ одиночествѣ“.

Съ первымъ весеннимъ вѣтромъ онъ уѣхалъ на Украину въ Кіевскую губернію, къ Вареоломею Шевченку, выбившемуся, подобно ему, съ помощью своего ума и энергіи изъ-подъ ярма крѣпостного права. Оттуда онъ направился въ родное село, видѣлся съ родными и провелъ нѣсколько дней у своей любимой сестры, Ирины Григорьевны, которая рассказывала ему, сколько горя вытерпѣла она со времени послѣдняго свиданія съ нимъ; при чемъ и рассказчица и слушатель оба заливались слезами. Пребываніе въ зеленомъ уголкѣ Украины такъ полюбилося Шевченку, что онъ рѣшилъ окончить здѣсь дни свои и умолялъ своего родича высмотрѣть ему небольшой участокъ земли въ живописной мѣстности надъ Днѣпромъ, гдѣ онъ могъ бы построить себѣ хату.

— „Слава мнѣ не помогаетъ“, — писалъ онъ, — „и если я не заведу собственнаго очага, то она и въ другой разъ потянетъ меня туда, куда Макаръ гонить пасти телятъ. Такъ или иначе, а необходимо гдѣ-нибудь преклонить голову. Въ Петербургѣ не высижу, — онъ меня придавитъ“.

Съ планомъ переселенія въ Малороссію стоялъ въ связи и другой планъ Шевченка. Поэту мучительно хотѣлось хоть подъ старость да обзавестись семьей. Непремѣннымъ условіемъ для этого онъ ставилъ, чтобы его будущая жена была не барышня, а дочь народа. Увидавъ у Вареоломея миловидную наймычку Харитину, онъ вообразилъ, что уже нашелъ свое счастье и, возвратясь въ Петербургъ, не разъ просилъ письменно Вареоломея быть его сватомъ, переговорить съ родными дѣвушки и съ ней самой и отвѣчать ему поскорѣе — да или нѣтъ. Когда же дѣло съ Харитиной не выгорѣло, и она наотрѣзъ отказала поэту главнымъ образомъ потому, что онъ — панъ и не ровня ей, Шевченко не оставилъ своей мысли о женитьбѣ, облюбовалъ воспитанницу Макаровыхъ, Лукерью, надѣлилъ ее всевозможными совершенствами и влюбился въ свою собственную мечту. Но когда и здѣсь его постигла неудача и разочарованіе, онъ не выдержалъ и сталъ искать утѣшенія въ винѣ. Но время было не такое, чтобы предаваться личному горю, тѣмъ болѣе, что у него было на рукахъ святое дѣло выкупа своихъ родныхъ изъ крѣпостной неволи. Это ему удалось выполнить съ помощью литературнаго фонда, и родные его получили свободу за нѣсколько мѣсяцевъ до 19 февраля.

Въ то время, какъ надъ Русью уже загоралась заря освобожденія, и всѣ готовились къ живой и дѣятельной работѣ на пользу народа, здоровье Шевченка становилось все хуже и хуже. Въ январѣ 1861 г. было рѣшено докторами, что у него водянка, и что дни его сочтены. Судьба, преслѣдовавшая горемыку всю жизнь, жестоко посмѣялась надъ нимъ, пославъ ему смерть за нѣсколько дней до обнародованія манифеста 19 февраля, возвѣстившаго всему міру конецъ рабства въ Россіи *). Подобно Мойсею, онъ умеръ на рубежѣ обѣтованной земли, не насладившись видомъ освобожденнаго народа, не приложивъ рукъ къ работѣ на пользу его образованія. Эта трагическая сторона смерти Шевченка прекрасно освѣщена Некрасовымъ въ его извѣстномъ любителемъ поэзіи, хотя и не вошедшемъ въ полное собраніе сочиненій, стихотвореніи: „На смерть Шевченка“. Описавъ вкратцѣ жизнь Шевченка и всѣ испытанныя имъ въ ссылкѣ страданія, поэтъ заключаетъ слѣдующими стихами:

Кончилось время его несчастливое;
Все, чего съ юности ранней не видывалъ,
Милое сердцу ему улыбалось,—
Тутъ ему рокъ позавидовалъ:
Жизнь оборвалась.

Такова была многострадальная, оборвавшаяся на 48 году жизнь Шевченка. Судьба увѣнчала его чело ореоломъ страданія какъ бы для того, чтобы онъ сталъ милѣе и дороже не только для своихъ земляковъ, но и для всего русскаго, общества, и если бы посмертная любовь людей могла вознаградить человѣка за претерпѣнныя имъ на землѣ страданія, то Шевченко могъ бы быть названъ счастливецомъ, ибо его имя окружено такимъ почетомъ и такою любовью, которая рѣдко выпадаетъ на долю художниковъ слова. Поэзія Шевченко въ высшей степени субъективна; она такъ тѣсно связана съ его жизнью, что онѣ составляютъ одно неразрывное цѣлое. Всѣ звуки, которые издавала его лира, были звуки шедшіе отъ души, звуки выстраданные, на которыхъ запеклась кровь его сердца. Но талантъ Шевченка былъ слиш-

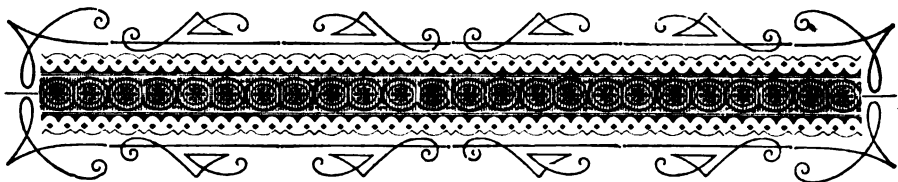
*) „Бѣдный Шевченко“,—говоритъ Костомаровъ въ своей „Автобіографіи“,— „нѣсколькими днями не дождался великаго торжества всей Россіи, о которомъ только могла мечтать его долго страдавшая за народъ муза: менѣе чѣмъ черезъ недѣлю послѣ его погребенія во всѣхъ церквахъ Русской Имперіи прозвучалъ Высочайшій Манифестъ объ освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Этотъ манифестъ давно уже былъ готовъ, но опубликованіе его было приостановлено до поста, чтобы дать народу возможность отпраздновать великое событіе не въ кабакахъ, а въ церквахъ и домашнихъ кружкахъ“.

комъ великъ, чтобы замкнуться въ тѣсную гамму личныхъ ощущеній; онъ великъ тѣмъ, что въ его пѣсняхъ отразилась коллективная душа украинскаго народа, который, по мѣткому выраженію Костомарова, какъ бы избралъ его своимъ уполномоченнымъ, чтобы онъ повѣдалъ міру его судьбу и страданія и озарилъ бы свѣтомъ поэзіи все, что таилось въ народной душѣ. Но, отражая народную жизнь, Шевченко не забывалъ также озарять ее свѣтомъ культурныхъ идей. Онъ былъ не только народнымъ, но и національнымъ поэтомъ, сладкозвучнымъ выразителемъ гуманныхъ идеаловъ современной ему украинской интеллигенціи. Все о чемъ думала и гадала украинская образованная молодежь сороковыхъ годовъ, все это явилось у Шевченка, облеченное въ яркіе поэтическіе образы и согрѣтое огнемъ его горячаго поэтическаго сердца. Подобно пророку Лермонтова, Шевченка всю жизнь неустанно проповѣдывалъ „любви и правды чистыя ученья“; подобно пророку Пушкина, онъ хотѣлъ „глаголомъ жечь сердца людей“, чтобы сдѣлать ихъ справедливейше и гуманнѣе. Онъ молилъ Бога, чтобы Онъ далъ его словамъ святую силу—

Людское сердце пробивать.
Молю, рыдаючи: пошли;
Подай душѣ убогой силу
Шобъ огненно заговорила,
Шобъ слово пламенемъ взялось,
Шобъ людямъ сердце растопыло
И на Украину понеслось.

Въ этомъ неумолкаемомъ призывѣ къ правдѣ, гуманности и свободѣ заключаются культурное и воспитательное значеніе произведеній нашего поэта, сообщающее его стихамъ вѣчную юность. „Читая стихотворенія Шевченка, вы, — по словамъ одного даровитаго русскаго критика (И. И. Иванова), — будто положили руку на больную грудь вашего брата или друга, и чувствуете, что подъ нею бьется сердце не простого страдальца, а великое сердце великаго народа!“...





Первые четыре года ссылки Шевченка.

Описывая жизнь Шевченка въ ссылкѣ, почтенный біографъ поэта М. К. Чалый ¹⁾ замѣчаетъ, что почти единственнымъ матеріаломъ для этого тяжкаго для Шевченка десятилѣтія служатъ разбросанныя по страницамъ его *Дневника* воспоминанія, да нѣсколько уцѣлѣвшихъ писемъ къ пріятелямъ. Хотя книга г. Чалаго вышла въ свѣтъ всего шесть лѣтъ тому назадъ, но съ тѣхъ поръ матеріаль для біографіи Шевченка значительно увеличился: основанная на официальныхъ данныхъ статья Е. Гаршина *Шевченко въ ссылкѣ* (*Истор. Вѣстникъ* 1886, январь) дала твердыя хронологическія рамки для всѣхъ будущихъ біографовъ поэта; на страницахъ *Кіевской Старины* (1883 г., январь—апрѣль) появились письма Шевченка къ его другу и товарищу по ссылкѣ Брониславу Залѣсскому (1853—1857 гг.), а газета *Свѣтъ* (1882 г., №111) напечатала интересныя воспоминанія Наты Усковой, дочери коменданта Новопетровскаго укрѣпленія—оба весьма важныя для характеристики послѣднихъ лѣтъ пребыванія Шевченка въ ссылкѣ. Кромѣ всего этого, въ нашемъ распоряженіи находятся неизданныя письма Шевченка къ его другу и покровителю княжнѣ В. Н. Рѣпинной, бросающія яркій свѣтъ на пребываніе Шевченка въ Орской крѣпости. Это тѣ самыя письма, безвозвратную потерю которыхъ оплакивалъ г. Чалый ²⁾. Наконецъ, счастли-

¹⁾ Жизнь и произведенія Шевченка. Кіевъ, 1882 г., стр. 65.

²⁾ За позволеніе воспользоваться для настоящей статьи этимъ драгоценнымъ матеріаломъ мы приносимъ глубокую благодарность высокоуважаемой кн. В. Н. Рѣпинной, до сихъ поръ свято хранящей память о своемъ другѣ и живо интересующейся всѣмъ, что пишется о немъ.

вый случай свелъ насъ съ старымъ другомъ Шевченка Ѳ. М. Лазаревскимъ, занимавшимъ поэта еще въ Оренбургѣ. Съ свойственнымъ ему безпримѣрнымъ радушіемъ, за которое отъ имени всѣхъ поклонниковъ поэта приносимъ ему искреннее спасибо, Ѳ. М. не только сообщилъ намъ массу интересныхъ подробностей о жизни Шевченка въ Оренбургѣ (въ 1849—1850 г.), но предоставилъ въ наше распоряженіе одно письмо, нѣсколько неизданныхъ стихотвореній и свои рукописныя замѣтки на книгу г. Чалаго. На Ѳ. М. Лазаревскомъ, какъ на единственномъ изъ оставшихся въ живыхъ друзей Шевченка и очевидцевъ его жизни въ Оренбургѣ, лежитъ священная обязанность сказать свое правдивое слово и разсѣять туманъ, облекающій въ особенности первые годы жизни Шевченка въ ссылкѣ. Пользуясь имѣющимся у насъ подъ рукой матеріаломъ, попытаемся сдѣлать нѣсколько дополненій и поправокъ къ разсказу г. Чалаго касательно знакомства поэта съ кн. Репниной и первыхъ годовъ его пребыванія на востокѣ Россіи.

Разсказъ г. Чалаго о началѣ знакомства Шевченка съ семействомъ кн. Репнина не совсѣмъ точенъ. „Князь Н. Г. Репнинъ—разсказываетъ г. Чалый, узнавъ о художественномъ талантѣ ново-прибывшаго въ Малороссію живописца Шевченка, пригласилъ его къ себѣ для снятія копіи съ своего портрета, и когда копія была сдѣлана довольно удачно, то Шевченка просили остаться въ домѣ на болѣе продолжительное время, и поэтъ провелъ здѣсь всю зиму 1844 г. (стр. 41). По словамъ кн. Репниной дѣло происходило нѣсколько иначе: Шевченко пріѣхалъ въ ихъ помѣстье Яготинъ не по приглашенію ея отца, а по порученію своего знакомаго Г. С. Тарновскаго¹⁾, заказавшаго ему копію съ портрета князя; привезъ же его съ собой и представилъ семейству Репниныхъ А. В. Капнистъ, у котораго онъ въ это время гостилъ. Это происходило не въ 1844 г., но лѣтомъ 1843 г., что доказывается между прочимъ написанной осенью того же года и посвященной кн. Репниной поэмой *Безталанный*. Съ перваго разу Шевченко произвелъ на своихъ новыхъ знакомыхъ весьма симпатичное впечатлѣніе. Онъ держалъ себя скромно, просто, но съ большимъ достоинствомъ; въ немъ не было ни стремленія рисоваться своимъ поэтическимъ призваніемъ, ни желанія подыгрывать подъ об-

¹⁾ Извѣстнаго богача и мецената, владѣльца очаровательной Качановки, гдѣ подолгу гостили Глинка, историкъ Малороссіи Н. А. Маркевичъ, Е. П. Гребенка, піанистъ Дрейшокъ и др. Два письма Шевченка къ Г. С. Тарновскому напечатаны въ „Кіевской Старинѣ“ (1883 г. февраль). Орлиный носъ Г. С. черниговскій острякъ Ширай мѣтко назвалъ серпомъ, пожинаящимъ гроши.

щій тонъ. Первое время онъ былъ нѣсколько сдержанъ, но простота и радушіе, царствовавшія въ гостепріимномъ домѣ кн. Репнинныхъ, подѣйствовали на него благотворно; смущеніе его прошло; чувствуя, что его окружаютъ добрые, симпатизирующіе ему, люди, онъ видимо ободрился, завелъ оживленный разговоръ и чуть ли не въ тотъ же день до того разошелся, что сталъ пѣть малороссійскія пѣсни, съ грѣхомъ пополамъ акомпанируя себѣ на фортепіано. Извѣстно, что Шевченко мастерски исполнялъ народныя украинскія пѣсни, что его пѣніе производило глубокое впечатлѣніе на слушателей. По словамъ г. Кулиша, Шевченко въ эту эпоху своей жизни былъ безспорно лучшимъ во всей Малороссіи пѣвцомъ народныхъ пѣсень (Чалый, стр. 61); вспоминая о пѣніи Шевченка, кн. Репнина говоритъ, что оно поразило ее своей глубокой задушевностью, что мягкій, дышавшій грустью голосъ нашего кобзаря (баритонъ съ высокими теноровыми нотами) невольно проникалъ въ душу. Ободренный ласковымъ пріемомъ и польщенный приглашеніемъ радужныхъ хозяевъ, Шевченко остался гостить у кн. Репнинныхъ. Это почтенное семейство, соединявшее въ себѣ все рѣже и рѣже встрѣчающійся въ наше время аристократизмъ породы съ духовнымъ аристократизмомъ, съ возвышенностью идей и чувствъ, сразу сумѣло оцѣнить въ Шевченкѣ внутренняго человека и не усомнилось поставить на равную ногу съ собой бывшаго крѣпостного. Особенно подружился Шавченко съ прекрасной и умной дочерью князя, Варварой Николаевной, которая, пренебрегая общественными предразсудками, смѣло протянула ему руку черезъ раздѣлявшую ихъ социальную бездну и стала близкимъ другомъ, сестрой и воплощенной совѣстью поэта. Какое значеніе имѣла эта дружба для Шевченка—это всего лучше видно изъ писемъ княжны къ поэту, напечатанныхъ въ книгѣ г. Чалаго (стр. 43—48), и изъ посвященія ей написанной на русскомъ языкѣ поэмы *Тризна* или *Безталанный*, гдѣ Шевченко называетъ княжну добрымъ ангеломъ, пробудившимъ въ немъ своими рѣчами мечты о раѣ¹⁾. Дружба эта под-

¹⁾... Для Васъ я радостно сложилъ
Свои житейскія оковы,
Священнодействовалъ я снова
И слезы въ звуки перелилъ.
Вашъ добрый ангелъ осынилъ
Меня безсмертными крылами
И тихоструйными рѣчами

Мечты о раѣ пробудилъ. (Поэмы, повѣсти рассказы Шевченка на русскомъ языкѣ. Изданіе редакціи „Кіевской Старины“. Кіевъ, 1888 г., стр. 575).

держивалась нерѣдкими пріѣздами Шевченка въ Яготинъ и постоянной перепиской. Къ сожалѣнію, относящаяся къ этой порѣ письма Шевченка не нашлись въ бумагахъ кн. Репниной, хотя, по словамъ ея, они непременно должны сохраняться въ яготинскомъ архивѣ. Но за то въ бумагахъ поэта сохранились нѣсколько собственноручныхъ отрывковъ кн. Репниной, написанныхъ большею частью для Шевченка и навѣянныхъ бесѣдами съ нимъ. Одни изъ нихъ (какъ напримѣръ, *Часовня*, *Письмъ нищаго*, *Напутственная молитва*) представляютъ собой вольные переводы изъ Зейдлица; другіе, принадлежащіе перу самой княжны и проникнутые истинно-братской нѣжностью къ поэту, могутъ быть по всѣмъ правамъ отнесены къ тому разряду произведеній, которымъ Тургеневъ далъ названіе Стихотвореній въ прозѣ. Таковы: *Марія*, *Сестра и Возлюбленная* и *Пророчество* *). Сама княжна Репнина въ письмѣ къ издателю „Русскаго Архива“, желая опровергнуть проникшее въ литературу романическое толкованіе этихъ отрывковъ, такъ объясняетъ происхожденіе ихъ: „Присутствіе поэта въ нашемъ домѣ одушевляло меня и, не имѣя дара выражаться стихами, я выливая мысли прозой и мало ли что я тогда писала, не какъ героиня романа, а какъ живая душа, въ которой открылся заряженный вслѣдствіе болѣзни, горестей долгаго пребыванія за границей клапанъ. Услышавъ поэтическія выраженія наболѣвшей души, я вторила ей своими скромными строками и сообщила нѣкоторыя изъ нихъ симпатичному человѣку, который называлъ меня сестрой, что было совершенно естественно при нашихъ дружескихъ отношеніяхъ“ **).

Не желая повторять старую исторію о причинахъ ареста и ссылки Шевченка и его друзей, замѣтимъ только, „что въ іюнѣ 1847 г. Шевченко, обвиненный въ сочиненіи пасквиля и карикатуры на одно высокопоставленное лицо, былъ отправленъ изъ Петропавловской крѣпости, гдѣ онъ содержался нѣсколько мѣсяцевъ, въ Оренбургъ и зачисленъ въ отдѣльный оренбургскій корпусъ рядовымъ съ правомъ выслуги, но съ запрещеніемъ писать и рисовать и чтобы отъ него—какъ сказано въ бумагѣ отъ военнаго министра къ командиру оренбургскаго отдѣльнаго корпуса генералу Обручеву—ни подъ какимъ видомъ не могло исходить возмутительныхъ и пасквильныхъ сочиненій“ ***).

*) Въ книгѣ Чалаго напечатаны три изъ нихъ: *Часовня*, *Сестра и Возлюбленная* и *Пророчество*.

**) Русскій Архивъ, 1887 г. № 6.

***) Гаршинъ, Шевченко въ ссылкѣ („Истор. Вѣстникъ“, 1886 г., январь, стр. 159). Повидимому, это запрещеніе первоначально не распространялось на

Узнавъ, что Шевченка привезли въ Оренбургъ, служившій въ оренбургской пограничной комиссії *Θ. М. Лазаревскій*, тогда еще не знавшій поэта лично, немедленно отправился къ чиновнику особыхъ порученій при Обручевъ полковнику *Е. М. Матвѣеву* съ просьбой сдѣлать все возможное для облегченія его горькой участи. „Все, что можно сдѣлать для него—будетъ сдѣлано“—отвѣчалъ бравый полковникъ, одинъ изъ благороднѣйшихъ людей въ Оренбургѣ, всегда относившійся къ судьбѣ поэта съ истиннымъ участіемъ. Отъ Матвѣева Лазаревскій прошелъ въ казармы, куда помѣстили Шевченка. Онъ засталъ поэта лежащимъ ничкомъ въ одномъ бѣлѣ на нарахъ и углубленнымъ въ чтеніе библіи *). Проученный горькимъ опытомъ, недавно жестоко поплатившійся за свою довѣрчивость, Шевченко принялъ посѣтителя весьма сдержанно, но звуки родной рѣчи и непритворное участіе, свѣтившееся въ глазахъ вошедшаго, скоро разсѣяли его подозрительность, и онъ далъ слово въ тотъ же день посѣтить Лазаревскаго. Съ тѣхъ поръ до самаго перевода своего въ Орскую крѣпость, который послѣдовалъ въ томъ же іюнѣ, Шевченко былъ частымъ гостемъ въ домѣ Лазаревскаго, гдѣ его встрѣчали съ восторгомъ служившіе въ Оренбургѣ земляки, сдѣлавшіеся изъ почитателей его таланта его искренними друзьями. Благодаря хлопотамъ этихъ друзей, нашедшихъ путь къ двумъ вліятельнымъ лицамъ въ Орской крѣпости, попечителю прилинейныхъ киргизовъ Александрійскому и непосредственному начальнику Шевченка, командиру расположеннаго тамъ батальона Мѣшкову, пребываніе поэта въ этомъ захолустьѣ было сносно, чѣмъ можно было ожидать. Правда, юридически онъ былъ простой поднадзорный солдатъ, котораго не только офицеръ, но любой фельдфебель могъ отдуть по щекамъ, но на самомъ дѣлѣ онъ находился въ исключительномъ положеніи; офицеры обращались съ нимъ, какъ съ товарищемъ, и если Шевченко тѣмъ не менѣе страдалъ нрав-

письма; по крайней мѣрѣ въ этомъ смыслѣ понимали запрещеніе не только самъ поэтъ, но и его ближайшіе начальники, которые очень хорошо знали, что Шевченко переписывается съ своими друзьями и не препятствовали ему въ этомъ. Но въ послѣдствіи въ Петербургѣ посмотрѣли на дѣло иначе, и когда при обыскѣ въ Оренбургѣ у Шевченка нашлись письма и рисунки, то ближайшимъ начальникамъ его было сдѣлано строгое внушеніе за допущеніе этихъ послабленій (см. Гаршинъ, Шевченко въ ссылкѣ, стр. 168).

*) Это была та самая библія, которую дали Шевченку въ Петропавловской крѣпости, когда онъ, умирая отъ скуки, просилъ что нибудь почитать и съ которой онъ въ послѣдствіи никогда не разставался. Въ настоящее время она хранится у *Θ. М. Лазаревскаго*.

ственно, то это происходило главнымъ образомъ вслѣдствіе тоски по родинѣ, мучительнаго сознанія безправности своего положенія и тяготѣвшаго надъ нимъ запрещенія писать и рисовать. Онъ избѣгалъ этого запрещенія, пиша украдкой или по ночамъ, когда всѣ въ казармахъ спали, но рисовать при такой обстановкѣ, рискуя ежеминутно быть захваченнымъ съ поличнымъ, было почти невозможно, не говоря уже о томъ, что у него не было при себѣ никакихъ принадлежностей для рисованья. А между тѣмъ новый край, куда его забросила судьба, съ его оригинальной фязіономіей и живописнымъ населеніемъ представлялъ большой соблазнъ для художника, и запрещеніе рисовать являлось весьма тяжелымъ лишеніемъ. Не будучи въ состояніи выносить этого лишенія, Шевченко вскорѣ по прибытіи въ Орскую крѣпость обращался къ шефу жандармовъ о разрѣшеніи ему рисовать портреты и пейзажи, но просьба его была оставлена безъ послѣдствій (Гаршинъ, *Шевченко въ Ссылкѣ*, стр. 159).

Изъ Орской крѣпости Шевченко написалъ свое первое письмо къ кн. Репниной, вложивъ его въ письмо къ общему пріятелю А. И. Лизогубу *). Въ письмѣ этомъ Шевченко, какъ истый украинецъ, пытается ударить лихомъ объ землю и отнестись юмористически къ своему положенію, но это ему плохо удается и его смѣхъ сквозь слезы отдается въ сердцѣ больнѣе самаго горькаго плача. „Вы непременно разсмѣялись бы—пишетъ Шевченко — если бы увидѣли теперь меня: вообразите себѣ самаго неуклюжаго гарнизоннаго солдата, растрепаннаго, небритаго, съ чудовищными усами—и это буду я! Смѣшно, а слезы катятся. Что дѣлать? Такъ угодно Богу; видно я мало терпѣлъ въ моей жизни. Правда, что прежнія мои страданія въ сравненіи съ настоящими были дѣтскія слезы. Горько, невыносимо горько! И при всемъ этомъ горѣ мнѣ строжайше запрещено рисовать что бы то ни было и писать (окромѣ писемъ). А здѣсь такъ много новаго; киргизы такъ живописны, оригинальны и наивны, сами просятся подъ карандашъ,—и я одурѣваю, когда смотрю нихъ. Мѣстоположеніе здѣсь грустное, однообразное: тощія рѣчки Уралъ и Орь, обнаженные сѣрыя горы и безконечная киргизская степь. Иногда эта степь оживляется бухарскими караванами (на верблюдахъ), какъ волны моря зыблущимися вдали и своею жизнью удвоивающими тоску. Я иногда выхожу за крѣпость къ караванъ-сарая или мѣновому двору, гдѣ обыкновенно бухарцы разбиваютъ свои разно-

*) Письма Шевченка къ Лизогубу напечатаны у г. Чалаго (стр. 67—72).

цвѣтныя шатры. Какой стройный народъ! какія прекрасныя головы! и какая постоянная важность безъ малѣйшей гордости! Если бы мнѣ можно было рисовать, сколько бы я вамъ прислалъ новыхъ и оригинальныхъ рисунковъ, но что дѣлать? Смотрѣть же и не рисовать—это такая мука, которую пойметъ только истинный художникъ“. Не получая долгое время отвѣта отъ кн. Репниной, Шевченко въ письмѣ къ Лизогубу (отъ 12-го декабря 1847 г.) осыпаетъ его вопросами о своемъ далекомъ другѣ: „Были ли Вы въ Яготинѣ лѣтомъ? Что тамъ дѣлается? Гдѣ теперь живутъ яготинскія анахоретки?... Я писалъ черезъ Васъ къ В. Н.; не знаю, дошло ли мое письмо; не знаю, что она, сердечная, подѣлываетъ? Скажите ей, когда увидите, или письменно попросите, чтобы она написала мнѣ хоть строчку. Ея прекрасная и добрая душа вѣроятно часто навѣщаетъ меня въ неволѣ“ (Чалый, стр. 68). Получивъ наконецъ давно ожидаемое письмо, поэтъ до тѣхъ поръ читалъ и перечитывалъ его, пока не выучилъ наизусть *). Любо и бодро стало у него на душѣ при мысли, что старыя друзья не отреклись отъ него въ несчастіи; въ такомъ бодромъ настроеніи духа Шевченко встрѣтилъ 25 февраля — день своихъ именинъ. „Я какъ бы отъ тяжелаго сна проснулся“ — пишетъ онъ кн. Репниной—„когда получу письмо отъ кого нибудь не отрекающагося меня, а Ваше письмо перенесло меня, кромѣ того, изъ мрачныхъ казармъ на мою родину и въ Вашъ прелестный Яготинъ. Какое чудное наслажденіе воображать тѣхъ, которые воспоминаютъ обо мнѣ, хотя ихъ очень мало. Но счастливъ кто доволенъ малымъ, а въ настоящее время я принадлежу къ самымъ счастливымъ: бесѣдуя съ Вами, я праздную 25 февраля не шумно, какъ это было прежде, но такъ тихо, тихо и такъ весело, какъ никогда не праздновалъ. И за эту великую радость я обязанъ Вамъ и Г. И. **). Да осѣнитъ Васъ благодать Божія! Пишите ко

*) Письмо это вмѣстѣ съ другими письмами кн. Репниной, отобранными у Шевченка при обыскѣ въ Оренбургѣ весной 1850 г., хранится въ архивѣ III-го Отдѣленія собственной Е. И. В. канцеляріи (нынѣ Департаментъ Исполнительной Полиціи). Письма кн. Репниной къ Шевченку напечатаны много въ Киевской Старинѣ 1893 (мартъ), а письма А. И. Лизогуба тамъ же 1900 (сентябрь).

**) Глафира Ивановна Бурковская, урожденная Псіоль. Она и все ея семейство были очень дружны съ семействомъ Репниныхъ. По смерти любимаго мужа Г. И. не разставалась съ кн. Репниной и года два тому назадъ умерла въ Москвѣ въ ея домѣ. Сестры Псіоль были весьма образованныя и талантливыя дѣвушки. Глафира Ивановна прекрасно рисовала, а Александра Ивановна весьма недурно писала малороссійскіе стихи. Одно изъ ея стихотвореній *Свячена вода* очень нравилось Шевченку, который въ своихъ письмахъ не разъ просилъ при-

мнѣ такъ часто, какъ вамъ время позволяетъ; молитва и Ваши искреннія письма болѣе всего помогутъ мнѣ нести крестъ мой. Евангеліе я имѣю, а книги, о которыхъ я просилъ *), пришлите, это для меня хоть малое, но все же развлеченіе“. Далѣе письмо Шевченка принимаетъ видъ дневника (оно писалось отъ 25 до 29 февраля 1848) и бросаетъ много свѣта на среду, въ которой онъ вращался, и на его тогдашнее душевное настроеніе. „26 февраля. Вчера я не могъ кончить письма, потому что солдаты товарищи кончили ученъе; начались рассказы, кого били, кого обѣщались бить; шумъ, крикъ, балалайка выгнали меня изъ казармъ. Я пошелъ на квартиру къ офицеру (меня, спасибо имъ, всѣ принимаютъ какъ товарища) и только что расположился кончать письмо... Вообразите мою муку — хуже казармъ, а эти люди (да проститъ имъ Богъ!) съ большей претензіей на образованность и знанія приличій, потому что нѣкоторые изъ нихъ присланы изъ западной Россіи. Боже мой! Неужели и мнѣ суждено быть такимъ? Страшно! Пишите ко мнѣ и присылайте книги. 28 февраля. Вчера я просидѣлъ до утра и не могъ собраться съ мыслями, чтобы кончить письмо. Какое то безотчетное состояніе овладѣло мной. *Приидите всѣ труждающіеся и обремененные и Азъ упокою вы.* Передъ благовѣстомъ къ заутрени пришли мнѣ эти слова Распятаго за насъ, и я какъ бы ожилъ, пошелъ къ заутрени и такъ радостно, чисто молился, какъ, можетъ быть, никогда прежде. Я теперь говѣю и сегодня причастился св. таинъ. Желалъ бы, чтобы вся моя жизнь была такъ чиста и прекрасна, какъ сегодняшній день! Ежели Вы имѣете книгу Өомы Кемпійскаго *О подражаніи Христу* (переводъ Сперанскаго), то пришлите ради Бога. Весной предстоитъ походъ въ степь на берега Аральскаго моря для построенія новой крѣпости. Бывалые въ подобныхъ походахъ здѣшнюю жизнь въ Орской крѣпости сравниваютъ съ Эдемомъ. Каково же должно быть тамъ, если здѣсь Эдемъ? Но никто какъ Богъ. Одно меня печалить — туда не ходитъ почта и придется годъ, а можетъ быть и три (коли переживу) не имѣть сообщенія ни съ кѣмъ близкимъ моему сердцу. Пишите, еще мартъ мѣсяцъ нашъ, а тамъ да будетъ воля Божія!“ Получивъ это отчаянное посланіе,

слать ему это стихотвореніе (см. письмо къ Лизогубу въ книгѣ г. Чалаго, стр. 70). Въ письмѣ къ кн. Рѣпинной онъ повторяетъ свою просьбу, прибавляя, что эта святая вода ороситъ его удающее сердце.

*) Гоголя. *Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями и Читенія въ московскомъ обществѣ исторіи и древностей.*

кн. Репнина рискнула написать къ шефу жандармовъ письмо, въ которомъ, изображая яркими красками нравственную пытку художника, умоляла графа Орлова во имя челоуѣколюбія разрѣшить Шевченку рисовать, прибавляя при этомъ, что правосудіе, переходящее свои границы, становится жестокостью (*la justice qui dépasse des bornes devint la cruauté*)*). Письмо это осталось безъ отвѣта, но мы увидимъ въ послѣдствіи, что гр. Орловъ припомнилъ кн. Репниной ея ходатайство за Шевченка. Въ письмѣ къ кн. Репниной Шевченко, между прочимъ, сообщаетъ любопытный и доселѣ неизвѣстный фактъ, что со дня прибытія въ Орскую крѣпость онъ велъ свой дневникъ и въ грустную минуту сжегъ его на свѣчѣ. „Я дурно сдѣлалъ, мнѣ послѣ жалъ было моего дневника, какъ матери своего дитяти, хотя и уродъ“. Фактъ этотъ стоитъ въ рѣзкомъ противорѣчій съ извѣстнымъ заявленіемъ Шевченка въ его позднѣйшемъ Дневникѣ (начатомъ въ Новопетровскомъ укрѣпленіи въ годъ освобожденія и напечатанномъ въ журналѣ Основа за 1861 годъ), гдѣ онъ радуется, что ему въ продолженіе десятилѣтней ссылки не пришла въ голову мысль обзавестись записной тетрадью. „Чтобы я записалъ въ ней? Правда, въ продолженіе этихъ десяти лѣтъ я видѣлъ даромъ то, что не всякому удастся видѣть, но какъ я смотрѣлъ на все это? Какъ арестантъ смотритъ изъ тюремнаго рѣшетчатого окна на свадебный поѣздъ. Одно воспоминаніе о прошедшемъ и видѣнномъ въ продолженіе этого времени приводитъ меня въ трепетъ; а что же было бы, если бы я записалъ эту мрачную декорацію и грубыхъ лицедѣевъ, съ которыми мнѣ довелось разыгрывать эту монотонную десятилѣтнюю драму! Мимо пройдемъ, мимо минувшаго моего, моя коварная память! забудемъ и простимъ темныхъ людей, какъ простилъ милосердый Челоуѣколюбецъ!“ Съ трудомъ вѣрится, чтобы поэтъ въ данномъ случаѣ совершенно позабылъ о своемъ первомъ дневникѣ, чтобы коварная память не подсказала ему такого сравнительно важнаго въ его грустной жизни факта. Скорѣе можно предположить, что онъ сознательно скрылъ истину, не желая подводить подъ отвѣтственность своихъ добрыхъ начальниковъ, которымъ навѣрное досталось бы, если бы дошли слухи, что отданный подъ строжайшій надзоръ Шевченко, вопреки запрещенію, имѣлъ возможность что либо сочинять. Руководимый тѣми же побужденіями, поэтъ въ письмахъ къ друзьямъ постоянно жалуется, что онъ не

*) Письмо кн. Репниной къ гр. Орлову напечатано въ моей статьѣ *Новые матеріалы для біографіи Шевченко* („Кіевская Старина“ 1893, мартъ).

имѣть возможности ничего написать *), тогда какъ на самомъ дѣлѣ извѣстно, что онъ даже въ первые самые тяжелые годы ссылки написал не мало стихотвореній, что онъ ихъ вписывалъ въ маленькую переплетенную въ дегтярный товаръ книжечку, которую онъ постоянно носилъ при себѣ въ голенищѣ сапога и которую впоследствии въ Петербургѣ показывалъ Костомарову и Тургеневу **).

Экспедиція къ Аральскому морю, которой такъ страшился Шевченко, состоялась весной 1848 г. Но она оказалась далеко не такъ тяжелой, какъ онъ предполагалъ. Начать съ того, что начальникъ экспедиціи, добрейшій и благороднѣйшій А. И. Бутакъ относился къ нему въ высшей степени сердечно, что, благодаря его ходатайству, Обручевъ разрѣшилъ Шевченку снимать виды въ степи и берега Аральскаго моря. Офицеры, участвовавшіе въ экспедиціи, слѣдовали примѣру своего начальника и непрерывно осыпали любезностями поэта, а одинъ изъ нихъ, штабсъ-капитанъ Макшеевъ, дѣлилъ съ нимъ хлѣбъ соль и радушно предложилъ ему для ночлега собственную палатку. Въ такомъ отдаленномъ походѣ не могло быть и рѣчи о строгомъ соблюденіи дисциплины; Шевченко ходилъ въ партикулярномъ платьѣ и отпустилъ себѣ большую бороду, такъ что совершенно пересталъ быть похожимъ на салдата. Это послѣднее обстоятельство подало поводъ къ забавному случаю, занесенному поэтомъ въ свой Дневникъ. „Въ 1848 г.—разсказываетъ Шевченко—послѣ трехмѣсячнаго плаванія по Аральскому морю, мы возвратились въ устье Сыръ-Дарьи, гдѣ должны были провести зиму. У форта на островѣ Кость-Аралѣ, гдѣ занимали гарнизонъ уральскіе казаки, вышли мы на берегъ. Уральцы, увидѣвъ меня съ широкой, какъ лопата, бородою, тотчасъ смекнули, что я непременно мученикъ за вѣру. Донесли тотчасъ же своему командиру, а тотъ, не будучи дуракъ, зазвалъ меня въ камышъ, да бацъ передо мною на колѣни. „Благословите, батюшка! Мы, говоритъ, ужъ все знаемъ“. Я тоже, не дуракъ, смекнулъ, въ чемъ дѣло, да и хватилъ самымъ раскольничьимъ благословеніемъ. Восхищенный эсаулъ облобызалъ мою руку и вечеромъ задалъ намъ такую пирушку, какая намъ и во снѣ не грезилась“. (Основа 1861 г.).

Аральская экспедиція длилась безъ малаго полтора года. Въ продолженіе этого времени Шевченко почти не имѣлъ извѣ-

*) Въ письмѣ къ Кухаренку отъ 22 апрѣля 1857 г. Шевченко говоритъ: „Самъ не напысавъ нічого (да и якъ йго було пысать?), а теперъ уже и Богъ його свя-тый знае, чы й напышу ще небудь путне. (Основа 1861, № 10).

**) Книжечка эта хранится въ настоящее время у В. М. Лазаревского.

стій о своихъ друзьяхъ и едва ли самъ писалъ кому либо изъ нихъ. „Я ни съ кѣмъ не переписывался—писалъ онъ въ послѣдствіи къ кн. Репниной—потому что не было возможности; почта ежели и ходитъ черезъ степь, то два раза въ годъ, а мнѣ всегда въ это время не случалось бывать въ укрѣпленіи“. Въ особенности причиняло ему нравственныя терзанія отсутствіе писемъ съ далекой родины.

И зновъ мыни не привезла
Ничого пошта зъ Украины!
За гришныи, мабуть, дала
Караюсь я въ оцій пустынни
Сердытымъ богомъ.

Не желая надрывать свою душу, видя, какъ другіе читають и перечитываютъ полученныя съ родины письма, нашъ Тарасъ уходилъ на берегъ моря, пѣлъ заунывныя украинскія пѣсни или вынималъ изъ голенища сапога завѣтную книжечку и вписывалъ въ нее только что сочиненные стихи. Вообще во время пребыванія своего въ аральской экспедиціи Шевченко написалъ не мало вещей, вошедшихъ потомъ въ собраніе его сочиненій; такъ между прочимъ отсюда онъ прислалъ Ѳ. М. Лазаревскому прекрасное стихотвореніе на *Рождество* (на Різдво).

Осенью 1849 г. экспедиція окончила свою задачу и по ходатайству А. И. Бутакова, бывшаго для поэта не только добрымъ начальникомъ, но братомъ и другомъ, Шевченко былъ отправленъ въ Оренбургъ, чтобы состоять при немъ и доканчивать подъ его руководствомъ работы по описанію Аральскаго моря. Полугодичное пребываніе въ Оренбургѣ (съ ноября 1849 г. по апрѣль 1850 г.) было сравнительно свѣтлой полосой въ ссыльной жизни Шевченка. Друзья-земляки съ Ѳ. М. Лазаревскимъ во главѣ встрѣтили его съ восторгомъ и устроили въ честь его пирушку; кружокъ польскихъ изгнанниковъ (Брониславъ Залѣвскій, Сѣраковский, Станевичъ и др.), обыкновенно державшихся въ сторонѣ и отъ русскихъ, и отъ малороссовъ, на этотъ разъ измѣнилъ своей привычкѣ и считалъ за честь принимать у себя малорусскаго поэта-страдальца. Состоя при начальникѣ аральской экспедиціи, Шевченко только номинально считался солдатомъ; онъ ходилъ въ партикулярномъ платьѣ, не несъ воинской службы, жилъ не въ казармахъ, а въ домѣ своего пріятели, адъютанта при Обручевѣ К. И. Герна, любезно предоставившаго въ его распоряженіе цѣлый флигель, гдѣ Шевченко устроилъ настоящую мастерскую. Тотчасъ по прибытіи въ Оренбургъ Бутаковъ представилъ глав-

ному начальнику края рисованный Шевченкомъ альбомъ видовъ береговъ Аральскаго моря и при этомъ распространился въ такихъ лестныхъ выраженіяхъ о художественаомъ талантѣ Шевченка и пользѣ, которую онъ принесъ экспедиціи, что Обручевъ обѣщалъ ходатайствовать о производствѣ Шевченка въ унтеръ-офицеры. Этому обѣщанію можно было повѣрить, ибо чуть не половинѣ Оренбурга было извѣстно, что Шевченко пишетъ портретъ жены начальника края М. П. Обручевой, конечно, не безъ вѣдома послѣдняго. По словамъ Ѳ. М. Лазаревскаго, Шевченко велъ въ это время жизнь кочевую: хотя онъ имѣлъ постоянную квартиру въ домѣ Герна, но нерѣдко исчезалъ изъ дому и проводилъ по нѣсколько дней то у Лазаревскаго, то въ польскомъ кружкѣ, за что ему не мало доставалось отъ земляковъ. Въ одинъ изъ своихъ приходовъ къ Лазаревскому Шевченко, находившійся въ веселомъ расположеніи духа, занесъ въ его записную книжку слѣдующее игривое и до сихъ поръ неизвѣстное стихотвореніе:

Ой у саду у саду
Гулялы кокошки,
Чорнявая, билавая
Дзюбатая трошки.
Хочъ я и дзюбата,
Таки жъ бо я пышна...
Сватай мене, сердце мое,
Я бъ за тебе выйшла.
Я бъ тебе любыла,
Ой я бъ тоби що субботы
Кучерыкы змыла.
Ой змыла бъ я, змыла,
Та ще й росчесала,
Ой я бъ тебе, сердце мое
Ще й поцилувала.

Въ записной книжкѣ Ѳ. М. есть еще одно стихотвореніе Шевченка, относящееся къ тому же времени, но оно уже слишкомъ игриво...

Изъ Оренбурга Шевченко послалъ В. Н. Репниной три письма. Первое отъ 14 ноября 1849 г. написано тотчасъ по возвращеніи и носить на себѣ слѣды тяжелыхъ впечатлѣній, вынесенныхъ имъ изъ Аральской экспедиціи. Вотъ какими чертами описывалъ Шевченко свое тогдашнее душевное настроеніе: „немного прошло времени, а какъ много измѣнилось; по крайней мѣрѣ сами Вы уже не узнали бы во мнѣ прежняго глупо-восторженнаго поэта. Нѣтъ, я теперь стану слишкомъ благоразуменъ. Вообразите! въ продолженіе почти трехъ лѣтъ ни одной идеи

ни одного помысла вдохновеннаго... проза и проза или лучше сказать степь и степь. Да, В. Н., я самъ удивляюсь моему превращенію; у меня теперь почти нѣтъ ни грусти, ни радости; зато есть миръ душевный, моральное спокойствіе до рыбаго хладнокровія. Грядущее для меня какъ будто не существуетъ. Ужели постоянныя несчастія могутъ такъ печально переработать человека? Да, это такъ. Я теперь совершенная изнанка бывшаго Шевченка—и благодарю Бога*. Едва Шевченко сталъ отогреваться душой въ обществѣ лицъ, искренно къ нему расположенныхъ, какъ его постигло новое разочарованіе. Передъ самымъ новымъ годомъ онъ узналъ, что представленіе Обручева о производствѣ его въ унтеръ-офицеры оставлено безъ послѣдствій и что ему снова подтверждено запрещеніе писать и рисовать; кромѣ того до него дошли слухи, что весной его снова отправляютъ на Аральское море. Сообщая всѣ эти грустныя вѣсти кн. Репниной, Шевченко прибавляетъ: „вотъ какъ я встрѣтилъ новый годъ! Не правда ли весело? Я сегодня пишу В. А. Жуковскому (я съ нимъ лично знакомъ) и прошу его объ исходатайствованіи позволенія мнѣ только рисовать. Напишите и Вы, ежели Вы съ нимъ знакомы; или напишите Гоголю, чтобы онъ ему написалъ обо мнѣ; онъ съ нимъ въ весьма хорошихъ отношеніяхъ. О большемъ не смѣю Васъ беспокоить. Мнѣ страшно дѣлается, когда я подумаю о киргизской степи. Съ отходомъ моимъ въ степь я долженъ буду переписку съ Вами прервать можетъ быть на много лѣтъ, а можетъ быть и навсегда! Не допусти Господи! Ежели будете ко мнѣ писать, то сообщите свой настоящій адресъ, и сообщите также адресъ Гоголя—и я ему напишу по праву малороссійскаго виршеплета. Я лично его не знаю. Я теперь, какъ падающій въ бездну, готовъ за все ухватиться. Ужасна безнадѣжность! Такъ ужасна, что одна только христіанская философія можетъ бороться съ нею. Я Васъ попрошу, достаньте въ Одессѣ, потому что я здѣсь не нашелъ, и пришлите мнѣ *Оомы Кемпійскаго О подражаніи Христу* *). Единственная моя отрада въ настоящее время—это Евангеліе. Я читаю его безъ изученія ежедневно и ежечасно. Прежде я когда то думалъ анализировать сердце матери по жизни св. Маріи непорочной, Матери Христовой, но теперь и это мнѣ будетъ въ преступленіе! Какъ грустно

*) Надо полагать, что эта книга была послана Шевченку, потому что въ числѣ книгъ, отобранныхъ у него при обыскѣ, значится *О подражаніи Христу* (см. Гаршинъ, Шевченко въ ссылкѣ, стр. 166).

я стою между людьми? Но что матеріальная нужда въ сравненіи съ нуждами души, а я теперь брошенъ въ жертву и тѣмъ и другимъ... я Васъ печалю для новаго года, добрая В. Н., своимъ грустнымъ посланіемъ. Но что дѣлать? У кого что болитъ, тотъ о томъ и говорить, а мнѣ хотѣ немного отрадно стало, когда я выисповѣдался передъ Вами“.

Въ третьемъ и послѣднемъ письмѣ къ кн. Репниной отъ 7 марта 1850 г. Шевченко не жалуется больше на судьбу и мало говорить о себѣ; письмо это отчасти теоретическаго характера и заключаетъ въ себѣ въ высшей степени оригинальный взглядъ на сущность художественнаго таланта Гоголя и на глубокое нравственное значеніе его произведеній. „Всѣ дни моего пребыванія когда-то въ Яготинѣ“—пишетъ Шевченко—„есть и будетъ для меня рядъ прекрасныхъ воспоминаній. Одинъ день былъ покрытъ легкой тѣнью, но послѣднее письмо Ваше освѣтило и это грустное воспоминаніе. Конечно, Вы забыли; вспомните! Случайно какъ-то зашла рѣчь у меня съ Вами о *Мертвыхъ Душахъ* и Вы отозвались чрезвычайно сухо. Меня это поразило непріятно, потому что я всегда читалъ Гоголя съ наслажденіемъ и потому, что я въ глубинѣ души всегда уважалъ Вашъ благородный умъ, Вашъ вкусъ и Ваши нѣжно-возвышенныя чувства. Мнѣ было больно; я подумалъ—неужели я такъ грубъ и глупъ, что не могу ни понимать, ни чувствовать прекраснаго? Да, Вы правду говорите, что предубѣжденіе ни въ какомъ случаѣ не позволительно, какъ чувство безъ основанія. Меня восхищаетъ Ваше теперешнее мнѣніе о Гоголѣ и объ его безсмертномъ созданіи. Я въ восторгѣ, что Вы поняли истинно-христіанскую цѣль его. Да, передъ Гоголемъ нужно благоговѣть, какъ предъ человѣкомъ, одареннымъ самымъ глубокимъ умомъ и самой нѣжной любовью къ людямъ! Евгеній Сю похожъ, по моему мнѣнію, на живописца, который, не изучивъ порядочно анатоміи, принялся рисовать человѣческое тѣло, и, чтобъ прикрыть свое невѣжество, онъ его полуосвѣщаетъ. Правда, подобное полуосвѣщеніе эффектно, но впечатлѣніе его мгновенно; такъ и произведенія Сю. Пока читаешь—нравится и помнишь, а прочиталъ—и забылъ. Эффектъ и больше ничего! Не таковъ нашъ Гоголь, истинный вѣдатель сердца человѣческаго! Самый мудрый философъ и самый возвышенный поэтъ должны благоговѣть предъ нимъ, какъ предъ человѣколюбцемъ!“ Ожидая, что 1 мая его погонять въ степь, Шевченко просилъ княжну выслать ему *Мертвыя Души*: „такая книга, говорить онъ, будетъ для меня другомъ въ моемъ одиночествѣ“.

Пришлите ее, В. Н., ради Бога и ради всего святого, заключеннаго въ сердцѣ человѣческомъ *)“. Въ заключеніе Шевченко просить княжну адресовать свои письма въ пограничную комиссію на имя своего друга Ѳ. М. Лазаревского, высокую душу котораго онъ сумѣлъ оцѣнить во время своего двукратнаго пребыванія въ Оренбургѣ: „это одинъ изъ самыхъ благородныхъ людей! Онъ первый не устыдился моей сѣрой шинели, первый встрѣтилъ меня по возвращеніи моемъ изъ киргизской степи и спросилъ, есть ли у меня что пообѣдать? Да, подобный привѣтъ дорогъ для меня! Напишите ему, благодарите его, потому что я и благодарить не умѣю за его пріязнь.

О причинахъ обыска, произведеннаго у Шевченка, и послѣдовавшаго затѣмъ отправленія его на берегъ Каспійскаго моря въ Новопетровское укрѣпленіе такъ рассказывалъ намъ свидѣтель и очевидецъ всего происшедшаго Ѳ. М. Лазаревскій: у одного изъ пріятелей Шевченка, оказавшаго ему много услугъ, была хорошенькая жена, за которой ухаживалъ смазливый прапорщикъ оренбургскаго линейнаго батальона нѣкто И...ъ. Весь городъ говорилъ объ ихъ связи; не догадывался о ней только мужъ, благороднѣйшій человѣкъ, слѣпо довѣрившій своей женѣ. Такое индифферентное отношеніе къ чужому позору возмущало честную натуру Шевченка; ему казалось, что знать и молчать значило въ данномъ случаѣ быть соучастникомъ обмана. Тщетно друзья уговаривали его не мѣшаться въ это дѣло, увѣряя, что самъ мужъ не скажетъ ему спасибо, Шевченко тѣмъ не менѣе рѣшился раскрыть ему глаза. Живя неподалеку, онъ сталъ внимательно слѣдить за влюбленными и, увидѣвши однажды, что, пользуясь отсутствіемъ мужа, прапорщикъ И...ъ тайкомъ прокрался къ своей возлюбленной, Шевченко съѣздивъ на извозчикѣ за мужемъ и прямо привелъ его къ дверямъ комнаты, гдѣ происходило свиданіе. Произошла тяжелая семейная сцена; съ виновной женой сдѣлалась истерика, Шевченко съ мужемъ съ позоромъ выпроводилъ растерявшагося гарнизоннаго Донъ-Жуана изъ дому, а на другой день Обручевъ получилъ доносъ, что Шевченко ходитъ по городу въ партикулярномъ платьѣ и, вопреки Высочайшему

*) Прежде чѣмъ кн. Репнина успѣла выслать Шевченку просимую книгу, онъ былъ уже отправленъ по этапу въ Орскую крѣпость. Впослѣдствіи *Мертвыя Души* были присланы Шевченку въ Новопетровское укрѣпленіе его польскимъ другомъ Брониславомъ Залѣскимъ. (См. Письма Шевченка къ Бр. Залѣскому. „Кіевская Старина“ 1883 г., январь, стр. 167).

повелѣнію, пишетъ стихи и занимается рисованіемъ. Доносъ И...а ставилъ самого Обручева въ неловкое положеніе, ибо слѣдствіе могло обнаружить, что Шевченко писалъ портретъ съ его собственной жены въ генераль-губернаторскомъ домѣ. При другихъ обстоятельствахъ Обручевъ могъ бы совсѣмъ не дать хода этому дѣлу, если бы былъ увѣренъ, что И...ъ ограничился доносомъ ему, а не послалъ одновременно доносъ къ шефу жандармовъ. Но онъ скорѣе былъ увѣренъ въ противномъ—о чемъ не разъ говорилъ окружающимъ—а это обстоятельство, при натянутыхъ отношеніяхъ его къ графу Орлову, побуждало его дѣйствовать быстро и рѣшительно. Вслѣдствіе этихъ соображеній онъ приказалъ своему адъютанту Герну, взявши съ собой жандармскаго штабъ-офицера, произвести обыскъ на квартирѣ Шевченка и немедленно донести ему о результатахъ обыска. Это было въ субботу на страстной недѣлѣ. Выйдя отъ генераль-губернатора, Гертъ, очень любившій Шевченка, забѣжалъ къ Лазаревскому и, рассказавъ все происшедшее, просилъ его предупредить Шевченка, что не далѣе какъ черезъ полтора часа у него будетъ обыскъ. Не малаго труда стоило Лазаревскому разыскать Шевченка; наконецъ съ помощью одного пріятеля Шевченко былъ разысканъ и они втроемъ отправились къ нему на квартиру и весьма энергически принялись уничтожать валявшіеся по столамъ письма и рисунки. Когда большая часть находившихся въ комнатѣ бумагъ была уничтожена, Шевченко, хорошо зная, что у него не найдется ничего предосудительнаго въ политическомъ отношеніи, вдругъ заупрямился и энергически возсталъ противъ этой бумажной гекатомбы. „Довольно“,—сказалъ онъ, закрывая рукою пачку писемъ;—оставьте хоть что нибудь для инквизиторовъ, а то они подумаютъ, что добрые люди меня и знать не хотятъ“. Благодаря этой неосторожности, попали въ руки жандармовъ два альбома съ рисунками и стихами Шевченка, да болѣе двадцати писемъ къ нему отъ различныхъ лицъ: пять отъ Лазаревского, семь отъ Лизогуба, два отъ кн. Репниной и т. д. (Гаршинъ, *Шевченко въ ссылкѣ*, стр. 170). Отобранныя при обыскѣ письма были отправлены въ Петербургъ и не замедлили навлечь на его корреспондентовъ большія или меньшія непріятности. Самого же Шевченка велѣно было впредь до окончанія слѣдствія отправить по этапу въ Орскую крѣпость и тамъ заключить въ казематъ. Слѣдствіе шло быстро и уже въ началѣ іюня дѣло политическаго преступника Шевченка, должно полагать вслѣдствіе приписываемой ему государственной важности, было доложено Государю Императору и вскорѣ послѣдо-

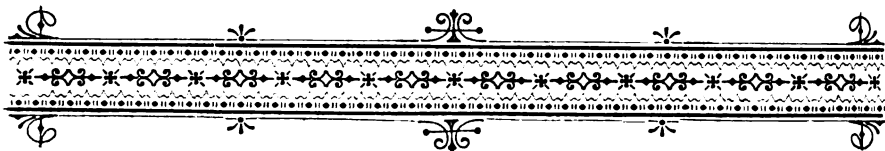
вала Высочайшая резолюція, въ силу которой было рѣшено препроводить Шевченка въ Новопетровское укрѣпленіе подъ строгій надзоръ ротнаго командира, а его ближайшимъ начальникамъ Мѣшкову и Бутакову сдѣлать строгій выговоръ.

Въ числѣ лицъ, получившихъ большія или меньшія непріятности изъ-за Шевченка, были Ѳ. М. Лазаревскій и кн. Репнина. Перваго обошли мѣстомъ, на которое онъ имѣлъ полное право рассчитывать, а послѣдняя получила отъ гр. Орлова строгое внушеніе за переписку съ Шевченкомъ и за участіе, которое она принимала въ немъ. „Переписка Ваша съ Шевченкомъ,“—говорится въ этой бумагѣ, „равно какъ и то, что Ваше Сіятельство еще прежде обращались ко мнѣ съ ходатайствомъ объ облегченіи участи упомянутому рядовому; доказываетъ, что Вы принимали въ немъ участіе, неприличное по его порочнымъ и развратнымъ свойствамъ“. Въ заключеніе кн. Репниной рекомендовалось на будущее время меньше вмѣшиваться въ дѣла Малороссіи (?) съ угрозой, что въ противномъ случаѣ она сама будетъ причиною непріятныхъ для нея послѣдствій. Опасаясь, чтобы ея упорство не отразилось вредно на судьбѣ самого Шевченка, кн. Репнина, скрѣпя сердце, прекратила переписку съ своимъ другомъ, но не переставала интересоваться его судьбой и получать извѣстія о немъ отъ его друзей. Ничего не зная объ этомъ рѣшеніи и обстоятельствахъ, его вызвавшихъ, Шевченко нѣкоторое время продолжалъ писать кн. Репниной. Въ нашемъ распоряженіи находится одно письмо его—послѣднее, писанное изъ Новопетровскаго укрѣпленія и помѣченное 12 января 1851 г. Не сообщая ничего о постигшей его катастрофѣ, Шевченко просто говоритъ, что его перевели изъ Орской крѣпости въ Новопетровское укрѣпленіе на восточный берегъ Каспійскаго моря. „Начальники мои добрые люди; здоровье мое, благодаря Бога, хорошо, только чтеніе мое весьма ограничено, что удваиваетъ скуку однообразія. Да, въ прошедшемъ моемъ хотѣ изрѣдка мелькаетъ не то чтобы истинная радость, по крайней мѣрѣ не гнетущая тоска. Недавно, кажется всего четыре года, а какъ тяжело они пришли надъ моей головой, какъ они измѣнили меня до того, что я самъ себя не узнаю. Вообразите себѣ безжизненную флегму—и это буду я. Не слѣдовало бы и говорить объ этомъ, а лучшаго нечего сказать“.

Не получая отвѣта на свои письма и подозрѣвая что то недоброе, Шевченко и самъ пересталъ писать кн. Репниной, но онъ не пересталъ любить и помнить ее.—Въ перепискѣ съ своими

друзьями онъ не разъ спрашиваетъ о своемъ старомъ другѣ въ выраженіяхъ, показывающихъ, что чувства его не измѣнились, что ни малѣйшая тѣнь сомнѣнія относительно ея не закралась въ его душу. „Благодарю тебя“—пишетъ онъ Залѣсскому отъ 20 мая 1853 г.—„за память о Варварѣ, и ежели ты получишь о ней какое бы то ни было извѣстіе и вскорѣ сообщишь мнѣ, то я тебя не благодарить буду, а боготворить“. Наконецъ, послѣ десятилѣтней разлуки друзья свидѣлись и свидѣлись въ послѣдній разъ. Въ проѣздъ свой черезъ Москву въ мартѣ 1858 г. Шевченко вмѣстѣ съ М. С. Щепкинымъ посѣтилъ кн. Репнину. Подробности свиданія ускользнули у ней за тридцать лѣтъ, но общее впечатлѣніе—и притомъ весьма грустное—живо сохранилось до сихъ поръ. Въ послѣдній разъ княжна видѣла Шевченка въ 1847 г., незадолго передъ его арестомъ; тогда онъ былъ молодымъ человекомъ, сильнымъ, здоровымъ, полнымъ надеждъ на будущее; теперь передъ ней онъ явился почти старикомъ, съ лицомъ покрытымъ красными пятнами (послѣдствія скорбута), съ усталымъ апатическимъ взглядомъ, разбитый физически и нравственно. Друзья дѣлали надъ собою усиліе, чтобъ попасть въ прежній тонъ, но это имъ плохо удавалось: между ними лежала непреходимая черта—десятилѣтняя ссылка поэта. По словамъ кн. Репниной, Шевченко показался ей на этотъ разъ совсѣмъ потухшимъ.





Щепкинъ и Шевченко *).

Мил. Гг.

Принося О. Л. Р. С. глубокую благодарность за приглашеніе принять участіе въ чествованіи памяти М. С. Щепкина, я избралъ предметомъ бесѣды съ Вами отношеніе Щепкина къ одному изъ его лучшихъ друзей—украинскому поэту Шевченку. Щепкинъ и Шевченко были связаны между собою кровными узами племеннаго и духовнаго родства: оба были малороссы, оба страстно любили свою родину, оба вышли изъ темной среды крѣпостного люда, оба силою природнаго генія достигли на разныхъ поприщахъ громадной извѣстности. Мнѣ кажется, что маститый старческій ликъ великаго артиста, съ доброю лаской смотрящій на насъ изъ этого портрета, нахмурился бы и посмотрѣлъ бы на насъ съ укоризной, если бы, вспоминая въ этотъ день о немъ, мы не вспомнили бы ни однимъ словомъ объ его землякѣ и другѣ, котораго онъ любилъ, какъ сына, берегъ, какъ зѣницу ока, въ которомъ онъ видѣлъ восходящее солнце родной поэзіи. Мы хотимъ, чтобы они прошли сегодня передъ нами рука объ руку, какъ ходили при жизни, чтобы передъ нашимъ умственнымъ взоромъ воскресла хоть на мгновеніе ихъ многолѣтняя трогательная дружба, не знавшая ни умаленія, ни охлажденія, повидимому почерпавшая новыя силы въ самой разлукѣ, дружба, воспоминаніе о которой стоитъ сохранить для потомства.

Щепкинъ едва ли зналъ что-либо о Шевченкѣ до появленія въ 1840 г. въ Петербургѣ его *Кобзаря*. Лишь только раздались

*) Рѣчь, произнесенная въ торжественномъ собраніи Общ. Любителей Россійской Слов. въ день столѣтней годовщины рожденія М. С. Щепкина.

первые звуки лиры Шевченка, Щепкинъ былъ одинъ изъ первыхъ угадавшій въ молодомъ авторѣ *Кобзаря* великаго поэта. Онъ былъ до того очарованъ глубиною чувства и чудной мелодіей стиха Шевченка, что сразу и безповоротно сдѣлался его восторженнымъ поклонникомъ и глашатаемъ его славы. Есть преданіе, что вскорѣ послѣ появленіи *Кобзаря*, Щепкинъ сдѣлалъ имя Шевченка извѣстнымъ въ литературныхъ кружкахъ Москвы, мастерски читая стихотвореніе: *Думы мои, думы мои, мило мыни зъ вами*. Нельзя опредѣлить съ точностью, когда Щепкинъ лично познакомился съ Шевченкомъ, но весьма вѣроятно, что начало этого знакомства относится къ 1843 г., когда Шевченко проѣзжалъ черезъ Москву въ Малороссію. Едва ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что познакомившись съ Щепкинымъ, Шевченко подпалъ подъ обаяніе необыкновенно симпатичной личности М. С. и что знакомство между ними незамѣтнымъ образомъ перешло въ дружбу. Въ 1845 г. друзья еще разъ встрѣтились въ Кіевѣ, куда Щепкинъ пріѣзжалъ на гастроли *). Можно сказать положительно, что съ момента личнаго знакомства уже начинается обратное вліяніе Щепкина на Шевченка. Гораздо старшій лѣтами и болѣе богатый житейскимъ опытомъ, Щепкинъ сдерживаетъ пылъ своего друга, журить его за всякое уклоненіе съ истиннаго пути, убѣждаетъ его беречь себя для родины и поэзіи. Хотя документально Щепкинъ является въ роли строгаго пѣстуна музы Шевченка только въ послѣдніе годы жизни поэта, но болѣе чѣмъ вѣроятно, что и въ первое время ихъ сближенія дружба Щепкина имѣла благотворное, освѣжающее вліяніе на Шевченка. Въ грустныя минуты жизни, когда его теплое поэтическое сердце охватывалъ жизненный холодъ, когда его душа казалась ему самому какимъ-то заброшеннымъ пустыремъ, Шевченко мысленно обращался за помощью къ своему другу, повѣрялъ ему свое горе и чувствовалъ облегченіе, бодрость и надежду, которыя исходили какъ бы изъ самого существа свѣтлой природы Щепкина. Такимъ чувствомъ проникнуто написанное въ 1846 г. въ Кіевѣ и посвященное Щепкину стихотвореніе *Пустка*. Въ виду

*) Впрочемъ, весьма возможно, что въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, память измѣняетъ Шевченку. Въ одномъ мѣстѣ своего *Дневника* (Основа, 1861 г., № 12) Шевченко говоритъ, что видѣлся съ Щепкинымъ послѣдній разъ въ 1845 г., а въ другомъ мѣстѣ (Основа, 1862, № 4, стр. 30), что они видѣлись еще и въ роковомъ для Шевченка 1847 г. Первое во всякомъ случаѣ болѣе вѣроятно.

того, что М. С. очень любилъ читать это стихотвореніе въ литературныхъ кружкахъ Москвы, я приведу его въ подлинникѣ:

Заворожи мині, волхве,
Друже сивоусый!
Ты вже сердце запечатавъ,
А я—ще боюся.
Боюся ще погорілу,
Хату руйновати.
Боюся ще, мій голубе,
Серце поховати.
Може вернется надія
Зъ тиею водою
Цілющою, живущею,
Дрібною слезою.
Може вернется въ некрыту
Пустку зімувати
И укрыве и нагріе
Погорілу хату
И вымие и вымие
И світло засвітить;
Може ще разъ прокинутъ
Мои діти-думы;
Може ще разъ пожурюся,
Зъ дітками заплачу,
Може ще разъ сонце правды
Хочъ крізь сонъ побачу.

Въ 1847 г. надъ Шевченкомъ стряслось страшное несчастье. Обвиненный въ сочиненіи сатирическаго стихотворенія на одно высокопоставленное лицо, онъ былъ разжалованъ въ солдаты и зачисленъ въ оренбургскій линейный баталіонъ, откуда былъ переведенъ въ Новопетровское укрѣпленіе на берегу Каспійскаго моря. Въ продолженіе своей десятилѣтней ссылки Шевченко не переписывался съ Шепкинымъ,—можетъ быть изъ боязни компрометировать своего друга въ глазахъ властей, — но постоянно передавалъ ему черезъ общихъ пріятелей поклонны и стихотворенія; тоже съ своей стороны дѣлалъ и Щепкинъ, съ тѣмъ впрочемъ различіемъ, что онъ присоединялъ къ поклонамъ не стихотворенія, а посильную денежную помощь. Въ 1857 г., по ходатайству президента Академіи Художествъ графа Ѳ. П. Толстаго, Шевченко былъ помилованъ: ему дозволено было жить вездѣ, за исключеніемъ столицъ. Въ ожиданіи парохода, который долженъ былъ отвезти его въ Астрахань, Шевченко провелъ много томительныхъ дней, которые для него услаждались только мечтами о свободѣ и тѣмъ, что ему постоянно видѣлись во снѣ его

друзья: „Съ недавняго времени“, — писалъ онъ въ своемъ Дневникѣ, — „мнѣ начали представляться во снѣ давно видѣнные мною милые сердцу предметы и лица. Это вѣроятно, оттого, что я объ нихъ теперь постоянно думаю. Такъ, между прочимъ, видѣлъ я во снѣ М. С. Щепкина въ Москвѣ такимъ же свѣжимъ и бодрымъ, какимъ я его видалъ въ послѣдній разъ въ 1845 г. Говорили о театрѣ и о литературѣ; я ему замѣтилъ: почему онъ не продолжаетъ свои *Записки Артиста*? На что онъ мнѣ отвѣтилъ, что жизнь его протекла такъ тихо и счастливо, что не о чемъ и писать“. — Прибывъ осенью 1857 г. въ Нижній и не зная, что ему запрещенъ въѣздъ въ Москву, Шевченко пишетъ къ Щепкину письмо, исполненное самой трогательной, чисто украинской нѣжности и строить планъ свиданія съ нимъ гдѣ нибудь въ уединеніи возлѣ Москвы. „Другъ мой старинный, другъ мой единственный! Изъ далекой Киргизской степи, изъ тяжелой неволи привѣтствовалъ я тебя, мой голубь сизый, моими сордечными искренними поклонами. Не знаю, доходилъ ли мой привѣтъ до твоего великаго сердца? Если бы намъ увидаться, если бы намъ хоть часочекъ посмотрѣть одинъ на другого, хоть часокъ-другой поговорить съ тобою, другъ мой единственный! Я ожилъ бы духомъ; я напоилъ бы мое сердце твоими тихими рѣчами, словно живущей водой. А какого бы я тебѣ гостинца привезъ къ празднику. Вотъ такъ гостинецъ!“ Щепкинъ не замедлилъ отвѣтомъ и приглашалъ Шевченка пріѣхать на дачу къ его сыну въ с. Никольское въ 40 верстахъ отъ Москвы“. „Ежели же тебѣ такая поѣздка будетъ затруднительна, то не пріѣхать ли мнѣ въ Нижній? И не для того только чтобъ повидаться, а поговорить бы о многомъ нужно. Можетъ быть моя старая голова навела бы и твою на добрую мысль. А для того только, чтобъ повидаться — намъ дѣлать такой расходъ жирно. Богатые находятъ удовольствіе въ исполненіи всѣхъ своихъ желаній, а я напротивъ нахожу величайшее, если откажу себѣ въ удовольствіи, которое мнѣ не по средствамъ“. Средства впрочемъ скоро нашлись, ибо едва лишь въ Нижнемъ разнесся слухъ, что знаменитый московскій артистъ собирается пріѣхать въ гости къ Шевченку, какъ директоръ городского театра Варенцовъ просилъ Шевченка пригласить Щепкина отъ его имени на нѣсколько спектаклей, заранее соглашаясь на всѣ условія, которыя онъ предложить. Когда Шевченко передалъ это приглашеніе Щепкину, то въ отвѣтъ получилъ коротенькое письмо отъ 17 Декабря. „Писать много некогда, и потому скажу лишь нѣсколько словъ. Я

ѣду 21 декабря въ Нижній; если приѣду днемъ, заверну къ тебѣ; если ночью, остановлюсь гдѣ нибудь въ гостиницѣ, и тамъ уже разберемъ, какъ чему быть“. Сообщивъ эту радостную вѣсть своимъ нижегородскимъ пріятелямъ, Шевченко поспѣшилъ подѣлиться ею и съ отдаленными друзьями. „Я жду къ себѣ изъ Москвы,—пишетъ онъ Н. О. Осипову 23 декабря,—„дорогого гостя. И кого бы вы думали я такъ трепетно ожидаю? 70 лѣтняго знаменитаго старца и сердечнаго друга моего М. С. Щепкина. Не правда ли дорогой гость у меня будетъ? Да еще какой дорогой! единственный! И дѣйствительно, это единственный и счастливѣйшій человѣкъ между людьми: дожить до дряхлости физической и сохранить всю юношескую свѣжесть нравственную! Это явленіе необыкновенное. Мы не видались съ нимъ съ 1847 г. и такъ какъ мнѣ воспрещенъ вѣздъ въ столицы, то онъ старецъ-юноша, несмотря на морозъ и вьюгу, ѣдетъ ко мнѣ единственно для того, чтобы поцѣловать меня! Не правда ли—юноша? И какой сердечный, пламенный юноша! Я горжусь моимъ старымъ геніальнымъ другомъ и горжусь справедливо“. Щепкинъ сдержалъ свое слово. Несмотря на сильный морозъ, онъ выѣхалъ изъ Москвы, какъ предполагалъ, 21 декабря. Весь вечеръ 23 декабря Шевченко просидѣлъ дома, поджидая своего друга. Тогда то онъ написалъ прекрасное посвященіе къ предназначенной въ подарокъ Щепкину поэмѣ *Неофиты*. Это былъ тотъ самый гостинецъ, который Шевченко хотѣлъ отвезти своему другу въ Москву.

Возлюбленнику Музъ и Грацій!
Ждучи тебе, я тихо плачу
И думу скорбную мою
Твой души передаю;
Привитай же благодушне
Мою сиротыню.
Нашъ великій чудотворче,
Мій друже единый....

Щепкинъ прожилъ въ Нижнемъ лишь 6 дней; въ продолженіе этого времени онъ сыгралъ нѣсколько своихъ любимыхъ ролей и привелъ въ восторгъ и своего друга и нижегородскую публику. Свободное отъ спектаклей и репетицій время друзья проводили вмѣстѣ и успѣли и наговориться и наплакаться вдоволь. Всѣ эти дни Шевченко ни разу не раскрывалъ своего Дневника, и только по отъѣздѣ Щепкина онъ могъ взяться за перо, чтобы выразить чувства восторга и благодарности своему другу за доставленные ему счастливыя минуты. „Я все

еще не могу прийти въ нормальное состояніе отъ волшебнаго очаровательнаго видѣнія. У меня все еще стоятъ передъ глазами Городничій, Матросъ, Михайло Чупрунъ и Любимъ Торцовъ. Но ярче и лучезарнѣ великаго артиста стоитъ великій человѣкъ, кротко улыбающійся, другъ мой единственный, искренній мой, незабвенный М. С. Щепкинъ. Шесть дней, шесть дней полной радостноторжественной жизни! И чѣмъ я заплачу тебѣ, мой старый, мой единственный друже? Чѣмъ заплачу тебѣ за это счастье? за эти радостныя сладкія слезы? Любовью? Но я люблю тебя давно, да и кто, зная тебя, не любитъ? Чѣмъ же? Кромѣ молитвы о тебѣ самой искренней, я ничего не имѣю.“ Горе ждало Щепкина дома. Вскорѣ по приѣздѣ въ Москву онъ получилъ извѣстіе о смерти своего сына Дмитрія, извѣстнаго санскритолога, скончавшагося на островѣ Мадерѣ. Здѣсь кстати будетъ отмѣтить замѣчательную черту характера М. С. Никакія обстоятельства его личной жизни не заставили его отступить ни на шагъ отъ того, что онъ считалъ своимъ нравственнымъ долгомъ. Несмотря на объявленное его горе, Щепкинъ въ письмѣ къ Шевченку просилъ послѣдняго сходить къ Варенцову и попросить его поблагодарить почтмейстера за почтальона, везшаго его изъ Нижняго. „Онъ за мной ухаживалъ какъ за ребенкомъ, и, пожалуйста, чтобъ Варенцовъ не забылъ этого; доброе слово для маленькаго человѣка необходимо.“ По отъѣздѣ Щепкина изъ Нижняго Шевченко, скупая бездѣйствіемъ, порядочно кутнулъ. Узнавши объ этомъ отъ одного изъ общихъ знакомыхъ, Щепкинъ написалъ своему другу письмо, въ которомъ сквозъ строгость тона такъ и видится его любящая и страдающая за Шевченка душа. „Никакая пощечина меня бы такъ не оскорбила. Богъ тебѣ судья! Не щадишь ты ни себя, ни друзей своихъ. Не набрасывай *этого* на свою натуру и характеръ. Я *этого* не допускаю; человѣкъ тѣмъ и отличается отъ животныхъ, что у него есть воля. Не взыщи за мои грубыя слова. Дружба строга, а ты самъ произвелъ меня въ друзья, и потому пеняй на себя. А все таки цѣлую тебя безъ счету.“ Въ мартѣ мѣсяцѣ 1858 г., по ходатайству того же графа Ѳ. П. Толстаго, Шевченку было разрѣшено жить въ обѣихъ столицахъ, и онъ счелъ своимъ первымъ нравственнымъ долгомъ немедленно отправиться въ Петербургъ, чтобы лично поблагодарить графа и графиню за свое избавленіе. 11 марта Шевченко прибылъ въ Москву и постучался въ гостепріимную дверь Щепкина, жившаго тогда у Старога Пимена, въ домѣ Щепотьева. Свиданіе было самое сердечное. Щепкинъ самъ вызвался пока-

зять своему другу Москву и свести его съ хорошими людьми. Они посѣтили вмѣстѣ кн. Репнину, Аксакова, Бодянского, Кошелева и многихъ другихъ лацъ. Случалось не разъ, что веселая компанія пыталась увлечь поэта за городъ. Присутствовавшій при этомъ Щепкинъ хмурился, ворчалъ, пробовалъ отговаривать отъ поѣздки. Хорошо зная необузданную козацкую натуру своего друга, онъ очевидно боялся, чтобы съ нимъ не повторилась нижегородская исторія, которая могла бы уронить великаго поэта въ глазахъ московскихъ друзей. Въ такихъ случаяхъ Шевченко подходилъ къ Щепкину и своимъ тихимъ и задумчивымъ голосомъ говорилъ ему; „Да ну бо, батьку, годі!“ Звукъ ли родной рѣчи въ устахъ ея славнаго представителя или ласковое слово „батьку“, съ которымъ обращался къ Щепкину тотъ, кого земляки называли батькомъ родного слова, какъ бы то ни было, но въ семействѣ Щепкина сохранилось преданіе, что эти простыя слова дѣйствовали на старика словно волшебныя чары: онъ мигомъ смягчался, самъ снаряжалъ поэта въ путь, но только просилъ спутниковъ беречь его. Во время пребыванія въ домѣ Щепкина Шевченко немного прихворнулъ. Былъ приглашенъ домашній докторъ Д. Е. Минъ, который оказался поэтомъ и переводчикомъ Данте. По этому поводу Шевченко записалъ въ своемъ Дневникѣ: „у моего стараго друга М. С. вездѣ и во всемъ поэзія; у него и домашній медикъ—поэтъ“. Хотя болѣзнь Шевченка была не серьезная, но тѣмъ не менѣе добрейшій М. С. ухаживалъ за своимъ другомъ и гостемъ, какъ за капризнымъ ребенкомъ; даже специально для развлечения поэта пригласилъ одну даму, которая спѣла ему нѣсколько малороссійскихъ пѣсень. Желая чѣмъ нибудь отблагодарить своего радушнаго хозяина, Шевченко нарисовалъ портретъ М. С., но, по собственному сознанію Шевченка, портретъ вышелъ неудаченъ,—чему не мало способствовали посѣтители, не разъ прерывавшіе работу. Прогостивъ у своего друга съ небольшимъ двѣ недѣли, встрѣтивъ въ его радушной семьѣ праздникъ Пасхи, Шевченко 26 марта оставилъ Москву и направился въ Петербургъ. Принятый съ восторгомъ земляками и многочисленными почитателями своего таланта, засыпавшими его приглашеніями, Шевченко первые два мѣсяца почти не принадлежалъ себѣ и не могъ серьезно приняться ни за живопись, ни за поэзію. Когда слухи объ этомъ безплодномъ препровожденіи времени дошли до Щепкина, послѣдній пишетъ ему изъ Москвы отъ 23 мая: „Теперь два слова старика: за дѣло и за дѣло! Не давай овладѣвать собою бездѣй-

ствію! Поклонись отъ меня всѣмъ моимъ знакомымъ, которыхъ ты знаешь. Да еще разъ: за дѣло и за дѣло! Твой старый другъ Михайло Щепкинъ“.—Этимъ бодрымъ и энергическимъ призывомъ къ дѣятельности и заканчивается переписка Щепкина съ Шевченко. Видались ли они потомъ другъ съ другомъ, продолжали ли обмѣниваться письмами—на этотъ вопросъ изданные до сихъ поръ матеріалы не даютъ отвѣта. Но и то немногое, что издано, проливаетъ яркій свѣтъ на Щепкина, какъ человѣка, и на характеръ его отношеній къ украинскому поэту. Тайна взаимнаго притяженія Щепкина и Шевченка объясняется главнымъ образомъ тѣмъ, что эти избранныя поэтическія натуры во многомъ дополняли одна другую. Ожесточенный долго тяготѣвшимъ надъ нимъ гнетомъ крѣпостного права, разбитый нравственно и физически десятилѣтней ссылкой, Шевченко подъ конецъ своей жизни почти утратилъ способность спокойнаго объективнаго отношенія къ окружающей дѣйствительности: онъ мрачно смотрѣлъ на жизнь; онъ былъ вѣчно на сторожѣ; малѣйшая неудача повергала его въ отчаяніе; малѣйшее недоразумѣніе въ личныхъ отношеніяхъ, иногда обуславливаемое его собственной непрактичностью, приводило его въ негодованіе. Поставленная въ лучшія условія жизни, столь же чуткая къ прекрасному, но болѣе гармоническая натура Щепкина выработалась въ нравственно-здоровую личность, съ трезвымъ и объективнымъ отношеніемъ къ дѣйствительности, личность, способную все понять и все простить. Одинъ изъ близкихъ родственниковъ Щепкина рассказывалъ мнѣ, что всякій разъ, когда проѣзжалъ черезъ Москву сынъ его бывшаго помѣщика графа Волькенштейна, М. С. надѣвалъ фракъ и отправлялся засвидѣтельствовать ему свое почтеніе. Шевченко не былъ способенъ на такое благодушное отношеніе къ своему подневольному прошлому. При одной мысли о крѣпостномъ правѣ подъ гнетомъ котораго продолжали томиться его родные, онъ выходилъ изъ себя и разражался проклятіями. Такъ было и во многомъ другомъ. Неисцѣлимому идеализму Шевченка, его ожесточенію и раздражительности Щепкинъ противопоставлялъ свою широкую терпимость, свое знаніе людей и практической жизни и свое неизмѣнное провѣрбальное благодушіе. И эти качества дѣйствовали какъ цѣлительный бальзамъ на измученную душу Шевченка. Вотъ почему онъ, по его собственному выраженію, упивался тихими рѣчами Щепкина, словно цѣлящей водой. И кто знаетъ? можетъ быть самая судьба Шевченка была бы иная, если бы въ года его молодости возлѣ него близко стоялъ такой

безконечно-любящій, строгій и умиротворяющій другъ какъ М. С. Шевченко въ одномъ письмѣ называетъ Щепкина счастливейшимъ изъ людей, потому что, доживъ до преклонныхъ лѣтъ, онъ сумѣлъ сохранить въ себѣ нравственную свѣжесть, свойственную юности. Пусть же онъ останется такимъ навсегда и въ памяти отдаленнѣйшаго потомства! Пусть оно чтитъ въ его лицѣ не только красу и гордость нашей сцены, но и одно изъ лучшихъ украшеній нашего общества!





Мелочи для біографіи Шевченка.

Вышедшее въ 1840 г. первое изданіе *Кобзаря* сдѣлало имя Шевченка извѣстнымъ во всей Малороссіи. Извѣстность его еще болѣе усилилась послѣ изданія имъ въ 1842 г. поэмы *Гайдамаки*. Съ этихъ поръ и до своей ссылки Шевченко написалъ такъ много новыхъ стихотвореній, что ему казалось вполне умѣстнымъ выпустить въ свѣтъ второе дополненное изданіе *Кобзаря*, ибо первое уже успѣло сдѣлаться библіографическою рѣдкостью. Друзья поддерживали его въ этой мысли, а П. А. Кулишъ воспользовался этимъ случаемъ, чтобы побудить поэта исправить нѣкоторыя погрѣшности въ его стихотвореніяхъ. Съ этою цѣлью онъ написалъ Шевченку большое письмо, въ которомъ подвергъ тонкому эстетическому разбору все имъ написанное. „Прошу васъ,—писалъ въ заключеніе Кулишъ,—не уничтожать этого письма, а спрятать его такъ, чтобъ оно могло попасть вамъ въ руки лѣтъ черезъ пять, когда вы насытитесь куревомъ всеобщихъ похвалъ и внутренній вашъ человѣкъ возжаждетъ новыхъ наслажденій поэтическихъ, наслажденій глубокимъ сознаніемъ красоты творчества, недоступнымъ для публики“. Шевченко исполнилъ просьбу пріятеля и сберегъ его письмо, которое вслѣдствіе этого было отобрано у него при первомъ обыскѣ и нынѣ сохраняется при дѣлѣ о художникѣ Шевченкѣ, находящемся въ архивѣ Исполнительной Полиціи *).

Странствуя въ началѣ 1847 г. по Черниговской губерніи, гостя поочередно у Г. С. Тарновскаго, А. И. Лизогуба, поэта

*) За разрѣшеніе пользоваться этимъ дѣломъ я приношу глубокую благодарность министру внутреннихъ дѣлъ И. Л. Горемыкину.

Виктора Забѣлы и др., Шевченко не забывалъ о второмъ изданіи *Кобзаря* и въ бытность свою въ Седневі у Лизогуба набросалъ доселѣ неизвѣстное, весьма любопытное предисловіе къ изданію, въ которомъ горячо отстаивалъ право существованія малорусской литературы. Мы приводимъ это предисловіе въ русскомъ переводѣ, позволяя себѣ сдѣлать въ немъ нѣкоторыя необходимыя сокращенія. „Выпускаю въ свѣтъ,—пишетъ онъ,—второе изданіе моего *Кобзаря* и, чтобъ ему не ходить съ пустымъ мѣшкомъ, надѣляю его предисловіемъ. Къ вамъ мое слово, о братія моя украинская возлюбленная! Великая печаль овладѣла душою моею. Слышу, а иногда и читаю, что поляки, чехи, сербы, болгары и русскіе издають много на своихъ языкахъ, а мы ни слова. Что съ вами, братія моя? Не испугались ли вы нашествія иноплеменныхъ журналистовъ? *). Не бойтесь ихъ! Собака лаеетъ—вѣтеръ носитъ. Они кричатъ, почему мы не пишемъ по-русски? А я спрашиваю ихъ, почему сами русскіе не пишутъ по-русски, а только переводятъ, да и то плохо. Уснастятъ свою рѣчь какими-то индивидуализмами и такими словами, что и не выговоришь, кричатъ о братствѣ, а грызутся какъ собаки. Толкуютъ объ единой славянской литературѣ, а не хотятъ знать того, что дѣлается у славянъ. Развѣ они прочли хоть одну книжку польскую, сербскую, чешскую или хоть нашу? Нѣтъ, не прочли, потому что не понимаютъ. Если же имъ попадется въ руки наша книжка, то они хвалятъ въ ней то, что никуда не годится, рассказы о жидахъ, шинкахъ и пьяныхъ бабахъ, а наши патріоты-хуторяне только повторяютъ ихъ слова. Правда, что мы сами тутъ не безъ грѣха, ибо мы не знаемъ нашего народа такимъ, какимъ сотворилъ его Господь; ибо въ шинкѣ и наши, и русскіе, и даже нѣмцы—всѣ похожи на свиней, а наши, пожалуй, еще больше всѣхъ. Прочтутъ себѣ по складамъ *Энеиду* Котляревскаго, да послоняются возлѣ шинка и думаютъ, что знаютъ нашъ народъ. Нѣтъ, господа, прочтите наши думы и пѣсни, послушайте, какъ наши крестьяне говорятъ между собой, не снимая шапокъ, какъ они сидятъ на пирушкахъ и воспомина-

*) Намекъ на глумливые отзывы о малорусской литературѣ, иногда появлявшіеся въ русскихъ журналахъ. Извѣстно, что стоявшій тогда во главѣ русской критики Бѣлинскій относился въ это время съ какой-то аристократической ироніей къ украинскимъ писателямъ, писавшимъ на всѣмъ понятномъ народномъ языкѣ и воспроизводившимъ въ своихъ сочиненіяхъ жизнь простого народа. По словамъ Бѣлинскаго, мужицкая жизнь мало интересна для образованнаго человѣка. Хороша литература, которая только и дышетъ, что простоватостью крестьянскаго языка и дубоватостью крестьянскаго ума! (Сочиненія, т. V, стр. 309—310).

ють про старину, какъ они плачуть, вспоминая про турецкую неволю или про тѣ оковы, въ которыя ихъ заковали польскіе магнаты, тогда вы скажете, что хотя *Энеида* и хорошая вещь, но все-таки смѣхотворная и притомъ на московскій ладъ. Вотъ такъ-то, братія моя возлюбленная, чтобы знать людей, нужно пожить съ ними, а чтобы ихъ описывать, нужно прежде самому стать человекомъ. О, тогда пишите и печатайте, и тогда вашъ трудъ будетъ трудомъ честнымъ! А на русскихъ не обращайтесь вниманія: пусть они пишутъ по-своему, а мы по-своему; у нихъ народъ и слово и у насъ народъ и слово, и чье слово лучше—объ этомъ пусть судятъ другіе. Они ссылаются на Гоголя, который пишетъ по-русски *), а не по-украински, и на Вальтеръ-Скотта, который писалъ по-англійски, а не по-шотландски. Гоголь выросъ въ Нѣжинѣ и своего родного языка не знаетъ, а Вальтеръ-Скоттъ въ Единбургѣ, а не въ Шотландіи, но у шотландцевъ есть зато свой великій и народный поэтъ Бэрнсъ. Нашъ Сковорода могъ бы быть такимъ, еслибъ его не сбила съ толку сначала латынь, а потомъ русское вліяніе. Правда, покойный Основьяненко добросовѣстно изучалъ народъ, но не достаточно прислушался къ его языку, можетъ быть даже и не слышалъ его въ колыбели отъ родной матери, а Артемовскій, хотъ и слышалъ, да позабылъ, потому что постригся въ паны. Почему же Караджичъ и Шаффарикъ не сдѣлались нѣмцами (что имъ было весьма сподручно), а остались славянами и искренними сынами своей родины и тѣмъ стяжали себѣ добрую славу. Горе намъ! Но, братіе, не впадайте въ уныніе, а молитесь Богу и работайте разумно во имя матери нашей—бѣзталанной Украины. Аминь“.

Предисловіе подписано 8 марта 1847 г., а меньше чѣмъ черезъ мѣсяцъ Шевченко, заподозрѣнный въ принадлежности къ Кирилло-Мееодіевскому обществу, былъ арестованъ и отправленъ въ Петербургъ, а отсюда, разжалованный въ рядовые, былъ сосланъ въ Оренбургскій линейный батальонъ. Такъ печально окончилась затѣя Шевченка выпустить въ свѣтъ второе изданіе своего *Кобзаря*. Хотя въ ссылкѣ Шевченка не разъ посѣщало вдохновеніе, но онъ писалъ украдкой, контрабандой, ибо ему было запрещено писать и рисовать. Такъ продолжалось цѣлыхъ десять лѣтъ. Наконецъ, весной 1857 г. вице-президенту академіи худо-

*) Здѣсь Шевченко прямо мѣтитъ въ Бѣлинскаго, который въ одномъ мѣстѣ восклицаетъ: „Какая глубокая мысль въ томъ фактѣ, что Гоголь, страстно любя Малороссію, все-таки писалъ по-русски!“ (Соч., т. V, стр. 309).

жествъ гр. Ө. П. Толстому при посредствѣ в. к. Маріи Николаевны удалось исходатайствовать Высочайшее помилованіе Шевченку. Въ августѣ Шевченко оставилъ Новопетровское укрѣпленіе и прибылъ сначала въ Астрахань, а потомъ въ Нижній, гдѣ провелъ зиму въ ожиданіи разрѣшенія переѣхать въ Петербургъ. Въ мартѣ 1858 г. Шевченку было дозволено возвратиться въ Петербургъ, куда онъ въ скоромъ времени и прибылъ. Къ чести петербургскаго интеллигентнаго общества нужно сказать, что оно приняло опальнаго поэта весьма радушно и какъ бы старалось лаской и участіемъ вознаградить его за долгіе годы страданій. Онъ былъ своимъ человекомъ въ домѣ гр. Толстого; извѣстные петербургскіе литераторы искали его знакомства, а земляки чуть не носили его на рукахъ. Едва успѣвши устроиться на собственной квартирѣ въ академіи, Шевченко принялся за хлопоты по второму изданію своего *Козбара*. Къ этому его побуждали, помимо просьбъ земляковъ, и желаніе подвести итоги своей поэтической дѣятельности, и матеріальныя обстоятельства. Средствъ у него не было никакихъ, а художественные заказы стоили ему большого труда, ибо онъ успѣлъ сильно отвыкнуть отъ техники рисунка и гравюры. „Я такъ запрягся въ работу,—писалъ онъ Щепкину,—что сижу на этюдахъ и не выхожу изъ натурнаго класса. Такъ занятъ, что иногда не имѣю времени написать небольшое письмо“. Второе изданіе *Козбара* являлось для него, такимъ образомъ, единственнымъ средствомъ выйти изъ стѣсненнаго матеріальнаго положенія, и этимъ объясняется, что уже осенью 1858 г. онъ начинаетъ хлопотать о разрѣшеніи изданія. Но это было дѣло далеко не легкое. Первоначально Шевченко обратился съ прошеніемъ на имя министра народнаго просвѣщенія, въ вѣдѣніи котораго находилась тогда цензура. Въ прошеніи этомъ Шевченко объяснялъ, что, *нуждаясь въ дневному пропитаніи*, онъ проситъ дозволить ему новое изданіе *Козбара* и *Гайдамакъ*. Въ виду того, что Шевченко находился подъ надзоромъ полиціи, министръ не могъ своею властью разрѣшить изданіе и потребовалъ прежде всего разрѣшенія III-го отдѣленія. По этому поводу поэтъ написалъ прекрасное письмо къ тогдашнему шефу жандармовъ кн. Василю Андреевичу Долгорукову, которое находится при дѣлѣ. Мы приводимъ его цѣликомъ:

„Вашему сіятельству извѣстно, что въ 1847 г. я былъ приговоренъ къ продолжительному наказанію за неосторожные стихи, написанные мною въ минуты душевнаго огорченія такими явленіями, о которыхъ я не имѣлъ права судить публично по суще-

ствующимъ постановленіямъ и не имѣлъ возможности судить основательно по удаленію моему отъ центра правительствующей власти. Вполнѣ сознаю свои заблужденія и желать бы, чтобы преступные стихи покрылись вѣчнымъ забвеніемъ. Десять лѣтъ прошло съ того времени. Въ такой продолжительный періодъ и дѣти становятся людьми, мыслящими основательно. Поэтому надобно предположить, что и въ моей бѣдной головѣ больше установилось порядка, если не прибавилось ума. На основанія этого естественнаго предположенія покорно прошу, в. с., какъ представителя верховной власти въ извѣстной сферѣ дѣлѣ, смотрѣть на меня какъ на человѣка новаго и не смѣшивать меня съ тѣмъ Шевченкомъ, который имѣлъ несчастіе навлечь на себя своими рукописями праведный гнѣвъ въ Божѣ почившаго Государя Императора. Возвращенный въ столицу великодушіемъ его Августѣйшаго сына, я увидалъ во многомъ перемены необыкновенныя, истинно благотѣльныя для отечества, и между прочимъ (что лично для меня особенно важно) нашихъ людей, которые подверглись гнѣву правительства въ одно время со мною, дѣйствующими нынѣ на литературномъ поприщѣ для общей пользы. Таковы Н. И. Костомаровъ, П. А. Кулишъ, которымъ въ 1847 г. было запрещено печатать свои сочиненія. Мало того: даже сочиненія эмигранта Мицкевича по высочайше благотѣльной волѣ позволено печатать въ предѣлахъ имперіи *). Согласитесь, в. с., что эти отрадные явленія должны внушить и мнѣ надежду на милость нашего великаго монарха. Я потерпѣлъ наказаніе собственно за мои рукописи, которыхъ никогда не пожелаю видѣть въ печати. Что же касается до моихъ печатныхъ сочиненій, то они и во время моей солдатской службы продолжали ходить по рукамъ и продавались тайкомъ букинистами, а запрещеніе наложено было на нихъ такъ сказать заурядъ, для усиленія моего наказанія. Возвратясь теперь въ академію художествъ, я подвергаюсь естественному слѣдствію моего отсутствія—бѣдности, изъ которой не могутъ извлечь меня отсталые труды мои по части живописи, тѣмъ болѣе, что мнѣ ужъ 48 лѣтъ и что мое зрѣніе съ каждымъ мѣсяцемъ ослабѣваетъ. Если в. с. угодно будетъ обратить благосклон-

*) Здѣсь Шевченко имѣетъ въ виду то обстоятельство, что, весной 1857 г., по всеподданнѣйшему докладу министра народнаго просвѣщенія просьбы опекуна надъ дѣтьми поэта Мицкевича, государь императоръ, въ видѣ особой милости, повелѣлъ предоставить дѣтямъ Мицкевича въ Россіи и царствѣ Польскомъ право литературной собственности на произведенія ихъ отца, могущія быть допущенными цензурой.

ное вниманіе на все мною изложенное, то вы согласитесь, что, прося васъ снять съ моихъ книгъ запрещеніе, я прошу только дозволить мнѣ пользоваться литературными правами предшествовавшаго царствованія и постановленіями тогдашней цензуры, которая, какъ извѣстно, была гораздо строже нынѣшней; я прошу дозволить мнѣ на старость имѣть кусокъ насущнаго хлѣба отъ моихъ молодыхъ трудовъ, признанныхъ цензурою безвредными и до благодѣтельнаго воцаренія нашего великаго монарха. Осмѣливаюсь прибавить, что просьба моя кажется мнѣ уважительной. по одному тому уже, что исполненіе ея будетъ соотвѣтствовать характеру всѣхъ милостей царскихъ, которыя изливаются на его подданныхъ отъ полноты его благодушія въ смыслѣ божественныхъ словъ: *прошу и не поману*, и что въ моемъ положеніи не будетъ противорѣчія съ понятіемъ о великодушіи монаршемъ“.

На этомъ письмѣ положена кн. Долгоруковымъ такая резолюція: „навести справку о сочиненіяхъ Шевченка, которыя были напечатаны прежде его удаленія изъ Петербурга“. Наведена ли была въ дѣйствительности эта справка—неизвѣстно, скорѣе, что не была, ибо 16 января 1859 г. министръ народнаго просвѣщенія обратился къ кн. Долгорукову съ просьбой „почтить его сообщеніемъ, могутъ ли въ настоящее время быть подвергнуты вновь цензурному разсмотрѣнію сочиненія Шевченка *Коззбарь* и *Гайдамаки* для новаго ихъ изданія съ нѣкоторыми исключеніями и измѣненіями, какія будутъ признаны нужными со стороны цензуры“. Не имѣя въ принципѣ ничего противъ новаго изданія сочиненій Шевченка, кн. Долгоруковъ въ своемъ отвѣтѣ министру посовѣтовалъ пригласить частнымъ образомъ члена главнаго управленія цензуры д. с. с. Тройницкаго разсмотрѣть сочиненія Шевченка. Министромъ народнаго просвѣщенія былъ тогда умный и гуманный Е. П. Ковалевскій, который, въ качествѣ малоросса, самъ былъ большимъ поклонникомъ таланта Шевченка. Конечно, онъ поспѣшилъ пригласить г. Тройницкаго, а послѣдній поспѣшилъ прочесть произведенія Шевченка и представить министру свое мнѣніе. „Я прочиталъ со вниманіемъ,—писалъ Тройницкій,—представленныя ко второму изданію двѣ поэмы на малороссійскомъ языкѣ Т. Г. Шевченка, подъ заглавіемъ *Чигиринскій Коззбарь* и *Гайдамаки*, къ коимъ присоединено и стихотвореніе *Гамалія*. Первая изъ этихъ поэмъ состоитъ изъ восьми отдѣльныхъ и не образующихъ собственно одного цѣлаго пѣсенъ, въ которыхъ вспоминаются бывлыя времена Малороссіи и борьба козачества съ бывшими его врагами. Въ первой изъ этихъ пѣсенъ—*Думы мои*

думы мои—слишкомъ горько высказывается скорбь автора объ уничтоженіи казачьей вольности, *надъ могилою* которой, по словамъ его, *орелъ чорный сторожемъ лѣтае*, и грусть его на чужбинѣ, т.-е. на сѣверѣ Россіи, по родинѣ его, Украинѣ. Эту пѣсню я полагалъ бы за лучшее исключить вовсе изъ второго изданія поэмы Шевченка. Хотя въ ней нѣтъ особо предосудительныхъ стиховъ, кромѣ развѣ вышеприведенныхъ, но общая мысль ея враждебна слиянію Малороссіи съ Великороссіей. Исключеніе этой пѣсни, служащей какъ бы только предисловіемъ къ поэмамъ, не повредитъ цѣлости творенія поэта, а между тѣмъ отстранить тяжелую мысль, что онъ ставитъ и Россію въ числѣ бывшихъ враговъ Украины. Слѣдующія затѣмъ семь пѣсенъ элегическаго содержанія не представляютъ ничего противнаго правиламъ цензуры, хотя въ послѣдней изъ нихъ—*Катерина*—и горько выражается упрекъ русскому, соблазнившему и потомъ жестоко покинувшему молодую малороссіянку, но въ ней нѣтъ направленія, враждебнаго цѣлому народу. Эти семь пѣсенъ тѣмъ безпрепятственнѣе могутъ быть дозволены, по моему мнѣнію, ко второму напечатанію, что встрѣчающіеся въ нихъ ряды точекъ даютъ поводъ предполагать объ исключеніи при первоначальномъ цензурованіи стиховъ, содержащихъ предосудительныя выраженія или мысли. Поэма *Гайдамаки* въ живыхъ и поэтическихъ картинахъ воспроизводитъ эпизоды старинной борьбы Украины съ Польшею. Въ первой половинѣ ея изображено страшное разореніе Украины поляками и евреями, а во второй—кровавая месть гайдамаковъ надъ тѣми и другими. Картины эти вообще мрачны и унылы, какъ и предметъ, ими описываемый, но въ этихъ изображеніяхъ событій, давно уже перешедшихъ въ область исторіи, я не встрѣтилъ ничего несласнаго съ правилами цензуры. Стихотвореніе *Гамалія* поэтически передаетъ разсказъ объ одномъ изъ казачьихъ набѣговъ на Турцію. Какъ поэма *Гайдамаки*, такъ и стихотвореніе *Гамалія* могутъ быть безпрепятственно разрѣшены, по моему мнѣнію, ко второму изданію. Препровождая мнѣніе Тройницкаго кн. Долгорукову, министръ народнаго просвѣщенія замѣчаетъ, что онъ съ своей стороны вполне раздѣляетъ это мнѣніе. Повидимому, отзывъ лица, рекомендованнаго самимъ кн. Долгоруковымъ для разсмотрѣнія стихотвореній Шевченка, не могъ усыпить вполне его подозрѣній насчетъ ихъ неблагонамѣренности, потому что въ своемъ отвѣтѣ онъ даетъ разрѣшеніе на ихъ новое изданіе, но съ тѣмъ, чтобъ они были вновь подвергнуты цензурному разсмотрѣнію и

чтобы при этомъ было обращено особенное вниманіе на поэму *Чигиринскій Кобзарь*.

Такимъ образомъ злополучному *Кобзарю* пришлось пройти еще одно мытарство. Главное управление по дѣламъ печати отдало его на разсмотрѣніе цензору Бекетову, который отнесся къ нему весьма сурово и нерѣдко выбрасывалъ такіе стихи, въ которыхъ не было ничего политическаго. Великимъ счастьемъ для Шевченка было то обстоятельство, что во главѣ министерства народнаго просвѣщенія, которому была въ то время подчинена цензура, стоялъ такой просвѣщенный и либеральный человѣкъ, какъ Е. П. Ковалевскій. Высоко цѣня значеніе литературы и пользу, приносимую ею обществу, онъ постоянно сдерживалъ усердіе цензоровъ, что въ концѣ-концовъ, еще въ бытность Ковалевскаго министромъ, повело къ изъятію печати изъ вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія и передачѣ ея въ вѣдѣніе министерства внутреннихъ дѣлъ *).

Личному вліянію министра слѣдуетъ приписать, что стихотвореніе *Думы мои, думы мои*, осужденное на уничтоженіе Тройничкимъ, вышло на свѣтъ Божій, хотя и въ сильно искаженномъ видѣ **). Но, кромѣ цензурныхъ затрудненій, были затрудненія другого рода,—затрудненія финансовыя. У Шевченка не было денегъ на изданіе, а условія, предлагаемыя ему петербургскими книгопродавцами, между прочимъ пріятелемъ Костомарова Кожанчиковымъ, были такого рода, что согласиться на нихъ значило лишиться себя всякаго заработка. Капризная фортуна и на этотъ разъ не измѣнила поэту: во время своей поѣздки въ Малороссію (лѣтомъ 1859 г.), Шевченко встрѣтился съ извѣстнымъ сахарозаводчикомъ П. Θ. Семеренкомъ, который, узнавши о финансовыхъ затрудненіяхъ Шевченка, обѣщалъ тотчасъ выслать деньги на изданіе, какъ только цензура его пропуститъ. Наконецъ на-

*) „Какъ Ковалевскій,—говорилъ министръ Никитенку,—я могу желать отдѣлаться отъ цензуры, потому что это—тяжкое бремя. Но, какъ гражданинъ, какъ русскій, я всѣми силами буду противодѣйствовать всякому покушенію отдѣлить ее отъ министерства народнаго просвѣщенія, потому что это можетъ имѣть погубныя послѣдствія для литературы“ (*Дневникъ Никитенки*, т. 2-й, стр. 170).

**) Сбылось предсказаніе поэта насчетъ печальной судьбы, постигающей его произведенія:

Сирота-собака має свою долю...
Мое добре слово въ світі сирота;
Кого бють и лають, закують въ неволю,
Та ніхто про матір' на сміхъ не спыта.

сталъ давно желанный день 28 ноября, когда цензоръ Бекетовъ подписалъ вольную стихотвореніямъ Шевченка. Того же дня Шевченко послалъ управляющему заводомъ Семеренка слѣдующее письмо: „Сегодня цензура выпустила изъ своихъ когтей мои безталанныя *Думы*, да такъ обчистила, что я едва узналъ своихъ дѣтей. А издатель и половины не даетъ того, что я прошу и что мнѣ немедленно нужно. Съ такимъ-то моимъ горемъ я обращаюсь къ вамъ съ П. Ө: вышлите мнѣ 1,100 р., а я вамъ съ великой благодарностью вышлю къ новому году столько экземпляровъ, сколько придется на эту сумму“. Деньги въ скоромъ времени были посланы, Шевченко расплатился съ типографіей и уже въ концѣ 1859 г. разослалъ книгу своимъ пріятелямъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

Иностранная литература.

	Стр.
Педагогическія теоріи эпохи Возрожденія	1
Джордано Бруно, какъ поэтъ, сатирикъ и драматургъ	18
Вольнодумецъ эпохи Возрожденія	33
Возникновеніе реального романа	54
Философія Донъ-Кихота	78
Артистки-соперницы	97
Юношеская любовь Гёте	120
Госпожа Сталь и ея друзья	136
Вліяніе Байрона на европейскія литературы	173
Поэзія міровой скорби	187
Англійскіе поэты нужды и горя	214
Джорджъ Тикноръ	237
Апостоль гуманности и свободы (Теодоръ Паркеръ)	277
Новая книга о Маккіавелли	305

Русская литература.

Отношеніе Пушкина къ иностранной словесности	327
Литературные итоги Пушкинскаго праздника	339
Пушкинъ	346
М. Ю. Лермонтовъ	351
Женскіе типы, созданные Лермонтовымъ	359
Поэтъ-мыслитель	373
Эволюція критическихъ идей Бѣлинскаго	385

Малорусская литература.

Новости украинской литературы	395
Геніальный горемыка	409
Первые четыре года ссылки Шевченка	426
Щепкинъ и Шевченко	444
Мелочи для біографіи Шевченка	453

5.

Mar. 20
20 p.

М
20-10

20-
1944/08

Цѣна. 2 руб.

U-2179 (1)